

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я

Б И Б Л И О Т Е К А

А Л Е К С А Н Д Р А

П О Г О Р Е Л Ь С К О Г О



С Е Р И Я

Ф И Л О С О Ф И Я



ЛОГОС
1991–2005
ИЗБРАННОЕ
Том 1

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»
2006

УДК 1/14 (08)

ББК 87

Л 69

СОСТАВИТЕЛИ СЕРИИ:

*В. В. Анашвили,
А. Л. Погорельский*

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

*В. Л. Глазьев, Л. Г. Ионин,
А. Ф. Филиппов, Р. Э. Хестанов*

Л 69 **Логос 1991–2005.** Избранное: В 2 т. Т. 1. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского») – 696 с.

ISBN 5–91129–005–7

© Издательский дом
«Территория будущего», 2006

СОДЕРЖАНИЕ

Герберт Шнедельбах. Университет Гумбольдта	7
Социология знания	
<i>Герберт Шнедельбах.</i> Университет Гумбольдта	11
<i>Джозеф Бен-Дэвид, Ренделл Коллинз.</i> Социальные факторы при возникновении новой науки: случай психологии	26
<i>Виталий Куренной.</i> Философия и институты: случай феноменологии	54
<i>Мартин Куш.</i> Победителю достается все. Философия жизни и триумф феноменологии	84
<i>Жан-Луи Фабиани.</i> Философы республики	127
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	
<i>Кевин Маллиган.</i> Точность и болтовня. Глоссы к парадигматическим противопоставлениям в австрийской философии	169
<i>Роман Громов.</i> Антон Марти. Философия языка брентановской школы	197
<i>Инна Шпилевская.</i> Дэвид Юм. «Человеческая природа» в перспективе нормы и патологии	236
<i>Михаил Гарнцев.</i> Проблема абсолютной свободы у Декарта	251
<i>Эрнст Тугендхат.</i> Введение в аналитическую философию языка. Лекции	258
ПУБЛИКАЦИИ	
<i>Александр Малинкин.</i> Макс Шелер о реформе высшего образования в Веймарской республике	293
<i>Макс Шелер.</i> Университет и народный университет	305
<i>Виталий Куренной.</i> Предисловие к публикации	352
<i>Адольф Райнах.</i> О феноменологии. Доклад, читанный в Марбурге в январе 1914 года	355

ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, КИНО

<i>Виталий Куренной</i> . Философия боевика	379
<i>Наталья Нусинова</i> . Семья народов. (Очерк советского кино тридцатых годов)	389
<i>Татьяна Дашкова</i> . Визуальная репрезентация женского тела в советской массовой культуре 30-х годов	410
<i>Борис Гаспаров</i> . Развитие или реструктурирование. Взгляды академика Т. Д. Лысенко в контексте позднего авангарда (конец 1920–1930-е годы)	444
<i>Ольга Эдельман</i> . Легенды и мифы Советского Союза	464
<i>Борис Гаспаров</i> . Лингвистика национального самосознания. (Значение споров 1860–1870 гг. о природе русской грамматики в истории философской и филологической мысли)	482
<i>Сергей Зимовец</i> . Нехватка субъективности. От ней все качества	508
<i>Джон Джозеф</i> . Язык и национальная идентичность	515
<i>Майкл Биллиг</i> . Нации и языки	551

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БИОГРАФИИ

<i>Джозеф Брент</i> . Чарльз Сандерс Пирс: жизнь	585
<i>Борис Домбровский</i> . Казимир Твардовский: жизнь и учение	647

ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ
Главный редактор журнала «Логос»

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Журнал «Логос» выходит уже 15 лет.

Долгий путь, полный поисков. Было увлечение феноменологией; случались номера, целиком посвященные философии литературы; или номера по социологии знания; иногда торжествовала аналитическая философия; порой журнал становился строго историко-философским изданием, но затем вдруг переходил к метафизике футбола или анализу феномена современной войны; политическая философия, регионалистика, мультикультуральные исследования также запросто становились содержательными приоритетами тех или иных номеров «Логоса». Мы не ограничивали себя «направлением» или «тематикой», но мы искали современный философский язык, способный быть адекватным времени.

Это был первый в нашей стране «независимый» философский журнал. «Независимый» — это значит, что, выпуская в 1991 году первый номер, мы были не только независимы от какой-либо институции, которая диктовала бы нам состав редакционной коллегии, содержание и тематику «Логоса», но и от гарантированного финансирования проекта из одного источника. За прошедшие пятнадцать лет нам помогали поддерживать выход журнала московские университеты (МГУ им. М. В. Ломоносова, РГГУ, ГУ-ВШЭ), фонды («Культурная инициатива», «Прагматика культуры», «ИНО-Центр»), а также наши друзья — частные спонсоры. Журнал в разные годы выходил под патронажем различных издательств (малое предприятие «Логос», кооператив «Гнозис», «Русское феноменологическое общество», «Дом интеллектуальной книги») и даже имел несхожие имена — «философско-литературный журнал», «журнал по философии и прагматике культуры», наконец, просто «философский журнал». В результате, «Логос» на протяжении своей истории печатался существенно различающимися тиражами и распространялся по различным, часто не пересекающимся от номера к номеру, магазинам и торговым сетям. Думаю, есть немного энтузиастов, которые

ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

смогли собрать на своих книжных полках все пятьдесят номеров нашего журнала. Двухтомник, который перед вами, призван частично решить эту проблему. Здесь мы постарались собрать наиболее репрезентативные для «Логоса» материалы, и в рамках программы «Университетская библиотека Александра Погорельского» издательского дома «Территория будущего» выпустить их под одной обложкой.

Благодарность всем, кто помогал нам, тем, кто был рядом и поддерживал нас словом и делом, благодарность нашим авторам и читателям, к счастью, не только ретроспективна, но и обращена в будущее. «Логос» продолжается.

СОЦИОЛОГИЯ ЗНАНИЯ

ГЕРБЕРТ ШНЕДЕЛЬБАХ

УНИВЕРСИТЕТ ГУМБОЛЬДТА¹

1. Университет — образование — наука

Время между 1831 и 1933 гг. — это столетие неоспоримого мирового значения немецкоязычной науки, которая по своему существу является *университетской* наукой. Институциональную предпосылку этого явления создает в это время структура немецкого университета — «университет Гумбольдта» находит всемирное признание и служит примером для подражания. Эту эпоху, которая продолжалась и после 1918 года, можно назвать также столетием *образования* (в специфическом немецком смысле этого слова) и *образованного бюргерства*. Только в 1933 году наступил перелом: автономия высшей школы была ограничена в нацистском государстве, стремившемся преобразовать Гумбольдт-университет в университет нацистского мировоззрения² (Людвиг Карциус говорит об «уничтожении сущности немецкого университета национал-социализмом»³), огромную потерю интеллектуальному потенциалу немецкой науки принесло изгнание

¹ Публикуемый текст представляет собой фрагмент из вводной главы Герберта Шнедельбаха к его замечательной работе «Философия в Германии 1831–1933». Не претендуя на оригинальность, автору удалось здесь, на наш взгляд, наиболее емким образом изложить основные проблемы «университета Гумбольдта», резюмировав ключевые подходы и указав хрестоматийную литературу по этому вопросу.

Перевод выполнен по изданию Н. Schnädelbach, *Philosophie in Deutschland 1831–1933*, Frankfurt am Mein, 1991, S. 35–48. Прямыми скобками в тексте отмечены вставки переводчика.

² См. Alexander Busch, *Die Geschichte des Privatdozenten. Eine soziologische Studie zur großbetrieblichen Entwicklung der deutschen Universitäten*, Stuttgart 1959, 137; а также Alexander Kluge, *Die Universitäts-Selbstverwaltung. Ihre Geschichte und gegenwärtige Reform*, Frankfurt 1958, 100.

³ Ludwig Curtius, *Deutscher und antiker Geist. Lebenserinnerungen*, Stuttgart 1950, 319.

евреев и других неугодных режиму лиц, тогда как, наконец, отсутствие сколько-нибудь значительного сопротивления, которое позволило одержать верх нацистскому государству, дает основание говорить о «несостоятельности»⁴ и «вине»⁵ немецкого университета. Это лишь один аспект «капитуляции» немецкого образования и немецкого образованного гражданства «перед политикой», т. е. капитуляции гуманистического идеала образования перед национальным принципом власти, за которым было оставлено пространство в области публичных вопросов.

1.1 Гумбольдт-университет

Берлинский университет Фридриха Вильгельма, основанный в 1908 году прусским королевским декретом, стал моделью немецкого университета 19–20 вв., вплоть до реформ 60-х годов. Эта модель была названа университетом Гумбольдта, так как его структура и те задачи, которые перед ним стояли, в основной своей части были сформулированы и реализованы Вильгельмом фон Гумбольдтом, находившимся в то время на должности «начальника секций по культуре, общественному преподаванию и медицинским учреждениям»⁶ в чине тайного государственного советника. Учреждению Берлинского университета предшествовали программные сочинения Шеллинга, Фихте, Шлейермахера, Штеффена и др.,⁷ и поэтому концепцию Гумбольдта можно рассматривать как продуктивный синтез содержащихся там идей. Берлинский университет, первым ректором которого был Фихте, был не результатом реформы, но представлял собой подлинное новообразование, которое, очевидно, было возможно только в общем реформаторском климате, возникшем после поражения Пруссии в наполеоновских войнах (1806/1807). Если учесть, что уже в 1810 году Гумбольдт оставил свою должность из-за фактического лишения полномочий, последовавшего за реформой кабинета,⁸ а также то, насколько быстро силы реставрации в Пруссии вновь взяли верх, то станет ясно, сколь краток был тот продуктивный момент, когда родился университет Гумбольдта.

Фундаментальные принципы университета Гумбольдта — это *академическая свобода и единство исследования и преподавания*.⁹ Чтобы правильно

⁴ Ludwig Curtius, *ibid.*, 323 ff.

⁵ См. Hermann Heimpel, *Schuld und Aufgabe der Universität*, Göttingen 1954.

⁶ См. Wilhelm von Humboldt, *Werke in fünf Bänden* (Hrsg. von A. Flitner/K. Giel), Band IV, Darmstadt 1964, 247.

⁷ См. Ernst Anrieh (Hrsg.), *Die Idee der deutschen Universität*, Darmstadt 1964.

⁸ См. заявление Гумбольдта об уходе с должности (Humboldt, *ibid.*, IV, 247 f.).

⁹ Относительно последующего см. Helmut Schelsky, *Einsamkeit und Freiheit*, Düsseldorf 1971–2; а также Rene König, *Vom Wesen der deutschen Universität*, Berlin 1935.

но понять эти принципы, смысл которых в настоящее время стерся до состояния пустых фраз, следует иметь перед глазами то, чему противостоял гумбольдтовский университет. «Противником позавчерашнего дня» был средневековый цеховой университет, который в век Просвещения долгое время был предметом презрения и пренебрежения. «Противник вчерашнего дня» — это утилитаристски спланированный, предназначенный для целей государственного и социального использования университет эпохи Просвещения и абсолютизма в том виде, как он возник в новых учреждениях этого времени (Галле 1694, Геттинген 1733), но который лишь благодаря Наполеону стал образцовым для всей Франции, равнявшейся на Императорский университет. В Германии эта наполеоновская модель также находила многочисленных приверженцев, с которыми должен был полемизировать Гумбольдт. Это обстоятельство обнаруживает, в какой мере то, что называлось тогда академической свободой, было опорочено упадком унаследованной от прошлого и потерявшей связь с миром университетской организации: она считалась антикварным реликтом, давно скомпрометировавшем себя как корпоративным бесчинством, так и научной и педагогической неэффективностью, лживо прикрывающем интересы привилегированного сословия.¹⁰ Многочисленные случаи закрытия университетов во время наполеоновских войн не вызвали сколько-нибудь значительного эха сожаления.

В саморепрезентациях университета Гумбольдта его концепция постоянно восхваляется как золотая середина между английской и французской университетской моделью.¹¹ В Оксфорде и Кембридже наукой занималась в основном аристократическая элита, чуждая практике и не имевшая сколько-нибудь заметных побуждений к исследованиям. Здесь продолжал существовать средневековый университет, находившийся под управлением церкви, что сказывалось в монастырском образе жизни (*college-system*) и в отсутствие принципиального признания свободы науки. Исследования, в свою очередь, были делом гражданского общества, которое частным образом заботилось об их финансировании и обнародовании, а также сферой деятельности академии (*Royal Society*). Во Франции же после 1806 года двадцать два бывших университета страны были понижены до уровня специальных школ, управляемых и координируемых инсти-

¹⁰ См. изложение отношения к университетам на рубеже 18–19 вв. у Александра Буша (A. Busch *ibid.*, 12 ff.); также Schelsky, *ibid.*, 33 ff.

¹¹ Вместо многочисленных ректорских речей той эпохи (принадлежащих Гельмгольцу, Виндельбанду и др.), в которых сказанное является общим местом, стоит указать на репрезентативную работу Фридриха Паульсена: Friedrich Paulsen, *Die deutschen Universitäten und das Universitätsstudium*, Berlin 1902, I ff.

тутом, который назывался «Императорский университет». Не «учащая наука, а преподающее государство»¹² использовало здесь университеты. Исследования были исключены из университета в пользу государственного учебного плана и достались в удел академии. Эта французская модель уже в начале 18 века под влиянием Лейбница была перенесена в Россию Петром Великим и до сих пор определяет советскую и восточноевропейскую сущность университета. То обстоятельство, что Лейбниц пропагандировал эту модель, есть веское свидетельство в пользу того, сколь малого ожидали образованные люди того времени от университета. Университет как *instrumentum dominationis*, как мануфактура чиновников, как фабрика рекрутирования — таков был в глазах современников и многочисленных противников Гумбольдта тот единственный разумный смысл, который еще можно было связать с этим покрытым пылью учреждением. При этом совершенно упускалось из виду, что по крайней мере в новых университетах 18 века был заложен принцип свободы преподавания. В свою очередь, сам Гумбольдт только после некоторых колебаний признал подходящим наименование «университета» для проектируемых им «учебных учреждений», следуя в этом вопросе традиционалистам.¹³ Гумбольдтовская модель университета стремилась к всестороннему компромиссу: академическая свобода при одновременной ответственности перед потребностями государства и общества; объединение задач образования с заботами науки, не связанной какими-либо определенными целями.

1.2 Институциональная регламентация

Немецкая университетская наука — это «чиновничья наука».¹⁴ Это означает, что государство, принимая ученых на службу в качестве чиновников, обеспечивает им досуг, который, по Аристотелю, только и делает возможным науку. Они же, со своей стороны, строят на факультетах «республику

¹² Так у Ипполита Тэна (цит. по Н. Schelsky, *ibid.*, 34).

¹³ См. А. Busch, *ibid.*, 12 f.

¹⁴ Выражение Плеснера (*Zur Soziologie der modernen Forschung und ihrer Organisation in der deutschen Universität*, in: Н. Plessner, *Diesseits der Utopie*, Frankfurt 1974, 133). Показательна также ирония Шопенгауэра по поводу «профессорской философии» и «философии профессоров» (*Über die Universitätsphilosophie. Parerga und Paralipomena. Erster Band, Drittes Stück*). В § 259 второй книги «Parerga» он говорит: «Между профессорами и независимыми учеными издавна существует определенный антагонизм, который можно пояснить на примере антагонизма между собаками и волками.... Если смотреть в целом, откармливание профессуры делает ее более всего похожей на жвачных животных. Напротив, те, кто находят свою добычу в природе, лучше чувствуют себя на свободе».

ученых» в рамках своих чиновничьих обязанностей. «Академическая свобода» включает при этом следующее: право на самоуправление под государственным правовым надзором; собственное ведение хозяйства; ограниченное властью министра право факультетов на комплектацию должностей (что осуществлялось путем выдвижения кандидатур на вакантную должность, а также обеспечивалось правом выдачи *venia legendi* после защиты габилитационной работы, которая давала звание приват-доцента, не подчинявшегося государственной администрации [15]); разделение государственных экзаменов и независимых от государства академических экзаменов; свобода преподавания для профессоров и доцентов и лишь формально ограниченная, т. е. требовавшая только наличия школьного аттестата, свобода доступа для студентов. «Единство исследования и преподавания» гарантировалось фигурой университетского преподавателя-исследователя, а также свободой выбора лекций для студентов (в отличие от гимназии); институтом семинаров («питомников» науки); тесной связью университета с продолжающей существовать Академией и прочими исследовательскими институтами, которые вскоре стали возникать в форме университетских институтов.¹⁶

¹⁵ [Система университетского преподавания в Германии в описываемый автором период состояла из трех институтов: приват-доценты, экстраординарные профессора и ординарные профессора. Университетская карьера обычно начиналась с должности приват-доцента, доступ к которой находился целиком в ведении университета и был ограничен экзаменом на получение *venia legendi* — права чтения лекций. В отличие от профессора приват-доцент не назначался государством и не получал жалования, а обеспечивался теми денежными взносами, которые вносили студенты, посещавшие его лекции. Возникновение института экстраординарных профессоров было связано с жестко ограниченным числом ординарных профессорских кафедр при одновременном возрастании числа студентов (особенно к концу 19 века). Государство имело решающий голос при назначении на профессорские должности уже существующих кафедр и решало вопрос о создании новых. При назначении на должность профессора освободившейся кафедры факультет предлагал министерству образования несколько кандидатур, иерархически упорядоченных по трем группам (*primo, secundo* и *tertio loco*). Эти кандидатуры не являлись обязательными для министра, который мог назначать другого профессора вопреки мнению и рекомендациям факультета.]

¹⁶ Об этом см. докладные записки Гумбольдта, готовившиеся при подготовке к открытию Берлинского университета, в которых почти все названные положения выступают как требования (Humboldt, *ibid.*). [Две главные записки Гумбольдта опубликованы в журнале «Неприкосновенный запас» № 2 (22) 2002. С. 5–10.]

Но уже в 1919 году Макс Вебер говорит о том, что состояние университета стало «фиктивно... как внутренне, так и внешне».¹⁷ Фигура исследующего и преподающего ученого стала карьерной целью; питомники науки превратились — особенно в медицинской и естественнонаучной области — в институты по образцу «государственно-капиталистических» предприятий. В свою очередь квазииндустриальная организация исследования образует «глубочайшую пропасть — как внешнего, так и внутреннего свойства — между начальником такого огромного капиталистического университетского предприятия и обычным ординарным профессором старого стиля».¹⁸ Макс Вебер признает, что индустриализация настигает и университет, и науку. Изменению роли прежнего преподавателя университета соответствуют также институциональные трансформации, которые отчетливо обнаруживаются на примере учреждения в 1909 году Общества Кайзера Вильгельма (нынешнее Общество Макса Планка): единство исследования и преподавания не удастся сохранить в рамках университета Гумбольдта, и индустрия, экономика, государственная администрация и научные институты действуют сообща, чтобы институционально преодолеть все возрастающий дефицит исследований. На разрешение той же самой проблемы направлено основание и развитие высших технических школ, которые, оставаясь поначалу в традиционных академических рамках, должны были наряду с проведением исследований развивать и преподавать технологическое знание; но лишь в период Веймарской республики технические школы уравниваются с университетом по своему академическому статусу. Продолжающаяся, и даже усиливающаяся, эмиграция исследовательской работы из университета и ограничение его задач преподаванием и образованием и до настоящего времени служит подтверждением диагноза Макса Вебера.

1.3 Что означает «единство исследования и преподавания»?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует взять за отправную точку функции преподавания в средневековом университете и университете эпохи абсолютизма. Преподавание означает здесь передачу неизменно по своему существу знания, зафиксированного в компендиумах и работах авторитетов; креативность не только не требуется от университета,

¹⁷ Max Weber, *Wissenschaft als Beruf*, in: *Gesammelte Schriften zur Wissenschaftslehre*, Tübingen 1973/4, 585; применительно к последующему см. *ibid.*, 582 ff. [Соответствующий фрагмент купирован в существующем русском переводе данной статьи (Наука как призвание и профессия/М. Вебер, *Избранные произведения*. М.: Прогресс, 1990. С. 707–735).]

¹⁸ *Ibid.*, 585.

но и зачастую даже вообще нежелательна: еще Кант в Кенигсберге читал лекции по чужим учебникам.¹⁹ Так как для схоластического и рационалистического понимания науки истина уже установлена и известна, ее усвоение есть лишь вопрос обучения. Это положение вещей фиксируется строгим целевым назначением знания, которому обучаются на «высших» факультетах.²⁰ Теология, юриспруденция и медицина должны служить «вечному», «гражданскому» и «физическому благополучию»²¹ людей. Кант подчеркивает в своем рассуждении, имеющем подспудный смысл, обязательство перед авторитетом на этих факультетах, он даже делает его принципом их деления: «По заведенному обычаю факультеты делятся на два класса: на *три высших факультета* и один *низший*. Ясно, что этим делением и наименованием мы обязаны не сословию ученых, а правительству, ибо к высшим факультетам отнесены только те, учения которых интересуют само правительство, независимо от того, сформулированы ли они так или иначе и следует ли их излагать публично; факультет же, который должен заботиться об интересах науки, назван низшим, ибо он может обращаться со своими принципами, как он считает нужным. Правительство же интересуется прежде всего тем, при помощи чего оно может оказать наиболее длительное и сильное влияние на народ, а именно таковы предметы высших факультетов. Вот почему правительство сохраняет за собой право самому *санкционировать* учения высших факультетов; учения же низшего оно предоставляет собственному разумению ученых».²² Напротив, философский факультет, который воплощает в себе наследие *artes liberales*, является низшим и в то же время свободным факультетом: «В ученом сообществе, в университете обязательно, должен существовать еще один факультет, который, будучи в отношении своих учений независимым от правительственных приказов, должен иметь свободу не отдавать распоряжения, а обсуждать все распоряжения, касающиеся интересов науки, т. е. истины, когда разум должен говорить публично, так как без такой свободы истина (в ущерб самому правительству) никогда не ста-

¹⁹ Вольф Лепениес цитирует доклад Карла Эрнста фон Баерса о действующем еще в начале 19 века предписания для Кёнинсбергского университета: «Деканы при проверке диссертаций должны следить за тем, чтобы *ne quid novi insit*». (Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts, Frankfurt 1978, 9.)

²⁰ См. Иммануил Кант. Спор факультетов (1798), А 6. [Кант. Собрание сочинений в восьми томах. Под общей редакцией А. В. Гулыги. М.: Чоро, 1994. Т. 7. С. 60].

²¹ А 12. [Кант. Указ. соч. С. 63.]

²² А 6 f. [Кант. Указ. соч. С. 60.]

нет известной, а ведь разум по своей природе свободен и не принимает никаких приказов считать что-то истинным (не *crede*, а только свободное *credo*)».²³ Здесь в центре стоит независимый от авторитета и интересующийся лишь наукой разум, а также идеал рациональной, критической и теоретической науки. Утверждение о его «низшем» положении у самого Канта нельзя понимать без иронии; о высших, подчиненных авторитету уставов факультетах он говорит: «Вот почему основывающийся на Библии богослов (как принадлежащий высшему факультету) черпает свои наставления не из разума, а из Библии, юрист – не из естественно-го права, а из земского права, врач черпает свой практикуемый способ лечения не из физиологии человеческого тела, а из руководства по медицине. Как только один из этих факультетов осмеливается внести нечто заимствуемое из разума, он тем самым наносит ущерб авторитету повелевающего через этот факультет правительства и вмешивается в дела философского факультета, который беспощадно выщипывает все его яркие, заимствованные из разума перья и обращается с ним как свободный и равный. Поэтому высшие факультеты должны больше всего заботиться о том, чтобы не вступать в неравный брак с низшим факультетом, а держаться от него на почтительном расстоянии, дабы авторитет их уставов не терпел ущерба от вольных умствований низшего факультета».²⁴

В университете Гумбольдта руководство взял на себя философский факультет. Тем самым из мысли Канта о том, что все, что выходит из «высших» факультетов с притязанием на науку, должно быть оправдано перед принципами «низшего» факультета, последовал также и институциональный вывод. Философский факультет объединяет в себе – помимо теологии, юриспруденции и медицины – все *теоретические* науки, включая естественные.²⁵ Он объемлет их как *рациональные* дисциплины (в противоположность «позитивным» – в кантовском смысле – дисциплинам), что, в свою очередь, налагает обратные обязательства по отношению к «равенству и свободе». В таком аспекте принцип рациональной науки совпадает с *критическим*: эта критичность заключается именно в рефлексированном

²³ A 8f. [Кант. Указ. соч. С. 61.]

²⁴ A 15 f. [Кант. Указ. соч. С. 64–65.]

²⁵ Отделение в 1863 году естественнонаучного факультета в Тюбингене было отмечено современниками как выдающееся событие. В новом университете в Страсбурге, основанном в 1872 году, естественнонаучный факультет существовал с самого начала. К середине века самостоятельность естественнонаучного факультета в немецких университетах становится обычным явлением. В Швейцарии и Австрии еще и сегодня существуют философско-естественнонаучные и философско-исторические факультеты. См. F. A. Lange, *ibid.*, 592 ff.; 728 ff.

познании, сопровождающемся применением собственного разума и самостоятельной деятельностью ученого. Дидактически эта идея исключает любую форму авторитетной передачи знания. Для обязательства перед авторитетом у науки, по Гумбольдту, нет оснований также и потому, что «во внутренней организации высших научных учреждений все основывается на том, чтобы придерживаться принципа, что наука есть нечто еще не до конца найденное и никогда не могущее быть до конца найденным, и что ее как таковую следует беспрестанно разыскивать».²⁶ Университет должен «всегда рассматривать ее как еще до конца не разрешенную проблему и поэтому всегда продолжать исследования»²⁷, при этом «исследование» означает не что иное, как самостоятельное разыскание и усвоение истины. На основании этого принципа, согласно Гумбольдту, после освобождения от какого бы то ни было обязательства перед внешним авторитетом и перед однозначно фиксированным знанием наука, наконец, вводится и в сферу преподавания: не «определенная» истина, а лишь само исследование позволяет научиться науке, и именно в этом заключаются «единство обучения и преподавания». В этом смысле все представители университета должны быть исследователями — и учителя, и ученики находятся «здесь ради науки».²⁸ И университетские институты планировались Гумбольдтом так, что в совокупности они должны были собрать под одной крышей всех участников под знаком исследования. Позднее понятие «исследования» было перетолковано: оно было уравнено с процессом научно-технической инновации вообще. Тем самым исследование стало пониматься объективистски, мыслиться деперсонально и независимо от объекта исследования. Только после этого стало возможно «служить исследованию» как любому другому «делу». Это различие в значении между современным и гумбольдтовским понятием исследования можно поначалу легко упустить, если подходить сегодня к «единству исследования и преподавания» как к антикварной идее.

1.4. От «образования посредством науки» к «науке как профессии»

Гумбольдтовская концепция науки и университета есть часть общей концепции *образования*, которая в то же время указывает определенную образовательно-политическую программу: «Как только перестают заниматься разысканием собственно науки, или начинают полагать, что ее не требуется извлекать из глубин духа, но можно получить ее путем экстенсивного складывания, то все безвозвратно и навечно потеряно; потеряно для науки,

²⁶ Humboldt, *ibid.*, IV, 257.

²⁷ *Ibid.*, 256.

²⁸ *Ibid.*

которая, если это продолжается долго, исчезает настолько, что она оставляет язык как пустую оболочку и является потерянной для государства. Ибо лишь наука, которая возникает из глубины и процветает лишь в глубине, образует также и характер <человека>, а для государства, как и для человечества, важны не знания и речи, а характер и деятельность».²⁹ Университетское обучение связывает объективное знание и субъективное образование, которое одновременно определяется как духовное и нравственное образование.³⁰ Общее образование — в противоположность специальному — есть процесс самостоятельного развития всех сил индивида, в том числе нравственных, и поэтому образование через науку есть, по мысли Гумбольдта, одновременно и *воспитание нравственности* человека: от самостоятельного философского мышления истины в ее всеобщности ожидается, что она определит правильное место и человеческому действию. Хотя Гумбольдт мыслил этот процесс, по сути, исходя из индивида, он все же не был сторонником индивидуализма в образовании; принципы «уединения» и «свободы»³¹ суть, скорее, именно предпосылки того, что благодаря таким вот образом спланированному процессу образования будут осуществлены и требования общества к научно образованным гражданам: «Государство не должно рассматривать университет ни как гимназию, ни как специальную школу, и не должно использовать свою академию как техническую или научную депутацию. Оно не должно в целом требовать от них, чтобы они непосредственно и немедленно сопрягались с ним, но ему надлежит придерживаться внутреннего убеждения, что если они достигают своих целей, то они выполняют и его цели, а именно исходя из более высокой точки зрения, которая охватывает намного больше и с которой могут быть использованы силы и рычаги совершенно отличные от тех, что государство способно предположить в обычном движении».³² Именно от «свободной от целей» науки ожидаются результаты, в которых нуждается государство для выполнения своих политических целей.

Гумбольдтовский идеал образования, которому следовала его концепция науки и университета, есть образ ищущего человеческого духа, восходящего путем своей самостоятельной деятельности до высшего понимания и нравственного совершенства; образование для него есть процесс самостановления индивида, воплощающего в себе истинный и нравственный мир. Вполне ясно обнаруживает себя теологически-мистическое происхождение этой концепции образования. Гельмут Плеснер указывает

²⁹ Ibid., 258.

³⁰ Ibid., 255.

³¹ Ibid., 191.

³² Ibid., 260.

в связи с этим на квазирелигиозную функцию, которую выполняет образование в секуляризованной протестантской культуре, где образование рассматривается как процесс самоосвобождения индивида из естественной предвзятости.³³ Фридрих Шлегель говорит: «Каждый хороший человек все более и более становится Богом. Быть Богом, быть человеком, образовываться — все это выражения, которые означают одно и то же».³⁴ Истолкование этого процесса образования как мировой истории представляет собой — со времен Лессинга и Гердера³⁵ — одну из основных фигур идеалистической философии вообще.

У Макса Вебера, напротив, представлена совершенно иная картина: связь образования и науки потеряна, и профессионализированная, дающая высокоспециализированных мастеров «наука как профессия» противостоит «личности» и «переживанию» как новым «божкам», культ которых наступает повсюду: «Они тесно связаны: господствует представление, что последнее создает первую и составляет ее принадлежность. Люди мучительно заставляют себя «переживать», ибо «переживание» неотъемлемо от образа жизни, подобающего личности, а в случае неудачи нужно по крайней мере делать вид, что у тебя есть этот небесный дар».³⁶ Этому Макс Вебер противопоставляет следующее: «“Личностью” в научной сфере является только тот, кто служит лишь одному делу».³⁷ Принцип личности, который был фундаментом образования посредством науки, заменяется здесь принципом «объективности»,³⁸ и образовательное самосовершенствование личности в науке недвусмысленно исключается Максом Вебером. Тем самым он констатирует, что образование и наука разделились: образование в дальнейшем стало идеологией, а наука, которая теперь ради себя самой профессионально используется «специалистами», должна защищаться от властных притязаний личностно ориентированных требований наличия смысла и ценностного содержания — таков куль-

³³ См. Н. Plessner, *Die verspatete Nation*, Frankfurt 1974, 65 ff.; см. также статью «Образование» («Bildung») в Риттеровом «Историческом словаре философии» (J. Ritter (Hrsg.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie*, Band I, Sp. 921 ff.).

³⁴ Цит. по К. Vondung (Hrsg.), *Das wilhelminische Bildungsbürgertum. Zur Sozialgeschichte seiner Ideen*, Göttingen 1976, 34.

³⁵ См. Gotthold Ephraim Lessing, *Die Erziehung des Menschengeschlechts*; Johann Gottfried Herder, *Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit*.

³⁶ Max Weber, *Wissenschaft als Beruf*, *ibid.*, 591. [М. Вебер. Указ. соч. С. 711.]

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Н. Plessner, *Zur Soziologie der modernen Forschung...*, *ibid.*, 126; В этой работе 1924 года Плеснер во многих пунктах развивает рассуждения Вебера.

турно-исторический фон знаменитого требования свободы от оценочных суждений, который Вебер сам же и проясняет культурно-историческим образом. Современная наука, которая должна находить свой смысл только в процессе своего собственного прогресса, есть лишь одна «частица» западноевропейского «процесса интеллектуализации, «интеллектуалистической рационализации» нашего мира посредством «науки и научно ориентированной техники». Она вовлечена в процесс «расколдования мира», редуцирующего то, что есть, к чистой фактичности, лишенной имманентного смысла и нормативной силы. Поэтому наука об этой фактичности не может быть смыслово и ценностно ориентированной наукой, то есть она *не способна образовывать* в гумбольдтовском смысле. Сами же вопросы смысла и ценности могут получить ответ только со стороны личностных и связанных с личностью ценностных содержаний, но опять же только для личности и ненаучно. На вопрос, почему в мире ценностной анархии надо следовать именно этому этосу свободной от ценностей науки, а не какому-то другому «богу», Макс Вебер отвечает указанием на «интеллектуальную честность».³⁹ Эту последнюю он сам понимает как субъективный аспект западноевропейского процесса рационализации, который, правда, в силу этого не может получить нормативного обоснования. Несмотря на все децизионистские элементы, этос «науки как профессии» у Макса Вебера включает в себя определенный материальный культурно-философский элемент.

1.5 О «несостоятельности» немецкого университета, образования, науки

Под этим понимается бессилие немецкой культуры перед национал-социализмом и вопрос о том, почему «немецкий дух» оказал ему столь малое сопротивление. Ответ следует искать в указанном Максом Вебером направлении. Исключение всех элементов образования из науки есть лишь один аспект немецкой истории образования в 19 веке, который, конечно, чрезвычайно сильно воздействовал на весь этот процесс в целом, так как культура этого времени понимает себя главным образом как научная культура. В своем существе эта история определяется все возрастающей *формализацией, приватизацией и идеологизацией* образования.⁴⁰ Формализованное образование — это образование как признак статуса «человека с высшим образованием» и «образованного гражданина», что, в свою очередь, определяло относительно унифицированный характер ожидаемых стереоти-

³⁹ Max Weber, *ibid.*, 612 [М. Вебер. Указ. соч. С. 722]; см. также: Wolfgang Schluchter, *Rationalismus der Weltbeherrschung. Studien zu Max Weber*, Frankfurt 1980, 9 ff.; 41 ff.

⁴⁰ См. K. Vondung (Hrsg.), *ibid.*, 5 ff.

пов поведения и перспектив продвижения по службе. Под приватизацией образования нужно понимать вытеснение образования из публично-релевантной области в область внутреннего и эстетического — процесс, который уже Ницше диагностировал в острой форме в своих «Несвоевременных размышлениях».⁴¹ Тем самым политическое безразличие становится само собой разумеющимся образцом поведения образованного человека, и это можно понять лишь в идеологически-историческом смысле на фоне специфически немецкого гражданского провала, в силу которого в догражданском силовом государстве, лишенном идеи государства, за гражданами оставалась лишь сфера неполитического, сводящегося к культуре «внутреннего» свободного пространства образования.

Поэтому становится понятно, каким образом смысловой и ориентационный вакуум, который оставляла после себя наука в научно-ориентированной культуре, столь легко мог быть заполнен слабо прикрытой силовой идеологией в специфических исторических условиях немецкого образования. Фридрих Паульсен в своей примечательной книге о немецком университете (1902) говорит об этом вакууме следующее: «в последнее время во многих проявлениях обнаруживается течение, противоположное предшествующему развитию, скрытая тенденция, враждебная научной деятельности наших университетов. Дает о себе знать нечто вроде разочарования; научное исследование, по-видимому, не дает того, что оно поначалу обещало: всестороннего и полностью обоснованного мировоззрения и жизненной мудрости, подкрепленной необходимыми идеями. Препрежнему поколению все это давала религия и теология. На ее место в 18 столетии в качестве наследницы вступает философия, на которую с такой надеждой взирало поколение Вольтера и Фридриха Великого. Последним наследником чистого разума был Гегель. Затем новое поколение без сожаления отвернулось от разума, как прежде оно отвернулось от веры, и обратилось к науке: точное исследование должно было дать нам почву под ногами и истинную картину мира. Но наука не достигала этого результата; все яснее становится, она не ведет к всеохватному взгляду на мир, удовлетворяющему фантазию и душу; она дает лишь тысячи фрагментарных знаний о мире. Лишь отчасти достоверные (прежде всего в естественных науках) эти знания дают основание только для техники, другая же часть знаний остается навсегда проблематичной, вечно обреченной на переоценку, как в исторических науках. Следствием является чувство разочарования: наука

⁴¹ См. особенно первую часть «Несвоевременных размышлений». В качестве подтверждения сказанному см. также образцовое исследование Михаэля Наймана о Фридрихе Теодоре Фишере (M. Naumann, *Bildung und Gehorsam. Zur ästhetischen Ideologie des Bildungsbürgertums*, in: K. Vondung (Hrsg.), *ibid.*, 34ff.).

не удовлетворяет жажду познания, не удовлетворяет она и потребность в личном образовании; она требует приложения всех сил, но вознаграждает скудными плодами. Чувство такого разочарования широко распространено; след, который тянется за Ницше, связан, по сути, с неверием в науку; времена такого неверия особенно благоприятны для чудотворцев. Но и из самих научных кругов время от времени до нас доносится настроение разочарованности, как это, например, явствует из заключительных рассуждений “Истории Берлинской Академии” Гарнака (I. 791, 977). Есть ли это, как думают многие, знак приближающегося банкротства науки, ее поражением перед верой в авторитет? Или же в этом обнаруживается естественная потребность в философии, которая вновь набирает силу, но все еще не установила определенный путь и цель?»⁴² Когда политика и образование, «сила и дух» отделены друг от друга, а само образования достаточно деполитизировано, неудивительно, что получившие образование сами начинают искать вождя⁴³ и эстетически очарованы властью. Людвиг Карциус подтверждает эту картину в своих воспоминаниях; сравнивая немецкий университет с английским и французским образованием и его общественной функцией, он пишет: «... он похож на колоссальное, установленное и поддерживаемое огромными средствами опорное сооружение, вода на котором испаряется по большей части с его собственной поверхности. Поэтому случилось так, что в Германии Вильгельма II и в Республике хотя и действовали повсюду — от высших постов до секретарш, банковских посыльных и рабочих, среди чиновников, судей, в индустриальных и торговых кругах — превосходные, совершенно честные, прилежные, пунктуальные и надежные профессионалы, но при этом духовные, образованные в высоком мировоззренческом и философском смысле люди с характером среди них были очень редки. Если, далее, обратить внимание на то, что в широких кругах главным образом протестантского населения религия не имела никакого воздействия и что на ее место ни пришло никакой новой, ведомой университетами мировоззренческой духовности, то можно, пожалуй, понять тот вакуум, который заполнил национал-социализм с его столь доступными теориями расы и национального самопрославления. К чести философских факультетов немецких университетов следует сказать, что подавляющее большинство их членов противостояло этому ужасному разрушению немецкого духа. Но так как отдельный университет уже не представлял из себя духовного объединения, не говоря уже о всей совокупности немецких университетов, то отдельные ученые, которые защищали свободу духа, были совершен-

⁴² F. Paulsen, *ibid.*, 109.

⁴³ Ср. Max Weber, *ibid.*, 605 [М. Вебер. Указ. соч. С. 727].

но беззащитны и бессильны. И поскольку, как мы видели, нация не была объединена ни традицией, ни личной благодарностью отдельных лиц, ни живой духовной связью с университетами, то она спокойно наблюдала зрелище своего уничтожения, едва ли понимая, что происходит. Конечно, в самом университете были многочисленные преподаватели, бездуховная работа которых как специалистов не была затронута, которые считали, что в принципе очень мало изменилось от прихода национал-социалистов». ⁴⁴ В другом месте Карциус говорит: «Немецкие университеты достигли необычайно много в образовании специалистов, но они были несостоятельны в своей задаче духовного образования нации». ⁴⁵

Наконец, Герман Гемпель в своей знаменитой речи 1954 года «Долг и задача университета» возлагает ответственность за эту несостоятельность на отождествление науки и культуры. Вместе с тем он отвечает Ортеге-и-Гассету, согласно которому во всем был виноват университет Гумбольдта. По словам Ортеги, исследования в университете в силу нарастающей специализации и профессионализации систематически разрушали образование как своевременность духа, умение разбираться во власти, которая определяет настоящее время. ⁴⁶ Как и у Макса Вебера, эта критика указывает на то, что не отношение исследования и преподавания, а *исследования и образования* было основной проблемой университета после наступившего со времен Гумбольдта изменения смысла понятия «исследование». Гемпель косвенно подтверждает это своей попыткой реабилитации исследования: не оно было проблемой, а вплетение науки в культуру, которое после завершения эпохи Гегеля оставалось неразрешенной задачей. К этому можно было бы добавить, что наука и ее институты, не вошедшие в плоть культуры, имеют тенденцию предоставить находящуюся вне ее культуру самой себе, и это относится, прежде всего, к политической культуре в том случае, если политическое безразличие считается необходимой ценой за свободу науки. ⁴⁷

⁴⁴ Ludwig Curtius, *Deutscher und antiker Geist*, *ibid.*, 335 f.

⁴⁵ *Ibid.*, 332.

⁴⁶ См. Н. Heimpele, *ibid.*, 335 f.

⁴⁷ См. Hermann von Helmholtz, *Über die akademische Freiheit der deutschen Universitäten*, in: *ders.. Vorträge und Reden*, Band II, Braunschweig 19035, 191 ff.

ДЖОЗЕФ БЕН-ДЭВИД, РЕНДЕЛЛ КОЛЛИНЗ

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НОВОЙ НАУКИ:

СЛУЧАЙ ПСИХОЛОГИИ¹

Непрерывное расширение определенного поля научной деятельности обуславливается существованием научного сообщества, полностью посвящающего себя его исследованию. Поэтому наличия новой идеи, как точки отсчета, не достаточно для ее продолжительного развития в новой области; наряду с идеей должна быть создана и новая роль. В сфере научной психологии подобное сочетание было достигнуто в конце девятнадцатого века в Германии. В данной работе пример Германии приводится в качестве положительного случая, а пример Франции, Великобритании и Соединенных Штатов – в качестве отрицательного случая для демонстрации того, что появление такой новой роли было обусловлено рядом возможностей для студентов и практикующих специалистов-физиологов сделать академическую карьеру путем проникновения в другие научные области, а также в силу относительно низкой академической репутации спекулятивной философии и отсутствия у нее иммунитета от личностей и идей, обещавших превратить исследование психического мира человека в экспериментальную науку.

¹ Эта работа частично основывается на одном из тезисов докторской диссертации (М. А.) Ренделла Коллинза (Калифорнийский университет в Беркли, 1965). Авторы выражают свою признательность профессорам Дэвиду Кречу и Гарольду Виленски за их замечания и предложения, а также проекту сравнительного национального развития Калифорнийского университета в Беркли за финансовую поддержку.

Суть проблемы

Развитие научных дисциплин, также как и развитие многих других феноменов, может быть изображено в виде s-образной кривой.² Оно начинается с длинного периода, восходящего к предыстории дисциплины, который состоит как из подъемов, так и из спадов, но не демонстрирует непрерывного роста; затем следует резкий всплеск, выражающийся в ускоренном росте; наконец, развитие замедляется, приближаясь к своей высшей точке.³ Эта закономерность сохраняется, независимо от того рассматривается ли рост числа публикаций, научных открытий или людей, занимающихся исследовательской деятельностью в данной области; ей вполне соответствует интуитивное представление, которое мы получаем, изучая историю развития различных дисциплин.

Подобный процесс в том виде, в каком он представлен при рассмотрении развития науки, схематически можно описать следующим образом. Одни идеи порождают другие идеи до тех пор, пока не наступает момент для возникновения новой, внутренне согласованной системы мышления и исследования. С этого момента система начинает жить своей собственной жизнью. Она рассматривается в качестве новой области науки, обретает, наконец, имя (например, химия или психология) и быстро развивается до состояния зрелости. Но на данном этапе вопрос о ее истоках остается открытым. Если бы дело заключалось лишь в порождении одними идеями других идей, то тогда развитие должно было бы начинаться с экспоненциальным ускорением (вплоть до достижения своей высшей точки) прямо с момента появления первой такой идеи. Поскольку этого не происходит, то следует полагать, либо что только некоторые идеи способны к порождению новых идей (тогда как все остальные остаются стерильными), либо что идеи сами себя не порождают и что для развития нового поколения идей даже из наиболее многообещающих из них нужны люди, которые транслировали бы их и находили бы им применение.

Согласно здравому смыслу, оба утверждения являются истинными. Не все исходные идеи способны породить новые идеи, а те, которые обладают большим потенциалом, зачастую могут забыться и не найти применения из-за отсутствия их эффективного обсуждения. Тем не менее, в истории науки внимание, как правило, уделялось только первому типу

² Derek de Solla Price, *Little Science, Big Science*, New York: Columbia University Press, 1963, pp. 1–32; Gerald Holton, «Scientific Research and Scholarship: Notes Towards the Design of Proper Scales,» *Daedalus*, 91 (Spring, 1962), pp. 362–99.

³ За этим может последовать еще одно ускорение роста, но, учитывая тему данной статьи, этой альтернативой можно пренебречь.

объяснения. Если определенная идея не имела никаких исторических следствий, то изучающий ее историк полностью уверен в том, что она в чем-то была неверна. И, наоборот, в случае, если малообещающая идея получает дальнейшее развитие, историк уверен, что в ней обязательно присутствовали скрытые преимущества, обусловившие последующий успех. Разумеется, ему не составит труда продемонстрировать задним числом правильность своего предчувствия.

В данной работе мы исследуем вторую альтернативу. Вместо того чтобы пытаться указать на внутренние качества, благодаря которым считается, что одна идея обладает потенциалом, а другая нет, мы зададимся вопросом о том, как стало возможным то, что в определенное время передача одних идей и исчезновение других приобрели поразительный размах. Вместо рассуждения о внутренней структуре интеллектуальной трансформации,⁴ мы сосредоточим внимание на механизмах окружающей среды, обуславливающих подобные трансформации. В частности мы утверждаем, что: (1) идеи, необходимые для создания новой дисциплины, обычно имеются в наличии в течение относительно длительного времени и в разных местах;⁵ (2) только некоторые из этих потенциальных точек отсчета находят последующее развитие; (3) такой рост возможен в определенном месте и в определенное время при условии, что людей в данной идее начинает интересовать не только ее интеллектуальная сущность, но и потенциальная возможность создать на ее основе новую интеллектуальную идентичность, а главное новый вид деятельности; (4) условия появления подобного интереса могут быть определены и использованы в качестве основы для последующего создания предсказывающей теории.

Случай психологии: начало ускоренного роста

Самые ранние начала психологии восходят к ее предыстории. В любом языке присутствуют объяснения человеческого мышления и поведения; с развитием философий они были сформулированы более абстрактно и систематически. Наконец, в девятнадцатом веке естественнонаучные методы были применены в данной области. Используя количество публи-

⁴ Подобное рассуждение вовсе не является бесполезным. Его потенциальная полезность зависит от нахождения характеристик, определяющих то, какие идеи являются обещающими, а какие нет.

⁵ Это согласуется с часто наблюдаемым явлением многочисленных одновременных открытий в науке. См. Robert K. Merton, «Singletons and Multiples in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of Science,» *Proceedings of the American Philosophical Society*, 105 (1961), pp. 471–486.

каций в сфере экспериментальной и физиологической психологии в качестве показателя роста современной научной психологии, мы увидим, что ускорение роста началось примерно в 1870 году, а где-то в 1890 году наступил период быстрого роста. (Таблица 1).⁶

Таблица 1. Количество публикаций трудов по экспериментальной и физиологической психологии, упорядоченных согласно национальной принадлежности и десятилетию с 1797 по 1896 гг.

Десятилетие	Германия	Франция	Великобритания	США	Другие страны	Итого
1797–1806	1	1	2
1807–1816	2	1	3
1817–1826	1	...	3	4
1827–1836	4	3	2	9
1837–1846	11	4	2	...	1	18
1847–1856	15	2	6	1	...	24
1857–1866	16	8	7	...	3	34
1867–1876	38	11	15	1	4	69
1877–1886	57	22	17	9	12	117
1887–1896	84	50	13	78	21	246

Источник: J. Mark Baldwin (ed.), *Dictionary of Philosophy and Psychology*, New York: Macmillan, 1905, vol. III, Part 2, pp. 950–64.

Место, где начался ускоренный рост, может быть обнаружено при сравнении показателей роста в различных странах. В случае психоло-

⁶ Эти публикации представляют не общее число отчетов по экспериментальным и физиологическим исследованиям в психологии, а скорее обзорные статьи, книги и работы, относящиеся к теории и методологии экспериментальной и физиологической психологии. Полные таблицы относительно отчетов об исследованиях за этот период недоступны; однако для наших целей данный список может оказаться даже более полезным, чем такие таблицы. Он представляет собой набор отдельных описаний научной работы в данной области; именно поэтому он гораздо лучше демонстрирует рост интереса к научной психологии, чем это сделало бы собрание исследований, которое в то время могло не рассматриваться, как имеющее важность для психологии.

гии имеет место та же закономерность, что и с другими науками в девятнадцатом веке. Основное развитие происходит в Германии, в двадцатом веке оно продолжается в США и более скромно в Великобритании. В течение некоторого времени ускорение развития наблюдается и во Франции, но в самом начале двадцатого века производительность там падает (Таблица 2).

Таблица 2. Среднее число ежегодных публикаций по психологии, упорядоченных по языку, 1896–1955 гг.

<i>Периоды</i>	<i>Немецкий</i>	<i>Английский</i>			<i>Французский</i>	<i>Др. языки</i>	<i>Итого</i>
		<i>Итого</i>	<i>США</i>	<i>Великобритания</i>			
1896–1900	764	745	709	270	2494
1901–1905	1119	747	660	210	2781
1906–1910	1508	941	478	158	3185
1911–1915	1356	1090	376	160	2982
1916–1920	386	1639	159	191	2395
1921–1925	1163	1850	326	315	3653
1926–1930	1761	2654	428	913	5951
1931–1935	1362	3371	472	975	6376
1936–1940	1160	...	3238	328	299	747	6330
1941–1945	216	...	3411	296	72	299	4465
1946–1950	203	...	4257	346	246	560	5662
1951–1955	459	...	5955	557	502	572	8385

Источник: Samuel W. Fernberger, «Number of Psychological Publications in Different Languages,» *American Journal of Psychology*, 30 (1917), 141–50; 39 (1926), 578–80; 49 (1936), 680–84; 59 (1946), 284–90; 69 (1956), 304–09.

К тому же развитие во Франции, похоже, было изолировано от общего потока; редкость цитирования французских изданий в главных учебниках по психологии не соответствовала доле Франции в общем количестве публикаций. (Таблица 3).

Эти статистические данные будут объяснены. Поскольку условия, при которых создается нечто новое, не обязательно совпадают с условиями,

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НОВОЙ НАУКИ

Таблица 3. Распределение ссылок на тексты по психологии в процентах по языкам

<i>Текст</i>	<i>Язык</i>				
	<i>Итого</i>	<i>Английский</i>	<i>Немецкий</i>	<i>Французский</i>	<i>Другие</i>
Лэдд, Элементы физиологической психологии, 1887.	100.0 (420)	21.1	70.0	7.4	0.5
Лэдд и Вудвортс, 2-е издание, 1911.	100.0 (581)	45.6	47.0	5.2	2.2
Вудвортс, Экспериментальная психология, 1911.	100.0 (1735)	70.9	24.5	3.1	1.5
Вудвортс и Шлосберг, 2-е издание, 1954.	100.0 (2359)	86.1	10.9	2.5	0.5

при которых какое-либо новшество достигает необходимого признания в каком-либо другом месте, мы ограничимся объяснением начала роста, оставив анализ процессов распространения новой области для другого исследования.

Метод исследования

Изначально психология, понимаемая как область исследования, была разделена между спекулятивной философией и физиологией. Но к 1880 году основную часть работ в этой области стали представлять специализированные публикации по психологии, и философская психология была во многих отношениях дискредитирована «новыми психологами». ⁷ Такой рост производительности был связан с распространением среди психологов понимания психологии как отдельного поля исследования, и необходимости отмежевания их деятельности от традиционных областей. Обычно предполагается, что возникновение новой группы людей, посвящающих себя новой специальности, является следствием

⁷ Richard Müller-Freienfels, *Die Hauptrichtung der gegenwärtigen Psychologie*, Leipzig: Quelle & Meyer, 1929, pp. 3–6.

накопления нового знания. Наряду с накоплением знаний в определенной области возникает проблема неспособности объять его целиком, что с неизбежностью приводит к специализации. Мы же попытаемся показать, что новая научная идентичность может не только предшествовать, но и обуславливать рост научной производительности. По крайней мере, социальные факторы сыграли – независимо от фактора самих знаний – важную роль в развитии новой психологии.

Первым шагом будет установление личностей, сознательно рассматривавших самих себя как представителей новой науки, занимающихся исследованиями психических явлений с помощью таких эмпирических методов, как эксперимент, систематическое наблюдение и измерение (безотносительно к тому, называли ли они себя «психологами» или «экспериментальными философами»). Для существования такой научной идентичности необходимо выполнение трех условий: (1) человек должен заниматься эмпирическим трудом в области психологии; (2) он не должен обладать иной четко установленной научной идентичностью, например такой, как физиология; (3) он должен быть членом активно действующей группы научных психологов, а не изолированным ученым.

Рассмотрим эти ограничения по порядку: (1) В первую очередь следует исключить таких спекулятивных философов, как Декарт, Локк, Хартли, Герbart и даже Лотце, а также различных «социальных философов». Сколь бы велико ни было число созданных ими теорий, посвященных использованию эмпирических методов, этих философов нельзя причислить к научным психологам, если они в действительности эти методы не использовали. (2) Отсюда исключаются также те занимавшиеся естественнонаучными исследованиями ученые, чьи эксперименты можно ретроспективно отнести к психологии, но которые однозначно идентифицировали себя с естественными науками. Психиатры исключаются также: в рассматриваемый нами период времени они олицетворяли медицину, которая была вполне независимой от философии и, следовательно, от психологии дисциплиной. Кроме того, они осознанно основывали свои теории на постулатах медицины девятнадцатого века.⁸

(3) Наконец, нам необходимо провести операциональное различие между тремя категориями: *предшественники, основатели и последователи*. Критерием отличия первых от вторых является наличие у них учеников,

⁸ Gregory Zilboorg, *A History of Medical Psychology*, New York: Norton, 1941, pp. 400, 411–12, 434–35, 441. В конце девятнадцатого века Брейер и Фрейд развивали психологическую психиатрию, но в последующие десятилетия между фрейдизмом и немецкой академической психологией не было никаких контактов (за исключением контактов самого негативного характера).

ставших психологами. Примером предшественника может быть такой дилетант в науке, как Френсис Галтон. Эти люди сами не считали себя психологами, и их не считали таковыми их современники. Вообще говоря, они не были приобщены ни к одной научной дисциплине до тех пор, пока историки науки, созданной позже с участием других сил, не предложили им посмертной обители в сфере психологии.

Люди, сами не являвшиеся учениками психологов, но которые в качестве психологов выработали свои собственные дисциплины, являются *основателями* психологии, как новой дисциплины. Их ученики считаются *последователями*. Представители последних двух классов могут в полном смысле считаться психологами. Фактор, которому мы дали название «ученичество» (discipleship), т. е. факт обучения у определенного человека или работы с ним в качестве ассистента является, как нам кажется, адекватным критерием существования осознанной самосохраняющейся идентичности — «движения» или дисциплины. Использование чисто объективных критериев при установлении подобных линий преемственности имеет недостаток, заключающийся в том, что мы можем недооценить степень действительного влияния и идентификации, тогда как нашей целью является максимальная точность создаваемой общей картины.

Выбранные имена взяты из пяти учебников по истории психологии, включая те, которые были написаны в исследуемых нами странах.⁹ За период от 1800 до 1910 были учтены все имена немецких и американских ученых. После 1910 года число психологов в этих странах становится настолько большим, что вся литература по истории дисциплины является выборочной; кроме того, к этому времени научная психология в этих странах развивалась уже вторым и третьим поколением психологов. Относительно Великобритании и Франции, упомянуты все психологи за период с 1800 по 1940 год, поскольку их количество было гораздо

⁹ Германия: Müller-Freienfels, *op. cit.*; Франция: Fernand-Lucian Mueller, *Historie de la Psychologie*, Paris: Payot, 1960; Великобритания: John C. Flugel, *A Hundred Years of Psychology*, 2nd edition, London: Duckworth, 1951; Соединенные Штаты: Edwin G. Boring, *A History of Experimental Psychology*, 2nd ed., New York: Appleton-Century-Crofts, 1950; Robert I. Watson, *The Great Psychologists*, Philadelphia: Lippincot, 1963. Россия в данном анализе не рассматривалась. До последнего времени ее вклад в психологическую литературу был очень малым; а такие все великие русские новаторы как Сеченов, Павлов и Бехтерев, были физиологами и, следовательно, были исключены из числа психологов. Они являются хорошим примером людей, чьи достижения смогли быть интегрированными в научную психологию, только благодаря более поздним процессам в других странах, создавшим саму эту дисциплину.

меньшим, чем в Германии и Соединенных Штатах. В Великобритании и Франции научная психология появилась значительно позже, чем в США или Германии.¹⁰

Результаты

На рисунках 1–4 в генеалогической форме приведены имена научных психологов для каждой страны.¹¹ Из истории немецкой психологии девятнадцатого века пришлось исключить большое количество физиологов и философов, среди которых было много выдающихся исследователей данной области. Относительно Германии наша выборка состоит из 32 имен, пять из которых не имели предшественников (рисунок 1). На рисунке не упомянуты два имени. Густав Фехнер обладает всеми необходимыми характеристиками, кроме одной: у него не было школы последователей, несмотря на то, что он, как будет видно ниже, оказал влияние на некоторых основателей. Его скорее можно считать предшественником, чем основателем, поскольку нельзя сказать, что созданная им психофизика была развита в экспериментальную психологию, как дисциплину без посредства появившегося позже институционально основанного движения.¹² Карл Гроос появился слишком поздно, чтобы его можно было

¹⁰ Информация о биографиях и карьерах была взята из вышеуказанных пяти работ по истории психологии (особенно из книги Боринга), а также из: Mollie D. Boring and Edwin G. Boring, «Masters and Pupils among American Psychologists», *American Journal of Psychology*, 61, (1948) 527–34; Carl Murchison (ed.), *A History of Psychology in Autobiography*, Vols. I–IV, Worcester, Massachusetts: Clark University Press, 1930–1952; Carl Murchison (ed.), *Psychological Register*, Vols. II and III, Worcester, Massachusetts: Clark University Press, 1929–1933; *Minerva: Jahrbuch der Gelehrten Welt*, Leipzig: 1892. К «Германии» также относятся Австрия и немецкоязычные университеты в Швейцарии и Центральной Европе; к «Франции» также относятся франкоговорящая Швейцария и Бельгия.

¹¹ Разумеется, на этих схемах не представлены все научные психологи того периода; быть может, у упомянутых ученых и были последователи, но они не были упомянуты в использованных для данной работы источниках. Тем не менее, мы считаем, что обоснованно используем подобный метод рассмотрения развития дисциплины, поскольку известность личностей, сформировавших данное движение, является важным фактором, обуславливающим его существование.

¹² Фехнер был отчужденным (retired) физиком, посвятившим многие годы написанию пантеистических и антиматериалистических философских работ. Его труды не имели успеха, вследствие распространившейся к середине девятнадцатого века реакции на идеализм. В 1850 он принялся за исследование экспе-

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НОВОЙ НАУКИ

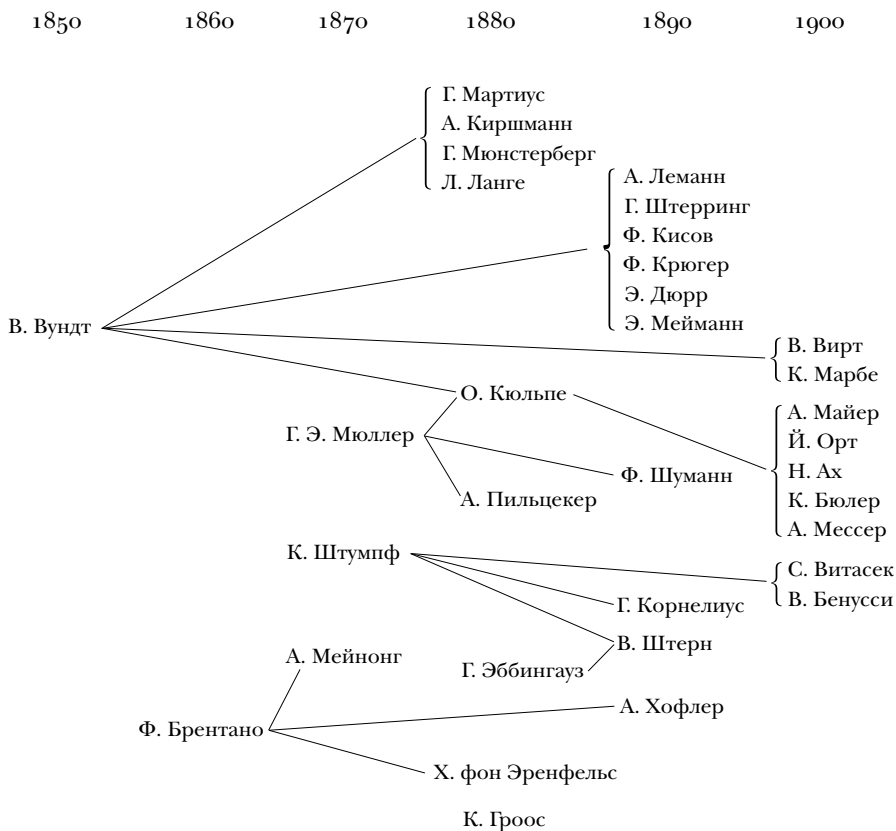


Рис. 1. Основатели и последователи среди немецких экспериментальных психологов в порядке защиты габилитационной работы с 1850 по 1909 г. (с шагом в десять лет).

риментов Э. Г. Вебера по тактильной и мускульной чувствительности с целью установления математических законов восприятия. Однако это исследование было неотъемлемой частью пантеистической системы Фехнера; с помощью законов психофизики он намеревался наглядно доказать, что сознание (mind) и материя являются двумя сторонами одного общего целого, и что весь физический мир состоит из душ, связанных друг с другом посредством физических тел. См. Robert I. Watson, *The Great Psychologists*, Philadelphia: Lippincott, 1963, p. 215, and E. G. Boring, «Fechner: Inadvertent Founder of Psychophysics,» in E. G. Boring, *History, Psychology, and Science: Selected Papers*, New York: Wiley, 1963, pp. 126–131.

причислить к бесспорным разработчикам дисциплины, поскольку он габилитировался в 1889 году, через девять лет после Эббингауза, который является самым поздним из основателей. Грооса также нельзя рассматривать в качестве основателя, поскольку у него не было последователей. Таким образом, подлинными основателями научной психологии в Германии можно считать только пятерых ученых, а именно: Вильгельма Вундта, Франца Брентано, Г. Э. Мюллера, Карла Штумпфа и Германа Эббингауза.

Из числа британских психологов нами были исключены биологи К. Ллойд Морган и Джордж Романес, а также статистик Карл Пирсон. Также не упоминается Френсис Галтон, оказавший влияние на развитие в Великобритании психологических исследований, но занимавшийся также географическими исследованиями, химией, фотографией и статистикой и к тому же не оставивший после себя школы психологии. Таким образом, британская психология составлена из 9 представителей, которые в подавляющем большинстве опирались на работы немецких основателей, Вундта и Мюллера (рисунок 2). Исключениями являются не указанный на рисунке Д. Г. Томпсон, защитивший в 1906 году диссертацию в Страсбургском университете (входившим в то время в число германских университетов), а также У. Х. Р. Риверс, обучавшийся вместе с Эвальдом Герингом, физиологом, тесно связанным с «новой психологией» в Германии.

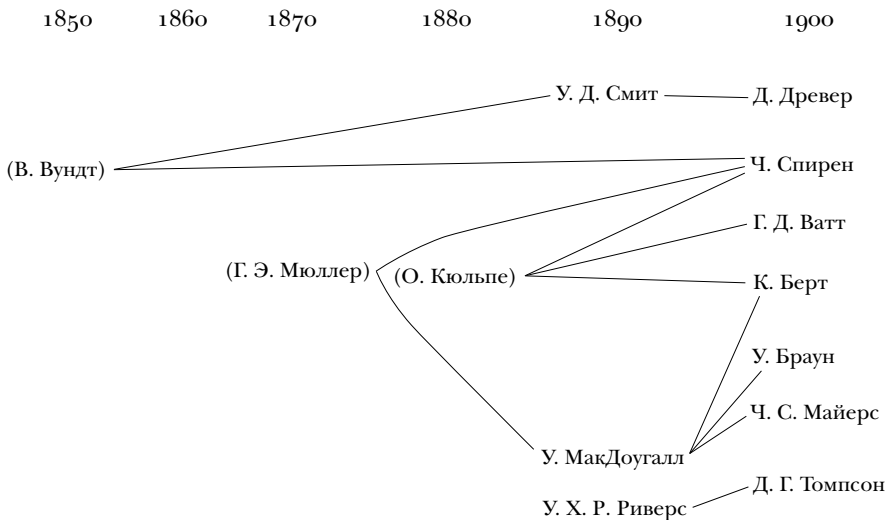


Рис. 2. Основатели и последователи среди британских экспериментальных психологов в порядке получения высшей ученой степени с 1850 по 1909 г. (с шагом в десять лет).

Но к 1890-м годам в Германии невозможно было обучаться в университете и не знать о подобных новых разработках, поэтому в области психологии Риверса нельзя назвать изобретателем экспериментальных методов.

Список французских психологов, после исключения многочисленных психиатров, некоторых физиологов и биологов, сводится к десяти именам (рисунок 3). Среди них влияние Вундта просматривается на двух представителях Швейцарской школы; еще один французский психолог, Виктор Анри, работал вместе с Мюллером, хотя до него он также работал с Альфредом Бине. Учеными, не испытавшими чьего-либо влияния, были Теодул-Арманд Рибо, Анри Бони и Пьер Жане. Рибо нельзя рассматривать как значительного новатора, поскольку он сделал себе репутацию, публикуя труды немецких психологов, за что и получил в 1889 году первую во Франции кафедру экспериментальной психологии; но в действительности он всегда оставался спекулятивным философом. Бони был физиологом, основавшим в том же году первую во Франции психологическую лабораторию; также как и Рибо, Бони сложно приписать роль независимого новатора, поскольку к тому времени в Германии и США уже в течение целого десятилетия делались лабораторные открытия. Жане был доктором медицины, унаследовавшим в 1902 году кафедру Рибо в Коллеж де Франс, однако изначально он был психиатром, не прекращавшим частную практику на протяжении всей своей карьеры.

Таким образом, можно сказать, что среди психологов во Франции был ряд исследователей, непосредственно не опиравшихся на немецких пси-

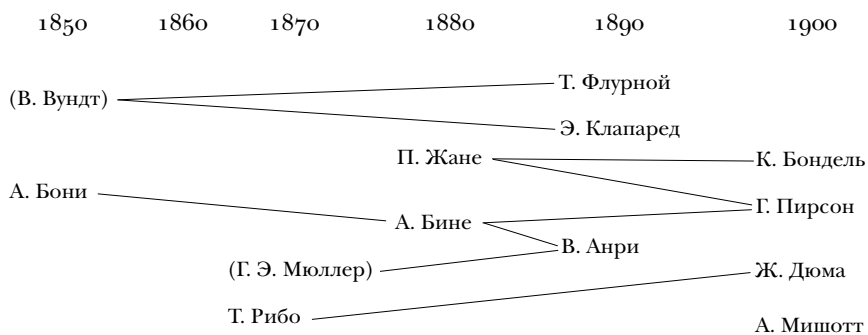


Рис. 3. Основатели и последователи среди французских экспериментальных психологов в порядке получения высшей ученой степени с 1850 по 1909 г. (с шагом в десять лет)

хологов. Некоторые из них испытали явное влияние со стороны немцев, другие же развивали собственные идеи. Если бы этих идей было бы достаточно много, французская школа смогла бы составить конкуренцию немецкой школе. Но французское развитие психологии отличалось от немецкого тем, что оно не было непрерывным. У Рибо и Бони было по одному значимому последователю, у Жане их было два. Такое относительное отсутствие преемственности обуславливалось отсутствием интереса к созданию новых ролей на основе новых идей. Как станет видно ниже, люди, работавшие в этой новой сфере, не имели ничего против того, чтобы оставаться философами, психиатрами или учеными интеллектуалами широкого профиля, которые, как, например, Бине, часто интересовались нахождением научного разрешения какой-нибудь практической проблемы. Они не были заинтересованы в создании согласованной и систематичной «парадигмы» и передаче ее следующему поколению.¹³

Наконец, касательно Соединенных Штатов, почти все исключенные фигуры являлись спекулятивными философами, такими как Джордж Т. Лэдд и Джон Дьюи. В учебниках по истории психологии очень редко упоминаются американские физиологи или представители других естественных наук. Оставшиеся 37 человек, представленные на рисунке 4, в своем подавляющем большинстве испытали влияние со стороны основателей немецкой психологии, в особенности со стороны Вундта. Единственным не имеющим предшественников американцем был Уильям Джеймс, который изначально был физиологом, основавшим в 1875 году в Гарварде маленькую демонстрационную лабораторию и впоследствии утверждавшим, что она была первой в мире психологической лабораторией. В 1885 году он стал профессором философии в Гарварде и изменил свое звание на профессора психологии лишь в 1889. В лице Джеймса Аме-

¹³ В Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago: University of Chicago Press, 1963, см. рассуждение о том, как возможен кумулятивный прогресс в науках, если они объединены вокруг определенной «парадигмы» или модели научной реальности, с соответствующей методологией и направлениями исследования. Разумеется, можно утверждать, что психология даже на сегодняшний день лишена общего консенсуса относительно такой центральной, определяющей реальность теории, какую Кун имеет в виду под термином «парадигма», и что этот термин следует использовать только для таких областей, как физика, имеющих подобную теорию. Здесь мы использовали этот термин в более общем смысле, чтобы продемонстрировать, что для новой дисциплины необходимо хотя бы минимальное согласие относительно границ поля исследования, на котором будут сосредоточивать свое внимание ее различные представители, а также относительно перечня исследовательских методов.

ски все представители первого поколения американских экспериментальных психологов были учениками Вундта, включая Д. Стенли Холла, защищавшего диссертацию не у Вундта. В 1881 году Холл, вернувшись от немецких психологов, основал первую в США действующую психологическую лабораторию, давшую начало линии последующих поколений. Пересаженная с немецкой почвы экспериментальная психология внезапно заявила о себе в Соединенных Штатах без какого-либо важного участия со стороны американских философов или представителей естественных наук.

Таким образом, ключевые условия для возникновения экспериментальной психологии следует искать именно в Германии. Идеи, способные дать начало кумулятивной традиции, можно было найти и за пределами Германии. К концу девятнадцатого века Франция, также будучи центром подобных идей, по сути, соперничала с Германией. Но, как показано в таблице 2, продуктивность во Франции, достигнув своего пика примерно в 1900 году, начала быстро снижаться, тогда как число работ в Германии, Америке и, в меньшей степени, Великобритании продолжало расти. Рисунки 1–4 демонстрируют, что автономная система для постоянной передачи и принятия новых идей существовала только в Германии. Впоследствии Соединенные Штаты, а еще позже и Великобритания, стали частью этой системы, центром которой, в конечном счете, стали США. Франция только отчасти примкнула к этой системе и не смогла развить свою собственную. Ввиду отсутствия такой системы, открытия оставались изолированными событиями; только наличие соответствующей системы могло бы способствовать их кумулятивному развитию.¹⁴

В данной работе мы не будем рассматривать всю историю создания и распада систем коммуникации в каждой отдельной стране, а ограничимся исходным образованием немецкой системы. Поэтому все остальные страны будут рассматриваться как отрицательные примеры, тогда как Германия будет единственным положительным случаем. Нам предстоит ответить на следующий вопрос: почему именно в Германии развилась эффективная система коммуникации для этих новых идей?

¹⁴ Еще одним показателем слабости французской системы является относительно высокий «уровень смертности» среди французских психологических журналов. В период с 1850 по 1950, было закрыто 70 процентов психологических журналов, издание которых было начато во Франции за это время, тогда как в США было закрыто 50 процентов, в Германии — 51 процент (за период до 1934 года, без учета запретов, связанных с периодом нацизма), в Великобритании — 21 процент. См. Robert S. Daniel and Chauncey M. Louttit, *Professional Problems in Psychology*, New York: Prentice-Hall, 1953, pp. 25, 358–74.

Гибридизация ролей

Ответом служит то обстоятельство, что только в Германии существовали условия для создания новых разновидностей профессиональных ролей, занимающихся работой в новой области. Идеи, не исследуемые людьми, полностью посвящающих себя этому занятию, подобны душам, которые бродят в мифологическом лимбе до того как обретут тело. Они могут осенить любого человека во время сна или в воображении, независимо от того, где он живет и является ли нашим современником или потомком, которому предстоит родиться через тысячу лет. Но если идеи превращаются в конечные продукты научных ролей, то их можно уже сравнивать с генами, передающимися от поколения к поколению посредством надежного естественного процесса; в обычных условиях развития этого процесса идеи не только выживают, но и разрастаются.

Новые разновидности научных ролей возникают несколькими способами. В нашем случае мы имеем дело с гибридизацией ролей, т. е. ситуацией, когда индивид, переходящий от одной роли к другой, например, меняющий одну профессию или академическую область на другую, хотя бы недолго находится в ситуации ролевого конфликта.¹⁵ Этот конфликт может быть разрешен через отказ от воззрений и поведения, свойствен-

¹⁵ Joseph Ben-David, «Roles and Innovations in Medicine,» *American Journal of Sociology*, 65 (1960), pp. 557–68. John T. Gullahorn and Jeanne E. Gullahorn, «Role Conflict and its Resolution,» *Sociological Quarterly*, 4 (1963), pp. 32–48. Эти авторы различают два вида конфликта ролей: «конфликт ролей, порожденный статусом» (status-produced role conflict), при котором относительно человека, занимающего определенное статусное положение, люди, с которыми он имеет дело, имеют различные и несовместимые ожидания, и «случайный конфликт ролей» (contingent role conflict), при котором возникающие разногласия являются следствием одновременного нахождения человека в двух статусах. Большинство дискуссий в соответствующей литературе было посвящено конфликтам первого типа, например: Robert K. Merton, «The Role-Set: Problems in Sociological Theory,» *British Journal of Sociology*, 8 (1957), pp. 106–120; а также Neal Gross, Ward S. Mason, and Alexander W. MacEachern, *Explorations in Role Analysis*, New York: Wiley & Sons, 1958. Мы же вводим третий вид конфликта ролей, получаемый в результате мобильности, а не описанных выше «статических» ситуаций. См. Peter M. Blau, «Social Mobility and Interpersonal Relations,» *American Sociological Review*, 21 (1956), pp. 290–95. Обсуждение того, почему ученые предпочитают идентифицироваться с традиционной дисциплиной гораздо чаще, чем с какой-нибудь новой и не завоевавшей престижа специальностью, см. в: Warren O. Hagstrom, *The Scientific Community*, New York: Basic Books, 1965, pp. 53, 209.

ных старой роли, и принятие воззрений и поведения, соответствующих новой роли; в случае такого отказа следует также перестать идентифицировать себя со старой реферативной группой. Тем не менее, человек не всегда хочет отказываться от идентификации со старой школой, поскольку она может обладать более высоким интеллектуальным или даже социальным статусом, чем новая. В таком случае он может попытаться разрешить конфликт посредством инновации, т. е. прилаживания к материалу новой роли методов и технических приемов, свойственных старой роли, с намерением создать новую роль.

Примером научной роли, созданной таким образом, является психоанализ, который был основан человеком, сменившим престижную профессию, связанную с научными исследованиями, на занятие со сравнительно более низким в Германии статусом, т. е. на медицину; Фрейд пытался поддержать свой статус через возвышение медицинской практики до уровня научного исследования, в результате чего был создан психоанализ. Сходным образом Пастер дал толчок для развития бактериологии через стремление поддержать свои теоретические воззрения после перехода к исследованию брожения вина и развил свое открытие в новую специальность.

Мобильность ученых между разными областями науки достигается, когда шансы на успех (т. е. обретение признания, получение кафедры в сравнительно раннем возрасте, возможность сделать выдающийся вклад) в одной дисциплине невелики, вследствие переполненности научной области исследователями при фиксированном количестве должностей. В такой ситуации многие исследователи предпочтут перейти в новые соседние области, где условия конкуренции будут лучше. В некоторых случаях это будет означать необходимость перейти в область, обладающую меньшим статусом, чем исходная.¹⁶ Так создаются условия для конфликта ролей. Разумеется, не каждый человек в подобной ситуации согласится или будет способным на создание новой роли, причем также невозможно предсказать, какие именно ученые на это отважатся. Тем не менее, с уверенностью можно сказать, что шансы на подобную фундаментальную инновацию у дисциплины, в которую прибывают ученые из более статусной дисциплины, гораздо выше, чем у дисциплины, на которую такая мобильность не распространяется,

¹⁶ Для ученого или исследователя проблема заключается не просто в социальном статусе и престиже, а скорее в эффективности научной области, в возможности достичь в ней прогресса, с точки зрения его собственных интеллектуальных критериев. Для теоретического описания науки как формы социальной организации, в которой конкуренция за признание со стороны группы коллег является основным механизмом контроля см. *Hagstrom, op. cit.*, pp. 9–104; также см. на стр. 208–220 общее обсуждение дисциплинарных различий.

или дисциплины, обладающей более высоким статусом, чем та, из которой происходит перемещение. Например, если физиология имеет более высокое положение в академической системе, чем философия, но конкурентные условия в последней лучше, то можно ожидать порождения новых ролей, при котором физиологические методы будут применены к материалу философии (в смежной для двух дисциплин области, т.е. в психологии) с тем, чтобы отличить новатора от традиционных представителей менее статусной дисциплины. Подобное вряд ли бы произошло, если бы статус философии соответствовал статусу физиологии или был более высоким, или если бы условия конкуренции в философии были одинаковыми или худшими по сравнению с условиями конкуренции в физиологии.

Более того, поскольку масштабное академическое новшество имеет шанс на успех, только если ему удастся привлечь существенное количество последователей, одного человека, столкнувшегося с ситуацией конфликта ролей, как правило, бывает не достаточно (исключением здесь, пожалуй, являются случаи открытий с поразительным диапазоном применения, например, бактериология). Для того чтобы обеспечить инновации необходимое воздействие, нужны соответствующие условия общего характера. Как человек, который присоединяется к подобному движению, так и тот, кто его основывает, имеют общую мотивацию, заключающуюся в том, что при переходе в дисциплину с более низким статусом, они стремятся с помощью инновации повысить свой собственный статус. Более того, существование подобных отношений между дисциплинами может оказать воздействие на людей внутри системы, которые не пришли в данную дисциплину из другого направления с более высоким статусом. Например, молодые специалисты в менее статусной дисциплине могут попытаться обрести признание, заимствуя методы из более статусной области. Для них самым простым способом добиться признания является переход в иную исследовательскую область, но от такого шага их удерживают выгодные условия конкуренции в их дисциплине. Даже если сами они не привносят новшеств, то, тем не менее, они могут оказаться восприимчивыми к инновации, предлагаемой «мигрирующим» ученым. Новая гибридная роль может привлечь даже молодых специалистов, еще не выбравших исследовательскую область, но уже знающих о факторе престижа и условиях конкуренции.

Важно отличать гибридизацию ролей от так называемой гибридизации идей, т.е. нового интеллектуального синтеза, состоящего из идей, взятых из разных областей. Гибридизация идей не приводит к новым академическим или профессиональным ролям и не дает начало согласованному и непрерывному движению, представляющему собой традицию.

Предшественники современной психологии, начиная с Декарта, исследовали психологическое функционирование с позиций физиоло-

гии, но они не породили движения, которое бы развило эти идеи, подобно тому, как это происходило в других науках. Нечто похожее было осуществлено британскими ассоцианистами, начиная с Джона Локка и Давида Хартли вплоть до Александра Бейна, Джеймса Уорда и Джеймса Салли в конце девятнадцатого века, но их теории не породили длительной научной традиции. Среди немецких исследователей к этой категории относятся Герbart и Лотце, а также Фехнер, который в 1850-х годах через психофизику ввел в философскую психологию экспериментальный метод, но не создал какого-либо движения, изменившего роль психолога-философа. Галтона в Англии и таких людей, как Рибо, Бони и Бине, во Франции следует рассматривать скорее как создателей «гибридных идей», а не «гибридных ролей»; вместо создания новой роли они просто добавили новый аспект к уже устоявшейся роли всесторонне развитого интеллектуала, существовавшей в этих странах с семнадцатого века. Наконец, американец Уильям Джеймс также попадет в категорию людей, создавших «гибридную идею», особенно потому, что он, в конечном счете, предпочел традиционную роль философа, а не новую роль научного психолога.

Позитивный случай

В немецких университетах девятнадцатого века физиология была в высшей степени продуктивной и быстро распространяющейся наукой. Один из пиков ее продуктивности приходится на период между 1850 и 1870 г., когда большинство кафедр физиологии отделилось от кафедр анатомии. Между 1850 и 1864 г. было создано пятнадцать кафедр. После этой даты физиология быстро достигла уровня наличия одной кафедры в университете в системе, состоящей из 19 университетов до 1870 и 20 университетов после 1870.¹⁷ В таблице 4 показано, что количество кафедр физиологии, примерно в два раза уступавшее количеству кафедр философии, увеличилось лишь на две кафедры за период с 1873 по 1910, тогда как количество кафедр философии, тогда уже доминировавших в университетах, увеличилось на восемь. Количество же экстраординарных профессоров и приват-доцентов в области физиологии увеличивалось гораздо быстрее, чем в философии. Эти должности были почетными, но плохо оплачивались; их число указывает на наличие в этих областях конкуренции за звание полного (ординарного) профессора, которое было самым желанным. Особенно сложным было продвижение в физио-

¹⁷ Awraham Zloczower, *Career Opportunities and the Growth of Scientific Discovery in Nineteenth Century Germany with Special Reference to Physiology*, неопубликованная тема докторской диссертации, департамент социологии, Еврейский Университет, 1960.

Таблица 4. Количество академических должностей по философии и физиологии в немецкой университетской системе, 1864–1938 гг.

Область и академическая должность	1864	1873	1880	1890	1900	1910	1920	1931	1938
<i>Философия</i>									
Ординарный профессор	36	40	43	44	42	48	56	56	36
Экстраординарный профессор	21	16	12	14	14	23	30	51	34
Доцент	23	21	18	19	25	43	45	32	21
Итого	81	79	75	81	85	117	140	163	117
<i>Физиология</i>									
Ординарный профессор	15	19	20	20	20	21	24	27	21
Экстраординарный профессор	3	3	4	66	9	12	15	24	18
Доцент	9	1	2	7	20	24	22	23	15
Итого	27	23	27	33	49	61	66	80	67

Примечание: в немецкой университетской системе звание ординарного профессора соответствует профессору, имеющему докторскую степень (Full Professor), звание экстраординарного профессора соответствует адъюнкт-профессору (Associate Professor). Доценты являются частными лекторами.

Источник: Christian von Ferber, Die Entwicklung des Lehrkörpers der deutschen Universitäten und Hochschulen, 1864–1954, vol. III in Helmut Plessner (ed.), Untersuchungen zur Lage der deutschen Hochschullehrer, Göttingen: Van den Hoeck, 1953–56, pp. 204, 207.

логии, поскольку большее количество кафедр было создано примерно в одно время и распределено между людьми примерно одного возраста, которые занимали их в течение десятилетий.¹⁸ В таблице 5 показано, что в 1850-х гг. шансы на получение профессорской должности среди специалистов, габилитировавшихся в медицинских науках, были гораздо выше, чем среди исследователей в философских дисциплинах. Однако в следующем десятилетии ситуация полностью изменилась, и сравнительно малая

¹⁸ *Ibid.*

конкуренция в медицинских науках стабильно увеличивалась до конца века. В период с 1860 года философия, бесспорно, имела гораздо более выгодные условия конкуренции, чем физиология. Таким образом, было создано первое условие для возможности гибридизации ролей.

Второе условие было результатом направления, в котором развивался конфликт относительно престижности между философией и естественны-

Таблица 5. Высшие должности, полученные в немецких университетах учеными, габилитировавшимися на медицинском и философском факультете (исключая естественнонаучное отделение), 1850–1909

<i>Факультет</i>	<i>Должность</i>			<i>Итого</i>	<i>Процент остающихся доцентов</i>
	<i>Ординарные профессора</i>	<i>Экстраординарные профессора</i>	<i>Приват-доценты</i>		
<i>1850–59</i>					
Медицинский	57	19	15	91	16.5
Философский	53	13	15	83	18.1
<i>1860–69</i>					
Медицинский	72	44	37	153	24.2
Философский	68	24	22	114	19.3
<i>1870–79</i>					
Медицинский	94	74	53	221	24.0
Философский	138	24	26	188	13.8
<i>1880–89</i>					
Медицинский	89	59	64	212	30.2
Философский	118	25	36	179	20.1
<i>1890–99</i>					
Медицинский	131	57	138	326	42.3
Философский	162	33	66	261	25.3
<i>1900–09</i>					
Медицинский	184	48	249	481	51.8
Философский	142	25	75	242	31.0

Источник: von Ferber, op. cit., p. 81.

ми науками в Германии на протяжении девятнадцатого века. До 1830 года великие идеалистические системы отстаивали статус философии как сверхнауки, выводя из размышления все, что могло бы с большим трудом быть добыто эмпирическими методами. Но эти претензии были разбиты быстрым распространением естественных наук, сначала возглавляемым химиками, а затем физиологами. Паульсен отмечает презрение, появившееся в отношении спекулятивной философии после подъема наук в 1830-х, которое стало убывать лишь в конце века.¹⁹ Наступление на спекулятивную философию возглавлял физик и физиолог Герман фон Гельмгольц; в 1845 году, будучи студентом в Берлине, он вместе с группой молодых ученых (в которую входили Эмиль Дюбуа-Реймон, Эрнст Брюкке и Карл Людвиг) дал клятву следовать принципу: «Никаких иных сил в организме кроме всеобщих физических и химических».²⁰ К 1860-м ученые почти лишили философию ее академической репутации и претензий на звание «сверхнауки».²¹

Вундт начал свою карьеру как физиолог в 1857 году, во время пика конкуренции за создаваемые новые кафедры физиологии. В течение 17 лет он оставался доцентом, но, не получив в 1871 году кафедру физиологии в Гейдельберге, он перешел в философию.²² В 1874 Вундт перешел на философскую кафедру в университете Цюриха, которая считалась «залом ожидания» перед назначением в лучшие университеты Германии. В это время резонанс от его *Физиологической психологии* позволил ему в 1875 году получить первоклассную кафедру философии в Лейпциге.

До того, как Вундт начал рассматривать философию как свою вторую референтную группу, он занимался тем же, что делали Гельмгольц, Геринг, Франс Дондерс и многие другие физиологи, которые проводили эксперименты над функциями органов чувств и нервной системы и время от времени указывали на то, что их работа превращала философию в избыточный анахронизм. Вундт в свою время был ассистентом у Гельмгольца, лидера антифилософского движения; переход Вундта в философию, несомненно, указывал на происшедший с ним кризис идентичности, который можно было разрешить, только создав новый философский метод.²³

¹⁹ Friedrich Paulsen, *The German Universities and University Study*, New York: Longmans Green, 1906.

²⁰ Edwin G. Boring, *Op. cit.*, p. 708.

²¹ G. Stanley Hall, *Founders of Modern Psychology*, New York: Appleton, 1912, p. 138.

²² Edwin G. Boring, *Op. cit.*, p. 319.

²³ Гельмгольц, видимо, рассматривал это как предательство; согласно некоторым источникам, именно антагонизм, испытываемый Гельмгольцем по отношению к своему старому ассистенту, стал причиной, помешавшей тому получить назначение в Берлин в 1894 г. См. *Ibid.*, p. 389.

Вундт, используя эмпирические методы Фехнера по изучению чувственного восприятия, предложил строить метафизику на прочном фундаменте, превращая таким образом философию в науку.²⁴ Чтобы сохранить свой статус ученого, ему пришлось не только осуществить революцию в философии, заменяя логические спекуляции эмпирическим исследованием, но также широко афишировать то, что его предприятие отличалось от того, чем занимались традиционные философы.

Брентано, Штумпф, Мюллер и Эббингауз были философами, заинтересовавшимися использованием в своей области эмпирических методов. Несомненно, им было известно об интервенции физиологии в сферу философии; вместо того, чтобы смириться с состоянием распада, в котором находилась философия, они предпочли «перебежать на сторону неприятеля». Известно, что, будучи доцентом, Штумпф встречался с Фехнером и Э. Г. Вебером;²⁵ Мюллер также имел переписку с Фехнером,²⁶ а Эббингауз, видимо, решил вернуться в академический мир после случайного знакомства с *Элементами Фехнера*.²⁷ Брентано, несмотря на то, что он ссылается на Гельмгольца, Фехнера и Вундта в своей первой крупной работе *Психология с эмпирической точки зрения* (1874), испытал значительно меньшее влияние с их стороны, чем остальные философы. Из этой группы основателей он также был в наименьшей степени экспериментатором. Центральной фигурой, несомненно, является Вундт. У него было наибольшее число последователей, и он наиболее четко сформулировал идеологию «философской революции». Остальные основатели, изначально являвшиеся философами, не обладали настолько же однозначной позицией и не имели столько последователей. Тем не менее, они в большой степени были людьми, создавшими гибридные роли, что четко проявляется при их сравнении с Фехнером. Последний также обладал четкой идеей, но ограничился только тем, что написал о ней и сдал ее, как выражается Дерек де Солла Прайс, в «генеральный архив науки». Однако философы, испытавшие влияние Вундта, использовали ее для создания новой ролевой разновидности.

Негативные случаи

Во Франции не было такой инновации, как использование экспериментальных методов в философии. Во французской академической систе-

²⁴ Hall, *op. cit.*, pp. 323–326.

²⁵ Edwin G. Boring, *Op. cit.*, p. 363.

²⁶ *Ibid.*, p. 374.

²⁷ *Ibid.*, p. 387.

ме существовала сильная конкуренция за должности в естественных науках; физиологи были в довольно сложном положении, поскольку к концу девятнадцатого имели менее одной кафедры на университет (таблица 6). Немногим лучше дела обстояли со свободными должностями в области философии. Эта ситуация в корне отличалась от ситуации в Германии, где на протяжении нескольких десятилетий область физиологии была переполнена специалистами, тогда как во Франции физиология все еще распространялась по университетам.

Таблица 6. Количество академических должностей по философии и физиологии во французской университетской системе, 1892–1923

Год	Философия		Физиология		Число университетов ^a
	Занимаемые кресла	Всего	Занимаемые кресла	Всего	
1892	17	27	10	17	15
1900	20	28	12	20	15
1910	22	30	14	27	15
1923	22	*	17	*	16

^a Включая Коллеж де Франс.

* Данные по должностям ниже уровня профессора, имеющего докторскую степень (Full Professor), за 1923 год недоступны.

Источник: Minerva, Jahrbuch der Gelehrten Welt, 2 (1892), 10 (1900), 20 (1910), 27 (1923).

Кроме того, во Франции существовала центральная интеллектуальная элита, чей статус определялся расплывчатым критерием превосходства (excellence), а не постоянными назначениями и достижениями в отдельных областях.²⁸ Линии демаркации между дисциплинами были слишком аморфными, чтобы значить что-либо для такого человека, как Бине, который мог позволить себе увлекаться юриспруденцией, энтомологией, психиатрией, экспериментальной психологией и образовательным тестированием. Он мог рассчитывать на то, что для удовлетворения его личных потребностей будут созданы соответствующие условия, и что его достижения будут признаны без необходимости их обоснования в терминах какой-либо отдельной академической дисциплины.

²⁸ Joseph Ben-David and Awraham Zloczower, «Universities and Academic Systems in Modern Societies,» *European Journal of Sociology*, 3 (1962), pp. 45–85.

Существующие должности давали возможность их обладателям заниматься широким кругом деятельности; например, антрополог Люсьен Леви-Брюль возглавлял кафедру философии; социолог Эмиль Дюркгейм возглавлял кафедру образования, а многие кафедры по экспериментальной психологии могли быть переданы таким людям, как Пьер Жане и Шарль Блондель, которые были главным образом психиатрами. Коллеж де Франс, самый престижный институт Франции, поощрял уникальные индивидуальные достижения, но не предоставлял достаточно возможностей для работы специалистов в уже существующих областях, а также не допускал обучения «последователей», так как все должности предполагали исследовательскую, а не преподавательскую деятельность. Рибо, распространив во Франции немецкую психологию, мог получить кафедру экспериментальной психологии в Коллеж де Франс, учрежденную специально для него, но подобное признание его как отдельного исследователя, видимо, не позволяло ему основать собственную школу и найти последователей. Показателем тенденции к чисто индивидуальному признанию может служить тот факт, что Анри Пьерон мог получить основанную специально для него кафедру в Коллеж де Франс (по физиологии чувственного восприятия) только потому, что профессор археологии умер, не оставив подходящего последователя.²⁹

В отличие от немецкой университетской системы во Франции дисциплины были недостаточно дифференцированы для того, чтобы создать серьезные конфликты ролей среди людей, обладающих идеями. Элита состояла из единственной группы интеллектуалов, лишенных явно выраженной специализации, а также «философов» в духе восемнадцатого века, тогда как престиж приписывался отдельному человеку, а не дисциплине. Короче говоря, французская система ориентировалась на интеллектуальные инновации, вносимые отдельными личностями, и не предоставляла условий для существования движений, стремящихся создать новую дисциплину.

Условия, препятствующие развитию конфликта научных групп во Франции, присутствовали в большем масштабе в Великобритании. Число кафедр философии и физиологии в Великобритании было примерно равным числу этих кафедр во Франции (таблица 7). Как тех, так и других было примерно по одной на университет, с небольшим преимуществом со стороны философии, но с одновременным распространением кафедр физиологии. Здесь необходимость получения академической должности была еще меньшей, чем во Франции. Если во Франции чело-

²⁹ Henri Pieron, «Autobiography,» in Carl Murchison (ed.), *A History of Psychology in Autobiography*, vol. IV, Worcester, Mass.: Clark University Press, 1952.

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НОВОЙ НАУКИ

Таблица 7. Количество академических должностей по философии и физиологии в британской университетской системе, 1892–1923

Год	Философия		Физиология		Число университетов
	Занимаемые кресла	Всего	Занимаемые кресла	Всего	
1892	13	15	9	20	10
1900	16	20	12	21	11
1910	19	38	14	29	16
1923	22	*	16	*	16

* Данные по должностям ниже уровня профессора, имеющего докторскую степень (Full Professor), за 1923 год недоступны.

Источник: Minerva, Jahrbuch der Gelehrten Welt, 2 (1892), 10 (1900), 20 (1910), 27 (1923).

веку, в конечном счете, приходилось получать официальную должность, то в Великобритании и это было необязательным.

До 1832 года во всей Англии было лишь два университета и еще четыре в Шотландии, причем все они являлись не чем иным, как местом, где интеллектуалы из высших классов проводили время. До конца века было основано еще четыре провинциальных университета, а в первое десятилетие двадцатого века к ним прибавилось еще полдюжины. Столкнувшись с угрозой остаться позади технологически ориентированных университетов для «низшего класса», Оксфорд и Кембридж стали принимать новые науки с целью восстановить свое как интеллектуальное, так и социальное превосходство.³⁰

К концу девятнадцатого века этот процесс все еще не закончился; поэтому центр философии и физиологии находился далеко не в британских университетах.³¹ Физиологам, стремившимся получить доступ в консервативные британские твердыни, преподаваемая в них академическая философия, должно быть, казалась устаревшей и незаслуженно привилегированной областью. Но фактора мобильности не существовало,

³⁰ Walter H. V. Armytage, *Civic Universities*, London: Ernest Benn, 1955, pp. 178, 206.

³¹ Например, ни Герберт Спенсер, ни Дж. Ст. Милль не занимали академических должностей. Физиологические исследования по большей части проводились специалистами в области медицины в независимых клиниках. См. Abraham Flexner, *Medical Education: A Comparative Study*, New York: Macmillan, 1925.

поскольку все еще можно было добиться престижного положения в философии или физиологии вне стен университета. Такая внеуниверситетская традиция была отдушиной, снимавшей напряжение, которое могло бы привести к основанию новой психологии.

В Соединенных Штатах экспериментальной психологии также не удалось зародиться; однако в 1880 г. здесь возникло масштабное и успешное движение последователей немецкой психологии, которое за одно или два десятилетия до этого появилось (только в меньшем масштабе) во Франции и Британии. До этого периода в США существовало значительное число небольших колледжей.³² В этих колледжах психология была ветвью философии, которая продолжала шотландскую философскую традицию восемнадцатого века и имела сильную религиозную окраску. Философию преподавали президенты колледжей, 90 процентов которых были священниками.³³ В Соединенных Штатах философия занимала такую же доминирующую позицию, как и в Германии в начале века, но во всех остальных отношениях колледжи были похожи на философские факультеты в Германии до реформы фон Гумбольта 1810 года (представлявшие собой низшее подразделение университета). Обучение состояло из заучивания, зарплаты преподавателей были низкими, а также не существовало условий для исследовательской деятельности. Преподавательская должность была не больше, чем возможность для нуждающихся священников получить дополнительный заработок.³⁴ В этих условиях не могло существовать движений, направленных на основание новой дисциплины, так как не было должностей, за которые нужно было конкурировать, институты были слишком малы, чтобы в них была возможна специализация, а исследовательская деятельность вообще не являлась функцией академического сообщества. Настоящее движение в экспериментальной психологии, несомненно, производное от подобных движений в Германии, возникло в Соединенных Штатах только после основания первой аспирантуры в 1876 году.

³² В 1861 году существовало 182 колледжа, каждый из которых в среднем состоял из шести преподавателей. См. Richard Hofstadter and Wolfgang Metzger, *The Development of Academic Freedom in the United States*, New York: Columbia University Press, 1955, pp. 211, 233.

³³ Здесь имеется в виду «психология способностей» Томаса Рейда, Дугалда Стюарта и Томаса Брауна; относительно роли президентов колледжей см. Hofstadter and Metzger, *op. cit.*, p. 297.

³⁴ Bernard Berelson, *Graduate Education in the United States*, New York: McGraw-Hill, 1960, p. 14.

Резюме

Инновация экспериментальной психологии была обусловлена механизмом гибридизации ролей. Она имела место только в Германии, не считая независимо организованных исследовательских традиций в Великобритании и Франции, включенных в движение по экспериментальной психологии существенно позже. Для этого было необходимо наличие трех факторов: (а) философы и физиологи должны были исполнять академическую, а не любительскую роль; (b) философии необходимо было предоставлять лучшие условия конкуренции по сравнению с физиологией, чтобы спровоцировать переход специалистов и методов из физиологии в философию; (с) философия должна была обладать более низким академическим статусом, чем физиология, что принудило бы физиологов поддерживать свое научное положение через применение эмпирических методов физиологии на материале философии.

В Германии были представлены все три фактора. Во Франции имел место только первый фактор. Все ученые, работающие в данной области, в конечном счете, получили желаемые должности, но их карьера зачастую начиналась за пределами корпуса академических дисциплин, и их официальный академический статус не являлся общепринятым. Второй фактор был представлен во Франции в незначительной степени, а третий вообще отсутствовал, поскольку авторитет приписывался отдельным индивидам, а не дисциплинам. Если последние два фактора были представлены в Великобритании примерно так же, как и во Франции, то первый фактор присутствовал здесь еще в меньшей степени, чем во Франции, поскольку британские философы и физиологи в подавляющем большинстве были любителями, а не специалистами. В Соединенных Штатах до 1880 года отсутствовали даже основы академической системы, в которой могли бы существовать три упомянутых фактора.

Вследствие всего вышеизложенного экспериментальная психология зародилась именно в Германии. Причина, по которой Франция, в отличие от Соединенных Штатов и Великобритании, не смогла позже присоединиться к общему потоку развивающейся экспериментальной психологии, пока остается неисследованным.

ВИТАЛИЙ КУРЕННОЙ

ФИЛОСОФИЯ И ИНСТИТУТЫ:

СЛУЧАЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ

Существующие способы трансляции и развития философской мысли в основной своей части организованы таким образом, что поддерживают представление об определенной внеисторической и внесоциальной тождественности дискурсивных образований в этой сфере. Когда говорится, например, о таких философских направлениях, как теория науки или феноменология, предполагается, что существует некоторое устойчивое концептуальное образование, которое хотя и окрашивается в соответствии с тем социально-культурным контекстом, в котором оно оказывается, однако продолжает сохранять определенную идентичность. Предполагается также, что философская проблематика как таковая может быть вычленена и усвоена в ходе внимательного аналитического прочтения определенных произведений, имеющих систематический и теоретический характер. Сам по себе этот способ экспликации философских проблем является значимым социальным и дискурсивным фактором, оспаривать который на теоретическом уровне — означает игнорировать его природу, включающую в себя как идейно-теоретическую, так и социально-институциональную компоненту. Как и в любой другой науке, теоретизация в философии, направленная на «сами вещи», предполагает овладение некоторым методологическим и концептуальным аппаратом, который в данной области в основном и сводится к усвоению определенных категориальных схем и дискурсивных навыков. Внимательное чтение определенного корпуса текстов, попытки продолжения и развития вычленяемых в ходе этого чтения рассуждений, обобщенное и адаптированное к современному языку изложение прочитанного и даже перевод — все это составляет существенную часть деятельности образовательных и исследовательских структур современного философского предприятия, в который современный философ включен тем или иным образом. Генезис систематического

и исторического канона этого предприятия, сводимого к корпусу определенных текстов, не является предметом сколько-нибудь пристального интереса, поскольку такого рода исследования обнаруживают контингентный характер того, чему предписывается безусловная значимость. Освоение этого канона в философии, успешность которого может быть понята также как умение принимать участие в определенных «языковых играх», образует основной состав профессиональной компетенции в этой области. При этом любая попытка поставить этот канон под вопрос, эксплицировав конечный объективированный ряд социально-исторических факторов, под влиянием которого он сложился, грозит нарушением профессиональной идентичности, что воспринимается – в силу ряда особенностей данного типа занятий – также и как покушение на персональную идентичность как таковую. (Сказанное относится не только к философии, но ко всей сфере так называемых гуманитарных наук в той мере, в какой здесь отсутствует «общепринятый» (по меньшей мере конвенционально) эмпирический базис и набор проблем, по отношению к которому могут безболезненно релятивизироваться концептуально-теоретические средства.)

Попытка дистанцироваться от сложившейся системы воспроизводства и передачи философского знания может быть реализована в рамках двух стратегических подходов. Радикально-критический подход предполагает выход за пределы *de facto* институционально признанного философского дискурса как такового и обращение к языку политики, искусства, психотерапии и т. п. Второй предполагает мобилизацию допустимых в рамках данного дискурса средств критики, которая может опираться на набор нормативов, обеспечивающих рациональную легитимацию самих научных институтов (требование критического рефлексивного отношения к собственным позициям и т. д.). Первая стратегия так или иначе реализовалась в эпатажных версиях критики идеологии, «конца философии» и т. д. Вторая находит свое выражение в расширении пространства самого научного дискурса, в частности, в конституировании новых дисциплин, одной из которых является, например, «социология знания» (радикальные версии которой зачастую довольно близки первому подходу). Несмотря на большой резонанс концепций, развиваемых в рамках первой стратегии, представляется возможным констатировать, что не существует способов устойчивой трансляции подобной методики независимо от тех институтов и дискурсивных практик, от которых эти концепции изначально предполагали дистанцироваться. Убедительность критического отношения здесь напрямую зависит от степени владения исходным материалом, тогда как попытка генерализации такого рода подходов в чистом виде стремительно обесценивает его значимость (что выражается в маргинализации соответствующего подхода в рамках существующих академических институтов).

Данную проблему можно переформулировать также в терминах конфликта интерналистского и экстерналистского подхода к рассмотрению философских и научных проблем. Но если применительно к конкретным (в первую очередь – естественным) наукам современная история и теория науки давно миновала этап интернализма, то в области философии доминирующим профессиональным способом освоения проблематики является сугубо интерналистский способ анализа теоретического содержания определенных текстов. Причем этот доминирующий уклад философии работает как механизм, поддерживающий и закрепляющий сам себя. Например, фиксация Канта в качестве одной из основных фигур в философском развитии последних трех столетий осуществлялась посредством подробнейших комментариев, вроде комментария Файхингера, составления огромных частотных лексических индексов (утративших свое значение с приходом электронных текстов), самых разнообразных критических изданий сочинений, не говоря уже об огромной вторичной литературе как таковой. Можно также отметить тенденцию к гомогенизации базового канона философских текстов, для которой не составляют препятствия весьма существенные доктринальные различия между философскими направлениями. Например, даже в советской философии картина новейшей философии складывалась под доминирующим влиянием немецких учебников¹. Как результат – гипертрофированный объем исследований относительно фигур, в связи с которыми едва ли можно рассчитывать на то, чтобы высказать нечто новое (допущение, основывающееся на невозможности освоения всего корпуса соответствующей вторичной литературы), и безбрежная пустыня на месте действительной интеллектуальной истории. По этой причине методологический подход Рэндалла Коллинза, основанный на количественном анализе «различных изложений истории философии» (Коллинз, 2002, 115), до определенной степени лишь закрепляет данную наивность в философии, слепо следующей генетически непроясненной «истории героев». Как результат имеет место вытеснение в сферу узкого специализированного интереса тем и персоналий, отсев которых первоначально происходил под влиянием конъюнктурных факторов своего времени. Приведем два примера.

Критическое отношение к Канту в период становления неокантианства в Германии и формирования истории философии как особой философской дисциплины привело, например, к тому, что за пределы базового

¹ Ср., например, рубрицирование и отбор персоналий для третьего тома «Антологии мировой философии в четырех томах» (М.: Мысль, 1971) и двухтомную историю философии Иоганна Хиршбергера (Johannes Hirschberger. *Geschichte der Philosophie*. Erstdruck: Freiburg 1948/1952).

канона истории философии был фактически выведен А. Тренделенбург — одна из ключевых фигур Германии 19 века, предложивший, в частности, в ситуации послегегелевского кризиса «теорию науки» как одну из стратегий сохранения теоретических притязаний философии. Это «слепое пятно», которое можно объяснить, исходя из текущей дискуссии того времени (критическое отношение Тренделенбурга к Канту, поворот к аристотелизму и ряд других), подвергается закреплению в ходе последующего вторичного воспроизводства канона, тогда как интерналистский подход при освоении философской проблематики не позволяет обратиться к реальному полю философской дискуссии, следуя исключительно предначертанным ранее связкам. В качестве другого примера можно привести историю формирования такой философской дисциплины, как «теория познания». Бытующее профессиональное мнение на этот счет сформулировано неокантианцем Э. Кассирером и состоит в том, что сам термин «теория познания» был введен в 60-х гг. 19 века неокантианцем Э. Целлером, что соответствует формулированию проблематики теоретико-познавательного подхода в рамках неокантианства². В то же время как история термина восходит, в действительности, к 1801 году, а история проблемы — к работам Фридриха Эдуарда Бенеке 20–30 гг. 19 века³. Для понимания истории формирования теоретико-познавательного подхода контекст возникновения этой дисциплины является, разумеется, важнейшим, поскольку именно он объясняет возникновение традиции, в которую уже заранее встроены современный теоретик познания. Вместо этого мы имеем дело с имплицитно идеологизированной историей проблемы, за пределы которой невозможно выйти путем интерналистской работы в рамках общепринятого канона авторитетных текстов и заданных вариантов их интерпретации, поддерживающих эту историю.

Альтернативный экстерналистский подход (или сочетание интерналистского и экстерналистского подхода) в значительной степени позволяет избежать указанных недостатков, ориентируясь на широкий контекстуальный подход к анализу философских позиций. Не затрагивая в данном случае весь комплекс вопросов, возникающих в связи с особенностями ряда концепций современной социологии знания и, применительно

² Это же воззрение транслируется и парадигмальными критиками теоретико-познавательного подхода. См. Рорти, 1997, 100.

³ «У Бенеке, ориентировавшегося на Джона Локка, впервые определяется смысл и содержание учения о познании в современном смысле, и оно понимается при этом как проект, противоположный метафизике, обновленной в немецком идеализме» (Köhnke, 1986, 70). В этой же работе см. подробную историю термина «теория познания» (Köhnke, 1986, 58 ff.).

к нашей теме, социологии философского знания, определим, однако, собственную позицию в контексте этих дискуссий.

1. Дилемма каузального и некаузального подхода в сфере социологии знания является, на наш взгляд, некритично воспринятой оппозицией, формирование и основные функциональные роли которой восходят к середине 19 века. Перманентная дискуссия в этих категориях ведется более полутора столетий и структурно аналогична ряду других проблем, которые примерно с этого же времени неизменно воспроизводятся в философии (к таким относится, в частности, психофизическая проблема, проблема наличия бессознательного и т. п.). Ввиду этого приписывание каузальному подходу научного характера *par excellence* является, по существу, воспроизведением репрессивной формулы, которую само следовало бы подвергнуть историко-социологическому анализу в первую очередь.

2. Представляется, что нивелирование идейной структуры философских работ как «социального института» с другими социальными институтами примитивизирует набор аналитических средств, провоцируя построение однозначных детерминационных зависимостей в духе «критики идеологии» (см., например, анализ немецкого академического сообщества, предложенный Фритцем Рингером (Ringer, 1969)). «Чистый» анализ содержания философских работ поддерживается существующими институтами современной философии (как образовательными, так и исследовательскими) и является структурно самостоятельным элементом построения и функционирования философского дискурса в целом. Если же, в свою очередь, критически подходить к такого рода вариантам «критики идеологии», то можно отметить, что в своем последовательном проведении этот подход ставит в двусмысленное положение работы самих его сторонников, к которым сразу же обращается требование рефлексивности.

3. Различие между «чисто теоретическим» содержанием философских работ и их возможным функционированием в качестве социальных факторов является действующим и конститутивным фактором самим по себе. Игнорирование этого и сходных различий, признаваемых агентами, действующими в теоретическом и социальном поле, имеет следствием: а) искажение реконструкции «комплекса воздействий» (Дильтей), порождающего определенные дискурсивные конфигурации, являющиеся предметом исследовательского интереса; б) потерю специфики гуманитарного анализа как такового. Историческая, культурная и теоретическая дистанция не является в этой сфере достаточным основанием для такого рода редукативных процедур, поскольку учет дифференциаций, проводимых участниками потенциального коммуникативного взаимодей-

ствия, является имплицитной нормой научного дискурса как такового⁴. (Вообще говоря, данный аргумент от «норм коммуникации» позволяет, на наш взгляд, ориентировать познавательную установку в постметафизическую и постпозитивистскую эпоху при одновременном сохранении определенной специфики того дискурсивного комплекса, который мы называем «научным познанием».) Это положение следует, видимо, пояснить на примере. Франц Brentano однажды высказал следующее замечание относительно объема работы Гуссерля «Логические исследования»: «Я, конечно, знаю, с какими соображениями в настоящее время должен считаться встающий на ноги доцент в отношении публики, точнее правительства, которое способно вымерять только количество, а не качество» (письмо Гуссерлю от 21. X.1904 (BW, I, 23))⁵. Такого же рода предположение, несомненно, мог бы высказать и современный социолог знания. Если бы он подкрепил его сведениями из соответствующих правительственных документов или же документов, которые не имели официального статуса, но выражали сложившиеся негласные соглашения по поводу

⁴ Ср. К.-О. Апель, Развитие «аналитической философии языка» и проблема «наук о духе»: «Необходимость “понимания” обнаруживается... в первую очередь не как необходимость психологического вчувствования, а как необходимость участия в интерсубъективном диалоге. Поскольку такая необходимость существует – а это следует признать по меньшей мере применительно к интерпретативному сообществу ученых, – постольку она никоим образом не может быть заменена объективными методами объяснения “поведения”» (Апель, 2001, 128).

⁵ Привлечение здесь и далее переписки Гуссерля объясняется довольно простым (однако важным с точки зрения социологии знания) обстоятельством. Корпус текстов, составляющих наследие Гуссерля, является на сегодняшний день одним из наиболее репрезентативных в сравнении с опубликованным наследием многих других мыслителей 20 столетия. Переписка является при этом уникальным источником, поскольку она, с одной стороны, все еще продолжает функционировать как полноценный научный документ, нередко более значимый, чем «открытые» публикации (см. роль переписки Рассела и Фреге, Гуссерля с Дильтеем и Фреге и т. д.). Тем самым в рассматриваемый период она все еще сохраняет ряд функций, выполнявшихся перепиской до возникновения общераспространенных на сегодняшний день каналов научной коммуникации (журналы, конференции и т. д.). С другой стороны, переписка имеет больше степеней дискурсивной свободы: именно здесь можно разыскать случаи «перевода» и декодирования теоретических выкладок применительно к социальным и институциональным контекстам, которые блокируются правилами построения публичных текстов. Именно в этом проявляется ее большое значение как эмпирического базиса исторического и социального исследования.

объема сочинений перспективных приват-доцентов в Германии на рубеже 19–20 вв. (он мог бы сослаться, в частности, и на это суждение Brentano), то читатель мог бы посчитать предложенное «объяснение» достаточно обоснованным и правдоподобным. Однако такой объективирующий подход, предельно упрощающий мотивационную структуру, определяющую действия Гуссерля, тем самым препятствовал бы развитию более сложных и многофакторных концепций, нацеленных на контекстуальное изучение возникновения «Логических исследований». К счастью, мы располагаем *аргументированным* ответом Гуссерля на объяснение, предложенное Brentano⁶. Самоопределение Гуссерля по отношению к этому объяснению является самостоятельным социальным и идейным фактором, который указывает на то, что обширный характер его знаменитой работы если и срабатывал как положительный фактор в последующей карьере Гуссерля, однако в иерархической системе целей, реализуемой посредством этой работы, не играл определяющей роли. Объяснение, предложенное Brentano, является редукционистским постольку, поскольку связывает замысел работы с институциональным фактором узкой контекстуальной значимости (а именно, связанным с текущими карьерными задачами),

⁶ Письмо Гуссерля Brentano (3. I.1905) «Встающим на ноги приват-доцентом», обращающим внимание на публику и правительство, я на самом деле не был. Такого публикуют сразу много и часто. Он определяется в своих проблемах и методах модой, он опирается в этом на тех, кто имеет широкое влияние и известность (Вундт, Зигварт, Эрдман и т.д.), и особенно остерегается радикально их оспаривать. Напротив, я поступал совершенно противоположным образом, поэтому нет ничего удивительного в том, что я оставался целых 14 лет приват-доцентом и даже сюда, в Г <еттинген>, прибыл только в качестве экстраординарного профессора и против желания факультета. В течение девяти лет я, можно сказать, ничего не публиковал, а после публикации настроил против себя почти все авторитеты. Этих последних — тем, что я сам ставил перед собой проблемы и шел своими собственными путями, а также тем, что в критике я не руководствовался никакими другими соображениями кроме соображений сути дела. Поступал я так, однако, не из добродетели, а в силу неизбежности и необходимости. Эти вопросы обрели надо мной такую власть, что я не мог иначе — несмотря на настоятельную потребность в скромной должности, которая могла бы предоставить мне внешнюю независимость и возможность более значительного личного влияния. Это были тяжелые времена для меня и моей семьи, и, памятуя о том, что я должен был перенести тогда, я все же не могу легко позволить ставить себя рядом с теми рачителями, которые никогда не посвящали себя делу, не говоря уже о том, чтобы пострадать за него, но зато могли притязать на все внешние успехи и почести» (BW, I, 25–26).

что, однако, блокирует рассмотрение феноменологического проекта Гуссерля как ориентированного на решение более амбициозных, по сути — культурно-цивилизационных задач⁷. Очевидно, однако, что правильная ориентация в действующей здесь системе факторов требует значительно более трудоемкого анализа многочисленных социальных отношений, включающих не только карьерные стратегии представителя профессиональной философской корпорации, но также его положение как чиновника в системе немецкой бюрократии (после получения профессорской должности), культурный сдвиг, произошедший при намеренном перемещении из австрийской в германскую среду, давления, испытываемое евреями в немецкой социальной среде и т. д.

С учетом высказанных общих замечаний укажем теперь ряд базовых институциональных особенностей того контекста, в котором происходило конституирование феноменологической философии и которые, на наш взгляд, сыграли важную роль при возникновении и развитии феноменологии и раннего феноменологического движения, обеспечившего этому философскому направлению широкое институциональное признание. В первую очередь необходимо отметить, что при анализе философской динамики в этот период следует считаться с тем широким контекстуальным обстоятельством, что в 19–20 вв. философия в Германии находится в *уникальной ситуации*, которую лишь приблизительно можно сравнить с положением философии в других странах и которая связана с функционированием Гумбольдтовой модели университета⁸. По своему генезису *теоретические* корни этой модели могут быть прослежены в немецком неогуманизме и работах Канта, тогда как на ее формирование непосредственное влияние оказали другие представители немецкой «классической философии», а также Шлейермахер. Ключевым моментом в истории немецкой философии после открытия университета нового типа в Берлине (1808) является то, что легитимация этого института в целом имела *философский характер*⁹ и ориентировалась на философски фундированное понимание

⁷ Тенденция, публично проявившая себя у «позднего» Гуссерля, но вполне осознававшаяся уже представителями раннего феноменологического движения. Так, Адольф Райнах писал с фронта Теодору Конраду в 1915 году: «я не изменил своего убеждения в том, что феноменология может дать то, что требуется новой Германии и новой Европе; я верю, что перед ней открыто великое будущее» (см. Райнах, 2001, 423).

⁸ Подробнее об «университете Гумбольдта» см. публикуемый в этом номере журнала фрагмент работы Г. Шнедельбаха «Философия в Германии 1831–1933».

⁹ В 1910 году Эдуард Шпрангер писал в своей работе «Вильгельм Гумбольдт и реформа образования»: «Только полным преобразованием понятия науки, которое

взаимодействия института науки и других социальных институтов (в первую очередь государства). Эта теоретическая легитимация, основывающаяся на определенном видении структуры и динамики развития научного знания, не только определяла *внешний* характер взаимодействия института, в котором локализовалось научное знание, с социальной системой в целом, но и предписывала специфическую *внутреннюю* структуру этому институту, основываясь, опять же, на определенных представлениях о динамике и векторе развития знания. В рамках этого института происходит канонизация его предтеч и протагонистов («немецкая классическая философия»), которым довольно быстро придается статус общенациональной культурной ценности (в особенности Канту и Фихте, тогда как положение Гегеля — ввиду нарушения одного из институциональных постулатов, предписывающих бесконечный характер развития знания¹⁰, — является здесь проблематичным). Прекращение этой институциональной гомогенности можно датировать приходом к власти нацистов. Однако если учитывать активные попытки реанимации этой модели, предпринимавшиеся философами и после второй мировой войны (в лице, главным образом, Карла Ясперса), то можно сказать, что с закатом этой системы мы имеем дело только сейчас, по мере ухода агентов, профессиональная социализация которых происходила в рамках данной институциональной модели. Последствия этой трансформации еще только начинают обнаруживаться, однако, мы все еще можем уловить последние отблески на закате одной из наиболее

было осуществлено новой философией, можно объяснить то, что труд Гумбольдта мог увенчаться учреждением университета. То, что возникло в Берлине, было чем-то действительно новым по своей сути, а не только по величине и изобилию. Здесь нашла организационное выражение высокая идея знания, преодолевшая основную техническую ориентацию Просвещения» (Spranger, 1960, 13). Само появление работ Шпрангера о Гумбольдте (см. также Spranger, 1909), отмечавших ключевую роль немецкой классической философии в проекте нового университета, также может быть понято как обращение к генетическим основаниям легитимации немецкого университета с целью поддержания институционализированной философии определенного типа. То есть эти работы могут рассматриваться как принадлежащее той же дискурсивной формации, что и работы Гуссерля (несмотря на их значительные содержательные различия).

¹⁰ Ср. у Гумбольдта (О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине (1803)): «... особенность высших учебных заведений состоит в том, что для них наука всегда представляет собой проблему, еще не решенную своего окончательного разрешения» (Гумбольдт, 2002, 5). Можно сказать, что «система Гегеля» была обречена уже ввиду только этой несовместимости с институциональным регулятивом.

выдающихся институциональных форм, когда-либо дававших прибежище философии в истории западной культуры, которую можно сопоставить с античными школами и «золотым веком» средневекового университета.

С учетом указанной предпосылки анализа в качестве базовой институциональной и, соответственно, дискурсивой структурной дифференциации можно предложить следующую схему. В рамках профессионализованного философского сообщества можно выделить, 1) философские школы в узком смысле¹¹, в значительной степени разделяющие общий понятийный и категориальный аппарат¹² и ведущие дискуссии на соизмеримом языке по поводу «конкретных» вопросов и проблем; 2) совокупность профессиональных, институционально признанных школ и направлений, которые хотя и взаимодействуют на специализированном и недоступным профанам языке¹³, однако существенно расходятся в трактовке базовых элементов категориального аппарата, что, в свою очередь, может быть следствием несоизмеримости эпистемического каркаса¹⁴ соответствующих доктрин¹⁵. Экспликацией изоморфных структур в этой области занимается «история проблем» (Problemgeschichte), парадоксальность которой, однако, состоит в том, что каждая отдельная доктрина обычно

¹¹ Например, феноменология, неокантианство и т. д. Однако если оперировать в качестве различительного признака дискурсивно-категориальным критерием, то деление должно быть еще более дробным: реалистическая и трансцендентальная феноменология, марбургская и баденская школа неокантианства и т. д.

¹² Например, категории «полагания» (Meinen) и «положение дел» (Sachverhalt) в феноменологии.

¹³ В рассматриваемый нами период сюда можно отнести понятия «я», «значимость» (Geltung), «психическое» и т. д.

¹⁴ Под эпистемическим каркасом мы понимаем совокупность предельных познавательных категорий, задающих правила обсуждения всех других философских проблем в том числе и самой высокой степени общности. Его структура определяет основные правила конструирования онтологий (понятие «предмета», «отношения» и т. д.), очерчивает сферу, доступную (и, соответственно, не доступную) познавательной активности, фиксирует характер знаний, подлежащих объективированной трансляции, эксплицитно или имплицитно формулирует систему семантики, задает понимание познавательно-релевантной истинности и ложности и некоторые другие эпистемологически важные понятия.

¹⁵ Из сказанного видно, что применительно к философии в рассматриваемом здесь контексте было бы неверно говорить о структуре, устроенной по образцу парадигмы. Если и подыскивать аналогию из современной теории науки, то применительно к философии можно говорить о сосуществовании различных исследовательских программ.

предлагает решение проблемы, тогда как проблема продолжает сохраняться и решаться с других теоретических позиций. Для философии со второй трети 19 и до начала 20 века в Германии характерно, что указанная структура оценивается, вообще говоря, как отрицательная и требующая преодоления. Основанием для этого является ориентация на образец естественнонаучных дисциплин, каждая из которых, будучи отдельным направлением, решила (как то считали философы) проблему конфронтации различных школ внутри себя в пользу единого языка и единого эпистемического каркаса, позволяющего сосредоточиться на кумулятивном накоплении знания без постоянного возвращения к принципиальным спорам. Совокупность профессиональных философских школ является, в свою очередь, подсистемой, 3) университетско-академического сообщества в целом, включающего в себя всю совокупность дисциплин, отвечающих легитимному для соответствующего периода понятию «наука». Особенность философии в Германии в 19 веке состоит в том, что из дисциплины, определяющей критерии указанного легитимного понятия, она сама переходит в разряд проблематичных дисциплин и вынуждена явно или латентно ориентироваться на структуру знания, выстраивающуюся в конкретных научных дисциплинах. В философии довольно большое место также начинает занимать работа по экспликации эпистемологии естественных наук, по образцу которых — или в отличие от которых (как это, например, имело место при формировании эпистемологии «понимающих» наук о духе у И. Г. Дройзена) — выстраиваются программы «обнаучивания» философских дисциплин. Так, в период до выделения психологии из корпуса философских дисциплин примером копирования эпистемического каркаса естествознания является концепция психологии Гербарта, стремившаяся распространить объяснительные и гипотетико-конструктивные процедуры математизированного естествознания на сферу психического¹⁶. Таким образом, вслед за Шелером можно сказать, что после того как философия в немецком абсолютном идеализме отыграла роль «деспота наук», она становится их «служанкой» (Scheler, 1980b, 393). В то же время — и это обстоятельство является, на наш взгляд, важнейшим для понимания роли философии в пределах немецкого университетско-академического сообщества в целом — *система легитимации* институционализированной науки продолжает оставаться *философской* (как и в момент возникновения самого Гумбольдт-университета). В этой ситуации философия как одна из подсистем научного института в целом имела

¹⁶ Анализ двух базовых моделей психологии — объясняющей математизированной психологии Иоганна Фридриха Гербарта и генетически-морфологической модели Карла Густава Каруса — см. в работе Клауса Захса-Хомбаха (Sachs-Hombach, 1993).

возможность нейтрализовать концепции, угрожающие институциональным формам ее существованию, путем демонстрации несовместимости этих концепций с «правилами игры», предписанными системой легитимации научному сообществу, локализованному в рамках немецкой модели университета. В таком случае философское сообщество использовало в качестве своеобразного рычага для внутрикorporативных «научных» споров те идеологические ресурсы, которые были заложены в системе легитимации функционирования всего научного института в целом. Можно выразиться и так, что для «дискурсивной формации» (см. Фуко, 1996), порождаемой институционализированной философией, на уровне условий возможности воспрещалось построение определенных концепций в том случае, если их выводы могли представлять угрозу для самой *структуры легитимации* этого института, выступающей, таким образом, в качестве порождающей дискурсивной матрицы. Выявление базовой структуры, определяющей конфигурацию дискурсивной формации, требует разыскания инвариантных концептуальных моментов, формирующих системы семейного родства в дискурсивном пространстве. Определенная трудность состоит здесь в том, что это семейное родство во многих случаях завуалировано непосредственной несоизмеримостью теоретических конструкций, эксплицируемых в ходе интерналистского анализа отдельных концепций, а также прямыми дискуссионными столкновениями между различными школами и направлениями, сосуществующими друг подле друга. Тем не менее, случай университета Гумбольдта представляется в этом отношении одним из наиболее удачных, поскольку в данном случае мы имеем дело с эксплицитно сформулированной структурой легитимации, сыгравшей роль учредительной хартии новых учреждений, которая, кроме того, была сформулирована блестящим систематическим умом, опиравшимся на наработки двух поколений немецких мыслителей¹⁷.

Здесь может быть поставлен довольно сложный вопрос о внеинституциональных агентах, которые играют в современном каноне истории философии роль протагонистов в период между Гегелем и такими «вос-

¹⁷ За пределами нашего рассмотрения здесь оставлена тема взаимодействия университетской философии и «образованной публики», изменявшееся по мере описанного Ю. Хабермасом формирования сферы «публичности». В числе важнейших трансформаций, происходивших в начале девятнадцатого века, следует указать также сокращение так называемой «компенсаторной функции философии», фиксировавшейся Шиллером, Гегелем, Марксом, Гейне и др. О публичных функциях университетской философии и роли специализации философского дискурса в 19 веке см., в частности, Schneider, 1999, 13 ff.

становителями» философии, как поздние неокантианцы, Дильтей и Гуссерль. В частности, речь идет о Шопенгауэре, Марксе и Энгельсе, а также Ницше. Причем наиболее интересная проблема возникает, на наш взгляд, не в связи с вопросом о том, по каким конкретным причинам, в частности, Шопенгауэр испытывал крайне враждебные настроения по отношению к «профессиональным» философам, какие институциональные правила нарушил Ницше¹⁸ и т. д. Намного интересней поставить вопрос о том, какие механизмы сработали так, что Шопенгауэр и Ницше были впоследствии канонизированы самими же профессиональными философами. В качестве объяснения при этом можно указать на срабатывание определенных социологических механизмов в сфере групповых конфликтов: поскольку канонизация этих фигур осуществлялась в рамках определенных групп в пределах более широкого университетского философского сообщества, то представителям этих групп было удобнее опираться на внеинституциональных агентов, не находящихся в состоянии прямой конфликтной дискуссии именно с их группой. Но для более корректного анализа необходимо, на наш взгляд, учесть определенных содержательных факторов. В частности, Шопенгауэр (как впоследствии и Шпенглер) опирался на авторитеты, канонизированные внутри самого профессионального сообщества (Кант и Гёте), поддержав тем самым чистоту *post factum* выстроенной «традиции». Равным образом и Ницше позиционировал себя как хранитель «вечной» философии¹⁹. Можно также сказать, что, рано осознав опасность экспансии исторических наук и «исторического образования» для систематической философии, Ницше сыграл в немецкой философии такую же роль, как и Гуссерль применительно к «психологизму» (см. ниже).

Совершенно самостоятельный сюжет представляет собой марксизм. Довольно ясное высказывание о новом месте локализации философии

¹⁸ Применительно к этому вопросу показательны критические демарши Ульриха фон Виламовица-Мёллендорфа в отношении работы Ницше «Рождение трагедии из духа музыки».

¹⁹ Ср. «Таким образом, мало-помалу на место глубокомысленного толкования вечно неизменных проблем выступило историческое и даже филологическое взвешивание и вопрошание: что думал тот или иной философ, имеем ли мы право приписывать ему то или другое сочинение, или даже какому разночтению отдать предпочтение. К такому нейтральному обращению с философией приучаются теперь студенты в философских семинариях наших университетов. Поэтому я уже давно взял за обыкновение рассматривать эту науку как разветвление филологии и оценивать ее представителей постольку, поскольку они хорошие или плохие филологи. Но благодаря этому сама философия изгнана из университета...» (Ницше, 1994, 177–178).

в послегегелевский период принадлежит Энгельсу: «Что же касается исторических наук, включая философию, то здесь вместе с классической философией совсем исчез старый дух ни перед чем не останавливающегося теоретического исследования. Его место заняли скудоумный эклектизм, боязливая забота о местечке и доходах, вплоть до самого низкопробного карьеризма. Официальные представители этой науки стали откровенными идеологами буржуазии и существующего государства, но в такое время, когда оба открыто враждебны рабочему классу. И только в среде рабочего класса продолжает теперь жить, не зачахнув, немецкий интерес к теории. Здесь уже его ничем не вытравить. Здесь нет никаких соображений о карьере, о наживе и о милостивом покровительстве сверху. Напротив, чем смелее и решительнее выступает наука, тем более приходит она в соответствие с интересами и стремлениями рабочих. Найдя в истории развития труда ключ к пониманию всей истории общества, новое направление с самого начала обращалось преимущественно к рабочему классу и встретило с его стороны такое сочувствие, какого оно не искало и не ожидало со стороны официальной науки. Немецкое рабочее движение является наследником немецкой классической философии» (Энгельс, 1964, 53–54). «Рабочее движение», правда, едва ли могло непосредственно служить институциональным субстратом развития и трансляции какой бы то ни было философии. Подходящий случай для институционализации обнаружился только в Советской России, но едва это было подходящим местом для удовлетворения «немецкого интереса к теории»²⁰. Каждый из этих случаев требует, разумеется, отдельного исследования.

Применительно к теме возникновения феноменологии необходимо также отметить, что в структуру университета Гумбольдтом изначально была заложена определенного рода двусмысленность, создающая для философии дилемму, выражающуюся противоположностью индивидуально создаваемой системы (по образцу систем немецкой классической философии) и возможностью традирования этой системы на основании интерсубъективного согласия²¹. Первый элемент этой дилеммы выражал

²⁰ Энгельс использует здесь один из штампов немецкой культуры, повествующий об особом теоретическом складе немецкого ума. См., в частности, соответствующие высказывания об «интеллектуальном характере немцев» у Гумбольдта (Гумбольдт, 2002, 6).

²¹ «Поскольку научные заведения могут достигнуть своей цели только в том случае, если каждое из них будет по возможности соответствовать чистой идее науки, то преобладающими являются одиночество и свобода. Но ведь и духовная деятельность человечества может развиваться только как взаимодействие —

для Гумбольдта представление о чистой идее науки, которая может создаться только в «свободе и одиночестве», второй же опирался на допущение метафизического характера о «всеобщей изначальной силе», обнаруживающейся в отдельных индивидах, но сохраняющей наиндивидуальное единство различных проявлений знания. При этом следует учитывать, что одной из основных проблем, которую должна была решать философия, институционально размещающаяся в университете Гумбольдта, состояла в том, чтобы переопределить свои отношения с другими науками после заката системной философии, достигшей своего апогея у Гегеля. Системная философия указанного типа предполагала интеграцию всей совокупности знания, что одновременно означало установление пределов легитимно-научного знания как такового на основании автономно вырабатываемых системных критериев (ту же функцию, хотя и на свой манер, выполняла и критическая философия Канта). После сравнительно небольшого периода совпадения соответствующих институциональных регулятивов²² и философии такого рода эта гармония (по крайней мере с точки зрения философов) была разрушена со стороны ученых-естественников, устремления которых не могли не найти поддержки в обществе, переживающем начало промышленной революции. Результатом этого конфликта и стало формирование основного набора философских дисциплин, доминирующих до настоящего времени (философия как теория науки, философия как история философии и т. д.). Причем на протяжении девятнадцатого века немецкой академической философии удалось, на наш взгляд, благополучно избежать растворения в массе двух других групп наук. Последовательно эти опасности выступали в виде, сперва, исторической науки²³, а затем, психологии. Весьма ощутимый удар по экспансии

не только с тем, чтобы один дополнял то, чего не хватает другому, но и с тем, чтобы успешная деятельность одного вдохновляла других и чтобы всем стала видна та всеобщая изначальная сила, которая в отдельных личностях проявляется лишь изредка и светит отраженным светом. Поэтому внутренняя организация этих учреждений должна порождать и поддерживать взаимодействие непрерывное, самовозобновляющееся, но при этом непринужденное и не преследующее заранее заданной цели» (Гумбольдт, 2002, 5).

²² См. перечисление «тройственного устремления духа» у Гумбольдта (Гумбольдт, 2002, 6).

²³ «Сперва историческая наука (в современном смысле) берет на себя ведущую роль в борьбе против немецкого идеализма, и вместе с тем она одновременно ускоряет имплицитную ревизию господствующей концепции науки; философы и теоретики науки присоединяются к ней значительно позже.... Юная историческая наука переняла после Гегеля не только руководство в области научной оппози-

исторического сознания был нанесен, в первую очередь, «Несвоевременными размышлениями» Ницше²⁴, который в качестве аргумента использовал апелляцию к вредности истории для витальной активности нации. По существу этот аргумент блокировал распространение одной из концепций на том основании, что та нарушала границы легитимной концептуальной матрицы, допустимой в институциональной среде. С одной стороны, Ницше утверждал, что в основе прогрессивного развития народа лежит жизненный импульс, движимый определенным рода исторической «наивностью», тогда как, с другой стороны, он показывал, что этот импульс блокируется определенной научной концепцией и определенным типом образования («историческим образованием»). Тем самым нарушался изначальный договор между институционализированной научной корпорацией и государством²⁵, а значит и «историцизму» предстояло впредь считаться с этими аргументами Ницше (которые постоянно находятся в поле зрения позднейших «историцистов», например, Дильтея).

Преодоление второй опасности происходило в рамках борьбы с «психологизмом», точнее говоря, с «натуралистической» версией психологизма, которой противостояли несколько вариантов «дескриптивной психологии», предложенные Ф.Брентано, В.Дильтеем, Т.Липпсом, ранним вариантом феноменологии Гуссерля²⁶. Несмотря на то, что борьба с натуралистически-

ции идеализму: временно она стала также ведущей силой образования и вместе с тем переняла традиционную роль философии» (Schnädelbach, 1991, 49).

²⁴ См. также базельский цикл лекций Ницше «О будущности наших образовательных учреждений», прочитанный в 1872 году (Ницше, 1994). Рассмотрение Ницше в качестве одного из наиболее последовательных теоретиков образования, ориентировавшихся на элитарную философско-филологическую модель университета, заслуживало бы отдельного исследования. Следует, однако, отметить, что эта модель вступает во второй половине 19 века в конфликт с образовательными задачами технического индустриального общества (проблема так называемого «реального образования»), что вызывает резкое недовольство института гуманитарных «немецких мандаринов» (если воспользоваться термином Ф. Рингера).

²⁵ В целом... государство не должно требовать от них <университетов – В. К.> ничего, что непосредственно и напрямую относилось бы к нему, но сохранять внутреннюю убежденность в том, что, когда они достигнут своей конечной цели, они выполняют и его задачи, причем в намного более масштабной перспективе, с большей широтой охвата» (Гумбольдт, 2002, 7). Аргумент Ницше, таким образом, означал, что определенный тип научного дискурса непосредственно вредит государству, причем чем дальше, тем больше, а, следовательно, наука не может «в конечном счете» выполнить задачи государства в данном случае.

²⁶ Подробнее см. Куренной, 2002.

ми разновидностями психологизма велась Дильтеем, а в более радикальной форме — Г.Фреге и П.Наторпом, наибольший резонанс получила критика психологизма, предложенная Гуссерлем в «Пролегоменах к чистой логике» (1900). Базовым фактором, определившим выдающуюся роль «Пролегомен» Гуссерля, является — и в этом состоит наш тезис — то, что Гуссерль задействовал ресурс легитимационной структуры и показал, что психологизм выходит за пределы «правил игры», допустимых для институционализованного научного сообщества. Решающим здесь является сведение психологизма к *релятивизму* и *скептицизму* (глава седьмая «Пролегомен» так и называется «Психологизм как скептический релятивизм»). Гуссерль не был новатором в критике психологизма, но он сделал из него крайние выводы: оказалось, что психологизм ведет прямо к скептицизму. А этого не сделали ни Фреге, ни Наторп. Скептицизм же по своей сущности противоположен самим основаниям того института, в рамках которого работал и Гуссерль и все его оппоненты. Скептицизм подрывает саму «чистую идею науки» (Гумбольдт), которая была заложена в основание немецкого университета. Это «негативная философия» (воспользуемся термином Г.Шпета, транслировавшем в свое время соответствующий топос на российскую почву (Шпет, 1914, 11)). Именно это обстоятельство (по отношению к которому все прочие факторы играли вторичную роль) позволяет, на наш взгляд, понять, почему критика Гуссерля приобрела наибольшее влияние и резонанс, а также то, почему никто серьезно не оспаривал критическую аргументацию Гуссерля в целом (например, в форме вопроса: а чем плох скептический релятивизм?). Основная стратегия защиты от обвинений Гуссерля выстраивалась в форме контратаки: Гуссерлю возвращали его собственные аргументы, обвиняя в психологизме, в особенности, второй том «Логических исследований»²⁷. Именно таким образом публично или в переписке с Гуссерлем выступали К.Зигварт, П.Наторп, Т.Липпс, А.Майнонг и др. Аналогичную позицию по отношению к скептицизму и релятивизму как таковому легко можно обнаружить в многочисленных работах немецких профессиональных философов как до Гуссерля (в таком именно качестве интерпретировалась Кантова критика философии Юма; см., например, также «Логические исследования» Адольфа Тренделенбурга), так и после него.

Более того, в силу практики постоянного размежевания со скептицизмом и релятивизмом разного рода, принятой во *всех* доминирующих

²⁷ Здесь мы вкратце повторяем ряд выводов, сделанных в докладе «Феноменология и университет» в Киеве в 1997 году (Куренной, 1998). Определенная близость нашей постановки вопроса (но не решений) работам Мартина Куша (Kusch, 1995; Kusch, 2000) в особенности отрадна в силу того, что на тот момент времени эти работы нам были совершенно неизвестны.

академических философских дискурсах современности, можно предположить, что успех критики Гуссерля (сведение к скептицизму и релятивизму = резко негативная оценка позиции) основывается на легитимационных ресурсах не только университета Гумбольдта, но и большинства институциональных форм существования современной философии²⁸. Это означает, что сторонник «скептического релятивизма» нарушает наиболее фундаментальные правила игры, предписанные этим институтам, и фактически ставит себя вне их легитимных рамок. Учет и анализ этих взаимоотношений между социально-организационными и теоретическими структурами продуктивно рассматривать, как нам представляется, в рамках концепции, предложенной Максом Шелером в работе «Проблемы социологии знания» (Scheler, 1980a), а именно: речь идет об экспликации структурной («сущностной», как выражается Шелер) корреляции, существующей между характером института и той системой знания, которая создается и транслируется в рамках этого института. Таким образом, можно сказать, что успех антипсихологистской критики Гуссерля был обеспечен тем, что ему удалось опереться в этой дискуссии на определенную систему запретов, продуцируемую институтом профессионального философского сообщества и структурой ее легитимации. Иными словами, при этом был задействован наиболее фундаментальный уровень институциональных факторов, сохраняющих, как было отмечено, свое значение и за пределами немецкой модели университета.

При этом, однако, возникала одна трудность, связанная с тем, что антинатуралистические концепции (включая ранний вариант феноменологии Гуссерля, представленный в первом издании «Логических исследований») также выстраивались в основном в форме «психологии» (пусть и «дескриптивной»). Поэтому хотя критика Гуссерля и снискала ему известность в среде профессиональных философов, она все же не решала проблемы там, где философское сообщество Германии испытывало влияние непрофессионалов, а именно в среде министерских чиновников, где эта критика не могла оказать заметного влияния²⁹ (она, тем не менее, сыграла

²⁸ В качестве иллюстрации здесь можно было привести множество современных кампаний против так называемого «постмодернизма», в которых констатация «релятивизма» выступает в качестве обвинительного вердикта. Это обстоятельство указывает на существенный дефицит структурной эластичности в том числе и в современных философских институтах.

²⁹ Чиновники министерства образования имели решающий голос при назначении на освободившиеся или вновь учреждаемые профессорские должности. Согласно замыслу Гумбольдта, именно такая процедура позволяла избегать излишней гомогенизации университетской научной среды, которая, в про-

весьма существенную роль в карьерном продвижении Гуссерля, вызвавшего симпатии такого влиятельного философа и чиновника, как Дильтей). Критическое предприятие Гуссерля нашло свое продолжение в полемике против «натурализма» и «историцизма», изложенной в «программной» — как она нередко характеризуется — статье «Философия как строгая наука» (1911). Как мы попытаемся показать ниже, эта статья как в своей критической, так и в позитивной части является производной как от некоторых общих противоречий, свойственных университету Гумбольдта в целом, так и от текущего конфликта групп в рамках этого института.

Летом 1912 года, несмотря на противодействие Пауля Наторпа, на профессорскую кафедру Марбургского университета, которую до этого занимал Г. Коген, правительством был назначен психолог-экспериментатор Эрих Йенш. Генрих Риккерт выступил с инициативой публичного обращения в пользу сохранения философских кафедр. Это «Заявление», подписанное 107 философами, было опубликовано в наиболее авторитетных философских журналах Германии³⁰. Помимо тех функций, которые

тивном случае, испытывала бы тенденцию к формированию из единомышленников. Ср. в работе «О принципе подразделения высших научных заведений и их различных видах»: «Преподавателей университета должно назначать исключительно государство, и, несомненно, не стоит допускать большее влияние факультетов на этот процесс, чем предоставил бы им опытный и рассудительный попечительный совет. В университете антагонизм и сопротивление благотворны и необходимы, а столкновение, которое само по себе возникает между преподавателями в ходе их деятельности, может невольно повлиять на их предпочтения» (Гумбольдт, 2002, 10).

³⁰ 30 «Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik» 151 (1913), S. 233; «Kant-Studien» 18 (1913), S. 306; «Logos» 4 (1913), S. 115. Позволим себе полностью привести текст этого примечательного и в определенном смысле уникального документа:

Заявление.

Подписавшиеся преподаватели философии высших школ Германии, Австрии и Швейцарии вынуждены сделать заявление, которое обращено против занятия философских кафедр представителями экспериментальной психологии. По мере чрезвычайно отрадного подъема экспериментальной психологии сфера деятельности этой науки расширилась настолько, что она уже давно признана самостоятельной дисциплиной, занятия которой требуют от учебного приложения всех его сил. Несмотря на это, для нее не создаются новые кафедры, но вместо этого на профессорские кафедры философии постоянно назначаются люди, деятельность которых в основной своей части или

в своих работах справедливо связывает с этим конфликтом Мартин Куш, можно допустить, что именно это крайнее обострение институционального конфликта между естественнонаучной экспериментальной психологией и философией (включая разновидности дескриптивной (=чисто философской) психологии), вылившееся, в конце концов, в «спор о кафедрах», определило дальнейшую судьбу основных проектов дескриптивной психологии как таковой: Гуссерль переходит на позиции «трансцендентальной феноменологии», тогда как Дильтей делает поворот в сторону «объективного духа» и актуализации герменевтической методологии. При этом значительное число работ, созданных в начале 20 века и посвященных взаимоотношению психологии и философии, могут рассматриваться — несмотря на то, что зачастую они написаны с весьма различных тео-

даже исключительно посвящена экспериментальному изучению психической жизни. К этой ситуации можно отнестись с пониманием, если вернуться к истокам этой науки, поскольку ранее нельзя было избежать того, чтобы обе дисциплины одновременно были представлены одним ученым. Однако прогрессирующее развитие экспериментальной психологии имело дурные последствия для всех задействованных здесь лиц. И в первую очередь философии, которая вызывает все больший интерес у академической молодежи, был нанесен чувствительный ущерб в силу лишения ее кафедр, предназначенных только для нее. Это вызывает тем большую тревогу, что область работы философии постоянно увеличивается и что именно в наше философски оживленное время мы не можем предоставить студентам возможность научно сориентироваться за время их академической учебы в общих вопросах мировоззрения и понимания жизни.

В силу этого подписавшие считают своим долгом указать философским факультетам и учебной администрации на причиняемый тем самым ущерб для изучения философии и психологии. В общих интересах обеих этих наук следует обратить особое внимание на то, чтобы философия сохраняла свое положение в жизни высшей школы. Поэтому в будущем экспериментальная психология должна поддерживаться только путем учреждения собственных кафедр, и везде, где прежние философские кафедры уже заняты экспериментальными психологами, следует позаботиться о создании новых кафедр. (*Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik*, Bd. 151 (1913), S. 233–234.)

Среди подписавших заявление: Э. фон Астер, Б. Баух, А. Брюнсвиг, Н. Бубнов, Г. Коген, Й. Кон, Г. Корнелиус, Р. Эйкен, К. Фишер, М. Фришайзен-Кёлер, М. Гайгер, Б. Протгейзен, Н. Гартман, Э. Гуссерль, Р. Кронер, Э. Ласк, А. Метцгер, Г. Миш, П. Наторп, А. Пфендер, Г. Риккерт, А. Риль, Г. Зиммель, Э. Шпрангер, Ф. Тённис, Г. Файхингер, В. Виндельбанд.

ретических позиций, — как производные от этого институционального конфликта философов и экспериментальных психологов. В этих работах нередко обнаруживается также латентный конфликт «историков» и «чистых философов»³¹. Что эти работы прямо коррелируют с университетской кадровой политикой показывает, например, описание Гуссерлем в письме Наторпу от 29. XII.1908 предмета его конфликта с факультетом в Гёттингене: «Мюллер — это экспериментальный психолог, но вовсе не философ (и он сам, в действительности, не стремится им быть); и если философия в университете должна быть представлена, как и прежде, двумя ординарными профессорами, то помимо моего места должно быть определено (создано) еще и второе место. Кроме того, по меньшей мере одно из этих двух мест должно постоянно оставаться зарезервированным за систематической философией, тогда как другое могло бы заниматься с учетом потребностей классических филологов и историков и принимая во внимание представительство такой специальности, как история философии. В этом состоит существо моей оппозиции факультету, который наряду с Мюллером как «естественнонаучным» философом требует также «филолого-исторического» философа (каждой секции — по своему собственному), что, таким образом, ведет к незаметному исключению действительно творческой философии. В действительности, весь этот спор характерен для того немислимого пренебрежения к подлинной и живой философии как систематической науке, противостоящей и экспериментальной психологии (как одной из естественных наук), и исторической философии (как одной из исторических наук)» (BW, V, 101). К числу работ, порожденных той же институциональной проблемой, следует отнести также и рассматриваемую статью Гуссерля 1911 года «Философия как строгая наука». Для этого нам вовсе не следует занимать позицию «критики идеологии». Связь содержания этой статьи, в критической части обращенной против «натурализма» и «историцизма», с кадровой политикой вполне осознавалась как самим Гуссерлем, так и его современниками. В подтверждение этому достаточно привести пример перевода одного дискурсивного ряда в другой, осуществляемый контекстуальным участником дискуссии. Пример такого рода перевода дает нам сам Гуссерль, отзывающийся (в письме от 21. XI.1912) на приглашение Риккерта поучаствовать в указанном коллективном заявлении философов. Гуссерль при этом пишет: «Меня также глубоко возмущает, каким образом марбургский «философский» факультет повел себя при назначении преемника на профессорскую кафедру Когена, согрешив тем самым перед славны-

³¹ См., например, Natogr, 1905 — статья в крупной немецкой газете, посвященная теме независимости философии как от психологии, так и от истории философии.

ми традициями марбургской философии и перед философией вообще. Но в этом беда нынешнего положения философии в немецких университетах. В *немецких* — так, словно бы это не миссия немецкого народа — освещать всем другим народам путь в философии. Половина кафедр, по-видимому, безвозвратно отойдет экспериментальной психологии. Однако это еще не все. Ибо это вовсе не означает, что другая часть кафедр останется за самой философией. Между естественнонаучными и филологическо-историческими группами на факультетах возникает противоречие: коль скоро ученые-естественники добились признания своих «естественнонаучных философов», то теперь и историки хотят иметь своих «исторических» философов. Но это открывает путь эклектическому историзму, и живая, работающая над живыми проблемами философия будет иметь значение только тогда, когда она станет исторической окаменелостью для собирателя историцистских окаменелостей. То, что я думаю по этому поводу, я отчетливо выразил в своей статье в «Логосе»³², причем я вполне осознавал ту враждебность, которую я мог возбудить против себя и в которой теперь нет недостатка. Само собой разумеется, я остаюсь верен своим взглядам и с удовольствием приму участие в запланированной Вами акции» (BW, V, 172–173).

В то же время заслуживает внимания и позитивная часть статьи «Философия как строгая наука». Здесь мы обнаруживаем следующее требование к подлинно научной философии: «Насколько простирается наука, действительная наука, настолько же можно учить и учиться, и притом всюду в одинаковом смысле» (Гуссерль, 1994, 130). Препятствием к этому является, в частности, именно системотворческая деятельность на манер, как можно предположить, немецкого абсолютного идеализма, где речь идет о «системе», подобной «Минерве, которая законченная и вооруженная выходит из головы творческого гения» (Гуссерль, 1994, 131). Таким образом, Гуссерль тематизирует здесь структурное затруднение, свойственное немецкому университету, а именно, уже упоминавшееся выше противоречие между системосозидающей философской деятельностью, протекающей в «свободе и одиночестве»³³, и требованием традирования и, по возможности, прумножения достигнутых результатов. Если мы вернемся к первому изданию

³² Имеется в виду статья «Философия как строгая наука» — В. К.

³³ Этот оборот, закрепленный в учредительных сочинениях Гумбольдта, является необычайно частотным в словаре Гуссерля, причем не только в переписке (письмо А. Майнонгу от 5. IV.1902; Ф. Brentano от 11/15. X.1904), но и в теоретических работах (см., например, теоретическую роль «уединенной душевной жизни» для семантической концепции Гуссерля (первое «Логическое исследование»)).

«Логических исследований» Гуссерля, то во «Введении» ко второму тому (1901) можно обнаружить поразительное высказывание относительно значимости этих исследований: «Поставленные нами границы мы не переходим и в том случае, когда мы, например, исходим из фактического наличия языков и рассматриваем только коммуникативное значение некоторых языковых форм выражения и т.п. Можно легко убедиться, что связанные с этим анализы имеют свой смысл и теоретико-познавательную ценность, независимо от того, действительно ли существуют языки и взаимное общение людей, которому они призваны служить, *существует ли вообще нечто такое, как люди или природа*³⁴, или же все это имеет место только в воображении и в возможности» (Гуссерль, 2001, 34). Переход к задаче традирования философии (которую, разумеется, трудно реализовывать, если не существует «вообще нечто такое, как люди или природа»), как она заявлена в статье 1911 года, является в свете этого высказывания необычайно радикальным для самого Гуссерля. Но, удивительное дело, в статье, которую принято считать программной для самоопределения феноменологической философии, исходной является та же проблема, которую за *восемьдесят лет* до этого озвучивал Фридрих Эдуард Бенекке: «В философских работах... цитируются в лучшем случае сочинения той школы, к которой принадлежит их автор; других для него не существует; и дошло уже до того, что даже никакая полемика больше невозможна между противостоящими друг другу партиями. Для них потеряны любые общие связующие точки; что для одного белое, то для другого черное, начиная от первых основных понятий и положений; язык одной школы абсолютно непонятен другим, и скоро дойдет до того, что каждый начнет говорить только сам с собой» (Benekke, 1832, 10–11). Итак, можно видеть, что в данном случае определенная проблематика возникает в немецкой академической среде с завидным постоянством, что и является аргументом в пользу ее несамостоятельности. Напротив, она является производной от определенной институциональной структуры или, иначе говоря, — определенного излома в этой структуре, порождающего противоречивые требования к ее агентам. С одной стороны — это требование «уединенной» и «свободной» работы над собственной «системой» (наличие которой и было, вообще говоря, решающим фактором при назначении на должность профессора), а с другой стороны — требование преемственности и кумулятивного накопления знания, которое ориентируется на комплекс представлений о развитии естествознания. В заключение можно добавить, что хотя девиз Гуссерля о выстраивании преемственной философии и был подхвачен в рядах представителей раннего феноменологического движения (ср., например, Райнах, 2001, 350),

³⁴ Курсив наш. — В. К. Выделенный фрагмент вычеркнут из второго издания работы.

однако, в силу «трансцендентального», прокантианского поворота Гуссерля оно фактически перестало выполняться, так что Гуссерль продолжил свой путь «неутомимого и одинокого труженика»³⁵.

Наконец, третья группа институциональных факторов, оказавших влияние на формирование феноменологии или, точнее, феноменологического движения, может быть увязана с институциональными механизмами в пределах университета как системы, способной наделять своих агентов определенными статусами – докторской степенью и правом преподавания в университетах (*venia legendi*). Студенты, обучавшиеся в одном университете, во многих случаях должны были защищать докторскую или диссертационную работу в другом университете³⁶. Функциональный смысл такой практики ясен: она противодействовала культивированию замкнутых систем знания, разделяемых только локальной подсистемой научного сообщества. В то же время понятно и то, что в сложившейся системе школ и направлений довольно трудно представить себе быстрое распространение нового философского направления (что как раз и демонстрирует случай феноменологии). И действительно, можно видеть, что ученики Гуссерля поначалу испытывали значительные затруднения при попытках преодолеть барьер профессиональной социализации³⁷. Например, в 1908–1909 гг. между Гуссерлем и Наторпом возникла конфликтная ситуация по поводу защиты в Марбурге диссертационной работы по эстетике Вальдемаром Конрадом (одним из геттингенских учеников Гуссерля). Наторп писал Гуссерлю в письме от 21.I.1909: «В его представленных на сегодняшний день исследованиях мы³⁸ видим заслуживающие

³⁵ Дневниковая запись Ральфа Перри, сделанная после встречи с Гуссерлем в июне 1930 г. (цит. по Schuhmann, 1977, 364).

³⁶ Это могло быть вызвано как личными причинами, так и тем, что в ряде случаев это предписывалось институциональными регламентами (см., например, Ingarden, 1992, 43, Anm.), тогда как в других случаях необходимость обращения в другой университет вытекала из ограниченного числа претендентов, допускавшихся к постановке на защиту, или из неписанного корпоративного узуса. Во всяком случае, можно констатировать, что в конце 19 – начале 20 столетия практика защиты в университете, отличная от того, где готовилась, например, диссертационная работа, была более распространенной, чем защита по месту обучения, хотя мы и не могли бы указать официальное, постоянно действующее правило на этот счет.

³⁷ Сходные трудности испытывал и сам Гуссерль при получении профессорской должности. Так, коллеги по Геттингенскому университету отклоняли кандидатуру Гуссерля ввиду незначительного «научного значения» его работы (BW, I, 42, Anm.).

³⁸ То есть Наторп и Герман Коген. – В. К.

внимания дескриптивные *приготовления* к эстетике, тогда как мы требуем от философской эстетики более глубокого погружения в центральные вопросы» (BW, V, 104). Гуссерль отвечал на это (18. III.1909): «... мои ученики находятся в плохом положении из-за того, что еще не опубликованы мои исследования, посвященные идее феноменологической критики разума, из которых явствовало бы, что работы в стиле Конрада в действительности не только не чужды самой сути философской работы, но по своей природе как раз и «направлены на радикальное обоснование». Я не мог бы одобрительно отнестись к тому, чтобы в каждой подобной работе наличествовало бы стремление непременно высказаться о методе и принципиальных или, лучше сказать, высших целях критического исследования разума. Любая такого рода тема (в феноменологической сфере) имеет свой особый, ведущий к высочайшим вершинам путь, проследить который молодой философ еще не в состоянии. Для этого требуются годы глубокого и постепенно продвигающегося вперед исследования. И поэтому для меня достаточно, если он правильно берется за дело и основательно начинает работать, продвигаясь снизу вверх» (BW, V, 110). Если бы Гуссерлю не удалось добиться признания легитимности проводимых его учениками и последователями исследований в рамках профессионального сообщества, то сегодня мы едва ли могли говорить о «феноменологическом движении». Однако эту задачу удалось реализовать в силу того, что начинания Гуссерля были почти сразу же положительно восприняты в Мюнхенском университете, где самостоятельно развивалась мюнхенская школа феноменологии (первоначально возглавляемая Т. Липпсом). Именно воссоединение Гуссерля и «мюнхенцев» создало «мюнхенско-геттингенскую» школу феноменологии, представители которой циркулировали между Мюнхеном и Геттингеном, что было обеспечено взаимным концептуальным признанием. Это сотрудничество привело к созданию новых институциональных структур, таких как «Ежегодник по философии и феноменологическому исследованию» (за время издания (1913–1930) вышло 11 выпусков). В то же время институциональный альянс Гуссерля и мюнхенских феноменологов возникает именно в силу близости теоретических построений, точнее говоря, в силу того, что Гуссерлю удалось предложить решение ряда эпистемологических затруднений, существовавших в описательной психологии мюнхенцев³⁹. То есть, основанием возникновения определенной институциональной структуры в данном случае является «идейный» фактор, тогда как, возникнув, эта структура работает на распространение и расширение влияния уже самой

³⁹ Подробнее см. Куренной В. Проблема возникновения феноменологического движения. — Дисс. М., 2001.

теоретической программы. По мере того, как феноменология приобретает институциональную респектабельность, необходимость в этом альянсе снижается, что совпадает и с возникновением «раскола» в раннем феноменологическом движении: Гуссерль совершает движение к кантианству (представители которого были одновременно и наиболее влиятельными институциональными игроками, поддерживаемыми бюрократическими структурами⁴⁰), тогда как прежние сторонники Гуссерля отмежевываются от трансцендентализма, что выражается иногда в довольно острых взаимных обвинениях⁴¹. В этом случае у нас, однако, нет оснований полагать, что между этими социально-статусными изменениями и теоретическими позициями существует прямая взаимосвязь. В данном случае можно лишь констатировать определенные соответствия структуры изменений в социальной и теоретической сферах, но у нас нет достаточных оснований, чтобы считать, что изменения в какой-то одной области определяют изменения в другой. В отличие от случая полемики с психологизмом натуралистического толка и историцизмом здесь у нас нет также свидетельств того, чтобы связь между этими областями каким-то образом осознавалась или артикулировано учитывалась самими социальными агентами.

Рассмотрев ряд сюжетов, связанных с историей феноменологии и феноменологического движения, мы можем констатировать довольно существенную роль внетеоретических, социальных факторов, оказавших существенное влияние на ключевых этапах ее становления и развития. В то же время характер этих факторов, а также характер их воздействия существенно варьируется. Мы могли бы объединить их в три группы: 1) институциональная среда возникновения и развития данного философского направления (университет Гумбольдта с присущей ему организационной и ролевой системой, набором институциональных регламентов и т. д.); 2) внутриинституциональная структура, основывающаяся как на «идейных» (множество движений и направлений), так и на организационных дифференциациях (профессорские места под определенные дисципли-

⁴⁰ Г. Файхингер, предлагавший Гуссерлю вступить в Кантовское общество (и этим предложением Гуссерль воспользовался) в том же письме (от 14. IV.1904) говорит: «Из проспекта Вы можете видеть, какое значение этому делу придает министерство, которое пожертвовало 2500 марок фонду Канта. В особенности Альтхоф <Фридрих Альтхоф – докладчик совета по делам университетов в прусском министерстве образования, игравший ключевую роль при решении кадровых вопросов университета – В. К.> живо следит за развитием дел, а если наладится взаимодействие многих сил, то можно ожидать еще большего» (BW, V, 204)

⁴¹ Особенно показательным в этом отношении является письмо Гуссерля Г. Шпигельбергу от 19. VI. 1935 (BW, II, 252–253).

ны); 3) система легитимации этих институтов. Несмотря на то, что система легитимации имеет значительную «идейную» составляющую, ее можно отнести к сфере социальных факторов в силу того, что она выполняет определенные социальные функции и не находится в пространстве теоретического взаимодействия наравне с другими теоретическими построениями. Здесь имеет место своего рода экстернализация определенного теоретического содержания, которое первоначально могло вырабатываться в рамках довольно специальных дискуссий и на равных, «рациональных», основаниях конкурировать с другими «идейными» образованиями (разумеется, такого рода трансгрессии философских концепций происходят постоянно и не ограничиваются рассматриваемым случаем институтов самой философии). Ряд фундаментальных особенностей немецкой академической философии, а также определенные трансформационные процессы, происходившие в ней за время существования Гумбольдтовой модели университета, продуцируются и ограничиваются концептуальной системой легитимации этого института. В частности, в случае феноменологии можно видеть, что указание на нарушение заданных системой легитимации правил построения философской доктрины (в данном случае, уличение «психологизма» в «скептическом релятивизме») само по себе являлось исчерпывающим аргументом против этой доктрины. В силу своего философского происхождения система институциональной легитимации определяла привилегированный статус самой философии (причем философии определенного рода) в рамках университета. Когда этот определенный тип философии и философствования испытывал угрозу со стороны теоретических начинаний существенно иного рода, он мог задействовать свой социальный ресурс, который является базовым для всех допустимых в рамках данной системы легитимации философских течений и направлений. Именно по этой причине неокантианцы, Э. Гуссерль, Т. Липпс и В. Дильтей были единомышленниками в своей борьбе против общей угрозы. В письме от 20.XII.1915 Гуссерль сообщал Риккерт: «последнее десятилетие я чувствую себя тесно связанным с вождями немецкой идеалистической школы. Как соратники мы сражаемся против нашего общего врага — современного натурализма» (BW, V, 178). В качестве непосредственной *причины* солидаризации в данном случае выступает определенный социальный конфликт (передача философских кафедр психологам-экспериментаторам (=представителям «натурализма»)). Однако основания возможности этой солидаризации и успешность противостояния не могут, как нам представляется, быть поняты из текущей констелляции социальных факторов. Доводом в пользу этого положения может служить повторяемость аргументативных приемов в ситуациях, никак не связанных с той, что имела место в начале 20 столетия, первой мировой вой-

ной и т. д. И действительно, можно без труда указать такого рода примеры (но только в том случае, если рассматривать эту проблематику в определенных нами рамках институционального контекста). В частности, первым радикальным «психологистом» можно считать Фридриха Эдуарда Бенеке, который в 20–30 гг. 19 века служил объектом тех же критических стратегий, что и «натурализм» в начале 20 столетия. В 1833 году Карл Розенкранц докладывал прусскому министру культуры Иоганну Шульце: «Господин Бенеке уже долгое время трудится на ниве психологии и прекрасно знаком с этой областью. Безусловно, следует отдать должное его усердной работе, внешней учености и проницательности, нередко позволяющей ему в педантичной изощренности равняться с Гербартом. Господин Бенеке честно продвинулся настолько, насколько это позволяли ему его дарования. Однако он стремится к чему-то еще большему. Он хотел бы изменить всю философию — причем посредством одной только психологии.... Он пытается свести свои многочисленные наблюдения в единую систему, строй которой совершенно беспринципен. Ибо господину Бенеке совершенно неизвестны предпосылки, на которых строится психология, ему неизвестно, чем отличается психическое, с одной стороны, от метафизического и физического и, с другой стороны, от свободной, никак не привязанной к психическому жизни духа — с другой» и т. д. (цит. по Köhnke, 1986, 73–74). Воспроизводство таких же аргументативных стратегий в период «возрождения идеализма», имевший место в начале 20 века, как раз и является указанием на то, что здесь задействованы более фундаментальные структуры, которые мы характеризовали с опорой на понятия, введенные Фуко⁴², а также на тезис Шелера о корреляции учений и институтов (корреляции, как мы пытались показать и что было для нас принципиально, в ряде случаев хорошо осознаваемой участниками конфликта). Иначе говоря, прямые казуальные зависимости можно фиксировать применительно к случаю феноменологии в довольно узком сегменте порождения конфликтных ситуаций. Наконец, в отношении некоторых случаев мы можем ограничиться только указанием на синхронность процессов, протекающих в теоретической и институциональной области (как это имело место в случае возникновения, а затем распада институциональных и концептуальных альянсов в раннем феноменологическом движении). Однако начальный момент создания концептуального альянса между Гуссерлем и мюнхенски-

⁴² Даже если придерживаться такой интерпретации Фуко, при которой социальные и организационные структуры являются детерминантами определенных теоретических особенностей систем знания (см. Сокулер, 2001), то применительно к нашему случаю следует лишь напомнить, что сами эти структуры являются продуктом экстернализации теоретических и мировоззренческих построений.

ми феноменологами был вызван, как указывалось выше, именно содержательными, теоретическими особенностями их концепций⁴³, а это означает, что понимание протекавших здесь процессов требует интерналистского анализа содержания этих концепций.

Принятые сокращения

BW – Husserl E. Briefwechsel. Hrsg. von E. Schuhmann und K. Schuhmann. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1994.

I – Bd. I. Die Brentanoschule.

II – Bd. II. Die Münchner Phänomenologen.

V – Bd. V. Die Neukantianer.

Литература

Апель К.-О. Трансформация философии. М.: Логос, 2001.

фон Гумбольдт В. О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине // Неприкосновенный запас 2 (22) 2002. С. 5–10.

Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 2. Исследования по феноменологии и теории познания. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001.

Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Сб. Новочеркасск: Агентство Сагуна, 1994.

Коллинз Р. Социология философий. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.

Куренной В. Феноменология и университет // Феноменология и гуманитарное знание: материалы международной конференции. Киев: Тандем, 1998. С. 151–161.

Куренной В. Дескриптивная психология: пролегомены к анализу теоретического содержания и общее эпистемологическое затруднение // Герменевтика. Психология. История. [Вильгельм Дильтей и современная философия]. Материалы научной конференции РГГУ. М.: Три квадрата, 2002. С. 81–101.

Ницше Ф. О будущности наших образовательных учреждений // Философия в трагическую эпоху. Сб. М.: REFL-book, 1994.

Райнах А. Собрание сочинений. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001.

Рорти Р. Философия как зеркало природы. Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1997.

⁴³ Не имея возможности развернуть здесь позитивные аргументы в пользу этого положения, мы можем, тем не менее, воспользоваться следующим аргументом от противного. Если не прибегать к анализу содержания этих концепций, то мы никогда не ответим на вопрос, почему возник именно этот, а не любой другой теоретический альянс (при том, что мюнхенская школа не принадлежала к близким феноменологии Гуссерля направлениям — ни по языку, ни по ряду базовых элементов эпистемического каркаса).

- Сокулер З. Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2001.
- Фуко М. Археология знания. Киев: Ника-центр, 1996.
- Шпет Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы. М.: Книгоиздательство «Гермес», 1914.
- Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. М.: Издательство политической литературы, 1964.
- Beneke F.E. Kant und die philosophische Aufgabe unserer Zeit. Berlin: Posen und Bromberg, 1832.
- Ingarden R. Einführung in die Phänomenologie Edmund Husserls. Osloer Vorlesungen 1967. Gesammelte Werke. Bd. IV. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1992.
- Köhnke K. C. Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus: Die deutsche Universitätsphilosophie zwischen Idealismus und Positivismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986.
- Kusch M. Psychologism. A case study in the sociology of philosophical knowledge. London/New York: Routledge, 1995.
- Kusch M. The Sociology of Philosophical Knowledge: A Case Study and a Defense// Kusch M. (ed.) The Sociology of Philosophical Knowledge. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000. P.15–38.
- Natorp P. Die Philosophie im Examen// Литературное приложение к газете *Frankfurter Zeitung*, 24–25.01.1905.
- Ringer F.K. The Decline of the German Mandarins. Cambridge, 1969. (Ряд фрагментов работы опубликованы в журнале «Новое литературное обозрение» (1 (53) 2002. С. 105–158).)
- Sachs-Hombach K. Philosophische Psychologie im 19. Jahrhundert: Entstehung und Problemgeschichte. Freiburg (Breisgau)/München: Alber, 1993.
- Scheler M. Probleme einer Soziologie des Wissens//Gesammelte Werke, 8. Bd. Bern/München: Francke, 1980. (Scheler, 1980a.)
- Scheler M. Universität und Volkshochschule//Gesammelte Werke, 8. Bd. Bern/München: Francke, 1980. (Scheler, 1980b.)
- Schnädelbach H. Philosophie in Deutschland 1831–1933. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991.
- Schneider U.J. Philosophie und Universität. Historisierung der Vernunft im 19. Jahrhundert. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1999.
- Schuhmann K. Husserl-Chronik. Denk- und Lebensweg Edmund Husserls. (Husserliana. Dokumente. Bd. I.) Den Haag: Martinus Nijhoff, 1977.
- Spranger E. Wilhelm von Humboldt und die Reform des Bildungswesens. Unveränderte Neuausgabe mit Nachträgen. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1960.
- Spranger E. Wilhelm von Humboldt und die Humanitätsidee. Berlin: Verlag von Reuther & Reichard, 1909.

МАРТИН КУШ

ПОБЕДИТЕЛЮ ДОСТАЕТСЯ ВСЕ

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ И ТРИУМФ ФЕНОМЕНОЛОГИИ

Введение

Ранее¹ мы проследили полемику по поводу психологизма и философского статуса экспериментальной психологии. Мы увидели, что эти два спора были взаимосвязаны: например, аргументация против психологизма была одновременно и аргументацией против назначения экспериментальных психологов на должность профессоров философских факультетов. Нам предстоит найти объяснение тому, почему эти диспуты были впоследствии прекращены, а также почему победу одержали феноменология и феноменологические взгляды на психологизм и экспериментальную психологию.

В своем объяснении я делаю акцент на двух причинных факторах, а именно на последствиях Первой мировой войны и на настроениях, царивших в Веймарской республике. Война создала атмосферу, в которой нападки на коллег рассматривались как совершенно неприемлемое поведение. Более того, война также привела к четкому разделению труда между «чистыми» философами и психологами: в то время как чистая философия концентрировалась на идеологической задаче прославления немецкого «военного гения», в задачи экспериментальной психологии входили подготовка и тестирование солдат.

Я охарактеризую изменения в ментальности послевоенного периода, которые возникли в результате поражения Германии, и проанализирую последствия воздействия этих изменений на чистую философию и экс-

¹ См., напр.: Мартин Куш. Социология философского знания: конкретное исследование и защита // «Логос», № 5–6 (35), 2002, с. 104–134. — *Прим. ред.*

периментальную психологию соответственно. По сути, и чистая философия, и экспериментальная психология должны были выживать в интеллектуальном окружении, враждебном к науке, рациональности и систематическому знанию, и приспосабливаться к нему.

Чистые философы опирались на две стратегии выживания в этой атмосфере, и часто прибегали к ним одновременно: они или атаковали *философию жизни*, которая задавала тон новым настроениям, или же представлялись как ее истинные лидеры. Риккерт, ведущий неокантианец в период Веймарской республики, выбрал стратегию нападения, в то время как такие феноменологи как Шелер выступали за сотрудничество. Вторая стратегия оказалась гораздо более успешной, и феноменология постепенно занимала все более и более доминирующую позицию. Благодаря своему превосходству, феноменология впоследствии смогла навязать свои взгляды и на историю предвоенных философских прений.

В то же самое время проект по развитию натуралистической философии, опирающейся на экспериментальную психологию, быстро терял поддержку. Сторонники и практики экспериментальной психологии, таким образом, должны были искать новые способы для оправдания значимости своей дисциплины. Многие из них продолжили занятия прикладной психологией, в которые они были вовлечены в военный период. Их выбор поддерживали и государство, и промышленность, финансировавшие новые кафедры психологии исключительно в ориентированных на практику технических университетах. Психологи, желавшие остаться в составе философских факультетов, прибегали к стратегии формирования альянсов со своим (уже бывшим) врагом: они отрицали то, что они стали называть «атомистической» предвоенной традицией экспериментальной психологии, и теперь открыто приветствовали и осваивали ранее осмеиваемую философскую психологию Дильтея и Гуссерля.

Война и мир

Когда в августе 1914 разразилась война, академическая вражда в германском Рейхе немедленно прекратилась. Заявление *Кайзера* Германии «Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche» [Отныне я не знаю никаких партий, я знаю только немцев] было встречено приветствиями не только в политической сфере, но и в «академических окопах», в которых также шла война. В чистосердечных попытках мобилизовать свои силы в военном тылу, университетские профессора примкнули к таким интеллектуалам как Томас Манн, Герхарт Гаупманн, Стефан Джордж и Роберт Музиль, с энтузиазмом приветствовавших войну (Hepp 1987: 149). Настолько сильно было ощущение начала нового этапа, что

даже германский антисемитизм казался чем-то, оставшимся в далеком прошлом. Не кто-нибудь, а сам Герман Коген был готов поехать в Америку с задачей убедить еврейские организации в необходимости полной интеграции евреев в немецкое общество (Zechlin 1969: 89). Интеллектуалы всех чинов и разрядов торопились сдать свои патриотические памфлеты в печать, и тысячи публичных лекций звучали повсеместно. Рудольф Ойкен, например, выступил с 36 лекциями только за один год (Ringer 1969: 182). Почти все германские интеллектуалы превозносили вновь обретенное социальное единство и «идеи 1914 года». Это выражение впервые употребил экономист Иоганн Пленге, написавший следующее:

В один из дней в грядущем, когда мы будем отмечать годовщину этой войны, этот день будет в нашей памяти праздником мобилизации. Праздником Второго августа... Тем днем, когда был рожден наш новый дух: дух теснейшей интеграции всех экономических и политических сил в единое целое... Новое германское государство! идеи 1914 года! (Цитата взята из Ringer 1969: 181).

Заклятые враги теперь взывают в один голос; например, воззвание, обосновывающее цели Германии в мировой войне было подписано ни более ни менее чем 352 университетскими профессорами (Ringer, 1969: 181), и подписи Ойкена, Лампрехта, Виндельбанда и Вундта могут быть найдены под пресловутым «*Aufruf der 93 an die Kulturwelt*» [Воззвание девяноста трех к культурному миру]. Задачей этого *воззвания* было «изъявить протест против лжи и обвинений, которыми наши враги пытаются замарать чистые побуждения Германии». В послании говорилось, что «выступающие от имени человечества в постыдной форме набега монголов и негров, в наименьшей степени могут считаться защитниками европейской цивилизации». Призыв заканчивался защитой германского милитаризма:

Это ложь... что война против так называемого милитаризма не является войной против нашей культуры. Без германского милитаризма германская культура уже давно исчезла бы с лица земли... Германская армия и германский народ едины. Сегодня осознание этого факта объединяет 70 миллионов немцев, вне зависимости от их образования, социального статуса или партийной принадлежности (Цитата взята из Nepp 1987: 207-8).

«Гений войны»: Чистая философия идет на войну

Чистые философы принадлежали к числу ведущих популяризаторов целей Германии в войне. Многие из них выступали с публичными лекция-

ми и публиковали книги и статьи на тему смысла войны в общем, а также о роли Германии в текущей борьбе².

Среди неокантианцев наиболее плодотворным автором был Пауль Наторп, написавший, в совокупности, три книги (1915б, 1918а, 1918б). В представлении Наторпа, Германия, в отличие от своих врагов, воевала ради свободы для всех стран и народов. Именно в силу того, что Германия вступила в войну за свободу каждого и воевала «из глубочайшей любви к миру», Германия обладала моральным превосходством над остальными нациями (1915: 63). С точки зрения Наторпа, для немцев это было время противостояния «низости» их врагов, «используя единственно подходящий для этой цели язык: ясный и понятный язык кулаков. Применение этого языка оправдано вечной истиной: тот, кто лжет, заслуживает быть побитым». Язык кулаков, согласно Наторпу, не был естественной чертой немецкого народа, но Германия была вынуждена научиться этой форме общения для того, чтобы выполнить свою мировую историческую задачу: «сегодня именно мы боремся за вечную моральную справедливость» (1915: 64–5). В то время как другие страны завоевывали мир, Германия делала важные философские открытия (1915: 77). Таким образом, только Германии удалось разработать, и в какой-то мере воплотить, модель идеального общества, основанного на разуме. Это общество было комбинацией «социализма» и «милитаризма», «внутренней организацией [общества]... основанного на автономии рациональной воли». Это было общество, в котором рационально мыслящий индивид отождествлял себя с интересами общества в целом (1915: 83–5). «С этой целью Германия должна победить в войне — выиграть войну или погибнуть!» (1915: 90).

Алоиз Риль (Riehl, 1915), ведущий представитель неокантианской философии в Берлине, разрабатывал похожие темы. Как и многие другие философы того времени, Риль говорил о войне как о битве между культурой и цивилизацией. Уже в предвоенное время эта смысловая пара играла основную роль в критике эпохи модерна (Elias 1978; Ringer 1969). В период же, о котором идет речь, различие между культурой и цивилизацией использовалось для оправдания превосходства Германии над союзниками — странами Антанты. Риль говорил об этом различии следующим образом:

Мы называем цивилизацией всю сумму (и использование) тех средств, которые делают нашу «внешнюю» жизнь более простой и более красивой. Сердцевиной цивилизации являются социальные соглашения, стиль и обстановка наших жилищ, также как и технические изобретения, при-

² Более детальный обзор и анализ работ немецких философов в военное время представлен в Lubbe (1974).

умножающие нашу власть над природой и делающие ее служанкой нашей воли: беспроволочный телеграф, аэропланы, дирижабли. Даже интеллектуальные занятия, то есть тренировка нашей способности к пониманию, есть не более чем цивилизация, то есть нечто не более чем внешнее. Но культура поддерживает душу в этом теле. Культура — понятие, обозначающее внутреннее, культура рождается из внутреннего, духовного содержания жизни, и никакой прогресс во внешнем оформлении жизненных условий, никакая замысловатость условностей, не могут заменить культуру... Таким образом, мы вполне можем понять, каким образом высочайший уровень цивилизации может совпадать с низким уровнем настоящей, внутренней культуры (Riehl 1915: 315).

С точки зрения Рилья, французское, английское и русское общества шли по пути развития цивилизации, в то время как Германия демонстрировала высокий уровень культуры: «Эта война есть на самом деле война за культуру (Kulturkrieg). Мы воюем за сохранение и улучшение нашей культуры, и мы знаем, что таким образом мы боремся за культуру всего человечества» (1915: 325). Риль отрицал идею, выказываемую некоторыми британскими и французскими интеллектуалами, о том, что Германию следует освободить от милитаризма. Например, Риль сетовал на то, что врагам Германии не удалось понять даже то, «хотим ли мы быть свободными от так называемого милитаризма» (1915: 320). Как и Наторп, Риль видел в войне доказательство тому, что для современного общества недостаточно быть просто суммой индивидов:

В начале августа прошлого года, в самом начале войны, наша нация испытала полное внутреннее обновление... Призыв отечества, оказавшегося в опасности, обратился к нашим высшим моральным способностям, и мы все как будто стали чище и лучше. Долгий мир был вреден для нас, но ущерб, нанесенный миром, исчез как нечто чужеродное... Один народ и один дух, целая нация поднялась в достойном удивления единстве. Это означает, что нация (Volk) — это больше, чем совокупность граждан (1915: 316–17).

Стоит упомянуть третьего неокантианского философа, ученика Риккерта, Бруно Бауха. Обзор основных работ военного периода Вундта (Wundt, 1915), выполненный Баухом (Bauch, 1915), является примечательным свидетельством того, как бывшие академические оппоненты становились друзьями. Баух не зашел настолько далеко, чтобы назвать Вундта философом, но в других отношениях Баух превозносил и восхищался Вундтом: Вундт был «настоящим немцем» (1915: 305), чье описание англичан было «мастерским», и чьи работы целиком были образцом «духа немецкой прав-

дивости и немецкого характера... который, будем надеяться, в один прекрасный день пригодится всему культурному человечеству» (1915: 310).

Статья Бауха «О понятии нации» («Vom Begriff der Nation» (1916–17)) была откровенно расистской и антисемитской. Я уже процитировал ключевой пассаж из печально известного «Воззвания 93 к культурному человечеству», в котором выражался протест против того, что немцы, как белая раса были вынуждены воевать против «монголов и негров». Действительно, это недовольство играло важную роль на протяжении всей войны. К 1916 году, когда энтузиазм по поводу войны пошел на спад, и даже Рудольф Ойкен выступал перед полупустой аудиторией (Lübbe 1974: 183), расистские настроения сочетались с поисками козла отпущения: общественность теперь волновал вопрос, а «достаточно» ли евреев гибнет в огне войны (Zechlin 1969: 528). Статья Бауха «Vom Begriff der Nation» была попыткой философски обосновать подъем антисемитизма. Согласно Бауху, единство немецкой нации было единством крови и черепа:

Общая кровь есть объединяющий элемент в естественном существовании нации... Если через много поколений антрополог наткнется на мой череп, он должен будет или немедленно распознать череп немца, или имя ему шарлатан... когда в эти сложные времена наши воины сражаются против врагов в жестоких, тяжелых и беспощадных битвах, и когда те же самые воины, находясь в плену, возделывают поля и поддерживают хозяйство врагов своих, помогают их женам в трудах и бедствиях, делят свой хлеб с их детьми, общаясь дружелюбно и с любовью, разделяя радости и горести детей, как если бы их родной отец был с ними, учат их играм, и даже поют немецкие рождественские песенки детям своего врага — большинство людей в стане врага находят это непонятным и поразительным. Но мы просто говорим о наших воинах: «Это кровь от нашей крови» (Bauch 1916–17: 142).

С точки зрения Бауха, евреи не были частью немецкой нации. Они были «этническими чужаками» (völkische Fremdlinge), а их язык — «не нашим языком» (1916–17: 147).

Переходя от неокантианцев к феноменологам, необходимо заметить, что никто из них не достиг такого большого успеха в работах военного времени, как Макс Шелер, студент Рудольфа Ойкена, перешедший в лагерь феноменологов³. Статьи военного периода Шелера составили три тома, *Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg* (1915a), *Krieg und Aufbau*

³ Гуссерль не опубликовал ни одной военной речи, хотя в своих публичных выступлениях он также защищал ту точку зрения, что победа Германии будет победой «всего человечества» ([1917] 1987: 293).

(1916) и *Die Ursachen des Deutschenhasses* (1919). Эти сочинения в одночасье принесли ему популярность в Германии (Hartmann 1928: xiii), они же заложили основание главенству Шелера — и феноменологии — в Веймарский период.

Центральной и непреходящей темой военных книг Шелера была идея того, что война создала «сообщества любви»: «Наиважнейшая объективная цель войны... есть прежде всего: формирование и расширение тех или иных из множества возможных форм истинных союзов любви. Такие союзы, как “народ”, “нация”, и пр., представляют собой противоположность основанным на интересе сообществам, которые фактически существуют или же возникли в полном соответствии с законами» (1915a: 10). Поскольку война усиливает чувство любви среди человеческих существ, война есть более ценное состояние, чем мир. Мир «объединяет людей только внешне; это происходит потому, что мир превращает людей в атомы и разъединяет их» (1915: 89). А поскольку война есть наиболее эффективный способ формирования сообществ любви, участие в войне становится религиозным долгом. Из-за грехопадения и первородного греха Бог положил морали войны быть необходимой переходной фазой перед достижением морали любви: «война остается позитивной и существенной частью божественного избавления от грехов» (1915a: 97).

Описывая преимущества войны, Шелер также использовал метафоры здоровья и болезни. Война

выносит на поверхность ужасные конфликты, связанные с ненавистью, завистью, гневом, мстостью, яростью и отвращением — чувства, которые в мирные времена подавлены и загнаны в темные подвалы души, — и, таким образом, война восстанавливает первоначальные условия для истинного взаимного уважения и симпатии между нациями. Так война становится психотерапией для наций (Scheler, 1915a: 100).

То же самое верно и для индивидов; Шелер присоединился к предположению Бинсвангера о том, что невротические молодые люди излечиваются «великим чистильщиком — “войной”» (1915a: 365).

Согласно Шелеру, выгоды войны очевидны для развития техники, науки, искусств и философии. Например, именно война привела к заселению множества частей мира. Более того, изобретение новых видов вооружений стимулировало и направляло развитие технологий: «Оружие предшествовало орудию труда, и почти все высокие технологии, как в исторической перспективе, так и более современные, были созданы в поддержку технологиям войны и фортификаций» (1915a: 46).

Учитывая то, что Шелер считал войну стимулом для интеллектуальных достижений, нас не должен удивлять тот факт, что он игнорировал кон-

фликт между военными и университетскими интересами в отношении распределения ресурсов. Вливание денег в университеты и академии приведет к нежелательным урезаниям военных расходов, и – в любом случае – не ведет к желаемому результату: «За исключением короткого промежутка от Канта до Гербарта в Пруссии, вся европейская философия со времен Декарта... возникла за пределами государственных университетов... Меч и дух образуют прекрасную, достойную пару» (1915а: 141–2). Militarизм, таким образом, был лучшей гарантией научного прогресса (1916: 171–2).

Удивительно, что Шелер не только защищал немецкий милитаризм, но и пропагандировал новую форму патриотизма, а именно «европейского патриотизма». Суть патриотизма такого рода заключалась в двух следующих чертах. Во-первых, Шелер доказывал, что европейская наука привела к складыванию общего европейского мировоззрения. Это мировоззрение соответствовало «структуре европейской мысли, которая подчиняет всевозможные явления природы и духа возможности активного контроля над ними» (1915а: 276–280). Шелер полагал, что европейское миропонимание было ближе к непосредственному устройству мира, чем какая бы то ни было другая картина мира (1915а: 283). Во-вторых, Шелер более прямо выразил новый европейский патриотизм в своем эмоциональном воззвании к солдатам на линии фронта:

Патриотизм Европы будет порожден в крови и железе нынешней войны!.. Вы, немецкие солдаты сражающиеся на полях битв, впервые встречающие казаков, индусов, представителей Канады, Ньюфаундленда, Австралии, Новой Зеландии, видящие арабов, персов, турок, японцев, маори и негров, бросающихся камнями... Рассмотрите их хорошенько! Испытайте сочувствие к страданиям живых существ даже в гуще самого ожесточенного сражения! Уважайте благородное страдание человеческого существа во всех ваших врагах – ведь это один из видов животных, от которого был рожден человек! Читите «белого» человека, создавшего европейскую цивилизацию, и относитесь с любовью к французу, англичанину, к поющему и воинственному сербу.. И, встретив русского, не забывайте, что он тоже жаждет подчиниться закону Иисуса, Господа нашего..! Такова иерархия чувств, которую вы должны усвоить (1915а: 282).

Шелер полагал, что Германия воевала именно за такое европейское – или скорее «западноевропейское» – мировоззрение. Миссия Германии оставалась «святой» до тех пор, пока Германия защищала западноевропейскую культуру от России (1915а: 340). Однако, участие Германии в войне оправдывалось еще и вовлеченностью в нее Британии: в данном случае это была война против капитализма, буржуазности и ухода от реальности (1915а: 75).

Несмотря на то, что во время войны публичная критика коллег-философов рассматривалась как неприемлемое поведение, восторженное одобрение Шелером войны как матери культуры и всех наук иногда встречало и сопротивление. Гельмут Фалькенфельд, студент Риккерта, приветствовал патриотизм Шелера, но отрицал статус «философии войны», присутствующий в сочинениях Шелера. Особенное негодование Фалькенфельда вызвало высказывание Шелера о том, что такие деятели как Клейст, Гельдерлин, Фихте и Гегель «стали теми, кто они есть, только благодаря войне» (1916–17: 100). Было бы естественным предположить, что и другие публикации различных авторов, отрицавших идею войны как благотворной культурной силы, были косвенной критикой идей Шелера (например Cohn 1914–15; Mehlis 1914–15).

Подобные публикации кардинальным образом изменили повестку дня немецкой философии. Вопрос о том, каким образом чистая философия относится к естественным наукам и наукам о духе (*Geisteswissenschaften*), перестал быть главным; вместо этого темой публичных лекций и памфлетов стал вопрос о роли Германии в истории, а также смысл войны и страданий. Некоторые ресурсы предшествующих раздоров в академических кругах могли быть использованы для решения новых вопросов: в то время как предшествующую культуру философской мысли нужно было защищать от материализма натуралистической философии, сейчас нужно было защищаться от материалистического, или утилитаристского, духа британцев. И, подобно тому, как ранее немецкий идеализм служил образцом антинатуралистической философии, во время войны можно было прибегнуть к нему для описания общества, в котором общественное благо стояло над благом и правами индивида.

«Между священником и врачом»: психология идет на войну

У практикующих экспериментальных психологов и их сторонников было несколько путей проявить свою отвагу во время войны.

Первая стратегия была неотличима от *modus operandi* чистых философов. Некоторые приверженцы экспериментальной психологии, опираясь на свое знание этики или философии истории, заявляли, что Германия обладала моральным превосходством по сравнению с другими нациями. Эта стратегия очевидна из таких книг как, например, «Этика и война» (*Die Ethik und der Krieg* (1915)) Освальда Кюльпе. Защита милитаризма здесь не особенно отличается от аргументации, используемой такими философами как Наторп и Шелер.

Вторая стратегия заключалась в написании патриотической политической речи или памфлета, без каких бы то ни было философских или научных претензий. Явный пример тому – работа Вундта «Über den

wahrhaften Krieg» [О настоящей войне, 1914b]. Этот памфлет был безыскусной тирадой, направленной против англичан: Великобритания была «главным виновником пожара войны»; она «раздула войну в мировую войну» (1914b: 13); равная вина приписывалась британскому правительству и британскому народу (1914b: 17); оба проявляли «безрассудный эгоизм» в своих действиях (1914b: 22); Британия вела войну «против каждого отдельного немца» (1914b: 29); и она «покинула сообщество цивилизованных стран, по крайней мере, на время войны» (1914b: 29). По причине всех этих обвинений, Британия должна была быть жестоко наказана после того, как Германия одержит победу:

По поводу Британии мы должны будем сказать: «с той страны, которой многое было дано, много и спросится». Принимая во внимание, что это всего лишь небольшое островное государство, у Англии слишком уж много колоний. Она должна будет многим поделиться, если результатом этой войны станет справедливый раздел товаров колониальных культур (Wundt 1914b: 35).

Третьей стратегией было применение *Völkerpsychologie* (этнической психологии) для анализа различий между *Volkseelen* (душами народов) немцев и их врагов. Не удивительно, что Вундт и некоторые из его студентов были в какой-то мере к этому причастны. Задачей исследования Вундта, составившего целую книгу *Die Nationen und ihre Philosophie: Ein Kapitel zum Weltkrieg* [Нации и их философия: глава о войне, 1915], было оценить—«*sine ira et studio*» (1915:5) — «душу народа» (*Volkseele*) французской, английской и немецкой наций соответственно. В этом анализе Вундт полагался на военные песни, типичные формы поведения и доминирующие философские традиции. Последнее оправдывалось известным саркастическим высказыванием Фихте, согласно которому «какова философия, таков и человек» (1915:11); Вундт полагал, что это замечание особенно уместно в применении к нациям. В случае Франции Вундт заявил, что Декарт был единственным достойным философом (1915:23). Современные французские философы-материалисты, однако, характеризовали французскую нацию гораздо более ярко. В глазах Вундта, они пропагандировали философию себялюбия, отлично резонировавшую с французским народным характером (*Volkseele*): «Моральные рассуждения [французского] народного духа (*Volkseele*) есть пример замысловатого эгоизма, который, в критический момент, может обратиться в деятельный альтруизм. Но за спиной этого альтруизма витает, как потаенный мотив, потребность пустить пыль в глаза» (1915: 35). Оценка англичан Вундтом была более едкой. Как свидетельствуют философии Гоббса, Локка, Беркли, Юма и Спенсера, англичане склонны к «безрассудному материализму»

(1915: 44), и их мышление частенько бывает «неуклюжим, топорным, мелким, неясным... расплзающимся во все стороны, а не глубоким» (1915: 45, 47). Говоря о Юме, Вундт сокрушается по поводу его «психологизма».

Эти замечания были выверены анализом военных песен. Сравнивая такие гимны как «Марсельеза», «Правь, Британия», и «Стража на Рейне», Вундт заявлял, что высшими ценностями для французов были «честь и слава», для англичан «власть и превосходство», а для немцев — «надежность, ... верность и долг» (1915: 125–9). В случае французов Вундт высказывал некоторую симпатию к их предполагаемому уважению к чести, и восхвалял их, например, за умение вести себя в спорах. В то время как немцы склонны к догматизму, французы всегда готовы признать частицу правды во мнении оппонента (1915: 135–7). Британцы же ни в коей мере не заслуживали похвалы за свои привычки в общении. Будучи частью компании, англичанин «предпочитает или не говорить совсем, или, если уж молчание рассматривается как совершенно неподобающее, говорит только о тривиальных и очевидных вещах». Происходит же это потому, что британцы есть «пресытившаяся нация», привыкшая к своему превосходству в мире, и не желающая рисковать (1915: 135–7).

Четвертой стратегией было применение психологического знания к педагогике времен войны. Статья Августа Мессера «Война и школа» («Der Krieg und die Schule» (1914a)) является типичным примером такого жанра письма психологов тех времен. Мессер видел свою задачу в наставлении школьных учителей в том, каким образом можно приспособиться к новым условиям. Прежде всего, Мессер втолковывал учителям представление об их собственной исключительной важности. Обеспокоенный тем, что учителя могут предпочесть роль солдата роли педагога, Мессер писал: «то, что вы делаете как учителя и наставники, не менее важно, чем борьба с оружием в руках». В конце концов, немецкая культура передавалась из поколения в поколение именно в немецких школах (1914a: 529). Более того, Мессер стремился к тому, чтобы учителя выработали «прочную моральную установку» по отношению к войне (1914a: 530). Учителя должны были представлять мировую войну как «необходимый... инструмент для сохранения абсолютно необходимой моральной ценности-в-себе: немецкой культуры» (1914a: 532). Несмотря на акцентирование необходимости патриотизма и чувства отвращения к врагу, Мессера беспокоила перспектива навредить эмоциональному развитию немецких детей демонстрацией чрезмерной ненависти. Для того, чтобы избежать эмоциональной травмы, учителя должны были следить за тем, чтобы ученики не развивали ненависть к отдельным представителям русской, английской или французской наций, и знали о сопротивлении войне, существующем среди вражеского населения (1914a: 535).

Пятой, и наиболее распространенной, стратегией содействия войне была практика военной психологии. Перед началом войны в этой области делалось совсем немного, и работы таких авторов как капитан Майер (1911, 1912а, 1912б) не особенно волновали научную общественность. Но ситуация быстро изменилась с началом войны. Работа над вопросами военной психологии, или «военных психотехник», оттеснила на задний план многие другие исследовательские проекты. Один известный очевидец отметил в 1918 году: «Если бы кто-то сказал мне до войны, что во время войны в моем институте будут происходить подобные вещи, я бы с недоверием покачал головой» (Stumpf 1918: 273). Многие работы так и не были опубликованы, но источники тех дней приводят длинные списки исследовательских проектов (Stumpf 1918; Rieffert 1922). Экспериментальные психологи разрабатывали, среди прочего, тесты на профпригодность для пилотов и вторых пилотов, водителей военной техники, операторов связи, пулеметчиков, артиллеристов и артиллерийских наводчиков. Они изучали причины авиакатастроф; влияние полетов на больших высотах на психику летчиков; чувство равновесия у летчиков; восприятие направления звука; время реакции у солдат, работающих с радаром; психологические процессы во время перестрелки; психологию прицела и точечной бомбардировки; усталость, возникающую при долгом ношении противогаза; эффективность камуфляжа; психологию солдат с ранениями в голову; повреждения мозга; потерю способностей и их реабилитацию; психологию раненых с ампутацией; воздействие войны на рассудочную деятельность; военные неврозы; психологическое воздействие протезов; симуляцию; реинтеграцию раненых в трудовую деятельность; ветеранов; а также эффективную организацию армии.

Для некоторых авторов даже подобный список не был достаточно длинным. Теодор Цихен видел свою задачу в расширении теста профпригодности с рядовых солдат до высших звеньев командования. В качестве первого шага в этом направлении Цихен опубликовал труд «Psychologie großer Heerführer» [Психология командиров высшего звена, 1916]. В этом исследовании предполагалось определить качества, свойственные хорошему командиру. Цихен сожалел, что он не мог тестировать действующих военных чинов в лаборатории, поскольку «у действующих командиров высшего звена есть более важные дела, чем быть субъектом эксперимента в психологической лаборатории» (1916: 6). С целью преодолеть эту трудность, Цихен предложил два метода: анализ исторических отчетов о характере армейских командиров и привлечение (французских!) исследований, посвященных способностям выдающихся шахматистов.

Некоторые теоретики и практики экспериментальной психологии старались нажить капитал на предполагаемом успехе военной психоло-

гии и требовали постоянных должностей психологов в армии. Согласно Францу Янсену (Franz Janssen, 1917), введение подобных должностей было необходимо для тестирования всех новобранцев, а также для того, чтобы разработать тесты на профпригодность для всех военных служб. Янсен особенно беспокоился об интеграции социальной психологии в военную психологию. Только в том случае, если психолог занимает в армии постоянную должность, появляется возможность развития таких дисциплин как

психология лидерства; психология мотивации солдат; понимания того, как оказывать влияние на мелкие и крупные подразделения в полевых условиях, в различных ситуациях, таких как марш-бросок, привал, в траншеях, под ураганным огнем, на карауле; психология атаки, отражения атаки, отступления, и многих других ситуаций (Janssen 1917: 108).

Макс Дессуар в работе «Исследования по психологии войны» (Kriegspsychologische Betrachtungen (1916)) желал видеть психолога на фронте, а не в тылу. Солдаты бы приветствовали психолога как специалиста, чья функция в некотором смысле состояла бы в том, чтобы находиться «между священником и врачом... быть тем, кто действительно понимает их». И более того, психология могла помочь выиграть войну, воплощая в действительность распространенное представление: «мы победим, ведь у нас более крепкие нервы» (1916: 3–5).

В качестве последнего пункта следует отметить, что экспериментальный характер немецкой психологии трактовался как еще один повод испытать чувство превосходства над англичанами. Как физиолог-психолог Макс Верворн заявил в своей книге «Биологические основания культурной политики: исследование на тему мировой войны» (Die biologischen Grundlagen der Kulturpolitik: Eine Betrachtung zum Weltkriege, 1915), что Германия обладает превосходством над Великобританией поскольку именно Германия способна «мыслить экспериментально». Согласно представлениям Верворна, в Британии «“наука” рассматривается как безобидное, даже полусонное времяпрепровождение» (1915: 44). Британские политики не научились рассчитывать результаты своих действий, и, таким образом, не научились должным образом ценить немецкую мудрость, согласно которой «честность — лучшая политика» (1915: 47). Британская политика до сих пор основывалась на ненаучной догме «права она или нет — это моя страна», и действия, основанные на этой максиме, явились причиной данной войны, со всеми ее страданиями: «Эта война есть результат отсутствия экспериментального мышления в высших кругах Англии. Эта война — позор для английского образования» (1915: 55).

Триумф феноменологии: философия и психология в Веймарской республике

Нетрудно понять, что война масштаба Первой мировой должна была привести к примирению академических споров. Менее очевидно, почему после окончания войны немецкие и австрийские философы не вернулись ни к охоте на психологов, ни к дебатам о статусе экспериментальной психологии. На первый взгляд, у философов могли бы быть более чем достаточные основания вернуться к довоенной повестке дня: согласие не было достигнуто ни по поводу определения психологизма; ни по поводу того, кого можно назвать психологистом; ни о том, чьи аргументы против психологизма можно считать существенными; была ли экспериментальная психология философской дисциплиной; а также можно ли (и нужно ли) объединять роли экспериментального психолога и философа. Более того, экспериментальная психология продолжала находиться в ведении факультетов философии до 1940-х годов. И наконец, во времена Веймарской республики время от времени продолжали появляться статьи или книги, авторы которых заявляли о новых аспектах вопроса о психологизме. Например, многие сочли бы «Учебник логики на позитивистских основаниях» Теодора Цихена (*Lehrbuch der Logik auf positivistischer Grundlage* (1920)) относящимся к течению психологизма. Цихен защищал Зигварта, Вундта, Эрдмана и Липпса (1920: 205) — но работа осталась незамеченной. Публикация работы Вилли Муга «Логика, психология и психологизм» (*Logik, Psychologie und Psychologismus*) не только содержала прекрасный обзор мнений за и против Гуссерля, но также претендовала на поимку многих других философов с поличным. Опять же, к большому неудовольствию Муга, никаких протестов не последовало. Несмотря на появление редких положительных отзывов (*Morgenstern* 1920–21; *Endriß* 1921), работа Муга осталась за пределами внимания широких философских кругов, и Мугу ничего не оставалось кроме занятий историей идей. Последним, но не менее важным, примером остаются предложения о компромиссе между чистой логикой и психологической логикой (каждое объемом с книгу), предоставленные Полем Гофманом (1921) и Мартином Хонекером (1921). В работе Гофмана «Анатомия проблемы значимости» (*Die Anatomie im Problem der Gültigkeit*) защищается мнение о том, что точка зрения как Эрдмана, так и Гуссерля в равной степени имеет право на существование. Структура человеческого сознания одновременно вынуждает нас предположить, что законы логики зависят от человеческого организма, но в то же время и верить в то, что они существуют вне пространства и времени.

Сложной и интересной задачей было бы, таким образом, объяснить почему все-таки так и не произошел возврат к довоенной повестке дня,

и почему академическая общественность стала рассматривать Гуссерля и феноменологию как правильную точку зрения на психологизм и на отношения между философией и психологией. Для того, чтобы объяснить эти факты, нам нужно начать с общего настроения и менталитета Веймарской культуры.

Веймарская ментальность

Для историков немецкой философии и науки двадцатого века не будет неожиданным мое обращение к теме антинаучной ментальности Веймарской культуры, которую можно рассматривать как одну из причин смены повестки дня. В конце концов, именно менталитет представителей немецкого академического сообщества в Веймарскую эпоху играет основную роль в двух классических примерах из истории науки. Франц К. Рингер рассматривает этот феномен в своей книге об упадке социального и политического влияния немецкой университетской профессуры в период между 1890 и 1933 годами (Ringer 1969); Поль Форман подчеркивает важность этого феномена для понимания заинтересованности немецких физиков в создании и развитии некаузальной механики (Forman 1971).

Еще до войны многие ведущие интеллектуалы неоднократно выражали скептицизм по поводу современного состояния мира. Обыкновенно их сомнения выражались в форме оппозиции «культура против цивилизации». Признавая, что технический прогресс делал жизнь более комфортабельной для большинства населения, «немецкие мандарины» в то же время высказывали мнение, что подобные улучшения по мере развития цивилизации не ведут к прогрессу моральных и духовных ценностей. Многие из них, действительно, придерживались той точки зрения, что культура, включающая философию, искусство, религию и мораль, неизбежно будет клониться к закату по мере развития технологий, массового производства, демократизации и секуляризации. Им представлялось неизбежным, что улучшение «внешнего» качества жизни приведет к упадку «высших ценностей» в их немецком понимании. В значительной мере энтузиазм представителей немецкого академического сообщества по поводу войны обуславливался их верой в то, что война принесет радикальные изменения. Многие с самого начала признавали за войной опыт очищения, опыт, через который и в котором Германия откроет заново свою культуру и признает бесплодность и поверхностность современного технологизированного мира.

Поражение Германии поколебало эти ожидания и усилило влияние теорий декаданса и упадка. Чувства беспомощности, бессилия и пессимизма усиливались в силу тех бедственных условий жизни, в которых оказа-

лось академическое сообщество времен Веймарской республики. Накопления унесла инфляция, большинство университетских преподавателей жили в бедности, поездки стали непозволительной роскошью, и даже у библиотек не было средств на покупку самых необходимых учебников и журналов. В 1923 году, на пике инфляции, университет Фрайбурга уволил 35 процентов преподавательского состава. В то же самое время, однако, необычайно возросло число студентов. Количество студентов в немецких университетах увеличилось с 61 тыс. в 1914 году до 72 тыс. в 1918 году, и до 112 тыс. в 1923 году. Совершенно очевидно, что студенты страдали даже в большей мере, чем их преподаватели, тогда как перспективы их дальнейшей карьеры были и того хуже. Понятие «академический пролетариат» было не только широко распространенным, но и адекватно описывало ситуацию данного периода (Ringer 1969: 52–75).

Принимая во внимание данные условия, вполне естественным было укоренение в повседневной речи таких слов как «упадок», «кризис» и «отчуждение». Разговоры о кризисе быстро обернулись против техники и науки. «Неоромантическая, экзистенциалистская “философия жизни” — используя терминологию Формана — стала модой времени, и «ученый стал мальчиком для битья в непрекращающихся проповедях о духовном обновлении, в то время как концепция — и даже само слово — “причинность” символизировало все то, что было ненавистным в науке» (Forman 1971: 4). Науку обвиняли в «разрушении душ», в современном «мировом кризисе» и возлагали на нее ответственность за «всю интеллектуальную и материальную нужду, пришедшую вместе с кризисом» (Max von der Laue, цит. по Forman 1971: 11). О науке говорилось как о дороге к «предельной интеллектуализации», к «разрушению иллюзий о мире» и «удушающему детерминизму» (Ernst Troeltsch, цитата из Forman 1971: 17). Многие из подобных чувств были с особой силой выражены в «Закате Европы» Освальда Шпенглера (*Untergang des Abendlandes*, 1918), книге, 100 тыс. экземпляров которой было продано к 1926 году. Для Шпенглера *Kausalitätsprinzip* — принцип причинности — науки являлся главным ингредиентом западного «Фаустовского» мироощущения. Западная культура шла по пути саморазрушения (Forman 1971: 31–7). Встречая подобные нападки, ученые должны были сделать выбор: сопротивляться или приспособливаться. Выбор пути сопротивления означал защиту науки и, помимо прочего, борьбу с иррационализмом, мистицизмом, оккультизмом, спиритуализмом и теософией. Этот путь выбрали, например, Макс Планк и Арнольд Зоммерфельд. Более же распространенной реакцией на антинаучный климат со стороны ученых стала стратегия приспособливания. Сторонники этой линии поведения приняли основные обвинения, они заявляли, что их дисциплина находится в состоянии кризиса, и старались пересмотреть свои

суждения в свете идей Шпенглера и других сторонников *Lebensphilosophie* (философии жизни). Приспосабливание означало отказ от принципа причинности, атомизма и технологических подходов и, с другой стороны, превознесение ценности интуиции, холизма и общественных интересов. К 1929 году эта идеология даже нашла дорогу во вступление к «Учебнику физики» (*Handbuch der Physik*). А Рихард фон Мизес заявил в своем выступлении в 1920 году, что «эра техники» находится на исходе, и что физики стремятся «к новому пониманию мира». Физики опять возвращались «к старым вопросам алхимиков... гармонии чисел, загадкам числа, напоминающая если не Пифагорейцев, то каббалистов». Фон Мизес даже согласился со Шпенглером в том, что западная культура окончательно пришла в упадок, и сомневался в том, что новые поколения «продолжат заниматься точными науками так, как это делали мы» (Forman 1971: 51).

Физики не были одиноки, принимая на себя основные обвинения и заявляя о кризисе своей дисциплины. «Кризис» стал основной мерой успеха и в других исследовательских областях; в одном из ключевых текстов того времени — «Бытии и времени» Мартина Хайдеггера — этот критерий был сформулирован уже совершенно недвусмысленно: «Ценность науки зависит от того, до какой степени эта наука способна преодолеть кризис своих фундаментальных положений» (1927: 9). Таким образом, нет ничего удивительного в том, что кризис быстро распространился во все области науки. Положение в физике и математике описаны в небольшой классической работе Формана, а Рингер призывает нас обратить внимание на некоторые ключевые тексты в области медицины, лингвистики и экономики (Ringer 1969: 385–7).

От Lebensphilosophie к феноменологии

Как Рингер, так и Форман называют философа Освальда Шпенглера единственной центральной философской фигурой Веймарской Германии. Принимая во внимание задачи их исследований, такое упрощение является вполне допустимым. Шпенглеровская формулировка теории упадка была наиболее известна и вызывала наибольшее число нападок. Для нашего же исследования метод Рингера и Формана не подходит. Нетрудно увидеть почему: Шпенглер был *Privatgelehrter* — частным ученым, который не занимал никакой академической должности и не имел влияния на университетскую политику. Несмотря на то, что он оказал несомненное интеллектуальное влияние на целое поколение немецких интеллектуалов, Шпенглер никогда не занимал никакой должности в академических структурах.

Если мы хотим понять изменения в академической философии во времена Веймарской республики, нам нужно выйти за пределы влияния

Шпенглера. Мы стремимся понять, каким образом феноменология приобрела, по крайней мере в академических кругах, образ, по своим темам и декларациям во многом схожий с тем, что был представлен общественному вниманию в книге Шпенглера. Именно здесь кроется ключ к успеху феноменологии в Веймарской республике, и здесь мы найдем объяснение тому, почему взгляды Гуссерля на психологизм и экспериментальную психологию вошли в наши учебники и истории философии. <...>⁴

Успех феноменологии

Показав, что ни неокантианская философия, ни научная философия в эпоху Веймарской республики не приобрели последователей, я перехожу к объяснению того, как феноменология приобрела положение доминирующей философии. Триумф феноменологии стал возможен потому, что Шелер и Хайдеггер — уже до войны и во время войны заявившие о своей принадлежности к феноменологии — преуспели в представлении своих мыслей как единственно возможного ответа со стороны академической философии Шпенглеру, и как единственно возможную философию жизни.

Собственная позиция Гуссерля в отношении философии жизни была, в лучшем случае, амбивалентна. Как Риккерт и Шлик, он был готов поклоняться модным богам. Например, в 1925 году Гуссерль написал предисловие

⁴ В опущенной здесь части автор рассматривает основные компоненты философии жизни как нового «стиля мышления» о полноте жизненного опыта и анализирует работы ее основоположников. К числу последних относятся Ясперс, Шелер, Шпенглер, а также Хайдеггер. Куш обобщает идеи программной работы Шелера «Подходы к философии жизни: Ницше, Дильтей, Бергсон» ([1915b] 1972), в которой тот анализирует произведения «пророков новой философии жизни»; книгу Освальда Шпенглера «Закат Европы» (1918); и труд Карла Ясперса «Психология мировоззрений» (1919). Куш объясняет успех философии жизни в Веймарской республике главным образом неслыханной популярностью книги Шпенглера, выдержавшей множество изданий, а также академическим признанием и распространенностью идей Ясперса и Шелера. Куш анализирует упадок неокантианской философии и рост популярности в академической среде феноменологии, трактуя последнюю как привлекательный для университетских кругов вариант «философии жизни». Согласно Кушу, неокантианцы не смогли противостоять критике, исходящей от Шелера, Шпенглера и Ясперса, не только в силу общей враждебности к рационалистическим идеям и доминирующего авторитета Гуссерля, но и вследствие смерти некоторых из многообещающих неокантианцев, а также в силу снижения численности студентов, не удовлетворенных карьерными перспективами. — *Прим. перев.*

к немецкому изданию речей Будды Гаутамы. В этом коротком тексте Гуссерль говорит о «дегенеративной культуре» настоящего и необходимости «ментальной чистоты и искренности» и «преодоления мирского». Он также надеялся на «новый тип человеческой “святости”... [которая бы] пробудила новые силы религиозной интуиции и... способствовала бы углублению христианской интуиции» (1925: 125–6). Несмотря на это, Гуссерль атаковал Шпенглера с кафедры (Kraft 1973: 89), и в серии публичных лекций в 1931 году он охарактеризовал работы Хайдеггера и Шелера как «антропологизм и психологизм» и как «абerrации, которые даже не достигают истинных философских измерений» (1931: 164; 179).

Шелер также дал не особенно восторженную оценку работам Гуссерля. Шелер назвал трансцендентальную феноменологию Гуссерля «забавным поворотом», «главным препятствием для конструирования метафизики на основе теории сущностей», и частичным возвращением к Беркли, Канту и Наторпу (Scheler 1922: 311).

В свете вышеприведенных цитат, нам нужно найти объяснение тому, почему Шелер и Хайдеггер вообще называли себя «феноменологами», и как понятие «феноменология» могло охватить столь различные проекты, как проекты Гуссерля, Шелера и Хайдеггера. Мы также можем спросить, каким образом случилось так, что Гуссерль, и только Гуссерль, стал фигурой, которую связывают с опровержением психологизма. При ответе на этот вопрос я сосредоточусь на фигуре Шелера.

Шелер был ключевой фигурой в феноменологии во времена Веймарской республики, и его оценка истории философии в Германии между 1900 и 1920 годами стала общепринятым взглядом на этот период (например, см. Schnädelbach 1984). Как я упомянул ранее, Шелер был студентом Рудольфа Ойкена, неофихтеанского философа в Иене. Многие из предвоенных работ Ойкена затрагивали темы и вопросы, которые задним числом могут быть названы предшествующими философии жизни (например, Eucken 1896). Шелер написал как свою докторскую, так и профессорскую диссертации под руководством Ойкена. Профессорская диссертация Шелера по теме «Трансцендентальный и психологический метод» (*Die transcendente und die psychologische Methode*) была опубликована вскоре после публикации «Пролегомен» Гуссерля в 1901 г. В этой работе Шелер выступил против психологизма, который означал для него «утверждение, что философские дисциплины в особенности составляют часть психологии» (1901: 320). Выступая против натурализации значения и логики, Шелер критиковал «трансцендентальный метод» Канта и неокантианцев. Согласно Шелеру, трансцендентальный метод привел к двоякому результату: предложениям, которые могут быть опровергнуты опытом, и предложениям, которые не могут быть опровергнуты опытом. Согласно Шелеру,

все предложения первой группы оказались ложными; в то время как предложения второй группы оказались пустыми и бесплодными (1901: 285).

Довольно естественно предположить, что враждебная установка Шелера по отношению к неокантианцам и натуралистической философии привела его к мысли взять феноменологию в союзники. Дополнительным стимулом к заключению союза с Гуссерлем был его католицизм. Католическая философия и немецкий идеализм обычно воспринимались как непримиримые системы мировоззрений, и кантианская философия часто противопоставлялась философии Фомы Аквинского (Eucken 1901). Феноменология же основывалась на схоластике. Как бы то ни было, в первой декаде 20 века Шелер стал называть себя феноменологом и перенял центральные идеи из «Логических исследований» Гуссерля. Для Шелера феноменология была поиском сущностей, поиском, основанным скорее на *Wessensschau* или «эйдетической интуиции», а не на трансцендентно-редуктивной, «конструктивистской» аргументации.

Шелер был фигурой номер один в процессековки крепкого звена, соединяющего «интуицию» бергсонского типа и «эйдетическую интуицию» Гуссерля (как в «Логических исследованиях»). Ранее я процитировал несколько ключевых пассажей из популярной статьи Шелера «Подходы к философии жизни: Ницше – Дильтей – Бергсон» (*Versuche zu einer Philosophie des Lebens: Nietzsche – Dilthey – Bergson [1915b]*). Эта статья показывает, что для Шелера феноменология была неотъемлемой частью философии жизни.

Мы вполне можем усомниться в том, насколько успешен был Гуссерль в попытках убедить большинство немецких читателей в подобного рода связи между феноменологией и философией жизни. Для установления характера этой связи особенно удачно подходила позиция Шелера. Он был одновременно и самопровозглашенным феноменологом, и одним из самых плодовитых сторонников философии жизни. Работы военных лет завоевали ему значительную известность, и, к тому же, он был превосходным лектором и вызывающей восхищение – «демонической» – фигурой (Gadamer 1977: 71). На протяжении 20-х годов двадцатого века влияние Шелера среди послевоенных студентов философии и некоторых из их наставников неуклонно росло. Действительно, согласно нескольким источникам того времени, Шелер был самым влиятельным философом Веймарской Германии перед неожиданным подъемом Хайдеггера.

В употреблении Шелера «феноменология» была синонимична «*Sachphilosophie*» (Scheler [1922] 1973). «*Sache*» и «*Sachlichkeit*» были особенно модными словечками в Веймарской Германии. В английском языке не находится эквивалента ни одному из этих терминов. В зависимости от контекста, «*Sache*» может переводиться как «вещь», «объект», «мате-

рия», «проблема», «факт», а «Sachlichkeit» обычно означает «фактичность», «функциональность» или «объективность». В Веймарский период изучать «Sachen» означало исследовать «реальные вещи» и «реальные проблемы»; это выражение означало неприятие искусственно созданных (философских) псевдопроблем; оно предполагало восстановление контакта с реальным миром через видение последнего с непредвзятой позиции; оно было эквивалентно отрицанию излишних украшений и усложнений; и оно также демонстрировало предпочтение в пользу «видения», а не «конструирования». Принимая во внимание вышеперечисленные коннотации и смысловые связи, легко понять, каким образом восклицание «Zu den Sachen selbst!» [«к самим вещам»] может резюмировать устремления той эпохи.

Шелер достиг успеха в убеждении своих читателей и слушателей в том, что феноменологическая «Sachphilosophie» составляла контраст с «традиционными философиями позиций и школ». Предположительно, для этих самых школ философские размышления проистекали не из Sachen («вещей»), но из текстов знаменитых философов прошлого. Этот подход привел к «окаменению школ, их отчуждению от интуиции и реальности, а также к тайной и запутанной терминологии» ([1922] 1973: 265). Другими словами, «они точат ножи, которыми никогда ничего режут» ([1922] 1973: 266). Для Шелера неокантианская философия была самым ярким примером философии точки зрения: она использовала особенный тайный язык, она ограничивала себя эпистемологией и методологией ([1922] 1973: 266), и размышляла о науках, но не о самих вещах ([1922] 1973: 269). Шелер высказывался особенно едко о Марбургской школе и школах юго-западной Германии. Scientificismus [sic] Марбургской школы был вне всякого сравнения, и исторические труды Кассирера были «попыткой изнасиловать историю» ([1922] 1973: 287). Попытки Виндельбанда и Риккерта разграничить Naturwissenschaften и Geisteswissenschaften были «лишены всяких философских оснований» ([1922] 1973: 287), и их работы в целом стояли «гораздо ниже» даже по сравнению с работами Марбургской школы. Философия Виндельбанда и Риккерта состояла только «из некоторых чрезвычайно бедных и плоских простых идей», и, таким образом, «должны скорее рассматриваться как вопрос для психологии культуры о том, каким образом эти наиболее бессодержательные из всех немецких кантианских школ получили широкое распространение в нашей стране». Шелер подозревал, что философия подобного толка требовала «очень незначительных усилий мысли», и просил читателя сравнить его оценку философии юго-запада Германии с недоброжелательными комментариями Виндельбанда по поводу экспериментальной психологии ([1922] 1973: 290).

Феноменология отличалась от неокантианской философии не только тем, что она была «Sachphilosophie». Особенность феноменологии

состояла в том, что она была свободна от смиренной рубашки, которая называлась «единством школы». Шелер допускал, что все феноменологи до определенной степени черпали вдохновение в работах Гуссерля, но он отрицал, что это влияние распространялось далее, чем общая «философская установка... новая *techné* видения сознания» ([1922] 1973: 309). Поскольку всем феноменологам была присуща только эта общая установка, то феноменология позволяла своим приверженцам придерживаться различных *Weltanschauungen*, религиозных убеждений, разнообразия более или менее систематических подходов и изменчивых трансцендентальных и психологических методов ([1922] 1973: 311).

Описание феноменологии в этих расплывчатых терминах имело два основных преимущества. С одной стороны, оно позволяло Шелеру использовать ярлык феноменологии для выражения своих собственных мыслей – и таким образом подчеркивать преемственность своих собственных работ – без необходимости представляться учеником или последователем Гуссерля. С другой стороны, расплывчатое определение служило приглашением каждому, кто стремился соприкоснуться с новым мышлением, назвать собственную работу «феноменологической». Другими словами, Шелер предлагал рай по дешевке: чтобы назваться феноменологом (и таким образом избежать словесных оскорблений, которые можно было частенько увидеть в работах Шпенглера), все, что было необходимо, так это выразить расплывчатую приверженность *Sachen* и интуиции. Это было предложением, от которого не многие были способны отказаться.

Трактовка новейшей истории философии, данная Шелером, была не менее успешной, чем его приглашение принять название «феноменология». Согласно Шелеру, *Sachphilosophie* началась с феноменологии, и начало феноменологии можно датировать началом двадцатого века. Работа Гуссерля «Логические исследования», где он опроверг психологизм, отметила начало новой эры. ([1922] 1973: 266). Это историческое утверждение было мотивировано стремлением к нескольким целям.

Во-первых, оно принизило ценность работ неокантианских «конкурентов» Гуссерля и Шелера. Шелер представлял дело следующим образом: неокантианские школы уже некоторое время находились в «неминуемом упадке», и все еще были заметны только по причине «закона исторической инерции» ([1922] 1973: 279). Приписывание феноменологии одной из наиболее горячо оспариваемых побед в новейшей истории философии делалось исключительно для того, чтобы усилить успех Гуссерля в опровержении психологизма. Нет необходимости напоминать, что другие школы выдвигали на это звание имена своих собственных героев (Фауст (1927) для Риккерта, и Кассирер (1925а) для Наторпа). Но в процессе роста феноменологии как наиболее влиятельной философии Веймарско-

го периода, ее последователи приняли историю, предложенную Гуссерлем и Шелером, а не Кассирером.

Во-вторых, поместить начало новой Sachphilosophie в 1900 год означало также принизить значимость претензий Шпенглера на инновацию. Несмотря на все презрение, которым Шелер оказывал Риккерта и других неокантианцев, он соглашался с ними по крайней мере в их отрицании Шпенглера. Мышление Шпенглера «противостоит любой серьезной философии нашего времени», и есть не что иное, как «последний отзвук романтического историзма» ([1922] 1973: 324).

В-третьих, восхваление Шелером работы Гуссерля, написанной в 1900, было способом принизить последующие работы Гуссерля, т.е. это был способ воздвигнуть Гуссерлю монумент в прошлом — и только в прошлом. Выше я уже процитировал критический отзыв Шелера о трансцендентальной феноменологии Гуссерля, и то, что возобновление атак Гуссерлем на психологизм в его «Формальной и трансцендентальной логике» (1929) осталось незамеченным. Как Шелер напомнил читателям в 1922 году, «так называемый “психологизм”, когда-то казавшийся угрозой психологии, сегодня в основном преодолен» ([1922] 1973: 303).

В-четвертых, объявляя угрозу психологизма оставшейся в далеком прошлом, Шелер получал дополнительное преимущество — возможность свободно выражать свой собственный интерес в современных ему психологических исследованиях. Шелер в особенности приветствовал Вюрцбургскую школу, Шпрангера, Ясперса и приверженцев гештальт-теории ([1922] 1973: 303).

Пятым, и последним, является всеобщее согласие по поводу того, что аргументы Гуссерля против психологизма были достаточно весомы, что помогло Шелеру в продвижении его собственной версии социологии знания (Scheler [1924] 1980). Шелер утверждал, что социальные факторы определяют то, какие именно части и аспекты мира «чистого» смысла становятся познаваемыми. Любое более сильное заявление, т.е. например, что рассудок и восприятие могут быть сформированы социальным положением, означало вызвать обвинения в «социологизме (противоположности психологизма)» ([1924] 1980: 58). Версиями социологизма, например, являлись «конвенционализм» Пуанкаре, «позитивистский “социологизм”» Дюркгейма, и «технизм» Маркса ([1924] 1980: 62, 115)⁵.

Шелер преуспел в своих попытках перевести интерес от философии жизни на феноменологию. Феноменология в тот период стала единственной философией. Действительно, ее успех был признан даже самыми

⁵ Осуждение Шелером «социологизма» перепечатывалось и пересказывалось начиная с 1920 года (Grunwald [1934] 1982; Mannheim 1931; Spranger 1930).

строгими критиками. Например, в 1925 году неотомист Герберт Бюргерт пишет:

Гуссерль сравнил себя с величайшими мыслителями прошлого... Он — мессия, после вековых поисков и жажды познания возвестивший истину... Появились сонмы фанатичных последователей, число обратившихся растет, и неверных не просто жалеют, как слепцов, но клеймят и презирают как жалких мошенников (Burgert 1925: 226).

Однако, в конце статьи Бюргерт добавляет:

Но давайте не будем забывать о благе, которое принес Гуссерль. Это благо — защита свободной от теоретизирования *Wesenschau*, от кантианских конструкций, борьба против «заточки ножей», по замечанию Лотце, т. е. сведения философского знания к логике и эпистемологии (1925: 230).

Более того, в объемной критике Гуссерля и феноменологии студент Риккерта Август Фауст написал в 1927 году, что «слово “феноменология” стало слоганом; оно служит кодовым названием для вырождающихся форм, и что даже хорошая вещь может породить подобное отношение, если она войдет в моду» (1927: 26). Фауст также огорчился по поводу того, что слоган «*zu den Sachen selbst*» был сформулирован таким образом, чтобы напоминать слоган «*neue Sachlichkeit*», «последний лозунг европейской живописи» (1927: 28). А в 1932 году два критика отметили, что «не может быть сомнения в том, что слово “феноменология” стало раздутой концепцией» (Шлеманн 1932: 1), и что

было бы совершенно оправданным утверждать, что с появлением «Логических исследований» Гуссерля в 1900 году... началась новая фаза в немецкой философии... С этого момента, слово «феноменологический» стало выражением новой ментальной установки для любой философии нашего времени (Schingnitz 1932: vii).

Нет необходимости говорить о том, что менее придирчивые критики раздавали Гуссерлю и Шелеру еще более щедрые похвалы.

Последним, но не менее важным, моментом является успех интерпретации истории немецкой философии первых двух десятилетий двадцатого века, данной Шелером. В одном из недавних исторических исследований говорится, что Гуссерль и Фреге «были относительно изолированы в своих кампаниях против [логического психологизма]», и что «Эдмунд Гуссерль... является великой фигурой... с которой были связаны работы Макса Шелера и Мартина Хайдеггера в окончательном подавлении психологизма» (Schnädelbach 1984: 99). Очевидно, что подобные оценки явля-

ются чертой традиции исторического подхода к немецкой философии, основанной Шелером в 1920 году.

Каким образом психология перестала быть угрозой

До сих пор мы придерживались следующего аргумента: философские дебаты по поводу психологизма были вызваны противостоянием чистых философов экспериментальной психологии. Если эта идея верна, тогда — *ceteris paribus* — общее снижение интереса к психологизму должно было сопровождаться меньшим беспокойством чистых философов по отношению к экспериментальной психологии.

Реальная ситуация в Веймарский период была именно такова. Несмотря на то, что периодически некоторых мыслителей клеймили как «психологистов», по большому счету охота на психологизм не была возобновлена после войны в предвоенных масштабах (см. рис. 1). В то же самое время, атаки на экспериментальную психологию закончились. Экспе-

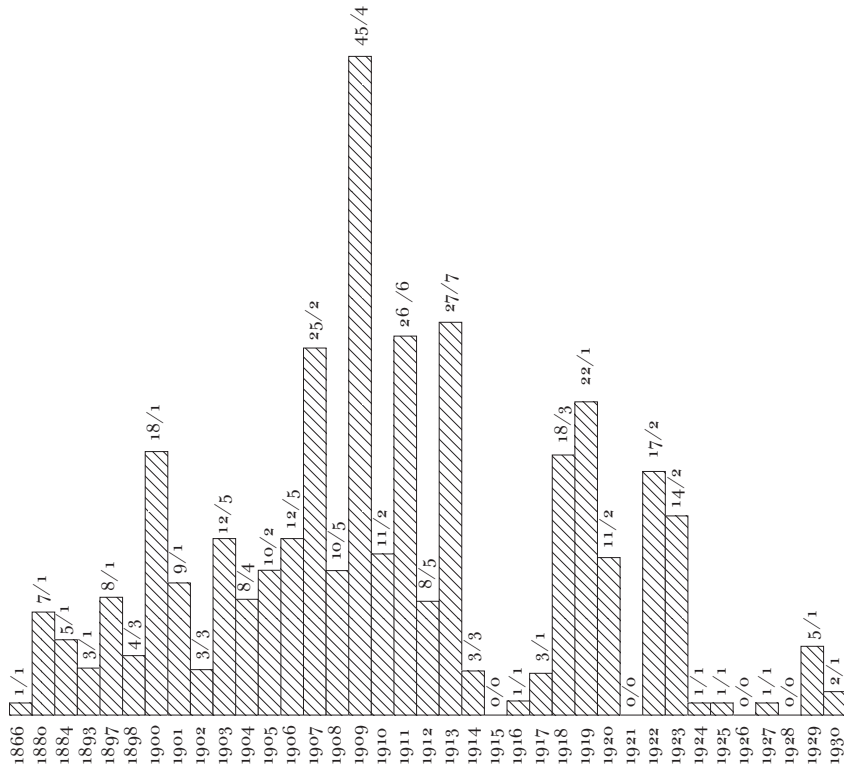


Рис 1. Количество авторов, обвиненных в «психологизме», по годам / количество работ, в которых присутствует подобное обвинение, по годам

риментальная психология более не воспринималась как угроза. Далее я перехожу к объяснению, почему это было именно так.

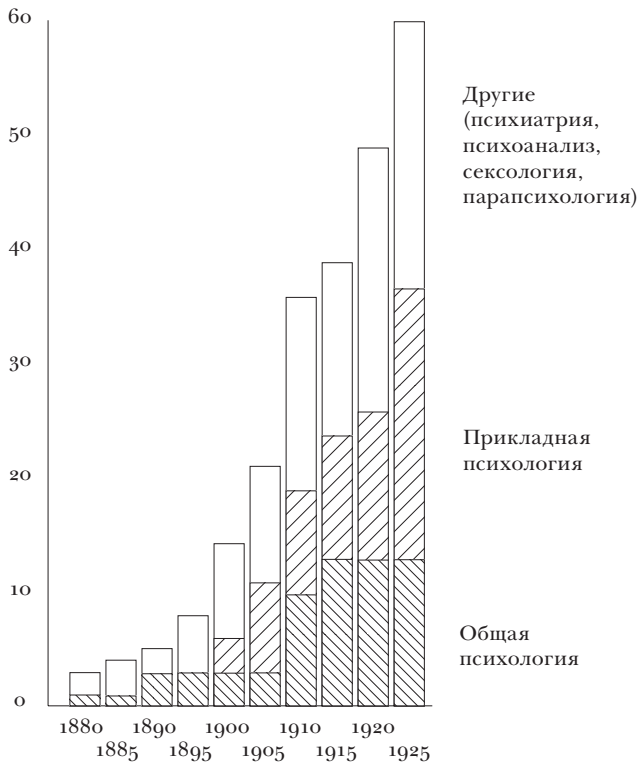
Конец экспансии на факультетах философии

Во времена Веймарской республики, теоретикам и практикам экспериментальной психологии не удалось увеличить, или даже сохранить на прежнем уровне, долю профессорских кресел на факультетах философии. В то время как престижные должности в Бонне и Вроцлаве были заняты философами, экспериментаторам не удалось занять ни одно из вакантных мест (Geuter 1986). К 1930 году разочарование психологов достигло такой степени, что они скопировали метод своих бывших врагов и отправили петицию всем министрам образования. В петиции заявлялось, что «философия, педагогика и психология должны быть представлены в каждом немецком университете отдельной профессорской должностью» (Erklärung 1931).

Новые позиции лекторов и профессоров психологии были введены в 1920-е годы, но практически исключительно в прикладной психологии. К 1931 году было шесть должностей, именованных «полный профессор психологии», но большинство из них принадлежали техническим университетам (Technische Hochschulen) и коммерческим академиям (Ash 1980a: 282). Между 1918 и 1928 годами, девять технических университетов ввели курсы «психотехники»⁶ и психологии образования (Dorsch 1963; Geuter 1986).

Развитие институтов шло бок о бок с переориентацией исследовательской деятельности. Все большее число психологов переходило в прикладную психологию. Рост прикладной психологии быстро отразился на числе публикаций. В 1925 году количество серийных публикаций по прикладной психологии в два раза превысило число публикаций по общей, или «чистой» психологии (см. рис. 2). Изменения по отношению к предвоенному периоду можно также увидеть по темам, которыми занимались психологи. Например, Карл Марбе, студент Вундта и Кюльпе, в первом десятилетии двадцатого века выполнил важные исследования по психологии мыслительной деятельности, но в Веймарский период он работал в психологии рекламы, судебной психологии, психологии несчастных случаев, а также разрабатывал тесты на профпригодность для машинистов поездов, страховых агентов, тюремных охранников, зубных врачей и хирургов (Marbe

⁶ Мюнстерберг дал определение психотехники как «практическое применение психологии к задачам, поставленным культурой» (1914: 10). В 1910 году Мюнстерберг был первым лектором в Германии, читавшим лекции по прикладной психологии (Munsterberg 1912).



Источники: Основано на данных Osier and Wozniak (1984).

Рис. 2. Количество серийных работ по психологии, опубликованных в Германии, 1880–1925

1961). В 1922 году Марбе произнес речь в «Обществе экспериментальной психологии». Марбе предположил, что психология должна подчеркивать свою практическую значимость, и утверждал, что «участие психологов будет благосклонно воспринято правительствами, в виду усиления спроса на пригодных к практической деятельности специалистов-психологов» (1922: 150). Как свидетельствует рост числа должностей в технических университетах, Марбе верно интерпретировал настроение правящих кругов. Действительно, политики проявляли интерес к прикладной психологии еще до войны. Например, открывая конгресс по экспериментальной психологии в 1912 году в Берлине, мэр города просил аудиторию представить «основательные психологические отчеты, в особенности о положении в судах, медицине и образовании» (Goldschmidt 1912: 97).

Подобная реорганизация экспериментальной психологии означала поражение взглядов на профессию психолога, пропагандировавшихся Вундтом. Согласно Вундту, психологу требовалось основательное знание принципов философии: «Наиболее существенные вопросы психологического образования настолько тесно связаны с вопросами эпистемологии и метафизики, что совершенно невозможно представить, каким образом они могут исчезнуть из предмета психологии» (1913: 24). Практический психолог же в своей деятельности не нуждался в «эпистемологических и метафизических вопросах». Вундт неоднократно оспаривал «американизацию» немецкой психологии, причем на самых ранних стадиях реорганизации. В 1903 году он прекратил поддержку работы своего студента Эрнста Мойманна по той причине, что «в главах, доступных на сегодняшний день, 873 страницы посвящены образованию, но только 715 страниц — остальным разделам психологии» (Bringmann и Ungerer 1980a: 70). А в статье, опубликованной в 1910 году, «О чистой и прикладной психологии» (*Über reine und angewandte Psychologie*), Вундт предсказал, что рост психологии образования превратит «чистую психологию» в «прикладную педагогику» (1910c). Несмотря на то, что предсказание Вундта не исполнилось в этой пугающей форме, очевидно, что психологи, занимавшиеся рекламой и тестами на профпригодность, не были сильны в эпистемологии, логике или эстетике. Следовательно, ничего удивительного нет в том, что когда психологи направили правительству в 1930 году петицию с просьбой увеличить количество профессорских должностей, они открыто признавали, что такие широкие области знания как психология и философия не могут преподаваться одним и тем же человеком (*Erklärung* 1931).

Разговоры о кризисе

Ясно, что антинаучные настроения Веймарской республики были разрушительны для психологии, смоделированной по образцу естественных наук. Реакция защитников и практиков психологии на данное враждебное окружение напоминает реакцию физиков и математиков, изученную Форманом (1971). Первой, и очевидной, стратегией было объявить, что дисциплина переживает кризис. Психологи в значительной мере полагались на эту стратегию, но не могли прийти к согласию о том, в чем заключался данный кризис и каким образом с ним справиться.

В данном отношении, разговоры о кризисе в Веймарский период следовали ранее установленной схеме. В конце девятнадцатого века философы распознали серьезные, но различные симптомы кризисной ситуации. Например, Р. Вилли, последователь Авенариуса и Маха проанализировал «Кризис психологии» в 1987 году в статье, состоящей из трех частей, а неотомист Г. Гутберлет в последующем году предложил свою версию

(Gutberlet 1898). По словам Вилли, причиной кризиса послужил чрезмерный метафизический балласт, в то время как с точки зрения Гутберлета это случилось вследствие недостатка метафизических предпосылок.

Психологи также считали, что их дисциплина находится в кризисе и под угрозой вследствие нападков со стороны чистых философов. В своих записях, сделанных в 1915 году, Феликс Крюгер (1915) выдвигал предположение, согласно которому, современный кризис психологии возник в силу неуважения к экспериментальной психологии. Это отношение чистые философы возвели в ранг «модной установки»: «Эта модная установка презрения к экспериментальной психологии часто проявляется в комической манере: например, начинающие исследователи в некоторых областях философии сознания или культуроведении уверяют нас, что они исследуют эти психические миры с точки зрения самых различных перспектив, проблемно-исторической, объективно-теоретической, ценностно-структурно-философской, и, конечно же, феноменологической, но не психологической. В особенности все связи с экспериментальной психологией отвергаются как постыдные» (1915: 25).

Многие авторы Веймарского периода соглашались с этим мнением. Некоторые, однако, находили причины кризиса в другом. Например, философ Йонас Кон охарактеризовал психологию, как дисциплину, находящуюся в «глубоком кризисе» в силу существования «пропасти между “точными” работами экспериментаторов и “эмпатической”, “интерпретационистской” психологией, практикуемой историками, психологами образования и поэтами» (1923–24: 51). Подобной точки зрения придерживался и Эдуард Шпрангер, который говорил о «фазе наиболее сильных потрясений для основ психологии». Шпрангер опасался, что данная фаза приведет к развитию двух независимых видов психологии: объяснительной психологии и описательной психологии (1926: 172). В 1926 году Карл Бюлер написал: «сегодня уже из газет можно узнать, что психология находится в кризисе. И те, кто пишет подобное, скорее всего правы, даже если ни один из них не имеет в виду то же самое, что другой. Часто можно прочитать общие заявления о том, что натуралистическая, сенсуалистическая, механистическая, атомистская концепция умственной деятельности потерпела неудачу, и что не существует объединяющего подхода, который мог бы занять это место» (1926: 455). Бюлер принимал эту оценку ситуации, но он добавил еще несколько объяснительных причин текущему кризису. Таковыми были заявления Шпрангера и бихевиоризм. Как виделось Бюлеру, именно бихевиоризм «заострил кризис психологии» (1926: 459).

Психологи, конечно же, знали, что подобные разговоры о кризисе были вполне в духе времени (*Zeitgeist*). Например, в 1926 году Эрих Йенш признал, что «разговоры о кризисе психологии, кризисе, который в особенно-

сти чувствуется в Германии» были небезосновательными. Но, как добавил Йенш, заявления о кризисе возникли главным образом благодаря «распространенному тону и манере высказываний нашего времени» (1927: 92).

Феноменология и экспериментальная психология

В то время как принятие психологами разговоров о кризисе указывает на то, что они реагировали на враждебную обстановку приспособляясь к ней, данные рассуждения ничего не говорят об изменениях, которые происходили в самих психологических исследованиях. Они также не объясняют, почему теоретическая, не прикладная психология, перестала быть угрозой для чистой философии. Однако, этому несложно найти объяснение. Веймарская психология не представляла угрозы поскольку она присоединилась к чистой психологии и предвоенным идеям о чистой, философской психологии.

Данная переориентация, особенно в отношении феноменологии, на самом деле началась еще до войны. В самом начале века Кюльпе и его коллеги в Вюрцбурге начали сомневаться в предпосылках, выдвинутых Вундтом, о том, что мышление не может быть исследовано экспериментальными методами. Методологические подходы Вюрцбургской школы к изучению процессов мышления были комбинацией традиционной «кабинетной» психологии с современными лабораторными методами⁷. Процесс интроспекции распределялся между двумя психологами: испытуемый наблюдал и отмечал свои мыслительные ощущения, а организатор эксперимента (*Versuchsleiter*) вызывал опыт, записывал отчет испытуемого и в некоторых случаях просил пояснений. Например, экспериментатор мог спросить, что чувствует испытуемый, когда слышит предложение « $2 + 5 = 8$ », и затем записать ответ. Этот метод был впервые применен Карлом Марбе с целью понять «какого рода ощущения могут быть добавлены к одному или нескольким мыслительным процессам для того, чтобы подняться на уровень суждения» (Marbe 1901: 15). Результаты Марбе были негативными: не обнаружилось такого рода внутреннего опыта, который был бы необходимым и достаточным для возникновения суждения, т. е. для «сознательных процессов, к которым были бы однозначно применимы предикаты “верно” или “ложно”» (1901: 10).

Для того, чтобы защитить достоверность своих результатов и надежность метода, Кюльпе и его коллеги нуждались в теоретических основани-

⁷ За более подробным анализом можно обратиться к Kusch (forthcoming). (Опубликовано в дальнейшем как: Kusch, Martin (1995) Recluse, Interlocutor, Interrogator: Natural and Social Order in Turn – of – the – Century Psychological Research Schools, *Isis*, Vol. 86, No. 3. (Sep., 1995), pp. 419–439. – *Прим. перев.*)

ях. Им также был необходим словарь для описания мыслительных процессов. В данной ситуации несколько сотрудников школы Кюльпе, включая самого Кюльпе, решили прибегнуть к феноменологии и другим направлениям интроспекционистской философской психологии. Например, Август Мессер использовал различие между «непосредственной» и «опосредованной» памятью, предложенное Теодором Липпсом, для обоснования отчетов об интроспекции. Опосредованная память была определена как воспоминания о более ранних событиях, и, таким образом, являлась избирательной и подверженной искажениям. Непосредственная память, однако, являлась остатком, сохраняющимся в сознании на короткий период после возникновения психического переживания. Она являлась надежной и поддающейся наблюдению, и природа этого вида памяти не изменялась под влиянием наблюдения (Messer 1906: 17). Мессер также ссылался на работы Гуссерля в своей аргументации по поводу того, что переживания смысла и намерения (*intending*) не могут быть сведены к ощущениям (1906: 186; также см. Messer 1907: 417–25).

Доверие к авторитету Гуссерля достигло своего пика в работе Карла Бюлера «Факты и проблемы психологии мыслительных процессов» («*Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge*» (1907, 1908a, 1908b)), состоящей из трех частей. Первая часть начиналась с восхваления методологии «Логических исследований» Гуссерля:

Гуссерль недавно разработал оригинальный и необычайно плодотворный метод, в некотором роде трансцендентальный метод. В общих словах, он предполагает, что возможно постичь логические нормы, и затем задается вопросом, что же позволяет нам делать выводы относительно того, что может рассматриваться как носитель этих подчиняющихся закону процессов (Bühler 1907: 298).

Бюлер идет дальше и заявляет, что его исследование «*hic et nunc* того, что содержится в опыте процесса мышления» докажет правоту предположения, сделанного Гуссерлем (1907: 329). В основной части своей работы Бюлер хотел идентифицировать «элементарные пережитые единицы опыта мышления». Согласно Бюлеру, эти единицы были «сознанием того, что...», т. е. «мыслями», которые не обязательно были представлены в сознании как ощущения, идеи или эмоции (1907: 329). В подобных рассуждениях Бюлер и его испытуемые, т. е. коллеги-психологи из Вюрцбурга, использовали терминологию Гуссерля.

Сильная зависимость Вюрцбургской школы от феноменологии не осталась незамеченной и другими авторами того времени. Эрнст фон Астер заметил, что «эксперименты Бюлера... являются... попыткой проверить и подтвердить феноменологию Гуссерля экспериментальными средст-

вами» (1908: 62). Кажется естественным предположить, что чрезвычайно сильная полемическая реакция Вильгельма Вундта на работы Бюлера в частности подпитывалась не только тем фактом, что Бюлер порицал «эксперименты за письменным столом» Вундта, но также тем, что Бюлер использовал идеи философа, который, с точки зрения Вундта, разработал «психологию без психологии» (1910b: 580). Вундт написал обширную критику на работы Бюлера, и провозгласил, что Вюрцбургские эксперименты являлись «симуляцией эксперимента». Согласно Вундту, Вюрцбургские эксперименты нарушали все четыре критерия образцовой экспериментальной практики: 1) наблюдатель не имел возможности определить возникновение наблюдаемых процессов, 2) наблюдатель не мог следить за процессом, не нарушая самого процесса; 3) наблюдение невозможно воспроизвести, и 4) условия возникновения наблюдаемого процесса невозможно варьировать (1908a: 329–39). Бюлер в очередной раз ответил, обвинив Вундта в суждениях, сделанных «за письменным столом» (1908a), на что Вундт резко возразил, что «Лейпцигская лаборатория [является] всем, чем угодно, но не совокупностью письменных столов» (1908a: 446).

Вюрцбургская парадигма прочно укоренила феноменологию в экспериментальной психологии. Несмотря на предупреждения Вундта о предполагаемых попытках Гуссерля превратить психологию в некую форму логики, Кюльпе, Бюлер и Мессер продолжали полагаться на некоторые центральные концепции и идеи Гуссерля.

Другой важный путь для вторжения феноменологии в психологию был предложен Карлом Ясперсом. В своих предвоенных работах по психопатологии Ясперс явным образом полагался на «феноменологические направления исследований» (см. Jaspers 1912). Ясперс делал различие между «объективной» и «субъективной» психологией: первая изучала «объективные симптомы», а также зависимость психической жизни от физиологических процессов, в то время как последняя исследовала «психическую жизнь как таковую». Субъективная психология была близка, или даже тождественна феноменологии: «Первый шаг [субъективной психологии] – определить и классифицировать психические явления, и выполнить эту работу означает непосредственным образом использовать идеи феноменологии» (1912: 393). В данном обращении к субъективной психологии Ясперс использовал призыв феноменологии к свободе от теории и предрассудков:

Мы должны оставить в стороне традиционные теории, психологические конструкции и материалистические мифологизации процессов мозга; мы поворачиваемся к тому, что мы можем понять, воспринять, различить и описать в реальной мысли. Как нас учит опыт, это очень трудная работа. Эта необычная феноменологическая свобода от предрассудков есть

не то, что дано нам изначально, но является приобретением, на которое положено много труда (Jaspers 1912: 395).

Согласно Ясперсу, феноменологии было присуще множество «интуитивно привлекательных» черт, на которых вскоре будет основана ее популярность во времена Веймарской республики: «Феноменология не может сообщить свои результаты пользуясь только словами. Феноменолог должен рассчитывать на то, что читатель будет не только думать в процессе чтения, но и видеть... Это видение не есть сенсорное видение, но видение понимающее и интерпретирующее» (1912: 396). Понятно, что подобное непосредственное одобрение феноменологии, исходившее от одной из ключевых фигур философии жизни проложило еще одну дорогу для феноменологии в Веймарскую психологию.

Наиболее важным фактором, однако, для выдающегося положения феноменологии в Веймарской психологии являлся успех гештальт-психологии. Четверо главных сотрудников Берлинской школы гештальт-психологии, Вертхаймер, Келер, Коффка и Левин, были студентами Карла Штумпфа, учителя Гуссерля и ученика Brentano. Более того, теоретики гештальт-психологии в Граце и Праге тоже были студентами Brentano в первом или втором поколении (фон Эрнфельс, Мейнонг, Бенусси) (Smith 1988). Терминология Гуссерля не имела такой значимости для гештальт-теории как, скажем, для психологии мышления Бюлера, но гештальт-теоретики несомненно видели преемственность между своими собственными работами и феноменологией. Таким образом, для Курта Левина естественно было отметить в 1927 году, что ключевые концепции гештальт-теории могут быть сведены к терминам Гуссерля, таким как «сущность» (Sosein) и «феноменологическому понятию еросхе»:

Процесс вывода из опыта единственного мгновения универсального закона соответствует выводу от «примера» к «типу» — типу, который является инвариантным по отношению к историко-географическим координатам пространства-времени. Эта прогрессия не сопоставима с обобщением от нескольких членов группы на всю группу; скорее, речь идет о переходе от «момента» здесь и сейчас к «подобному» моменту... Концепция типа, к которой мы обратились, обладает некоторым сходством с понятием «сущности» (essence) в феноменологической логике. Этот тип так же характеризуется своей сущностью (Sosein), но не существованием (Dasein), и переход от индивидуального примера к типу в эмпирических науках (и, соответственно, от конкретного экспериментального момента к закону) демонстрирует некоторые черты, эквивалентные феноменологическому понятию еросхе (когда мы заключаем «существование “в скобки”») (Lewin [1927] 1992: 394).

Возвращение Дильтея: Психология и философия жизни

Не все ведущие психологи Веймарской республики, однако, связывали свои исследования с феноменологией. Действительно, некоторые ключевые фигуры, подобно Эриху Йеншу и Феликсу Крюгеру отрицали феноменологию как «суррогат» научной психологии (Krüger 1924: 37) и высказывали мнение, что непредвзятое описание непосредственно данного опыта было стандартной процедурой задолго до Гуссерля (Jaensch 1927: 129). Отличительной чертой интеллектуального климата того времени является тот факт, что те психологи, которые не подчеркивали свою близость к феноменологии, чувствовали необходимость подчеркнуть свою зависимость от работ другого чистого философа и его психологии. Таким образом, Веймарская психология засвидетельствовала возвращение проекта, объявленного ведущим экспериментальным психологом, Германом Эббингаузом, в 1896 году безжизненным и поверхностным: интерпретативной психологии Дильтея. В то время как это событие должно было шокировать более пожилых представителей сообщества экспериментаторов, для психологов в целом не было ничего невозможного в возврате к идеям Дильтея. В подобном интеллектуальном климате, где доверие к работе как в науке, так и в искусстве, зависело от ее близости к философии жизни, психология Дильтея была естественным выбором. В конце концов, Дильтей получил одобрение от Шелера, Шпенглера, и Ясперса: Шелер расценивал его как предтечу философии жизни, Шпенглер принял на вооружение его исторический релятивизм и его критику экспериментальной психологии, а работа Ясперса «Психология мировоззрений» (*Psychologie der Weltanschauungen*) прочитывалась как дальнейшая разработка типологии мировоззрений Дильтея.

Наиболее влиятельным пропагандистом реставрации авторитета Дильтея был Феликс Крюгер, преемник Вундта в Лейпциге, и Эдуард Шпрангер. В 1915 году Крюгер все еще не скрывал своего критического настроения по отношению к Дильтею (1915: 113), но к 1924 году эта негативная предрасположенность переросла в полное одобрение. В 1924 году Крюгер утверждал, что критика, высказанная Дильтеем в адрес экспериментальной психологии, была правильной, и что психологи отныне должны следовать методологии, рекомендованной Дильтеем:

Психолог, чем бы он ни занимался, обязан вначале дать точное описание чистой формы; затем сравнить и проанализировать ее как можно полнее перед тем, как приступить к построению гипотез об условиях ее возникновения и перед тем, как определить связанные с ней закономерности... В этом отношении методологические требования Дильтея... верны (Krüger 1924: 36).

Крюгер также придерживался мнения о том, что полноценное понимание индивидуальности и личности было возможно только при опоре на концепцию Дильтея о «психологических структурах»:

Истинность его теорий «структурной взаимозависимости» между всеми видами психической жизни и некоторыми важными продуктами интеллектуальной культуры до сих пор не была использована в полной мере. Эти теории предсказали результаты значительного большинства исследований последних лет. Эти результаты указывают нам на то, что психические события – особенно когда они участвуют в образовании значения – не могут быть ухвачены посредством понимания, или на почве предрассудков механистического атомизма и ассоцианизма. Психические явления могут быть поняты только эмпирически как жизненные события (1924: 32).

Крюгер особенно хвалил идею Дильтея о «целостном характере психической жизни»: «Содержание сознания никогда не составляет просто совокупность. Его различные части и стороны не соотносятся друг с другом как суммы; напротив, они всегда скомбинированы друг с другом как целое, и непосредственно принадлежат этому целому» (1924: 33). В работах Дильтея Крюгер также нашел ресурс для атаки на то, что он считал чрезмерным интеллектуализмом гештальт-психологии. Крюгер полагал, что психология пренебрегала ролью чувств в структурировании опыта: «Целостный характер всякого опыта (Erleben) выражается прежде всего, и наиболее сильно, в чувствах» (1924: 34). Конечно же, подобная критика была хорошо просчитана, принимая во внимание антирационалистические настроения Веймарской культуры.

Несмотря на слова одобрения, Крюгер не присоединился к мнению Дильтея о том, что могли бы, и возможно должны бы, существовать две различных ветви психологии:

Если судить по стандартам науки, совершенно неприемлемым была бы такая ситуация, в которой несколько, принципиально различных, психологий существовали бы бок о бок... С точки зрения нашей задачи, может быть только одна наука о формах и законах психической реальности (1924: 56).

Другие ученики Дильтея, однако, не разделяли эти настроения. В 1926 году психолог образования Эдуард Шпрангер привел уже пять различных предложений о том, каким образом могут быть названы эти две различные ветви психологии: «1. объяснительная vs интерпретативная психология, 2. индуктивная психология vs психология, основанная на интуитивном озарении [einsichtig], 3. психология элементов vs структурная

психология, 4. не изучающая процессы смыслообразования vs изучающая процессы смыслообразования психология, 5. естественнонаучная vs психология, основанная на методах наук о духе» (1926: 172). Шпрангер использовал три последние оппозиции.

Шпрангер чувствовал необходимость в обращении к наукам о духе на том основании, что отдельная личность и культура, к которой она принадлежит, были неразделимо связаны: «Субъект и объект [т. е. культура] могут быть мыслимы только как имеющие друг к другу непосредственное отношение. Делая акцент на объективной стороне, мы говорим о науках о духе... Выделяя отдельного субъекта, мы говорим о психологии». В то время как науки о духе изучают фактически существующие исторические сообщества или другие идеальные нормы и законы, психология, базирующаяся на науках о духе изучает встроенность индивида в сообщества и то, как это соотносится с идеальными требованиями. «Можно увидеть, что психология в этом смысле возможна только в тесном контакте с наукой о духе... Поэтому мы явно говорим о психологии, основанной на науках о духе» (1926: 7).

Шпрангер полагал, что психология, основанная на науках о духе в последние годы была заброшена. Это произошло потому, что современная психология чрезмерно полагалась на естественные науки: она изучала взаимоотношения между разумом и телом, выставляя требования к результатам, сравнимые с результатами физики, а построение концепций моделировалось на базе физических наук. Под последним обвинением Шпрангер понимал то, что современная ему психология стремилась найти элементарные частицы психической жизни. Таким образом, современная ему научная психология была «психологией элементов», или «психических атомов» (1924: 9).

Слабость подобного вида психологической мысли стала более чем очевидна Шпрангеру – и согласным с ним мыслителям, как, например, Теодору Эрисманну (1924, 1926) и Людвигу Клагесу (1920) – в результате ее сравнения с психологией, практикуемой поэтом или политическим историком: «Когда мы стараемся найти психологическое объяснение политической фигуре, мы не разлагаем фигуру на идеи, чувства и желания; мы спрашиваем, какой мотив был решающим, мы помещаем фигуру в исторический контекст смыслов и ценностей; остальное принимается на веру до тех пор, пока не возникнет необычное вторжение в естественный ход вещей» (1924: 11).

Шпрангер сравнивал атомистическую процедуру психологии элементов со вскрытием лягушки: «Когда мы производим вскрытие лягушки, мы познаем ее внутреннюю структуру, и, через гипотезы, приходим к выводу о физиологических функциях ее органов. Но мы не можем ожидать, что

мы будем способны соединить части вновь и воссоздать жизнеспособную лягушку. Точно также, синтез психических элементов в психическое целое не ухватывает осмысленный контекст жизни в отношении к интеллектуальному окружению как целому» (1926: 12). Используя эту и подобные аналогии, Шпрангер стремился убедить читателя в том, что естественнонаучная психология элементов зависит от психологии структуры, т. е. психологии, основанной на науках о духе (1926: 19).

Как мы убедились выше, важность, которую Дильтей приписывал чувствам в русле рассуждений в духе философии жизни, использовалась как оружие против предполагаемого интеллектуализма гештальт-теории. Сами теоретики гештальта, однако, не стремились поставить себя в оппозицию Дильтею. Напротив, Вертхаймер, Келер и другие с упорством настаивали на том, что гештальт-теория была в духе понятий «целостности», «антиатомизма», «типа» и «структуры» Дильтея. Эта работа по убеждению не была слишком сложной, поскольку данная терминология составляла инструментарий Берлинской гештальт-теории практически с момента ее появления. Нижеприведенный конспект одной из лекций Вертхаймера, прочитанной в 1913, году является прекрасной тому иллюстрацией:

- a. Кроме хаотичных, и по причине этого не поддающихся (надлежащему) пониманию впечатлений, содержание нашего сознания не просто суммарно, но образует определенную свойственную ему «общность», т. е. разделенную на фрагменты структуру, часто «осмысливаемую» из внутреннего центра... По отношению к этому центру остальные части системы состоят в отношении иерархии. Таковые структуры в точном смысле слова могут быть названы «гештальтами».
- b. Почти все впечатления схватываются или как хаотичные массы — относительно редкий, крайний случай, — стремящиеся к более четкой организации, или гештальты. В конечном итоге, то, что понято, есть «впечатления структур» [Gebildfassungen]. К этим образованиям принадлежат объекты в широком смысле этого слова, а также относительные контексты [Beziehungszusammenhänge]. Они представляют собой нечто принципиально отличное от сумм индивидуальных компонентов. Часто «целое» понимается даже прежде, чем индивидуальные части достигают сознания.
- c. Эпистемологический процесс — познание в точном смысле этого слова — часто является процессом «центрирования», или структурирования, или понимания определенного аспекта, который является ключом к упорядоченному целому, объединению индивидуальных частей, которые оказались в наличии (проецировано в Ash 1985: 308).

В публичных выступлениях сотрудники Берлинской школы шли еще дальше. Вертхаймер часто начинал свои выступления с обсуждения того, каким образом современная наука исказила подходы к изучению опыта, и затем представлял гештальт-теорию как лучшее лекарство (Leichtman 1979: 48). Вертхаймер и Келер называли предвоенную психологию «отмершей», «высохшей», «бессмысленной», «пустой», «статичной» и «фрагментарной» (Ringer 1969: 377), а Вертхаймер использовал шпенглеровскую тему (Spengler 1918: 405), обещая создать философию, которая станет как «симфония Бетховена, где у нас будет возможность уловить из части, составляющей целое, нечто о принципах структурной организации этого целого» (цитировано в Ash 1985: 322).

Респектабельный психолог

Такие психологи как Крюгер, Шпрангер, Вертхаймер и Келер приветствовались чистыми философами, и особенно философами, занимавшимися философией жизни и феноменологией. Действительно, не представляя интеллектуальной загадки или вызова для чистой философии, такого рода психология была прекрасной рекламой и средством для проникновения на научные факультеты. В 1920 году Келер предложил расширить идеи гештальт-психологии на территорию физики и заявил, что должны существовать «супрасуммарные» физические процессы, т. е. физические процессы, свойства которых не могут быть выведены из их частей (Ash 1985: 316). Хотя Келер отрицал, что подобные рассуждения были вызваны «романтическо-философским» мышлением, модель предложенной им естественной философии могла вполне претендовать на успех в те времена, когда даже самый суровый критик психологии, Эрих Йенш, хотел «возложить венок на забытую могилу Шеллинга» (1927: 120). Поэтому совершенно не удивительно, что в 1922 году среди чистых философов не было возражений против назначения Келера на должность профессора философии и директора Института психологии. Новая психология не вызвала протестов даже в 1922 году, когда ее бюджет был увеличен более чем на 600 процентов и почти перекрыл объем финансирования Физического института (Ash 1980a: 286).

Принимая во внимание размах деятельности немецких психологов, кажется только естественным, что в 1929 году «Общество экспериментальной психологии» (Gesellschaft für experimentelle Psychologie) заменило слово «экспериментальный» в своем имени на «немецкий» (Ash 1980a: 286). Двадцать лет назад об этом нельзя было даже и подумать, но в тот момент это являлось лишь наиболее уместным отражением происшедшей реорганизации психологического знания и исследований. «Экспериментальная психология» слишком уж сильно ассоциировалась с «есте-

ственнонаучной психологией элементов». «Экспериментальная психология» слишком сильно напоминала о тех временах, когда по крайней мере некоторые философы/психологи задавались целью обновить философию методами естественных наук и естественнонаучной теорией человеческого сознания. Никто не хотел напоминаний о прошлом.

Перевод с английского Елены Симаковой
По изданию: Martin Kusch.
Psychologism, A Case Study in the
Sociology of Philosophical Knowledge,
Routledge, 1995. Pp. 211–271

Библиография

- Ash, M. (1980a), «Academic politics in the history of science: experimental psychology on Germany, 1879–1941», *Central European History* 13: 255–86.
- Ash, M. (1985), «Gestalt Psychology: origins in Germany and reception in the United States», in C. Buxton (ed.) *Points of View in the Modern History of Psychology*, Academic Press, New York, London, 295–344.
- Aster, E. v. (1908), «Die psychologische Beobachtung und experimentelle Untersuchung von Denkvorgängen», *Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane*, I: *Zeitschrift für Psychologie* 49: 56–107.
- Bauch, B. (1915) Review of Wundt (1915), *Kantstudien* 20: 305–10.
- Bringmann, W. G. and G. Ungerer (1980a), «Experimental vs. educational psychology: Wilhelm Wundt's letters to Ernst Meumann», *Psychological Research* 42: 5–18.
- Bühler, K. (1907), «Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge: I. Über Gedanken», *Archiv für die gesamte Psychologie* 9: 297–365.
- Bühler, K. (1908a), «Nachtrag: Antwort auf die von W. Wundt erhobenen Einwände gegen die Methode der Selbstbeobachtung an experimentell erzeugten Erlebnissen», *Archiv für die gesamte Psychologie* 12: 93–123.
- Bühler, K. (1908b) «Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge: II. Über Gedankenzusammenhänge» *Archiv für die gesamte Psychologie* 12: 1–23.
- Bühler, K. (1908c), «Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge: III. Über Gedankenerinnerungen», *Archiv für die gesamte Psychologie* 12: 24–92.
- Bühler, K. (1926) «Die Krise der Psychologie», *Kantstudien* 31 455–526.
- Bürgert, H. (1925), «Zur Kritik der Phänomenologie», *Philosophisches Jahrbuch* 38: 226–30.
- Cassirer, E. (1925a) «Paul Natorp», *Kantstudien* 30: 273–98.

- Cohn, J. (1914–15), «Widersinn und Bedeutung des Krieges», *Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur* 5: 125–44.
- Cohn, J. (1923–24), «Über einige Grundfragen der Psychologie», *Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur* 12: 50–87.
- Dessoir, M. (1916) *Kriegspsychologische Betrachtungen*, Hirzel, Leipzig.
- Dorsch, F. (1963) *Geschichte und Probleme der angewandten Psychologie*, Huber, Berne.
- Elias, N. (1978), *Über den Prozeß der Zivilisation: Sociogenetische und psychogenetische Untersuchungen*, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
- Endriß, K. F. (1921), *Review of Moog (1919)*, *Kantstudien* 26: 193–4.
- Erismann, T. (1924), *Die Eigenart des Geistigen: Induktive und einsichtige Psychologie*, Leipzig.
- Erismann, T. (1926), «Erklären und Verstehen in der Psychologie», *Archiv für die gesamte Psychologie*, 55: 111–136.
- Erklärung (1931) «Erklärung des Deutschen Lehrervereins zur Stellung der Psychologie an den deutschen Hochschulen», *Archiv für die gesamte Psychologie* 79: 575–6.
- Eucken, R. (1901), «Thimas von Aquino und Kant: Ein Kampf zweier Welten», *Kantstudien* 6: 1–18.
- Faust, A. (1927), *Heinrich Rickert und Seine Stellung innerhalb der deutschen Philosophie der Gegenwart*, Mohr, Tübingen.
- Forman, P. (1971), «Weimar culture, causality, and quantum theory, 1918–1927: adaptation by German physicists and mathematicians to a hostile intellectual environment», *Historical Studies in the Physical Sciences*, 3: 1–115.
- Gadamer, H – G. (1977), *Philosophische Lehrjahre*, Klostermann, Frankfurt am Main.
- Geuter, U. (ed.) (1986) *Daten zur Geschichte der deutschen Psychologie*, Hogrefe, Göttingen.
- Goldschmidt, R. H. (1912), «Bericht über den V. Kongreß für experimentelle Psychologie, Berlin vom 16–19 April 1912», *Archiv für die gesamte Psychologie* 24: 71–97.
- Grünwald [1934] 1982 «Wissenssoziologie und Erkenntniskritik», in V.Meja and N.Stehr (eds.), *Der Streit um die Wissenssoziologie*, vol. 2: *Rezeption und Kritik der Wissenssoziologie*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 748–55.
- Gutberlet, C. (1898), «Die “Krisis in der Psychologie”», *Philosophisches Jahrbuch* 11: 1–19, 121–46.
- Heidegger, M. (1927), *Sein und Zeit*, Niemeyer, Tübingen.
- Hepp, C. (1987) *Avantgarde: Moderne Kunst, Kulturkritik und Reformbewegungen nach der Jahrhundertwende*, DTV, Munich.
- Hofmann, P. (1921), *Die Antinomie in Problem der Gültigkeit*, de Gruyter, Berlin.
- Honecker, M. (1921), *Gegenstandslogik und Denklogik*, Dümmler, Berlin.
- Husserl, E. [(1925) 1989], «Über die Reden Gotamo Buddhos», in E.Husserl, *Aufsätze und Volträge (1922–37)*, *Husserliana XXVII*, ed. By T.Nenon and H.R.Sepp, Kluwer, Dordrecht, 125–81.

- Husserl, E. ([1931] 1989), «Phänomenologie und Anthropologie», in E. Husserl, Aufsätze und Volträge (1922–37), Husserliana XXVII, ed. By T. Nenon and H. R. Sepp, Kluwer, Dordrecht, 164–181.
- Illemann, W. (1932), Husserls vor – phänomenologische Philosophie, Hirzel, Leipzig.
- Klages, L. (1920), Prinzipien der Charakterologie, 2nd ed., Barth, Leipzig.
- Jaensch, E. (1927), «Die Psychologie in Deutschland und die inneren Richtlinien ihrer Forschungsarbeit», in W. Moog (ed.) Jahrbücher der Philosophie: Eine kritische Übersicht der Philosophie der Gegenwart, vol. 3, Liebzig, Würzburg, 93–168, 334–40.
- Janssen, F. (1917), «Psychologie und Militär», Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik 18: 97–109.
- Jaspers, K. (1912), «Die phänomenologische Forschungsrichtung in der Psychopathologie», Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie 9, 391–408.
- Jaspers, K. (1919), Psychologie der Weltanschauungen, Springer, Berlin.
- Kraft, W. (1973), Spiegelung der Jugend, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
- Krüger, F. (1915), «Über Entwicklungspsychologie; Ihre sachliche und geschichtliche Notwendigkeit», Engelmann, Leipzig.
- Krüger, F. (1924), «Der Strukturbegriff in der Psychologie», in Bühler (ed.) Bericht über den VIII, Kongreß für experimentelle Psychologie in Leipzig vom 18–21 April 1923, Fischer, Jena, 31–56.
- Külpe, O. (1915) Die Ethik und der Krieg, Hirzel, Leipzig.
- Kusch, M. (forthcoming), «Recluse, interlocutor, interrogator: the imageless thought controversy revisited».
- Leichtman, M. (1979), «Gestalt theory and the revolt against positivism», in Psychology in Social Context, ed. By Allan R. Buss, Irvington, New York, 47–75.
- Lewin, K. ([1927] 1992), «Law and experiment in psychology», Science in Context 5: 385–416.
- Lübbe, H. (1974) Politische Philosophie in Deutschland, DTV, Munich.
- Mannheim, K. ([1931] 1960), «Sociology of Knowledge», in K. Mannheim, Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge, Routledge & Kegan Paul, London, 237–80.
- Marbe, K. (1901), Experimentell – psychologische Untersuchungen über das Urteil: Eine Einleitung in die Logik, Engelmann, Leipzig.
- Marbe, K. (1922), «Die Stellung und Behandlung der Psychologie an den Universitäten», in K. Bühler (ed.) Bericht über den VII, Kongreß für experimentelle Psychologie in Marburg vom 20–23 April 1921, Fischer, Jena, 150–1.
- Marbe, K. (1961) «Autobiography», in C. Murchinson (ed.), A History of Psychology in Autobiography, vol. 3, Russel and Russel, New York, 181–213.
- Messer, A. (1906), «Experimentell – psychologische Untersuchungen über das Denken», Archiv für die gesamte Psychologie 8: 1–224.
- Messer, A. (1907), «Bemerkungen zu meinen ,Experimentell – psychologische Untersuchungen über das Denken», Archiv für die gesamte Psychologie 10: 409–28.

- Mehlis, G. (1914–15), «Der Sinn des Krieges», *Logos, Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur* 5: 252–66.
- Messer, A. (1914a), «Der Krieg und die Schule», *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik* 15: 529–40.
- Meyer (1911) «Experimentelle Analyse psychischer Vorgänge beim Schießen mit der Handfeuerwaffe», *Archiv für die gesamte Psychologie* 20: 397–413.
- Meyer (1912a), «Psychologische und militärische Ausbildung», *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik* 13: 81–5.
- Meyer (1912b), «Vorschläge zu Versuchen in Anschluss an meinen Aufsatz “Experimentelle Analyse psychischer Vorgänge beim Schießen mit der Handfeuerwaffe”», *Archiv für die gesamte Psychologie* 22: 47–9.
- Moog W. (1919), *Logik, Psychologie und Psychologismus*, Niemeyer, Halle.
- Morgenstern, G. (1920–21), Review of Moog (1919), *Annalen der Philosophie und philosophischen Kritik* 2:539–42.
- Natorp, P. (1915), *Der Tag des Deutschen*, Rippel, Hagen.
- Natorp, P., (1918a), *Die Seele des Deutschen*, Rippel, Hagen.
- Natorp, P. (1918b), *Deutscher Weltberuf*, Diederichs, Jena.
- Osier D. V. and R. H. Wozniak (1984), *A Century of Serial Publications in Psychology 1850–1950: An International Bibliography*, Kraus International Publications, Millwood, N. Y.
- Rieffert, J. B. (1922), «Psychotechnik im Heer», in K Bühler (ed.) *Bericht über den VII Kongreß für experimentelle Psychologie in Marburg vom 20.– 23. April 1921*, Fischer, Jena, 79–96.
- Riehl, A. ([1915] 1925), «Die geistige Kultur und der Krieg», in A. Riehl, *Philosophische Studien aus vier Jahrzehnten*, Quelle & Meyer, Leipzig, 313–25.
- Ringer, F. K. (1969), *The decline of the German Mandarins 1890–1933*, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
- Scheler, M. ([1901] 1971), «Die transzendente und die psychologische Methode: Eine grundsätzliche Erörterung zur philosophischen Methodik», in M. Scheler, *Frühe Schriften*, ed. By M. Scheler and M. S. Frings, Francke, Berne: 197–336.
- Scheler, M. (1915a), *Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg*, Der Neue Geist Verlag, Leipzig.
- Scheler, M. (1916), *Krieg und Aufbau*, Der Neue Geist Verlag, Leipzig.
- Scheler, M. (1919), *Die Ursachen des Deutschenhasses*, Der Neue Geist Verlag, Leipzig.
- Scheler, M. ([1922] 1973), «Die deutsche Philosophie der Gegenwart», in M. Scheler, *Gesammelte Werke*, vol. 7, ed. By M. S. Frings, Francke, Berne, 259–326.
- Scheler, M. ([1924] 1980), «Probleme einer Soziologie des Wissens», in M. Scheler and N. Stehr (eds.), *Der Streit um die Wissenschaftssoziologie*, vol. 1, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 68–127.
- Schnädelbach (1984), *Philosophy in Germany 1831–1933*, tr. E. Matthews, Cambridge University Press, Cambridge.

- Schingnitz, W. (1932), «Geleitwort des Herausgebers», in W. Ille mann, Husserls vor – phänomenologische Philosophie, Hirzel, Leipzig.
- Smith, B. (ed.) (1988) Foundations of Gestalt Theory, Philosophia, Munich.
- Spengler, O. (1918), Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte, vol. 1: Gestalt und Wirklichkeit, Beck, Munich.
- Spranger, E. (1926), «Die Frage nach der Einheit der Psychologie», Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Jahrgang 1926. Philosophisch – historische Klasse, Verlag der Akademie der Wissenschaften, Berlin: 172–99.
- Spranger, E. ([1930] 1982) «Ideologie und Wissenschaft», in V. Meja and N. Stehr (eds.) Der Streit um die Wissenssoziologie, vol. 2, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 634–6.
- Stumpf, C. (1918), «Über den Entwicklungsgang der neueren Psychologie und ihre militärtechnische Verwendung», Deutsche militärärztliche Zeitschrift 5/6: 273–82.
- Verworn, M. (1915), Die biologischen Grundlagen der Kulturpolitik: Eine Betrachtung zum Weltkriege, Fischer, Jena.
- Wundt, W. (1908a), «Kritische Nachlese zur Ausfragemethode», Archiv für die gesamte Psychologie des Denkens», Psychologische Studien 3: 301–60.
- Wundt, W. (1910b), «Psychologismus und Logizismus», in W. Wundt, Kleine Schriften, vol. 1, Engelmann, Leipzig, 5: 279–93.
- Wundt, W. (1910c), «Über reine und angewandte Psychologie», Psychologische Studien 5: 1–47.
- Wundt, W. (1913), Die Psychologie im Kampf ums Dasein, Engelmann, Leipzig.
- Wundt, W. (1914b), Über den wahrhaften Krieg, Kröner, Leipzig.
- Wundt, W. (1915), Die Nationen und ihre Philosophie: Ein Kapitel zum Weltkrieg, Kröner, Stuttgart.
- Zechlin, E. (1969) Die deutsche Politik und die Juden im Ersten Weltkrieg, Vandenhoeck, Göttingen.
- Ziehen, T. (1916), Die Psychologie großer Heerführer: Der Krieg und die Gedanken der Philosophen und Dichter vom ewigen Frieden, Barth, Leipzig.
- Ziehen, T. (1920), Lehrbuch der Logik auf positivistischer Grundlage mit Berücksichtigung der Geschichte der Logik, A. Markus & E. Webers, Bonn.

ЖАН-ЛУИ ФАБИАНИ

ФИЛОСОФЫ РЕСПУБЛИКИ

Пространство возможного: французская философия на рубеже XIX — XX вв.¹

От дисциплинарного аппарата — к философскому полю

Начиная с восьмидесятых годов XIX века саморепрезентация философской деятельности [во Франции] основывается на вере в абсолютную свободу теоретического выбора. Высшее выражение она получает в часто озвучиваемой оппозиции между недавним прошлым университетской философии и ее настоящим, определяемым через отсутствие всякого идеологического или институционального давления. Фредерик Полан, которого в 1900 году приглашают представить картину французской философии перед американскими университетскими кругами, иллюстрирует это общее место: «Нынешнее состояние французской философии на первый взгляд кажется немного запутанным. Нельзя выделить ни главенствующих, ни соперничающих школ, которые имели бы неоспоримых руководителей и послушных учеников. Общий вид французской философии можно сравнить с городом, который архитекторы, каменщики и ремесленники строят без предварительного согласия между собой, каждый действуя на свой вкус и следуя собственным наклонностям»². На разнородности университетской философии настаивают и другие комментаторы. Исаак Бенруби подчеркивает «многообразие и даже противоречивость сил, действующих в современной философии во Франции»³, а Доминик Пароди указывает, что «нашим высшим образованием владеет несколько

¹ Главы 3–4 из книги: Fabiani J.-L. *Les Philosophes de la République*. Paris: Minuit, 1988.

² F. Paulhan, «Contemporary Philosophy in France», *The Philosophical Review*, 1900, p. 42–67; citation p. 42.

³ I. Benrubi, *Les sources et les courants de la philosophie contemporaine en France*, Paris, Alcan, 1931, T. 2, p. 14.

противостоящих друг другу направлений»⁴. Подобных примеров можно было бы найти множество.

Тема свободного выбора конституирует таким образом некий основополагающий миф республиканской философии: отсылка к «школе мысли» или к группе чаще всего воспринимается негативно. Она возвращает к образу интеллектуального объединения прошлого, наиболее яркий пример которого — «армия» Виктора Кузена⁵. Но она отсылает также и к объединению сектантского типа вокруг учителя (по примеру Церкви Огюста Конта). Эти две формы философского объединения все больше дисквалифицируются: первая — поскольку она производит единство средствами дисциплины, вторая — поскольку она предполагает подчинение авторитету харизматического типа. Требование интеллектуальной независимости философов и превознесение личной инициативы представляют собой идеологическую проекцию [процесса] перехода из состояния, когда университетская философия мыслится по принципу аппарата, подчиняющего преподавателей средствами теоретического и дисциплинарного контроля, к ситуации конкурентной борьбы за монополию на легитимное определение философской деятельности. «Поле философии», определяемое как структурированное пространство позиций⁶ — это результат процесса автономизации дисциплины по отношению к религии и политической власти.

Типизация карьеры и существование объективных норм и процедур допуска в профессию приводят к ослаблению профетических черт фигуры философа. В целом, университетский дискурс никогда не принимает открыто профетического характера, так как в рамках школьной программы он обречен преимущественно на повтор одних и тех же форм комментария. Деятельность университетского философа включает прежде всего рутин-

⁴ D. Parodi, *La philosophie contemporaine en France*, p. 7.

⁵ Виктор Кузен (1792–1867) — философ-спиритуалист, переводчик классических текстов, в 1830 становится директором Высшей нормальной школы, в 1831 избирается во Французскую академию, в 1832 — в Академию моральных и политических наук, а в 1840 назначается министром образования. Активный участник образовательных реформ в философии: в 1830-х гг. формулирует само представление о методически обоснованной учебной программе и вводит в философское образование разделы психологии и истории философии. При этом выступает объектом критики и насмешек за излишнюю жесткость предлагаемой модели организации философской практики, ее ориентацию на воспроизводство единого морального порядка. — *Прим. ред.*

⁶ О понятии поля см.: P. Bourdieu, «La production de la croyance», *Actes de la recherche en sciences sociales*, 1977, № 13, p. 3–41, и «Quelques propriétés des champs», *Questions de sociologie*, Paris, Éditions de Minuit, 1980.

ные элементы, тогда как инновационные стратегии основываются на отклонениях — порой незначительных — по отношению к признанному определению школьного знания. Это не значит, что любые профетические элементы исчезают из университетского поля: инновационные или различительные стратегии часто включают элементы этого типа, которые иллюстрируют исключительное положение преподавателя философии в учебном заведении. Но важно то, что великие философы на рубеже веков не создали, в отличие от писателей, художников или ученых, школы или движения.

Бергсон, в частности, всегда заботился о том, чтобы представляться в образе философа-одиночки; «бергсонянцы» же чаще всего были писателями, учеными⁷ (в частности, Эдуар Леруа) или художниками. Кроме того, Бергсон часто не признавал интерпретации своей мысли его так называемыми учениками, и никогда не стремился обеспечить воспроизводство своего творчества через университетские каналы. На это можно было бы возразить, что Бергсон, долгое время оставаясь преподавателем лица, никогда не преподавал в Сорбонне и не мог сформировать себе университетской клиентуры; Коллеж де Франс занимал в этом отношении маргинальное положение⁸. Однако найдутся примеры университетских философов, которые не имели последователей, тогда как институциональное положение позволяло им играть центральную роль в инстанциях подбора и назначения преподавателей: Жюль Лашелье — наиболее значительная из таких фигур⁹. Он сформировал целое поколение философов в Высшей нормальной школе¹⁰ и, несомненно, больше чем кто-либо другой, через свое длительное участие в конкурсной комиссии на ученую степень и через свои функции главного инспектора, внес вклад в то, чтобы установить нормы университетского дискурса¹¹. Бросается в глаза, что

⁷ В смысле, представителями естественных и точных наук. — *Прим. ред.*

⁸ Коллеж де Франс не является учебным заведением университетского типа, в частности, он не проводит записи студентов. Это скорее почетный клуб, где исследователи читают курс лекций и ведут исследовательский семинар для аудитории свободных слушателей. — *Прим. ред.*

⁹ Жюль Лашелье (1832–1918) — автор диссертации «Основания индукции». О Лашелье см.: С. Bouglé, *Les maîtres de la philosophie universitaire en France*, Paris, 1938.

¹⁰ Высшая нормальная школа (бывшая педагогическая) — элитное заведение высшего образования, поступление в которое, в отличие от университета, предполагает прохождение конкурса и нередко — двухлетнего подготовительного класса. Выпускники Школы пополняют прежде всего ряды ученых, преподавателей и государственных чиновников. — *Прим. ред.*

¹¹ Ж. Шевалье пишет по поводу Лашелье: «Философский университет, который был создан во Франции с 1870 года, должен был бы носить его имя. (...)

единственный философ, вокруг которого остается что-то вроде школы — это Ренувье¹². Но при этом ренувьеризм является, скорее, пережитком конца XIX века. Что касается Пьера Жане, наиболее значительной фигуры французской психологии рубежа веков, его биограф замечает, что «он не имел никаких учеников и не основал никакой школы»¹³.

Отсутствие школы в строгом смысле слова является на самом деле одной из характеристик университетской организации: именно одинокий подвиг становится нормой школьного совершенства. Когда Дюркгейм описывает неустанный поиск оригинальности, столь свойственный студентам, изучающим философию¹⁴, он предлагает средство, которое позволяет понять мощный механизм философской исключительности — венценосная дисциплина не могла бы сделать своим объектом разделение труда¹⁵. Философ, заслуживающий своего имени, никому ничего не должен; он начинает всю философию с самого начала — единым махом и в полном одиночестве. Понятию трансцендентального генезиса философии соответствует представление о философе как о чистом начале. Так же, как Бергсон не признавал ни одного настоящего ученика, он отказывался и от всякой преемственности по отношению к учителю. Он говорил о своем преподавателе философии, Бенжамене Обе, «что был ему признателен за то, что тот не оставил никакого следа в его уме»¹⁶. Во время своего пребывания в Высшей нормальной школе он почти не выказывал уважения к своим учителям Бутру и Олле-Лапрюну. Бергсон считал, что «по-настоящему крупного мыслителя нельзя объяс-

Но о нем можно было сказать также, что он оставался одинок, поскольку не основал школы. (...) Он признавал это и сам: «Большинство моих учеников стали учениками М. Ренувье» (J. Chevalier, *Histoire de la pensée*, Paris, Flammarion, 1966). То же самое можно отметить и в отношении Эмиля Бутру.

¹² Существует школьный журнал («Философская критика»), и некоторые университетские философы продолжают ссылаться на Ренувье (в частности, Лионель Дориак).

¹³ С.-М. Prévost, *La psycho-philosophie de Pierre Janet*, Paris, Payot, 1973, p. 9.

¹⁴ E. Durkheim, «L'enseignement philosophique et l'agrégation de philosophie», *Revue philosophique*, 1895-I, p. 121–147.

¹⁵ В предшествующей главе автор описывает французскую образовательную систему последней трети XIX в., где философии отводится особое место, «увенчивающее» среднее образование и «обобщающее» его содержание. Отсюда определение философии как «венчающей» и «венценосной» дисциплины, заимствованное из дискурса самих лицейских и университетских философов-преподавателей этого периода. — *Прим. ред.*

¹⁶ M. Barlow, *Bergson*, Paris, Éditions Universitaires, 1967.

нить через его предшественников»¹⁷. Генеалогическая работа Доминика Жанико показывает, что творчество Бергсона может быть вполне понято, только если заново вписать его во французскую спиритуалистическую традицию, тогда как оно представляет себя как радикально новое явление¹⁸. Университетская философия Третьей республики¹⁹ характеризуется также возрастающей важностью отношения к философской инновации: если спиритуализм до 1880 года казался исключительно вариацией на тему вечной метафизики, то для следующего поколения он учредил проблематику философской новизны: творчество Бергсона часто представляют как «новую философию».

Для Лашелье главная цель состояла в том, чтобы быть хранителем традиции: «Философия больше не является тем, что изобретают — она уже сделана», — обычно говорил он²⁰. Что касается Равессона, он претендовал лишь на то, чтобы «восстановить то лучшее, что было в вечной метафизике»²¹. Эта позиция противоположна позиции Бергсона, избегающего ссылки на философскую традицию и глядящего свысока на своих предшественников (в отношении Канта он говорил: «Все, что угодно, кроме этого»). Философ экономит на отсылке к традиции, однако это не означает, что традиция перестала говорить в нем. Доминик Жанико отмечает, что «на самом деле у Бергсона метафизическая традиция не преодолена; бергсоновская новизна не является основополагающей до такой степени, чтобы произвести радикальное преобразование мышления»²². Иными словами можно было бы сказать, что молчание в адрес традиции не препятствует сближению с ней. Новизна хорошо узнаваема — тем легче ее принять. Социальный успех бергсонизма, без сомнения, рожден этой узнаваемой непохожестью.

Если нет надобности в том, чтобы отсылать к понятию школы или кластера²³, чтобы понять логику философских объединений, так это потому, что теоретический выбор и проекты индивидуальных карьер следует относить на счет межиндивидуальных диспозиций, произведенных через

¹⁷ D. Janicaud, *Une généalogie du spiritualisme française*, p. 54.

¹⁸ D. Janicaud, *op. cit.*, p. 200: Бергсон приписывает не слишком большое значение философской традиции (По Жильсону, философы прошлого были для него лишь мишенями).

¹⁹ «Третья Республика» — период функционирования республиканского политического режима во Франции с 1870 по 1940 гг. — *Прим. ред.*

²⁰ J. Chevalier, *op. cit.*, p. 464.

²¹ D. Janicaud, *op. cit.*, p. 118.

²² D. Janicaud, *op. cit.*, p. 200.

²³ Как это делает Т. Кларк в: T. N. Clark, *Prophets and patrons. The French University and the Emergence of Social Sciences*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1973.

внедрение общих школьных знаний (объективированная философия) и через общий опыт социального мира, который порождает одинаковые схемы восприятия. Таким образом, чувство свободы теоретического выбора, которое превращает философствующего индивида в абсолютное начало, само по себе является следствием диспозиций, не имеющих ничего индивидуального, поскольку они являются отражением социального определения философии и ее относительной позиции в иерархии дисциплин. Сходство габитусов²⁴, произведенное школьными условиями, позволяет увидеть в требовании оригинальности общую для философов черту; философия — единственная дисциплина, в которой уникальность оказывается коллективным свойством.

Некрологи и агиографии часто описывают выбор предмета диссертации, который для университетского преподавателя является воплощением интеллектуального проекта, как следствие озарения или обращения. История появления «Опыта о непосредственных данных сознания» является тому самым известным примером: именно выходя с лекции, посвященной парадоксу Зенона Элейского о движении, Бергсон решил начать диссертацию²⁵. Другое выражение философского выбора проявляется в тематике призвания: вхождение в философскую профессию представлено в форме настоятельной необходимости, даже призвания, тогда как в других дисциплинах эта тематика отсутствует²⁶. Частота упоминаний о кризисе подросткового возраста, который может принимать даже мистические формы, является показателем важности тематики философского обращения²⁷: это подчеркивает исключительность данной дисциплины и полную самоотдачу, которой она требует. Темы обращения и самопожертвования маскируют некоторые объективные критерии предпочтения философии другим специальностям: исследование биографий философов демонстрирует одновременно высокие школьные успехи (измеряемые хорошими оценками на школьной олимпиаде или, например, поступлением в Высшую нормальную школу) и влияние преподавателей или университетских администраторов на выбор дисциплины²⁸. С другой стороны, философия никогда не является дисциплиной нового

²⁴ Об этом понятии см.: P. Bourdieu, *Homo academicus*, p. 197.

²⁵ Об этой забавной истории см.: J. Chevalier, *Entretiens avec Bergson*, Paris, Plon, p. 38–39.

²⁶ См. J.-L. Fabiani, «La vocation philosophique», *La crise du champ philosophique*, p. 107–111.

²⁷ Можно вспомнить о подростковых кризисах Дюркгейма (J.-C. Filloux, *Durkheim et le socialisme*, Paris, Droz, 1977, p. 29) или Пьера Жане (С.-М. Prévost, *La psychologie de Pierre Janet*, p. 30).

²⁸ О школьных успехах философов см.: J.-L. Fabiani, «La vocation philosophique», p. 108.

профессионального обращения, как, например, языки или грамматика. Можно было бы сказать, что тема философского выбора является проекцией неотъемлемых свойств дисциплины, а также социальных и образовательных характеристик индивидов, которые ее выбирают.

Мы, впрочем, не стремимся к тому, чтобы перевернуть этот образ призвания и обращения, заменив его проблематикой рационального выбора дисциплины или предмета диссертации. Говорить о пространстве возможного — не значит признавать рациональный подсчет большей или меньшей выгоды тем и факультетов²⁹. То, что поражает в биографиях философов — это особая роль дорефлексивной предрасположенности к людям или произведениям. Так, например, Бергсон испытывает уважение к Лашелье, по-настоящему не интересуясь его творчеством³⁰. Дюркгейм, напротив, чувствует неприязнь к «литературному» повороту университетской философии, воплотившейся в преподавании Высшей нормальной школы³¹. Избирательная симпатия значит здесь больше, нежели обращение или расчет. Здесь выбор также опирается на неявные принципы отбора, основанные на взаимном признании, которое порождает идентичность схем восприятия. Пространство возможного образовано совокупностью тем объективированной философии (которые позволяют отделить философию от того, что ею не является); но помимо того — представлениями об актуальных траекториях и карьерных возможностях.

Все эти элементы образуют регулирующие механизмы философской деятельности, в той мере, в какой они дают философам то, что Пьер Бурдьё определял как «чувство законных амбиций»³², которое есть не что иное, как практическая оценка набора доступных вариантов при выборе объектов, а также возможных типов карьеры. Начиная с восьмидесятых годов XIX века, уровень амбиций повышается в результате роста карьерных ожиданий и новой идеологической конъюнктуры: недоверие

²⁹ О критике рационального выбора как модели анализа социальных стратегий см.: P. Bourdieu, *Le sens pratique*, Paris, Éditions de Minuit, 1980, p. 71–86. (Бурдьё П. Практический смысл / Пер. с фр. под ред. Н.А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб: Алетейя, 2001. С. 81–100. — *Прим. ред.*)

³⁰ Bergson et nous, *Xe congrès des Sociétés de philosophie de langue française*, 1960, p. 35.

³¹ J.-C. Filloux, *Durkheim et le socialisme*, p. 12: «Первый год в Школе приносит ему большие разочарования. (...) Он находит Берсо поверхностным, раздражающим желанием нравиться и светским настроем, Гастона Буасье смешным, Олле-Лапруна — интеллектуалом, лишенным убедительности, если не строгости: это и есть преподавание философии, это и есть философия, которую он станет преподавать, получив степень агреже?»

³² P. Bourdieu, *Homo academicus*, p. 202.

по отношению к университетским преподавателям предыдущего поколения, которое отмечается у Дюркгейма точно так же, так и у Бергсона, характерно для философов с высокими амбициями³³. По биографиям философов можно выявить степень их привязанности к учителям, которая сильно варьируется в зависимости от [профессиональной] траектории. Чем она скромнее (например, карьера, венчающаяся постом преподавателя в провинциальном лицее), тем больше уважение к учителю вписывается в традиционные формы духовной преемственности; это выражается в чувстве долга перед своим преподавателем. Стратегии отвержения традиции, какую бы форму ни принимал отказ, напротив, характеризуют философов, делающих блестящую карьеру и утверждающих себя через разрыв. Не менее важно и то, что редкие учителя, признанные университетскими философами и начавшие входить на университетский рынок с восьмидесятых годов XIX века, находились вне французского университета: в этом случае чаще всего вспоминают Ренувье, Конта, Спенсера и Шопенгауэра. Таким образом, различия в степени неблагодарности по отношению к своим учителям являются показателем уровня амбиций того или иного поколения философов.

Интеллектуальный проект обретает плоть внутри всей совокупности институциональных ограничений: прежде всего, это материальное принуждение, определяемое попросту условиями жизни преподавателей философии. Преподавательская нагрузка, а также условия жизни в провинции, которые характеризует отсутствие библиотеки и удаленность от центров интеллектуального обмена, располагают к совершенно определенному типу работы; в своем исследовании философы склонны в измененной форме повторять содержание школьного курса и воспроизводить разделение объектов, заданное рамками программы: преподаватель в своих собственных работах рассматривает все те же великие проблемы, которые излагает в своих лекциях. С другой стороны, в своем исследовании он оказывается сильно привязан к текстам великих философов (иными словами, к своей личной библиотеке). Это отношение к классикам является также одной из особенностей философского преподавания. Напомним, что чаще всего философы защищают диссертацию между тридцатью и тридцатью пятью годами; диссертация обдумывается и пишется во время преподавания в средних учебных заведениях. Приходит на ум образ Бергсона, набрасывающего диссертацию по дороге от дома к лицее Клермон-Феррана; трудно представить философское исследование, которое было бы полностью независимо от форм школьного преподавания философии. Это

³³ Другие примеры такого недоверия см.: см. J. — L. Fabiani, *La crise du champ philosophique*, p. 110.

первая форма принуждения. Но есть и другие, более тонкие, связанные с неявными нормами философской деятельности. К обязательным ссылкам на считающиеся классическими проблемы прибавляются требования к диссертации, которая должна представлять собой как бы итог всех предыдущих [университетских] работ, а также неявные конвенции относительно выбора объекта. Есть, таким образом, вещи, о которых не стоит говорить, и объекты, за которые не стоит браться: например, наиболее сырые формы позитивистской идеологии (которые можно встретить у ученых [-естественников]) не в ходу у университетских философов.

Кандидатская диссертация становится кристаллизацией философского проекта: она — нечто намного большее, чем условие доступа к должности преподавателя в высшей школе³⁴. Существующая в форме книги, она — первая важная работа в философской карьере, до выхода которой автор ничего значительного не публиковал. Чаще всего диссертация остается для ее автора определяющей работой: достаточно вспомнить «Психологический автоматизм» Пьера Жане или «Опыт о непосредственных данных сознания» Бергсона. Делая возможным вступление в философское пространство, она является инструментом маркировки позиции в данном поле. Последующая философская работа часто оказывается продолжением диссертации, то есть ее повторением в другой форме. Кроме того, существует длительный латентный период между публикацией диссертации и выходом второй книги: для многих философов диссертация остается единственной опубликованной работой. Обладая формой более явно и систематически школьной, чем прочая философская продукция, она в результате легко поддается педагогическому использованию: таков, в частности, случай работы Эмиля Бутру «О непрерывности законов природы» (1874), которая широко используется при подготовке лекций, экзаменов и конкурсов в высших учебных заведениях. Важность защиты диссертации усиливается связанными с ней ритуалами и продвижения, которое она получает в университетских, а иногда даже в политико-литературных журналах³⁵. Диссертацию стремятся сделать завершенным философским трудом, как по форме, так и по месту, которое она занимает в производстве в целом (как модель, матрица будущего развития). Так, диссертацию Бергсона, защищенную в 1889 году, рассматривают в качестве «зародышевой» работы, где заложены в скрытом виде все крупные бергсонские темы.

³⁴ Следующие замечания и цифры основаны на обзоре ежегодных выпусков: *Catalogue des thèses et écrits académiques*, Melun, Paris.

³⁵ Так, например, Бутру утверждает о диссертации Лашелье, что она «сразу же стала классическим памятником нашей философской литературы» (*Discours, articles, conférences, recueil artificiel*, Paris, E. N. S., p. 13).

Выбор тем диссертаций является хорошим показателем предпочтений философов данного периода. Между 1870 и 1914 годами история философии представляет собой доминирующую область — к ней относится почти половина защищенных диссертаций (43 % от общего числа). Нет ничего удивительного в распространенной точке зрения о том, что школьная философия организована вокруг исследования классических произведений, учитывая, что чтение работ представляет собой «бесконечное занятие»; этот интерес к истории философии можно представить и как результат стараний Виктора Кузена. Доля исторических тем растет: 20 из 51 между 1870 и 1890 гг., 37 из 88 между 1891 и 1910 гг. Интерес к тем или иным моментам истории философии очень разнится. Все диссертации посвящены западной философии. Больше всего изучается именно философия XVII века: шесть диссертаций посвящены Декарту, четыре Лейбницу и одна Мальбраншу. Затем идет античная философия (семь диссертаций). Философская троица Платон-Декарт-Кант составляет основу основ преподавания истории философии во Франции. Достаточно ощутимый интерес вызывает английская философия XVIII и XIX веков (Локк, Юм, Стюарт Миль, английский идеализм XVIII века, философский радикализм): она привлекает такое же внимание, как немецкая. В конце данного периода ощущается движение интереса к Шопенгауэру — как следствие моды на этого автора во Франции в конце XIX века. Однако большинство диссертаций посвящены французской философии в целом (около двадцати). Среди французских авторов XIX века на первое место выходит Мен де Биран: он стал одной из главных референтных фигур неоспиритуализма и, минуя Равессона, поднялся до уровня Бергсона. Но важно отметить приобретение университетской легитимности и такими авторами, как Конт, Курно и Фурье — хотя творчество Конта и не вызывает восторга, как не отмечается и бурного интереса к позитивизму. Отсутствие Гегеля среди изучаемых авторов не должно удивлять: оно обозначает пределы интереса к немецкой философии. Люсьен Герр так и не завершил начатую работу о Гегеле; интерес к этому философу оказывается несколько слабее, нежели в предыдущий период.

На протяжении исследуемого периода можно проследить достаточно ясный сдвиг: первые годы посвящены, главным образом, великим классикам (так, почти все диссертации, посвященные Декарту, защищены до 1890 года), тогда как на рубеже веков начинают вызывать интерес такие авторы, как Фейербах, Раймонд Луллий, Шлеермахер, Гельвеций, Мишле. И даже философская современность находит себе место, в диссертации о Вильяме Джеймсе: впервые в качестве объекта берется живущий автор. Эта тенденция к переходу от признанных авторов к менее легитимным философам, без сомнения, выражает феномен «изношенности» наиболее упоминаемых тем и авторов, который заставляет обращаться к именам,

в недавнем прошлом остававшимся на втором плане. С другой стороны, это охлаждение интереса к классическим авторам весьма относительно. Диссертации посвящены очень основательным или общим темам, особенно в семидесятых годах XIX века: к примеру, «Эссе о методе Декарта» Шарпентье, или исследование всего философского творчества одного автора — «Мен де Биран» Жирара, «Философия Дэвида Юма» Компаре. Монографии о философии одного автора представляют собой наиболее распространенный случай диссертации по истории дисциплины: например, «Философия Стюарта Милля», «О философии Дунса Скотта», «Философия Гассенди» и т.д. Темы, которые предполагают постановку и решение проблем в рамках истории идей, очень редки.

Можно заметить, однако, что в конце данного периода появляются диссертации, авторы которых пытаются выделить ту или иную тему в рамках определенной философской традиции: например, «Проблема будущего и понятие материи в греческой философии от начала до Теофраста» Риво (1905), «Божественная бесконечность от Филона Иудейского до Плотина» Гюйо (1906), «Пространство и время у Лейбница и у Канта» Ван Биемы (1908), «Эстетика Шопенгауэра» Фоконне (1913). Все эти диссертации, выделяющие тему или проблематизирующие объект, были написаны после 1900 года. Тенденцию к специализации можно объяснить невозможностью повторить огромные монографические труды, характерные для начала этого периода; но эта специализация и проблематизация остается, в общем-то, достаточно ограниченной. Можно отметить также появление исследований об исторической эволюции философских понятий: материи, становления, бесконечности, пространства, времени, теории чисел и т.д. Данный вид работы появляется как следствие дискуссий о методе истории философии: среди авторов этих «проблемных» диссертаций есть и историки, которым суждено господствовать в последующий период французской философии: Брейе, Риво, Жильсон, Робэн. Такого рода изменения указывают на новый способ понимания истории философии как истории проблем или истории понятий. Они предвещают следующий период, когда историко-философские работы будут занимать гораздо более важное место.

Если диссертации по истории философии наиболее многочисленны, насколько они выгодны с точки зрения университетского престижа? Оказывается, данный тип диссертации редко сопровождается философской известностью: из философов, упомянутых во всех солидных обзорах французской философии³⁶, только у Анри Делакура диссертация посвящена истории

³⁶ Речь идет о 34 философах, упоминаемых одновременно в работе Бенруби, в работе Пароди, а также в статье Бутру «Философия во Франции с 1867 года» (в «Журнале метафизики и морали», 1908 г.), и «История философии» Брейе.

философии. Разительна диспропорция между значительностью доли исторических тем в совокупности диссертаций и слабостью интереса к истории философии среди философов, занимающих доминирующие позиции в философском поле. Однако после Первой мировой войны, напротив, история философии, кажется, утверждается как господствующая область в иерархии философских предметов. Эта тенденция уже уловима, если рассматривать многочисленные исторические диссертации, защищенные между 1905 и 1914 годом, которые принесли своим авторам высокие посты и значительные привилегии. Таким образом, относительно слабый интерес наиболее признанных философов восьмидесятых годов XIX века к истории философии следует соотносить с высоким уровнем амбиций и разрывом между господствующими представлениями о философе, с одной стороны, и о специалисте и технике, с другой (см. табл. 1 и 2).

Среди диссертаций, которые посвящены не истории философии, первое место занимают работы по метафизике. Но их доля уменьшается в течение данного периода. Другие тематические области занимают более ограниченное место: большие диссертации по морали (Олле-Лапрюн, Раух) были защищены, главным образом, до 1890 года, что отражает относительное снижение в ранге подобной тематики, связанное с прочным утверждением республиканского образования. Философия науки заявляет о себе как набирающая силу дисциплина: на рубеже веков вопрос науки, ее пределов и ее делений, становится центральным. Диссертации, защищенные по этой дисциплине, обладают высоким университетским престижем, к чему прибавляется высокий уровень капитала их авторов (начальная или дополнительная научная подготовка, знание иностранных работ и т. д.). Похожая логика прослеживается и в сфере социальных наук. Эта сфера особенно бурно развивается после 1890 года. Экспериментальная психология занимает гораздо более значительное место, чем психология, однако она часто остается довольно близкой к философской психологии. Эстетика и религиозная философия остаются очень ограниченными областями. Таким образом, исследование докторских диссертаций обнаруживает одновременно и относительную стабильность возможного набора тем, которые отсылают к реалиям школьной программы, и появление новых стратегий, основанных на специализации и технизации философского дискурса, в пределах, которые, однако, все еще остаются довольно узкими.

Как охарактеризовать конкурентную борьбу, которая формирует философское поле? Каковы позиции, которые определяют это пространство? Мы уже отмечали, что в действительности не существовало объединений с собственным манифестом и единым вдохновителем, наподобие тех, которые известны социологии литературы. Однако философия не явля-

Таблица 1. Распределение диссертаций по темам (всего – 156) с 1870 по 1914 гг.

		%
История философии	67	43,0
Метафизика и интроспективная психология	32	20,5
Логика и философия науки	15	9,6
Мораль и политика	14	9,0
Экспериментальная психология	13	8,4
Социология	6	3,8
Эстетика	6	3,8
Религия	3	1,9

Таблица 2. Сдвиг в темах диссертаций, %

	1870–1889	1890–1909
История философии	39,20	42,00
Метафизика и интроспективная психология	29,40	18,20
Логика и философия науки	7,80	12,50
Мораль и политика	9,80	9,00
Экспериментальная психология	6,00	9,10
Социология	3,90	3,50
Эстетика	3,90	3,50
Религия	0,00	2,20

ется закрытым полем, и ее следует расположить в социальном пространстве. Для венценосной дисциплины, при том переопределении иерархий, которое характерно для развития республиканского образования, задача состоит в том, чтобы в рамках гуманитарных факультетов сохранить свою позицию, легитимированную определенным порядком знания; внутри университета в целом, особенностью которого является разделение на факуль-

теты, выражающее различия на уровне структуры карьерных возможностей, философии важно защитить специфическую форму производства знания и определенный тип отношений к полю власти: «светскому» полюсу факультетов права и медицины противопоставляется «ученый» полюс факультетов гуманитарных и естественных наук³⁷. Философию также следует рассматривать и в перспективе отношений между университетскими преподавателями и «свободными» интеллектуалами, особенно писателями, которые живут своим пером или обеспечены рентой.

Существуют, таким образом, различные уровни анализа, которые, не противореча друг другу, позволяют осмысливать философию одновременно как доминирующую в системе гуманитарных дисциплин, и как относительно доминируемую, если рассматривать ее в структуре поля власти. Критерии дифференциации между позициями обоснованны, только если принимать в расчет поле, внутри которого они функционируют; стремясь забыть об этом, прибегают к коротким замыканиям в объяснении, которые лежат в основании всех дискурсов о философии как выражении господствующей идеологии. Университетских философов на рубеже веков можно исследовать как однородную группу, которая занимает определенную позицию в университетском и интеллектуальном полях, но можно также рассматривать университетскую философию как место дифференциации, которое подлежит изучению и анализу в качестве пространства позиций.

Философ и преподаватель

Важнейшим элементом дифференциации внутри поля философии является также различие между философом и преподавателем философии. Показательным здесь может служить издание 1983 года «Словаря современников» Ваперо³⁸. Философы в словаре обозначаются несколькими способами. Наиболее часто используется слово «философ» (одиннадцать раз); но встречаются также «философ и преподаватель» (восемь раз), «философ и эрудит» (один раз), «философ и администратор» (один раз) и «преподаватель философии» (четыре раза). Это разнообразие обозначений отнюдь не нейтрально: оно выступает в качестве шкалы признания, которая нисходит от философа к преподавателю. На вершине ее — философы (Бутру, Фулье, Равессон), которые также являются преподавателями; университетские деятели, называемые «философами и преподавателями», на этой шкале признания занимают среднее положение (Олле-Лапрюн, Лашелье, Поль Жане); простые «преподаватели» — это

³⁷ Об этом понятии см. P. Bourdieu: *Homo academicus*, p. 99; иллюстрация периода 1880–1900 гг.: C. Charle, *Les élites de la République*, p. 226–247.

³⁸ G. Vapereau, *Dictionnaire des contemporains*, Paris, 1893, 6e édition.

учителя в средних учебных заведениях или преподаватели провинциальных вузов. Чем известнее философ, тем меньше упоминаний о преподавательском аспекте его деятельности, тогда как объективно он не перестает быть преподавателем. Это становится еще более заметно, если принимать в расчет почести, которые воздаются профессии философа: в целом из одиннадцати «философов» шесть являются членами Академии, а девять — обладателями Ордена Почетного Легиона. Среди восьми «философов и преподавателей» — один член Академии и пять обладателей Ордена Почетного Легиона. Что касается четырех «преподавателей философии», никто из них не является членом Академии и только двое — обладатели Ордена Почетного Легиона. Обозначения, используемые Ваперо, отсылают нас к парадоксу: в конце XIX века, когда устанавливается господство преподавательской философии, наставнический образ философского образования сохраняет актуальность, но преподаватель философии не является философом в полном смысле слова. Это различие есть отражение расхождения в философском поле между простыми преподавателями и настоящими интеллектуальными творцами. В то время как агиографические описания беспрестанно рисуют образ сообщества, где все преподаватели равны перед философией, анализ карьер выпускников Высшей нормальной школы между 1875 и 1810 годами обнаруживает значительные диспропорции³⁹. Некрологи этих преподавателей позволяют составить представление о типологии философского производства в его отношении к карьерам агентов данной профессии (таблица 3).

Преподаватели, которые работали в течение всей своей карьеры в провинциальных лицеях в основном вообще не имеют никаких публикаций; когда они публикуются, речь идет чаще всего о нефилософских произведениях: о монографиях по местной истории или памятным местам. Преподаватели, сделавшие карьеру в парижских лицеях, напротив, имеют в своем активе публикации (только у двоих из тринадцати нет публикаций). Что касается преподавателей высших учебных заведений, все они публикуются, а здесь различия между провинцией и Парижем намного менее ощутимы. Однако известно, что парижские философы стараются публиковать большее количество работ; так, они публикуют заметно больше статей, чем провинциальные. Все преподаватели парижских высших учебных заведений публикуют статьи в профессиональных журналах, тогда как их провинциальные коллеги скорее публикуют книги, нежели статьи. Это знак того, что публикация статьи является для молодых авторов не столько испытательным стендом, сколько показателем регулярности производства и присутствия на философской сцене. Тенденция

³⁹ См.: J.-L. Fabiani, *La crise du champ philosophique*, chap. VI, p. 246–283.

Таблица 3. Публикации философов-выпускников Высшей нормальной школы, упомянутых в некрологах «Ежегодника Содружества старых выпускников Высшей нормальной школы» (выпуски 1860–1910 гг.)

	<i>провинция</i>	<i>Париж</i>
<i>Публикации философов Высшей нормальной школы с любым типом карьеры, в том числе не университетским (всего – 95)</i>		
Никогда ничего не публиковали		23
Публиковали статьи		40
Публиковали книги по философии		44
Публиковали педагогические работы		16
Публиковали другие типы произведений		23
Нет информации о публикациях		0
<i>Публикации философов Высшей нормальной школы, завершивших карьеру в средних учебных заведениях</i>		
Ничего не опубликовали	15	2
Статьи по философии	3	5
Книги по философии	1	4
Педагогические работы	1	2
Другие книги	4	3
<i>Публикации философов Высшей нормальной школы, преподавателей высших учебных заведений</i>		
Ничего не опубликовали	0	0
Статьи по философии	19	9
Книги по философии	18	14
Педагогические работы	6	5
Другие книги	3	4

к «разбрасыванию» (измеряемая производством нефилософских произведений) менее выражена у парижских факультетских преподавателей, чем у всех прочих: этот факт представляет собой, без сомнения, показатель более значительной профессионализации философского письма.

Высокое положение философии в иерархии дисциплин связано с возможностью для преподавателей, ее избравших, продолжать исследования и после конкурса на степень агреже⁴⁰, представляя их к публикации, даже если эти преподаватели не занимают посты в высших учебных заведениях и имеют мало шансов когда-либо их занять. Интеллектуальные амбиции подросткового периода зачастую сохраняются после вхождения в зрелый возраст, связанный с началом преподавания. Данная характеристика — следствие высокого статуса этой дисциплины, которая увеличивает «вероятность продолжать исследования и изыскания до обретения определенного уровня научного признания, в надежде на более серьезное признание в будущем»⁴¹. В философии дольше, чем в других дисциплинах, сохраняется установка на исследовательскую деятельность в ходе преподавательской карьеры. Впрочем, не менее верно и то, что наибольшими шансами получить признание в качестве философов обладают те, кто публикуется регулярно.

Чтобы убедиться в обособлении фигур творца и репетитора⁴², достаточно упомянуть, сколь редки случаи, когда ученики Бергсона блистали на экзаменах и конкурсах⁴³. Эта позиция противостоит серьезному отношению гораздо менее известных преподавателей к своему делу. Среди прочих, можно привести в пример Шарля Бурделя, стипендиата родом из Нарбонна, выпускника Высшей нормальной школы, который, после нескольких неудач в конкурсе на степень агреже, сделал заурядную карьеру: «Он из числа тех, у кого занятия в классе повинуется ритму их внутренней жизни. Он не несет своим ученикам ни порядка, навязанного системой, хитроумно выводящей тонкие абстракции, ни курса, методически подогнанного под требования программы. Он ставит проблемы перед вверенными ему умами: он проникает в них, он будоражит их этими проблемами; его философия — это душа, которая сообщает себя; это сознание, которое приумножает»⁴⁴. В более общем смысле, собствен-

⁴⁰ Степень, присваиваемая выпускникам, успешно прошедшим общенациональный конкурс на замещение должности преподавателя лицея или вуза. — *Прим. ред.*

⁴¹ V. Karady, «Stratégie de carrière et hiérarchie des études chez les universitaires littéraires sous la Troisième République», multigraphié, p. 7.

⁴² «Répétiteur» по фр. означает как низшую преподавательскую должность (ведущий семинарские занятия к основному курсу лекций), так и букв., «тот, кто повторяет». — *Прим. ред.*

⁴³ M. R. Mossé-Bastide, *Bergson éducateur*, Paris, P. U. F., 1955, p. 40: «У Бергсона преподавание свободно от забот об университетском престиже».

⁴⁴ Notice nécrologique de C. Bourdel (Annuaire de l'Amicale des anciens élèves de l'École normale supérieure, 1905, p. 130)

но преподавательские достоинства проявляются как важнейшие качества в текстах некрологов, опубликованных в «Ежегоднике Содружества старых учеников Высшей нормальной школы»: тема преподаательства как «священнодействия» оставлена для тех преподавателей, которые менее всего преуспели⁴⁵. Университетский аскетизм, выраженный в подобной характеристике, предстает здесь ярче, чем где бы то ни было, как «негативная форма превосходства», как необходимость превращенная в добродетель⁴⁶. Включая в себя как философа из Коллеж де Франс, так и учителя морали в четвертом (по современной системе) классе провинциального коллежа, философское сообщество, тем не менее, не является чистой фикцией: представление о собственно преподавательских достоинствах разделяется всеми; но превосходство основывается на подчинении этих достоинств высшим добродетелям, которые характеризуют аристократию университетского мира.

Дух и материя

Все обзоры французской философии рубежа веков воспроизводят, лишь с некоторыми нюансами, один и тот же тип философской классификации. Выделяют три больших группы: спиритуализм, критицизм и позитивизм⁴⁷. Метафизическому полюсу противопоставляется полюс научный. Именно определение науки и ее отношения к философии всегда является критерием дифференциации. Категория «критицизм» присутст-

⁴⁵ Об Огюсте Бланше можно прочесть: «Роль преподавателя философии была для него подобна священству» (ор. cit., 1919, p. 54), а о Шарле Шабо: «Его курс был вскоре превращен в кафедру, а он стал ее заведующим. И, хотя он этого не предвидел, именно это — действительное воплощение его творчества» (ор. cit., 1925, p. 121).

⁴⁶ P. Bourdieu et M. De Saint-Martin, «Les catégories de l'entendement profesoral», *Actes de la recherche en sciences sociales*, 1975, no 3, p. 68–93.

⁴⁷ Бенруби определяет эти три течения как виды реакции: позитивизм родился из «потребности реагировать на крайности эклектизма»; критицизм определяется как «множественная и почти систематическая реакция против всех разновидностей позитивизма»; спиритуализм определяется как «реакция против научного империализма» (ст. 202). Согласно Полану, имеются три основных типа философских предпочтений: позитивизм, спиритуализм, и мышление, которое объединяет элементы, общие для обеих систем. Следуя Андре Кресону, вопреки существованию многочисленных и противостоящих течений, можно выделить два крупных направления во французской философии: то, что пошло от наследия Огюста Конта, и то, что вырастает из метафизики (*Les grands courants de la pensée philosophique française*, 2 vol., Paris, A. Colin, 1927).

вует не во всех классификациях и слишком расплывчата, чтобы служить реальным объединяющим принципом⁴⁸. Зато оппозиция между спиритуализмом и позитивизмом, пусть и в форме, смягченной университетским консенсусом о функциях дисциплины, несомненно, позволяет понять взгляды, интеллектуальные проекты и даже сам стиль философов данного периода. Нет речи о том, чтобы прямо объяснять философскую принадлежность теми или иными социальными характеристикам. Спиритуализм и позитивизм не являются выражением идеологии той или иной господствующей группы, как думали сторонники теории отражения. Даже сами эти термины имеют смысл, лишь если рассматривать их в контексте употребления в университетском философском языке. Так, ярлык «позитивизм» не отсылает напрямую к Огюсту Контю, а скорее выражает в целом определенное отношение к научной деятельности и задачам философии. С другой стороны, гомогенизации образования и структуры карьерных возможностей сопутствует относительная гомогенизация социального происхождения университетских философов.

Если брать за основу список ста философов, работавших между 1880 и 1914 гг. и перечисленных в работе Бенруби «Источники и крупные течения современной французской философии», можно отметить, что 10 % из них являются выходцами из низших слоев, 10 % — из мелкой интеллектуальной буржуазии, 10 % — из мелкой деловой буржуазии, 10 % — из категории служащих, 5 % — из категории рантье и собственников, 28 % — из средней интеллектуальной буржуазии, 12 % — из средней деловой буржуазии, 11 % — из интеллектуальной и политической буржуазии. Никто из философов не происходит, как правило, из аристократии или наследственной крупной буржуазии, а 13 % не ответили на данный вопрос. Таким образом, обнаруживается весьма значительное число философов из низших слоев (в основном, сыновья крестьян и мелких сельских ремесленников); это впечатление усиливается, если сравнить происхождение университетских философов с происхождением писателей, занимающих высокую позицию в символической иерархии, что справедливо, например, для театра авангарда, где насчитывается лишь 1,9 % выходцев из низших слоев⁴⁹. Однако наиболее примечательна высокая представленность мелкой и средней интеллектуальной буржуазии (39 % от общего числа): так,

⁴⁸ Это понятие охватывает одновременно импорт во Францию творчества Канта, элементы которого Лашелье и Бутру (среди прочих) интегрировали в спиритуалистскую философию, и наследие Ренувье, которое превратилось в один из краеугольных камней республиканской идеологии.

⁴⁹ См. исследование Р. Понтонна: R. Ponton, *Le champ littéraire en France 1865–1905*, Paris, E. N. E. S. S., 1977.

в списке значится шестнадцать сыновей преподавателей и восемь сыновей врачей и аптекарей.

Не существует борьбы классов (или классовых фракций) в теории. Но отмеченные различия между представителями двух групп, выделенных на основе списка философов, упомянутых в таблицах обзорных работ⁵⁰, позволяют прояснить исходное отношение к социальному миру, которое предопределяет интеллектуальные проекты. Мы взяли два показателя: профессию отца и место рождения⁵¹. Философы позитивистской ориентации происходят по большей части из интеллектуальных слоев буржуазии, и в особенности, средней буржуазии (см. таблицу 4).

Поражает относительная социальная однородность этой группы философов. Подавляющее большинство среди них — обладатели унаследованного культурного капитала; многие из них — сыновья преподавателей и врачей⁵². Теоретический оптимизм и веру в освободительную и секуляризирующую миссию интеллектуальной деятельности можно объяснить ранним знакомством с миром, где знание обладает моральной и социальной ценностью и где оно часто противопоставляется вере и верованиям. Известно, например, что в медицинской идеологии середины XIX века господствовал научный оптимизм, и что у врачей существовала настоящая философская традиция⁵³. Это интеллектуальное наследие для универси-

⁵⁰ См.: J.-L. Fabiani, *La crise du champ philosophique*, p. 14–17.

⁵¹ Мы не переоцениваем точность показателя профессии отца: к двусмысленностям и неточностям в документах о гражданском состоянии, на основании которых он сконструирован, прибавляется то, что он не позволяет принимать в расчет ни семейные траектории с течением времени, ни брачные стратегии университетских преподавателей Третьей Республики, которые нередко выгодно, и даже очень выгодно женятся.

⁵² Так, Рише, Дюма, Рибо, Ле Дантек и Бине — сыновья врачей, Эспинас — сын аптекаря, Хальбвакс, Фоконне, Бело, Раух, Вормс и Байе — сыновья преподавателей.

⁵³ См. в «Медицинской Франции XIX века» Жака Леонара о вопросе отношения врачей с идеологами сциентизма (в частности, «Le débat autour du scientisme», p. 236–237): «Врачебный цех натягивает свои любимые струны, как только песенка заходит об идолах века: образовании, сбережениях, здоровье. Во всех случаях он делает оркестровку на тему прогресса» (с. 236). Врачи также являются философами (вспоминается доктор Паскаль у Золя, который полагает, что «будущее человечества — в прогрессе разума посредством науки»). «Введение в экспериментальную медицину» Клода Бернара принадлежит также к пространственному в XIX веке жанру — философского сочинения по медицине: «Публикуя свое “Введение”, Клод Бернар удовлетворял правилам жанра, весь

Таблица 4. Место рождения, профессия отца и теоретическая принадлежность основных философов (классификация философских направлений взята у Исаака Бенруби)

<p><i>Психология</i></p> <p>А. Эспинас. Ф. Ле Дантек. Сан-Флорентен. Даула. Врач. Аптекарь. А. Биле. Т. Рибо. Ницца. Генгам. Врач. Аптекарь. Ж. Дюма. Пьер Жакс. Лединьян. Париж. Врач. Судебный чиновник.</p>	<p><i>Основатели «Журнала метафизики и морали» и Французского философского общества</i></p>	<p>Л. Лиар. Фалез. Столяр. А. Марион. Сан-Паризан-Визи. Земледелец. А. Аннекен. Паньи/ Солькс. Воспитатель. Ж. Ланьо. Метц. Свечник. В. Брошар. Кесне-сюр-Дель. Таможенник. <i>Критический рационализм</i></p>	<p>Е. Халеви. Париж. Писатель. Л. Брюнсвик. Париж. Басонщик. О. Амлен. Лион-д'Анжер. Нотариус. Ален. Мор-тань-о-Перш. Ветеринар. Л. Дориак. Брест. Контр-адмирал.</p>	<p>К. Леон. Париж. А. Лаланд. Дижон. Цензор. А. Фуье. Ля Пуэз. Профессиональный управляющий.</p>	<p>Ж. Сейи. Париж. Врач Поль Жакс. Париж. Королевский торговец музыкой. Олле-Лапфюн. Париж. Собственный управ-ник. А. Берссон. Париж. Художник. Ж.-М. Гюйо. Лаваль. Промышленник. Ф. Равессон. Намюр. Главный казначей. В. Эгер. Париж. Преподаватель Сорбонны. Э. Бутфу. Монруж. Служащий. Ж. Лашелле. Фонтенбло. Капитан первого ранга. Ш. Дюнан. Нант. Оптовый торговец.</p> <p><i>Наследники Мен де Бифрана</i></p>
<p><i>Моральная философия позитивистского толка</i></p> <p>Ж. Бело. Ф. Раух. Страсбург. Сен-Мартен-ле-Вину. Преподаватель. Воспитатель. Л. Леви-Брюль. Париж. Торговец</p>	<p><i>Другие философы-спиритуалисты</i></p> <p>Ж. де Готье. Ж. Банда. Ж. Сорель. Париж. Париж. Шербург. Директор типо-Оптовый Оптовый графии. торговец. торговец. А. Делакура. Париж. Преподаватель.</p>				
<p><i>Дюркгеймианская социология</i></p> <p>П. Фоконне. М. Хальбвакс. С. Бугле. Сен-Дени. Реймс. Сан-Брио. Директор Преподава- Капитан-лей- учреждения. тель. тенант. Э. Дюркгейм. М. Мосс. С. Лало. Эпиналь. Эпиналь. Периге. Раввин. Раввин. Контролер качества табака.</p>	<p><i>Другие философы-спиритуалисты</i></p> <p>Л. Лабертоньер. А. Луази. М. Блондель. Шазле. Амбриер. Дижон. Башмачник. Земледе- Нотариус. лец. Р. Алье. Вовер. Оптовый тор- говец.</p>				

тетских философов выступает одним из неявных условий формирования интеллектуального позитивистского или «научного» проекта. Спиритуалистскую тенденцию, напротив, характеризует слабая представленность фракций интеллектуальной буржуазии и относительная значительность числа сыновей, чьи отцы обладают экономическим капиталом. Впрочем, социальный состав спиритуализма не однороден, а представлен двумя фракциями: интеллектуалы низшего происхождения, которых много среди католических философов, соседствуют здесь с детьми средней деловой буржуазии (среди антипозитивистских философов есть несколько сыновей оптовых торговцев и крупных коммерсантов). Неудивительно поэтому, что философы-спиритуалисты чаще всего рассматривают философскую работу как управление наследственным имуществом, тогда как позитивистские философы склонны к интеллектуальному реформизму. Так, например, Леон Олле-Лапрюн⁵⁴, представитель спиритуализма, наемнее склонного к инновации и изменению условий философской деятельности, является сыном собственника. Для Олле-Лапрюна, «удел человека не в том, чтобы быть ученым, но в том, чтобы быть добрым»⁵⁵; он не перестает критиковать тенденцию к сциентизации философии.

Эти социальные различия усиливаются таким показателем, как место рождения. В группе спиритуалистов насчитывается больше парижан: почти все лидеры этого направления родились в Париже (Поль Жане, Виктор Эгер, Анри Бергсон, Анри Делакруа, Леон Олле-Лапрюн, Ксавье Леон). Движение, группирующееся вокруг Ксавье Леона и «Журнала метафизики и морали», возглавляют парижане. Парижское происхождение предполагает одновременно раннее знакомство с социальным пространством, в котором будут в дальнейшем разворачиваться образование и карьера, более широкую сеть знакомств в интеллектуальном поле в широком смысле (с художниками, писателями, музыкантами) и большую близость к литературному полю. Философы, считающиеся позитивистами, как правило, позднее получают доступ в парижское интеллектуальное пространство: первое знакомство со столицей происходит, в основном, в период подготовки

ма развитого с самого начала века. Когда в 1834 году медицинский факультет в Париже объявляет конкурс на кафедре психологии, кандидаты (...) должны написать «работу об общих положениях психологии, о плане и методе, которым нужно следовать в преподавании этой науки» (G. Ganguilhem, *Études de l'histoire et de philosophie des sciences*, p. 152).

⁵⁴ Олле-Лапрюн (1838–1912) был преподавателем в среднем учебном заведении до 1875 года, затем лектором в Высшей нормальной школе. Об Олле-Лапрюне см.: G. Fonsegrive, *Léon Ollé-Laprune, l'homme et le penseur*, Paris, Bloud et Gay, 1912.

⁵⁵ L. Ollé-Laprune, *La certitude morale*, Paris, Belin, 1880.

к вступительному конкурсу в Высшую нормальную школу, и нередко сопровождается ощущением вырванности из привычной среды и тревоги.

Спиритуализм и позитивизм можно различать и по другому признаку: по объему кандидатских диссертаций краткость спиритуалистов контрастирует с многословием позитивистов. Во всех гуманитарных дисциплинах в течение XIX века наблюдается постепенное увеличение объема диссертаций: это изменение часто рассматривается как критерий научного прогресса и профессионализации. Но хотя столь короткая диссертация, как, например, текст Равессона о привычке (48 страниц), уже немислима в последней четверти века, длина диссертаций, все же, остается весьма различной: она варьируется от 112 страниц в случае диссертации Лашелье до 952 страниц диссертации Буиссона. Средний размер диссертации, посвященной метафизической проблематике – 264 страницы, диссертации по психологии – 375 страниц, а по социологии – 381 страница⁵⁶. Эти различия иллюстрируют [дискурсивную] плотность метафизики: спиритуалисты испытывают меньшую нужду в письменном самовыражении для того, чтобы добиваться признания. Существуют объективные признаки философской глубины [помимо этого].

Констатируя неслучайность этих различий, можно сделать вывод о существовании двух философских типов в университете на рубеже веков: провинциалу с позитивистскими предпочтениями, обладателю унаследованного культурного капитала, противостоит парижский спиритуалист, владеющий наследственным экономическим капиталом. Такое утверждение неизбежно редуцирующе – так, Анри Делакура, сын лицейского преподавателя, причисляется к спиритуалистам, – однако оно позволяет зафиксировать как симпатии, так и антипатии между индивидами. Философ-артист или философ-метафизик, с одной стороны, и философ-ученый, с другой, выстраивают свои интеллектуальные проекты, основываясь на различном первичном отношении к социальному миру.

Бдение у границ

Каковы же законодательные амбиции, которые предполагает утверждение философии на вершине иерархии знания? В контексте возрастающей автономии частных наук, какова истинная предметная область венценосной дисциплины? В конце XIX века вопрос о специфике философского дискурса оказывается в центре дебатов: философы посвящают значительную часть своего времени тому, чтобы попытаться определить место своей дисциплины в отношении религии, литературы и наук.

⁵⁶ См. J.-L. Fabiani, *La crise du champ philosophique*, chap. VI, «Les philosophes et leur œuvre».

В этом поиске преподавательский корпус производит одновременно и особый язык, и специфический предмет. Тогда как философия вынуждена все более и более оставлять различные предметные области другим дисциплинам и дискурсам, ее собственные темы становятся отражением объективной ситуации, когда она должна непрестанно отмежеваться от прочих специальностей и подчеркивать свое отличие. Содержание философского дискурса выражает, таким образом, структуру поля знания: философы блюдут границы территории, обнаружить которую становится все сложнее, но бдительность их не знает передышки.

Высокое положение философии обеспечивается всей системой гуманитарного знания. Виктор Кузен, который участвовал в организации преподавания философии, приложил значительные усилия к тому, чтобы сблизить ее с гуманитарными науками. Луи Кутюра в предисловии к своей диссертации «Математическая бесконечность» (1894 г.), указывает на длительное молчание философии в отношении научных проблем: «Примерно на протяжении века по различным причинам, которые мы не станем сейчас изыскивать, философия оказывается оторванной от Науки и безразличной к ее прогрессу. Оставляя физический мир ученым, она замкнулась в исследовании сознания; она решила, что может позволить себе уединиться в самодовлеющей области — в ментальном мире — и раскрыть его законы при помощи особого метода, интроспекции...»⁵⁷ Этот отрыв философии от наук, какими она их себе представляет, отчетливо проявляется в программе философского образования: философия науки, взятая за логическую модель, является методологией, полностью посвященной поиску критерия истины, который был бы независим от исторических условий производства высказываний. Именно этим объясняется тот факт, что когда в учебниках философии речь заходит о науках, ссылаются в основном на Аристотеля и Бэкона. Как замечает Кутюра, в каком-то смысле спиритуалистской философии нечего сказать о научной деятельности. Метафора венцености не должна вводить в заблуждение: философия, оставляя за собой в качестве предметных областей мораль и психологию, смолкает в отношении прочих знаний. Философы не стремятся снова наложить руку на дисциплины, которые уже автономизировались: их законодательное рвение распространяется, скорее, на вновь возникающие сферы знания. Так, в учебнике логики спиритуалиста Рабье, без сомнения, самом популярном в конце XIX века⁵⁸, философия определяется как «объединение психологических и метафизических наук». В [представленных здесь] номенклатурах и классификациях находит выражение теория

⁵⁷ L. Couturat, *De l'infini mathématique*, Paris, Alkan, 1984, p. VII.

⁵⁸ E. Rabier, *Leçons de la philosophie*, Paris, Hachette, 1884.

ограниченного суверенитета философии. Всегда существует явная или неявная иерархия дискурсов, в рамках которой философия помещается на вершину знания. Когда Рабье определяет свой предмет по отношению к «наукам о чувственном мире», он обосновывает производимую им иерархию с отсылкой к платоновской аллегории пещеры: науки о чувственно воспринимаемом — это науки о видимости. Такое разграничение предметов не имеет отношения к методу; его функция состоит прежде всего в том, чтобы установить пределы вмешательства философии: существует территория, на которой она может оставаться законодателем. До сих пор не завершенная институционализация социальных наук во Франции объясняется отчасти этой силой философской юрисдикции.

Если кузеновский спиритуализм во многом оставляет в стороне проблематику науки, то для республиканской философии вопрос науки продолжает оставаться основной проблемой. И именно вокруг природы и пределов науки в конце XIX века разгораются споры среди представителей сугубо «гуманистической» культуры. На самом деле, традиционное образование философов не предполагает ни изучения науки, ни даже введения в нее. В последние годы XIX века в философское образование пытаются включить минимальные научные сведения: от кандидатов на степень агреже требуется быть выпускниками специализированных научных классов лицея или иметь сертификат о прослушанном курсе лекций по той или иной научной дисциплине в университете. Посредством этого требования утверждается идея о том, что нечто такое, как научное знание, даже если оно представлено в виде ускоренного курса или редуцированной модели, способно придать вес философскому суждению. Именно с этой точки зрения нужно интерпретировать дебаты о научном образовании преподавателей философии, развернутые в 1890 году: преподаватели должны заставить поверить, что они достаточно подкованы, чтобы говорить о том, о чем они говорят. В 1895 году Фредерик Раух обращает внимание на «нынешнюю недостаточность научного образования преподавателей философии» и подчеркивает, что было бы полезно попытаться исправить подобное положение. На самом деле преподаватели философии обделены: «Можно лишь пожалеть, — добавляет Раух, — тех из университетских философов, кто не чувствует со всей остротой пробелов в своем базовом образовании. Многие, правда, стараются наверстывать упущенное позже; однако они прекрасно осознают, насколько трудно это делать, когда житейские и профессиональные заботы поглощают без остатка, — и как им при этом не достает твердых начальных знаний»⁵⁹. Полумера,

⁵⁹ «L'éducation scientifique des professeurs de philosophie», *Revue de métaphysique et de morale*, 1895, p. 233–238.

предложенная Раухом, состоит в том, чтобы обеспечить «философское научное образование», у которого тройная цель: «познакомить с самыми важными результатами фундаментальных наук, приобщить к пониманию методов и к духу актуальной науки и внести ясность в хрестоматийное изложение вопросов, демонстрируя историю их развития». Раух подчеркивает, что образование этого типа — сугубо начальное, поскольку оно не требует предварительных научных знаний; он называет его «начальным высшим образованием». Странное соединение начального и высшего является признаком того, что некоторые философы ощущают бессилие от своего научного невежества: отныне в венценосной дисциплине обнаруживаются зазоры.

С другой стороны, владение сертифицированным научным капиталом становится для философов способом заставить признать свой авторитет внутри самого философского поля. Чаще всего научная компетенция философов весьма дозирована⁶⁰. Тем не менее можно привести несколько примеров двойного образования: Леон Брюнsvик и Луи Кутюра имеют сертификаты о трехлетнем научном образовании; Пьер Жане и Жорж Дюма — кандидаты медицинских наук. Недаром комментатор представляет работы Кутюра и Брюнсвика как «памятники математической учености не в меньшей степени, чем учености философской»⁶¹. Однако с философами соперничают ученые, которые, привнося свою профессиональную компетентность в философское поле, в конце концов, превращаются в философов, а также те из их коллег, которые разрабатывают философские концепции различных наук. Эти концепции во Франции являются издавна утвердившейся областью. Их успех ставит под вопрос существование собственного объекта для философии науки. Неизбежные трудности, которые встречает философский дискурс о науке, иллюстрируются примером Бергсона: приверженец преподавания истории науки, автор «Длительности и одновременности» видел трудность в том, что наука не может корректно ставить философские проблемы, тогда как философии не хватает необходимых научных познаний в решении этих проблем; так Бергсон не был удовлетворен собственной работой об относительности⁶².

⁶⁰ См., например, П. Легэ о Лаланде, которому — нужно заметить — он враждебен (*La Sorbonne*, Paris, 1910, p. 100–101): «Далеко не всегда он достаточно сведущ в науках, на объяснение метода которых претендует; его студенты охотно рассказывают, как ему случалось потеряться в деталях исчисления бесконечно малых или покрыть доску уравнениями, которых он в конечном счете не мог решить».

⁶¹ D. Parodi, *La philosophie contemporaine en France*, op. cit., p. 200.

⁶² M. R. Mossé-Bastide, *Bergson éducateur*, op. cit., p. 249.

В действительности, дискурсивное изобилие по темам ценности и пределов научного знания в конце XIX века имеет двойное назначение: оно состоит в том, чтобы сохранить за философией место в порядке знания и одновременно указать основателям социальных наук на, скорее, примитивный характер их апелляции к науке. Если рассматривать тему критики науки в той форме, которую она приняла внутри философского поля, можно увидеть, что на философские концепции науки [созданные самими учеными] чаще всего ссылались затем, чтобы указать приверженцам таких становящихся дисциплин, как психология или социология, на их научную отсталость, поскольку механицизм и сциентизм, который им приписывали противники, отвечали предшествующему состоянию развития наук. Именно это объясняет, почему вопрос науки стал принципиальной ставкой в борьбе между нео-спиритуалистами и основателями новых наук.

Рождение университетского автора

Философы, издатели, писатели

Итак, Третья республика – это время истинного рождения философского университетского автора. Ряд издателей, постепенно появившихся на протяжении XIX века, были необходимыми посредниками между философами и их новой аудиторией. Сферу ученого книгоиздания развивали, главным образом, индивиды, обладающие образовательным капиталом, то есть интеллектуальными характеристиками, отличными от характеристик большинства их собратьев, а также капиталом отношений в университетском поле. Эти издатели привнесли в поле производства книг систему диспозиций, которая была следствием их отношения к образовательной системе. Речь идет, в частности, об отсроченной выгоде: издатели ученой литературы в состоянии поставить дело так, чтобы «долго ждать возмещения своих затрат». Это отношение ко времени предоставляет философскому произведению привилегию неспешности [la durée]. Добиваясь отсроченных выгод и высокой символической прибыли, которая с ними связана, ученый издатель сближается с интеллектуалами, которых издает. В книге воспоминаний об издательском доме своего отца, Жан-Батиста Бэльеера, Анри Бэльеер настаивает одновременно на стабильности и постоянстве ученого книгоиздательства, а также на важности отношений издателя с интеллектуальным полем. «На протяжении почти века, – пишет он, – книжный магазин Ж.-Б. Бэльеера управляется одной и той же семьей»⁶³. Расположенный на улице Отфей, издательский дом связан с различными интеллектуальными профессиями. Дело в том, что

⁶³ H. Ballière, *Rue Hautefeuille*, Paris, J.-B. Ballière, 1901, p. 258.

издатели и авторы живут в одном квартале: «Среди жителей улицы Отфей мы знали священников, ученых, членов Французской Академии и различных классов Института⁶⁴, художников, и особенно судейских людей и книготорговцев». Эта пространственная близость и интенсивность отношений, в числе прочих, характеризуют функционирование парижского интеллектуального поля. Издатель и его авторы вовлечены в ансамбль отношений, которые могут привести и к полному отождествлению: Анри Бэльер представляет свою деятельность как работу «скромного сотрудника» великих людей.

Есть и другой издатель, которого охотно ассоциируют с французской философией этого периода — Феликс Алкан. Его издательство выросло на подъеме научной книготорговли в XIX веке, и, хотя его каталог далеко не полностью (меньше, чем мог бы) посвящен философии, образ этого издателя тесно связан с коллекцией «Библиотека современной философии». Теодор Зельдан обращает внимание, что обилие книг по философии, изданных Алканом, представляет собой нечто исключительное⁶⁵. Он показывает, до какой степени связаны между собой собственно философское производство, специфический образ издателя и воздействие, которым обладает сама коллекция.

Феликс Алкан, родившийся в 1841 году в семье книготорговцев, принадлежал к еврейской общине Метца. Он поступил в Высшую нормальную школу на научное отделение, но всегда, со времен своего пребывания в Школе, был связан со студентами-гуманитариями, что, кажется, нечасто бывало с теми, кто изучал естественные науки в этот период⁶⁶. Он находился в тесной дружбе, в частности, с философом Рибо и историком Моно, которые впоследствии сыграли важную роль в жизни издательского дома. Алкан был большим любителем музыки — качество, в основном приписываемое гуманитариям. Как утверждает Жорж Дюма, еще в свою бытность студентом Школы он задумал создать в Париже «большой книжный магазин, серьезный и оживленный, широко открытый для всех интеллектуальных концепций, различных философских школ, научных проявлений любого рода». Можно полагать, что именно школьная история Алкана (и особенно постоянное возвращение в среде студентов Высшей нормальной школы), лежит в основе этой плюралистской кон-

⁶⁴ Речь идет об Institut de France, рамочном учреждении, объединившем в 1795 г. пять французских академий; Институт имеет образовательный отдел. — *Прим. ред.*

⁶⁵ T. Zeldin, *France 1848–1945*, vol. 2, p. 368.

⁶⁶ Об Алкане, см. хвалебную речь, произнесенную Люсьеном Леви-Брюлем, опубликованную в форме брошюры, а также некролог, составленный Жоржем Дюма для «L'Annuaire des anciens élèves de l'E. N. S.» (1926, p. 18–22).

цепции издательства. Недолгое время Алкан был преподавателем — коллегой Лависса в Нанси — но через год должен был взять отпуск, чтобы помогать своим родителям управлять книжным магазином. Тем самым, он начал постепенно реализовать свой проект, для начала объединив усилия с издателем Жермер-Бэльером, а затем в одиночку взяв на себя управление издательским домом. Он накопил весьма существенный фонд, состоящий, главным образом, из работ по медицине, науке и философии; в частности, там было несколько коллекций, среди которых — «Библиотека современной философии». Именно у Алкана выходят крупные журналы по философии и социальным наукам этого периода: «Философский журнал», «Психологический ежегодник», «Социологический ежегодник» и «Журнал по нормальной и патологической психологии». В течение этого периода издательский дом бурно развивался, экспортируя значительную часть своей продукции. Известно, что экспорт в целом считался слабым местом французской книготорговли; таким образом, философское книгоиздание представляет в этом отношении исключительный пример⁶⁷.

Сам Алкан являет собой совершенно нетипичную фигуру: он владеет тем же видом культурного капитала, что и философы этого периода (он агреже Высшей нормальной школы), и, кроме того, его семья предоставила экономический и социальный капитал, который позволяет ему организовать коммерческое предприятие. Алкан занял свободную нишу в поле французского книгоиздания, открыв своим товарищам по Школе возможность действовать в роли руководителей коллекций и сформировав новое отношение университетских преподавателей к книгоизданию. Эта глубокая оригинальность Алкана в пейзаже французской книготорговли объясняет, по крайней мере отчасти, его исключительный успех. Алкан вверил Рибо, который руководил у него «Философским журналом», и Моно, руководившему «Историческим журналом», настоящие издательские полномочия, полностью сохраняя за собой окончательный контроль за решениями. У Алкана университетские преподаватели могли влиять на распространение своих идей; точнее говоря, он предложил философам возможность войти в издательское поле: успех книги стал одним из важных элементов карьеры университетского философа. «В течение своей долгой издательской жизни, — отмечает Леви-Брюль в речи на похоронах этого издателя, — Феликс Алкан поддерживал отношения со сменяющимися друг друга поколениями ученых, философов, историков, врачей, биологов. Не счесть тех, кто посещал его дом, столь просто и дружески приветли-

⁶⁷ Согласно Бэльеру (*La crise du livre*, p. 19), «сами иностранцы не хотят больше французской книги: экспорт французской книги снизился на 4 миллиона франков между 1899 и 1900 гг.».

вый...» Продолжение университета, с которым он тесно связан, издательский дом — и дом издателя — становится узлом коммуникации между интеллектуалами, где обмениваются информацией или разрабатывают верный стиль жизни, определенную манеру быть интеллектуалом. Именно внутри издательского дома по образцу Школы поддерживаются и обновляются отношения между университетскими преподавателями: «Дом, — пишет Жорж Дюма, — был во многих отношениях продолжением Школы. (...) Здесь, возвращая к временам молодости, обращались друг к другу на “ты”». Имеет место своего рода проекция в издательский мир системы иерархий и отношений, которые структурируют университетское поле: тогда как в других издательских домах, хотя и каждый раз в разной форме, университетские преподаватели должны вести переговоры с издателями, чтобы заставить ценить свою точку зрения, и отношения при этом часто строятся на взаимном непонимании, университетская легитимность у Алкана мгновенно переводится в издательские термины: хорошая диссертация без каких-либо изменений может стать хорошей книгой. Кажется даже, что сугубо коммерческие отношения между авторами и издателями имеют здесь меньшее значение, чем где-либо еще (или, может быть, точнее, обе стороны предпочитают не говорить об этом), как если бы экономическая реальность этих отношений стремилась стать невидимой: если верить Жоржу Дюма, здесь «быстро договаривались по поводу даты и никогда не говорили о ценах, всегда одних и тех же и принятых единожды для всех». Даже если это впечатление усилено (и отчасти произведено) почтительным университетским дискурсом, можно сказать, что издательский дом мыслится, скорее, как продолжение университета, чем как коммерческое предприятие. Алкан — интеллектуальный директор своего издательского дома, даже если, как правило, его издательские решения только подтверждают университетскую легитимность. «Все, кто публиковался в коллекциях этого издательского дома, знают, какой контроль велся за рукописями, и что сам Алкан, всегда прибегая к советам специалистов, читал их почти все», — пишет Жорж Дюма.

Легитимность коллекций, опубликованных Феликсом Алканом, была особенно явной в случае философии, и можно без риска преувеличения говорить о реальной монополии на философское ученое книгоиздание. Люсьен Леви-Брюль рассказывает, что в испаноговорящих странах было придумано слово «алканист», чтобы обозначать все произведения, опубликованные в «Библиотеке современной философии». Имя издателя становится знаком французской университетской философии, выражая отношение, которое поддерживает философский дискурс с материальными условиями своего распространения. Эффект интеграции, который оказало почти монопольное положение издательского дома на «француз-

скую философию» — каковую в пределе можно описать как все то, что было издано в этой коллекции, — доступен измерению. Можно проиллюстрировать данное положение подсчетом, осуществленным на основе обзора философской активности с 1890 по 1900 год: в работе «Десять лет философии», и, в особенности, в примечаниях к ней, Люсьен Арреа упоминает определенное количество произведений, значимых для современных ему философских направлений. В целом, приводится 71 название: из них 56, то есть, более, чем три четверти, изданы Алканом. Если сделать перерасчет по каждой из глав, можно прийти к следующим результатам:

Социология: 16 названий из 19 опубликованы у Алкана;
 Психология: 13 из 13;
 Эстетика: 12 из 18;
 Мораль и религия: 6 из 8;
 [Философские] доктрины: 8 из 11.

Это позволяет указать на особую важность, которую издательство Алкана имело в новых дисциплинах — психологии и социологии — где оно было важнейшим инструментом распространения⁶⁸. Жорж Дюма может сказать, что «за несколькими исключениями, все более-менее значительное во французской философии начиная с 1875 года собрано в “Библиотеке современной философии”». Благодаря Алкану, университетская философия обрела инструмент сохранения и усиления своей легитимности. Конечно, не все авторы, опубликованные Алканом, принадлежали университету, но они были гораздо менее многочисленны и почти всегда близки к университетским по манере письма — в силу издательского контроля, который был способен обеспечить сходство процедур постановки и рассмотрения вопросов в согласии с университетским стилем. К примеру, такой автор как Гюстав Ле Бон, занимавший институционально маргинальное положение, получил отказ Алкана в отношении нескольких рукописей, поскольку те не отвечали критериям, явно или неявно принятым в отношении работ, способных попасть в коллекцию.

Значение этого издателя для французской философии измеряется не только — как утверждали хвалебные речи — вкладом в культурное величие данной дисциплины но, прежде всего, утверждением в социальном мире знаков философской университетской легитимности. Философы

⁶⁸ L. Arréat, *Dix ans de philosophie*, Paris, Alkan, 1901. Другой подсчет, сделанный на основе докторских диссертаций, подтверждает это впечатление: из 91 диссертации, опубликованной в Париже в течении этого периода, 65 изданы у Алкана.

нуждались в «эффekte Алкана», который материализовал в пределах коллекции [их] универсум легитимности. Этот эффект был продолжением, если не порождением, легитимности, исходящей из философии, ее положения в иерархии дисциплин и общего подъема университета; однако существование «Библиотеки современной философии», в свою очередь, производило эффекты, сосредоточенные на социальном признании философской легитимности. Это признание отражается, среди прочего, в потоке философских рукописей, направляемых Алкану: «Так как было честью попасть туда, — рассказывает Жорж Дюма, — многие стремились к этому столь страстно, что в литературных кругах в какой-то момент был изобретен термин “алканизм”, чтобы обозначить болезнь, не тяжелую, но стойкую, единственный симптом которой состоял в желании быть изданным в философской коллекции Алкана». Эта забавная история отражает прорыв философии в литературное поле начала XX века: вводя в издательское поле критерии, порожденные университетом, Алкан серьезно поспособствовал тому, что университетские авторы заняли место на рынке литературы в широком смысле. Конечно, работы, опубликованные в «Библиотеке современной философии», не были родственны проявлениям литературного авангарда, но легитимность, которой они были обеспечены в литературном поле, располагала их к успеху в социальном мире, далеко превосходящем периметр университетских стен, хотя изначально именно для этих стен они и были предназначены.

Термин «коллекция» не должен вводить в заблуждение. В «Библиотеке современной философии» нет ни теоретического, ни идеологического единства. Алкан публикует одновременно Бергсона и Дюркгейма, Бине и Брошара. «Алканизм» является продуктом южноамериканского видения французской философии⁶⁹. Единство коллекции создают не только тема и тип интеллектуальной ангажированности, но общая принадлежность к университету и соответствие университетским критериям. Как мы знаем, логика университетского производства не предполагает создания школ: по общему правилу, каждый автор работает, ориентируясь только на собственное творчество. В этом смысле, не существует ни идеологических критериев качества работы (по крайней мере, явных), ни школьных критериев: в целом, нет критериев перевода диссертационных норм в поле книгоиздания. «Алкановский клуб» не предполагает общих теоретических предпочтений: здесь каждый преследует свою цель, при взаимном признании некоторых критериев школьного мастерства. Но «алканизм» не является лишь следствием оптической иллюзии; по ту сторону

⁶⁹ Речь идет прежде всего о Бразилии, интеллектуальный мир которой с конца XIX в. в существенной степени ориентирован на Францию. — *Прим. ред.*

эффекта обложки (эта «хорошо известная зеленая обложка», о которой говорит Леви-Брюль, и которая, кажется, вполне выражает университетский габитус), «Библиотека современной философии» выражает что-то вроде согласия университетских философов этого периода относительно работы и способа ее реализации.

Тем не менее, монополия Алкана не тотальна: не все университетские философы принадлежали к одной и той же обойме авторов. В начале XX века другой издатель, Фламарион, стремится разнообразить свою деятельность и начинает развивать собственный раздел философской и научной литературы. Фламарион не является по происхождению ни школьным, ни ученым издателем, но в этот период он — один из крупнейших парижских издателей по объему своей продукции⁷⁰. Его философская коллекция носила название «Библиотека научной философии»: она была основана в 1902 году Гюставом Ле Бонем. Ле Бон хотел руководить этой коллекцией у Алкана (еще один признак легитимности этого издателя); он считал, что «Библиотека современной философии», где он начал публиковаться, имела слишком узкие границы и была адресована только философски образованной публике — что в точности соответствовало намерениям Алкана. Ле Бон, в отличие от университетских преподавателей, жил со своих произведений и не желал ограничивать себя исключительно символическими выгодами, предложенными алкановской коллекцией; он хотел взять в свои руки управление коллекцией, предназначенной для широкой публики. То, что он публиковался у Алкана, позволило бы ему сочетать высокий символический доход, связанный с этим именем, и гарантированную прибыль с довольно обширного рынка. Однако Алкан отказался от предложения, которое столь явно противоречило его издательской политике. Тогда Ле Бон обратился к Фламариону, который согласился запустить коллекцию, где философское и научное исследование представало бы в доступной форме.

Первые тома коллекции появились в 1902 году. Со всеми 250 заглавиями Ле Бон опубликовал больше книг, чем «Библиотека современной философии». Его книги часто были трудами известных университетских преподавателей (например, «Наука и гипотеза» Пуанкаре). Он использовал многочисленные связи в интеллектуальном поле, чтобы привлечь известных авторов, и активно занимался продвижением работ из своей коллекции. Он ввел в философское книгоиздание новый стиль, основанный на быстром успехе, что предполагало некоторые специфические критерии

⁷⁰ Согласно Нере (J.-A. Néret, *op. cit.*, p. 282), издательская активность Фламариона приобретает особенный размах непосредственно перед войной: в 1912 году кажется, что он превзошел даже Кальман-Леви.

рии: легкое чтение, увлекательные темы, общие рассуждения, пространственные описания, создание интеллектуальных событий. Именно Ле Бон был одним из главных изготовителей идеи, согласно которой «интеллектуальная революция» рубежа веков произошла вокруг конвенционализма. Таким образом, он задал основы своеобразной философской сенсационности, способной вызвать интерес у широкой публики. Ле Бон часто хвастался тем, что он «человек, который заработал для Фламариона больше всего денег», и исследование кризиса книготорговли, кажется, подтверждает это высказывание. Хотя сложно назвать точную цифру, можно сказать, что большинство наименований в коллекции достигали тиража более 10 000 экземпляров — цифры, намного превосходящей средний тираж изданий Алкана. Среди авторов коллекции можно обнаружить ряд университетских преподавателей, которые публиковались также и у Алкана, в частности — если называть только самых известных — Бергсон, Бутру, Ле Дантек, Бине и Пьер Жане. Таким образом, между философией, публикуемой Алканом и Фламарионом, нет радикального разрыва. Различия нужно искать, скорее, со стороны презентации изданий.

Ле Бон стремился придать идеологическое единство работам, публикуемым в его коллекции, которая в конечном итоге отражала, более или менее прямо, его политические идеи. В этом случае «наука» использовалась как идеологическое оружие. Отметим, что книги, опубликованные в «Библиотеке научной философии», часто были заказными, где в иной форме авторы воспроизводили содержание своих ранее написанных работ, следуя логике популяризации. Чем меньше идея книги принадлежала самим авторам, тем больше они были склонны подчиняться предписаниям руководителя «Библиотеки научной философии», который осуществлял над своей коллекцией безраздельный контроль, изменяя на свой вкус фразы и главы, не совпадавшие с его видением науки и политики. Университетской легитимности, уважаемой Алканом — и деполитизации, которая, как кажется, из нее вытекает — здесь противостояла забота о коммерческой и идеологической эффективности. Здесь о себе заявляет другая фигура интеллектуала-руководителя коллекции — одновременно идеологического «менеджера» и импресарио⁷¹.

Философы и светское общество

Философские университетские авторы противостоят свободным интеллектуалам, каковыми являются писатели. Тематизированная Альбером Тибоде в «Республике преподавателей», эта оппозиция лежит в осно-

⁷¹ О Ле Боне — руководителе коллекции см.: R. A. Nye, *The Origins of Crowd Psychology, Gustave Le Bon and the Crisis of Mass Democracy in the Third Republic*, Londres, Sage, 1975.

вании многих дебатов. Вопрос состоит в том, чтобы знать, кто уполномочен говорить о философии. В статье для «Журнала метафизики и морали» Альфонс Дарлю критикует вторжение литераторов в интеллектуальную сферу в следующих терминах: «Большая беда этого века та, что в качестве духовных наставников мы имеем лишь журналистов, конференсье, театральные деятели. Если консервативная страна нуждается в докторе социальных наук, она доверяется мсье Эдуару Дрюмону. Если она нуждается в разумном человеке, который дал бы ей несколько крупиц здравого смысла в качестве противоядия от стольких парадоксов, рецепт составляет мсье Сарсе. Если ей нужен управляющий по делам совести, дело делает мсье Жюль Леметр»⁷². То, что критикует Дарлю — это вторжение писателей в сферы, где должны были безраздельно царствовать философы. Далее Дарлю критикует прочтение Брюнетьером текстов Канта, по его словам, «мало доступного профанам», и поддевает писателя, который, желая оснастить свою речь философским авторитетом, цитирует Канта, «ясно доказывая то, что он его читал, но не то, что понял». Комментарий к философским текстам закрепляется, таким образом, за преподавателями философии. В другой статье Дарлю, снова избирая Брюнетьера в качестве мишени, критикует резкий переход писателя из научного позитивизма в католический консерватизм, обращая его внимание на то, что философия решила бы его проблемы и избавила бы от крутых поворотов. «Мы хотели бы напомнить ему, что философия существует»⁷³, — пишет Дарлю; и заканчивает свою статью защитой университетской философии, которая существует как «социальная сила», независимо от науки и религии. Философия отличается от литературы и риторики, ибо, согласно Дарлю, «она касается основания вещей».

Однако и писатели с философскими претензиями также атаковали преподавателей философии: в частности, Бурже в «Ученике» и Баррес в «Оторванных от корней», где преподаватель философии предстает как манипулятор сознанием, развратитель молодежи. В «Ученике» Адриен Сикст, психолог, описывается следующим образом: «Высокий и покаты́й лоб, рот, выдвинутый вперед и волевой, с тонкими губами, желчный цвет лица, большие глаза, которые слишком много читали, спрятанные за черными очками, тщедушное костлявое тело, полностью покрытое рединготом из толстого сукна зимой, из тонкого — летом, ботинки на шнуровке,

⁷² A. Darlu, «De M. Brunetière et de l'individualisme. A propos de l'article «Après le procès»», *Revue de métaphysique et de morale*, 1898, p. 381–400. Данная цитата находится на с. 382.

⁷³ A. Darlu, «Après une visite au Vatican de M. Brunetière», *Revue de métaphysique et de morale*, 1895, p. 239–251. Данная цитата находится на с. 249.

слишком длинные волосы, поседевшие раньше времени и слишком редкие под одной из его шляп, называемых шапокляк, которые складываются при помощи специального механизма и очень быстро теряют форму...»⁷⁴ В этом описании проглядывает настоящая философская патология: философ — это больной, который передает болезнь своему ученику. В свою очередь этот ученик, Грезлу, говорит о «плане соблазнения с опорой на философские тексты» (р. 190). Тема философской патологии в иной форме возникает в связи с персонажем Бутейе из «Оторванных от корней». Изобличительный пафос Бурже и Барреса направлен на то, в чем они видят форму интеллектуального мошенничества, употребление незаконного влияния на юные умы. Эта критика преподавателей философии представляет собой литературный аспект противостояния между теми, кто принадлежит к университету, и теми, кто к нему не принадлежит. Гюстав Ле Бон и Жорж Сорель в течение всей своей жизни выражают ярко выраженную неприязнь к университетскому миру и преподавательской философии. Можно сказать, что в определенном отношении эта оппозиция оказывается сильнее, чем противоречия между философскими течениями. Какими бы ни были теоретические и идеологические предпочтения преподавателей, на деле им свойственны общие социальные интересы. Вот почему, в отличие от ряда своих последователей, Бергсон никогда не высказывался против «позитивистской Сорбонны», даже если идеологически он склонялся в сторону правых, которые превратили антипозитивистскую борьбу в свою боевую лошадь. Он просто не мог быть предателем солидарности преподавательского корпуса философии⁷⁵.

Тем не менее, университетские преподаватели не отказывались появляться на интеллектуальной сцене. Философские произведения всегда имеют аудиторию, которая шире круга коллег. Лекции посещают не только студенты. Тем не менее, видя исключительный светский успех бергсонизма, не следует забывать, что чаще всего социальный интерес к университетским философам остается весьма ограниченным: в ежедневной прессе практически не ведется регулярной философской хроники, а преподаватели, чья известность покидает пределы университетского мира, встречаются очень редко.

Политико-литературные журналы, аудитория которых гораздо уже, чем у широкой прессы, предоставляют философии чуть больше места. «Журнал двух миров» публикует спиритуалистов, однако доля статей, посвя-

⁷⁴ P. Bourget, *Le disciple*, p. 17.

⁷⁵ Так, Бергсон поддержал идею кафедры социологии в Коллеж де Франс и уважительно высказывался о Дюркгейме (по M. R. Mossé-Bastide, *Bergson éducateur*, p. 67).

щенных философии, незначительна. «Политический и литературный журнал» («Синий журнал»), читателями которого, в большинстве своем, являются чиновники и интеллектуалы, предоставляет большее место университетской философии; с ним регулярно сотрудничают такие преподаватели, как Поль Жане, Альфред Фуйе, Альбер Бэйе, Селестен Бугле. Эти философы принадлежат к различным течениям, хотя и здесь большинство также составляют спиритуалисты (Кузену, Боссиру, Жоли посвящены несколько статей). В восьмидесятые годы XIX века статьи по философии посвящаются почти исключительно этому течению (о Кузене говорится в четырех статьях, а о Каро – в трех). Начиная с 1890 года, большее место уделяется психологии и социологии. Особое внимание достается Ницше и Шопенгауэру. С 1909 года появляется постоянная рубрика о философском движении, которая доверена писателю Полю Гютье: возникает тема философской актуальности, с ее непрерывным потоком новинок. Она сосредоточена вокруг событий академической жизни: статьи посвящаются философам, когда те добиваются почестей (например, избрание Эспинаса в Институт или Бутру во Французскую Академию). «Синий журнал» – периодическое издание, играющее большую роль в распространении публичного образа университетской философии в среде читателей, которые благодаря полученному образованию и социальной позиции, лучше всех способны оценить ее содержание.

В авангардных литературных журналах о философии вспоминают, но обычно очень редко. Нужно, однако, отметить существование постоянной рубрики во «Французском Меркурии»; за нее отвечает Луи Вебер, связанный с организаторами «Журнала метафизики и морали». Философская рубрика есть также в «Белом журнале» – ее ведет Жюль де Гютье. Сотрудниками этого журнала являются Баррес, Банда, Ле Дантек и Пеги. Свои статьи по случаю опроса о творчестве Тэна там опубликовали Бутру, Дюркгейм и Поль Жане. Однако, согласно подсчетам Артура Джексона⁷⁶, статьи, посвященные философии в «Белом журнале», остаются гораздо менее многочисленными, чем статьи по истории. «Белый журнал» – это издание, несущее на себе яркую печать авангарда; он считался «одним из журналов, где свирепствовал анархизм»⁷⁷, даже если Баррес выступал там – по крайней мере, до дела Дрейфуса – в качестве интеллектуального и литературного образца. Артур Джексон цитирует воспоминания Леона Блюма: «Когда я вглядываюсь в свое отрочество, я понимаю, что после долгого периода обучения я был под властью двух основных влияний: в политике – под влиянием Клемансо времен “Справедливости”, в литературе – под влияни-

⁷⁶ A. V. Jackson, *la Revue blanche (1889–1903)*, Paris, Minard, 1960.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 23.

ем Барреса»⁷⁸. При этом Баррес был одним из ярых противников республиканского философского образования. В 1880–1914 гг. тесных связей между преподавателями философии и авангардными писателями не было.

В общем виде, именно нео-спиритуализм оказывается ближе всего к литературе: Луи Вебер и Жюль де Гютье, которые не являются университетскими преподавателями – представители определенной формы антипозитивистской реакции. Университетские же философы стремятся расположиться на задворках интеллектуального поля. Скромность – одна из их характерных черт: генеральная инспекция с большим недоверием смотрит на молодых философов, сотрудничающих с журналами литературного авангарда. Интересно было бы понять, в какой момент эти два сектора интеллектуального поля начинают поддерживать тесные и непрерывные отношения – это касается, в основном, уже поколения тридцатых годов XX века. При этом между философами и образованной публикой очень быстро возникает корпус посредников, которые берут на себя представление публике крупных философских проблем текущего момента. Именно таким образом утверждается идея, что существует философская насущность, сосредоточенная на нескольких крупных вопросах (например, вопросе науки или общественной морали), и что философы уполномочены на них отвечать. На этом типе дискурса специализируется Поль Гютье, ответственный за «Политический и литературный журнал»; его работа «Современная мысль» представляет собой прежде всего каталог университетских дискурсов.

На рубеже веков вокруг мадам Людовик Халеви возникает интеллектуальный салон: его регулярно посещают братья Халеви, Ксавье Леон и Леон Брюнsvик; именно там были приняты решения [о создании] «Журнала метафизики и морали» и Французского философского общества. Тогда как в традиционных салонах были приняты лишь несколько философов, именно у мадам Халеви они оказываются в самом центре салонных связей, общаются с художниками и политиками. Однако речь идет, прежде всего, о парижских философах с высоким социальным происхождением, которые уже аккумулировали весомый капитал связей. Брюнsvик, например, связан с политиками и является другом искусств и литературы: «Его можно было одинаково часто встретить как на выставках современной живописи на улице Ля Бозети, так и в галереях музея Лувра. Он посещал как концерты классической музыки, так и русский балет или прослушивание у Эрика Сати»⁷⁹.

⁷⁸ *Ibid.*, p. 55.

⁷⁹ M. Deschoux, Léon Brunschvicg ou l'idéalisme à hauteur d'homme, Paris, Seghers, 1969, p. 180.

Представительные с точки зрения новых связей между университетскими философами и другими агентами интеллектуального поля, встречи, организуемые Полем Дежарданом с 1910 года вокруг Союза за моральное действие, а затем Декады Понтины, имеют своей целью дать интеллектуалам пристанище: «Благословенное пристанище недавнего времени, летние Беседы, стремились утвердить благотворный эффект периодического отрыва от того, что рассеивает, искажает и изнашивает — эффект возврата к самой мысли. Но забота об избавлении, в теологическом смысле, не есть источник вдохновения Бесед. Они являются светскими, на деле и по замыслу. Цель их — вдали от шума, непринужденно, применить мой монастырский метод, доказавший свою действенность, к беседе, к укреплению сил чистого разума»⁸⁰. В организационном комитете «Бесед» мы находим Андре Жида, Даниеля Халеви, Эмиля Верхерена, Альфреда Луази и Поля Дежардана: это, без сомнения, первая форма институционализированных отношений между университетскими преподавателями и авангардными писателями. Предприятие Дежардана готовит почву для возникновения философского авангарда по образцу авангарда интеллектуального⁸¹.

Некоторые философы, некоторые темы попадают в модные круги. Однако речь не идет о свободно избранной стратегии. Бергсон был, без сомнения, больше всех удивлен своим успехом в свете и даже порой раздражен им — в той мере, в какой популярность грозила умалить его авторитет в философском сообществе. Модность, которую приобретают отдельные философы, можно объяснить аберрацией: содержание было не столь важным, и светские женщины скучали на лекциях Бергсона. Эмильен Карассю обращает внимание, что «в его светской жизни было трудно усмотреть истинно интеллектуальные склонности»⁸².

Из всего этого следует, что университетские преподаватели отныне могут становиться объектом внеуниверситетских увлечений, которые

⁸⁰ Programme des Entretiens d'été de l'abbaye de Pontigny, août-septembre 1910, p. 7.

⁸¹ Возможно, следует напомнить, что в данном тексте, как и в опубликованной здесь работе Л. Пэнто и в целом во французских социальных науках, «интеллектуал» далеко не всегда используется как простое собирательное имя всех профессионалов культуры, включая (всех) философов. В данном случае «интеллектуал» прямо противопоставлен философу, который занимает должность в образовательном учреждении (университете или лицее), в силу этого имеет стабильную карьеру бюрократического типа и удерживает свою позицию в культурном производстве «по должности», а не благодаря прежде всего капиталу признания (что характерно для интеллектуала). — *Прим. ред.*

⁸² E. Carassus, *Le snobisme et les lettres françaises. De Paul Burget à Marcel roust, 1884–1914*, Paris, A. Colin, 1966, p. 232.

не проходят бесследно для представления о философской деятельности. Эта мода, без сомнения, отражает возрастающий вес университетских преподавателей в интеллектуальном поле, который выражается и в том, что для светских людей смехотворность преподавателей не представляется больше неотъемлемым свойством. Даже если этот феномен все еще остается редким, в свете возникает реальное увлечение лекциями и конференциями. Можно полагать, что эти формы отчасти являются результатом изменений в структуре интеллектуального поля, следствием развития университета и прихода на философский рынок индивидов, обладающих характеристиками, которые отличают их от предшествующих поколений в силу социального происхождения и места рождения (в целом, они одновременно в большей степени парижане и в большей степени буржуа).

Другой примечательный момент — идеологическая сплоченность, которая проступает из-под мозаики интеллектуальных увлечений. Главная тема — пессимизм, и Шопенгауэр — ее основная референтная фигура. К этому добавляется сильная склонность к иррационализму и мистицизму: спиритизм более моден, чем Бергсон. В этом видимом беспорядке салонного хлама можно обнаружить все темы интеллектуальных пристрастий: антипозитивизм, иррационализм, культ интуиции и т. д. Д'Аннунцио соседствует с Ницше в дискурсе эстетизма и аристократизма; идеология сверхчеловека становится выражением чувства социального превосходства. Но некоторыми элементами работ французских университетских философов того периода во всем этом скоплении нельзя пренебречь, в частности, бергсоновской интуицией. Более того, ряд авторов принят в мире снобов, прежде чем появиться в универсуме легитимных авторов — это случай Шопенгауэра и Ницше. Шопенгауэр, в частности, становится предметом множества прочтений. Дюркгейм цитировал его так часто, что в лице Санса был прозван «Шопеном», тогда как в то же время в Париже, «бледная фигура шопенгауэрианца», испытывающего отвращение к миру, все чаще встречается среди посетителей кафе: воспитатели и декаденты черпают из одних источников. С этого момента невозможно проследить четкую границу между университетским дискурсом и различными социальными использованиями философии: философы обретают свой истинный смысл, только если их изучают внутри поля философского производства — с отсылкой к нормам, в соответствии с которыми они произведены.

Перевод с французского О. Тимофеевой

Под редакцией А. Бикбова и А. Зайцевой

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

КЕВИН МАЛЛИГАН

ТОЧНОСТЬ И БОЛТОВНЯ

ГЛОССЫ К ПАРАДИГМАТИЧЕСКИМ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯМ В АВСТРИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Точность внутри и вне философии

Художественная и теоретическая продукция дунайской монархии, особенно в период последних тридцати лет ее существования, характеризовалась, помимо всего прочего, поисками ясности и точности, что проявлялось не только в виде постоянно повторяющейся эксплицированной темы, но в первую очередь — и в самом стремлении быть точным.

Я коснусь этой темы дважды: вначале мне хотелось бы вспомнить о том, как много говорили о проблеме «точности» философы периода так называемой «дунайской монархии». Затем я обращусь к анализу одного теоретического течения, которое сейчас уже известно мало, но которое в определенный период развития философии (точнее — среди университетских философов) было очень распространено. Оно ставило своей задачей определить суть методологии философии, иными словами — определить, в чем различие между философией точной и неточной. Именно к этому направлению относятся труды Франца Brentano, его учеников и «наследников», и мы можем сказать, что именно они заложили основы парадигматики современной философии. Их труды предвосхищают «аналитическую философию», причем особенно в том, что касается установки на точность логического анализа. Важную роль при этом сыграли их попытки описать примеры различных проявлений того, что может быть названо философией неточной. Не только для Brentano, но также, например, и для Музиля, и для таких более поздних австрийских философов, как Людвиг Витгенштейн, центральной теоретической проблемой было само определение точности метода и противопоставление его — философской «болтовне». То же самое можно сказать

и об их великом предшественнике, Бернарде Больцано, «учителе ясности» (Н. Берманн), и об Эрнсте Махе¹, их знаменитом современнике.

Несмотря на важность этой оппозиции, а также на значительность места, которое занимает ее конститутивная часть в философской деятельности последователей Brentano и Музиля, она может быть адекватно проинтерпретирована только в русле общей таксономии истории идей, которая также еще нуждается в уточнении своих формулировок. Таким образом, свою задачу я вижу в том, чтобы уточнить смысл формулировок моих предшественников. Кроме того, мне хотелось бы обратить внимание еще на два важных момента: с одной стороны, я постараюсь описать те формы болтовни, в *неприятности* которых были воспитаны многие австрийские художники и мыслители, но *благодаря* которым они, тем не менее, смогли определить свою позицию. С другой стороны, мне бы хотелось отметить один специфический вид австрийской болтовни, который, на первый взгляд, мог сформироваться именно там, где уже обозначилось противопоставление болтовни и точности. Как сказал Гойя, «сон разума рождает чудовищ». При помощи нескольких последующих примеров, я постараюсь показать, что в нашем случае сон разума породил чудовищ типично австрийских, чему мы можем найти множество подтверждений в истории Дунайской монархии.

Но вначале вернемся к утверждению, согласно которому изучение точности в целом и ее конкретных воплощений, в частности, в первую очередь можно встретить в системе идеологии Австро-Венгрии. Возьмем, к примеру, 1900-е годы: в 1899 году в своем предуведомлении к «Факелу» Краус писал, что он «производит усушку водного пространства фразы», что он надеется «освободить серьезный смысл от разглагольствований». Это выражение Крауса относится к описанию политических событий. Как известно, эта «усушка» состояла в анализе фразы и ее расслоении на форму и содержание.

Почти параллельно Музиль создал роман, в котором автор выступает в качестве «психологического вивисектора»: «Господин вивисектор. Моя жизнь: приключения и блуждания психического вивисектора в начале двадцатого века» (ср. Краус «психологический метод вскрытия трупов»).

В 1900 году Климт пишет для Венского университета свое панно, или потолочную фреску, «Философия». Среди профессоров по этому поводу начались яростные споры, поскольку одни упрекали Климта за то, что он изобразил «неясные мысли в неясных очертаниях» (критика, к которой присоединился и Краус), тогда как другие, как, например, историк искусства Виклофф, старались показать, что идеологические и эстетические предрассудки профессоров мешают им понять то, что Климт «изобразил

¹ См. Mulligan 1986, а также Mulligan, Smith 1986.

совершенно ясно»². В 1904 году Берта Цукеркандл говорит о «Видении» Климта как об изображении «битвы за истину, за солнце, которое озаряет научное знание»³.

Уже в 1898 году австрийский архитектор Адольф Лоос определяет противопоставление точности и орнаментальности следующим образом:

«Чем ниже уровень развития народа, тем больше привержен он к орнаментальности, или к своим побрякушкам. Индейцы покрывают орнаментом практически каждый предмет, каждую лодку, каждое весло, каждую стрелу. И признавать достоинства в таких украшениях — значит низводить себя до уровня индейцев. Сидящий в нас дикарь должен быть преодолен. [...] Поиск красоты в чистой форме, не зависимой от орнамента, вот цель, к которой должно стремиться все человечество».

Или, как он же утверждал позднее: «Отсутствие орнамента есть признак силы ума»⁴.

Экономист Эуген фон Бом-Баверк, лидер австрийской маргиналистской школы, развивает аналогичную идею намеренного отказа от любой орнаментальности, что затем было описано Шумпетером следующим образом:

«Бом-Баверк высказывал, по сути, те же идеи, но в других формулировках, и, кроме того, внес в них ряд важных дополнений. В своем изложении он всегда умел четко выделить главное и, используя минимальное число аргументов, выбирал из них наиболее простые и решающие. Затратив минимум усилий, он таким образом легко и изящно проясняет нам одну за другой несколько сложных теорий»⁵.

Можно было бы привести другие примеры противопоставления точного анализа орнаментированной речи, относящиеся к иным периодам, а не к 1900-му году. Но мне бы хотелось, однако, ограничиться здесь описанием теории, или, иными словами, особого образа мысли, который был выработан в Вене и который применялся по отношению к противопоставлению точности и болтовни.

Оппозиция «точность — болтовня» осознавалась не только людьми искусства, но и философами. Хорошо известны высказывания по этому

² См. Schorske 1979, p. 232 и сл. Основные идеи Вилкоффа в области истории искусства, взятые на вооружение для защиты Климта, ранее развивались Риглем (Riegl 1901), а затем были популяризованы Воррингером (Worringer 1908).

³ Zuckerkandl 1908, 91.

⁴ Loos 1962, 65 и 288.

⁵ Schumpeter 1952, 84, цит. по Cacciari 1978, книга которого, если и не во всем «точна», но зато вдохновенно написана.

поводу членов Венского кружка, равно как их отрицательное отношение ко всем проявлениям «метафизики» — как они это называли — которые они объявляли бессмыслицей. Члены Венского кружка в своем большинстве опирались на интерпретации, предложенные в «Трактате» Витгенштейна, вышедшем в 1921 году. До этого и отчасти — параллельно с эволюцией Венского кружка, в двадцатые и тридцатые годы, к разным теоретическим аспектам оппозиции «точность — болтовня» обращался в своем романе и многочисленных эссе Роберт Музиль.

Но еще раньше, в последней четверти XIX века, два философа — Франц Brentano и Эрнст Мах — развили серию размышлений о точной философии и унитарной мысли, противопоставленной размытым спекуляциям и чрезмерным нагромождениям наукообразных изложений. Отметим, что идеи Brentano по данному поводу будучи более детализированы, чем у Маха, во многом повлияли на его учеников и последователей. Эффект философии Brentano и особенно — его идеи о том, как именно надо проводить точное исследование, являются фактом истории идей, на что теперь, однако, все стараются закрывать глаза.

Кафка и Музиль, Гофманнсталь и Шницлер, Малер и Шенберг, Мах и Витгенштейн, Краус и Кокошка — все это известные имена. Роль, которую играла в их творчестве оппозиция «точность — болтовня», тоже хорошо известна. Но я полагаю, что эффект Brentano известен в гораздо меньшей степени.

Учеников и последователей Brentano всегда выделяло их отношение к точной философии. Уже в 1866 году Brentano выступил в Вюрцбурге с тезисами, представленными на соискание ученой степени доктора философии, согласно которым: 1. философия должна выступать против разделения науки на спекулятивную и точную, причем именно в отстаивании невозможности этого противопоставления и состоит ее право на существование и 2. истинный метод философии ничем не должен отличаться от методологии естественных наук⁶.

Благодаря защите этих тезисов в Вюрцбурге — где к большой радости Brentano на двери аудитории, в которой обычно занимались философствованием на манер Шеллинга, было написано «фабрика страдания» — и в Вене (1874–1895) Brentano обрел множество страстных сторонников⁷. То, что Brentano пропагандировал как «точную философию», состояло в следующем: 1. таксономия точных и неточных философских жанров; 2. методика философствования, которая вовлекает всех учеников; 3. доктрина унификации всех наук.

⁶ Brentano 1929, 136.

⁷ Содержание этих уроков см. в Brentano 1982, см. об этом также Mulligan, Smith 1985.

Таксономия Brentano, представленная впервые во время лекции в 1895 году и известная как доктрина четырех фаз истории, на самом деле очень проста⁸. Она базируется на том факте, что в истории философии можно отметить повторяющуюся трижды серию, состоящую из четырех фаз. К первой фазе, которая характеризуется чисто теоретическим интересом, принадлежат Аристотель, а в Средние века – Святой Фома. Она протягивается до Нового времени: до Бекона, Декарта и Локка и Лейбница. За этим, также в трех фазах, следует *упадок*, который характеризуется в первую очередь ослаблением научного интереса, часто – в угоду интересам практическим. К этой фазе развития философии относятся стоики, Дунс Скот, период Просвещения (Вольтер, Вольф), а затем скептики: Секст Эмпирик, Оккам, Юм – и наконец сторонники мистического спекулятивизма: Плотин, Николай Кузанский, Фихте, Гегель.

«Естественное стремление к познанию истины, часто сдерживаемое скептицизмом, пронзает нас своей силой. С болезненным усердием мы приходим к созданию основ философских догм. К естественным логическим рассуждениям, которыми пользовалась первая фаза, добавляются другие, вовлекаются новые способы познания, совершенно отличные от естественных. В основе этих идей лежат принципы, лишённые малейших здравых суждений и гениальной силы. Это, в первую очередь – интуитивные, мистические взлеты интеллекта, после чего все сводится к так называемому овладению высшим познанием, к истинам, превосходящим все, что до этого было во власти человека»⁹.

Brentanовская таксономия точности, болтовни и равновесия между ними, таксономия, которую он стремился сделать универсальной, благодаря «соображениям, имеющим отношение к культурной психологии», не должна была, естественно, содержать в себе пророчеств. Лекции, которые Brentano читал об этом в Вене и которые опирались на ситуацию, сложившуюся в то время в философии в целом, являлись свидетельствами его большого оптимизма, поскольку в них он высказывал убеждение, что философия вступает в новую фазу своего развития. Поэтому Brentano и почти все его ученики умерли в убеждении, что период ясности будет очень кратким, и за ним вновь последует период упадка.

Brentano продемонстрировал своим последователям такую манеру философского рассуждения, которую те сумели воспринять и которая была очень проста: философия должна оставаться незавершенной. Философия это скорее детальное исследование наиболее существенных про-

⁸ Brentano 1926.

⁹ Brentano 1929, 9.

блем. И аналогичный принцип «философии малых шажков» мы находим у всех последователей Brentano. Поэтому одно из самых фундаментальных исследований в этой области, *Über Annahmen (О предположениях)* Майнонга, состоит из трехсот страниц и посвящено анализу только одного психологического феномена. То же можно сказать и о труде Твардовского *Zur Lehre von Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen*. В общем, мы можем сделать вывод, что исследователи того времени предпочитали писать короткие диссертации и исследовать узко ограниченные темы. В этой же перспективе Эренфельс обосновал в 1890 году психологию Формы, изложенную им всего на 32 страницах. В основе его работы лежит исследование «простой» проблемы, состоит ли мелодия из суммы звуков. Что касается *Логических исследований* Гуссерля, написанных в 1900–1901 годах, то они состоят из семи очерков, прямо друг с другом не связанных; как писал сам Гуссерль¹⁰, речь в них идет о «серии исследований, связанных систематически, [...] но не о книге или труде в литературном смысле слова».

Предпочтение заниматься узкой проблематикой, сопровождая свои заключения постоянными выпадами против тех, кто проявлял неточность в исследовании данной проблемы, подтверждается идеей, которую в начале можно найти у Гуссерля и Майнонга, но более точная формулировка которой дана в Трактате: «Хотя пропозиция на самом деле может быть неполной картиной определенной ситуации, но она всегда является *некой* полной картиной»¹¹.

Иными словами, в той степени, в какой пропозиция или теория удовлетворяет некоторым требованиям, включающим в себя ясность и смысл, в той же степени *нечто* также оказывается представленным в ней, несмотря на то, что ситуация в целом может оставаться неясной по сравнению с другими. Исключение этого факта из поля внимания характеризует спекулятивную фазу в развитии философии — «немедленное возникновение череды ассоциаций идей, которые можно было бы назвать лишь чувственными размышлениями [...] вместо более точных свидетельств. Предполагают, что можно достичь самых недостижимых высот; да, кажется, что их можно достичь, и так при помощи самых предположительных суждений заполняются самые большие лакуны в познании»¹².

Второй конститутивный элемент методологии Brentano состоит в необходимости взять в качестве отправной точки скрупулезное и безусловное описание. Никогда не следует смешивать описание с генетиче-

¹⁰ *Recherches logiques*, vol. I, xi-xii.

¹¹ *Tractatus*, 5.156.

¹² Brentano 1968, 56.

ским объяснением¹³. Эта идея вызывает серьезную переоценку роли примеров в философии; им приписываются три задачи: они служат в первую очередь для того, чтобы дать объяснение терминам и философским оппозициям, и для того, чтобы их обозначить. Таким образом, придается смысл концептам или тезисам, которые уточняются при помощи примеров, служащих для их объяснения. Используя любимую Гуссерлем метафору, нужно уметь обратить все в деньги. Во-вторых, обращение к содержанию некоторых примеров помогает контролировать тезисы и гипотезы. И наконец, легче идентифицировать изменяемые и константные объемы феномена при помощи детального описания¹⁴.

Начиная с «Представления конкретных примеров зарождения желания» (*Vorführung eines konkreten Beispiels vom Entstehen eines Begehrens*) Эренфельса, которое явилось «субстратом» для его анализа желания, вплоть до «Наивного описания формирования чувства» Музиля¹⁵ эта стратегия остается постоянным методом в философских трудах последователей Brentano. Гуссерль, например, может хвалиться в предисловии к своей первой книге «Философия арифметики»¹⁶, что он не употреблял никаких терминов, которые не были бы введены при помощи примеров или дефиниций. Когда он критикует книгу «*Zur Theorie der Naturwissenschaftlichen Begriffsbildung*» неокантианца Риккерта, то главный упрек, который он адресует автору – упрек, который также встречается у Brentano – состоит в следующем:

«У меня есть убеждение, что плодотворная теория научного формирования понятий может быть только теорией «снизу», которая сформировалась отчасти благодаря трудам ученых, работающих именно в области естественных наук. Теория Риккерта настолько опирается лишь на общие понятия, что тот факт, что во всем его изложении нельзя найти ни одного примера, даже уже не огорчает»¹⁷.

Другой элемент методологии Brentano состоит в том, что лучше всего описать явление можно лишь при помощи сознательного осмысления

¹³ Можно выделить в творчестве Brentano структурные оппозиции между синхронией и диахронией, что также применяется по отношению к языку и к психологии. Ригл и Вилкофф развивают идею формального синхронного анализа разных стилей. Разработка австрийской *Grenznutzenlehredescriptive* выступала как альтернатива так называемой «исторической школе».

¹⁴ Ср. Mulligan 1986.

¹⁵ Ehrenfels 1987, 68; Musil *Человек без свойств*, глава 54.

¹⁶ VII.

¹⁷ Husserl 1897, in Husserl 1972, 147.

наивной позиции автора, который анализируется. Brentano охарактеризовал апогей точной философии как эпоху, когда «сталкиваются с новыми вопросами», когда «рождаются гипотезы» и когда «вопросы умножаются и интерпретируются»¹⁸. В детальном анализе языка, чувства, воли, предпочтений и оценок последователи Brentano показали себя необычайно сознательными в том факте, что их проблемы и их решения были новыми. Для них основной составной частью философской активности — было делать открытия, если, конечно, это удавалось. Именно этот взгляд привел Эренфельса к его открытию качеств формы, и таким же образом Майнонг рассматривает свое открытие — он говорит о «неизвестной теоретической области» — предположений; речь идет там о когнитивной установке, которая оказывается центральной в равной мере как для логики, так и для эстетики. Можно также напомнить об открытии триады «действие — содержание — объект», которое сделал Твардовский, а также открытие ситуаций, которые делают истинными утверждения, которые являются истинными объектами стремления и желания и т. п. Все эти открытия, как кажется, призваны прояснить нечто, что до этого было не известно.

Эта установка последователей Brentano находит свое лучшее воплощение в замечании Бертрана Рассела об открытии, которое он сделал вместе с Витгенштейном: «Сегодня мы нашли замечательного зверя для нашего зоопарка»¹⁹.

Этот последний элемент методологии Brentano состоит в широком использовании дефиниций и дедуктивных аргументов. Штумпф пишет: «Этот метод, который был введен Brentano, а на самом деле восходит еще к Аристотелю, состоит в обосновании непосредственного доказательства посредством общей дизъюнкции всех возможных точек зрения и опровержения всего — за исключением чего-то одного»²⁰.

Этот метод постоянно встречается в трудах последователей Brentano; строгая аргументация, занимающая сорок страниц, в *Логических исследованиях* Гуссерля²¹ может послужить этому хорошим примером: Гуссерль там анализирует множество возможных интерпретаций тезиса, согласно которому всякое действие есть представление или основано на представлении, и использует их, чтобы получить ему прямое подтверждение. Другой пример дан в работе Эренфельса, который подвергает элиминации целую серию альтернативных по ценностным установкам теорий.

¹⁸ Brentano 1895, in Brentano 1926, 8 и 10.

¹⁹ Russell 1918, in Russell 1956, 226.

²⁰ Stumpf 1924, 5.

²¹ & 32–43.

Философы любят выглядеть как мыслители, оперирующие точными понятиями, но на самом деле до Brentano в наше время не было ни одной группы, которая действительно использовала бы в своих рассуждениях точную дедуктивную аргументацию (или аргументацию — вообще) и примеры. Аурель Кольне (Kolnai), один из недавних австрийских философов, видит связь между австрийской философией и монархией Габсбургов. Последняя, по его мнению, может быть названа «более, чем нацией, государством или империей. Она обладает огромной, сложной и патерналистской администрацией, во многом — тиранической; со сложным административным аппаратом, во многом не понимающим, в чем именно состоят его конкретные функции, но с точки зрения идеологии ее можно назвать скорее во многом плюралистской, поскольку в ней присутствует установка уважать разного рода интересы и практиковать своего рода мягкое примиренчество, которое было чуждо изначальной национальной идее. Дух австрийского чиновничества [...] просвещенного и терпимого (особенно — начиная с Марии Терезии) более, чем склонялся к терпимой и осторожной констатации различий, особенностей, чем к перфекционистской настойчивости в нахождении дефинитивных решений. Философия в Австрии — позднее растение (сдерживаемое постоянным давлением Церкви) и именно там она находит для себя подходящий климат для *дескриптивно-го анализа* временных по самой своей сути идеологических систем, будь-то идеалистические или материалистические. Австрийская философия явилась таким образом наростом на административном фундаменте, тактическим лавированием или бриколажем, продвижением «маленькими шажками», не имеющими на вид никакого значения, что по своему значению оказывалось прямо противоположно временным реформам в области этой же администрации и концентрированной активизации нации»²².

Если у Brentano данный метод был лишь сформулирован, то у Витгенштейна, как мы видим, «философия небольшими шажками» применяется уже на практики. В основе этой методики лежит точность описаний, и данную практическую установку в философии можно охарактеризовать как «формальную» (*geschäftsmässig*); как говорил сам Brentano, ему удалось

²² Аурель Кольне, венгерский философ, в последний период жизни преподавал в Лондоне, где и умер. Вступил в дискуссию с Хельмутом Бахмаером по поводу литературных кофеен (*Kaffeehäusern*), следует добавить, что по поводу венских кофеен было много теорий и философских рассуждений. Кольне написал по-английски в одном из наиболее популярных венских кафе блестящий диагностический очерк феномена нацизма — *Война против Запада (The War against the West)*. Австрийские экономисты обычно встречались в кафе Griensteidl, несомненно *раньше*, чем члены Венского кружка.

открыть «хороший метод»²³. Для Гуссерля философия должна была стать «научным объектом типа предприятия»²⁴. Желание увидеть в философии нечто практическое, что было характерно для Витгенштейна, и может быть названо философией «меркантильного» типа, которой сам он широко пользовался, видимо, восходит к тому, что его отец был деловым человеком.

Философский метод Brentano и его таксономия истории философии произвели на его аудиторию самое глубокое впечатление — начиная с молодого Фрейда, как показывают его до сих пор не изданные письма к Зильберштейну (другу его юности) и кончая Майнонгом и Гуссерлем. Из многих примеров этого я процитирую лишь один — свидетельство Эмиля Утица, школьного товарища Кафки и участника постоянных философских споров по поводу методологии Brentano, которые проходили в кафе Лувр в Праге: «Я был очарован этим логическим процессом: строгая и четкая форма, отсутствие лишних фраз, ясное изложение содержания, полная ответственность за каждое понятие — от выявления его происхождения до описания его конкретного применения»²⁵.

Анти-болтовня

Доказательство, анализ и дескрипция — вот из чего в целом состояла методика рассуждения, которую Музиль называл «препарированием», а Brentano — «микроскопическим анализом» (сознания) или «дескрипцией посредством анализа». Не только последователи Brentano, но и члены Венского кружка — Нейрат, Карнап, Шлик — проповедовали все преимущества подобного анализа и — чтобы употребить вновь дескрипцию, которую употребляет Рассел по поводу Витгенштейна — Евангелие точности (*the gospel of exactness*). В обоих случаях эти Евангелия содержат в себе как *анализ*, так и *осуждение* традиционной философии в широком смысле. Но эти два Евангелия не идентичны друг другу. *Сходство*, которое можно в них обнаружить, предстает, например, в серии критических статей, которые вышли в 20-е и 30-е годы и были написаны с позиций анти-Шпенглера и анти-Хайдеггера²⁶.

В 1921 г. Отто Нейрат, будущий член Венского кружка, написал своего анти-Шпенглера, в котором он концентрировался на тенденции, проявляющейся в его *Закате Европы*, где тот хочет «объяснить нечто темное и неясное при помощи чего-то другого, такого же темного и неясного».

²³ См. Brentano 1982, 28; см. о Витгенштейне — Rhees 1981, 173 и 125.

²⁴ Plessner 1959, 15.

²⁵ Utitz 1954, 73.

²⁶ Neurath 1921, 71.

В то же время выходит эссе Музиля *Разум и опыт. Заметки для читателей, спасшихся от заката Европы*. С Музилем австрийская традиция критики языка достигает своей кульминации. Музиль даже составляет своего рода словарь и грамматический очерк речи Шпенглера с тем, чтобы каждый мог потом самостоятельно написать что-нибудь в его манере:

«Противопоставления жизни и смерти, чувства и знания, формы и закона, символа и формулы [...] становится/стало, движение/отдых, свой/чужой, душа/мир, направление/пространство, время/метрическое время, воля/сознание, судьба/причинность [...] физиогномика/систематика: вот почти полный комплект главенствующих идей, при помощи которых Шпенглер выкраивает отрезки от общего целого, которое при этом не нарушается, с какой бы стороны он к нему ни подошел. [...] Любой может подражать его философии: ее схема предельно проста. Надо заучить сказуемые типа «является в некотором смысле», «становится в некотором смысле», пренебречь вторичными различиями в форме выражения, затем перекомбинировать все введенные понятия и перемешать их друг с другом, утверждая при этом, что каждый член любой пары может сочетаться с другим, поскольку все они оказываются вторичными, но при этом отмечая, что нельзя комбинировать первостепенные понятия с второстепенными. Стоит подчиниться этой схеме — и автоматически получится подобная шпенглеровской философия и, может быть, даже нечто большее. Например — жизнь... есть объект перцепции, она имеет форму, но является и символом, становясь в некотором смысле... и т.д. Шпенглер увидел бы в этом недостаток рациональности, но я иного и не хотел сказать»²⁷.

В 1924 г. выходит *Untergang des wissenschaftlichen Denkens. Glosses zu Spengler's Untergang des Abendlandes* (Закат научного мышления. Глоссы к «Закату Европы» Шпенглера)²⁸ последователя Брентано Оскара Крауса, в котором тот показывает, что работа представляет собой «мистическую жертву мании величия, которая претендует на то, чтобы быть последней философией Западной Европы, и как логическое завершение последней, предстает в виде спекуляции, приукрашенной научным мышлением, поскольку ей не достает самого элементарного понимания логики методики терпеливого исследования. Так язык науки начинает сам свидетельствовать о своем упадке.»

В своем описании «Четырех фаз философии» Франц Брентано охарактеризовал следующую стадию как находящуюся на самом низком уровне упадка философии: в ней, как он утверждал, предшествующий ей пери-

²⁷ Musil, 1921 (пер. Philippe Jaccottet), см. также in Musil 1983, 1052–1053.

²⁸ Kraus 1924, 18

од, восходящий к чисто теоретическому интересу, и простая методика логического анализа оказываются низведенными на самый плоский уровень. Эта философия становится уже не теоретической, а практической, и поэтому естественным кажется скептическое отношение к ней. Так философия оказывается скованной «методами познания, оторванными от природы», она оторвана от «сил гения, проявляющихся в интуиции» и от «мистических взлетов духа». «Я всегда презирал философию как такую» — писал Шпенглер. На это Краус отвечает: «На ее место он ставит попури из скептицизма, философии империализма и величественного мистического визионерства... Таким способом никогда нельзя прийти к научному познанию»²⁹.

Среди многочисленных упреков, которые Краус адресует Шпенглеру, особенный интерес вызывают замечания, касающиеся его языка:

«Как бы то ни было, оригинальность философии истории Шпенглера состоит еще и в том, что она говорит о «культурах как субстанциях», что Лассо, в свою очередь, говорил и об этносах, но что на самом деле не более, чем бессмыслица. Шпенглер пользуется грамматической абстракцией «культура», которая, как и многие другие подобные ей понятия, вроде «язык, экономика, государство, письменность», обозначает на чисто языковом уровне достаточно многозначное явление. Понятие «культура» может быть определено и концептуально, что, видимо, обозначает индивида в его действии, но само понятие при этом не утратит своей сложной многозначности. Он же делает из него определение, способ существования, бытие, субстанцию. Из фикции — используя знакомые модели — он создает гипотезу и гипостазирование»³⁰.

Как и Музиль, Краус хочет критиковать стиль Шпенглера; и поэтому в качестве примеров он широко цитирует его разнообразные пассажи:

«Шпенглер говорит, что [...] «настоящий государственный человек есть воплощение Истории» (v. 2, p. 552); «Благородство проявляется в человеке, как и в Истории» (p. 405); «Женщина, как и время, есть тот смысл, ради которого существует История Государства». Поэтому нам уже трудно сказать: История это мужчина или женщина?»³¹.

В реакциях Карнапа и последователя Brentano Крауса на инаугурационную речь Хайдеггера 1929 года «Что такое метафизика?» (*Was ist*

²⁹ *Ibid.*, p. 45.

³⁰ *Ibid.*, p. 47. Этот тип критики языка, но также защиту методологического и онтологического индивидуализма можно встретить у всех последователей Brentano.

³¹ *Ibid.*, p. 52.

Metaphysik?) можно найти много общего, поскольку обоих шокировали фразы подобного типа:

«Небытие предшествует слову «нет» и отрицанию как таковому. Небытие отрицает само по себе».

Эти слова Хайдеггера стали «общим местом». Еще до Карнапа в 1930 г. Краус интересовался философами, которые относились к Небытию всерьез, как например, Хайдеггер и Риккерт. Действительно, как он пишет, «всегда во все времена есть риск обращения к мистицизму, когда понятие «Небытие» появляется в логических рассуждениях и начинает приниматься всерьез». Краус анализирует те же фразы Хайдеггера, что и Карнап, и таким образом завершает свою этиологию: «И если Хайдеггер говорит, что наука становится смешной, когда не принимает всерьез Небытие, на это я отвечаю: принимая это понятие всерьез, становится смешной любая наука, кроме, может быть, лингвистики, лингвистической критики и логики»³².

Эта отсылка к лингвистической критике и логике подводит нас к пониманию важного различия между сторонниками Brentano и позитивистами. Краус и Карнап подвергают фразы Хайдеггера лингвистическому анализу прежде, чем назвать их болтовней. Эта процедура, довольно распространенная среди последователей Brentano, означает, что описание философии как *абсурдного* существа имеет точный смысл и не всегда делается с позиций отрицания. Но жанр и детальность анализа, который используют последователи Brentano, очень сильно отличается от жанра и типа анализа, к которому призывают позитивисты. Последователи Brentano были первыми современными философами, принимавшими всерьез теорию формальных структур, которую они использовали достаточно широко. Но в противоположность позитивистам, они всегда следили за тем, чтобы сохранить специфику формального анализа в указанной области применения при помощи философской и онтологической аргументации.

Однако этот тип рассуждения совершенно отсутствует у позитивистов. Это особенно ярко проявляется в отношении тех и других к традиции: большая часть философского наследия отвергалась и сторонниками Brentano, и позитивистами, но последователи Brentano всегда были готовы подвергнуть ее тщательному анализу и прибегали к извлеченным из нее примерам — Канту, например. Различные термины, дистинкции, аргументы, употребляемые Кантом, были тщательно проанализированы ими прежде, чем его философия в целом была ими с сожалением признана оши-

³² Kraus, 1930, Kraus 1934, 125. Карнап упоминает об этом, оправдывая выпады Крауса.

бочной. Таким образом, мы можем сказать, что постоянная критика, которой сторонники Brentano подвергали ошибочные философские теории, есть на самом деле констатация того, что если внимательно приглядеться к дескриптивным основам традиционной философии, если попытаться определить феномены внешнего порядка, которые и придают смысл этим философемам, можно часто видеть, что эти философемы висят в воздухе. Этой констатации часто предшествует попытка определить теоретическую базу анализируемого философского направления. У позитивистов такой детальный анализ можно встретить крайне редко — абстракции, встречающиеся у названного выше Карнапа, можно назвать исключением — зато чаще отвергается конкретный философский тезис с позиций выявления наличия или отсутствия в нем явного смысла. Так, можно сказать, что философия последователей Brentano является в меньшей степени подготовительным этапом для рассуждений позитивистов, чем философия последних оказывается карикатурой на первых.

Вероятно, Twardowski выражает мнение всех последователей Brentano, когда он утверждает, что анализом ошибочных философских течений вообще не надо заниматься. В философии облеченная в письменную форму мысль и идея как таковая оказываются очень тесно слитыми, так что «мы можем предположить, что автор, который не способен ясно выражать свои мысли, не способен и ясно мыслить. Поэтому не стоит трудиться и разбирать его измышления»³³.

Во времена Дунайской монархии существовала давняя, но при этом живая традиция философской критики языка, и в частности — традиция Анти-Канта и Анти-Гегеля, что описано достаточно хорошо. Уже в 1798 году в своем рапорте, адресованном «Studien-Revisions-Hofkommission», административный советник Франц Карл Хагелин выступал против преподавания философии Канта: «Лейбниц и Вольф не вводят новых научных понятий [...]. Кант же провоцирует читателя, не давая ему ничего основательного; он употребляет совершенно новую терминологию. Если ввести в курс философию Канта, в результате все будут заниматься предметами, не понятными никому, и перестанут понимать что-либо в предметах важнейших»³⁴.

Эта тенденция, документированное подтверждение которой дал недавно Р. Бауэр в своей книге *Der Idealismus und seine Gegner in Österreich*, достигает своей кульминации в детальной и терпеливой критике Больцано, что затем было продолжено Прихонски в его *Новом Анти-Канте*. В то время как Канту приписывают постоянные неточности, Больцано говорит

³³ Twardowski 1979, 2.

³⁴ Hägelin, 1798, 7, 8, 10.

о «шеллинго-гегелевской болтовне»³⁵. Продолжающая то же направление традиция детальной критики Канта, которая часто выпадает из поля научных исследований, прослеживается в работах Brentano, Марти и Штумпфа. И выражение Brentano «Долой предрассудки!»³⁶ на самом деле означает «Долой Канта!».

Эренфельс, например, видит в кантовском требовании делать из универсализуемого характера действия критерий ценности этого действия выражение «метафизического и мистического догматизма». Музиль писал об этом несколько лет спустя:

«Категорический императив — и все, что после этого понимали как специфически этическое требование — в своей основе есть лишь уловка, замаскированная ворчливым достоинством, желающим вновь обрести способность чувствовать. Но то, что при этом выдвигается на первый план, есть на самом деле вещь сугубо второстепенная, выражающаяся в попытке определить, что именно понимается под моральными законами, а не стремление установить новые; это вторичный опыт, который ничего не стоит, но именно он — надо же! — становится центральным опытом морали»³⁷.

Последователи Brentano заменили общие теории норм и имплицитную подмену этики описанием факторов, управляющих человеческими действиями, тщательным анализом структуры личностной оценки, имеющим главной целью — понять, является ли ее основным объектом действие или что-либо иное. Для них основная задача состояла в том, чтобы найти связь между ценностями, предпочитаемыми структурами, чувством и желанием, а не в том, чтобы занять определенную этическую позицию, как бы возвышенна она ни была. Они, в частности, хотели показать, что значительная часть традиционного концептуализма, в области этики, например, явилась порождением режима, который может служить примером односторонности. Мультипликация ценностей, равно как и актов оценки, часто опускалась ради соблюдения норм и действий, которые были с ними связаны.

Однако в большей степени, чем разделяемые взгляды на точную научную философию и философскую традицию, сторонников Brentano

³⁵ Winter 1966, 215.

³⁶ Brentano 1970, Первая часть.

³⁷ Le «caractère redoutable de la morale» in — Musil 1983, 1003 (пер. Philippe Jaccottet). См. *Prosa*, p. 898. Главное произведение последователей Brentano, которое подтверждает эту идею, см. Meinong, 1917. О взаимоотношениях между Майнонгом, Штумпфом, Музилем и особенно — Ст. Бали, см. Mulligan 1988.

но и позитивистов объединяет общая философская доктрина. Как это ни поразительно, но доктрину объединения всех наук Brentano выработал в Вене уже в 80-е и 90-е годы³⁸. Эта доктрина представляет собой три последние части точной философии Brentano. В разработанной форме она соотносится с программой Венского кружка. Но на самом деле все последователи Brentano разделяли тезис, согласно которому для методологии не существует *различия* между естественными и гуманитарными науками. В обоих случаях приходится иметь дело с дескрипциями, структурными описаниями, анализом каузаций и конструкциями ложных каузативных гипотез. Эта программа живо защищалась Brentano и его последователями, в основном они выступали против философского дискурсивного потока, направления, истоки которого были в Германии — от Дильтея и Шпрангера до Хайдеггера — и в котором выдвигались постулаты, на первый взгляд имеющие смысл, но не подкрепленные серьезной методологией. По этому поводу Краус писал в 1929 году:

«Вновь сейчас повсюду формируются продолжения этих философем (из спекулятивной и мистической философии). Эти современные философские течения, которые считают для себя необходимым быть связанными со спекулятивными и романтическими рассуждениями, забывают о том, что именно они вызвали презрение к философии и обесценили ее в глазах представителей точных наук. Иногда стараются показать, что эти Романтики, хотя и были далеки от собственно научных исследований, оказывались новаторами, с которых брали пример представители гуманитарного знания. Действительно, методология гуманитарных наук значительно отличалась от методов наук естественных»³⁹.

Есть своего рода ирония в том факте, что общая программа защиты объединения наук привела сторонников Brentano и позитивистов к совершенно разным результатам. Оба философских направления хотели иметь дело с наукой. Из-за понимания концепта структуры⁴⁰, которое ориентировалось на *модель* концепта структуры, как он предстает в современной логике взаимоотношений, и из-за физикалистских и бихевиористских тенденций, позитивисты на самом деле не хотели позитивно воспринимать эффект того, что называется гуманитарными науками. Напротив, последователи Brentano, у которых была совершенно другая теория *структуры*, и которые с уважением относились к теориям как онтологи-

³⁸ Brentano 1929; см. также Stumpf 1907.

³⁹ Kraus 1929, 150–151 (примечание издателя Brentano, см. Brentano 1929); см. также Kraus, 1928, теперь — Kraus, 1934, Bühler 1927, Funke 1927.

⁴⁰ О концепте структуры см. Smith et Mulligan 1982.

ческим, так и логическим, решительно вписывались в формирование структурной лингвистики, психологии Формы и к тому же были связаны с некоторыми областями австрийской экономической политики (Менгер, Бом-Баверк, Визер)⁴¹.

До этого момента я избегал того, чтобы детально рассматривать философские тезисы последователей Brentano. Мне бы хотелось, однако, упомянуть здесь три их идеи — которые в действительности не являются важнейшими составляющими этих философов, так как они во многом схожи с другими идеями, которые также оказывали влияние на философию Австро-Венгрии в ту эпоху. История Дунайской монархии не отделима от них, хотя обычно это во внимание не принимается. На самом деле последователи Brentano посвятили всю свою философскую энергию двум областям: дескриптивной философии и теории структурных связей. Речь идет о двух областях, которые не привлекали основного внимания в немецкой философии после Канта⁴². Так, они понимали под дескриптивной философией применение теории структуры к лингвистическим и психологическим феноменам. Мы здесь обратим внимание на три тезиса этой дескриптивной психологии (психология, как известно, была волшебным словом для мыслителей и художников Австрии; Томас Манн, кстати, подчеркивает высокий уровень внутреннего наблюдения в австрийском романе).

А. Благодаря влиянию некоторых аргументов Brentano, молодой Гуссерль, Штумпф и Эренфельц полагали, что не существует *Я* и что нет самосознания или «отношений субъект-объект». Этот тезис, в той форме, в какой мы встречаем его у Маха — «*Я* не может быть благополучным (спасенным)» — оказал большое влияние на множество австрийских работ. Сторонники Brentano предприняли попытку защитить тезис, согласно которому не существует случайных обстоятельств, т. е. они довели до конца уничтожение *Я* — как это говорит Эренфельс, опираясь на Холмера⁴³.

Б. Все психологические феномены сознательны, но наблюдать за ними невозможно — поэтому не может быть описания *внутренней жизни*. Хотя можно наблюдать внешние объекты, нельзя осознанно отдавать отчет о собственных ментальных процессах, разве только в момент их протекания. Эти процессы и действия оказываются скрытыми в каузальных связях и структурах, которые неуловимы в целом. Наблюдения всегда подчинены воле, и если мне удастся *заметить* мою ярость, она автоматически прекратится. Очевидность или осознанность того, что мы при этом испытываем,

⁴¹ См. схема-1.

⁴² До сих пор не существует удачных французских эквивалентов для понятий «philosophy of mind» и «analytic metaphysics».

⁴³ Ehrenfels 1916, 63–64. Сам Brentano отстаивал понятие «Я».

того, что в каждое мгновение происходит внутри нас, это — если употребить метафору — островок ясности. И поэтому наше осознание психических феноменов базируется на наблюдении над внешними феноменами, как действия — на наблюдении над знаками. Наши поступки и сам способ нашего существования определяются неосознанными причинами и мотивами⁴⁴.

Сходные рассуждения можно найти как у Музиля, так и у Кафки — причем оба являются весьма далекими, но все же — последователями Brentano. Музиль, например, писал:

«Психология принадлежит к области рассудка, и разнообразие, которое ей присуще, не более бесконечно, чем мы то, что мы понимаем как возможность существования психологии как эмпирической науки. Есть лишь психические мотивы, которые в своих различиях неисчислимы, но психология не имеет с ними ничего общего»⁴⁵.

Кафка же пишет⁴⁶:

«Никогда нельзя отметить все условия, которые вызывают чувственное восприятие минуты и одновременно на нее влияют [...]. Различия подтверждают лишь одно: мы хотим, чтобы на нас влияли, и готовы жить жизнью актеров, которые выходят на сцену и говорят то, что им велят; так, внутренне отступая в сторону, мы прячемся за предрассудками и фантазиями»⁴⁷.

В. Все социальные институты — деньги, закон, коммерческий обмен, язык — обустроены без метода, но и не случайно, как говорит Марти. Ясно, что этот тезис онтологического индивидуализма тесно связан с пунктом Б. и с враждебностью последователей Brentano, упомянутой выше, по отношению к разного рода выпренной речи, в которой говорится «об обществе» и т. п.

⁴⁴ Brentano 1874, 40 ff., 272. См. Rug et Mulligan, 1986.

⁴⁵ Musil 1983, 1029. Интересные дополнения Музиля к дескриптивной философии см. в *Druckfahnenkapiteln* его романа (см. прим. 37), однако они мало изучены, т. к. обычно преувеличивают влияние Маха на Музиля. Музиль, когда писал свою диссертацию, был «критическим реалистом», как Штумпф и другие последователи Brentano. См. мои комментарии к английскому переводу его диссертации в (Musil, 1982) и во французском издании — *L'homme sans qualités*, p. 1026 и 1045.

⁴⁶ Я возвращаюсь к идее, что выделенные Brentano противоречия определяются тем фактом, что внутреннее сознание не может само по себе верифицировать жизненный опыт; на этом эффекте отчасти строятся главные нарративные особенности прозы Кафки. См. например Smith 1981.

⁴⁷ Kafka, *Tagesbücher* 1976, 248.

Патология точности

После этого очерка условий стремления к точности внутри австрийской философии я теперь подхожу к феномену, который можно понять только по отношению к заднему плану этого исследования, возможно, мы употребим термин *обсессия* (навязчивая идея) точности.

Внутри духовной жизни Дунайской монархии существует странное внутреннее противоречие, которое особенно проявляется в ее философии, в частности, и интеллектуальной жизни — в целом. Для понимания развития идей той эпохи очень важно ясно представить себе, в чем состоит суть этого противоречия. Речь идет о противоречии между так называемыми «австрийскими предписаниями», как были они изложены в наиболее важных философских и научных текстах, написанных около 1900 года и предписывающих точность анализа, четкость описаний «снизу», ясность изложения, отсутствие каких бы то ни было абсурдистских форм и помпезных теорий «сверху», с одной стороны, и постоянными и разнообразными нарушениями этих предписаний — с другой стороны. Подобного рода нарушения можно объяснить просто тем фактом, что сама теория или соответствующий ей научный язык еще недостаточно оснащены реестром необходимых обобщающих описаний и, соответственно, нужной терминологией, позволяющей дать точный анализ того или иного феномена. Но возможно и другое: в появлении гротескных сложных изложений проявляется склонность к намеренно усложненным концептуальным конструкциям или, иными словами, — к болтовне! Как мы уже видели, это противопоставление и это противоречие заложены в самом основании философии. Так, мне хотелось бы здесь описать четыре случая, которые служат примером этого противоречия: Фрейд, Эренфельс, Вайнингер и поздний Гуссерль.

Сам Фрейд, как и большинство его читателей, всегда высказывали сомнения относительно того, можно ли назвать научной манеру изложения им материала да, отчасти, и сами его идеи. Это сомнение или — эта проблема — не была ясно сформулирована и в течение очень долгого времени не привлекала к себе особого внимания, видимо, из-за множества необычайно ценных детальных описаний и примеров точного анализа феномена, которые проделал Фрейд, из-за гипотез, которые он выдвигал и тщательно исследовал и из-за его блистательной аргументации — короче говоря, из-за всего того, что было столь ценно в его трудах. Сам Фрейд хорошо понимал, что его читатели в первую очередь оказывались под впечатлением *точности* его методики. Однако, описание того, как принимали труды Фрейда в странах немецкого языка, сделанное недавно Бродтажем и Хоффманном⁴⁸, пока-

⁴⁸ Brodthage et Hoffmann 1981.

зывает, что ему адресовали в свое время множество упреков в «нарушении методики» и «анти-научности». В работах Фрейда действительно мы находим множество примеров описаний «кружным путем» или слишком пространных объяснений, которые оказываются совершенно неприемлемыми с точки зрения формальной; они состояли в реификации («овеществлении») концептов и содержали в себе фрагменты уже устаревших и опровергнутых теорий. Большое число упреков подобного типа было сделано Карлом Бюлером в его книге *Кризис психологии*, однако там также он выражает свое восхищение «великой борьбой Фрейда за психологическую ясность», особенно — в своих последних книгах⁴⁹. Но для нашей темы, пожалуй, наиболее важно то, как относился к работам Фрейда Витгенштейн. С одной стороны, мы можем отметить его несомненное восхищение, с другой, известна его убежденность в том, что все это не имеет отношения к науке, а является просто размышлениями гениального писателя⁵⁰.

Второй пример альтернатики между точностью и болтовней представляет собой двойник Фрейда, Отто Вайнингера. Вайнингера использовал очень много теорий, аргументов и материалов, относящихся к биологии, философии, антропологии, сексуальной психологии и т.д.⁵¹, но все это делалось им только для того, чтобы проповедовать идеал мужчины-холостяка. Его главный труд, *Пол и характер*, представляет собой истинное отражение внутреннего мира австрийской идеологии, ориентированной на точность описаний и настроенной против болтовни. И не случайно один из почитателей Вайнингера — и пациент Фрейда — проводит различие между достойной, серьезной частью его книги и частью постыдной, которая по его мнению «не имеет ничего общего ни с наукой, ни с философией»⁵². Странно видеть, что такие великие люди, которые были в восторге от Вайнингера, как Витгенштейн, Краус, Канетти, Шенберг, Гомперц и, как пишет Лессинг⁵³, Мах, Зиммель, Бергсон, Хефлер и Маутнер — никак не могли объяснить причин своего восхищения.

Теперь я подхожу к третьему примеру болтовни «на высшем уровне», я имею в виду Кристиана фон Эрнфельса: именно он открыл ценность Формы и он был первым философом, который сумел вслед за Спинозой детально сформулировать теорию ценностей. Помимо блестящих анализов, встречающихся у этого философа, психолога и теоретика ценностей,

⁴⁹ Bühler, 1927, p. 164; Бюлер находился под сильным влиянием Brentano. См. Mulligan 1986 и 1986b.

⁵⁰ Wittgenstein 1966, 44.

⁵¹ См. об этом подробнее в Janik 1982.

⁵² Swoboda 1911, 41.

⁵³ Lessing 1930, 198.

мы находим в творчестве Эренфельса странные очерки, относящиеся к философии истории, философии религии, различных типов космологии и порядка сексуальной реформы. Их общей чертой является не только факт игнорирования «австрийских предписаний», но попытка инкорпорировать и трансгрессировать их.

Макс Брод как-то сделал впечатляющее описание эффекта, который на него произвело это нагромождение, предстающее во многих трудах Эренфельса:

«Несмотря на всю характерную для него тонкость, Эренфельс [...] всегда любил касаться опасных областей безумия. По крайней мере такое впечатление производит первое ознакомление с его трудами и осознание их. Но если дальше углубляться в логику Эренфельса и его систему, быстро понимаешь, насколько логически основательна его мысль. Но при этом дальнейшее углубление в его логику может неожиданно вызвать чувство ужаса и иногда даже сделать более сильным (может быть, и неоправданно) ощущение безумия, которое возникает вначале»⁵⁴.

Оснащенный всеми средствами, которыми располагает настоящий последователь Brentano, Эренфельц в 1902 году устремляется в целую бурю рассуждений, при помощи которых он отстаивает право на полигамию для одаренных людей⁵⁵. Его идеи относительно сексуальной реформы очень тщательно продуманны и пользуются социально-дарвинистской аргументацией, что касается и «женских домов», которые он описал и которые, как он считал, можно без труда организовать.

В своем знаменитом эссе *Немец как симптом (Der deutsche Mensch als Symptom)* Музиль описывает и другие проявления наивности и отсутствия здравого смысла, которые предстают в проектах, подобных проекту Эренфельса. Именно *потому, что* традиция, формы организации и социальные институты позволяют мужчине занять в обществе определенное место — причем здесь Музиль, возможно, отчасти под влиянием Ницше говорит о «страшной, но неизбежной жестокости» — эффективная пропаганда реформ типа Эренфельса предполагает то, что делает ее совершенно не нужной и лишней.

«Попробуем теперь при помощи примера обозначить черты новой эпохи. Среди нас есть много тайных многоженцев. Но официально и даже внутри

⁵⁴ Brod 1979, 209. Брод и Феликс Велтчер были авторами интересного исследования о «размытых концептах» — т. е. неточных. Это исследование относится к школе Brentano, а также находится в русле дескриптивной психологии Марти (Brod et Weltsch 1913).

⁵⁵ О взаимоотношениях Фрейда и Эренфельса см. Rug et Mulligan 1986.

собственного сознания многие из них продолжают проповедовать моногамию (согласно рецепту толерантного правила, которое требует исключений для утверждения морали). Речь идет здесь об том состоянии развития общества, когда перемены зреют в самом его лоне, и поэтому ничто не мешает нам представить, что вдруг (при условиях ослабления церкви и консервативных партий) пропаганда нескольких, решившихся изменить систему брака организаций, приведет к изменению самого кодекса, за чем должны последовать и более глубокие перемены духовного плана. Но «можно было бы представить» означает на самом деле: следовало бы [...], то есть – следовало бы, чтобы эмансипация женщин пределала глубокий прогресс, и чтобы тогда социал-демократия решилась претворить в жизнь свои давние идеалы, что привело бы к коренным изменениям социально-экономического плана, размеры которых трудно предсказать. К тому же нельзя предугадать реакций прессы, которая может задавить этот процесс еще в зародыше или вовсе подавить его: иными словами, начало новой эпохи зависит от миллиона случайностей. Но если объединятся все необходимые условия, перемены духовного плана обозначатся не так быстро, чтобы процесс перемен можно было считать завершенным: потому что «реформы» не могут сделать человека иным, чем он есть, если только они не идут параллельно с духовными процессами, которые, в свою очередь, зависят от миллиона случайностей. Незаконное совпадение множества фактов. Какой бы она ни была, эта пропаганда все равно остается феноменом, на который не стоит обращать внимание»⁵⁶.

Интерес и стремление Музиля к определению границ между точностью и болтовней можно сравнить с желанием Brentano поставить диагноз философской бессмыслице как таковой. Мой последний пример будет относиться к философу Эдмунду Гуссерлю. В течение десяти из пятнадцати лет, которые он провел в Вене, слушая курс Brentano (1884–85) и обучаясь в Халле вместе с Штумпфом, самым ранним учеником Brentano, он уже написал два своих основных труда: свою *Философию арифметики* (1891) и одну из самых великих книг в философской традиции, *Логические исследования*, 1900–1901.

Можно сказать, что *Логические исследования* являются самым значительным трудом, который породила школа Brentano. Но всегда забывают, что они являются одной из составляющих австрийской традиции, потому что их обычно читают сквозь призму позднего Гуссерля и его ассистента Хайдеггера. *Логические исследования* пользуются аргументацией и системой дистинкций, которые все без исключения можно найти уже у Brentano

⁵⁶ Musil 1983, 1370–1371 (пер. Philippe Jaccottet).

и его последователей и Гуссерль развивает их с большим старанием. Все черты точной философии, которые я уже назвал, прекрасно представлены в этом труде⁵⁷.

Вокруг 1906 года произошло нечто, что должно было коренным образом изменить природу философской активности Гуссерля. Поскольку он, как я уже говорил, с самого начала отказался от принятия всех форм *Ich* или себя самого вне структурированных отношений пережитого опыта, ему пришлось вдруг, в течение десяти первых лет этого века, обнаружить свое *Ich*⁵⁸. Видимо, этот феномен связан с тем, что он, будучи последователем Brentano, стал относиться всерьез к идеям Канта и неокантианству в целом.

И очень быстро Гуссерль стал потерян для мира точной философии. Возможно, в этом состоит удел многих философов. Но случай Гуссерля необычен в том смысле, в каком этот переход вычисляется из его предшествующих открытий. Читатель отмечает, как он пользуется риторикой точности, ценностью, научным мышлением квази-рационально там, где ему меньше всего есть, что сказать.

Начиная с 1907 года и до конца своих дней Гуссерль написал серию текстов, не все из которых были опубликованы и часть которых оказала значительное влияние, как например, *Идеи I*, *Картезианские размышления*, *Формальная и трансцендентальная логика*, *Кризис европейской науки*. Такие старые ученики Гуссерля периода Дунайской монархии, как Ингарден или Кольне или такие феноменологи, как Райнах и Даубер, очень быстро заметили, что как философ Гуссерль сильно изменился после *Логических исследований*. Его труды были более «весомы», состояли из огромных набросков, стали «догматичными». Его ученики, разочарованные, все же остались верны прежнему реализму и идеалам ясности⁵⁹. Их описания поздней продукции Гуссерля не слишком ясны. На самом деле, Гуссерль совершил ошибку, которая во многом похожа на ту, которую последователи Brentano отмечали у многих традиционных философов. Он воздвигает слишком тяжелые философские построения на очень слабом дескриптивном фундаменте. В данном случае я могу лишь кратко обозначить критику, которая разработана в данном направлении — критику, которая по этой причине может быть названа и неверной⁶⁰. Отправной точкой Гуссерля в 1906 году было открытие, которое он сделал одновременно с Майнгоном: открытие предположений. Суждения не подчиняются воле;

⁵⁷ См. Mulligan 1986.

⁵⁸ *Recherche logique* V, & 8.

⁵⁹ См. Ingarden 1959, 462; 1972, 27. См. также Linke 1961, 63.

⁶⁰ См., однако, Mulligan 1986.

я не могу решить судить *р*. Но я могу предположить, что *р* есть этот случай, беря, например, *р* в качестве гипотезы. Феномен предположений и его значение (кроме прочих) для логики было быстро оценены философами, стоящими вне школы Brentano, как, например, Бертран Рассел. Это значение было отвергнуто частично логиком Фреге и это привело к целой серии интересных наблюдений.

Но сам Гуссерль больше не интересовался подобными проблемами. Обрадованный открытием собственного *Ich* – которое было окрещено как *Ich* трансцендентальное или «трансцендентальная Субъективность» – он полагал, что открыл несколько «новых» областей науки, «серьезных», «радикальных», «глубоких», «важных», «фундаментальных». Он был озабочен лишь некоторыми уточнениями своей теории – психологическими, эйдетическими, трансцендентальными и т. п. – чтобы при помощи *Ich* сделать более объективными свои основные выводы. Но надо понимать все его «уточнения» именно с точки зрения модели волюнтаристских предположений. Все они похожи друг на друга. То есть Гуссерль так и не смог окончательно обозначить конечную аналогию, а также не сумел ясно объяснить некоторые из своих терминов, как например *конституировать*. Это не помешало ему посвятить тысячи страниц комбинаторным возможностям этих терминов – это напоминает речь, в которой все колеса движутся, но при этом сама телега стоит на месте. Если последовать злобному примеру Музиля, то можно было бы с легкостью построить грамматику и лексику, с помощью которых можно было бы имитировать поздние труды Гуссерля.

Эти тексты обладают следующими чертами: в них нет *примеров*, при помощи которых, как в ранних работах Гуссерля, можно было бы следить за логикой мысли. Штумпф писал об *Идеях* Гуссерля, что «отсутствие примеров вызывает сожаление, но если они и встречаются, то они скорее могут лишь запутать читателя»⁶¹. В этих текстах Гуссерля практически нет *аргументов*, как в его прежних работах, и, наконец, его построения очень напоминают со структурной точки зрения конструкции немецкого идеализма, в частности – Фихте, что расстроило самого Гуссерля, когда он это понял.

Поэтому не стоит удивляться тому, что старый Brentano, разочарованный в своей надежде на то, что философия обретет точность анализа, говорит о Гуссерле как о великом «сецессионисте» от философии среди своих учеников, о «Гуссерле и его кантианстве XX века»⁶².

Мне бы хотелось наконец упомянуть интересную гипотезу, которая, может быть, могла бы объяснить, почему Гуссерлю удалось так быстро проделать путь от точности к болтовне. Эта гипотеза базируется на старом

⁶¹ Stumpf 1939, 189.

⁶² Brentano 1966, 317 (письмо 1916 г.).

клише, согласно которому плохая философия в чем-то напоминает поэзию⁶³. В монографии о феноменологии и экспрессионизме Фердинанд Феллманн попытался показать, что поздняя философия Гуссерля имеет много общих черт с литературным экспрессионизмом. Он показывает, как в обоих случаях используются такие формулы как «истинная реальность», «реальная реальность» и что часто пытаются соединить «смысл реальности и возможности». Стиль *Идей*, утверждает Феллманн, экспрессивен, а не дескриптивен.

Но что есть сама по себе поздняя философия Гуссерля — творение художника или мистика? Очевидно, что Гуссерль хотел заставить своих читателей по-новому взглянуть на привычные вещи. Гипотеза Феллманна отчасти подтверждается письмом, которое Гуссерль написал Гуто фон Гофмансталу после встречи с этим поэтом. Там он пишет, что его феноменологическая метода — которая представляет собой «вечный праздник» — похожа на тот взгляд, который просматривается «в вашем искусстве, позволяющем изменять эстетические критерии ко всему миру, который нас окружает»⁶⁴.

Брентано, Марти, Штумпф, равно как и Витгенштейн, были людьми, склонными к созерцательности. В их трудах им иногда удается подать нам пример поисков абсолютной ясности — употребляя излюбленное Витгенштейном и последователями Брентано выражение — поскольку с их точки зрения существует лишь то, что может быть абсолютно ясно выражено, пусть для этого надо привести целую цепь доказательств. Но здесь мы уже выходим за рамки нашей работы и подходим к проблеме этики точности, точности создания эстетического художественного образа и — философии Дунайской монархии.

Перевод с французского Татьяны Михайловой

Литература

Baley, St., *Ueber Urteilsgefühle*, Lernberg, 1916

Bauer, R., *La réalité, royaume de Dieu, études sur l'originalité du théâtre viennois dans la première moitié du XIXe siècle*, München, 1965

—, *Der Idealismus und seine Gegner in Österreich*, Heidelberg, Winter 1966

⁶³ См. позиция Карнапа (Carnap 1931) противоречащая точке зрения Хайдеггера и Ницше. Последний более честно облачал свои идеи в художественную, а не научную форму.

⁶⁴ Husserl 1907, в — Friedrich 1968, 111–112. К. Гамбургер сравнивал поэзию Рильке с феноменологическим методом «видения сути» Гуссерля.

- Brentano, F., *Die Vier Phasen der Philosophie*, Leipzig, Meiner, 1926
- , *Über die Zukunft der Philosophie*, Leipzig, Meiner, 1929
- , *Die Abkehr vom Nichtrealen*, Hamburg, Meiner, 1966
- , *Versuch über die Erkenntnis*, Hamburg, Meiner, 1970
- , *Deskriptive Psychologie*, Hamburg, Meiner, 1982
- Brod, M., *Der Prager Kreis*, Frankfurt, Suhrkamp, 1979
- Brod, M. et Weltsch, F., *Anschauung und Begriff*, Leipzig, Wolff, 1913
- Brodthage, H. et Hoffmann, S., Die Rezeption der Psychoanalyse in der Psychologie; dans Cremerius, J., dir., *Die Rezeption der Psychoanalyse*, Frankfurt, Suhrkamp, 1981, p. 135–254
- Bühler, K., *Die Krise der Psychologie*, Jena, Fischer, 1927
- Cacciari, M., *Krisis – Saggio sulla crisi dei pensiero negativo da Nietzsche a Wittgenstein*, Mailand, Feltrinelli, 1978
- Carnap, R., Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache; dans *Erkenntnis* II, maintenant dans Schleichert, dir., 1975, p. 149–172
- Fellmann, F., *Phänomenologie und Expressionismus*, Freiburg, Alber, 1982
- Funke, O., *Studien zur Geschichte der Sprachphilosophie*. Berne, Francke, 1927
- Hägelin, F. K., Bemerkungen über die Gedanken, die Kantische Philosophie betreffend (1798), dans Wotke, K., *Ein Beitrag zur Geschichte des Kantianismus in Österreich*, Wien, 1903
- Hamburger, K., Die phänomenologische Struktur der Dichtung Rilkes dans Hamburger, K., *Philosophie der Dichtung*, Stuttgart, 1966
- Husserl, E., *Aufsätze und Rezensionen (1890–1910)*, Den Haag, Nijhoff, 1979
- Ingarden, R., Edmund Husserl zum 100. Geburtstag, *Zeitschrift für philosophische Forschung*, vol. 13, 1959, p. 459–463
- , What is new in Husserl's Crisis?, *Analecta Husserliana*, vol. II, Dordrecht, 1972, p. 23–47
- Janik, A., «Therapeutic Nihilism»: How not to Write About Otto Weininger; dans Smith, dir., 1981
- , *Essays on Wittgenstein and Weininger*, Amsterdam, Rodopi, 1985
- Kolnai, A.; Brentano's Place in the History of Philosophy, manuscrit de cours non publié, 1972
- Kraus, O., Der Untergang des wissenschaftlichen Denkens (Oswald Spengler), *Hochschulwissen*, 1924, p. 45–52
- , Geisteswissenschaft und Psychologie (1928), maintenant dans Kraus, 1934
- , Über Alles und Nichts (1930), maintenant dans Kraus, 1934
- , *Wege und Abwege der Philosophie*, Prague, Clave, 1934
- Lessing, T., *Der jüdische Selbsthass*, Berlin, 1930
- Linke, P., *Niedergangerscheinungen in der Philosophie der Gegenwart – Wege zu ihrer Überwindung*, München, Reinhardt Verlag, 1961
- Loos, A., *Sämtliche Schriften*, vol. I, Wien/München, Herold, 1962
- Meinong, A., *Emotionale Präsentation (1917)*, maintenant dans la *Gesamtausgabe*, vol. III, 1968, p. 283–476

- Mulligan, K., Philosophy, Animality and Justice: Kleist, Kafka, Weininger and Wittgenstein, dans Smith, dir., 1981, p. 293–312
- , Exactness, Description and Variation: How Austrian Philosophy was Done, dans Nyiri, C., dir., *Österreichische Philosophie*, Vienne, Hölder-Pichler, 1986, p. 86–97
- , On Structure: Bühler's Linguistic and Psychological Examples, dans Esenbach, A., dir., *Karl Bühler's Theory of Language*, Amsterdam, Benjamins, 1988a, p. 203–228
- , Musil and the Analysis of Emotions,; manuscrit, 1988
- Mulligan, K. et Smith, B., Franz Brentano's Ontology of Mind, *Philosophy and Phenomenological Research*, 1985, p. 627–644
- , Mach and Ehrenfels: The Foundation of Gestalt Theory, in Smith, dir., *Foundations of Gestalt Theory*, München, Philosophia, 1988, p. 124–157
- Musil, R., Moralische Fruchtbarkeit; (1913), Geist und Erfahrung (1921), Der Deutsche Mensch als Symptom (1923), dans Musil, R., *Essays und Reden*, Frise, A., dir., Rowohlt, 1983
- Neurath, O., *Antispengler*, München, Callwey, 1921
- Plessner, H., *Husserl in Göttingen*. Göttingen, Vandenhoeck, 1959
- Rhees, R., dir., *Ludwig Wittgenstein. Personal Recollections*, Oxford, Blackwell, 1981
- Riegl, A., *Spätrömische Kunstindustrie*, Vienne, 1901
- Rug, R. et Mulligan, K., Trieb und Theorie: Bemerkungen zu Ehrenfels dans Fabian, R., dir., *Das Leben und Werk von Christian von Ehrenfels*, Amsterdam, Rodopi, 1986
- Russell, B. The Philosophy of Logical Atomism (1918), dans Marsh, R., dir., *Logic and Knowledge*, London, Allen & Unwin, 1956
- Schleichert, H., *Logischer Empirizismus-Wiener Kreis*, München, Fink, 1975
- Schorske, C., *Fin-de-Siècle Vienna: Politics and Culture*, Cambridge University Press, 1979
- Schumpeter, J. A., *Ten Great Economists*, Londres, Allen & Unwin, 1952
- Smith, B., Kafka and Brentano: A Study in Descriptive Psychology, dans Smith, B., dir., 1981, p. 113–160
- , dir., *Structure and Gestalt: Philosophy and Literature in Austria-Hungary and her Successor States*, Amsterdam, Benjamins, 1981
- Smith, B. et Mulligan, K., Pieces of a Theory dans Smith, dir., *Parts and Moments. Studies in Logical and Formal Ontology*, München, Philosophia, 1982
- Swoboda, H., *Otto Weiningers Tod*, Vienne, Deuticke, 1911
- Twardowski, K., *Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine psychologische Untersuchung*, Vienne, Hölder, 1894
- , On Clear and Obscure Styles of Philosophical Writing, dans Pelc, J., *Semiotics in Poland*, Dordrecht, Reidel, 1979
- Utitz, E., Erinnerungen an Franz Brentano, *Wissenschaft zu der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg*, quatrième année, cahier 1, 1954, p. 73–90
- Von Ehrenfels, C., Über Gestaltqualitäten, *Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie*, 14, 1890, p. 242–292

КЕВИН МАЛЛИГАН

- , *System der Werttheorie*, vol. I et II, 1897/98, maintenant dans *Werttheorie*, München, Philosophia, 1982
- , Die sexuelle Reform; *Politisch-anthropologische Revue*, vol. II, 1904, p.970–993
- , Das Mutterheim, *Politisch-anthropologische Revue*, vol. V, 1906
- Winter, E., *Der Böhmishe Vormärz*, Heidelberg, Winter, 1966
- Wittgenstein, L., *Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Experience*, C. Barrett S.J., dir., Oxford, Blackwell, 1966
- , *Wittgenstein und der Wiener Kreis*, 1967
- , *Notebooks 1914–1916*, 1979
- Worringer, W., *Abstraktion und Einfühlung*, 1908
- Zuckerhandl, B., *Zeitkunst. Wien 1901–1907*, Vienne/Leipzig, Heller et Cler, 1908

РОМАН ГРОМОВ

АНТОН МАРТИ. ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА БРЕНТАНОВСКОЙ ШКОЛЫ¹

«Министр по делам философии языка» брентановской школы — так однажды назвал Антона Марти его ближайший ученик и последователь Оскар Краус. Этот эпитет отражает не только главную направленность философских интересов Марти, в центре которых всегда находились проблемы философии языка, но и то специфическое место, которое он занял в философском течении, инициированном Францем Brentano. В этом течении можно выделить два крыла. Воспользовавшись собственной брентановской характеристикой, к первому можно отнести тех его учеников, которых он называл сецессионистами². К их числу принадлежат А. Майнонг, Э. Гуссерль, К. Твардовский, т. е. те из числа его бывших учеников, которые либо демонстративно дистанцировались от него, либо развивали собственные концепции в критической направленности по отношению к ключевым положениям его учения. Ко второму крылу относятся, так называемые, ортодоксальные сторонники Brentano. Это крыло возглавил в свое время Марти, к которому примкнули О. Краус, А. Кастиль, Э. Утиц, Г. Катков, Ф. Хиллебранд³. В этом кругу не только предпринима-

¹ Статья выполнена в рамках программы «Брентано и его школа: развитие проблем сознания и интенциональности в феноменологии и аналитической философии XX. в.» (проект № 01-03-00280а) при поддержке Российского гуманитарного научного фонда.

² См. Haller R. Studien zur Österreichischen Philosophie. Rodopi, 1979, S. 30. Sezession (нем.) означает отпадение или отделение, например, части государства. Использовалось в качестве названия ряда независимых объединений немецких и австрийских художников конца 19 начала 20 вв.

³ Некоторое время к пражскому кругу брентанистов примыкал Франц Кафка, посещавший в 1902–1906 годах заседания «внутреннего круга» брентанистов в Café Louve в Праге и прослушавший в зимний семестр 1902 года курс лекций Марти по дескриптивной психологии.

лись апологетические усилия по защите философии Brentano, но велось также дальнейшее развитие ее исходных постулатов в философии языка, этике, эстетике, теории познания. О. Краус следующим образом резюмировал стиль работы Марти: «Профессиональный путь Марти нераздельно связан с профессиональным путем Brentano; там, где он был с ним согласен, но подкреплял позиции учителя новыми основаниями, защищал от атак противников; там, где он от него отклонялся, взвешивал с особой тщательностью каждую деталь, говорившую в пользу положений его учителя и друга, и, как заметил Гуссерль, сделал для себя максимой, только в самом крайнем случае отклоняться от него»⁴. Неслучайно, поэтому, что именно Прага, где Марти долгие годы был ректором немецкого университета и где его влияние было наиболее ощутимым, стала, между мировыми войнами, главным центром брентановской школы. Здесь разместился архив Brentano, было учреждено брентановское общество, велась работа по публикации его архива.

Вместе с тем было бы неверно ограничивать значение Марти лишь цеховыми рамками данной философской школы. В пользу этого говорит несколько принципиальных соображений.

Философия языка Марти представляет собой существенный момент в развитии языкознания 20-го века, без которого вряд ли можно дать адекватную картину трансформации исследований в этой области на рубеже 19–20 веков. Его оригинальным вкладом можно признать интенциональную концепцию языка как намеренного (*absichtlich*) социального действия; проект общей семантики, ориентированный на коммуникативную теорию значения; телеологическую и функциональную модель описания языка. Его идеи были восприняты как внутри брентановской школы — они оказали существенное влияние на развитие теорий языка и значения Гуссерля, Твардовского, Майнонга, — так и вне ее. Его концепция языка как средства социальной коммуникации легла в основу инструменталистской модели языка («*Organon-Modell der Sprache*») Карла Бюлера⁵. Идея «общей грамматики» нашла отклик в Московском лингвистиче-

⁴ Kraus O. *Martys Leben und Werke*//A. Marty *Gesammelte Schriften*. Halle, Verlag von Max Niemeyer, 1916, Bd. 1, Abt. 1., S. 67.

⁵ В «Теории языка» (1934) Бюлер, говоря о главных источниках своих идей, поставил Марти в один ряд с Платоном, В. фон Гумбольдтом, Кассирером, Гомперцем, Гуссерлем, Соссюром и школой Майнонга. (см. Бюлер К. «Теория языка». М., Прогресс, 2000, с. 10). Бюлеру же принадлежит одна из наиболее обстоятельных рецензий на «Исследования основания общей грамматики и философии языка» Марти, в которой наиболее значимый вклад Марти в философию языка он видит в инициации им разработок функционального подхода к языку (см. Büh-

ском кружке и стала одним из оснований для проводимой здесь критики позитивизма в науках о языке. Она также использовалась Р. Якобсоном и Г. Винокуром при доказательстве обоснованности проблематики языковых универсалий⁶. В Праге слушателем Марти был один из основателей Пражского лингвистического кружка Вильгельм Матезиус, также опиравшийся на Марти в критике позитивистского подхода в лингвистике⁷. Философия языка Марти может быть признана одной из важнейших составляющих в истории восточно-европейского структуралистского движения, лингвисты и литературоведы Пражского лингвистического кружка были не только знакомы с его телеологической концепцией языка, но она была одной из важнейших предпосылок развитого в восточно-европейском структурализме функционально-прагматического подхода к языку. Предпринимались также интересные попытки сравнительного анализа учения Марти с идеями Соссюра⁸ и Хомского⁹.

Кроме того, Марти никогда не элиминировал в своих философско-языковых исследованиях традиционную эпистемиологическую и онтологическую проблематику. Философская критика языка не была для него ни самоцелью, ни средством устранения из философии традиционных псевдо-проблем, напротив, она стала у него методологической основой для прояснения таких фундаментальных теоретико-познавательных и аксиологических понятий, как истина, очевидность, априори, необходимость, реальное, ценность, интенциональный предмет. Тематически произведения Марти находятся в тесном единстве с проблематикой таких ключевых направлений западноевропейской философии начала

ler K. Anton Marty. Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie // Göttingische gelehrte Anzeigen, 1909, № XII, S. 967).

⁶ См. Винокур Г. О. «В возможности всеобщей грамматики» // Вопросы языкознания 1988 № 4.

⁷ В работе «О потенциальности феноменов языка» Матезиус опирался на Марти в критике философии языка В. Вундта и обосновании коммуникативной концепции языка (см. Mathesius V. On the Potentiality of the Phenomena of Language // Praguiana Some Basic and Less Known Aspects of the Prague Linguistic School. Praha, 1983, Academia, p. 61–62).

⁸ См. работы Spinicci P. Phänomenologischer Objektivismus und Sprachpragmatik: Grundkonzepte der Sprachauffassung Anton Martys // Zeitschrift für Semiotik, Bd. 23, Heft 1 (2001) и Savina R. Anton Marty filosofo del linguaggio. Uno strutturalismo presausseriano. Roma, La Goliardica, 1982.

⁹ См. статьи Kuroda S-Y. Anton Marty and the Transformational Theory of Grammar // Foundations of Language, 1972, № 9; он же «Edmund Husserl, “Grammaire générale et raisonnée” and Anton Marty» // Foundations of Language, 1973, № 10.

20-го века, как ранняя феноменология, грацкая школа теории предметов и представляет собой важный вклад в развитие современной теории познания и онтологии¹⁰.

Биография

Антон Марти родился 18 октября 1847 года в швейцарском городе Швиц (Schwyz) в семье Якоба Марти и Элизабет Райхлин. Он был девятым из одиннадцати детей этой супружеской пары. По-видимому, под влиянием религиозного отца все сыновья выбрали путь духовного служения. Антон после окончания монастырской школы в Швице поступает в духовную семинарию города Майнц, бывшую в то время идейным центром народного католического движения в Германии за церковные свободы (ультрамонтанизма), и по ее окончании в 1869 году принимает сан католического священника. По рекомендации своих духовных наставников он отправляется осенью 1868 года в Вюрцбург¹¹ прослушать лекции близкого в то время к ультрамонтанизму католического священника и приват-доцента вюрцбургского университета Франца Brentano, встреча с которым стала, без преувеличения, поворотным моментом в личной и профессиональной судьбе Марти. О том, какое глубокое впечатление произвело на Марти знакомство с Brentano, свидетельствует его днев-

¹⁰ Высокая ценность проведенных Марти исследований признавалась самими представителями указанных течений, в частности, Гуссерлем (см. Husserl E. *Besprechung von A. Marty Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie* // *Husserliana*, Den Haag 1979, Bd. XXII, S. 264). Из современных авторов, к примеру, Б. Смит и К. Маллиган рассматривают Марти как оригинального представителя предметно-теоретических исследований (онтологии Sachverhalt) (см. Smith B. *Austrian Philosophy. The Legacy of Franz Brentano*. Open Court Publishing Company, 1994; Mulligan K. *Marty's Philosophical Grammar* // *Mind, Meaning and Metaphysics. The Philosophy and Theory of Language of Anton Marty*. Kluwer Academic Publishers, 1990). Однако, приходится констатировать, что к настоящему времени еще не появилось систематических исследований по работам Марти в указанных сферах. В качестве исключения можно сослаться на статью Mayer-Hillebrand F. *Einleitung der Herausgebering* // *F. Brentano Abkehr vom Nichtrealen*, Francke Verlag, Berlin und München, 1966.

¹¹ Здесь имеет место разночтение. Мы исходим из воспоминаний Штумпфа (см. Stumpf K. *Erinnerungen an Franz Brentano* // *Kraus O. Franz Brentano. Zur Kenntnis seines Lebens und seiner Lehre*, München, Oskar Beck, 1919. Оскар Краус датирует поездку в Вюрцбург 1869 годом (см. Kraus O. *Martys Leben und Werke*, S. 4.)

никовая запись того времени, приведенная Оскаром Краусом, в которой он пишет об этом вюрцбургском времени как об открытии нового мира¹². Хотя заочное знакомство с Brentano состоялось несколько раньше — в 1867-ом году Марти пишет конкурсную работу «Учение святого Фомы об абстракции сверхчувственных идей из чувственных образов вместе с изложением и критикой прочих теорий познания», где наряду с критикой немецких идеалистов он восхищенно цитирует работы Тренделенбурга и Brentano (диссертацию 1862 года «О разнообразии значений сущего по Аристотелю»). Вскоре знакомство переросло в многолетнюю близкую дружбу и Марти вместе с Карлом Штумпфом становится ядром первого вюрцбургского круга учеников Brentano¹³.

О степени влияния Brentano на его учеников говорит тот факт, что именно он убеждает Штумпфа выбрать в качестве жизненного призвания путь католического священника. Осенью 1869 года тот поступает в духовную семинарию Вюрцбурга, однако уже на следующий год, опять же под воздействием учителя, оставляет ее. Эти перипетии в судьбе Штумпфа были связаны с тем, что на рубеже 60–70 годов сам Brentano переживает глубочайший мировоззренческий кризис. После многолетних попыток дать рациональное, непротиворечивое обоснование христианской догматике он разочаровывается в возможности реализовать томистскую программу взаимоотношений теологии и философии, в результате чего приходит к духовному разрыву с церковью. Хотя официально он слагает с себя сан священника тремя годами позднее, в страстную пятницу 11 апреля 1873 года, в результате чего теряет также место экстраординарного профессора в Вюрцбургском университете. В отличие от Штумпфа, Марти узнает об этом событии уже *post factum*. Brentano ни устно, ни письменно не ставил его в известность о произошедших изменениях в его взглядах. Однако, убежденный Brentano, он также снимает с себя сан священника и оставляет место профессора философии в лицее Швица, которое он занимал с 1869 года. Без перспектив и планов на получение дальнейшей работы он отправляется, по совету Brentano, в Геттинген к Герману Лотце, у которого в 1875 году защищает диссертацию на степень доктора. В том же году публикуется его первая крупная работа «О происхождении языка»¹⁴. Благодаря публикации этой книги, вызвавшей положительные отклики, а также при

¹² Kraus O. *Martys Leben und Werke*, S. 4.

¹³ Вторым кругом можно назвать тех учеников (Гуссерль, Майнонг, Твардовский), которые группировались вокруг него в венском университете (1874–1894).

¹⁴ В качестве диссертации была представлена «Критика теорий происхождения языка» (*Kritik der Theorien über den Sprachursprung*, Richter, Würzburg 1875),

поддержке Brentano, который получил к тому времени место ординарного профессора в венском университете, Марти получает приглашение в университет в Грезновицах. В 1879 году он публикует книгу «Вопрос об историческом развитии чувства цвета»¹⁵ и уже в следующем году его приглашают в немецкий университет Праги. На восьмидесятые и девяностые годы приходится пик популярности и влияния Марти. Свидетельством этого становится его избрание в 1890 году деканом философского факультета немецкого университета Праги и приглашение в 1894-ом в венский университет. Несмотря на то, что при голосовании его кандидатура набрала наибольшее количество голосов, его назначение не было санкционировано министерством по причине его прошлого, связанного со сложением сана священника. Но в том же году Марти получает своеобразную моральную компенсацию — его выбирают на должность ректора немецкого университета города Праги, которую он занимал до 1913 года. В 1908 году он публикует главный труд своей жизни «Исследования основания общей грамматики и философии языка»¹⁶, который был посвящен другу и учителю Францу Brentano. Эта книга планировалась как первый том более обширной работы «К вопросу об общей грамматике и философии языка»¹⁷, однако этот замысел так и остался незавершенным — Антон Марти умер 2 октября 1914-го года в своей квартире в Праге от внутреннего кровотечения¹⁸.

Публикации

Творчество Марти можно разделить на три этапа¹⁹. При этом речь не идет о четкой временной периодизации, но скорее об изменении общих тенденций в тематике его исследований. К первому этапу можно отне-

которая вошла в качестве первой части в книгу «О происхождении языка» (Über den Ursprung der Sprache, Stuber, Würzburg, 1875)

¹⁵ Marty A. Die Frage nach der geschichtlichen Entwicklung des Farbensinnes, Gerold, Wien, 1879.

¹⁶ Marty A. Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie, I., Niemeyer, Halle, 1908.

¹⁷ Исходный план работы («Beitrag zur allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie») был опубликован Отто Функе после смерти Марти см. Marty A. Psyche und Sprachkritik. Hrsg. Funke O., Francke, Berlin, 1940.

¹⁸ О. Краус датирует смерть Марти первым октября.

¹⁹ Более детальную периодизацию на четыре этапа см. у Р. Эгиди (Egidi R. Anton Marty — Eine Sprach-philosophie // International Bibliography of Austrian Philosophy, Amsterdam — Atlanta, GA, 1992).

сти работы, опубликованные в первые 20 лет его творчества, а именно «О происхождении языка» (1875), «Вопрос об историческом развитии чувства цвета» (1879), а также серию из десяти статей под общим названием «О языковом рефлексе, нативизме и намеренном формировании языка», опубликованную с 1884 по 1892 годы²⁰. Все их объединяет общая проблематика происхождения языка и эволюции языковых средств, которая рассматривается с генетической или диахронической точки зрения. Переходной ко второму этапу можно считать предлагаемую отечественному читателю статью «Об отношении грамматики к логике» (1892), где на передний план выдвигается проблема построения общей теории значения. Сюда же относится серия статей «О бессубъектных предложениях и отношении грамматики к логике и психологии»²¹. В 1908 году выходят «Исследования основания общей грамматики и философии языка», в которых развивается идея общей семасиологии. В 1910 году публикуется книга посвященная проблеме времени и падежа в философии языка «К вопросу о философии языка. “Логические”, “локальные” и другие теории падежа», которая была нацелена на критику «этнической психологии» Вундта²². В последние годы в центре интересов Марти оказывается проблема времени и пространства, в связи с чем можно говорить о третьем, последнем этапе его творчества. Подготовленная в это время и посвященная этой проблематике книга «Пространство и время» была опубликована уже после смерти автора его ближайшими учениками Оскаром Краусом и Альфредом Кастилем²³. Незавершенные части намечавшегося второго тома «Исследований основания общей грамматики и философии языка» были опубликованы учеником Марти Отто Функе в виде трех отдельных книг «Предложение и слово» (1925), «О ценности и методе описательного учения о значении» (1926), «Психика и структуры языка» (1940)²⁴.

²⁰ Über Sprachreflex, Nativismus und absichtliche Sprachbildung // Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, 1884–1892 (8–16), см. также в Gesammelte Schriften, I. Bd., 2. Abt., S. 1–134.

²¹ Über subjektlose Sätze und das Verhältnis der Grammatik zur Logik und Psychologie // Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, 1884–1895 (8–19), см. также в Gesammelte Schriften, II. Bd., 1. Abt., S. 1–307.

²² Marty A. Zur Sprachphilosophie. Die «logische», «lokalistische» und andere Kasustheorien. Niemeyer, Halle, 1910.

²³ Marty A. Raum und Zeit. Niemeyer, Halle, 1916.

²⁴ Marty A. Satz und Wort, Bern, Francke, 1925; Über Wert und Methode einer beschreibende Bedeutungslehre, Stiepel, Reichenberg i. Böhmen, 1926; Psyche und Sprachstruktur. Bern, Francke, 1940.

Идея научной философии Brentano

Первым лекционным курсом Brentano, который Марти прослушал в Вюрцбурге, были курс лекций по истории философии. В нем излагалась уже сформировавшаяся к тому времени теория четырех фаз развития философии²⁵. Данная концепция не ограничивалась лишь рамками сугубо историко-философской проблематики, но была также основой для оценки современного состояния философии и перспектив ее дальнейшего развития. Исходя из предположения о закономерном развитии философии, Brentano оценивает современную философию, подразумевая в первую очередь немецкий идеализм, как завершение новоевропейской традиции и фазу глубочайшего декаданса философии эпохи Нового времени. Смысл же современного этапа ее развития виделся ему в восстановлении прерванной традиции научного философствования, которую для Brentano олицетворяли Аристотель, Фома Аквинский, Декарт, Лейбниц, Локк. Он указывает два признака научного философствования: преобладание в научной философии чисто теоретических интересов и использование в философии «естественных методов познания», которые на всех этапах его творчества отождествлялись им с методами естественных наук. Оба критерия в виду лапидарности тезисов нуждаются в конкретизации, тем более, что с учетом брентановского учения в целом они могут показаться даже противоречивыми. Например, Brentano не только настаивает на четком разграничении теоретической и практической проблематики, но даже приходит, в рамках своей историко-философской концепции, к их противопоставлению. Доминирование теоретических или практических интересов в философии служит для него признаком разных этапов ее развития, а по существу, разных идеальных типов философствования, которые периодически повторяются в разные эпохи. Начало упадка научной философии в Античности, в Средние века и Новое время начинается, по его мнению, именно с «прагматизации» ее проблематики, с подчинения философских исследований целям социально-политической практики, что сопровождается ее популяризацией и приводит, в конечном счете, к возникновению скептицизма. Например, в Античности упадок философии наступает с началом кризиса религиозных и государственных институтов, с расцветом философских школ (стоицизм, эпикуреизм), выходом философии за рамки исключительно научно-теоретического дискурса и превращением ее в эрзац народной религии. Его обоснование научной философии представляется в этом контексте

²⁵ См. изложение этой концепции у Твардовского К. «Франц Brentano и история философии» // Твардовский К. «Логико-философские и психологические исследования». М., РОССПЭН, 1997.

родственным идее логических позитивистов по четкой демаркации между философской теорией и морально-политической практикой. С другой стороны, в этой же теории – в той форме, в которой она представлена в докладе «Четыре фазы философии и ее современное состояние»²⁶ – философия выступает в роли важнейшего культуuroобразующего фактора, Brentano связывает кризисы культуры и их преодоление в различные эпохи с трансформацией методов собственно философских исследований. Это объясняется тем, что кризисы религиозных и государственных авторитетов имеют, по его мнению, эпистемиологическую природу. Речь идет о неспособности соответствующих институтов дать убедительные ответы на «фундаментальные» вопросы человека, к каковым он относит: доказательство бытия бога, вопросы теодицеи, смысла и цели существования мира, природы и бессмертия души. В некоторых статьях²⁷ он говорит как о теоретических, так и об актуальных как никогда практических (социальных) потребностях возрождения научной философии, которые связывает с поиском целостного мировоззрения в ситуации кризиса традиционной христианской идеологии и бурного развития естественных наук. Более того, научная философия рассматривается как возможная форма будущей квази-религии, т. е. как основа нового «облагороженного» оптимистического мировоззрения, которое должно занять место христианской идеологии и дать в противовес современным формам пессимизма рационально убедительное решение «фундаментальных» вопросов. Научная философия, таким образом, не истолковывалась лишь как теоретическое внутри университетское предприятие. Обоснование научной философии и доказательство ее социо-культурной значимости в ситуации кризиса университетской философии середины 19-го века, когда на выполнение мировоззренческих функций по определению социальных и индивидуальных ориентиров стали претендовать естественные науки, означало, по сути, попытку вернуть философии ее традиционную роль жизненно-ориентирующей дисциплины. Но как это согласуется с противопоставлением теоретической и практической мотивации в философском исследовании? Каким образом в научное философское исследование должна была интегрироваться мировоззренческая, морально-политическая проблематика?

Возникает вопрос также относительно отождествления метода философии с методом естественных наук. Здесь, с одной стороны, напра-

²⁶ Brentano F. Die vier Phasen der Philosophie und ihr augenblicklichen Stand. Leipzig, Verlag von Felix Meiner 1926, S. 31–32.

²⁷ См. Brentano F. Über die Gründe der Entmutigung auf philosophischem Gebiet // Brentano F. Über die Zukunft der Philosophie. Hamburg, Verlag von Felix Meiner 1926, S. 99.

шивается аналогия с позитивистским требованием методологического единства наук, с другой, эта аналогия в значительной степени нейтрализуется многочисленными оговорками, которые встречаются в комментариях последователей Brentano и более поздних исследователей, согласно которым речь не идет о буквальном заимствовании естественнонаучных методов, но скорее об утверждении общности принципов исследования, или же этот тезис понимается преимущественно в негативном смысле как отказ философии в обладании собственными оригинальными методами, выделяющими ее из ряда прочих наук. В любом случае остается вопрос о границах подобной аналогии и ее конкретных реализациях. Эти вопросы представляются значимыми не только в отношении самого Brentano, они важны также для понимания генезиса брентановской школы в целом, в частности, для объяснения того факта, каким образом философия и психология Brentano могла стать единым истоком столь разноплановых проектов, как феноменологические проекты Гуссерля и Штумпфа или универсальные грамматики Гуссерля и Марти.

В габилюационных тезисах 1866 года, которые резюмируют философскую программу раннего Brentano, он заявляет, что: «Истинный метод философии есть не что иное, как метод естественных наук»²⁸. Штумпф в одном из писем к нему позднее писал: «Этот тезис и то, что с ним связано также было тем, что с восторгом привлекло Марти и меня под Ваше знамя»²⁹. Но как уже отмечено, сам тезис нуждается в уточнении как в отношении понятия философии и ее метода, так и в отношении понятия метода естественных наук. В первом томе «Психологии с эмпирической точки зрения» (1874) Brentano проводит базисное для своего определения философии и системы науки в целом разделение двух ветвей эмпирического познания — естественных наук и психологии. Эта классификация основывается на различии двух качественно отличных и нередуцируемых друг к другу классов явлений — физических и психических феноменов, а также двух независимых друг от друга источников их познания — внешнего и внутреннего восприятия. Brentano отказывается в первом томе «Психологии с эмпирической точки зрения» от субстанционально-онтологического определения их предмета (как наук о материальных и духовных телах или субстанциях), и определяет их как науки о физических и психических феноменах. Но то, что речь здесь идет все же о компромиссном и предварительном определении свидетельствует то, что он, тем не менее, не исключал из психологии проблему духовной субстанции. Последняя шестая книга «Психологии» должна была быть посвящена

²⁸ Четвертый тезис, см. Brentano F. Die Habilitationsthesen. S. 137.

²⁹ Цитируется по Kraus O. Martys Leben und Werke, S. 4.

возможности бессмертия и отношению телесного и духовного существа, более того, в более поздних текстах он прямо говорит о психологии как науке о душе и «душевных явлениях».

Утверждая методологическое единство наук, Brentano отрицает, тем самым, их предметное единство. Точнее, обоснование у него методологического единства наук не предполагает единства их предметной сферы, как это имело место у логических позитивистов³⁰. В «Психологии» выделяется еще одна ветвь эмпирического познания – метафизика, которая определяется как эмпирическая наука о «фактах, которые в равной мере доказуемы в сфере внешнего и внутреннего опыта»³¹. Имеются в виду общие законы, не ограниченные определенной предметной сферой, примером которых для Brentano служил, в частности, закон каузальности. Таким образом, метафизика понимается как наука о феноменах вообще. Она обозначается в качестве эмпирической дисциплины, поскольку она опирается на более узкие по предмету естественнонаучные и психологические исследования, следовательно, зависит от уровня развития частных наук и является завершением системы научных знаний в целом. Но это не значит, что ей отводилась в отношении частных дисциплин лишь вторичная систематизирующая роль. Отличаясь от частных наук степенью общности предмета, она также имеет оригинальную проблематику. Внутри метафизики, понятой в широком смысле слова, Brentano различает теорию познания, как апологию возможности истинного знания; метафизику в узком смысле слова, как общую теорию сущего или категориальное учение; философскую теологию, как науку о первой причине; космологию, как науку о мировом целом³². Оценивая эту концепцию в целом, можно сказать, что она представляет собой консервативную попытку сохранить за философией и психологией традиционную для аристотелевско-томистской традиции проблематику, интегрируя ее с нормами и практикой современного научного исследования, и тем самым преодолеть разрыв между спекулятивными и эмпирическими дисциплинами.

Эта общая схема не отражает сложного характера отношений между философскими дисциплинами внутри метафизики, а также их отношений

³⁰ См. о различиях в позициях Brentano и Карнапа Sauer W. Erneuerung der Philosophia Perennis: Über die ersten vier Habilitationsthesen Brentanos // Skizzen zur Österreichischen Philosophie. Hrsg. R. Haller. Amsterdam – Atlanta, GA 2000, S. 135–136.

³¹ Brentano F. Psychologie vom empirischen Standpunkt. Hrsg. O. Kraus, ND Hamburg. Bd. 1, 1973, S. 9.

³² См. Tiefensee E. Philosophie und Religion bei Franz Brentano. A. Francke Verlag Tübingen und Basel, 1998, S. 221ff. и 251 ff.

к психологии и естественным наукам. Неверно было бы также понимать ее как жесткую и окончательную систему наук. В отличие от Штумпфа и Марти, которые предприняли систематическую разработку проблемы классификации наук³³, Brentano ограничился черновыми набросками, в которых классификация наук и взаимосвязь между ними постоянно переинтерпретировалась в зависимости от контекста и целей актуальной дискуссии. В этом сказывается общий стиль работы Brentano, концентрировавшегося на конкретных проблемах и неустанно моделировавшего их возможные решения, нацеленные не столько на получение окончательной систематической формы, сколько на постоянное экспериментирование и нюансирование проблематики, выделение ее все новых аспектов и возможных подходов. И все же можно выделить несколько общих принципов, которым следовали при систематизации наук Brentano и его ближайшие ученики.

Brentano дистанцируется от систематических попыток в гегелевском духе по выстраиванию единой генеалогии наук на основании единообразных принципов классификации. Одни и те же истины могут принадлежать разным наукам, поэтому следует признать множественность альтернативных, в равной мере оправданных классификаций. По выражению Штумпфа, науки не группируются вокруг одной точки, но скорее подобны пересекающимся волнам, исходящим из разных пунктов. Таким образом, науки не могут быть дедуцированы из одних базисных принципов, не существует также единой науки, которая могла бы включать в себя прочие науки как свои части. Отношения между науками Brentano был склонен описывать в виде иерархического порядка, в котором различаются, в соответствие с теми или иными принципами классификации, низшие и высшие дисциплины. Например, речь могла идти об отношениях зависимости и фундирования между науками исторически более ранними и более поздними. Brentano воспроизводит в данном случае контровскую шкалу наук, в частности, естественные науки и физиология выступают в качестве фундамента для менее зрелой и молодой психологии. Они относятся к ней подобно тому, как физика к более молодой химии, психология зависит от них в степени своего совершенства³⁴. С другой стороны, иерархия может выстраиваться с точки зрения логического приоритета того или иного исследования и в этом случае может происходить инверсия отношений, например, дескриптивная психология имеет логический

³³ См. Stumpf C. Zur Einteilung der Wissenschaften. Berlin, Verlag der Königl. Akademie der Wissenschaften, 1907.

³⁴ Brentano F. Über die Gründe der Entmutigung auf philosophischem Gebiet // Über die Zukunft der Philosophie. Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1925, S. 92 ff.

приоритет перед физиологией, поскольку дает ей концептуальное обеспечение, а именно определяет понятие и структуру психических явлений, на каузальное объяснение которых нацелено физиологическое исследование. Таким образом, отношения между науками у Brentano не одномерны. Хотя они описываются в виде иерархического порядка, он отказывается от попыток выстроить их единообразную иерархию. Помимо разделения наук на естествознание и психологию, он различает их также по предмету на конкретные и абстрактные³⁵. По эпистемологической значимости науки делились на точные (математика, теоретическая механика, дескриптивная психология) и гипотетические (естественные науки, в том числе, физиология). По методу на априорные (математика, геометрия, дескриптивная психология) и эмпирические (естественнонаучные дисциплины дающие каузально-индуктивное объяснение)³⁶, с 80-х годов появляется классификация наук на дескриптивные (ботаника, зоология, анатомия, дескриптивная психология) и объясняющие, т. е. дисциплины дающие каузальное объяснение, к которым причислялась помимо естественно научных дисциплин также метафизика.

Естественные науки Brentano понимает, скорее, как ансамбль дисциплин, объединенных единством их предметной сферы — физических феноменов. При этом внутри этого корпуса наук он признает как множественность объектов исследования, так и несводимую множественность методических средств. Естественные науки не должны редуцироваться к какому-либо определенному типу проблематики, закономерности или методологическому проекту. Так, в отличие от Канта и Дильтея, для которых факт естествознания составляли галилеевско-ньютоновская механика и математика, Brentano объединяет здесь *на равных условиях* как науки с физикалистскими и механистическими моделями исследования, так и науки, практикующие сравнительные морфологические методы, в част-

³⁵ «*Конкретными* я называю науки, если они дают знание об индивидуальных и в определенном смысле случайных фактах, *абстрактными*, если они направлены на исследование общих и необходимых законов». К конкретным относились исторические науки, география, к абстрактным психология, математика и геометрия, естествознание (манускрипт М 35, 30351, цитируется по Tiefensee E. Philosophie und Religion bei Franz Brentano. S. 199–200). Это различие аналогично видельбандтовской классификации наук на идеографические и номотетические.

³⁶ Все науки, по Brentano, имеют эмпирическое основание поскольку получают свои понятия из опыта. К априорным относятся науки, черпающие свои понятия из опыта, но абстрагирующиеся от него и развивающиеся в виде дедуктивного анализа содержания понятий.

ности, ботанику, биологию, анатомию³⁷. Он критикует Дильтея за подобное отождествление естествознания с механистической моделью познания, и именно в этом видит причину противопоставления естественных наук наукам о духе³⁸. Выражение «метод естественных наук» выполняет у Brentano роль родового понятия, обозначающего всю совокупность методов апостериорных наук. Их частные методики могут рассматриваться как видовые отличия единых для науки принципов эмпирического познания. Выражение «естественные методы познания» приобретает в этом контексте нормативный характер и может пониматься как «правильные» или «продуктивные» методы исследования. Оно, следовательно, обозначает не конкретные методики, но в целом такую исследовательскую практику, которая соотносится с особенностями предмета исследования, примером чего мог бы служить стиль работы самого Brentano. Мы не встречаем у него утверждения одного единственного истинного философского метода, но скорее целый арсенал методических стратегий, которые варьировались в зависимости от сферы исследования: в психологии он практикует дескриптивно-аналитический подход, аналогичный морфологическому анализу в ботанике и биологии; в психологии чувств (*Sinnespsychologie*) опирается на эксперимент и индукцию; в метафизике и теологии на дедуктивно-аналитические процедуры³⁹.

Так же как и в отношении естествознания Brentano дает весьма широкое определение философской науке. К философским он относит те дисциплины, которые прямо или косвенно имеют дело с психическими феноменами. Таким образом, разграничение физических и психических феноменов приобретает у него общетеоретическую значимость, оно не ограничивается лишь целями обоснования психологии, но используется также в качестве основы для определения границ и единства философской проблематики в целом. Оно включает в философию как традиционные дисциплины, которые в силу общности предмета учитывают в том числе и психические феномены, так и специальные психологические или психологически фундированные исследования. В результате Brentano приходит к эклектичному определению философии, которое сохраняет, с одной стороны, аристотелевское понятие философии как общей науки о сущем (метафизика в широком и узком смысле слова), с другой же, дает

³⁷ Штумпф различает на этой основе два общие типа научных закономерностей: каузальные и структурные.

³⁸ Brentano F. *Über die Zukunft der Philosophie // Über die Zukunft der Philosophie*. Felix Meiner, Hamburg, 1929, S. 31 ff.

³⁹ Это замечание принадлежит Э. Тифензее (см. Tiefensee E. *Philosophie und Religion bei Franz Brentano* S. 229–231).

ей определение на основе (по сути картезианского) дуализма физических и психических феноменов. Такая амбивалентная позиция выражает, по нашему мнению, попытку Brentano интегрировать в философию традиционную и современную проблематику с учетом той динамичной ситуации, в которой оказалась немецкая университетская философия в 60–90 годах 19-го века. Это время эмансипации и отделения от философских факультетов естественнонаучных дисциплин и вместе с тем возникновения и бурного развития таких специальных эмпирических направлений исследований, как социология, экспериментальная психология, экономика, которые еще не оформились в качестве самостоятельных наук и все еще принадлежали к канону философии. В этой связи понятно, почему постоянным объектом рефлексии у Brentano и его последователей становится вопрос о единстве философской науки, который решался путем разграничения двух базисных предметных сфер познания — физических и психических феноменов. Психология при этом, оставаясь частной эмпирической наукой, получала значение общепсихологического основания, поскольку именно ей отводилась задача определения и разграничения предметных сфер основных ветвей науки. «Психологизм» брентановской школы служил в этом контексте в качестве эвристического принципа, обеспечивающего институциональное единство философских дисциплин. Brentano, а вслед за ним Штумпф, Марти, Майнонг, не отождествляли, таким образом, философию с определенным типом проблематики или определенной дисциплиной, но понимали под ней комплекс эмпирических специальных исследований, имеющих различные объекты, практикующих разнообразные методы, объединенные лишь базисным единством предметной сферы⁴⁰. Исходя из этого, габилитационный тезис о единстве философского и естественнонаучного метода можно принять в буквальном смысле. В указанных дисциплинах использовался весь арсе-

⁴⁰ Показательна позиция Майнонга: «Если подобному напору уступают, то приходят к пониманию, что “философия” без противоестественного ограничения не может означать одну единственную замкнутую науку, но должна охватывать многие из наук, и мне казалось то, что связывает эти науки между собой и таким образом делает *науками философскими* заключается в том, что все они имеют в качестве предмета либо исключительно внутренние переживания, либо, самое меньшее, также внутренние переживания. Сама психология, а также в не меньшей степени теория познания, логика, этика и педагогика сразу попадают под эту точку зрения, в то же время также метафизика, вследствие универсальности ее постановок вопросов, включает в свою сферу внутренние переживания» (Майнонг А. «Самоизложение» М., Дом интеллектуальной книги, 2003, с. 19).

нал современных методических средств, начиная с эксперимента и заканчивая дедуктивными и структурно-аналитическими процедурами⁴¹.

Внутри канона философских наук Brentano различает практические и теоретические дисциплины. В отличие от Гуссерля, проводившего в «Логических исследованиях» это различие на основе логического анализа форм нормативных и теоретических суждений⁴², Brentano следует аристотелевским принципам классификации указанных типов наук, а именно, исходит из прагматического критерия классификации согласно целям познания. К теоретическим он относит науки, нацеленные на знание как таковое. В корпусе философских дисциплин — это психология и метафизика в широком смысле слова. К практическим или техническим наукам он относит логику (наука о правильных суждениях)⁴³, этику (науку о правильных эмоциях)⁴⁴, эстетику (науку о правильных представлениях). Их цель не просто знание как таковое, но знание в качестве средства достижения тех или иных практических результатов, будь-то в теории познания, будь-то в этических или эстетических предпочтениях. Общим для них является их номотетический характер — они трактуются как нормативные дисциплины⁴⁵, а также то, что все они требуют психологического обоснования. Они не могут быть признаны полностью независимыми от психологии, поскольку должны заимствовать у нее базисные для них понятия психических феноменов. Давая психологическое обоснование

⁴¹ Эта позиция стала, по нашему мнению, методологическим основанием для развития в Brentановской школе экспериментальной психологии, поскольку она также трактовалась в качестве философской дисциплины (см. Stumpf C. Zur Einteilung der Wissenschaften. S. 88–89). Brentano активно ратовал за организацию института экспериментальной психологии в венском университете (Brentano F. Über die Zukunft der Philosophie. Felix Meiner, Hamburg, 1929, S. 52), Марти первый в Австро-Венгрии добился финансирования психологических экспериментов в Пражском университете, экспериментальные психологические лаборатории были организованы Майнонгом (грацкая психологическая школа), Твардовским, Штумпфом.

⁴² См. § 14–16 его «Пролегомены к чистой логике».

⁴³ Идея логики как органа познания, цель которого состоит в том, чтобы дать, по возможности, простые правила правильного суждения, реализуется в Brentановской реформе по упрощению аристотелевской силлогистики.

⁴⁴ На разных этапах к этике приписывались экономика, политика, социальные науки, см. Tiefensee E. Philosophie und Religion bei Franz Brentano. S. 248 Anm. 650).

⁴⁵ Brentano не проводит, в отличие от Гуссерля, различия между нормативными и техническими дисциплинами.

нормативных дисциплин, Brentano дистанцируется от современных ему радикальных натуралистических (в духе раннего неокантианства или Фехнера) обоснований теории познания, этики и эстетики. Определение предмета естествознания и психологии на основе различения физических и психических феноменов означало, таким образом, не только обоснование психологии в качестве самостоятельной науки, но и ограничение сферы ведения естественных наук рамками исключительно физических феноменов. Несводимость психических феноменов к физическим подразумевало также независимость от естествознания указанной группы нормативных исследований. На основании психологического обоснования они включаются в канон философских дисциплин. Обоснование научной философии не означает, таким образом, исключения из нее мировоззренческой, нормативной проблематики, но требует, согласно Brentano, ясного разграничения технических и теоретических исследований и установления между ними определенной субординации, а именно, практические дисциплины предполагают теоретическое, т. е. психологическое обоснование⁴⁶. Примером этого служат собственные брентановские усилия по разработке логической и этической аксиоматики на основе психологической дескрипции суждений и эмоций⁴⁷. Но в отличие от радикальных форм психологизма, признававших логику частью психологии, Brentano, Марти, Штумпф рассматривали их скорее как смежные дисциплины (*Nebendisziplin*)⁴⁸ с односторонней зависимостью. Они взаимодействуют согласно общей схеме научной кооперации, т. е. речь идет о заимствовании истин и понятий подобно тому, как это происходит между другими науками. Фундирующая роль психологии сводится к понятийному анализу элементарных психологических понятий, которые используются также в нормативных дисциплинах. В ответ на упреки в психологизме, Марти подчеркивал принципиальную несводимость логических законов к законам психологии. Он различает их соответственно как нормативные принципы и законы реального причинения (отождествляет, таким образом, в этом контексте законы психологии, с законами каузальной необходимости). Он не согласен также с тем, что из психологического обоснова-

⁴⁶ «В самом деле, они извлекают из психологии, совершенно так же, как искусство машиностроения, искусство агрономическое и медицина из теоретической части естествознания, свою наиболее существенную пищу» (манускрипты М 96, 32078, М 18, 30217 цитируются по Tiefensee E. *Philosophie und Religion bei Franz Brentano*. S. 248 Anm. 650).

⁴⁷ См. например Ф. Brentano «О происхождении нравственного познания». Алетейя, Санкт-Петербург, 2000, с. 46 сл.

⁴⁸ Выражение Штумпфа (см. Stumpf C. *Zur Einteilung der Wissenschaften*. S. 87).

ния логики и нормативной трактовки ее законов следует, что логические законы должны предполагать существование психического или содержать в себе суждения о психических фактах (см. третье следствие психологизма у Гуссерля в «Прологоменах» § 23). Вслед за Brentano он трактует логические законы, подобно всем аподиктическим суждениями, как негативные суждения, которые не содержат никаких фактических предположений или утверждений⁴⁹.

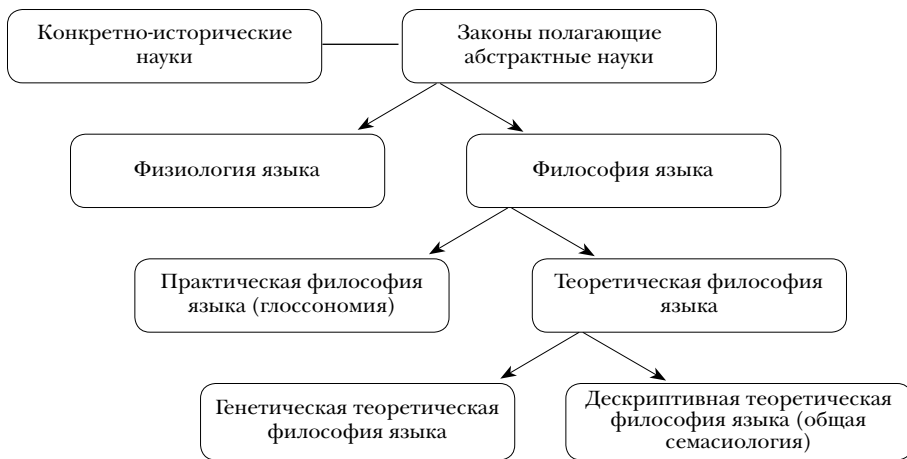
Марти проецирует с небольшими модификациями брентановскую систему наук в сферу языкознания. В «Исследованиях основания общей грамматики и философии языка» исходным является различие «конкретно-исторических наук» и «законы полагающих абстрактных наук». Первые – это дисциплины, имеющие дело с историей языка, предмет которых образуют исторические индивидуальные факты, вторые – это науки, нацеленные на установление общих и необходимых закономерностей в языковых явлениях. Последние распадаются на две ветви: физиологию и философию языка. Образцом физиологии языка для Марти служило течение младограмматиков, редуцировавших лингвистические исследования к изучению фонетических изменений, в основу которых они полагали физиологические механизмы. «Философскими, пишет Марти, являются исследования психологов, а также все исследования направленные на общее и закономерное, *которые должны опираться на них и примыкать к ним в том отношении, что их объединение в единых руках вместе с психологическими исследованиями требуется в интересах целесообразного разделения труда*»⁵⁰. И далее: «На основе моего понятийного определения философии... мы теперь можем сказать относительно философии языка, что к ней принадлежат все касающиеся общего и закономерного в языковых явлениях проблемы, которые оказываются объединенными эвристической взаимопринадлежностью в той мере, в какой они либо имеют психологическую природу, либо не могут быть решены без преимущественной помощи психологии»⁵¹. Как видно в основе его определения философии языка лежит брентановское разграничение естественных наук и психологии. Он выводит за ее рамки проблематику, связанную с физикалистскими процессами. Отсюда ясно также, почему физиологии или естественнонаучному исследованию языка Марти противопоставляет

⁴⁹ Marty A. Untersuchungen... S. 7, 10. Например, общеутвердительное категорическое высказывание «все люди смертны» выражает на самом деле, согласно Brentano, экзистенциальное негативное суждение «не существует бессмертного человека».

⁵⁰ Marty A. Untersuchungen... S. 6.

⁵¹ Marty A. Untersuchungen... S. 19.

не психологию как таковую, но в целом комплекс философских дисциплин, имеющих дело с языком. Психология обеспечивает единство корпуса этих дисциплин и является его важнейшей, но не единственной частью. Философия языка делится на практическую и теоретическую. В практическую часть или, как ее называет Марти, «глоссономию» входят дисциплины, рассматривающие язык с «практико-номотетической» точки зрения. Здесь объединяются нормативные дисциплины как логика, эстетика, этика, рассматривающие язык в контексте тех или иных прикладных (гносеологических, морально-политических, эстетических) требований. Теоретическая философия языка включает генетическую и дескриптивную философию языка. Общая схема Марти наук о языке следующая:



Своеобразие этой классификации, в сравнении с современными ей подходами, состоит в том, что, несмотря на разделение конкретно-исторических и абстрактных наук, Марти не исключает из последних, как это имело место у Пауля, генетической проблематики развития языка. В теоретической философии языка наряду с дескриптивным он выделяет также генетический подход. Это означает также, что генетическая проблематика не редуцируется как у младограмматиков к физиологическим законам фонетических изменений, а остается в рамках философии языка, т. е. предполагает существование психологических законов его эволюции.

В основе различия генетической и дескриптивной частей теоретической философии языка лежит брентановское разделение генетической и дескриптивной психологии. Brentano исходил из традиционной для начала 19-го века классификации наук на объясняющие (каузальные) и описательные (к последним относились география, ботаника, зоология,

минералогия). Он проводит, в частности, аналогию с принятым вплоть до середины 19-го века делением геологии на «дескриптивную» или геогнозию и «динамическую», и даже называет дескриптивную психологию по аналогии с геогнозией психогнозией⁵². Новизна его подхода состояла не в самой классификации, а в переоценке эпистемиологической значимости, которой обладает дескрипция в психологической сфере. Если позитивистски ориентированные психологи, как Дж. Ст. Милль или Бейн, не относили дескрипцию к познанию в строгом смысле слова, но оценивали ее лишь как вспомогательную и подготовительную процедуру, а теоретическое познание отождествляли с каузальным объяснением, то у Brentano она вводится в контексте иной объяснительной схемы. Цель дескрипции, согласно ему, заключается в выявлении базисных (простейших) элементов психических явлений и в установлении возможных способов их взаимосвязи. Однако отношения между «элементами сознания» описываются им не в терминах каузальных связей, но как отношения взаимозависимости и импликации (взаимная или односторонняя отделимость/неотделимость элементов друг от друга). Иначе говоря, речь идет не о каузальном объяснении феноменов сознания, но об экспликации их собственной структуры, по существу, условий возможности тех или иных типов предметности. Дескрипция не сводится, таким образом, к установлению неизменных признаков явлений и их номенклатуры. Цель ее в том, чтобы прояснив психологические понятия (в том числе установив исчерпывающий перечень простейших данных («элементов») сознания), затем аналитически, исходя из их собственного содержания, установить возможные и необходимые способы их связи. Дескриптивная психология постулируется как априорная, т. е. аналитическая дисциплина подобная математике (аналитика психологических понятий), которая также как математика, теоретическая физика претендует на статус точной

⁵² У Вевеля в «Истории индуктивных наук астрономии, физики, механики, химии, геологии и т. д. с самых ранних начал вплоть до нашего времени» (1841) «дескриптивная геология» понималась как дескрипция различных минералов, драгоценных металлов, земных слоев, которая предшествует каузальному объяснению их возникновения. См. Whewell W. Geschichte der induktiven Wissenschaften der Astronomie, Physik, Mechanik, Chemie, Geologie etc. von den frühesten Anfängen bis zu unserer Zeit. Stuttgart, 1841, III. Teil. Подробно об этом Hedwig K. Deskription. Die historischen Voraussetzungen und die Rezeption Brentanos // Brentano Studien. Würzburg, 1989, Bd. 1. Marek J. Ch. Psychognosie – Geognosie. Apriorisches und Empirisches in der deskriptiven Psychologie Brentanos // Brentano Studien. Würzburg, 1990, Bd. 2. А также Brentano F. Deskriptive Psychologie, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1987, S. 6, 128.

науки⁵³. В отличие от физиологии, с ее каузальным гипотетическим объяснением, основанном на индуктивных обобщениях, дескриптивная психология претендует на установление абсолютно достоверных аподиктических истин. Она также логически предшествует генетическому подходу, поскольку последний заимствует у нее психологические понятия.

Марти определяет генетическую философию языка как дисциплину о развитии языка, дескриптивная же философия языка или «общая семасиология» понимается им как наука о функциях и значении языковых средств. Подобно Brentano, он отдает приоритет дескриптивному исследованию. Общая семасиология образует важнейшую и базисную часть философии языка. Однако, в отличие от других учеников Brentano, в частности от Штумпфа и Гуссерля, Марти на практике не отождествляет дескрипцию со структурно-аналитическим исследованием феноменальных данных сознания или значений. Этим отчасти объясняется расхождение в проектах универсальной грамматики Марти и Гуссерля, речь о котором пойдет ниже. По крайней мере, в рамках его философии языка дескрипция не совпадает с какой-либо одной определенной методической или эвристической моделью, поэтому, различие генетического и дескриптивного подходов не подразумевало здесь прямого противопоставления каузального и структурно-аналитического объяснения, как это было у Brentano. Указанное различие ближе сосюрловскому размежеванию диахронической и синхронической проблематики, внутри которых также проводилась дифференциация методических моделей. Хотя, в отличие от Соссюра, Марти даже по методологическим соображениям не противопоставлял генетическую и дескриптивную точки зрения, а продолжал трактовать их в духе брентановской схемы не как взаимоисключающие, но как поддающиеся интеграции взаимодополняющие подходы.

⁵³ Тот факт, что к 19-му веку статус точных наук закрепился исключительно за математическим и физикалистским познанием, является для Brentano выражением не только ненаучного состояния философии, но и в принципе ошибочности принятых принципов классификации наук. Об этом свидетельствует первый габилюационный тезис, в котором он возражает против противопоставления точных и спекулятивных наук, имея в виду под последними теоретическое познание, т. е. в том числе и философию. См. Brentano F. Die Habilitationsthesen // Brentano F. Über die Zukunft der Philosophie. Felix Meiner, Hamburg, 1929, S. 137. См. также подробнее о понятии «спекуляции» и «точных наук» у Sauer W. Erneuerung der philosophia perennis: Über die ersten vier Habilitationsthesen Brentanos // Skizzen zur Österreichischen Philosophie (hrsg. R. Haller) Amsterdam-Atlanta, GA, 2000 S. 121–122; и у Tiefensee E. Philosophie und Religion bei Franz Brentano. A. Franke Verlag, Tübingen-Basel, 1998, S. 63–68.

«Нативизм» и «эмпирико-телеологическое понимание языка»

В философии языка Марти прослеживается та же характерная тенденция, что и в философии Brentano в целом, а именно попытка синтезировать традиционную проблематику с современными методическими моделями исследования. У Марти это выражается в установке на эмпирическое обоснование философии языка, и вместе с тем в обращении к проблематике, традиционной для языкознания 18-го века, ассоциировавшейся в науках о языке 19-го века скорее с преднаучной стадией развития наук о языке.

Следуя эмпирической установке, Марти критически оценивает «органицистские» модели языка 19-го века. В частности, он критикует за спекулятивные конструкции и допущения концепции В. ф. Гумбольдта и романтиков, представлявших язык как самостоятельный организм и определявших его как эманацию народного духа, творческий акт мышления и т. д. Его не удовлетворяют также более современные модели младограмматиков, трактовавших развитие языка по аналогии со становлением естественного организма, как подчиненное слепо действующим каузальным законам, независимым от воли индивида. Подобный подход не учитывает социального характера языка, а именно это было исходным постулатом исследований самого Марти. Язык может и должен быть понят по аналогии с прочими социальными явлениями. Философия языка должна, следовательно, предложить такую модель развития и функционирования языка, которая также могла бы быть применена при объяснении возникновения и развития других социальных институтов⁵⁴.

Марти возвращается к традиционной для языкознания 18-го века проблематике происхождения языка. С этой генетической точки зрения он дает ответ на вопрос о его природе и способе функционирования. Главным объектом критики для него становятся теории Штейнталя, Лазаруса, Вундта, которые объединяются им под общим термином «нативизм». Нативизмом он называет мнение, согласно которому «... возникновение языка нельзя объяснить без предположения, что у первобытного человека благодаря восприятиям, которые он испытывал, совершенно произвольно и благодаря некоему уже врожденному психическому механизму вызывалось определенное число ономапоэтических (самих по себе понятных) звуков и жестов (“языковой рефлекс”»». И далее он продолжает: «Я со своей стороны пытался обойтись без этого бездоказательно предположения (эмпиризм) и отводил уже для самых ранних стадий возникновения языка решающую роль потребности в сообщении и моти-

⁵⁴ Эту идею Марти обосновывает в «Die Frage nach der geschichtlichen Entwicklung des Farbensinnes», Gerold, Wien, 1879.

вированному благодаря ей *намеренному* образованию средств обозначения (не только в противоположность к нативизму, но также ко многим эмпирикам — теории случайности Гайгера), все же, вместе с тем, я также решительно отказывался предписывать тот выбор и образ языковых знаков какому-либо планомерному расчету или рефлексии (теории изобретения)»⁵⁵. Нативизм обозначает теории, которые видели исток языка в произвольных, инстинктивных рефлекторных реакциях на те или иные ситуации и состояния как, например, плач, крик от боли или от страха, и трактовавшие подобные самовыражения в качестве естественных, первичных, само собой разумеющихся знаков. Такие теории Марти считает неудовлетворительными по двум принципиальным соображениям. Их объяснения базируются на гипотетических допущениях эмпирически непроверяемых механизмов и способностей⁵⁶. Во-вторых, они не учитывают коммуникативный характер языковых сообщений. Марти уступает в том, что первые языковые выражения могли быть бессознательным и рефлекторным выражением душевных состояний. Однако, выражения становятся языковыми знаками в собственном смысле слова лишь тогда, когда они намеренно создаются и используются в целях сообщения и взаимопонимания. Намеренность является существенным признаком языкового сообщения как такового. Происхождение языка может быть объяснено не путем редукции современных языковых средств к предполагаемым примитивным состояниям, но на основе описания психических способностей субъектов коммуникации и коммуникативных функций языка.

Ориентиром для Марти служили коммуникативные теории языка 18-го века, рассматривавшие его как инструмент коммуникации, воплощенный в чувственной форме. С учетом того, что в философии 19-го века постепенно слабел интерес к коммуникативной концепции, можно сказать, что Марти вступает в оппозицию к доминирующей тенденции современного ему языкознания и стремится к реабилитации традиционного для 18-го века инструменталистского учения о языке⁵⁷. В его понимании: «Язык — это органон, который, как любой инструмент, может быть постигнут из целей или задач, которые он должен выполнять...»⁵⁸. Свою позицию он обозначает как «эмпирико-телеологический» подход. Его

⁵⁵ Marty A. *Selbstanzeige der zehn Artikel Sprachreflex* // *Gesammelten Schriften*, 1. Bd., 2. Abt., S. 307.

⁵⁶ Marty A. *Über den Ursprung der Sprache*, Stuber, Würzburg, 1875, S. 63–68.

⁵⁷ См. Spinicci P. *Phänomenologischer Objektivismus und Sprachpragmatik: Grundkonzepte der Sprachauffassung Anton Martys* // *Zeitschrift für Semiotik*, Bd. 23, Heft 1 (2001), S. 40–41.

⁵⁸ Marty A. *Untersuchungen...* S. 53.

своеобразие становится наглядным на фоне современных ему тенденций. Обоснование языкознания в качестве строгой науки в 19-ом веке шло по пути развития эмпирических, главным образом сравнительных и филологических методов. При этом исследование не выходило за рамки языкового материала, все факторы, лежащие за его пределами, оказывались для него irrelevantными⁵⁹. Телеологическое же понимание языка как инструмента, организованного для выполнения определенных коммуникативных целей, вовлекает в поле зрения субъектов коммуникации и предполагает, что исследование должно принимать в расчет внеязыковые коммуникативные потребности и эффекты. Прагматический аспект, а именно коммуникативные намерения и эффекты образуют отправную точку исследования. В отношении к ним устанавливаются функции, которые должен быть способен выполнять язык, чтобы служить средством социальной коммуникации. Также сама упорядоченная структура языка должна быть понята исходя из способов его употребления в тех или иных коммуникативных целях.

Базисным для критики нативизма у Марти является различие первичных и вторичных интенций⁶⁰: «... изъявление [Kundgabe] собственной психической жизни не есть единственное и первичное из того, что интендировано при намеренной речи [Sprechen]. То, что преследуется в первую очередь — это скорее определенное влияние или управление чужой душевной жизнью слушающего. Намеренная речь является особым видом действия, подлинная конечная цель которого заключается в том, чтобы вызывать в других существах определенные психические феномены. В отношении к этой интенции изъявление или указание процессов в собственном внутреннем оказывается только средством или *l'аrеруоv*, и таким образом, каждая намеренная речь обнаруживает множество сторон и различных способов бытия знаков, и один вид этого намеренного знакового посыла [Zeichengebung] является опосредованным, другой, напротив, в большинстве случаев непосредственным»⁶¹. Таким образом, непосредственно выраженные психические феномены и их содержания не являются тем, что первично интендируется, но играют лишь роль средства для достижения определенных коммуникативных воздействий на чужую психическую жизнь. Возникновение языка должно быть понята исходя из указанных коммуникативных целей. Развитие языка представляется им как множест-

⁵⁹ Aarsleff H. From Locke to Saussure. Essay on the Study of Language and Intellectual History. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1982, p. 303.

⁶⁰ Феномен интенциональности в философии языка Марти обозначает, таким образом, структуру коммуникативных намерений.

⁶¹ Marty A. Untersuchungen... S. 284.

во индивидуальных нововведениях, каждое из которых является намеренным изобретением определенной языковой формы для выполнения сиюминутных прагматических задач. Эти нововведения принимаются или нет языковым сообществом, которое отбирает более приемлемые (удобные) формы. Тем самым он подчеркивает в отличие от нативистов, что языковые формы изначально носят конвенциональный и произвольный характер и не могут быть редуцированы к каким-либо естественным (врожденным) диспозициям. В принципиальных чертах эта концепция эволюции языка воспроизводит дарвиновскую модель эволюционного развития, имеющего вид естественного отбора путем проб и ошибок более приспособленных к конкретным потребностям языковых форм. Но в отличие от концепций 18-го века, в частности Тидеманна, Марти не уподобляет развитие исторических языков с конструированием искусственного научного языка. Развитие исторически сложившихся языков носит непланомерный характер, оно хотя и имеет вид множества сознательных нововведений, однако таковые делаются без учета языка как целого. «Не на основе исчерпывающего анализа подлежащей выражению душевной жизни и ее содержания и не посредством пронизательного расчета целесообразных форм обозначения для нее, но сначала в связи с весьма примитивной душевной жизнью, возвышая ее и возвышаясь в свою очередь ею, шаг за шагом приспособляясь к ее совершенству, выросли наши народные языки; из бесплановых вкладов многих, каждый из которых имел в виду лишь устранение затруднений для сиюминутной потребности в понимании, и ни один целое задач. И целесообразность и единство, которые все же обнаруживает возникшее таким образом целое, есть результат естественной борьбы за бытие и постоянного отбора более употребимого из различных испробованных средств и методов...»⁶².

Проводимое Марти различие нативистского и эмпирико-телеологического подходов выходит по своей значимости за рамки проблематики происхождения языка и даже в целом общей теории языка. Хотя сам Марти не увидел здесь возможности рассмотреть их как разные методологические и дисциплинарные подходы. Он персонифицирует нативистскую позицию с теориями Штейнталя и Вундта и в целом оценивает ее как ложную трактовку происхождения языка. Вместе с тем, нативизм, если рассмотреть его как общую исследовательскую стратегию, представлял собой попытку постичь язык по аналогии с естественными феноменами на основе каузальной объяснительной схемы. Критика Марти фактически ставит под вопрос применимость подобной модели к языку. Хотя сам

⁶² Marty A. Über das Verhältnis Grammatik und Logik // Gesammelten Schriften, Halle, 1920, 2. Bd., 2. Abt., S. 62.

Марти не пришел к такому широкому обобщению своей критики и следовал брентановскому компромиссному определению философии языка — она является частью наук о языке, имеет вместе с ними единый предмет и метод, и отличается от них точкой зрения, т. е. тематизируемой в ней проблематикой⁶³. В центре его внимания была современная ему оппозиция спекулятивных и эмпирических наук, которой он стремился избежать, доказывая эмпирический характер всех научных исследований языка и выдвигая на первый план психологическое обоснование философии языка. Понятно, что в ситуации, когда философское исследование ассоциировалось со спекуляцией, Марти всячески избегает дифференциации между философией и естественными науками по методу и следует брентановскому постулату об их методологическом единстве. Вместе с тем, на деле дифференциация между естественнонаучным и философским подходом к языку проводится у него не только на основе их размежевания по предмету и проблематике, и следовательно, не только путем психологического обоснования философии языка (см. исключение из философии языка физиологии), но также с методологической точки зрения, в чем нам как раз видится первоочередная ценность критики нативизма. Исходным в определении собственного предмета философии языка является у Марти различие естественных и искусственных знаков⁶⁴. Язык в собственном смысле слова — это намеренно образованный искусственный знак. Его организация и способ бытия в качестве языка определяется теми целями, которые ставят перед ним субъекты коммуникации. Таким образом, язык понимается как телеологическое образование, это инструмент, инструментальная природа которого не может быть выявлена путем описания его физикалистских свойств (физиологический подход младограмматиков), каузально-механистического объяснения его генезиса (нативизм) или структурно-аналитического исследования организации его элементов (Гуссерль). Фактически Марти трактует язык как артефакт, который может быть понят в своем собственном бытии лишь с учетом тех целей и тех прагматических задач, для которых он создается и которые выполняет. Это означает, что язык в своем существе не может быть понят без тематизации его связи с интерактивным сообществом, организующим его в соответствие с собственными коммуникативными потребностями. Он не может быть адекватно понят без учета его прагматических аспектов. Объектом исследования у Марти становится речь, понятая как вид коммуникативного действия, которое описывается с учетом как коммуникативных намерений говорящих, так и коррелятивных им коммуникативных

⁶³ Marty A. Untersuchungen... S. 4–5.

⁶⁴ Там же S. 3–4.

эффектов у слушающих. Тем самым накладывается ограничение не только на каузальную модель объяснения нативистов, но и на структурно-аналитическую модель исследования Brentano, позднее использовавшуюся Гуссерлем для построения «чисто логической грамматики». У Марти язык не объективируется как некое замкнутое целое структурных взаимосвязей значений или знаков. Его дескриптивная теория значения, как мы покажем далее, не ограничивается структурно-аналитическим исследованием семантических и грамматических форм (что говорит также о многозначности понятия дескрипции в Brentano-ской школе). Такого исследования еще недостаточно, чтобы схватить язык в его инструментальной функции. Марти предлагает функционально-телеологическую модель исследования языка аналогичную функциональной модели, которая развивалась в Пражском лингвистическом кружке⁶⁵. Функции языка определяются исходя из тех задач, которые он выполняет в качестве средства коммуникации. Как мы увидим далее, Марти дает им психологическую трактовку, отождествляя коммуникативные задачи с коммуникативными намерениями субъектов коммуникации. И вместе с тем, предложенная им модель имеет общетеоретическое значение, поскольку она может использоваться в других гуманитарных дисциплинах, предмет которых образуют артефакты⁶⁶. Сам Марти считал возможным использовать эту модель для объяснения также других социальных институтов, можно сказать, что философия языка выступает у него как основа общей теории артефактов, выполняя функцию ее общеметодологического обоснования.

Общая семасиология

С начала 90-х годов в работах Марти происходит существенная переориентация – генетическая проблематика вытесняется проблемами общего дескриптивного учения о значении. Его разработку Марти рассматривает как приоритетную цель философии языка. В центре его интересов оказывается «теоретическая дескриптивная философия языка» или «общая семасио-

⁶⁵ На универсальную теоретико-методологическую ценность телеологической концепции языка Марти и ее связь с Пражским кружком обращает внимание Д. Мюнх (см. Münch D. Roman Jakobson und die Tradition der neuaristotelischen Phänomenologie // Prager Strukturalismus. Methodologische Grundlagen. Hrsg. M. Nekula, Heidelberg, 2003, S. 152–153).

⁶⁶ Практически эта идея была реализована в Пражском лингвистическом кружке, в котором функционально-телеологическая модель, первоначально развитая в фонологии, была применена также в поэтике, литературоведении и общей эстетической теории художественных объектов (Мукаржовский).

логия». В систематической форме стоящий перед ней круг задач формулируется в «Исследованиях по основанию общей грамматики и философии языка»: «Язык — это органон, который, как любой инструмент, может быть постигнут из целей или задач, которые он должен выполнять, и поскольку семасиология имеет его в виду в качестве средства выражения для психических процессов в говорящем и соответствующего управления чужой душевной жизнью, то она — чтобы подняться до уровня общего рассмотрения — должна представить требования, которые, говоря просто, предъявляет к языку такая цель сообщения»⁶⁷. Поскольку Марти рассматривает язык как инструмент для выражения говорящим собственных психических феноменов и их содержания, а также для инициации аналогичных феноменов у других, фундамент общей семасиологии образует дескриптивная психология, цель которой Марти видит, подобно Brentano, в выявлении основных элементов данных сознания (его возможных предметов), а также в систематизации и экспликации возможных способов их взаимосвязи: «Все что выражает язык, есть [...] психические отношения и их объекты. Кто обладает правильным общим понятием о них, обзревает тем самым также все семантические возможности, которые могут быть реализованы когда-либо в каком-либо языке»⁶⁸. Задача общей семасиологии состоит в том, чтобы определить те функции и языковые (грамматические) формы, которыми с необходимостью должен был бы обладать язык, если бы он был полной [lückenlos] системой выражения всех возможных первичных и вторичных семантических категорий, т. е. всей совокупности психических феноменов и их возможных объектов⁶⁹. Иначе говоря, она должна показать необходимые языковые формы, которыми должен был бы обладать язык, чтобы быть совершенным средством коммуникации. Задачи общей семасиологии частично совпадают с целями дескриптивной психологии. Она сначала должна определить основные семантические категории, т. е. основные виды того, что доступно выражению в языке. Для этого в совокупности психических данных должны быть установлены простейшие элементы и возможные способы их взаимосвязи. В этой части метод общей семасиологии совпадает с Brentano-ской идеей дескрипции, как анализом данных сознания с целью создания их общей морфологии и теории их отношений. Отличие же от психологии начинается там, где сема-

⁶⁷ Marty A. Untersuchungen... S. 53.

⁶⁸ Marty A. Über Wert und Methode einer allgemeinen beschreibenden Bedeutungslehre. Ed. O. Funke. Bern, Franke, 1950, S. 41.

⁶⁹ Если бы он был «полным целым выразительных средств для фундаментальных категорий того, что должно в нем выражаться (или логических категорий в этом более широком смысле)» Marty A. Untersuchungen... S. 53–54.

сиология приступает к выполнению ее собственной задачи, т. е. к определению возможных семантических категорий, для чего недостаточно психологической дескрипции как таковой. Для этого эксплицированные в ходе психологического анализа феномены должны быть соотнесены со знаковой структурой языка, должно быть определено, какие из них поддаются трансляции в языковом сообщении⁷⁰. Далее семасиология должна установить адекватную корреляцию между семантическими и грамматическими формами. Иными словами, должен быть разработан идеальный язык или идеальная грамматика, которая была бы полной и адекватной репрезентацией возможных семантических форм. «Пожалуй для взгляда психологического аналитика комплексное целое психических состояний нашего сознания и их содержаний распадается на определенное число далее неразложимых элементов, которые частью являются действительно отделимыми и встречаются отдельно [друг от друга], частью также лишь различимыми, в которых нельзя выделить стороны, поддающиеся дальнейшему анализу. И планомерно сформированный на основе подобной, по выражению Brentano, “микроскопической анатомии сознания и его содержаний” научный язык будет воспроизводить посредством элементарных знаков такие элементы и стороны подлежащего в нем выражению содержания и достигать выражения их константного совместного существования или меняющейся связи посредством сформированной согласно твердым правилам связи таких элементарных знаков. И он изображал бы, насколько это возможно, внутреннее плетение запутанной паутины нашей психической жизни в синтаксисе средств выражения»⁷¹. Объектом семасиологии являются не конкретные исторические языки, но идеальный образец языка, понятый как полная и адекватная реализация всех возможных семантических категорий. Для Марти при этом речь не идет лишь о разработке идеальной грамматики с целью адекватной экспликации структур сознания, хотя это также часть задач общей семасиологии как теории значения. На основе подобного идеального языка должны быть установлены универсальные языковые формы, которыми должен обладать любой язык, способный функционировать в качестве инструмента коммуникации. Таким образом, общая семасиология определяет необходимые для любого языка функции, с утратой которых он перестал бы быть языком. Именно поэтому она является базовой частью философии языка в целом.

⁷⁰ Несколько забегая вперед отметим, что, несмотря на коммуникативную концепцию значения, анализ функции изъяснения и ее возможного содержания оказывается необходимым условием для определения семантических категорий.

Теория значения Марти в этом отношении остается психологической.

⁷¹ Marty A. Untersuchungen... S. 59.

Есть определенное сходство проектов общей семасиологии Марти и «чисто логической грамматики» Гуссерля, представленной в «Логических исследованиях». На него обращает внимание сам Марти⁷². Оно заключается в общей установке на исследование универсальных и необходимых языковых форм (Марти признает заслугой Гуссерля его усилия по реабилитации проблематики универсальной грамматики), в общей исторической ориентации на рационализм 17–18 веков. К этому также можно добавить, что оба проекта в части их методической реализации восходят к единой отправной точке – брентановской модели дескрипции, которая ведется у обоих в терминах фундирования и импликации. Но вместе с тем эти проекты имеют существенную разницу. «Логическая грамматика» Гуссерля была призвана установить априорные условия возможности языка как такового, а именно логические условия осмысленности предложений. Таким образом, речь в ней идет о необходимых логических структурах, которые в той или иной форме воплощаются в каждом языке. Марти полагает, что: «Все же едва ли возможно дать общезначимое и четкое определение того, в какой точке двусмысленность или неточность или неполнота грамматических средств превращает трудность или ненадежность сообщения в [его] полную невозможность. И тем более, что также мера требований, которая фактически предъявляется к различным из исторически данных языков, является часто меняющейся и колеблющейся»⁷³. Границы необходимого для языков могут быть определены лишь в виде крайних пределов с учетом исторически изменчивых предъявляемых к ним прагматических требований. Если Гуссерль мыслит априорные формы, которые должна выявить его логическая грамматика, как необходимые и общезначимые границы возможных модификаций структуры языковых выражений, а сами структуры сравнивает с каркасом, который присутствует в каждом из языков и как бы наполняется в них различным эмпирическим содержанием (переодевается), то для Марти идеальный язык общей семасиологии есть полная система возможных элементарных значений и языковых функций, которая выступает по отношению к конкретным историческим языкам в качестве совершенного образца или идеала, к которому они более или менее близко приближаются. Он служит эвристической моделью для понимания естественных языков⁷⁴. Общим, несмотря на эти расхождения, остается то, что оба мыслителя признают логический приоритет универсальной

⁷² Marty A. Untersuchungen... S. 56 ff.

⁷³ Marty A. Untersuchungen... S. 55.

⁷⁴ Идеальный язык разрабатывается Марти не в целях создания совершенного языка науки, но для объяснения способов функционирования естественных языков. Несовершенство последних понималось не как несоответствие

грамматики в отношениях с другими науками о языке. У Гуссерля логическая грамматика и конкретные исследования языка должны соотноситься между собой также, как в целом должны соотноситься, по Гуссерлю, априорные и эмпирические дисциплины – первые выполняют роль концептуального и методологического обоснования последних; общая семасиология у Марти должна была давать образец для понимания естественных языков и задавать общий шаблон для их сравнительного анализа. Эти проекты сходятся между собой в их ориентации на традиционную идею универсальной грамматики, которая должна была определить общие для всех языков формы, независимые от исторических модификаций конкретных языков.

Но несмотря на эту общую ориентацию, они исходили из весьма различных трактовок соотношения мышления и языка. Гуссерль считал преувеличенным жесткое брентановское разграничение языковых (грамматических) и логических форм, и следовал скорее больцановской трактовке этого вопроса – он критикует тезис о прямом параллелизме между мышлением и языком, но вместе с тем признает, что синтаксические структуры языка отражают базисные логические различия. Таким образом, путем анализа базисных логических форм может быть установлена идеальная структура языка вообще. Марти остался верным брентановской идиогенетической теории суждения и связанному с этим резкому противопоставлению грамматических и логических форм. Кроме того, с телеологической точки зрения отношение мышления и языка мыслится не как отношение печати и отпечатка, но цели и средства. При этом системная структура языка должна быть понята исходя из анализа конкретных коммуникативных требований. Марти, к примеру, не отрицает, что синтаксические структуры могут отражать структуру значений, но вместе с тем дает прагматическую трактовку происхождения синтаксических форм. Исток синтаксической структуры языка он видит в конечности способностей человека. В силу ограниченности человеческой памяти невозможно использовать неограниченное количество знаков, в связи с чем возникает необходимость обходиться в коммуникации ограниченным числом знаков, что привело к тому, что вместо введения новых обозначений уже данные слова стали объединяться в синтаксические связи, получая при этом новые значения. Таким образом, для Марти исток синтаксических форм лежит не в отношениях зависимости значений в сложных семантических образованиях, как это имело место у Гуссерля, но в функции экономии выразительных средств.⁷⁵

тем или иным требованиям научного познания, но как неполнота языковых средств или их неудобство для удовлетворения коммуникативных задач.

⁷⁵ То, что язык оформлен синтаксически «... вовсе не является лишь следствие сложного соединения выражаемого содержания и более или менее совершен-

Он также отказывается определять семасиологию как чистую или априорную дисциплину. Более подходящим ему видится термин «общая семасиология». Это связано как с различием понятия *A priori* у Гуссерля и Марти, так и с расхождением в проблематике, которую они ставят перед универсальной грамматикой. Марти, вслед за Brentano, отождествляет априорное познание с аналитическими суждениями и полагает, что любая научная дисциплина содержит так понятый комплекс априорных истин, в том числе общая семасиология. Поэтому он не признает гуссерлевскую классификацию наук по принципу априорные / эмпирические и отказывается выделять априорные знания в особую ветвь теоретического познания⁷⁶. Предметом общей семасиологии являются психические данные и общие языковые функции, таким образом, это эмпирическая наука основанная на дескриптивной психологии. Априорный анализ отношений взаимозависимости значений и языковых функций образует важную, но не единственную задачу семасиологии. «Общая грамматика должна описать [...] не только общие всем языкам задачи, общие базисные линии и особенности того, что подлежит выражению во всех человеческих языках или его повсеместно совпадающие категории, но также указать, что общего можно увидеть в отношении метода, которым такие задачи повсеместно удовлетворяются. И это не только не познаваемо *a priori*, но [...] вообще не познаваемо через рассмотрение области значений»⁷⁷. Марти ставит перед общей семасиологией две принципиальные задачи: определить основные семантические категории, связанные с ними языковые функции и исследовать универсальные способы их реализации. Под последними он имеет в виду способы реализации функций языка, обусловленные реальными обстоятельствами их употребления, прежде всего, психическими способностями носителей языка (дополнение теории значения критикой понятия «внутренней языковой формы» является примером такого анализа универсальных способов реализации языком его функций)⁷⁸.

ного сознания этой структуры у тех, кто формировал язык, но еще более является следствие стремления к экономии знаков или сбережению памяти» Marty A. *Untersuchungen...* S. 59 (см. также S. 534, а также его различие логически обоснованной и необоснованной синсемантики, там же S. 212).

⁷⁶ На этом же основании он критикует идею теории предметов как особой априорной дисциплины Майнонга (см. Marty A. *Untersuchungen...* S. 63 Прим. 1, а также S. 64 ff).

⁷⁷ Marty A. *Untersuchungen...* S. 58.

⁷⁸ См. подробно о понятии «внутренней языковой формы» русский перевод «Об отношении грамматики к логике».

Если отвлечься от эпистемиологических различий этих проектов и взять гуссерлевскую идею «логической грамматики» в контексте его концепции наукоучения в целом, то их отношения точнее было бы мыслить не как взаимоисключение, но, скорее, как импликацию более общим проектом «общей семасиологии» Марти более узкого проекта «логической грамматики» Гуссерля⁷⁹. Общая семасиология Марти включает в себя морфологическое учение о значении. Однако, если Гуссерль редуцирует из логической грамматики любые прагматические аспекты использования языка (теория предметов и логическая грамматика должны быть развиты, отвлекаясь от субъективного или ноэтического аспекта познания, отнесенного в «Логических исследованиях» к ведению феноменологии или дескриптивной психологии), то Марти объединяет в рамках общей семасиологии как структурно-аналитическое исследование форм значений, так и психологические исследования прагматических аспектов использования языка⁸⁰. При этом последнее выдвигается у него на передний план. Можно было бы также сказать, что общая семасиология объединяет проблематику, которую сам Гуссерль разделит в «Логических исследованиях» между наукоучением как теоретической и технической дисциплинами⁸¹. Если первая имеет дело с идеальными предпосылками и условиями познания, то вторая исследует реальные способы их осуществления, к каковым относились также символические методы познания, обусловленные нашей психической конституцией⁸². Косвенно это признает сам Гуссерль. В рецензии на «Исследования» Марти он не отрицает права на существование психологической теории

⁷⁹ Бюлер, к примеру, предлагал видеть в проектах универсальной грамматики Марти и Гуссерля не противоположные подходы, которые ставят перед выбором или/или, но взаимодополняющие исследования (см. Bühler K. Anton Marty. Untersuchungen..., S. 950).

⁸⁰ Мы не встречаем у Марти эксплицитного разграничения аналогичного гуссерлевской дифференциации «объективно-логической» и «субъективной», «ноэтической» проблематики (см. в «Пролегоменах» §32, 65), что связано, по нашему мнению, с различной трактовкой понятия значения (см. далее о коммуникативной концепции значения).

⁸¹ Марти, вслед за Brentano, определял логику как нормативную дисциплину и считал излишним ее гуссерлевское дополнение «чистой логикой» как исключительно теоретической наукой.

⁸² См. более подробно о разграничении проблематики теоретического и технического наукоучения у Гуссерля в этом контексте Громов Р. А. «“Слепое” и “Очевидное” у Brentano и Гуссерля (к вопросу об истоках гуссерлевской теории знака)» // Рациональное и иррациональное: грани проблемы. Ростов на Дону, РГУ, 2002, с. 109 сл.

значения (Bedeutung) и подчеркивает отличие в направленности его собственных интересов, которые состояли в том, чтобы «не позволить быть вновь погребенным недавно извлеченному кладу больцановской логики»⁸³, т. е. обосновать абсолютную значимость логических законов.

Коммуникативная теория значения

Язык является инструментом коммуникации и может быть понят, как всякий инструмент, исходя из целей, которые он должен выполнять. Марти видит эти цели в выражении собственных психических феноменов, их содержания и в оказании влияния на психическую жизнь того, на кого направлено сообщение. Он выделяет на этой основе две базовые языковые функции: выражение и значение. Последняя определяется следующим образом: «То, что языковое средство имеет значение или функцию значения, к примеру, [функцию] высказывания, означает для нас, таким образом, что оно предназначено (и в определенных границах также способно) внушать или склонять слушающего к суждению определенного вида»⁸⁴. В языковых сообщениях функции значения отводится приоритетная роль. Знаки, заявляет Марти, в первую очередь интендируются в качестве средств для достижения того или иного коммуникативного эффекта⁸⁵. Функция же выражения играет посредническую роль – с помощью выражаемого психического состояния вызвать требуемое состояние у другого – и является лишь вторично интендируемой. Такое разделение первично и вторично интендируемого можно признать не вполне последовательным, поскольку языковые функции Марти определяет на основании интенций говорящего и здесь можно допустить, что в ряде случаев первично интендируемым может быть именно самовыражение, не преследующее цель коммуникативного воздействия. И тем не менее, Марти настаивает на такой субординации, что явно несет отпечаток полемики с нативизмом.

Термины «значение» и «функция значения» он употребляет как синонимы. Таким образом, вопрос о значении языковых элементов решается через описание того коммуникативного воздействия, которое они оказывают на слушающего. Не корректно было бы отождествлять значение у Марти с успешным коммуникативным эффектом, поскольку цель сообщения достигается не всегда. Можно было бы уточнить его понятие значения следующим образом – это тот коммуникативный эффект, который может интендироваться говорящим и который может быть представлен

⁸³ Husserl E. *Besprechungen...*, S. 263.

⁸⁴ Marty A. *Untersuchungen...* S. 286.

⁸⁵ Marty A. *Untersuchungen...* S. 290.

как таковой тем, к кому обращено языковое сообщение, причем он должен быть понят как требуемый от него на основе языкового сообщения как такового⁸⁶. Людвиг Ландгребе резюмирует следующим образом: «Это совершенное ложное толкование, если понятие значения Марти интерпретируют в том роде, что значение выражения, согласно ему, является психическим феноменом [...]. На основании этой трактовки часто учение о значении Марти критиковалось как психологистское. На вопрос, чем является значение выражения, никогда нельзя, согласно Марти, сказать, что оно является психическим феноменом, но лишь: выражение имеет значение = функцию, вызывать таковой, а именно в целях взаимопонимания. Выражение имеет значение лишь постольку, поскольку оно может выполнять такую функцию или в состоянии содействовать ей. И эта специфическая языковая функция становится возможной только благодаря тому, что знаки являются не только раздражителями, не только вызывают реакции, но благодаря тому, что они вызывают “мысли”. Только на это направлен вопрос Марти о значении и не на то, может ли быть определено “значение” отвлекаясь от этой функции языковых знаков, “есть” ли оно какой-либо психический феномен»⁸⁷. Можно согласиться с этой оценкой. Значение не отождествляется у Марти с выражаемыми психическими феноменами и их содержанием. Это ясно уже на основании различения функции выражения и значения. Это различие учитывает тот факт, что не всегда, к примеру, при выражении эмоций выражаемое чувство совпадает с тем чувством, которое хотят вызвать у другого (выражение боли может преследовать цель вызвать сочувствие и т. п.). Значение также не может быть определено исключительно на стороне говорящего путем психологической дескрипции его состояний («... о языковом сообщении в строгом смысле слова речь может идти лишь постольку, поскольку благодаря ему у слушающего производится равное что у и говорящего психическое переживание...»)⁸⁸. Значение может быть определено лишь в контексте возможности коммуникации и предполагает учет коммуникативных эффектов на стороне воспринимающего речь. Хотя в целом определить значение невозможно без психологической дескрипции, поскольку Марти (за редким исключением) дает исключительно психологическую характеристику интендируемого коммуникативного эффекта — инициация у воспринимающего определенных психических феноменов с соответствующим содержанием.

⁸⁶ Marty A. Untersuchungen... S. 362, 382.

⁸⁷ Landgrebe L. Nennfunktion und Bedeutung. Eine Studie über Martys Sprachphilosophie. Halle, 1934, S. 27–28. Anm. 60.

⁸⁸ Marty A. Untersuchungen... S. 433.

Задача определения базовых семантических категорий решается у него на основе психологии. Марти берет за основу брентановскую классификацию психических феноменов на представления, суждения, феномены любви и ненависти и переносит ее в сферу философии языка. Он выделяет три базовых класса самостоятельных (автосемантических), т. е. имеющих самостоятельное значение, языковых выражений: суггестивы представлений (*Vorstellungssuggestive*), высказывания (*Aussagen*) и эмотивы (*Emotive*). Отношения между ними в целом дублируют те отношения, которые Brentano устанавливал между психическими феноменами. Они не могут быть редуцированы ни к друг к другу, ни к какой-либо иной более простой языковой форме, но сами являются простейшими и несводимыми языковыми единицами. Каждому из них присуща оригинальная функция значения. Таким образом, мы имеем дело у Марти с попыткой развить полифункциональную модель языка — разнообразие языковых функций не может быть редуцировано к какой-либо одной базовой функции. Однако, вместе с тем, языковые функции разных классов выражений, с его точки зрения, могут быть описаны по аналогии друг с другом. Подобно тому, как это делал Brentano, Марти проводит параллель между суждениями и феноменами любви и ненависти, и утверждает на этой основе возможность описать функции эмотивов по аналогии с функциями высказываний и суггестивов представлений. Несмотря на утверждение полифункциональной модели языка, он не отказывается от попытки создать универсальную модель и единую теорию значения, в основе которой лежала бы брентановская психологическая концепция.

Базисным классом автосемантических выражений являются суггестивы представлений, к которым Марти причисляет простейшие и составные существительные («*ein Mensch*», «*die Blumen im Garten*», «*ein rotes Buch*»), субстантивированные прилагательные, имена собственные, субстантивированные указательные местоимения. Их имплицитно как высказывания, так и эмотивы. Теория имени, таким образом, занимает в философии языка Марти центральное место. В суггестивах представлений, как и в двух остальных классах языковых выражений, различаются функции выражения и значения: представления выражают акт представления и иницируют подобный акт у слушающего.

К высказываниям причисляются простейшие тетические предложения типа «*A* есть»⁸⁹, а также повествовательные предложения. Они выполняют функцию выражения акта суждения. «Высказывания, как правило, *означа-*

⁸⁹ Марти разделял брентановскую теорию суждения и критиковал отождествление суждений с предикацией. Базисной формой суждений он считал простые признания («*A* есть») и отрицания («*A* нет»).

ют в широком смысле, что слушающий должен вынести суждение равное по материи и форме тому, которое выражается в качестве имеющего место у говорящего»⁹⁰. Марти не отождествляет понимание с успехом коммуникативного воздействия. Минимальному условию понимания соответствует, если слушающий получил представление содержания суждения, которое намерен вызвать у него говорящий. Достаточно также, чтобы у слушающего возникло убеждение, что у кого-то имеется интенция внушить ему подобное суждение. При этом необходимым условием понимания, соответственно, коммуникативного эффекта не является убеждение в искренности говорящего (в подлинности функции выражения), что объясняет понимание высказываний необдуманых или принимаемых за намеренно ложные⁹¹.

Третий класс образуют эмотивы, к которым относятся просьбы, вопросительные предложения, приказы, призывы. Также в классе эмотивов он различает функции выражения и значения. В этом Марти видит принципиальное отличие своей трактовки эмотивов от гуссерлевского истолкования выражений такого рода. Отличие их взглядов в этом аспекте фокусируется в двух пунктах.

а) Марти утверждает, что Гуссерль, вследствие того, что он не проводит в эмотивах ясного различия функций выражения и значения, трактует их как вид высказываний об эмоциональной и волевой жизни говорящего. По Гуссерлю, они (к примеру, приказы, вопросы, соболезнования) выполняют функцию аналогичную функции окказиональных выражений – дают знать воспринимающему, что акт, который исполняется в данном момент, исполняется в интенциональном отношении к слушающему. Тем самым, подчеркивает Марти, Гуссерлем упускается, что эмотивам присущи принципиально иные, чем суждениям, первичная и вторичная интенции. Они, во-первых, выражают эмоции, во вторых, не сводятся к выражению или описанию внутренней жизни говорящего, а имеют также функцию инициации определенных эмоций и действий⁹². На основании особой функции значения они должны быть признаны самостоятельным классом языковых выражений, а не подвидом или окказиональной модификацией высказываний.

б) Второй момент, в котором Марти расходится с Гуссерлем, состоит в том, что он признает эмотивы выражением самостоятельного класса,

⁹⁰ Marty A. Untersuchungen... S. 291.

⁹¹ Marty A. Untersuchungen... S. 362. Марти трактует понимание, оставаясь в рамках брентановской концепции психических феноменов, он описывает его не как реальное исполнение того или иного акта, который внушает говорящий, но только как простое представление соответствующего акта и его содержания.

⁹² Marty A. Untersuchungen... S. 367–382.

используя терминологию Гуссерля, «объективирующих актов». Чтобы уточнить это утверждение следует иметь в виду амбивалентность понятия значения Марти. Дело в том, что наряду с общим понятием значения, которое понимается как коммуникативный эффект (интендируемое или сознательно инициируемое психическое состояние у слушающего), Марти выделяет в каждом классе языковых выражений также значение в узком смысле. Деление значения в широком и узком смысле у Марти аналогично различию апеллятивной и репрезентирующей функций языка у Бюлера⁹³. Каждый класс языковых выражений наряду с первичной и вторичной интенциями выполняет также функцию репрезентации содержания психических феноменов. Марти проводит различие между предметом и содержанием психических актов и полагает, что каждому типу психических феноменов и, следовательно, языковых выражений соответствует коррелятивный ему тип содержания⁹⁴. Так, в высказываниях предмет суждения репрезентируется как существующий или несуществующий, возможный или невозможный. Значением суждений в узком смысле является бытие, небытие, возможность, невозможность предметов, которые понимались Марти не только как специфическое содержание актов суждения⁹⁵, но и в качестве объективно существующих коррелятов, благодаря которым суждения получают объективную значимость и являются либо истинными, либо ложными. Репрезентирующую функцию выполняют также эмотивы, т. е. они не только выражают и инициируют эмоции, но и преподносят нечто чувству как хорошее или плохое. Они могут имплицировать или вызывать суждения, но это не значит, что их функция значения как в широком, так и в узком смысле может быть редуцирована к суждениям. Специфическим репрезентируемым эмотивами содержанием является, согласно Марти, «ценность» и ее противоположность «незначительная ценность» (Unwert). Следовательно, эмотивы подобно высказываниям выполняют функцию репрезентации, содержат

⁹³ Ф. Лидтке сравнивает его также с различием «иллокутивной цели» и «пропозиционального содержания» в современной теории речевых актов (см. Liedtke F. Meaning and Expression: Marty and Grice on Intentional Semantics // Mind, Meaning and Metaphysics. The Philosophy and Theory of Language of Anton Marty. Ed. K. Mulligan, Kluwer Academic Publishers, 1990, p. 45).

⁹⁴ Это различие аналогично, с учетом ряда модификаций, различию предмета и содержания актов сознания у Твардовского.

⁹⁵ Марти предпочитает вместо использовавшихся Твардовским, Гуссерлем и Майнонгом терминов Sachverhalt или Objektiv выражение «содержание суждения», подчеркивающее коррелятивный характер данного типа значений к актам суждения.

специфическое пропозициональное содержание и могут быть истинными или ложными.

Такая двойственность понятия значения объясняется, на наш взгляд тем, что Марти, с одной стороны, стремился развивать инструменталистскую концепцию языка. Он определяет речь как виды коммуникативных действий, а ее значение в широком смысле как определенные виды коммуникативных эффектов, благодаря чему он развивает полифункциональную модель языка и доказывает, в частности, исходя из различия коммуникативных эффектов, оригинальность каждого из выделенных им классов автосемантических выражений. Вместе с тем он дает исключительно психологическую трактовку самих коммуникативных эффектов (отождествляет их с психическими феноменами и их содержанием) и строит единую теорию значения в рамках брентановской концепции психических феноменов. Согласно этой концепции, эмоции могут быть описаны по аналогии с суждениями и, в конечном счете, могут быть представлены как когнитивные акты особого рода. Поэтому, несмотря на несводимость выделенных классов языковых выражений друг к другу, все они выполняют единую репрезентативную функцию. Репрезентированное содержание получает наименование значения в узком смысле слова. Следствием этого является то, что к эмоциям, также как к выражениям суждений, в равной мере может быть применена истинностная теория значения, т. е. значение в узком смысле может быть определено в качестве того, что объективно существовало бы, если бы высказывание или эмоция были истинными.

ИННА ШПИЛЕВСКАЯ

ДЭВИД ЮМ

«ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА»
В ПЕРСПЕКТИВЕ НОРМЫ
И ПАТОЛОГИИ

Философские тексты Юма скроены на вырост любому обращенному к ним уму. Имея намерение проникнуть в суть — в суть текста, в суть авторской мысли, в суть философского дела, — мы должны попытаться со всей доступной для нас точностью определить координаты возможной встречи нашего постигающего усилия с интеллектуальными усилиями автора, выражающего в языке свою мысль. Одиноким мыслителем Юм, обреченный на свое, казалось бы, «безнадежное одиночество» спецификой присущего ему философского гения — гения подозрения, все-таки стремился к такой встрече, желая быть услышанным и понятым: «... я кажусь себе самому каким-то странным, невиданным чудищем, которое, не сумев поладить и слиться с обществом, было лишено всякого общения с людьми и брошено на произвол судьбы, одинокое и безутешное. Ища прибежища и участия, я желал бы слиться с толпой, но не решаюсь на это в сознании своего уродства; я взываю к людям, приглашая их составить со мной отдельный кружок, но никто не хочет меня слушать»¹.

Войти в строгий мир юмовского одиночества означает стать удачливым истолкователем явно сформулированных Юмом идей, проникнув к смысловым корням его учения. Прокладывая языковое и логическое русло для своей интуиции, ищущей выражения в слове, подбирая подходящий терминологический инструментарий, Юм налаживает опорную структуру явных оппозиций: знание / вероятность, догматизм / скептицизм, разум / опыт, профанное (наивное) / философское и т. д., легко вычитываемых из текста его «Трактата о человеческой природе». Данные

¹ Юм Д. Соч. в 2-х т. — М., 1996. С. 309.

оппозиции, однако, выполняют лишь вспомогательную функцию — функцию методологических «лесов», сподручных логических средств, позволяющих автору развернуть свою аргументацию, артикулировать значимыми для его философской интенции мыслительные ходы. Но они же могут послужить своего рода мостами к имплицитному контексту, к неявной, но единственно подлинной оппозиции, эффективной не только в логико-методологическом отношении и определяющей саму смысловую ось юмовской доктрины.

Вводимая нами терминологическая новация как раз и призвана эксплицитировать и закрепить на понятийном уровне этот смысловой центр философии Юма. Существенное содержание этой философии, по нашему мнению, состоит в тематизации обыденного сознания и выявлении его конституции средствами философского критицизма. Эту конституцию мы предлагаем обозначить термином «норма» и утверждаем, что фундаментальной интуицией Юма является интуиция нормы. Будучи интегральным, понятие нормы вбирает в себя терминологическое многообразие юмовского языка, привлекаемое им для характеристики некоторой вполне определенной реальности, причем данное понятие корректирует этот язык в двух аспектах. Во-первых, обозначая ту же интуитивно схватываемую реальность, что и такие используемые Юмом термины, как «обыденное» (*ordinary, common*), «наивное» (*naive*), «профанное» (*vulgar*), «естественное» (*natural*), «привычное» (*habitual*) и т. д., оно, в отличие от них, задает реально действующую в системе Юма оппозицию — норма/патология. Именно эта оппозиция является конститутивной для данной системы, в отличие, например, от оппозиции профанное/философское, которая в пределах юмовской доктрины фиктивна (в плане смыслового противопоставления) и выполняет лишь методическую функцию. Во-вторых, ключевое понятие из терминологического арсенала самого Юма — понятие «человеческой природы» — это не что иное, как метафизический двойник нормы и, значит, строго говоря, термин некорректный или, по меньшей мере, двусмысленный в горизонте программного для Юма отказа апеллировать к каким-либо сущностям, чреватый метафизическими импликациями. Норма же лишена явной метафизической нагруженности и потому может послужить, по крайней мере, менее неподходящим термином для обозначения некоей реальности, заданной системой диспозиций, склоняющих человека обыденного к конституированию мира посредством вполне определенных полаганий.

Иначе говоря, понятие нормы удовлетворительно в двух смыслах. С одной стороны, оно выводит нас из-под жесткого диктата технико-методического устройства юмовской доктрины, позволяя обрести известную концептуальную дистанцию, оберегающую нашу собственную мысль

от пагубной для целей понимающего истолкования сугубой вовлеченности в живой поток юмовской мысли. Но в то же время эта концептуальная дистанция, указывающая координаты неслитного соприкосновения уаинициатора с умом-интерпретатором, все-таки позволяет нам удержаться в поле тяготения юмовского философствования. Тем самым понятие нормы дает нам возможность более точно соотнести себя с самим существом философских размышлений Юма: обладая *реальным* смысловым потенциалом, оно размыкает «холостые» в смысловом отношении ходы мысли и позволяет по-новому организовать методологическую архитектуру данного учения путем задания ключевой системообразующей оппозиции норма/патология.

Таким образом, вводя понятие нормы и пользуясь им при аналитической реконструкции юмовской мысли, мы в принципе получаем возможность четче отследить ее метафизические девиации и прояснить причину их возникновения: имеют ли они своим источником не критичное использование «подручной» терминологии (и тогда эти девиации более или менее случайны и являются примером самомистификации философа, а потому в принципе устранимы при ретроспективном анализе), или же они коренятся в самих предпосылках юмовской мысли и, следовательно, существенны для нее (в таком случае наши усилия по выявлению концептуального ядра рассматриваемой доктрины должны быть жестко скоординированы с этими отклонениями).

Не придавая понятию нормы, предлагаемому в качестве терминологического ключа к концепции Юма, какого-либо готового содержания, попытаемся обрести это содержание путем выявления некоторого фундаментального противопоставления, которому, по нашему мнению, мысль Юма обязана своей смысловой динамикой и которое мы обозначаем как оппозиция «норма/патология». Однако, чтобы начать процедуру анализа, нам необходим некоторый исходный смысловой ресурс, соотносимый с членами указанной оппозиции.

Отталкиваясь от предварительного, нерасчлененного представления о норме как о первичном круге уверенности «естественного» человека, застигнутого в своей повседневности, обратимся к тексту «Трактата о человеческой природе». Альтернатива норме проступает здесь постепенно, вырисовывается по мере разворачивания юмовской доктрины и осмысливается (переживается!) самим автором как угроза безумия, угроза выпадения из равновесного состояния естественной установки, равнозначного действию по привычке, в неестественность метафизического схематизма, который, в свою очередь, может быть осмыслен как сублимированный поступок, носящий чисто теоретический характер. Тот факт, что позиция аномального воззрения не может быть проведена

до конца (Юм называет ее приверженцев «сектой фантазеров»²) в силу непреодолимости природных инстинктов, отнюдь не отрицает действительной значимости оппозиции норма/патология, а скорее уточняет ее второй член. В качестве фигуры, олицетворяющей альтернативу норме, Юм выводит тип скептика. Таким образом, контрагентом нормы оказывается скепсис. Но здесь необходимо сделать ряд пояснений и уточнений принципиального характера.

Дело в том, что самим Юмом скептическая установка соотносится с установкой догматической в плане их противопоставления. Однако оппозиция «догматизм/скептицизм», как мы постараемся показать, является в перспективе юмовского учения фиктивной, то есть она не заключает в себе смыслового содержания, существенного для адекватного постижения его концепции. Здесь уместно пояснить те рациональные мотивы, которые склоняют нас приписывать одной конфликтной паре понятий статус фиктивного противопоставления, а другую считать реальной оппозицией. Уточним, что термин «фиктивная оппозиция» лишен оценочного характера и востребован в качестве технического термина, позволяющего развести на разные функциональные позиции два типа конфликтных связок. Фиктивные оппозиции как таковые принадлежат к арсеналу вспомогательных средств и выполняют функцию концептуальных лесов, не обладающих самостоятельной значимостью, но вводимых ввиду методологического обслуживания реальной интенции автора.

Поясним специфику функционального значения данного типа оппозиций. «Фиктивность», согласно нашему употреблению этого термина, означает, что в анализируемом учении содержится более или менее развернутая процедура редуцирования одного члена оппозиции к другому. Действительно, Юм утверждает, что существует некий концептуальный ракурс (он называет его «правильным взглядом на дело»³), в котором такая процедура оказывается возможной. При этом происходит своего рода поглощение смыслового содержания одного противопоставляемого члена смысловым содержанием другого. Здесь необходимо отметить следующее. Во-первых, нужно подчеркнуть, что понятие «фиктивность» (так же как и «не-фиктивность», или, как мы будем говорить, «реальность» оппозиции) релятивизировано к системе. Так, противопоставление обыденного («профанного») и философского, вообще говоря, обладает четко различимым философским смыслом, и само заключает в себе целую традицию философствования, для которой это противопоставление является фундаментальным; в рамках же юмовского учения эта оппозиция

² Юм Д. Указ. соч. Т. 1, С. 235.

³ Там же. С. 230.

оказывается фиктивной. Во-вторых, подобное редуцирование одного термина к другому является в то же время заданием их смысловых содержаний, то есть, по существу, определением. Наконец, и в этом состоит одно из главнейших методологических назначений введения фиктивных оппозиций, — оно позволяет резко оттенить *реальное* противопоставление, то есть такое, для которого не предполагается никакой концептуальной редукции. Можно считать, что фиктивные оппозиции системой преодолеваются, а реальные (и во многом благодаря самим процедурам указанного преодоления) — *утверждаются*.

И в «Трактате», и в «Исследовании о человеческом разумении» Юм предъясвляет образчики такого рода процедуры, отменяющей радикальную несводимость одного члена оппозиции к другому, в отношении таких пар, как рассудок и инстинкт, свобода и необходимость, разум и опыт, профанная и философская система взглядов. Итак, «... при правильном взгляде на дело рассудок оказывается не чем иным, как изумительным и непонятым инстинктом наших душ»⁴. Свобода же, если только она не равносильна простой случайности, противопоставляется не необходимости, но принуждению⁵, а относительно пользующегося всеобщим признанием жесткого различия разума и опыта как двух способов аргументации Юм, не колеблясь, заявляет, что «... оно в сущности ошибочно или, по крайней мере, поверхностно»⁶, ибо «в обоих случаях опыт является последним основанием нашего вывода, нашего заключения»⁷. Несколько более сложный характер носит отношение обыденной (популярной) системы воззрений к философской. Но и в этом случае нельзя говорить о строгой разнородности и несовместимости этих систем. Более того, после тщательного анализа и теоретической реконструкции генезиса философского видения мира Юм заключает, что система философских взглядов имеет своим прочным основанием совокупность воззрений обыденного характера, от которых она заимствует всю свою убедительность и силу воздействия на ум. Таким образом, два этих концептуальных комплекса — философский и популярный, — «несмотря на прямую противоположность друг другу, оказываются связанными»⁸ по сути дела генетически, что означает фактическое устранение их антагонизма.

⁴ Там же.

⁵ Там же. Т. 2. С. 82.

⁶ Там же. С. 38.

⁷ Юм Д. Указ. соч. Т. 2. С. 39.

⁸ Там же. СС. 262–263. Имеется в виду анализируемые Юмом «философская» и «популярная» точки зрения относительно проблемы существования внешнего мира.

Вернемся, однако, после сделанного нами пояснительного отступления к контрверзе между догматизмом и скептицизмом. Несмотря на то, что «разум скептический и разум догматический», очевидно, враждебны друг другу, ибо «противоположны по действиям и целям», тем не менее, как утверждает Юм, в плоскости рационального теоретизирования они вполне однородны⁹. В силу того, что и догматизм, и скептицизм, пользуясь рациональными аргументами, всей мерой своего влияния обязаны разуму, который «предписывает законы и диктует правила, обладая могуществом и авторитетом», — то в сфере отвлеченного, чисто теоретического дискурса их поединок не может быть разрешен окончательно, здесь они — равно-великие противники.¹⁰ Скептицизм (как, впрочем, и догматизм) логически неуязвим, считает Юм, однако он без труда опрокидывается уникальным по своей суверенности и действенной мощи началом — нормой, «природой», которая, «к счастью,... вовремя сокрушает силу всех скептических аргументов и не дает им оказывать значительного влияния на познание»¹¹.

Таким образом, «при правильном взгляде на дело» противостояние догматической и скептической позиции как чисто умозрительных явлений, влияние которых не простирается за пределы сугубо теоретического интереса, оказывается фиктивной оппозицией двух однородных по своему происхождению принципов. Будучи величинами «нулевой» *практической* значимости, догматизм и скептицизм в горизонте собственно практическом — неотличимы. Тем самым намечается возможность антагонистически противопоставить их, как величины в упомянутом смысле тождественные, реальному принципу, фундирующему всякое действие, — норме.

Зададимся, однако, вопросом: о какой, собственно, разновидности скептицизма шла до сих пор речь? То обстоятельство, что Юм, как известно, различал по меньшей мере четыре вида скептицизма¹², придает этому вопросу осмысленность и делает его достойным рассмотрения. Оставляя более детальный анализ данной темы за пределами нашего заинтересованного внимания, прибегнем здесь к краткому изложению лишь ключевых моментов юмовского видения обсуждаемого предмета, имея в виду неуклонное продвижение к цели настоящего исследования.

Итак, обращаясь к вопросу о том, «что подразумевается под скептицизмом и до каких пределов можно доводить философский принцип сомнения и неуверенности?»¹³, Юм говорит о существовании следующих вер-

⁹ Там же. С. 238.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же.

¹² Там же. Т. 2. СС. 129–144.

¹³ Там же. С.129.

сий скептицизма. Во-первых, он выделяет скептицизм методологический, предваряющий всякое философствование, — это картезианское сомнение, которое рекомендует как «наилучшее предохранительное средство против ошибок и поспешных суждений»¹⁴. Шотландский философ приветствует такой тип интеллектуального бодрствования, инициируемый критическим требованием систематической строгости исследования. Скептическая позиция подобного рода «способствует сохранению должной беспристрастности в суждениях и освобождает наш ум от... предрассудков...»¹⁵.

Во-вторых, имеется, по Юму, другой тип скептицизма, специфика которого состоит в том, что он не предваряет изучение предмета, а является итогом какого-либо исследования. Данный вариант скептицизма Юм аттестует как «чрезмерный», «крайний» или «полный» (total)¹⁶. Это скептицизм в собственном смысле слова, его, так сказать, «химически чистый» образец, представленный в философской традиции таким течением, как пирронизм. Приверженцы пирронизма озабочены тем, чтобы подорвать саму презумпцию возможности человеческого познания. Они находят опору для своей аргументации, вскрывая крайнюю ненадежность и реальное несовершенство познавательных ресурсов человека, как рациональных, так и чувственных. Философы, избравшие такую стратегию мысли, склонны распространять свое сомнение даже на «естественные принципы», или «правила обыденной жизни»¹⁷, что свидетельствует, полагает Юм, о несостоятельности данной позиции и фатальной уязвимости ее перед лицом обычного порядка человеческой жизни: естественная склонность доверять правдивости чувств и признавать авторитет разума рано или поздно опрокидывает все глубокомысленные скептические аргументы, рассеивает искусственное нагромождение сомнений и колебаний, грозящих разрушить «весь строй человеческой жизни»¹⁸. Таким образом, последовательный сторонник пирронизма не имеет реальных оснований надеяться на сколько-нибудь долгосрочное влияние на умы, поведение и образ жизни людей. Именно этот довод Юм считает «неотразимым возражением против *чрезмерного* скептицизма»¹⁹. Воспользуемся случаем, чтобы высказать предположение, которому в последствии надеемся найти подкрепление: критерием состоятельности философского воззрения, по Юму, является его способность оказывать реальное воз-

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же. Т. 2. С.130.

¹⁶ Там же. С. 138, 141, а также Т. 1, с. 235, 276, 312.

¹⁷ Там же. С.130.

¹⁸ Юм Д. Указ. соч. Т. 2. С. 139.

¹⁹ Там же. С. 138.

действие на ход повседневной жизни; причем, что важно, это воздействие должно быть устойчивым и длительным. Оставим пока данное предположение без сколько-нибудь развернутого комментария, с тем, чтобы вернуться к нему позднее.

Если неограниченные сомнения чрезмерного скептицизма «оказываются до известной степени исправлены с помощью здравого смысла и размышления»²⁰, то перед нами предстанет третий вариант скептицизма. Юм именует его «смягченным» (mitigated) скептицизмом, или «академической философией». По сути дела он являет собой частный случай методологического сомнения и выражается в следовании здравому смыслу, то есть в соблюдении осторожности и скромности в рассуждениях и выводах. Такая форма интеллектуальной гигиены весьма полезна для умов, наделенных природной склонностью «к категоричности и догматизму в своих мнениях», «высокомерию и упрямству» в суждениях²¹.

Наконец, Юм фиксирует наличие своеобразной модификации смягченного скептицизма, который может быть охарактеризован как «ограничительный», ибо он выполняет функцию «ограничения наших исследований теми предметами, которые наиболее соответствуют ограниченным силам человеческого ума»²². Фактически Юм рассматривает данный тип скептицизма как своего рода эталонную матрицу философствования. «Воспитанный» философский ум отмечен склонностью к чему-то вроде интеллектуального «аскетизма»: он неотступно и методично смиряет пылкое по природе воображение, отсекая попытки увлечься исследованием «отдаленных и высоких предметов»²³, несоизмеримых с масштабом познавательных способностей, и сознательно замыкает свой кругозор горизонтом повседневного опыта, исходя из достигнутого понимания того, что «философские заключения есть не что иное, как систематизация и исправление размышлений, осуществляемых в обыденной жизни»²⁴.

Умышленно упрощая юмовскую классификацию скептицистских воззрений, мы, думается, избежим ее существенного искажения, если сведем все упомянутые позиции к двум основным вариациям скептицизма: скептицизм умеренный и скептицизм крайний. Держа в уме эту типологизацию, возвратимся к поставленному нами вопросу о характере той скептической позиции, которая противопоставлена догматизму в конфликтной связке догматизм/скептицизм. Очевидно, что в данном слу-

²⁰ Там же. С. 140.

²¹ Там же.

²² Там же.

²³ Там же. С. 141.

²⁴ Там же.

чае мы имеем дело с чрезмерным, или крайним, скептицизмом. И здесь четко вырисовывается перспектива смыслового устранения упомянутой оппозиции: крайний скептицизм есть не что иное, как негатив догматизма и его структурный двойник. Действительно, эти позиции переводимы друг в друга путем чисто логической операции изменения значений истинности отдельных суждений, то есть с помощью процедуры, безразличной с точки зрения единственно значимого – практического – критерия. Таким образом, оппозиция догматизм/скептицизм обладает, при ближайшем рассмотрении, исчезающей эвристической значимостью в аспекте поиска адекватного понимания юмовской доктрины, в силу чего мы и относим данную оппозицию к разделу фиктивных. Не являясь полноценным смыслообразующим каналом, она способна, однако, косвенным образом задавать нашему поиску верное направление, о чем мы уже имели случай обмолвиться.

Здесь мы приблизились к наиболее существенному для нас смысловому сюжету. Вернемся к выдвинутому ранее положению, что реальным объяснительным потенциалом в контексте юмовского учения обладает только одна оппозиция – норма/патология. Как уже было отмечено, позицию явного патологического отклонения от нормы занимает, судя по принятым во внимание юмовским текстам, скептицизм, точнее – радикальный скептицизм. С другой стороны, скептицизм умеренного толка, очевидно, не только не противостоит норме, но, будучи квалифицирован как непреходящий атрибут здравого смысла²⁵, должен быть отнесен заодно с естественными принципами и природными склонностями к сфере нормального. Напротив, догматизм, хотя он отчасти и санкционирован нормообразным природным началом (системой естественных убеждений), выводится нами за рамки нормы, ибо на деле, как мы уже уяснили, реальное противостояние между догматиком и крайним скептиком отсутствует. Помимо ранее приведенных соображений, о существенной однородности их взглядов свидетельствует (и одновременно уточняет специфику этой однородности) следующее наблюдение: прямым следствием догматического принятия определенных принципов, к которым чувствуется сильная склонность, оказывается некое болезненное, «тягостное состояние», когда «колебания и раздумья приводят в смятение ум, сдерживают аффекты и приостанавливают... деятельность»²⁶. Аналогичный интеллектуально-поведенческий синдром имеет место и в случае крайнего скептицизма. Вряд ли можно усомниться, что перед нами полный перечень симптомов патологического характера: такое состояние, несомненно, является ано-

²⁵ Там же. С. 140.

²⁶ Там же.

мальным отклонением от нормы, то есть принадлежит к области патологии. Юм квалифицирует эту девиантную тенденцию как род заболевания²⁷, которое он называет «философской меланхолией» или «апатией»²⁸ и описывает как умонастроение близкое к помешательству: «Где я и что я? Каким причинам я обязан своим существованием и к какому состоянию возвращусь? Чьей милости должен я добиваться и чьего гнева страшиться? Какие существа окружают меня и на кого я оказываю хоть какое-нибудь влияние или кто хоть как-нибудь влияет на меня? Все эти вопросы приводят меня в полное замешательство, и мне чудится, что я нахожусь в самом отчаянном положении, окружен глубоким мраком и совершенно лишен употребления всех своих членов и способностей»²⁹. Такая интеллектуальная фрустрация – прямой эффект попытки фальсифицировать норму. Однако это не есть «болезнь к смерти». Меланхолия для Юма является той предельной степенью деструкции нормы, в которой, как это ни парадоксально, начинает различаться выход из этой своего рода *метафизической ловушки*, и тем самым намечается перспектива апологии нормы. Представляется характерным, в свете сделанного нами ранее замечания относительно свойственного Юму способа оценки философских доктрин, что апологетическую функцию выполняет, в конечном счете, не «слово», не апелляция к разуму, а «дело», поступок в соответствии с естественными склонностями, решительное предпочтение стратегии действия, противопоставляемой Юмом, как сферы реальной нормы-поведения, стратегии отвлеченного теоретизирования, чреватого безысходностью меланхолического плена. Такого рода действие есть не что иное, как умиротворяющий возврат к «счастливому и бодрому» неведению профана («Я обедаю, играю партию в триктрак, разговариваю и смеюсь со своими друзьями...»³⁰), к беспечной вере в «общие принципы, признаваемые всем светом»³¹.

Таким образом совершается, так сказать, восхождение к обыденности, к норме как предмету философского постижения и принятия, проходящее через этап скептического остранения нормы, взятой в ее естественном модусе, и ее проблематизации. Отметим явное несовпадение нормы докритической (дофилософская наивность) с нормой, обретаемой в результате сознательного выбора привычного действия через свободное подчинение первичным инстинктам природы (постфилософская наивность). Норма докритическая, или естественная, представляет собой комплекс исходных

²⁷ Юм Д. Указ. соч. Т. 1. С. 267.

²⁸ Там же. С. 313, 314.

²⁹ Там же. С. 313.

³⁰ Там же.

³¹ Там же. С. 314.

базисных очевидностей обыденного сознания, то есть совокупность естественных диспозиций и убеждений, обслуживающих нормальное протекание человеческой (приватной и общественной) жизни, систему тех фундаментальных допущений или стихийных убеждений, которые, по Юму, лежат в основании наивного полагания внешнего мира и внутримировой причинной связности вещей и явлений. Философ ставит эти очевидности под знак проблемы, лишает их свойства абсолютной прозрачности, благодаря которой профан напрямую «сталкивается» с миром, но если этот философ — «истинный метафизик», то, пройдя свой путь честно и ответственно, он вынужден будет признать суверенность нормы, ее автономный статус и недоступность для сугубо рациональных процедур обоснования. Таким образом, мыслитель оказывается перед дилеммой: либо, проявив «высокомерие и упрямство»³², не взирая ни на что, до конца следовать требованиям логицирующего разума, впадая при этом в «философское безумие» и оказываясь во власти меланхолической апатии; либо предпочесть безумие «естественное»³³, то есть безотчетную веру в природосообразные принципы. Здравомыслящий философ выбирает последнее и решительно заявляет: «Я буду бороться со своими склонностями лишь там, где найду веские причины для подобного сопротивления, и уже не дам завлечь себя в такие мрачные пустыни и на такие крутые перевалы, как те, по которым я до сих пор блуждал»³⁴. Что же касается цели философской критики нормы, то она может состоять лишь в том, чтобы «указать на то причудливое положение, в каком находится человечество: люди вынуждены действовать, рассуждать и верить, несмотря на то, что они не в состоянии узнать с помощью самого прилежного исследования основания всех этих операций и устранить все возражения, которые могут быть выдвинуты против последних»³⁵.

Интересно, что в обращении к норме некоторые исследователи усматривают общую тенденцию, характерную для вновь формирующейся новоевропейской ментальности, и отличают ее от господствовавшего в средневековом мышлении так называемого «медицинского» подхода, когда «суть дела не является предметом вербализованного знания, подобно тому как нормальное функционирование здорового организма не является предметом медицины (ее предмет — отклонение от нормы, болезнь)»³⁶. Напротив, для складывающейся культурной традиции Нового времени

³² Там же. Т. 2. С. 140.

³³ Там же. Т. 1. С. 314.

³⁴ Там же.

³⁵ Там же. Т. 2. С. 139.

³⁶ Косарева Л. М. Эволюция картины мира (средние века — новое время) // Социокультурные факторы развития науки. — М., 1987, с. 118.

патология как объект осмысления оттесняется в зону периферийного интереса, в область маргинального: «центральным становится не осмысление и вербализованное выражение отклонений от нормы, а сама норма, суть любого дела, поведения»³⁷.

Но не будем спешить с тем, чтобы увидеть в юмовской доктрине экспликацию доминирующей тенденции, более или менее адекватное выражение универсальной нормоцентричной установки мышления. Философская позиция Юма остается, при всей своей вписанности в культурно-исторический контекст, оригинальной и, может быть, как раз благодаря существованию этого культурного фона, — подчеркнуто самобытной. Дело в том, что, выявляя основания нормы, Юм приходит к констатации ее «естественной» валидности» и «теоретической нерационализируемости»³⁸. Другими словами, норма оказывается поддерживаемой изнутри аутентичным ей «естественным» принципом — привычкой, необходимость которого не может быть, однако, доказана ни внутренними интуитивно-демонстративными ресурсами субъекта, ни аргументами, почерпнутыми из опыта. Таким образом, норма предстает как неуязвимая для рациональной критики когнитивная реальность, которая находит свое проявление в том, что с точки зрения общекультурной тенденции, безусловно, принадлежит к разряду собственно патологии, а именно — в действии *по привычке*. В чем состоял идеал становящейся новоевропейской культуры? «Этот идеал отдает венец наивысшей значимости не полусознательной, суггестивной стихии деятельности (когда, скажем, руки ремесленника «умнее» его головы), а выдвигает идею полной эксплицированности всех этапов и сторон деятельности в слове»³⁹. Юм по сути дела обнаруживает фактическую нереализуемость этого идеала: при более тщательном рассмотрении вопроса он вынужден признать, что в аспекте обоснованности норма претерпевает своеобразную инверсию и вопреки ожиданиям раскрывается не как «свободная» деятельность, протекающая при полном осмыслении ее предмета, цели и средств, а как своего рода «механическая» деятельность по привычке, «как бы во сне», полусознанная и до конца не выявляемая в мысли и слове.

В перспективе юмовской гносеологии познание предстает как сходное, в некотором смысле, с ремеслом, с некоей искусностью, когда ключевым компонентом умения оказывается обретаемое в опыте «знание как», «неявное знание», определяющее существо устойчивого навыка или мастерства и не поддающееся трансляции на уровне формальных обучающих

³⁷ Косарева Л. М. Указ. соч. С. 118.

³⁸ См.: Smith N. K. The Philosophy of David Hume. L. 1941. p. 116.

³⁹ Косарева Л. М. Указ. соч. СС. 116–117.

процедур, правил и предписаний. Решающим фактором научения (в смысле узнавания фактов и формирования адекватных ожиданий) оказывается овладение в показательной серии опытов совокупностью неявных норм-примитивов, регулирующих обыденное поведение и лежащих в основе «естественной» установки. Будучи, условно говоря, усвоенной, норма-примитив⁴⁰ проявляется как «естественная склонность» ума переходить «от... к...». Точная формализация и строгая дедукция всех моментов познания недоступны интеллекту, когда речь идет о знании, касающемся фактов: в это случае «мы смотрим на вещи в свете неоформленного знания»⁴¹ и руководствуемся авторитетом прошлого опыта, могущество которого санкционировано таким влиятельным принципом человеческой нормы, как привычка.

Связывая норму с «инстинктом», или «механической силой»⁴², Юм открывает путь для скептического заключения о ее парадоксальности и внутренней амбивалентности, но сам он воздерживается от подобных крайних суждений и извлекает отсюда лишь «мягкий и умеренный»⁴³ (в смысле — неопасный по своим последствиям для нормального протекания жизни) тезис о том, что норма автономна, первична, не опирается на какое-либо рациональное обоснование. Но что может означать последнее положение (генеральное для всей юмовской метафизики) с общепринятой точки зрения? Безусловно, — философский «скандал». Тем не менее, Юм настаивает на своем интеллектуальном праве не подчиняться «избыточным решениям, будь они выражены хоть на древнегреческом...»⁴⁴.

Подведем предварительные итоги. Предварительные — ибо мы отчетливо сознаем, что рассмотренный комплекс проблем, в принципе, предполагает гораздо более тщательный и разветвленный анализ, чем тот, который предложен в данной работе. Тем не менее, и достигнутая нами степень полноты исследования позволяет утверждать, что фактически Юмом усмотрена и освоена возможность изменить традиционное представление о цели философии, как о поиске последних «начал и причин», фундаментальных и абсолютно прозрачных для интеллектуального взора элементов разума и бытия. Показывая, что эта цель иллюзорна (ведь даже для простейших и самых распространенных человеческих убеждений мы не в состоянии отыскать такие «начала») и что, с другой стороны, такая

⁴⁰ Примером нормы-примитива может служить фундаментальное индуктивное допущение: «будущее сходно с прошлым».

⁴¹ Полани М. Личностное знание. — М., 1985. С. 87.

⁴² Юм Д. Указ. соч. Т. 2. С. 92.

⁴³ Там же. Т. 1. С. 316.

⁴⁴ Там же. Т.2. С. 740.

ориентация философствования способствует возникновению скептических парадоксов, Юм считает, что принципиальная порочность данной установки коренится в том, что философские вопросы в своем смысловом содержании берутся без соотнесенности с познавательными ресурсами субъекта, что сам способ их постановки не учитывает неотменяемых условий его жизненной ситуации. Тем самым, Юм вводит в философию глубоко антропологическую тему. Своеобразие юмовского антропологизма состоит в том, что он тематически оформляется как анатомия обыденной жизни, конституирующим принципом которой является *норма*. Подобная обращенность философии к нормальному строю повседневности реализуется посредством тривиализации философского дискурса, то есть его лексической ориентации на категории обыденной жизни. Помимо решения чисто теоретических задач, такая трансформация целей и средств философии необходима, с точки зрения Юма, для того, чтобы философское умозрение отвечало главному из предъявляемых к нему требований – быть открытым реальной человеческой жизни, охраняя и поддерживая в себе способность *влиять* на нее.

* * *

Осознавая реальную возможность неадекватного прочтения той интерпретации юмовской философии, которая составляет содержание настоящей работы, мы считаем уместным сделать небольшой автокомментарий пояснительного характера.

Прежде всего нам хотелось бы предостеречь читателя от опрометчивого восприятия данной статьи в качестве образчика структуралистски ориентированного исследования, объектом которого в данном случае является философский материал, а именно – тексты Дэвида Юма. Дело в том, что такого рода оценка, как должно признать, может быть спровоцирована, возможно, несколько рискованной тенденцией автора активно обращаться к терминологии и определенным приемам исследования, которые, на первый взгляд, могут быть идентифицированы с сугубо структуралистскими средствами анализа текста. Прежде всего и главным образом это касается принципа бинарных оппозиций, к которому автор прибегает в ходе своего исследования. Однако, такое отождествление не имеет под собой реального основания, то есть не опирается на действительные интенции автора, ибо последние вообще не лежат в русле каких-либо конкретных методологических императивов. Во всяком случае, в наши намерения вовсе не входила «отработка» известных методологических процедур на новом материале.

Идея бинарных оппозиций была востребована нами помимо ее структуралистских применений, поскольку в нашей работе речь не идет о выяв-

лении «структуры» в специфически структуралистском понимании этого термина. В самом деле, структуралистская методология основывается на тезисе о примате значений, кристаллизованных в композиционных особенностях, в структуре текста, рассматриваемого как система элементов некоторого «языка»; с этой предпосылкой структуралистского метода связано его понимание «объективности» исследования и достаточно явно выраженная убежденность в приоритете *неосознаваемых* смысловых содержаний, представленных элементами структуры. Ни одно из этих методологических положений структурализма не оказало сколько-нибудь существенного воздействия на характер нашего исследования. Если для структурализма весь аспект авторских *намерений* является нерелевантным или, по крайней мере, второстепенным по отношению к неосознаваемым объективным значениям, представленным на уровне структуры, то нашей задачей являлось прояснение именно философских интенций Юма. Тот же факт, что предпринятая нами попытка интерпретации была реализована с привлечением терминологии, заставляющей вспомнить словарь структуралистов, объясняется, в конечном счете, тем, что Юм, по нашему мнению, принадлежит к критицистской традиции философской мысли. Существенным же содержанием философского критицизма является различие и даже противопоставление того, что разрешимо в категории разума, и того, что такому разрешению не поддается. Иными словами, обращение к некоторой, так сказать, «бинарной логике» представляется вполне уместным при анализе тех или иных явлений мысли, принадлежащих к этой традиции. Именно в этой перспективе и следует понимать наше внимание к бинарным оппозициям, как фиксируемым внутри терминологии самого Юма, так и выявляемым при интерпретации, и обнаружение различия в методологическом и познавательном статусе, принадлежащем им в рамках учения Юма.

МИХАИЛ ГАРНЦЕВ

ПРОБЛЕМА АБСОЛЮТНОЙ СВОБОДЫ У ДЕКАРТА

Когда размышляешь о Декарте как о философе свободы, он предстает как отважный искатель, без громких слов порвавший с нерешительностью. И коль скоро обычный удел философов свободы – философствовать о ней в стесненных условиях, т. е. тогда, когда на нее смотрят косо, избегают ее, страшатся, клянут, то не приходится удивляться тому, сколько раз и «философская свобода» (*libertas Philosophica*) (АТ 7, 390) Декарта, и его высказывания о свободе ставились ему в укор. Удивляться же надобно тому упорству, с каким Декарт, решившись мыслить свободно, торил дорогу, ведущую к идеалу абсолютной свободы. Происхождение свободолюбивых мыслей Декарта об абсолютной, божественной свободе может быть объяснено по-разному: можно, например, вместе с Сартром считать, что в описании божественной свободы Декарт раскрывает «свою первичную интуицию собственной свободы» и что «здесь налицо феномен сублимации и перенесения», можно думать и по-другому. Однако вряд ли стоит сомневаться в том, что эти мысли лежат в основе всего картезианского учения о свободе и в известной мере являются его апофеозом. Поскольку же свою трактовку проблемы абсолютной свободы Декарт впервые подробно изложил в форме так называемой теории творения вечных истин, есть смысл остановиться на некоторых аспектах этой любопытной теории.

Излагая данную теорию в трех письмах Мерсенну от 15 апреля, 6 мая и 27 мая 1630 г., Декарт отрицал самодостаточность фундаментальных принципов математики, логики и т. д. и подчеркивал их полную зависимость от Бога. По словам Декарта, вечные истины «целиком зависят от Бога, как и все прочие творения», «говорить же, что эти истины независимы от него, – то же самое, что говорить о Боге, как о Юпитере или Сатурне, и подчинять его Стиксу и Паркам» (АТ, I, 145); Бог установил эти законы в природе «так же, как король устанавливает законы в своем королевстве» (АТ, I, 145). «В отношении вечных истин, – писал Декарт, –

я снова говорю, что эти положения являются истинными или возможными лишь потому, что Бог познает их истинными или возможными, а не наоборот — что они познаются Богом истинными, как если бы они были истинными независимо от него». Несмотря на то, что вечные истины известны человеческому уму, люди не в состоянии постичь величие и могущество Бога, хотя и знают о таковых («постичь» означает для Декарта «объять мыслью», а «знать какую-то вещь» — значит «прикоснуться к ней мыслью» (АТ, I, 152)). И из того, что Бог может сделать все, что люди способны постичь, вовсе не следует, что он не может сделать то, чего они не в силах постичь; ведь Бог был так же волен сделать неистинным положение о равенстве радиусов круга, как и вообще не создавать мир.

Впоследствии Декарт неоднократно возвращался к теме творения вечных истин. Так, в ответе на «Шестые возражения» он писал: «Если вдуматься в неизмеримость Бога, то очевидно, что не может быть вообще ничего, что бы от него не зависело, — не только ничего бытийствующего, но и никакого порядка, никакого закона или никакого основания истины и блага; ибо в противном случае... он не был бы совершенно безразличен к творению того, что он сотворил» (АТ, 7, 435). Ту же тему Декарт затрагивал в ответе на «Пятые возражения», в письме Мелану от 2 мая 1644 г., в разговоре с Бурманом 16 апреля 1648 г., в письме Арно от 29 июля 1648 г. и в письме Мору от 5 февраля 1649 г.

Что думал Декарт о том, много ли люди знают о Боге? Он саркастически замечал, что многие люди «останавливаются на слогах его имени и полагают, будто достаточно знают о нем, если им известно, что *Dieu* означает то же самое, что по латыни именуется *Deus*» (АТ, I, 150). Не делая секрета из притязаний мыслящего Я стать равным Богу, Декарт заявлял, что человек может быть «неблагодарен по отношению к Богу — вплоть до того, что желает занять его место» (АТ, 4, 609). Но и будучи благодарным Богу, человек вольно или невольно склонен низвести его до своего уровня. Ведь поскольку людям свойственно делать объект их религиозно-почитания доступным их разумению, человек может, уподобляя себе Бога, попытаться как бы очеловечить его. В разговоре с Бурманом Декарт описал эту ситуацию так: «Мы представляем себе Бога как некоего великого человека, который ставит перед собой те или иные цели и стремится достичь их теми или иными средствами, что, конечно же, совершенно недостойно Бога» (АТ, 5, 158). Вести о Боге недостойные речи — дело толпы, «которая почти всегда представляет себе его так же, как конечную вещь» (АТ, I, 146). Как «толпа» не упустила бы случая выразить недоверие к «Богу философов», так и Декарт не преминул воспользоваться возможностью выразить свое недоверие к «Богу толпы». И даже признавая на словах бесконечность Бога, человек беспечно думает, будто способен

постичь ее, исходя из представлений своего конечного ума. Увидев причину вульгаризации понятия Бога в том, что человек имеет обыкновение подходить к бесконечному с мерками конечного, Декарт счел делом, достойным философа, повести о Боге речь, его достойную.

Несоизмеримость актуально бесконечного и конечного, бесконечности Бога и людских представлений о ней Декарт использовал в качестве решающего аргумента против применения «аналогии сущего», которая издревле была облюбована катафатической теологией. Поставив под вопрос дееспособность «*analogia entis*», Декарт, похоже, брался возратить актуально бесконечному статус «нуминозного». По его мнению, можно знать о бесконечности, но нельзя постичь ее, ибо «сама непостижимость заключена в формальном понятии бесконечного» (АТ, 7, 368). Поскольку же подлинно бесконечным Декарт признавал лишь всемогущего Бога, неудивительно, что понятие божественного всемогущества он рассматривал через призму понятия бесконечности, а понятие бесконечности — через призму понятия божественного всемогущества. Описывая божественное всемогущество как бесконечное, Декарт сводил воедино «*via eminentiae*» и «*via negativa*». Именно понятие непостижимого бесконечного всемогущества Бога является как исходным пунктом, так и завершением смелых размышлений Декарта о божественной свободе.

Декартова трактовка теологемы божественного всемогущества, несомненно, оригинальна. По мнению Декарта, коль скоро божественное всемогущество бесконечно или абсолютно, исключены какие бы то ни было ограничения его. Раз для Бога все возможно, то Бога следует признать независимым от чего бы то ни было, т. е. абсолютно свободным. Да, он мог бы создать мир, но мог бы его и не создавать. Если бы он создавал мир, следуя предвечным идеям, или архетипам, то они ограничивали бы его свободу, а это недопустимо. Он был волен ничего не делать или делать все что угодно, не имея никаких предпочтений, т. е. будучи абсолютно безразличным. «Абсолютное безразличие в Боге есть наилучшее доказательство его всемогущества» (АТ, 7, 432). Отсутствие же у Бога каких бы то ни было предпочтений являлось бы равнозначным отсутствию у возможностей какой бы то ни было определенности, ведь примат абсолютной свободы над бытием предполагает, что равноправие бесконечного числа возможностей первичнее их градаций по отношению к наличному бытию. Эту сферу, в которой Абсолют пребывает в себе и его «внутренняя» свобода абсолютна, можно описать как сферу абсолютного поппозитивизма.

Декарт не был склонен трактовать возможность только как непротиворечивость, исключаящую самоотрицание возможного. Ведь в предполагаемом самоотрицании абсолютной свободы он мог увидеть лишь провал людских попыток постичь непостижимое. Естественно, Декарт не соби-

рался ограничивать божественное всемогущество принципом непротиворечия. Более того, он допускал, что Бог мог бы сделать неистинным и принцип непротиворечия. По словам Декарта, «Бог не мог быть склонным сделать так, чтобы было истинным положение о том, что противоречащие друг другу утверждения несовместимы, и, следовательно, он мог сделать обратное» (АТ, 4, 118). Как сотворенная вечная истина принцип непротиворечия оказывается не у дел в сфере абсолютного possibiliзма. И в этом смысле позиция Декарта, препятствовавшего самообольщению человеческого разума, заметно отличалась от позиции схоластов, возмнивших, что они «накоротке» с Абсолютом. Ограничивая божественное всемогущество очерченными законом непротиворечия пределами возможного, точнее, воспринимаемого человеческим умом как возможное, схоласты постулировали принципиальную познаваемость всемогущества. Декарт же, считавший всемогущество сверхразумным и безграничным, признавал закон непротиворечия полностью зависимым от свободной божественной воли. «Я смело утверждаю, — писал Декарт Мору, — что Бог может сделать все то, что я воспринимаю как являющееся возможным, однако я не осмеливаюсь отрицать, что он может сделать то, что противоречит моему пониманию, а лишь говорю, что это заключает в себе противоречие» (АТ, 5, 272). Таким образом, Декарт отказывался считать противоречие, как его понимает человеческий ум, единственным критерием возможного и невозможного. Учитывая контекстуальную обусловленность истинностных значений того или иного высказывания, он воздерживался от экстраполяции логических законов конечного или потенциально бесконечного бытия на сферу актуальной бесконечности, допускающую ложность тавтологий и истинность антиномий.

Дабы озвучить Декартово «кабы не кабы», стоит немного «повопрошать». Ведь правомерны не только вопросы: «Мог ли бы Бог сделать так, чтобы твари не были зависимы от него?», или: «Мог ли бы Бог повелеть твари, чтобы она его ненавидела?», но не является бессмысленным вопрос: «Мог ли бы Бог сделать так, чтобы не существовало его самого?». Этот вопрос заключает в себе противоречие с точки зрения человеческого ума, но и само противоречие недееспособно в сфере абсолютного possibiliзма, и «существование» есть категория метафизической катифатики, неприложимая к названной сфере. Так что сам собой напрашивается вопрос о возможности невозможного. Как известно, Декарт утвердительно отвечал на вопрос: «Мог ли бы Бог сделать то, что человеческому уму представляется как невозможное?». Однако можно было бы спросить: «Мог ли бы Бог сделать то, что было бы невозможным для него самого?». И утвердительный, и отрицательный ответы на этот вопрос одинаково исходят из допущения, что есть возможность разграничить возможное

и невозможное в той сфере, где такой возможности уму не дано. Если же разграничение возможного и невозможного происходит в соотношении со сферой осуществленного, то это как раз та сфера, в которой пребывает человеческий ум со своими конечными мерками возможного и невозможного. И ум может «великодушно» предоставить Богу, наделенному всемогуществом, возможность «решать», является ли возможным для Бога то, что для Бога невозможно.

Помня же о том, что речь идет, конечно, не о Юпитере, сам человеческий ум может позволить себе с бычьим упрямством упереться в вопрос: «Мог ли бы он задать Богу такой вопрос, на который тот не мог бы ответить?» Но если не говорить надвое и отложить шутки в сторону, то приходится признать, что ум, которому всё нипочем, и Бог, которому всё по плечу, волею судеб расставлены на поле абсолютного POSSIBILISMA как соперники, соревнующиеся в изобретательности. И коль скоро человеческую мысль можно уличить в том, что в своей «зависти» к божественному всемогуществу она готова, ставя на кон свою репутацию, поиграть во вседозволенность, понятны попытки Декарта указать уму место и унять его пытливость напоминаниями о конечности его познавательных возможностей. Подтверждая запрет на снятие всех запретов, Декарт старался удержать в сфере познания тот максимализм человеческой воли, чинить препятствия коему он вряд ли вменял себе в постоянную обязанность.

Переход от чисто возможного к осуществленному, от сферы абсолютного POSSIBILISMA к сфере божественных всесовершенства и всеправдивости, от теологической апофатики к теологической катафатике сопровождался у Декарта быстрой «сменой декораций». Абсолют «в себе» превращался в Абсолют «для иного», в творца, являющегося «производящей и всеобъемлющей причиной» (AT, I, 152) как существования, так и сущности всякой сотворенной вещи. Сослагательное наклонение глаголов вытеснялось изъявительным, ключевым становилось не слово «возможность», а слово «существование». Сосуществование Бога, мира и человеческих «Я» признавалось незыблемым фактом, из коего следует исходить как из первичной данности. При этом особая роль отводилась «*cogito*», которое неотменяемо фиксировало бытийный и познавательный статус человеческого «Я». Ведь, по Декарту, даже Бог не способен сделать «*cogito*» обманчивой видимостью, т. е. он не может убедить мыслящее «Я» в том, что оно не существует. Иными словами, у Декарта «*cogito*» словно заставляет Бога в отношении к мыслящему «Я» следовать как договорным обязательствам, правилам человеческого мышления. «Неклассическая» логика божественного всемогущества, будучи «снятой» установленными в акте творения законами бытия и познания, а стало быть, и однозначной истинностью «*cogito*», преобразуется в «классическую» логику божественных

всесовершенства и всеправдивости. Именно в этой традиционной логической системе, заданной такими вечными истинами, как законы тождества, непротиворечия, исключенного третьего и т. д., существование Бога постулировалось Декартом как «первая и наиболее вечная из всех истин» (АТ, I, 150).

Вместе с тем переход от одной «системы отсчета» к другой, похоже, не устраняет исходного дуализма двух этих систем. Признание этого дуализма позволяет по-новому взглянуть, скажем, на развивавшееся Декартом онтологическое доказательство бытия Бога. Как известно, данное доказательство опиралось на принцип непротиворечия. «Так же противоречиво, — писал Декарт, — мыслить Бога (т. е. в высшей степени совершенное сущее) лишенным существования (т. е. лишенным некоего совершенства), как мыслить гору лишенной долины» (АТ, 7, 66). Это высказывание стоит сопоставить с утверждением Декарта из его письма Арно: «Я не отважился бы даже сказать, что Бог не может сделать так, чтобы гора была без долины, или так, чтобы один и два не составляли три, но лишь говорю, что он наделил меня таким умом, что я не в состоянии представить себе гору без долины или сумму одного и двух, которая не равнялась бы трем, и т. д., и говорю, что подобные вещи заключают в себе в моем понимании противоречие» (АТ, 5, 224). Напрашивается вывод, что и мысль о Боге, лишенном существования, допустимо отнести к числу идей, заключающих в себе лишь то, что понимается человеком как противоречие. Хотя сфера абсолютного POSSIBILIZMA объявлялась за пределами онтологическому аргументу, ее неголословное признание Декартом означало, что тезис о существовании Бога, доказывавшийся с использованием традиционных формально-логических средств, обладает относительной, конвенциональной истинностью. Тем самым подразумевалась принципиальная фальсифицируемость онтологического аргумента.

Наконец, то, как Декарт понимал статус самих вечных истин, остается предметом дискуссий. Высказывание Декарта о том, что эти истины «не более необходимо сопряжены с сущностью Бога, чем другие творения» (АТ, I, 152), можно трактовать по-разному. Так, по мнению Франкфурта, «вечные истины, по существу, столь же случайны, как и любые другие утверждения». Кёрли, в целях адекватной интерпретации готовый использовать так называемые итерированные модальности, полагает, будто Декартовой теорией творения вечных истин отрицается не то, что есть необходимые истины, а то, что истины, касающиеся случайных вещей и признаваемые необходимыми, являются необходимо необходимыми. Словом, здесь есть над чем подумать.

Точно так же можно судить да рядить о том, что удалось или не удалось Декарту как философу свободы. Но ясно одно: он сам удался как фило-

соф свободы. В том, как Декарт описывал сферу абсолютного возможного, нашел отражение парадоксализм абсолютной свободы, отнюдь не исключая допущения того, что сам по себе Абсолют не зависит даже от самого себя, хотя от него зависит всё. Знаменательно, что задолго до Декарта другой великий философ свободы – Плотин возвысил своей философией то начало, которое, «пребывая превыше всего, только одно поистине свободно, потому что оно не рабствует самому себе» (VI 8, 21, 30–32). Высказывание Плотина о том, что Абсолют не подчинен даже самому себе, показывает, насколько глубоко Плотин постиг смысл абсолютной свободы – той самой, которую впоследствии, в иной «жестокий век» восславил Декарт.

ЭРНСТ ТУГЕНДХАТ

ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ФИЛОСОФИЮ ЯЗЫКА

ЛЕКЦИИ¹

Девятая лекция

<Предметная теория значения на примере Гуссерля>

Основоположения своей теории значения Гуссерль развивает в работе *Логические исследования*, и здесь специально в первом исследовании, которое озаглавлено «Выражение и смысл». Вводные параграфы этого исследования посвящены различению «осмысленных» знаков, языковых выражений, и признаков <Anzeichen>. Основные понятия своей теории значения языковых выражений Гуссерль вводит затем в §§ 9–14. Первый, фундаментальный шаг сделан в § 9: Если выражение представляет собой не только «голый словесный звук», а знак, и знак особого вида, то это в силу того, что оно может быть «схвачено» кем-то как то, что имеет значение. Комплекс звуков или набор символов на бумаге не имеет значения сам по себе и в себе, а значение «придается» ему благодаря тому, что он определенным образом схватывается.

Этот первый шаг в гуссерлевском исследовании кажется мне бесспорным, хотя он не самоочевиден. Тем самым Гуссерль, подобно Фреге, приступает к своему анализу, опираясь на фундаментальное, но в то же время чреватое опасностями основание: удовлетворительная семантика не может ограничиться абстрактными рассуждениями о значениях; она должна привлечь также психологический или антропологический фактор того, кто использует язык. Значения не просто находятся на платоновском небе, а они суть значения знаков, и они являются ими только

¹ Tugendhat, E. *Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie*. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Mein, 1976, S. 143–175.

благодаря тому, что определенные чувственные комплексы используются («схватываются») как знаки.

Если это так, то основополагающим для построения удовлетворительной теории значения является правильное определение того способа действия или способа сознания, который схватывает выражение как осмысленное. На предшествующих лекциях я обратил внимание на то, что о значениях высказываний говорится вообще только во взаимосвязи с пониманием этих высказываний. И поэтому если из существа дела можно было бы предположить, что Гуссерль мог бы назвать то, что «придает» выражению значение, пониманием, то тогда дальнейший вопрос должен был бы звучать так: что значит понимать выражение?

Гуссерль же с самого начала как о чем-то само собой разумеющемся говорит о смыслопридающих *актах*. А *акт* у Гуссерля — это *terminus technicus* для обозначения «интенциональных переживаний». Под интенциональным переживанием, Гуссерль подразумевает, как я показал в 6-й лекции, сознание некоторого предмета. Понятие интенциональности, которое подробно рассматривается только в пятом исследовании (и этот анализ примечательным образом совершенно не ориентирован на значение языковых выражений), в первом исследовании, посвященном теории значения, само собой разумеющимся образом рассматривается как единственно достойное внимания основное понятие теории сознания. «В силу этих последних (смыслопридающих) актов выражение есть нечто большее, чем голый словесный звук. Оно имеет в виду нечто и, имея это в виду, относится к предметному» (§ 9).

Вы видите, что здесь прямо-таки идеально-типическим образом представлены традиционные понятия семантической проблематики, связанные с теорией значения. Что значит, понимать языковое высказывание, вообще не спрашивается; предполагается, что речь идет об интенциональном, направленном на предмет сознании. Гуссерль с самого начала подходит к семантической проблематике с этим понятием сознания. В качестве логичного развития такого начала можно было бы ожидать, что значение высказывания будет просто идентифицировано с предметом, на который направлен смыслопридающий акт. Но подобной идентификации значения и предмета у Гуссерля все же не происходит. Гуссерль именно потому настолько хорош как исходный пункт для критики, что он, с одной стороны, не попутно и имплицитно, а на основе рефлексивной философской позиции исходит из предметной теории, а также потому, что он, с другой стороны, все же признает, что значения выражений можно понимать не только как предметы. Поэтому на примере теории значения Гуссерля можно исследовать, насколько основоположение предметной теории, проведенное последовательно, может превзой-

ти самого себя; в какой степени, следовательно, может учитываться еще и то обстоятельство, что понимание выражений не растворяется в представлении предметов, если уж исходить из того, что языковые высказывания используются для того, чтобы представлять предметы.

Гуссерль учитывает это обстоятельство в двух отношениях и при этом выявляет различные возможности того, как значения языковых выражений, которые сами не могут быть поняты как предметы, могут быть встроены в предметное сознание.

Во-первых, он признает, что имеются выражения, которые хотя и имеют значение, но вообще не репрезентируют предметы, так называемые синкатегорематические выражения. Это понятие происходит из семантики традиционной логики.² Категорематическими называются высказывания, которые могут выступать как *термины*, а это значит — на месте либо субъекта, либо предиката в предложениях, представляющих собой силлогистические заключения. Отсюда же возникает представление о сингулярных и всеобщих <generellen> терминах. Выражения, которые не могут функционировать как термины, понимаются только как вспомогательные слова. Но и за этим различием выражений на категорематические и синкатегорематические уже стоит основоположение предметной теории: для аристотелевской онтологии любое выражение, которое подпадает под одну из категорий (любая *kategorema*), т. е. любое выражение, которое может функционировать как сингулярный или всеобщий термин, репрезентирует нечто; эти выражения, которые нечто репрезентируют, имеют самостоятельное значение. К таким выражениям причисляются также целые высказывания <Aussagesätze>. Другие выражения согласно такой точке зрения имеют значение только во взаимосвязи с категорематическими выражениями и называются поэтому синкатегорематическими.

Гуссерль перенимает различие категорематических и синкатегорематических выражений (IV-е исслед., § 4 и далее). То, как он встраивает синкатегорематические высказывания в основоположение своей предметной теории, мы еще увидим. В I-м исследовании это различие сперва игнорируется. По-видимому, здесь Гуссерль, когда он в наиболее общем виде говорит о выражениях, сначала имеет в виду только категорематические выражения. Но и говоря о категорематических выражениях, следовательно, о выражениях, которые нечто репрезентируют, Гуссерль не придерживается того мнения, что предмет, который репрезентирует высказывание, является его значением: «Каждое (!) выражение... имеет не только свое значение, но оно относится также

² Ср. J. St. Mill, A System of Logic, I. Buch, 2. Kap. § 2.

и к каким-то предметам... Но никогда предмет не совпадает со значением» (I-е исслед., § 12).

Разделяя ту точку зрения, что для всех (категорематических) высказываний следовало бы различать предмет и значение высказывания, Гуссерль следует различию, которое за несколько лет до этого сделал Фреге в своей статье «Смысл и значение».³ Фреге при этом исходил из выражений, которые он называл собственными именами и которые в чем-то соответствуют сингулярным терминам прежней традиции. Гуссерль также пишет: «Наиболее ясные примеры размежевания значения и предметной отнесенности дают нам имена» (I-е исслед., § 12). Хотя терминология Гуссерля не совсем однозначна, под именами он имеет в виду прежде всего выражения, которые «могут исполнять простую функцию субъекта в некотором высказывании» (V-е исслед., § 34). Итак, здесь мы имеем перед собой гуссерлевскую семантику сингулярных терминов, следовательно стоим перед первым из четырех вопросов,⁴ выдвинутых мной в конце первой лекции для объяснения предикативного предложения.

Как на этот вопрос о значении сингулярных терминов отвечает Гуссерль? Каждое такое выражение обозначает предмет. А если «предмет» определен так, как я предложил в 3-й лекции, а совершенно такое же определение имеет место и у Гуссерля,⁵ то это первое определение не вызовет недоумения: любой сингулярный термин претендует на обозначение предмета,⁶ — если только не обращать внимание на осторожный характер этой формулировки, призванной учесть то обстоятельство, что обозначаемое может и не существовать. Но это означает, далее, что любое такое выражение имеет и значение, которое следовало бы отличать от предмета. Для обоснования этого положения Гуссерль, как и Фреге, указывает на то, что два сингулярных термина могут обозначать один и тот же предмет и не иметь в то же время одного и того же значения, например, «победитель под Йеной» и «побежденный под Ватерлоо» или, если привести ставший знаменитым пример Фреге, «Вечерняя звезда» и «Утрен-

³ Frege, «Über Sinn und Bedeutung» (SB), S. 26 f.

⁴ «Итак, от объяснения предикативной формы предложения мы должны ожидать ответа на следующие четыре вопроса: 1. Как понимается сингулярный термин? 2. Как понимается предикат? 3. Как понимается сочетание сингулярного термина и предиката? 4. Как понимается (предикативное) высказывание?» (S. 139). — *Прим. перев.*

⁵ Идеи, § 3: «Любой возможный предмет, говоря логически: «любой субъект возможных истинных предикаций»...». Ср. также II. LU, § 8 (S. 125).

⁶ Ср. Куайн: «every singular term names or purports to name just one object» (Word and Object, S. 90, 95 f.).

няя звезда». Можно понимать оба выражения, следовательно, знать какое значение они имеют, и одновременно не знать, что они репрезентируют один и тот же предмет.

Фреге и Гуссерль ссылаются здесь на определенный класс сингулярных терминов, которые называются *определенными описаниями* <Kennzeichnungen>. Для того, чтобы каким-то образом разобраться в этом классе, мы должны сперва получить представление о различных семантических классах тех сингулярных терминов, посредством которых могут обозначаться конкретные (воспринимаемые) предметы. Позднее я вернусь к этим различиям, когда после разбора предикатов я подойду к своему собственному анализу сингулярных терминов.

Во-первых, выражения могут обозначать конкретные предметы указательным образом посредством указательных местоимений, как-то: «это» или «то», а также личных местоимений, как-то: «я», «ты», «оно». Для подобного способа обозначения характерно, что в случае такого рода выражений ответ на вопрос о том, какой предмет репрезентируют такие выражения, зависит от контекста речи. В случае такого рода слов нельзя спрашивать, какой предмет оно репрезентирует, а можно задаваться лишь вопросом о том, какой предмет оно репрезентирует в том или ином контексте. Сопряженность с предметом зависит от соответствующего употребления. Если взять эту характеристику в качестве критерия для принадлежности выражения к этому классу, то к классу указательных выражений, играющих роль субъекта в высказываниях, <Subjektausdrücke> мы причислим как выражения, которые состоят из сочетания демонстративного местоимения или притяжательного прилагательного и существительного, например «эта лошадь», «наша лошадь», так и комбинацию с определенным артиклем («определенная <das> лошадь»), если это выражение не употребляется для обозначения рода («лошадь — это домашнее животное»), но используется таким образом, что подразумевает единичный предмет этого рода, причем из контекста опять же ясно, какой это предмет.

Второй класс образуют определенные описания, такие выражения как «победитель под Йеной», «Вечерняя звезда». Выражения такого рода обозначают некоторый предмет так, что они указывают определенную характеристику (например, быть победителем под Йеной), которая подходит только одному-единственному предмету, что выражается посредством определенного артикля. Рассел метко назвал их «definite descriptions».⁷

⁷ Ср., например, В. Russell, *Introduction to Mathematical Philosophy*, Kap. 16. В классическом расселовском толковании этих выражений в статье «On Denoting» эта терминология еще отсутствует.

Третий класс составляют имена собственные — «Наполеон», «Венера», «Бонн». Характерным для этих выражений является то, что хотя они и обозначают предметы, однако делают это не посредством зависимой или независимой от контекста характеристики. И поэтому, по-видимому, будет правильно сказать о такого рода выражениях, что они не имеют никакого значения. Ибо бессмысленно спрашивать о значении такого слова или спрашивать, как его следует понимать; можно только спросить, какой предмет оно обозначает. То обстоятельство, что эти слова обозначают предметы и тем не менее об их значении еще нельзя ничего сказать, позволяет считать их в случае традиции, определяемой онтологией, языковыми выражениями *par excellence*. Для наивного рассмотрения собственные имена также могут легко показаться наиболее простыми для понимания сингулярными терминами: имя собственное в отличие от определенного описания обозначает, по-видимому, предмет как таковой, непосредственно и прямо.⁸ Позднее мы увидим, что это является заблуждением и что способ употребления собственных имен находится на более высокой ступени, чем способ употребления двух других классов, и предполагает их.

В первую очередь следует уяснить теперь то, что тезис Фреге и Гуссерля — всякое «имя» обозначает предмет и, кроме того, имеет значение — относится только к *одному* классу конкретных сингулярных терминов — к классу определенных описаний. Указательные сингулярные термины не репрезентируют сами по себе и в себе никакого предмета, а собственные имена не имеют никакого значения.

В связи с нашим рассуждением важно разрешить теперь следующий вопрос: удастся ли предметной теории, а если удастся, то каким образом, объяснить наличие у выражения значения, отличающегося от предмета — и все это на основании предметной теории. Что в таком случае следует понимать под значением некоторого «имени»?

На этот вопрос уже Фреге дал интересный ответ. При этом, правда, следует обратить внимание на своеобразие его терминологии. Фреге не использует, подобно Гуссерлю, слова «смысл» и «значение» в качестве синонимов и, отклоняясь от нормального словоупотребления, называет значением выражения предмет. Это терминологическое различие на составляет какой-то существенной дополнительной проблемы, однако, когда говорят о позиции Фреге, следует обращать внимание на то, используется ли слово «значение» в его или в обычном смысле. Таким образом, согласно Фреге, в смысле выражения заключен «вид данности»

⁸ Cp. J. St. Mill, A System of Logic, I. Buch, 2. Kap. § 5.

предмета.⁹ Очевидно, для материальных предметов является конститутивным то, что они могут являться в неограниченном количестве перспектив, способов данности <Gegebenheitsweisen>. Тезис Фреге состоит теперь в том, что каждое определенное описание обозначает предмет как данный тем или иным образом. Так, например, выражение «Вечерняя звезда» репрезентирует предмет, который появляется в определенное время в определенном регионе неба. Тот же самый предмет появляется в другое время в другом регионе неба, и если его обозначают как предмет, являющийся таким образом, то его называют «Утренняя звезда».

Это объяснение, к которому Гуссерль мог вполне присоединиться. В I-м Логическом исследовании он дает, правда, еще и другое объяснение. Он исходит из того, что выражения, которые обозначают один и тот же предмет, но имеют разное значение, различаются «определенным способом полагания соответствующего предмета» (I-е исслед., § 13). Отсюда вытекает понимание значения как характеристики акта. Правда, выражение имеет одно тождественное значение, и сколь угодно много актов могут схватывать его одним и тем же способом. Поэтому Гуссерль приходит к пониманию того, что значение состоит в сущности («идеальном виде») соответствующего акта («полагании соответствующего предмета»). «Значение относится, таким образом, к соответствующим актам значения... как, например, красный цвет *in specie* к лежащим здесь полоскам бумаги, которые все «имеют» один и тот же красный цвет» (I-е исслед., § 31).

Вместе с тем обнаруживается по крайней мере первая возможность того, как Гуссерль может, исходя из своего интенционально-предметного основоположения, каким-то образом разместить значения <в пределах своей теории>. Все же едва ли очевидно, почему то, что мы понимаем, когда мы посредством определенного описания полагаем некоторый предмет, должно быть сущностью этого полагания. Это объяснение оставляет также открытым вопрос, как получается, что имеются различные способы полагания одного и того же предмета. Разве не соответствует любой такой сущности акта определенный способ данности предмета? В этом направлении, которое уже было предначертано объяснением Фреге, Гуссерль позднее, в *Идеях I*, модифицировал свое понимание (§ 94): «смысл» есть «предмет в том, как» его способа данности (§ 131).

Вместе с тем обнаруживается для данного случая до некоторой степени очевидная возможность того, как значение, отличающееся от предмета, может быть тем не менее интегрировано в основоположение предметной теории: значение — не предмет, а способ данности предмета.

⁹ SB S. 26.

Рефлексия способа данности предмета характерна для так называемого трансцендентального поворота онтологии (ср. выше, с. 81¹⁰). В трансцендентальном варианте философии предметная теория имеет, таким образом, в своем распоряжении перспективу, в которой она делает для себя понятными значения по крайней мере тех выражений, которые обозначают кроме того еще и предметы. При объяснении значения выражения как способа данности предмета понятие значения продолжает зависеть от понятия предмета, и мы должны, пожалуй, с самого начала ожидать, что для основоположения предметной теории совершенно невозможно развить независимое от понятия предмета понятие значения. И первое гуссерлевское объяснение значения «имени» — значение как сущность соответствующего акта — это объяснение в котором значение понимается, исходя из сопряженности с предметом; ибо оно основывается на том, что имеется акт, а акт есть сознание предмета.

Зависимое от отношения к предмету понятие значения, разумеется, не составляет проблемы, пока мы имеем дело с сингулярными терминами, следовательно, с выражениями, которые обозначают именно предметы. Но как же обстоят дела со значением остальных категорематических выражений, следовательно со значением, а) всеобщих терминов и, б) целых высказываний? Эти вопросы соответствуют второму и четвертому вопросу из четырех названных мной в конце предшествующего занятия.

Сначала мы обратимся к четвертому вопросу, вопросу о значении целого высказывания. Дело в том, что Гуссерль дает ответ на этот вопрос уже в I-м Логическом исследовании, еще до того, как в VI-м исследовании он подошел к третьему вопросу — вопросу о предикативной структуре, и такая последовательность имеет смысл, поскольку уже вполне определенно можно сказать нечто о том, как нужно в наиболее общем виде понимать значение целых высказываний — независимо от того, являются ли они только предикативными или нет, — еще до того как приступить к их структуре. Мы увидим, что объяснение, которое Гуссерль дает значению целого высказывания, преддрекает определенный ответ на решающий третий вопрос о предикативной структуре.

Свое объяснение, что каждое выражение не только относится к предмету, но и имеет значение, Гуссерль не хочет ограничивать только сингулярными терминами. Оно относится ко всем (категорематическим)

¹⁰ «Этот шаг <трансцендентального поворота в философии — В. К.> заключается в том, что вопрос способа данности предметов рассматривается уже не только как вопрос достоверности, но как вопрос конститутивный для предметности предметов». — *Прим. перев.*

выражениям, а в частности и к целым высказываниям (§ 12). Что мы должны понимать теперь под значением и предметом полного высказывания? На этот вопрос Гуссерль не дает однозначного ответа. С одной стороны, он говорит, что предметом высказывания можно считать «предмет, являющийся субъектом высказывания», то есть то, «о» чем высказывается». Предметом высказывания *a больше, чем b* был бы в том случае *a* или *a* и *b*. «Но возможно, — говорится далее, — и иное понимание, которое берет относящееся к высказыванию положение вещей¹¹ целиком как аналог названного именем предмета и отличает этот предмет от значения высказывания. Если поступают таким образом, то в качестве примера привлекаются такие пары предложений, как *a больше, чем b* и *b меньше, чем a*. Оба предложения, очевидно, высказывают различное... Но они выражают одно и то же положение вещей... Говорим ли мы теперь о предмете высказывания в одном или другом смысле..., всегда возможны имеющие различное значение высказывания, которые относятся к одному и тому же “предмету”» (§ 12).

Все это звучит так, как будто было бы важнее любой ценой различить предмет и значение, чем указать, что же теперь нужно понимать под значением и что под предметом высказывания. В колебаниях Гуссерля между двумя возможностями понимания различия между значением и предметом в случае целых высказываний обнаруживается основополагающая неопределенность того, что говорится о предметах в связи с языковыми выражениями. С одной стороны, Гуссерль также прямо определил свой предмет как то, что является субъектом возможных предикаций;¹² с другой стороны, основоположение собственной предметной теории — предположение, что любое «смыслопридающее сознание» есть сознание некоторого предмета — принуждает его к такому пониманию, что любое языковое выражение или, по меньшей мере, любое категорематическое выражение репрезентирует некоторый предмет. Исходя из первой точки зрения для интересующего нас сейчас случая целых высказываний следует, что предметом высказывания можно считать только предмет или предметы, которые репрезентирует субъект или субъекты предложения (и в таком случае о предмете предложения вооб-

¹¹ Здесь и ниже во втором издании «Логических исследований», которое цитирует Э. Тугендхат, Гуссерль заменил термин «положение дел» (Sachverhalt), использовавшийся в первом издании работы, на термин «положение вещей» (Sachlage), который имеет несколько иное значение, чем «положение дел» (подробнее см. Süßbauer, A. Intentionalität, Sachverhalt, Noema. Eine Studie zu Edmund Husserl. — Freiburg/München, Alber 1999). — Прим. перев.

¹² См. выше прим. 6.

ше можно говорить только в случае сингулярных предикативных предложений). Значение и предмет предложения в таком случае действительно строго различаются — значению же целого предложения не соответствует, таким образом, вообще никакого предмета. Однако такой результат неприемлем для основоположения предметной теории, ибо неподкрепленное сознанием предмета значение для этого основоположения словно бы висит необъяснимым образом в пустоте и, рассмотренное с его точки зрения, непостижимо.

Таким образом, Гуссерль, следуя своему основоположению, был вынужден иначе определить различие предмета и значения в случае целых предложений. Исходя из основоположения предметной теории потребовалось такое понимание, которое придает предложению предмет, соответствующий целому значению. И теперь, конечно, можно, как мы уже видели раньше (4 лекция), говорить о предмете, который репрезентируется целым предложением «р»: положение дел *что р*. Такое понимание не противоречит также определению предмета как субъекта возможных предикаций, потому что, если и не само высказывание, то хотя бы его номинализирующая форма «что р» представляет собой субъектное выражение (сингулярный термин).

Но можно ли теперь при таком понимании предмета высказывания различать еще и значение? Это то, к чему стремится Гуссерль в том размышлении, которое я только что цитировал: оба предложения «а больше, чем b» и «b меньше, чем а» должны, правда, представлять одно и то же положение дел, но имеют различное значение. Очевидно, различие значение и предмета в случае целых высказываний Гуссерль хочет, насколько это возможно, приравнять к различению, которое получилось в случае сингулярных терминов: значения обоих предложений должны некоторым образом представлять два способа данности одного и того же положения дел.

Но речь о различных способах данности одного и того же <положения дел> имеет здесь теперь еще и метафорический смысл. Что за ним стоит? Какие критерии решают, во-первых, когда два предложения имеют одно и то же или различное значение и, во-вторых, когда они репрезентируют одно и то же или различное положение дел? В отношении первого вопроса, который касается значения, из примера, приводимого Гуссерлем, нельзя заключить ничего определенного, и можно сомневаться в том, что Гуссерль вообще имел в виду определенные критерии, а значит — определенное понятие значения. Что касается второго вопроса, то Гуссерль, пожалуй, ориентировался на общепринятый критерий, что два предложения тогда репрезентируют одно и то же положение дел, когда они имеют одни и те же условия истинности, т. е. если мы $a \text{ priori}$

(аналитически), на основании одного только нашего понимания предложений, можем установить: если истинно одно (например «а больше, чем b»), то истинно и другое (например «b меньше, чем a»), и если одно ложно, то ложно и другое.

Соответствующая взаимосвязь в случае определенных описаний дана в таком случае тогда, когда мы а priori (аналитически), на основании одного только нашего понимания выражений, можем установить, что они обозначают один и тот же предмет. Но это же не критерий, который относится ко всем определенным описаниям, которые обозначают один и тот же предмет, ибо обычно мы не можем установить это прямо на основании одного только нашего понимания выражений. То, что «победитель под Йеной» репрезентирует тот же самый предмет, что и «побежденный при Ватерлоо», мы не можем заключить из одного только понимания этих выражений, а только благодаря опыту. Примером определенных описаний, который обнаруживает взаимосвязь аналогичную «а больше, чем b» и «b меньше, чем a» в случае этих предложений, был бы «победитель под Йеной» и «командир победоносной армии при Йене». Таким образом, мы видим: критерий, в соответствии с которым Гуссерль определяет, какие высказывания репрезентируют одно и то же положение дел, иной и более узкий, чем критерий, определяющий принадлежность определенных описаний к одному предмету. Критерий классификации, который был бы настолько же широк, как тот, что связывает все определенные описания, которые обозначают один и тот же предмет, обнаруживается только там, где даны не только одни и те же условия истинности, а одно и то же истинностное значение.¹³ Но в таком случае следовало бы сказать, что все истинные высказывания обозначают один и тот же предмет, и точно так же все ложные.

Этот интуитивно неестественный, но формально последовательный тезис выдвинул Фреге.¹⁴ Уже он придерживался той точки зрения, что и в случае высказываний следует различать «смысл» и «значение» (предмет). Предмет высказывания он понимал, однако, не как положение дел, которое репрезентирует это высказывание, а как его истинностную ценность, т. е. как «то обстоятельство, что оно истинно или что оно ложно». Во всяком случае такое понимание допускает, в отличие от того пони-

¹³ Фреге говорит (SB, S. 32–35), что, если два характеризующих знака «a» и «b» обозначают один и тот же предмет, следовательно, $a = b$, то их взаимная замена в любом (разумеется, неинтенциональном) предложении оставляет неизменной истинность предложения. Тожественность « $a = b$ » даже определяется посредством равенства истинности в положении: « $a = b = \text{Def. (F) } (Fa \equiv Fb)$ ».

¹⁴ SB S. 34.

мания, которое предложил Гуссерль, ясное различие между смыслом и предметом. Оба предложения «Берн — столица Швейцарии» и «Бонн расположен на Рейне» имеют различный смысл, но они представляют один и тот же «предмет», а именно одно и то же истинностное значение, так как они оба истинны. Эту точку зрения можно интуитивно уяснить себе таким образом, что помыслить «предмет», который репрезентируют все истинные предложения, как «действительность» или «мир»; значения (смыслы) истинных предложений в таком случае представляли бы в таком случае различные способы данности, в которых обнаруживается действительность (ложным предложениям не соответствовало бы в этом случае никакого собственного предмета, а их значения представляли бы аспекты, в которых действительность не проявляется).¹⁵ Но это представление «определенной» действительности как предмета, напрашивающееся из-за субстантивного выражения, должно показаться нам со своей стороны подозрительным. Действительное содержание аналогии, которую Фреге выявил между смыслом и предметом определенных описаний и смыслом и истинностным значением высказываний, лежит в ином направлении и указывает уже за пределы основоположения предметной теории. Я не могу здесь в это вникать¹⁶ и укажу только на то, что Фреге, очевидно, употребил слово «предмет» не в общепринятом смысле.¹⁷ Если его понимать в обычном смысле — как «субъект возможных предикаций», — то размышление Фреге, каковым бы ни было его позитивное содержание, не дает никакого возможного ответа на вопрос о предмете высказываний. Возможно, Гуссерль не понял той формальной взаимосвязи, которую имел в виду Фреге, и уж в любом случае его должна была отпугнуть интуитивная неестественность результата, полученного Фреге; поэтому он выдвинул свое собственное предложение, в котором отсутствует аналогия к соответствующему различению в случае определенных описаний. Он и не развил это предложение дальше.

Но нам не следует переоценивать этот негативный результат. Он состоит только в том, что различие значения и предмета в случае определенных описаний едва ли можно перенести предложенным Гуссерлем способом на <целые> высказывания. Гуссерль, однако, мог бы сразу отказаться от введенного для этого случая — и очень неопределенного — представления, он мог бы продолжать придерживаться позиции, что любое

¹⁵ Ср. C. I. Lewis, *An Analysis of Knowledge and Valuation*, S. 52.

¹⁶ Ср. мою статью «“The Meaning of “Bedeutung” in Frege».

¹⁷ Дефиниция «предмета» имеется в статье Фреге «Funktion und Begriff» S. 18: «Предметом является все, что не является функцией, следовательно выражение которого не содержит в себе пустого места».

высказывание «р» репрезентирует некоторый предмет, такое положение дел *что р*. Только понятие значение следовало бы установить заново и заново определить в его отношении к предмету. Теперь можно предположить, что Гуссерль скомбинирует две рассмотренные в § 12 возможности того, как различаются предмет и значение высказывания. Вспомните, о чем говорилось выше: первая возможность состоит в том, что предмет предикативного высказывания есть предмет, соответствующий субъекту этого высказывания, и целое предложение как таковое имеет только одно значение, и не имеет помимо этого никакого другого предмета. Против такой точки зрения нельзя выдвинуть никакого дельного аргумента, только основоположение предметной теории, в соответствии с которым и целому выражению должен был бы соответствовать предмет. Но как только из второй рассмотренной в § 12 возможности для первой перенимается та бесспорная мысль, что каждое номинализированное высказывание «что р» репрезентирует некоторое положение дел, то отсутствие этого предмета восполняется.

В § 34 I-го исследования обнаруживается следующая концепция, имеющая для Гуссерля решающее значение. Предмет предложения «Юлий плачет» есть то, о чем оно нечто сказывает, следовательно, Юлий. Но *можно* говорить и о значении этого предложения. В таком случае значение предложения, со своей стороны, становится предметом-о-котором <Gegenstand-worüber> сказывает другое высказывание. Этим новым предметом, который обозначается номинализированным выражением «что Юлий плачет», является положение дел. Грамматической модификации номинализации соответствует семантическая модификация опредмечивания значения.

Вопрос об отношении между значением и предметом высказывания теперь, следовательно, усложнился в силу того, что в игру включаются *два* предмета. Предмет-о-котором высказывание есть предмет, соответствующий субъекту предложения; он отличается от значения так, как это изложил Гуссерль в первой альтернативе § 12. Напротив, положение дел, предмет, который репрезентирует выражение «что р», есть опредмеченное значение.

Вместе с тем как будто бы получен определенный ответ на вопрос, который я оставил открытым в третьей лекции при введении предметов *что р*, а именно, что мы должны понимать под этими предметами — положениями дел или пропозициями: предмет *что р* есть значение предложения «р». Такая точка зрения, на первый взгляд, представляется убедительной, так как напрашивается заключение, что два положения дел *что р* и *что q* тождественны в том случае, если оба предложения «р» и «q»

имеют одно и то же значение; правда, при этом предполагается, что предложения «р» и «q» не содержат указательных выражений.

Однако даже если мы воздерживаемся от указательных выражений, отождествление положения дел *что p* со значением «р» все же ненадежно. Это заметным образом обнаруживает уже словоупотребление: мы не можем перевести высказывания о положениях дел в высказывания о значениях; нельзя, например, вместо «такое положение дел, что вчера шел снег, – радостно» сказать «значением предложения “вчера шел снег” является радость». Это обстоятельство, на которое часто обращают внимание,¹⁸ не является, правда, чем-то неизбежным. Следует, скорее, задаться вопросом, что же является основанием такого несоответствия в словоупотреблении.

Здесь было бы продуктивно обратиться к соответствующей теории Фреге. Для поверхностного читателя Фреге, по-видимому, придерживается той же позиции, что и Гуссерль. Я напомним о том, что выражением Фреге для того, что Гуссерль называет положением дел, является «мысль» (4 лекция). Таким образом, Фреге также говорит, что смысл утверждения есть мысль.¹⁹ И по Фреге предмет номинализованного выражения «что р» есть смысл <высказывания> «р».²⁰ Однако легко не заметить, что то, что Фреге называет «смыслом», есть *terminus technicus* и совсем не соответствует тому, что обычно понимают под «значением» (или «смыслом») и что понимает под ним Гуссерль; в частности, к Фреге не относится корреляция между смыслом и пониманием, из которой я исходил на прошлом занятии. Для того, что мы понимаем, когда мы понимаем языковое выражение, у Фреге, по-видимому, вообще нет единого термина. Если мы будем продолжать обозначать то, что мы понимаем, как значение (и слово «значение» употреблять в этом отношении совершенно иначе, чем Фреге), то нужно сказать, что для Фреге смысл ассерторического предложения составляет только часть его значения. Так как для Фреге смысл мысли, и мысль есть то, что может быть истинным или ложным,²¹ то к смыслу принадлежит только то, что является релевантным по отношению к вопросу об истинности или ложности.²² Тем самым Фреге, как показал Даммит, уже предвосхитил современное понимание этого вопроса, согласно которому смысл предложения состоит в его условиях истинности. К этому, собственно говоря решительному аспекту в теории Фреге

¹⁸ Ср., например, Cartwright, «Propositions», p. 101; Pitcher, *Truth*, p. 8.

¹⁹ SB, S. 32, «Der Gedanke» (G), S. 61.

²⁰ SB, S. 37.

²¹ G, S. 60 и далее.

²² Ср. G, S. 64, SB, S. 32.

я еще вернусь позднее, и сейчас я отвлекаюсь также от того следующего элемента значения,²³ в котором, по Фреге, выражается чувство или дается «намеки» слушателю.²⁴ Что здесь для нас важно, так это то, что для Фреге утверждение и соответствующий вопрос имеют один и тот же смысл; это значит, что утвердительный или вопросительный модус (Фреге говорит об «утвердительной силе») еще не принадлежат к смыслу, а составляют только дополнительный элемент значения.²⁵ Такое понимание наиболее точно соответствует фактическому словоупотреблению, если мы примем во внимание то, что смысл должен быть тем, что репрезентирует выражение «что р». «что р» отличается от «р» именно благодаря тому, что здесь отсутствует момент утверждения (ср. выше, 4 лекция²⁶).

Теперь мы можем вернуться к тезису Гуссерля, что положение дел *что р* является («опредмеченным») значением <высказывания> «р». Теперь ясно, почему этот тезис ложен: значение «р» шире того, что имеет выражение «что р». Как обосновано и, разумеется, допустимо сказать, что выражение «что р» нечто обозначает — называть ли это положением дел, или пропозицией, или мыслью (4 лекция), — так неверно утверждать то же самое о не модифицированном выражении «р». Тот, кто говорит «р», не просто называет положение дел, но он вместе с тем утверждает, что это истинно или «наличествует» <«besteht»>, и этот дополнительный фактор, который содержится в значении «р», вообще не может быть выражен предметно.

От Гуссерля, конечно, не ускользнул этот фактор модуса предложения, но он придерживался той точки зрения, что «качество полагания» <«Setzungsqualität»> принадлежит к сущности интенционального акта вообще, а также ко всякому «номинальному» акту.²⁷ Гуссерль, следовательно, стремился избежать опасности, которая грозила со стороны сущности предложения его основной позиции, ориентированной на имя и акт представления, таким образом, что он на скорую руку включил этот аспект предложений в момент отнесенности к предмету <Gegenstandbezug>. Это должно было бы означать теперь, что и каждый сингулярный термин не только представляет предмет, но вместе с ним еще и нечто имплицитно утверждается. Но что должно имплицитно утверждаться

²³ Фреге, ввиду того, что у него отсутствует это широкое понятие значения, примечательным образом говорит об «элементах предложения» (G, S. 63).

²⁴ G, S. 63 и далее. См. об этом Dummett I. Кар.

²⁵ G, S. 62 и далее. Ср. Dummett, p. 295 и далее.

²⁶ «При трансформации предложения «р» в сингулярный термин «что р», оно лишается того, что мы можем назвать его моментом утверждения». — *Прим. перев.*

²⁷ V-е Логическое исслед., §§ 34 и далее.

вместе с сингулярным термином? Гуссерль говорит: существование предмета.²⁸ Этот тезис для сингулярных терминов, которые репрезентируют (материальные) предметы, правдоподобен, и я еще позднее к нему вернусь (26 лекция). Уже сейчас можно, правда, предугадать, что если этот тезис окажется правильным, то более уместным будет вывод, обратный тому, что Гуссерль из него извлек: отсюда следовало бы, что эти имена отсылают обратно к (имплицитно ими соутверждаемым) высказываниям (ср. выше, 6 лекция). В случае тех номинальных выражений, с которыми мы сейчас имеем дело, в случае выражений «что р», по-видимому, этот тезис все же ложен. Позиции, согласно которой мы, говоря «что р», имплицитно утверждаем также и наличие этого положения дел (или истинность мысли), противоречит тот факт, что <выражение> «что р...» мы с равным успехом можем дополнить как словом «ложно», «сомнительно» и т.д., так и словом «истинно». Тот, кто начал говорить «что р...», еще ничего имплицитно не дал понять в отношении того, чем он будет дополнять <начатое высказывание>.

Мы поэтому не колеблясь отвергаем гуссерлевскую идентификацию положения дел *что р* со значением «р». Если следовать основоположению Гуссерля, то возникают еще одна, более серьезная проблема. А именно: отождествляется ли положение дел *что р* со значением «р» или эта взаимосвязь рассматривается иначе, в любом случае возникает следующий решающий вопрос, основано ли наше понимание значения «р» на том, что мы знаем, какой предмет репрезентирует «что р» или наоборот.

Сам Гуссерль характеризует взаимосвязь между значением и положением дел в I-м Логическом исследовании таким образом, что положение дел является опредмеченным значением. Из этого, по-видимому, следует, что идентификация положения дел *что р* уже предполагает понимание значения «р». Но это бы означало, что значение, со своей стороны, должно было бы быть объяснено иным, не предметным образом, но, как мы до этого уже видели, значение, не подкрепленное сознанием предмета, для основоположения предметной теории Гуссерля — это невозможная вещь.

Поэтому Гуссерль делает единственно возможным в случае своего основоположения вывод: так как положение дел *что р* и без того уже должно быть тождественно значению «р», легко получается, что сознание положения дел проецируется обратно на понимание значения. В V-м и в VI-м Логическом исследовании Гуссерль поэтому вообще не говорит больше последовательным образом о значении, а только о положении дел. Также и понимание еще не номинализованных высказываний

²⁸ Там же.

относится к «сознанию положения дел», только положение дел здесь еще не «предметно в точном смысле» (V-е исслед., §§ 36, 38).

Попытку Гуссерля, различить в случае целых высказываний так же, как и в случае имен, значение и предмет, следует, таким образом, считать неудачной. Само по себе это не страшно, но здесь нет и какого-либо существенного результата. Существенно, скорее, то, что Гуссерль в итоге понимает значение высказывания *как предмет*. Как можно проверить обоснованность такого понимания? Чтобы сделать это, мы спрашиваем: если положение дел не фундировано значением, то как оно в таком случае позитивно понимается в соответствии с подобными взглядами? Единственная возможность объяснить онтологический статус положения дел, если не сослаться повторно на значение высказывания, — это понимать его как *составной* <zusammengesetzten> предмет. Из понимания значения высказывания как предмета неизбежно вытекает, что тот способ, каким значение целого предложения получается из значений частей предложения, мыслим только как сочетание <Zusammensetzung>. При этом можно оставить открытым, вопрос о том, говорится ли в случае частей предложения о значениях или предметах. Решающим является то, что речь идет о сочетании. Сочетание имплицитно как в качестве своих элементов, так и в качестве своего результата предметы. И даже если терминологически избегают говорить о предметах и мыслят *значение* составного высказывания как составленное из *значений* частей высказываний, то вместе с понятием сочетания используют категорию предметной теории и именно в силу этого значения понимаются как предметы.

Вместе с тем мы оказались перед третьим — решающим — вопросом из тех, что были выдвинуты мной в конце предыдущей лекции: перед вопросом, как семантически понимать сочетание обоих членов предложения, сингулярного термина и предиката. Согласно тому, как Гуссерль ответил на поставленный нами сначала 4-й вопрос: как понимается высказывание целиком, а именно, что его значение является предметом (положением дел), он заранее предрешил ответ и на 3-й вопрос: сочетанию выражения должно соответствовать сочетание в предмете или в значении.

Это может показаться поначалу безобидным, и Вы, пожалуй, даже удивленно спросите в ответ: как же иначе должно пониматься значение целого выражения, если оно не составлено из значений частей выражения?

На следующей лекции мы проверим, в какой мере удастся сохранить предметное понимание значения предикативных предложений, прибегая к помощи понятия сочетания.

Десятая лекция

Вопрос, которым мы руководствовались в нашем исследовании, — это вопрос о том, что значит понимать предложение, причем этот вопрос мы рассматриваем как основной вопрос философии, который должен занять место традиционных вопросов: что есть сущее как таковое или что значит представлять предмет. Таким образом, мы ставим этот вопрос не просто так, а с намерением достичь нового философского основоположения. Вместе с убеждением, сформулированным в первой части лекций, что вопрос о том, что значит понимать предложение, есть вопрос соответствующей формальной универсальности и, пожалуй, имеет даже более широкий охват, чем вопрос о предметах как таковых, новое по отношению к предметной теории основоположение было только намечено, но не достигнуто. Если сформировать его можно только разрабатывая понятийный аппарат *<Grundbegrifflichkeit>* отвечающий новой тематике, то для того, чтобы достичь этого, мы должны сперва рассмотреть, что происходит, если традиционный понятийный аппарат применить по отношению к пониманию предложения, ожидая, что из результирующего напряжения возникнет основоположение для раскрытия нового горизонта объяснения.

На прошлой лекции мы могли проследить, что основоположение предметной теории не мешает Гуссерлю провести ясное различие между значением и предметом, хотя в отношении значения целых предложений обнаружили критические затруднения. Положение дел *что р* понимаемое, прежде всего самим Гуссерлем, как дополнительная модификация должно быть, исходя из основоположения предметной теории, спроецировано обратно на первоначальное сознание значения «р». Если, следуя этому, сознание положения дел не может быть объяснено возвратом к пониманию предложения, а, наоборот, понимание предложения, составленного из сингулярного термина и предиката, есть *изначально* предметное осознание, тогда то, каким образом значение предикативного предложения зависит от значения его членов, может быть объяснено только с помощью имеющихся в распоряжении терминов предметной теории, а именно как *сочетание*, как синтез.

Кроме того, на примере предикативного предложения мы стоим перед фундаментальным вопросом семантики: как образуется значение составного выражения из значения частей выражения. Испытание этим фундаментальным вопросом является критерием применимости философского понятийного аппарата в вопросах семантики.

Гуссерль ясно видел, что сочетание, которое образует положение дел, нельзя понимать так, как это обычно имеет место, когда говорят

о составных предметах. Когда обычно из предметов составляют комплексный предмет — жемчужное ожерелье из жемчужин или здание из строительных камней, — то составленный предмет является точно таким же конкретным пространственно-временным предметом, как и части. Положение дел или факт, напротив, не являются конкретным пространственно-временным предметом. Если мы говорим о том факте, что Цезарь был убит в 44 г. до н. э. в Риме, то Цезарь является конкретным пространственно-временным предметом. Таким же пространственно-временным образом локализовано и событие его убийства: это случилось там-то и тогда-то. Напротив, тот факт, что Цезарь был убит там-то и тогда-то, со своей стороны, не локализуем и не датируем. Предмет, который репрезентирует предложение, не является, следовательно, конкретным пространственно-временным предметом, как и предмет, который репрезентирует номинализованный предикат (например красный цвет): положения дел подобны так называемым «абстрактным» предметам. Гуссерль называет конкретные предметы «реальными» предметами, абстрактные — «идеальными» предметами; критерием «реального» предмета для него является возможность его чувственного восприятия (VI. Исслед. § 46).

Таким образом, хотя Гуссерль в силу основоположения предметной теории стремится к тому, чтобы понимать положения дел как составные предметы, но это все же предметы иного порядка чем те, из которых они составлены. А это означает в таком случае, что речь должна идти о сочетании особого рода. Гуссерль стремится разрешить эту трудность при помощи своей теории категориального синтеза, которая представляет собой, пожалуй, наиболее далеко идущую попытку, которая до сих пор была сделана для объяснения положения дел с позиций основоположения предметной теории.

Прежде чем изложить Вам эту теорию в ее основных чертах, я хотел бы вкратце представить иную предметно-теоретическую позицию, в которой наивно говорится о сочетании в случае положения дел, позицию *Трактата* Витгенштейна. *Трактат*, правда, уже занимает в этом отношении определенную аналитическую <sprachanalytische> позицию, поскольку он — в отличие от Гуссерля — с самого начала ориентируется на предложение, а не на имя: «Только предложение имеет смысл; только во взаимосвязи предложения имя имеет значение» (3.3) И все же это понимание получает онтологическую интерпретацию. Семантический примат предложения над именем *Трактат* обосновывает через онтологический примат фактов над вещами: «Мир есть совокупность фактов, а не вещей» (1.1). Теперь возникает вопрос: что понимать под фактом? Витгенштейн отвечает: «То, что имеет место, — факты — есть наличие

положений дел» (2).²⁹ А что же такое положение дел? На это Витгенштейн отвечает: «Положение дел есть связь предметов» (2.01).

Эта позиция уже была подвергнута мною критике в силу того, что она представляет положение дел как конкретный составной предмет. *Трактат* еще и содействует этой критике, отчетливо заявляя: «В положении дел предметы соединены друг с другом как звенья цепи» (2. 03).

Сам Витгенштейн отказался от этой точки зрения, когда он оставил предметно-теоретическую позицию *Трактата*. К этому времени принадлежат некоторые записи, которые были опубликованы под названием

²⁹ Поскольку на сегодняшний день нет общепринятого перевода ключевых положений «Трактата» на русский язык, мы позволили себе дать свой вариант прочтения, в частности, данного положения: Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen der Sachverhalten (2), что связано, во-первых, с нежеланием присоединиться к новейшим «сильным» интерпретациям оборота «was der Fall ist» («то, что происходит»; «то, чему случается быть»). Относительно этой части фразы мы придерживаемся варианта перевода 1958 как предоставляющего большую свободу читателю для понимания этого, по сути, обыденного немецкого выражения (которое в данном случае представляет собой, на наш взгляд, указание на определенный характер чего-либо в наиболее общем смысле — «то, что так»). Существующие переводы, кроме того, игнорируют особенности использования в данном положении субстантивации глагола *bestehen* («наличествовать»), употребление которого указывает на присутствие в «Трактате» слоя терминологии, восходящей к академическим дискуссиям конца 19-го — начала 20-го века в немецкоязычной среде, которые были посвящены проблематике *Sachverhalt*'а — «положения дел». Глагол *bestehen* и его дериваты (*das Bestehen, der Bestand*) в контексте этой проблематики указывали на особый онтологический статус «положений дел», отличающийся от «существования» (*Existenz*) иного рода предметностей (будь они реального или идеального характера). В этих дискуссиях в той или иной мере принимали участие и были задействованы идеи Ф. Brentano, К. Штумпфа, А. Майнонга, А. Марти, Э. Гуссерля, А. Райнаха и др. Так, например, в статье 1911 года «Теория негативного суждения», А. Райнах пишет: «Красная роза существует, эта роза красная, красный цвет присущ этой розе, эта роза не белая, не желтая и т. д. Красная роза — этот единый вещный комплекс — является фактическим составом <Tatbestand>, лежащим в основании всех этих положений дел. В случае этого фактического состава мы предпочитаем говорить о существовании <Existenz>, в случае же положений дел, основывающихся на нем, — о наличии <Bestand>, — ссылаясь при этом на аналогичное словоупотребление у Э. Гуссерля и, отчасти, у А. Майнонга» (*Münchener philosophische Abhandlungen. Leipzig, Barth, 1911, S. 223*). — *Прим. перев.*

«Комплекс и факт» в приложении к «Философским заметкам». ³⁰ Витгенштейн пишет здесь:

Комплекс не подобен факту. Ибо я говорю о комплексе, например, он движется из одного места в другое, но не о факте... А комплекс есть пространственный предмет, состоящий из пространственных предметов... Но то, что этот комплекс сейчас находится там, — это факт... Сказать, красный круг *состоит из* красного цвета и формы круга, или сказать, это — комплекс, состоящий из этих элементов, значит злоупотреблять словами и вводить в заблуждение. (Фреге знал об этом и сказал это мне). Таким же заблуждением будет сказать, тот факт, что этот круг красный (что я устал), — это комплекс, состоящий из круга и красного цвета (из меня и усталости)... Правда, можно сказать: «указывать на факт», но это всегда означает «указывать на факт того, что...»... Указывать на факт означает нечто утверждать, высказывать. «Указывать на цветок» этого не означает... Источником этого смещения является сбивающее с толку употребление слова «предмет».

То, что Витгенштейн называет здесь комплексом, является конкретным составным предметом. Высказываясь столь пространно о том, что факт вообще не *состоит из* чего-либо, он уже полностью отбрасывает основоположение предметной теории. Гуссерль же показал, что и на фундаменте основоположения предметной теории можно в полной мере различить комплекс и факт.

Вместе с тем я перехожу к его теории категориального синтеза. Задача, которую поставил себе Гуссерль, состоит в том, чтобы от реального сочетания предмета из элементов отличить особое, нереальное сочетание, которое должно иметь для факта конститутивный характер. Мы постараемся разъяснить это различие на одном примере. Молоток есть реальный предмет, который составлен из двух частей, ручки и металлического молотка. Если мы констатируем это и говорим, «этот молоток составлен из ручки и металлического молотка», то этому предложению соответствует то положение дел, что этот молоток составлен из ручки и металлического молотка. Со своей стороны, положение дел по предположению есть (идеальный) составной предмет. Каковы же его составные части? Должны ли мы сказать: (реальная) комбинация <Zusammengesetztsein> (идеально) составлена, с одной стороны, из молотка, с другой стороны, из ручки и металлического молотка? Стоящее под вопросом положение дел было бы составлено в этом случае из двух элементов, (1) из реаль-

³⁰ S. 301–303. Те же самые записи напечатаны в приложении к *Философской грамматике*, S. 199–201.

ной комбинации и (2) из упорядоченной тройки предметов {молоток, ручка, металлический молоток}. Гуссерль предпочитает рассматривать это иначе (VI-е исслед. § 48), в соответствии с чем только реальные предметы, то есть молоток, ручка и металлический молоток, функционируют как элементы положения дел, а реальная комбинация (отношение часть-целое) репрезентирует характер того, как эти предметы (идеально) сочетаются в положение дел. Независимо от того, следует ли понимать характер сочетания положения дел тем или иным образом (к этому я еще вернусь), этот характер, очевидно, фундаментально отличен от характера сочетания молотка. Молоток, со своей стороны, конечно, не входит как часть в положение дел, и хотя реально составной предмет, со своей стороны, может быть реальной частью еще большего целого, но все же никогда таким образом, что его элементы могли бы стать дополняющими элементами нового целого. То положение дел, что молоток состоит из металлического молотка и ручки, не является в отличие от молотка воспринимаемым предметом, и точно так же мы не можем воспринимать его сочетание так, как мы можем воспринимать сочетание молотка, состоящего из металлического молотка и ручки. Поэтому напрашивается следующее решение: идеальное сочетание конституируется не через восприятие, а только в *мышлении*.

Гуссерль может опереться здесь на давнюю традицию, в соответствии с которой мышление, «рассудок» есть способность синтеза, не являющегося видом реального сочетания.³¹ Позвольте мне продемонстрировать это на другом примере. Если мы констатируем положение дел, что А отделено от В, то в таком случае А и В реально не составлены, напротив, они разделены, и все же в том положении дел, что они разделены, они образуют сочетание. В это сочетание, которое не является реальным сочетанием, они поставлены мышлением, что не должно означать, что сочетание в действительности отсутствует (<в данном случае> А и В реально разделены). То, что положения дел не являются реальными предметами (конкретными предметами в пространстве и времени), что они впервые «конституируются» в мышлении, не означает, что они не являются действительными.

Мышление, как и всякое сознание, понимается Гуссерлем как предметное сознание, т. е. как «акт».³² Акты мышления Гуссерль называет «категориальными» актами, в отличие от «чувственных» актов, в которых представляются конкретные предметы. Характерным для категориального

³¹ Ср. например, Аристотель, *Метафизика*, VI, 4; *О душе*, III, 6; Кант, *Критика чистого разума*, § 15.

³² Для последующего ср. VI-е Логическое исслед., § 46 и V-е исслед., §§ 17–18.

акта является то, что он так-то и так-то <реально> составленную предметность представляет *как* составленную так-то и так-то, что возможно только благодаря тому, что этот акт одновременно представляет предметы, образующие части этой предметности. Представление каждого предмета, образующего часть, со своей стороны, является актом (*per definitionem*). Категориальным является поэтому акт, фундированный — как акт синтетический — другими актами, которые представляют реальные предметы, входящие в синтетическую предметность. Благодаря фундированным, категориальным актам осуществляется синтез предметов фундирующих актов, и в этом синтезе конституируется новая, синтетическая предметность. Эта предметность поэтому вообще не может представляться в простом (чувственном) акте.

Таким образом, Гуссерль стремится прояснить различие между идеальными и реальными предметами и особым сочетанием идеальных предметов через различение соответствующих *актов*, то есть благодаря различению того способа, каким соответствующие предметы становятся *данностью* (следовательно, используя «трансцендентальное» объяснение). Иерархия типов предметов коренится в иерархии актов. Предложенное объяснение должно относиться ко всем идеальным предметам, а также к видам <Spezies> (конституирующимся в актах идеирующей абстракции), атрибутам, точно так же, как и ко множествам; но я ограничусь положениями дел. Сочетание, которое фундаментально отличается от всякого реального сочетания, объясняется здесь тем, что этот синтез есть синтез категориального акта. Поэтому становится понятным, «что категориальные функции, «формируя» («formen») чувственный предмет, не касаются его в его реальной сущности... Категориальные формы не склеивают, не связывают, не соединяют части вместе так, что отсюда бы возникало реальное чувственно воспринимаемое целое. Они формируют не в том смысле, в каком формирует гончар. Иначе, если бы изначально дающее <ursprünglich Gebene> чувственного восприятия модифицировалось бы в своей собственной предметности, то соотносящее и связывающее мышление и познание было бы не познанием того, что есть, а искажающим преобразованием в нечто иное» (VI-е исслед. §61).

Вы, возможно, спросите: в какой же мере можно говорить, что определенные положения дел *действительно* наличествуют (а соответствующие предложения истинны), если этих предметов «реально» нет и если они конституируются только в синтетических актах мышления? На это Гуссерль может ответить: соответствующее положение дел действительно наличествует (а соответствующее предложение истинно) в том случае, если соответствующий категориальный синтез выполним (возможен) на основании входящих в него реальных предметов. (Например,

то положение дел, что ручка и металлический молоток составлены, действительно наличествует, если выполним соответствующий синтез этих реальных частей.)³³

Прежде чем я займусь применением этой теории категориального синтеза к нашему конкретному вопросу о семантическом строении предикативных предложений, я хотел бы указать еще на одну особую семантическую проблему, которую Гуссерль полагал разрешить при помощи этой теории: на проблему семантики синкатегорематических выражений. Как я уже отмечал на предыдущей лекции, синкатегорематика образует класс выражений, которые для Гуссерля хотя и имеют значение, но все же не репрезентируют никакого предмета. Эта позиция может быть интегрирована в концепцию предметной теории, которую она на первый взгляд подрывает, при помощи теории категориального синтеза (ср. IV-е исслед., § 4 и далее). Синкатегорематические выражения, по Гуссерлю, это слова-связки, они имеют «несамостоятельное» значение; только выражения, которые репрезентируют предмет (категорематические выражения) имеют «самостоятельное» значение. Категорематические же выражения могут связываться с другими категорематическими выражениями в одно комплексное выражение с новым значением только в том случае, если эта связь опосредуется одним или несколькими синкатегорематическими выражениями. Это семантически-синтаксическое понимание теперь непосредственно соответствует онтологически-трансцендентальному пониманию категориального синтеза: в несамостоятельных значениях синкатегорематики (например «и», предикативное «есть», «=») всякий раз выражается синтез категориального акта; благодаря этим актам эти несамостоятельные значения схватываются предметно, не оттого, что репрезентируют предметы, а потому, что они представляют форму единства, в которой синтетическая предметность конституируется на основании фундирующих предметов. Так как это, в свою очередь, есть *акт*, который придает значение и синкатегорематическому выражению, и так как совокупное значение этого синтетического акта опять же является предметностью, то основоположение предметной теории может впечатляющим образом справиться с пониманием и этих выражений.

Но теперь мы должны наконец задаться вопросом, действительно ли теория категориального синтеза подходит для того, чтобы объяснить сознание положения дел и, соответственно, понимание значения составных выражений. Как, в частности, обстоят дела со значением предика-

³³ Ср. VI-е исслед., § 62 (S. 190) и, кроме того, мою работу *Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger*, S. 131.

тивного предложения? Я намеренно изложил гуссерлевскую теорию нереального сочетания настолько же абстрактно, как она вводится и самим Гуссерлем, так как при подведении предикативного предложения под эту теорию возникает дополнительная трудность. Если мы возьмем какое-нибудь простое предикативное предложение, например предложение «Гейдельбергский замок красный», то мы должны будем, если мы используем теорию категориального синтеза, предполагать на фундирующем уровне, что не только сингулярный термин «Гейдельбергский замок», но и предикативное выражение «красный» репрезентирует предмет, ибо, если мы не имеем по меньшей мере двух предметов, не может быть и речи ни о каком сочетании, синтезе. Мы, следовательно, натолкнулись на до сих пор не рассмотренный нами второй из четырех названных мною вопросов, на вопрос, который касается значения *предиката*.

Такое опредмеченное понимание предикатов, какое уже можно предугадать, исходя из общей структуры теории категориальных актов, действительно имеется у Гуссерля. Анализ предикативных форм предложения в § 48 VI-го Логического исследования проводится вместе с анализом тех предложений, в которых говорится о том, что содержит нечто иное как часть. В качестве единой схемы как для предикативного предложения, так и для предложения часть-целое, Гуссерль предлагает следующую схему: «*A есть (имеет) a*». «*A есть a*» представляет собой формализацию предикативного предложения с копулой, как например «замок красный», причем Гуссерль считает важным отделить копулу от предиката как синкатегорематическое слово-связку, которое должно репрезентировать синтез. «*A имеет a*», напротив, представляет собой (не очень удачную) попытку формализации предложения часть-целое, например «замок имеет парадный зал». Более ясна обращенная форма, которую Гуссерль дает как для «*A есть a*», так и для «*A имеет a*», а именно «*a есть в A*», например «парадный зал есть в замке». Если и мы используем эту обращенную форму к предикативному предложению, то в случае нашего примера мы получим «(определенный <die>) красный цвет есть в замке». В свою очередь, эту форму мы, очевидно, можем теперь перевести в ее обращенную форму «замок имеет красный цвет», которую Гуссерль рассматривает по отношению к форме «замок красный» как форму высказывания, в которой отчетливо проявляется синтетическая структура.

Это приравнивание субъект-предикатного предложения к предложению целое-часть мы постоянно обнаруживаем и у Гуссерля. Уже в III-м Логическом исследовании, которое озаглавлено «Учение о части и целом», говорится, что предикаты репрезентируют «несамостоятельные части». «Понятие *часть* мы берем в наиболее широком смысле, кото-

рое оно допускает, — называть частью все и вся, что различимо «в» предмете или, говоря объективно, в нем «присутствует»... Поэтому любой не относительный реальный предикат указывает на часть предмета, обозначаемого субъектом высказывания. Так, например, *красный* или *круглый...*» (§ 2).

Можно было бы поспорить, является ли отношение часть-целое наиболее подходящим отношением, в которое должна ассимилироваться субъект-предикатная структура. Вместо «красный цвет есть в замке» можно было бы сказать «красный цвет есть на замке», а вместо «замок имеет красный цвет» — «замок образует сочетание с красным цветом». Но подлинным вопросом является все же не вопрос о том, *какое* отношение следует предпочитать, а следует *ли* вообще понимать предикативное предложение как высказывание, включающее отношение <Relationsaussage>. Это, однако, является необходимым следствием той позиции, что предикат репрезентирует нечто, а эта позиция, в свою очередь, неизбежна, если исходить из того, что положение дел конституируется в категориальном синтезе; она зависит, конечно, не просто от особенностей гуссерлевской теории категориального синтеза, а основывается на фундаментальной предпосылке, которую мы обнаружили и в *Трактате*, что положение дел вообще есть нечто составное, ибо это, конечно, предполагает, что оно составлено по меньшей мере из двух элементов.

Итак, Вы видите: то, каким образом Гуссерль отвечает на четвертый вопрос (значение целого предложения есть положение дел), предпринимает сперва определенный ответ на третий вопрос: как значение целого предложения возникает из значений частей выражения (а именно, благодаря сочетанию, точнее: благодаря категориальному синтезу), а этот ответ на третий вопрос, в свою очередь, предполагает определенный ответ на второй вопрос, вопрос о значении предиката, а именно: значение предиката (например «красный») есть предмет, который репрезентирует его номинализирующая модификация (красный цвет). При этом нужно обратить внимание, что каждый шаг в этом ряду мыслей (если отвлечься от особенностей теории категориального синтеза) является необходимым следствием основоположения предметной теории как таковой, а не частной особенностью философии Гуссерля.

Конечно, предметное понимание предикатов возникает у Гуссерля не только описанным образом, как необходимый вывод из систематической взаимосвязи, но и просто из понимания предиката как «категорематического» выражения, или, более фундаментально, просто по той причине, что другая, не опирающаяся на предметы концепция значения вообще отсутствует в горизонте основоположения предметной теории. Правда, в § 12 I-го Лог. исследования, из которого я исходил, Гуссерль учи-

тывал различие предмета и значения, обнаруженное в случае имен, также и применительно к предикатам; он исходил там даже из того, что предикат вообще не обозначает предмет и поэтому в случае предикатов можно было бы говорить не о предмете, а только о «предметной отнесенности», под чем имеются в виду предметы, по отношению к которым может быть использован предикат. Поэтому в случае предикатов он может интерпретировать различие предмета и значения таким, известным и из современной семантики, образом, что два предиката — например «равносторонний треугольник» и «равноугольный треугольник» — могут иметь «одну и ту же предметную отнесенность, один и тот же объем возможного применения» и все же не иметь одного и того же значения. Но если мы спросим далее, как следует понимать это значение, отличающееся от предметной отнесенности, получается совершенно аналогичное тому, что обнаружилось в отношении значения целого предложения, во первых, что когда мы говорим о *красном цветке*, то значением предиката «красный» является то, о чем говорится предметно, а во-вторых, что теперь — чтобы не допустить иного понятия значения — предметное сознание (сознание красного цвета) проецируется обратно на изначальное сознание значения предиката («красный»). Хотя в случае понимания предиката предложения сознание предметно направлено не на значение предиката, а только на предмет субъекта высказывания, все же значение предиката *есть* предмет, а именно соответствующий атрибут.

Предметное понимание предиката поэтому и не может быть поколеблено указанием на то, что сам же Гуссерль определил «предмет» как *субъект* возможных предикаций (ср. выше прим. 6). Эта дефиниция не противоречит той точке зрения, что и предикаты репрезентируют предметы, так как любой предикат может быть номинализирован и тогда можно сказать: точно так же, как положение дел *что р* не является предметом, о котором сказывает высказывание «р», но это высказывание тем не менее репрезентирует положение дел *что р*, так и в том случае, когда используют предикат «красный», хотя и не обращаются к атрибуту красного цвета как к предмету, предикат все же репрезентирует этот предмет и этот предмет есть его значение.

Подготовлены ли мы теперь, разбирая проблему предикатов, лучше к тому, чтобы указать применительно к методу Гуссерля на *hysteron-proteron*,³⁴ чем то было на предыдущей лекции, когда мы рассматривали целые высказывания? Я думаю, да. Ибо сейчас мы уже разобрали вопрос создания значения целого выражения из значения частей выражения, и здесь, в подлинном стержне всей проблемы — в третьем сформулированном мной

³⁴ Логическая ошибка «порочный круг в доказательстве». — *Прим. перев.*

вопросе — мы можем ясно показать, что основоположение предметной теории потерпело неудачу.

Основоположение предметной теории требовало того, чтобы характер образования значения целого выражения из значений частей выражения мыслился как *сочетание*. То, что эта позиция несостоятельна, если иметь в виду сочетание в обычном смысле реального сочетания, мы прояснили для себя на примере *Трактата*. Смысл теории категориального синтеза состоял в том, чтобы преодолеть эту трудность. Удалось ли ей это? Пожалуй, — в том, что сочетание положения дел отныне может не истолковываться как реальное сочетание. Но это говорит пока только о том, как *не* следует понимать сочетание. Все еще отсутствует положительная характеристика этого сочетания. Как в случае реального сочетания мы имеем определенный (в нашем случае — воспринимаемый) критерий, с помощью которого мы можем решить, сочетается ли предмет А с предметом В (например ручка и металлический молоток целого молотка) или нет, и точно так же в случае отношения целое-часть, — так и в случае идеального сочетания, если понятие сочетания что-нибудь означает, мы должны иметь критерий, с помощью которого мы можем решить, дано ли в каждом таком случае идеальное сочетание или нет. Мы же не можем таким <идеальным> способом установить, например, есть ли красный цвет в замке или он образует с ним сочетание, так, как мы можем установить, что выдвигной ящик вставлен в стол или он образует с ним сочетание. Красный цвет, в свою очередь, является, разумеется, не реальным предметом, а атрибутом, и он реально не может быть приставлен к замку или входить в него как реальная, отделимая часть. Это отмечает и сам Гуссерль. Но что мы тогда имеем в качестве позитивных критериев?

Мне кажется, у нас остается один-единственный выход: <сказать>, что красный цвет есть в (или на) замке — это то же самое, что сказать «замок красный». Другими словами, если спросить, какое же отношение мы имеем в виду, когда мы говорим об отношении между атрибутом и предметом, мы можем ответить только следующее: то отношение, которое имеет место, когда соответствующий предикат относится к предмету. Если это верно — а мы должны признать это верным, так как нам не предлагается альтернативного понимания этого отношения — то *hysteron-proteron* предметно-теоретического понимания предикатов доказано. То, что должно сказывать предложение «красный цвет есть в замке» или «красный цвет образует с замком сочетание», можно понять только обратившись к предложению «замок красный», а не наоборот. Какие пропозиции мы выбираем, говоря о предмете, — говорим ли мы, красный цвет в замке, или красный цвет на замке, или образует с замком

сочетание, – все это не играет никакой роли, так как то, что мы в каждом случае имеем в виду под такой беспомощной (так как она всякий раз зависит от другого реального отношения) формулировкой, может быть уточнено благодаря тому (и только так и может быть уточнено), что мы обращаем внимание на простое предикативное предложение, в котором не выражается никакого отношения.

Тем самым мы подошли к поворотному пункту нашего рассуждения. Ибо если дело обстоит так, что мы можем определить отношение между атрибутом и предметом только через первоначальное предикативное предложение, то понимание предикативного предложения, в свою очередь, нельзя объяснить через это отношение. Но в таком случае нам требуется совершенно новое объяснение для понимания предиката, объяснение, которое не отсылает к номинализированной форме этого предиката и которое вообще не может быть объяснением такого рода, что предикат репрезентирует нечто, ибо любое такое объяснение вновь должно было бы говорить о сочетании предмета, обозначаемого субъектом высказывания, с предметом или значением предиката и, если задать вопрос о критерии наличия этого сочетания, должно было бы отсылать обратно к уже отвергнутому пониманию предикативного положения. Следовательно, мы должны полностью отказаться от предметно-теоретической модели объяснения сочетания или синтеза.

Эта модель, смысл которой состоит в том, чтобы приравнять логическую структуру к реальному отношению (и тогда сочетание – если ему не дано специального определения – есть просто реальное отношение) предлагает теперь такую альтернативу: либо вообще не отличать сочетание положения дел от реальной вещи (*Трактат*), либо отличать его, но в таком случае его нельзя характеризовать позитивно (Гуссерль). Если мы сейчас бросим взгляд назад на теорию категориального синтеза, то обнаружится, что ее правдоподобность заключается только в негативном преимуществе того, что она избегает *нелепости* реального сочетания. Неопределенность понятия идеального сочетания, благодаря которой достигается это преимущество, не устраняется опорой на категориальные акты, так как категориальные акты, в свою очередь, напрямую не могут быть обнаружены. О том, что имеет место категориальный акт определенного типа, мы узнаем только на основании того, что речь идет о выражении, которое имеет определенную семантическую форму.

Пока я показал несостоятельность теории категориального синтеза только применительно к одноместным предикативным предложениям. В их случае особенно очевидна недостаточность этой теории, так как одноместное предикативное предложение имеет только *один* предмет-

о-котором <сказывает высказывание> и поэтому требовалось только одно преобразование, чтобы вообще можно было говорить о синтезе двух предметов. Можно было предположить, что это теория могла бы устоять в случае высказываний, содержащих отношение <Relationsaus-sagen>, то есть в случае многоместных предикативных предложений. Когда я вначале излагал теорию в общем виде, я приводил также в качестве примера предложения содержащие отношения. Все же мы рассмотрим это сейчас более подробно.

Мы возьмем пример, который я уже приводил, предложение «этот молоток составлен из ручки и металлического молотка». При интерпретации этого примера я уже указал на то, что сочетание положения дел можно мыслить двумя различными способами. Мне логически правильным кажется понимать это так, что в положении дел отношение реального комплекса <Zusammengesetztseins> идеально составлено, с одной стороны, с молотком и, с другой стороны, с парой предметов – ручкой и металлическим молотком. С этой позиции высказывание, содержащее отношение, рассматривается как многоместное предикативное высказывание; отношение (в этом случае – реальный комплекс) является предметом, который репрезентирует номинализация многоместного предиката («составлено из»), и соответствует, следовательно, атрибуту в случае одноместного предикативного предложения. Идеальному комплексу отношения с реальными предметами (молотком, с одной стороны, парой предметов – ручкой и металлическим молотком – с другой) в таком случае точно соответствует сочетание атрибута с одним реальным предметом в случае одноместного предикативного предложения, и против такого понимания возникает то же самое возражение, как и там <в случае одноместного предикативного предложения>: если спрашивается о критерии наличия этого идеального сочетания, то ответить можно только то, что это сочетание наличествует между реальным комплексом и предметами в том случае, если первоначальное предложение истинно, к примеру: если молоток составлен из ручки и металлического молотка.

Сам Гуссерль, как я уже упоминал, придерживался другого понимания, согласно которому в высказывании, содержащем отношение, имеют место только реальные предметы, которые синтезированы в категориальном акте. Реальное отношение, напротив, определенным образом включается в категориальный синтез. Поэтому категориальный акт всякий раз иной, в зависимости от того, о каком типе отношения идет речь. Такая позиция кажется мне несостоятельной. Нет никакого основания понимать какое-нибудь отношение между двумя предметами не как реальное отношение. Но Гуссерль полагает, что различным реальным отношениям соответствуют различные идеальные отношения. Если сделать

отсюда все выводы, то это привело бы к удвоению всех видов отношений. «При образовании внешних отношений чувственная форма может становиться фундаментом для установления соответствующей ей (!) категориальной формы; как, например, мы схватываем и, возможно, выражаем чувственное прилежание содержаний А и В, данное в созерцании некоего объемлющего G, в синтетических формах *А граничит с В* или *В граничит с А*. Но вместе с конституцией этих форм возникают новые предметы, относящиеся к классу *положения дел...*» (VI-е исслед. § 48). Из того обстоятельства, что положение дел, что А граничит с В, есть идеальный предмет, Гуссерль делает неверный вывод о том, что выражающееся в обоих предложениях отношение прилепания является в свою очередь идеальным отношением. В качестве идеального отношения рассматривается только отношение между реальным отношением прилепания и парой предметов {А, В}. Но вместе с тем мы возвращаемся к точке зрения, изложенной мной выше, которая сталкивается с той же самой трудностью, которая обнаружилась в случае одноместного предикативного предложения.

Еще одного частного аспекта гуссерлевской теории категориального синтеза, который относится к значению слов «и» и «или», я коснусь позже (17. Лекция). Наша следующая задача состоит теперь в том, чтобы достичь нового, не предметного понимания предикатов.

Перевод с нем. Виталия Куренного

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: ОБ АВТОРЕ И КНИГЕ

Эрнст Тугендхат — мыслитель, с именем которого связано распространение аналитической философии языка в Германии в 70-е годы. Эта его роль особенно примечательна, если учитывать то, что обращение к аналитической традиции осуществлялось философом, хорошо известным в качестве исследователя как классической философской проблематики, так и феноменологической философии.

Э. Тугендхат родился в Чехии (1930), он жил, учился и работал на разных континентах и в разных странах. Классическую филологию он изучал в Стэнфордском университете (1946–1949), во Фрайбурге занимался философией (1949–1956). Его диссертация была посвящена Аристотелю (*Ti kata tinou. Eine Untersuchung zu Struktur und Ursprung aristotelischer*

Grundbegriffe. (Dissertation.) Freiburg, München (Alber) 1958; 4. Aufl. 1988.), а широко известная габлиитационная работа — понятию истины у Гуссерля и Хайдеггера (*Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger*. (Habilitationsschrift.) Berlin (de Gruyter) 1967; 2. Aufl. 1970). В 1970 году в Гейдельберге прочел курс введения в аналитическую философию языка, легший в основу книги, по которой выполнен приведенный здесь перевод двух лекций, посвященных семантической концепции Гуссерля. Содержание этих двух лекций в общих чертах соответствует его статье «Феноменология и анализ языка» (*Phänomenologie und Sprachanalyse*. In: *Hermeneutik und Dialektik*. Hg. v. R. Bubner, K. Cramer und R. Wiehl. 1970. Bd. II, S. 3–23). К сожалению, данный текст оказался нам недоступен, однако лекционная форма, содержащая множество отсылок ко всему курсу, именно в силу своей незавершенности, возможно, стимулирует интерес к этой работе в целом.

В предисловии к лекциям «Введение в аналитическую философию языка» Э. Тугендхат формулирует свою задачу следующим образом: «В так называемой аналитической философии или аналитической философии языка мало, а сегодня менее чем раньше рефлектируют собственные основания. Здесь движутся, по существу, в рамках унаследованных постановок вопросов, которые как таковые не проблематизируются. Отчасти это связано с недостатком исторического сознания. Какой-то вид философствования может возникать в качестве фундаментальной философской позиции только в споре с прежними концепциями философии. Эта рефлексия оснований есть не только дополнительный акт саморазумения, но условие того, что философия способна воспринять те задачи, которые всегда уже были собственно философскими задачами: испытание уже данных и разработка новых вопросов, методов и понятий. Эти лекции стремились дать толчок исследованиям в этом направлении». Эта задача дополняется другой, возможно, даже более важной, учитывая контекст этого лекционного курса (посвященного Мартину Хайдеггеру): «Но прежде всего эта книга обращена к тем, кто в той или иной мере полагаясь на традиционные философские представления, сожалеет об отсутствии в аналитической философии тех фундаментальных вопросов, которые могли бы сравниться с великими традиционными началами и основоположениями. Для них эта книга хотела бы перекинуть мост, стараясь показать, что в аналитической философии содержатся вопросы, которые не только могут быть сопоставлены с традиционными началами, но и оказываются укорененными в них. Этот замысел есть отражение моего собственного предшествующего развития, которое шло от Хайдеггера и вело к аналитической философии языка. При этом я пришел к убеждению, что вопрос Хайдеггера о пони-

мании “бытия” может обрести конкретный и осуществимый смысл только в рамках аналитической философии языка...».

Показательным примером выбранной автором стратегии представляются, на наш взгляд, и две приведенные здесь лекции, посвященные Гуссерлю. Они носят критический характер, однако глубокое знание и понимание автором философии Гуссерля и стратегия имманентной критики делают эти лекции в то же время введением в семантическую проблематику феноменологии Гуссерля (и не только его, поскольку объектом критики является парадигмальная «предметная теория значения» вообще).

Возвращаясь к научной биографии Эрнста Тугендхата можно добавить, что он многие годы был профессором философии в Гейдельберге (1966–1975) и Свободном Берлинском Университете (1980–1992). С 1992 года, насколько нам известно, он работает в Католическом Университете в Сантьяго.

В завершение можно отметить также, что многие работы Э. Тугендхата посвящены проблемам этики и политики.

Данный перевод выполнен по проекту «История и основные проблемы феноменологической мысли первой трети XX века», осуществляемого в рамках программы Российской Академии Наук по работе с молодежью.

ПУБЛИКАЦИИ

АЛЕКСАНДР МАЛИНКИН

МАКС ШЕЛЕР О РЕФОРМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

I

Работа М. Шелера «Университет и народный университет» была впервые опубликована в 1921 году в коллективной монографии «Социология системы народного образования», изданной по плану Кёльнского института социальных наук под редакцией Леопольда фон Визе. Как свидетельствует Мария Шелер, первая издательница Собрания сочинений Макса Шелера¹, еще в начале 1919 году Макс Шелер выступил в Кёльне с докладом, темой которого стал кризис немецкого университета и необходимость его преобразования в контексте реформы системы высшего образования. Проблема народного университета специально в нем не рассматривалась, но выделялась как одна из наиболее важных.

Основные положения этого доклада были опубликованы последовательными частями в еженедельнике «Westdeutsche Wochenschrift» (№№ 31–36) в 1919 году под названием «Внутренние противоречия немецких университетов». Они составляют в переработанном и сокращенном виде (в журнальной версии доклада критика существовавших реалий была много резче, чем в последующих публикациях) первый раздел работы «Университет и народный университет», изданный в коллективной монографии под редакцией Л. ф. Визе, а именно раздел I «К реформе университета». Раздел II, затрагивающий вопросы построения народного университета во взаимодействии с реформирующимся университетом

¹ См. Nachwort der Herausgeberin zur zweiten Ausgabe / Max Scheler Gesammelte Werke. Bd. 8. Die Wissensformen und die Gesellschaft. 3. Aufl. Bern und München: Francke Verlag, 1980. S. 478.

и с учетом взаимного влияния их этосов, целевых определений и организаций, был написан позднее специально для коллективной монографии. Тогда же было написано и введение.

Переиздание «Университета и народного университета» в книге «Формы знания и общество» в 1926 году говорит о том, какое значение М. Шелер придавал своему плану реформы университета и, соответственно, построения народного университета. Известная как главный социологический труд книга «Формы знания и общество» включает три самостоятельных сочинения, которые располагаются в следующем порядке: «Проблемы социологии знания» (1924/1926), «Познание и труд. Исследование о ценности и границах прагматического мотива в познании мира» (1926), «Университет и народный университет» (1921). Первая работа посвящена фундаментальным проблемам социологии знания, вторая — основным проблемам теории познания, третья — обоснованию новой социальной политики в области образования и науки. Какая между ними связь и зачем немецкому философу понадобилось переиздание небольшой социально-политической работы вместе с глубокими философско-социологическими исследованиями?

Сам Шелер в Предисловии к первому изданию «Форм знания и общества» так объясняет свои мотивы. «Улучшенная» редакция доклада «Университет и народный университет» была включена в «Формы знания и общество», «потому что требования, содержащиеся в нем в отношении формирования нашей *германской системы образования*, получают более глубокое обоснование и приобретают свою полновесность только на фоне излагаемых здесь теории и социологии форм знания»². Казалось бы, все понятно. Но это объяснение затрагивает суть дела только с одной стороны. Другая сторона — стремление Шелера к практическому применению своих идей, о чем свидетельствует его критическая оценка социальной значимости немецких «наук о духе»³. Не будет преувеличением сказать,

² Scheler M. Vorwort zur ersten Auflage / Max Scheler Gesammelte Werke. Bd. 8. Die Wissensformen und die Gesellschaft. 3. Aufl. Bern und München: Francke Verlag, 1980. S. 13.

³ «Если немецкий дух безмерно подвел нас в *войне культур*, которая также велась в последней войне, наряду с войной оружия и экономической войной, и если знаменитые представители германского образования с самого начала не смогли указать немецкому народу его миссию, поставить перед ним разумную цель, то, несомненно, в этом отчасти виновата противоположность между теоретическим уровнем наук о духе и их *практическим применением* в жизни. Науки о духе в целом не сумели открыть путь к пониманию современного мира». См. перевод.

что шелеровский проект реформы высшего и народного образования — это практическое применение основных положений социологии знания Шелера в области образования и образовательной политики. По сути дела это социально-политическое следствие, общественно-практическое резюме всей его философской социологии.

Главная идея проекта заключалась в распределении целей и задач образования (понимаемого в смысле формирования человеческой личности), профессионального и специального обучения, а также научного исследования по различным институтам. Между тем в немецком университете 1920-х годов все они были, по мнению автора проекта, с одной стороны, смешаны, а с другой — реализовались далеко не равномерно, так что обучение специальным наукам и специально-научные исследования явно преобладали над гуманитарно понимаемым образованием. Шелер предлагал институционализировать эти три разнонаправленные цели с характерными для них специфическими задачами в форме отдельных учреждений, чтобы затем народный университет мог устанавливать с ними связи в зависимости от собственных учебно-образовательных планов. При внимательном прочтении шелеровского проекта реформы высшего и народного образования Шелера можно прийти к выводу, что в основе проекта лежит трихотомическая концепция знания, составляющая сердцевину его философской социологии.

Свою «социологию знания» он рассматривает как «новое слово» о путях развития человеческого знания и его форм. «... Исследования в области теории познания обречены на пустоту и бесплодность *без одновременного изучения общественно-исторического развития* высших родов знания и познания...»⁴, — утверждает немецкий философ. Социология знания должна преодолеть позитивистское учение о развитии знания, ставшее «основным пунктом в убеждениях научно образованных людей нашего времени» и предложить «*новую, совершенно другую картину развития, в которой то, что Конту предстало в виде магистрального направления человеческого знания, оказывается лишь частным, второстепенным, а в некоторых отношениях даже попятным направлением западноевропейского мышления на небольшом отрезке всемирно-исторического движения знания*»⁵.

Социология знания должна, считает Шелер, выявить «причины этого попятного второстепенного направления, в особенности причины отступления исканий *метафизического* познания в пользу, с одной стороны,

⁴ Scheler M. Vorwort zur ersten Auflage / Max Scheler Gesammelte Werke. Bd. 8. Die Wissensformen und die Gesellschaft. 3. Aufl. Bern und München: Francke Verlag, 1980. S. 9.

⁵ Там же, S.10.

позитивных наук, с другой — реставрации церквей» и одновременно «приоткрыть *vrata* для входа в строго методичное метафизическое познание». Под «метафизикой» Шелер подразумевает философию, причём в старом, если не сказать античном, смысле: это любовь к мудрости, которая начинается с «удивления» наличным бытием мира и переходит к вопросу о сущности так-бытия вещей и всего мироздания. «Расчистить свободный путь для этого способа мышления — одна из главных целей моей книги», — пишет он⁶. Согласно Шелеру, «Проблемы...», будучи критикой философии истории и социальной философии позитивизма, находится с работой «Познание и труд» (полюемически заостренной против теории познания прагматизма) в отношении «свободной конвергенции и взаимодополнения». С концептуальной точки зрения, это означает следующее: «Такая конвергенция проявляется в особенности там, где речь идёт о точном определении значения, которое имела и отчасти ещё имеет практически-техническая установка человека европейского Нового времени на *господство* над миром (в противоположность *чисто* теоретической, *любовно-созерцательной* установке) для выработки изначально специфических исходных пунктов, целей и категориальных форм познания мира»⁷.

Для понимания концептуального ядра и основных понятий социологии знания ключевой является, несомненно, работа «Проблемы социологии знания», а также ряд предшествующих ей небольших публикаций по философии и социологии знания. Среди них в «Предисловии к первому изданию» сам Шелер указывает главные: «О позитивистской философии истории знания», «Учение о мировоззрении, социология и утверждение мировоззрения», «Труд и мировоззрение» (все они опубликованы в книге «Сочинения по социологии и учению о мировоззрении», 1923–1924), а также доклад «Формы знания и образование» (1925)⁸. О последнем следует сказать особо. В этом докладе, подчеркивает Шелер, «учение о “видах знания” обосновывается глубже, чем в предлагаемых здесь работах [имеется в виду содержание книги «Формы знания и общество» — А. М.]. В то же время он тесно связывает их с идеей и процессом *образования человека (Menschenbildung)*, а также дает предопределяющие указания на некоторые положения антропологии и метафизики автора»⁹.

⁶ Там же, S. 10, 11.

⁷ Там же, S. 9–10.

⁸ Шелер М. Формы знания и образование / Шелер М. Философское мировоззрение / Шелер М. Избранные произведения. М.: «Гнозис», 1994. С. 15–56.

⁹ Scheler M. Vorwort zur ersten Auflage / Max Scheler Gesammelte Werke. Bd. 8. Die Wissensformen und die Gesellschaft. 3. Aufl. Bern und München: Francke Verlag, 1980. S. 12.

II

Здесь не место для исторических и логических реконструкций философской социологии знания Шелера, тем более что эта работа давно проделана¹⁰. Отметим лишь главное: в историческом аспекте отправной точкой шелеровской социологии является идея о том, что научное знание вовсе не есть то знание, которое, согласно О. Конту, вытесняет все остальные его виды, потому что оно есть знание *par excellence*, а другие виды знания суть лишь неполноценные ступени исторического восхождения к нему. В логическом, а точнее говоря *феноменологическом*, аспекте отправной точкой и ядром философской социологии Шелера стала идея первичности человеческих чувств, прежде всего чувств симпатии и антипатии, любви и ненависти, как своего рода «материальных априори» по отношению к «формальным априори» рассудка, причем одновременно категориям теоретического и императивам практического разума.

Эти принципы приводят Шелера в конце концов к выводу о том, что существуют три вида знания — постоянно сосуществующие, исторически непреходящие и автономные, проистекающие из трех извечных высших устремлений человеческого духа: 1. научное, или позитивное, или деятельностное знание, или знание ради достижений, в целях господства над природой (вне и внутри человека); 2. философское, или образовательное знание, или знание, служащее становлению человека «всечеловеком»; 3. религиозное, или спасительное, или священное знание, знание в целях спасения и сохранения личностного ядра, становления человека из раба и слуги Божьего в Его соратника и со-работника в истории становления «первоосновы» мироздания. Вот как Шелер характеризует их в работе, посвященной проблеме образования как части философии знания.

«Я думаю, — пишет он, — существуют *три высших цели* становления, которым знание может и должно служить. Во-первых, *становлению и полному развитию личности*, которая “знает”, — это “*образовательное знание*”. Во-вторых, становлению *мира* и вневременному становлению *самой* высшей

¹⁰ См. Давыдов Ю. Н. Макс Шелер как социолог науки / Концепции науки в буржуазной философии и социологии. Вторая половина XIX–XX вв. / Редкол.: Н. И. Родный и др. М.: Наука, 1973. С. 250–308; Малинкин А. Н. Социологическая концепция Макса Шелера. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. М.: 1989. Малинкин А. Н. Персоналистическая социология Макса Шелера // Социологические исследования. 1989. № 1. Давыдов Ю. Н. Шелер и его путь к теоретической социологии / История теоретической социологии. Т. 2. М.: Канон+ОИ «Реабилитация», 2002. С. 409–433.

основы так-бытия и наличного бытия мира, которые лишь в нашем человеческом знании и в каждом возможном знании достигают их собственного “предназначения” становления, или во всяком случае — того, *без* чего они не могли бы достичь предназначения своего становления. Это знание ради божества, *Ens a se*, называется “*спасительным, или священным знанием*”. И наконец, существует третья цель становления, цель практического господства над миром и его преобразования для наших целей и намерений — то самое знание, которое так называемый прагматизм односторонне, если не исключительно, имеет в виду. Это знание позитивной “науки”, *знание ради господства, или знание ради достижений*¹¹.

Ни один из этих видов знания в принципе не сводим к другому, поэтому не может быть когда-либо изжит, превзойден либо замещен другим. Каждый вид знания по-своему необходим человеку в его общественной жизни. Научное знание, связанное, по Шелеру, в одинаковой мере с инстинктами самосохранения, продолжения рода, власти и господства является базисным, фундаментальным уровнем человеческого познания. На этом уровне человек стремится рационально познать процессы внешней и внутренней природы, чтобы с помощью понятий и законов овладеть ими, поставить их под контроль, уметь преобразовывать их в собственных целях и предсказывать их вероятное развитие. Это необходимо человеку, чтобы тем самым максимально обезопасить себя с физической точки зрения, создать материально благоприятные или даже комфортные условия жизни посредством разумного хозяйствования и политического регулирования клановых, общественных, а затем государственных отношений. Но только одного научного знания, по сути своей деятельностного, целерационального, стремящегося к практическому преобразованию мира, людям никогда не бывает достаточно.

Дело в том, что человеку как родовому разумному существу с самого начала его истории становится более или менее ясно, что волонтаристское овладение природой, господство над ней — будь то с помощью древней магической техники или новейшей электронно-вычислительной — незаметно нарушает тот естественный порядок вещей, который существует во вселенной. Активное вмешательство человека в спонтанный ход вещей и событий не столько открывает их сущность, сколько скрывает ее. Это происходит еще до целерационального вторжения человека в природу, в момент включения установки на выбор предмета и объекта познания, когда ученого-исследователя интересует только то в природе, что связано с ее потенциальной «овладеваемостью» (а это всякого рода регулярности,

¹¹ Шелер М. *Формы знания и образование* / Шелер М. *Философское мировоззрение* / Шелер М. *Избранные произведения*. М.: «Гнозис», 1994. С. 41–42.

тенденции, закономерности, под которые обычно пытаются подвести все «новое», «необычное», «отклоняющееся»). Установка на овладение природой, прежде всего для ее возможного использования, приводит к тому, что познается не сущность вещей, но их явленность человеку — их «транс-сознательные физически-телесные образы», обусловленные «инстинктивно-моторным» способом естественного мироотношения человека как особого живого существа¹².

Такой фундаментальный антропологический прагматизм конститутивен для научного познания, поскольку в его основе лежит «относительно естественное мировоззрение» человека. Высшая научная объективность и чистая логика науки всегда суть не что иное как человечески-родовой (однако ни в коем случае не индивидуально-психологический!) субъективизм и антропологизм. Этим и объясняется бесконечно-прогрессивный характер саморазвития научного познания: чем больше человек познает научно мир, тем больше он ставит перед ним вопросов, поскольку по мере углубления и дифференциации прагматических интересов увеличивается число и расширяется спектр «загадочных» феноменов. Конечно, и сам человек с его специфической организацией — часть природы, поэтому было бы нелепо утверждать, будто научное знание иллюзорно или фиктивно, а наука вовсе не постигает то, что в философии называется сущностью вещей. Просто само по себе сущее, как таковое, науку не интересует, если его нельзя вычислить, смоделировать, предсказать и использовать как техническое средство. Беспреданно проходя сущее по касательной, научное познание не может позволить себе остановиться, чтобы поставить не свойственные ему вопросы: «Что есть сущее?», «Зачем научное познание?», «В чем смысл жизни?» и т. п.

Отсюда и столь же бесконечные парадоксы научного познания. Вроде бы человек все плотнее приближается к конечной цели, ради которой он начинал научно-рационально познавать мир: условия его физического бытия становятся, казалось бы, все более безопасными, комфортабельными и благоприятными для жизни и ее продолжения. Но в действительности все выходит наоборот. Выстраивая свою жизнь — общественную и индивидуальную — исключительно на базе научного знания, человек невольно производит все более масштабные риски, которые в конце концов становятся глобальными; пытаясь научно-рационально организовать общественное производство, управление обществом и госу-

¹² См. Scheler M. Erkenntnis und Arbeit. Eine Studie über Wert und Grenzen des pragmatischen Motivs in der Erkenntnis der Welt / Max Scheler Gesammelte Werke. Bd. 8. Die Wissensformen und die Gesellschaft. 3. Aufl. Bern und München: Francke Verlag, 1980. S. 282–358.

дарством, он вызывает все более глубокие и яростные социально-классовые, национальные, культурные, цивилизационные противоречия, конфликты и революции; наконец, развитие индустриальной цивилизации, основанное на прогрессе позитивного точного знания и техники внешней экспансии влечет за собой, как подметил еще Ж.-Ж. Руссо, все больший упадок нравов и культуры, в результате чего у существа под странным названием «*homo sapiens*» остается все меньше сил и воли к продолжению рода, а потомство становится все менее жизнеспособным.

Вот почему особый вид знания и познания мира, которое начинается с феномена «удивления» и завершается стремлением постичь сущность вещей и структуру мироздания в целом, столь же необходим человеку, сколь необходимы ему деятельностное знание и познание, ориентированные на практическое технико-технологическое применение. Такой вид знания и познания Шелер называет по-разному: «философским», «сущностным», «образовательным», «человечески-образовательным», «служащим становлению человека в человека», «личностным». Философское, или образовательное, знание как бы надстраивается над базисным научным, занимая более высокое место в ценностной иерархии видов знания. Таковая, по Шелеру, существует, причем вполне «объективно».

«Существует ли между этими тремя высшими целями становления, которым служит знание, *объективная иерархия*? По-моему, — очень ясная и сразу же высвечивающаяся: от знания ради господства (оно служит практическому изменению мира и возможным достижениям, посредством которых мы можем его изменить) путь идет по направлению к цели «образовательного знания», посредством которого мы расширяем и развиваем бытие и так-бытие духовной личности в нас до *микрокосма*, пытаясь быть причастными тотальности мира (по крайней мере, в его структурных сущностных чертах и сообразно нашей неповторимой индивидуальности). От «образовательного знания» путь лежит, далее, к «спасительному знанию». То есть, к *такому* знанию, в котором наше личностное ядро пытается стать причастным самому высшему бытию и *самой* основе всех вещей (соответственно, сама высшая основа делает личностное ядро причастным такому участию). Или, иначе, к знанию, в котором высшая основа вещей в той мере, в какой она «узнает» в нас и через нас себя и мир, *сама* приходит к цели своего вневременного становления (как учили сначала Спиноза, позднее Гегель и Эдуард фон Гартман), к некоему *единению* с собой, к снятию заложенного в ней «напряжения» и «изначальной противоположности»¹³.

¹³ Шелер М. Формы знания и образование / Шелер М. Философское мировоззрение / Шелер М. Избранные произведения. М.: «Гнозис», 1994. С. 42. В примечании к этому фрагменту доклада Шелер прямо указывает, что иерархия трех целей ста-

Интересующее нас прежде всего специфическое отличие сущностно-образовательного знания от позитивно-научного заключается, согласно Шелеру, в том, что оно, в виде философии, а именно в форме разрабатываемой им философской социологии знания, впервые ставит под сомнение самоочевидные «априори» «естественного мировоззрения» человека как жителя Западной Европы и вообще все очевидности естественного «инстинктивно-моторного» мироотношения человека как жителя Земли. Возникает вопрос: возможно ли такое? Способен ли человек вдруг перестать быть живым деятельным существом со всеми своими инстинктами, потребностями, интересами? По мнению, Шелера, — да. Требуется лишь определенная духовная практика, которую он называет техникой «выключения технического принципа выбора предмета знания в соответствии с порядком возможной овладеваемости». Ее краткая характеристика, приводимая ниже, напоминает то, что Э. Гуссерль называл «феноменологической редукцией».

«Этот вид воли к знанию, — пишет Шелер, — должен поэтому с тем же самым прилежанием, точностью и исключительно с помощью своеобразной *техники* духа учиться отвлекаться от здесь-теперь-так-бытия, а также от возможности овладевать и управлять вещами и их становлением вообще, как, со своей стороны, та, другая, воля к знанию должна отбирать и вычленять из того, что дано, именно эти черты “овладеваемости”, как раз с подозрением отвлекаясь от всякой *сущности* вещей. То есть, философия начинается с сознательного отключения всех возможных *связанных с вожделением и практическими действиями установок духа*, в которых нам только и даны случайное действительное бытие, реальность вещей, а также с сознательного выключения технического принципа выбора предмета знания в соответствии с порядком возможной овладеваемости. И если ставится цель *всестороннего* культивирования знания, вообще доступного человеку как таковому, то становится *важным*, чтобы и включение технического принципа выбора, и его выключение осуществлялось с ясно осознанным *методическим намерением*»¹⁴.

III

Пафос метафизики Макса Шелера, полемическая заостренность его философской социологии против позитивизма и прагматизма (а также мар-

новления знания «в точности соответствует объективной иерархии ценностных модальностей (ценности святости, ценности духа, ценности жизни)» в том виде, в каком он разработал ее в своей «материальной этике ценностей» (там же, с. 56).

¹⁴ Там же, с. 45.

ксизма, впитавшего в себя в равной мере и тот, и другой), могут остаться не понятыми до конца, если не сказать о его поздней культурологической *концепции выравнивания*. Согласно последней, с XX века человечество вступило в мировую эпоху выравнивания исторически сложившихся социокультурных, национально-культурных, геополитических и других дисбалансов. Она чревата стремительными преобразованиями, разрушительными общественными катаклизмами, конфликтами, революциями, войнами. Одним из самых глубоких и потенциально опасных для всего человечества является, по мнению Шелера, дисбаланс между *культурами знания* Запада и Востока. Из трех указанных видов знания Запад односторонне развивал и культивировал только достижительное научно-техническое знание, направленное на возможное практическое изменение мира в форме все более дифференцирующихся в своей специализации позитивных наук. Образовательное и спасительное виды знания в Новой истории Запада все больше и больше отходили на задний план.

«Но и из этого знания ради господства и знания, ориентированного на работу, в этот период культивировалась только *одна* возможная *половина*, — отмечает Шелер: — та его часть, что предназначена служить овладению и управлению *внешней* природой (в первую очередь — неорганической). *Внутренняя* техника жизни и души, т.е. задача максимального распространения власти и господства воли и посредством нее — духа на психофизические процессы организма (поскольку он как ритмизированное временное единство регулируется по витальным законам) отступила далеко назад перед целью овладения внешней и мертвой природой... (...) Позитивизм и прагматизм — лишь очень односторонние философские *формулировки* этого действительного состояния новозападноевропейской культуры знания: оба они делают трудовую науку, не вполне ясно это осознавая, единственно возможным знанием вообще»¹⁵.

Сложившийся перекокс в западноевропейской культуре знания постоянно углубляется благодаря так называемому научному мировоззрению. Его Шелер критикует в «Университете...» в том месте, где говорит об «образовательных предметах» и «своего рода вспучивании специальных дисциплин». Научное мировоззрение по сути и есть «разбухание» основных понятий специальных дисциплин «до понятий о мире, или мировоззренческих понятий». В результате, пишет Шелер, «воцарилось нечто вроде *анархии* специальных наук, *каждая* из которых претендовала на то, чтобы быть философией, в действительности же либо претерпевала схоластическое окостенение, либо трансформировалась в секту с тайной терминологией»¹⁶.

¹⁵ Там же, с. 43.

¹⁶ См. перевод.

Заметим: к началу XXI века ситуация лишь усугубилась. Дисбаланс в западной культуре знания поддерживается за счет того, что представители точной, или позитивной науки, или науки ради самой науки препятствуют устранению этой, по мнению Шелера, «чудовищной односторонности» куда больше, чем прагматизм, «так как их *мнимо*умозрительная “теоретическая” наука неправомерно занимает место возможного образовательного и спасительного знания в человеческом духе».

Отметим словечко «мнимо», которое автор выделил курсивом. Оно может вызвать недоумение, причем не только у поборников научной философии, социологии и других общественных и гуманитарных наук. Шелер различает подлинное умозрение, характерное для философского и религиозного познания и ориентированное на постижение сущностей, и псевдоумозрение позитивной науки, ориентированной на труд, достижения, господство и т. п. Последнее создает «формально-механическую картину мира», составляющую ядро научного мировоззрения. При этом было бы наивно думать, будто Шелер понимал такую «ориентацию» психологически, вообще как субъективный реальный процесс — индивидуальный, социально-групповой, институциональный, национальный и т. п. Речь идет о философско-антропологической «укоренённости» научного познания, о конститутивном для науки родовом человеческом антропоцентризме и антропологизме. Наука, подчеркивает Шелер, «*объективно* бессмысленна и вообще бесцельна, если не служит практически-техническому изменению мира». Эту линию философско-антропологической «укоренённости» социальных институтов как социологическую интерпретацию кантианского трансцендентализма развил впоследствии А. Гелен.

Сложившийся в западной культуре знания дисбаланс между тремя основными видами знания сказался на современной Шелеру системе высшего и народного образования. Во-первых, Шелера беспокоит односторонность картины мира, которая сложилась у современного человека в результате агрессивного вытеснения научным знанием других видов знания. Во-вторых, он озабочен тем, что немецкая система высшего образования не только воспроизводит такую односторонность, но и постоянно усугубляет ее, поддерживая в рамках университета прогрессирующую специализацию научного знания. Картина мира получается уже не только односторонней, но и узкой (узко-специальной). В-третьих, его как философа-персоналиста тревожит то, что ни в университете, ни в народном университете не уделяется должного внимания образованию как процессу формирования личности человека, его становления; что педагогические, воспитательные аспекты образования по большей части попросту игнорируются.

Наконец, в-четвертых, у Шелера как философа и социолога культуры были и другие, глобальные опасения: «*не может ли* весь процесс запад-

ной цивилизации, этот столь односторонне и сверхактивно направленный *во вне* процесс, оказаться в конечном счете *опытом с негодными средствами* (рассматривая исторический процесс как целое), если его не будет сопровождать противоположное искусство завоевания *внутренней* власти над всей нашей психофизической “жизнью”, автоматически протекающей на уровне ниже духовного, искусство погружения, ухода в себя, терпения, сущностного умозрения. Не может ли случиться так, — я беру крайний случай, — что человек, ориентированный *только* на внешнюю власть над людьми и вещами, над природой и телом, *без* указанных выше акций и противовесов в виде техники власти над самим собой в конце концов кончит *противоположным* тому, к чему он стремился: его все больше и больше будет *порабощать* тот самый естественный механизм, который он сам усмотрел в природе и встроил в природу как идеальный план своего активного вмешательства? Бэкон говорил: “naturam nisi parendo vincimus”¹⁷. Но разве нельзя точно так же сказать: “naturam paremus, si nil volumus quam naturam vicere”^{18?}»¹⁹.

Шелеровский проект реформы университета, а, соответственно, и народного университета, был задуман прежде всего для того, чтобы устранить эти очевидные для немецкого мыслителя перекосы и таким образом избавить немецкий народ и все человечество от тех рисков, которые упрямо воспроизводила немецкая система высшего образования.

¹⁷ Naturam nisi parendo vincimus (*лат.*) — природу побеждаем, подчиняясь.

¹⁸ Naturam paremus, si nil volumus quam naturam vicere (*лат.*) — природе подчиняемся, даже если хотим только победить ее.

¹⁹ Шелер М. Человек в эпоху уравнивания / Шелер М. Философское мировоззрение / Шелер М. Избранные произведения. М.: «Гнозис», 1994. С. 116–117.

МАКС ШЕЛЕР

УНИВЕРСИТЕТ И НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ¹

Нераздельность проблем реформы университета и построения народного университета

Призван ли немецкий *университет* участвовать в формировании нового систематического немецкого народного образования, поскольку он может содействовать так называемому *народному университету*, по силам ли ему эта задача и как именно к ней подходить, — это вопрос, практическое решение которого будут определять дух, сущность, цели и организация немецкого народного образования не меньше, чем дух, сущность, цели и организация самого немецкого университета. Конечно, университеты — в общем старинные, константные, воспринимаемые как данность и сохраняющиеся по традиции реальности, продукты многовековой истории, требование же нового систематического народного образования и необходимых для него организаций — нечто новое, становящееся, неустойчивое, собственно говоря, всего лишь осуществляемая идея. Поэтому не удивительно, что еще до войны и революции в соответствии с правилом «всякое образование всегда нисходит сверху вниз» многочисленные движения за народное образование возникли у многих наций в специфической форме «*движений за расширение университетов*». При этом образ «расширения» выражает иллюзорное представление, согласно которому то, чему надлежит оставаться в сущности и по качеству тем, что оно есть, должно приобрести лишь более широкую сферу влияния и власти. Однако сегодня, после войны и революции дела обстоят совершенно иначе — по крайней мере, в Германии, которой мы главным образом и ограничимся. Университет *сам по себе* больше не является той константной надежной

¹ Перевод выполнен Александром Малинкиным по изданию: Scheler M. *Universität und Volkshochschule* / Max Scheler *Gesammelte Werke*. Bd. 8. *Die Wissensformen und die Gesellschaft*. 3. Aufl. Bern und München: Francke Verlag, 1980.

величиной, какой он был прежде. Дело не только в том, что он сам и возникшие в его лоне академические профессии, преподаватели и студенты вынуждены вести тяжелейшую борьбу за существование как в экономическом плане, так и в плане своей социальной значимости, — но прежде всего в том, что университет видит себя как высшую школу для руководства, из-за которого он и попал в столь ужасное положение, оказавшись в широких масштабах как бы на скамье обвиняемых — не важно справедливо или нет. Разведающее недоверие и едва ли не чувство превосходства по отношению к университету исходят как раз от тех слоев народа, которым новое народное образование больше всех должно идти на пользу, — а именно из рабочих кругов. Вот уж действительно неподходящая диспозиция для расширения университета!

Вдобавок ко всему этому существует еще один факт, который делает наш вопрос сегодня особенно трудным и запутанным: *одновременно* с требованием и попытками создать новое народное образование, соответствующее новой республиканской и демократической Германии, выдвигается требование провести более или менее глубокую *реформу самого немецкого университета*. Стало быть, совершенно независимо от того, что в любом случае каждое так называемое расширение университета должно оказать значительное обратное воздействие на дух и сущность самого университета, мы, решая сегодня эти вопросы, имеем дело уже не с отношением между одной постоянной, данной величиной и одной переменной, становящейся величиной, а с отношением между *двумя* переменными и становящимися величинами.

Вот почему констатация того, что вопрос о возможном содействии университета народному университету а, с другой стороны, проблема университетской реформы сами *неразрывно друг с другом связаны и взаимопереплетены*, — что, стало быть, движение за расширение университета *больше не может всерьез рассматриваться* в народном университете как основополагающая форма немецкого народного образования — представляется мне важным отправным пунктом для всех последующих размышлений. Возникшее в Германии еще до войны недостаточно широкое, несистемное движение за расширение университета — в Австрии оно было инициировано прежде всего Лудо Хартманом, в дальнейшем укрепилось и много больше поддерживалось государством — явилось попыткой преподавать народным массам сверху вниз из цитаделей устоявшейся, отчасти закостеневшей, но чрезвычайно самонадеянной *буржуазной культуры* такое образование, выбор и форма подачи которого определялись почти исключительно учеными носителями этой культуры. Существенным образом этот выбор определили точки зрения на то, как формировать политические настроения и оказывать политическое влияние, «борьба» против соци-

ал-демократии, создавшей внутри себя собственную организационную крупноячейную сеть *антибуржуазного* образования (аналогичное можно сказать о католицизме, о Центре в Католическом народном союзе, Союзе Борромауза² и т. д.). *Духовного движения* за возможность получить образование, выходящее за рамки чисто специального, технического либо сутоубо партийно-политического, которое бы спонтанно выросло из самих рабочих масс, *не было*; не было и участия самих рабочих в определении *содержания* образования и *формы* его подачи. В известном смысле, предприятие в целом носило благотворительный характер. С богатого стола высших образованных слоев бессистемно, то там то тут падали вниз жалкие крохи — кто мог, подбирали их! Однако сегодня прежние самонадеянность, закостенелость и неизменность этого типа образования сильно поколеблены. Вместе с тем из недр самих народных масс спонтанно выросло движение, требующее в первую очередь *простого человеческого образования*, тем более, что общее сокращение рабочего времени ограничило некогда действовавшую формулу Демеля³ «Только время!». К этому надо прибавить глубокое потрясение так называемого «мировоззрения» пролетариата (да и самого марксизма), ранее запрещавшего простое продвижение по пути партийного обучения и партийного образования.

Если отказаться от намерения сделать главным предметом рассмотрения внешние вопросы организации, то при таком запутанном состоянии проблемы под названием «Университет и народный университет» следует с самого начала исходить из кардинально *новой общей оценки потребности в образовании и знании* нашего народа вообще, а также из вопроса о том, соответствует ли и в какой мере этой потребности *прежняя структура немецкой системы образования*. Ибо как раз поиски ответа на последний вопрос приводят нас к общему единому корню обеих проблем — и *университетской реформы*, и большой темы «*народный университет*». Далее мы рассмотрим те *цели*, которые должны ставить перед собой реформированный университет и народный университет, особое внимание уделив при этом *симптоматике ошибок* и недостатков, характерных для нашего предшествующего образования, и только затем перейдем к теме *практической организации взаимодействия между университетом и народным университетом*.

² Вероятно, речь идет о немецком союзе, поддерживавшем «антимодернистскую» энциклику папы Пия X «*Editae saepe*», так называемую энциклику Борромауза (была выпущена 25.05.1910). Реформация называется в ней мятежом и извращением веры. Согласно энциклике, реформаторы «подготовили мятеж и отступничество современной эпохи». — *Прим. пер.*

³ Демель (Dehmel), Рихард (1863–1920) — немецкий поэт, прозаик, публицист. — *Прим. пер.*

В последующем изложении вопросы *университетской реформы* рассматриваются постольку, поскольку они имеют значение для отношений между университетом и народным университетом.

I. К реформе университета

Внутренние противоречия немецких университетов, их разрешение и новая структура немецкой системы образования

Главные цели высших образовательных учреждений современного цивилизованного западноевропейского народа таковы:

1. Бережное и верное *хранение и наследование* всех благ в сфере образования и знания, созданных трудом западноевропейских народов в их общей истории.
2. Методичное, педагогичное и экономное *преподавание и обучение* в области профессионального и специального образования всех находящихся на службе государства, церкви и общества «специалистов», всякого рода чиновников, представителей свободных профессий, коммерсантов и т. д.
3. Методологическое продолжение научного *исследования*.
4. Всестороннее духовное формирование и преобразование человеческой личности посредством решения особых «*общеобразовательных задач*»; наконец, максимальное одушевление этих образовательных задач с помощью личностных *образцов*, с которых каждый человек берет пример постольку, поскольку принимает их в качестве меры для себя и своего поведения.
5. Правильное, простое и целесообразное *распространение* всех благ сферы образования и знания среди *различных слоев и классов народа*; что означает, следовательно, распространение этих благ посредством *промежуточных институтов*, находящихся посередине между высшими школами, исследовательскими и образовательными учреждениями и тем, что каждый знает из собственной жизни и благодаря учебе в народной школе.

Здесь как раз и возникает проблема народного образования, а следовательно, и *народного университета*.

Совершенно ясно одно: прежняя немецкая система образования обнаружила свою *несостоятельность в наибольшей степени* в достижении *двух последних* целей. Но реформа необходима также и в отношении первых трех целей; это открыто признают сами государственные инстанции. «Необходимость в реформе нашей академической жизни⁴ осознана дос-

⁴ В немецком языке слово «академический» означает принадлежность не к академии наук, а к университету и создаваемым в нем и при нем компактным научно-исследо-

таточно широко — в наименьшей степени еще профессорами, острее студентами и, наверное, наиболее остро молодыми преподавателями и учеными: приват-доцентами, а также многими интеллектуалами за рамками высшей школы», — констатировал прусский министр культуры К. Х. Беккер в газете «Deutsche Allgemeine Zeitung» в 1918 году.

Прежде всего возникает вопрос: как *распределялись* или еще *распределяются* пять указанных целей в наших немецких образовательных учреждениях? Как они *должны* распределяться? Насколько они *могут* распределяться, будучи связаны с существующими реалиями?

Качественное своеобразие немецких образовательных учреждений до войны заключалось в том, что великие цели, которые призвана решать культурная политика каждого современного народа, крайне односторонним образом были привязаны к *одному* единственному институту: к немецкому *университету*. Отсюда в *духовном корпусе этих университетов* и возникли глубокие *противоречия*, которые со временем лишь усугублялись.

Немецкий университет, как и все университеты, имеет средневековое происхождение. На мой взгляд, это *форма* высшего образовательного учреждения, *единственно подходящая* для *средневекового общества* с его образовательной структурой. Средневековое в нем заключается прежде всего в той примитивной целостности и *недифференцированности* целей, которые университет перед собой ставит — и которые немецкий университет сохранял *дольше*, чем университеты других наций. Уже его название говорит о том, что он не должен служить одной определенной цели, как институты под названием «высшая школа»: высшая школа — это всегда высшая школа «чего-то», например, техники, торговли, сельского хозяйства и т. д. К названию университета такое «чего-то» поставить нельзя. Университет, наоборот, хочет быть «totum»⁵, целым, всеохватывающим, то есть, он хочет представлять собой «*universitas*»⁶ знания и образования. Ограниченная цель отвергает саму его *идею*. Идея университета — это, так сказать, увеличенное отражение тех книг, которые мы иногда находим у антиквара и, перелистывая их, с удивлением обнаруживаем, что первые страницы рассказывают нам о сотворении человека, а на следующих

вательским институтам, поэтому по смыслу оно близко словам «университетский», «имеющий высшее (университетское) образование», «научный», «научно-исследовательский». Большой немецко-русский словарь (М.: Рус. яз., 2000) дает следующие значения слова *der Akademiker*: «1. человек с высшим [университетским] образованием; 2. академик, член академии (наук) (*не в Германии*); 3. преподаватель высшего учебного заведения; 4. *уст.* студент высшего учебного заведения». — *Прим. пер.*

⁵ Totum (*лат.*) — все, полное, целое; совокупное, вместе взятое. — *Прим. пер.*

⁶ Universitas (*лат.*) — совокупность, целое; вселенная, совокупность вещей. — *Прим. пер.*

в компендиальной форме излагаются теология, география, а также учения об основных творениях природы и главных этапах человеческой истории. В старинных образовательных институтах, когда они только что выросли из средневекового порядка, *исследование* как таковое находилось далеко *на заднем плане* по сравнению с *традицией и учением*. Всякое образование инспирировалось в первую очередь *религией*. С другой стороны, в Средние века и вплоть до XVIII столетия *образовательная* цель внутри малодифференцированных предметов могла быть теснейшим образом *сопряжена со специально-научной подготовкой*; философский факультет — своеобразная окаменелость, сохранившаяся донныне с тех времен, — крепко удерживал вместе под *философией*, «царицей наук», все остальные предметы. Специально обученного государственного чиновничества, долго создававшегося абсолютным государством путем вытеснения добровольного феодального чиновничества, еще не существовало; либеральных профессий было немного, а хозяйственное чиновничество полностью отсутствовало. Латинский язык не позволял тогдашним образовательным учреждениям замыкаться в национальных границах и служил основной предпосылкой для существования той «космополитической республики ученых», о которой говорил еще Кант. Молодые *науки о природе и духе*, в первую очередь вся *современная философия* (из которой эти науки и выросли) возникли за редкими исключениями *вне* университетов, в большинстве случаев даже в остром противоречии с их схоластическим способом обучения. До Канта, например, никто из современных философов первого ранга не был преподавателем университета, да и Кант еще имел обыкновение четко разделять свои занятия как «профессора» и как «исследователя».

Если попытаться понять *сегодняшний* немецкий университет в его исторических предпосылках, то следует отдавать себе ясный отчет в том, что он — в принципе сохранив эту средневековую *форму* «universitas» и будучи хорошо защищен остатками своего самоуправления, первоначально очень широкого, но впоследствии сильно урезанного абсолютным государством — приобрел совершенно *новый облик* лишь благодаря той грандиозной реформе, которую в период Освободительных войн инициировала Пруссия и ведущие идеологи которой имели полное взаимопонимание с ее блестящими и прозорливыми министрами. Это прежде всего Й. Г. Фихте, первый ректор Берлинского университета; Шлейермахер, разработавший проект Берлинского университета, принятый королем; братья Гумбольдт, особенно Вильгельм, оказавший на всю немецкую систему образования колоссальное влияние⁷, Зюверн и многие другие. Когда пришли

⁷ См. Э. Шпрангер. В. ф. Гумбольдт и реформа системы образования (E. Spranger, «W. v. Humboldt und die Reform des Bildungswesens»). [Здесь и далее ссылки М. Шелера]

эти великие мужи, главным считалось «вызволить “гражданина” из стесняющих его уз непосредственных хозяйственных и политических отношений, освободить его сознание от сословной ограниченности и возвысить его над духом простой полезности»⁸. Но когда Фихте — а его национальная идея была еще в значительной мере космополитичной, и при слове «нация» он думал не о национальных «труде», «расширении власти», «хозяйстве» и тому подобном, а в первую очередь о *национальной духовной культуре* (языке)⁹ — попытался придать Берлинскому университету характер немецкого национального духовного воспитательного учреждения, против выступил Шлейермахер со своим чисто научно ориентированным проектом и добился успеха. *Исследование и образование человека* — вот цели, к которым стремились эти великие мужи, реформируя университет; поэтому вопрос о *профессиональном и специальном* обучении первоначально почти полностью выпал из *их* реформы. Несколько военных, промышленных и художественных школ, существовавших в то время, находились под глубоким влиянием духа того института, который они создали. Профессиональное образование само выросло из философского и гуманистического в своей сущности образования, принятого университетом.

Этот факт объясняет нам прежде всего то, почему специальные высшие школы (технические, коммерческие, сельскохозяйственные, ветеринарные высшие школы, лесные и горные академии) почти все возникли *вне* университета; он объясняет, далее, почему нынешний университет, несмотря на то, что сам он под давлением обстоятельств давно стал в своих главных результатах весьма произвольной суммой *специальных школ*, тем не менее, *лишен духа* специальной школы и, согласно настроению и воззрению отцов-основателей, до сих пор еще видит свою задачу в *развитии научного исследования*. «Профессора все еще придерживаются идеи о том, — сказал однажды Беккер, — что университет должен готовить только исследователей, т. е. ученых». И продолжил: «Но университет — это также учебное заведение для приобретения научно фундированных профессий. Девяносто пять процентов наших студентов за всю свою жизнь не проведут ни одного исследования». И однако же эти молодые

ра переводятся, а затем приводятся в круглых скобках на языке оригинала в том виде, в каком они даны самим автором. Примечания переводчика к ссылкам и примечаниям М. Шелера помещены в квадратные скобки. — *Прим. пер.*]

⁸ См. Э. Шпрангер. Культура и воспитание. (E. Spranger, «Kultur und Erziehung», Leipzig 1919, S. 30.)

⁹ «Закрытое торговое государство» Фихте — лишь необходимо дедуцируемый конституционный и экономический *базис* этой духовно ориентированной национальной идеи.

люди обучаются в нынешнем университете *не* с прицелом на приобретение ими *профессиональной* квалификации, но воспитываются как маленькие исследователи — свидетельством чему служит, помимо всего прочего, повсеместно известная за рубежом и почти пресловутая немецкая «докторская работа»¹⁰, которая обязана внести хоть какой-нибудь, пусть минимальный, часто выискиваемый с помощью увеличительных стекол, вклад — кирпичик в общее здание науки, — и все это лишь затем, чтобы кандидат мог привезти домой ученую степень «доктора», имеющую нередко лишь социальное значение, пригодное для *Connubium*¹¹ и других практических целей! Молодые ученые, становящиеся профессорами, ощущают себя опять-таки в первую очередь *исследователями*, а *не учителями*; они также знают, что их оценивают в большей мере по их научным достижениям, чем по педагогическим способностям и профессионализму преподавания. Последний рассматривается ими в большинстве случаев как нечто второстепенное. «Ни у кого это не проявляется так ярко, — говорит Беккер, — как у будущих старших преподавателей. Они воспитываются учеными филологами, естествоиспытателями, математиками и т. д. — но ни в коем случае не учителями и тем более не педагогами». Поскольку мерилом для их самооценки служит профессиональный идеал исследователя, отнюдь не соответствующий их реальной деятельности и задачам как государственных чиновников, естественно, часто они чувствуют себя неудовлетворенными — так же, как теологи, которые воспитываются не священниками, а учеными филологами и историками.

1. *Первым фундаментальным противоречием* нашего современного университета является то, что, хотя под давлением обстоятельств он фактически *перестал быть «universitas»*, превратившись в *сумму специальных высших школ*, — однако и не хочет быть специальной высшей школой, желая оставаться учреждением, где исследователи воспитывают исследователей. Университет стал «застенчивым вузом», т. е. специальной высшей школой «с нечистой совестью».

Последствия реализации этого свойственного лишь немецкому университету принципа *единства учения и исследования*, в конце концов стали одинаково сомнительными *для того и для другого* — как для профессионального обучения, так и для исследовательской работы. С одной стороны, натуры, склонные к исследованию, чувствуют себя перегруженными задачей *трансляции учебного материала*, специфичной как раз для специальной высшей школы. Поэтому чем более они настоящие исследователи, тем более раз-

¹⁰ Doktorarbeit (нем.) — научно-исследовательская работа, аналогичная кандидатской диссертации. — Прим. пер.

¹¹ Connubium (лат.) — брак, бракосочетание, любовная связь. — Прим. пер.

двоенную жизнь они вынуждены вести. Их силы и время уходят на решение задач, которые «прилежные подмастерья» (Беккер) могли бы решить намного лучше; они снова и снова пережевывают то, что им давно наскучило. Поскольку их любовь обращена к исследованию, то единственное в трансляции учебного материала, что может занять их дух и воодушевить, – точно продуманная *педагогическая методика* самой передачи материала – зачастую вызывает у них меньше всего интереса. Так что зачастую они даже не делают хорошо то, на что уходят их потерянные для исследования силы. Описанные в тысячах книг вещи, которые студент, проявив некоторое прилежание, мог бы найти и выучить без всяких лекций или прочитать в хорошем учебнике повторительного курса, они обязаны зачитывать с высоких кафедр. (Было бы лучше, если бы лекция ограничивалась, по крайней мере, основными понятиями и методикой, а передача учебного материала происходила по-другому, например, на семинаре и вводном семинаре; Беккер ратовал поэтому за перенос центра тяжести с лекций на семинары.) Но, с другой стороны, из-за этой системы не меньший ущерб наносится также и *исследованию*. Целые науки, например, сравнительная психология животных, мыкаются в университете, как безродные. Те, кто ими занимается, не имеют перспективы. *Пограничными вопросами*, лежащими на стыках различных наук и весьма плодотворными для прогресса знания, с легкостью пренебрегают, потому что не вполне ясно, в какую именно из *профессионально* ориентированных «специальностей» они вписываются. Предметные взаимосвязи, выявляемые исследователем, ведут дух совсем иными тропами, чем практически целесообразное подведение итогов какой-либо области знания в интересах соответствующей специальности и профессии. В этом кроются причины *утилитаризации* немецкой науки, произошедшей в последние двадцать лет, в чем нас не без оснований упрекает зарубежный мир, в том числе и тот, что нам благоволит. Тем самым создаются благоприятные условия для *офромечивого* решения научных проблем. Профессору как *преподавателю-предметнику* не так легко сказать: «Я этого не знаю». Практика требует решения. Это негативно влияет на здоровый исследовательский скепсис и критику. Не меньший вред наносится также *профессиональному и специализированному* обучению. Ведь профессор чувствует себя «настоящим» исследователем. Между тем, его контакты с современной ему действительностью не достаточны, чтобы он мог точно сказать, что именно требуется в профессиональном обучении. Таким важным для профессионального обучения качествам, как *предрасположенность сердца, воли, характера* к той или иной профессии (например, судьи, врача и т. д.), не уделяется почти никакого внимания. В результате университет покидают мелкие ученые, оторванные от мира, и пустопорожные интеллектуалы, голова у которых

забита неувоенным мудрёным знанием, неприменимым в профессиональной деятельности. Слишком много знаний, слишком мало *способности изложить собственную позицию*, слишком мало понимания *ответственности* и со-ответственности за выражение собственного мнения — к сожалению, именно такое впечатление производят молодые ученые-выпускники наших университетов на объективных наблюдателей.

2. Между тем, подобное напряжение существует не только между исследованием и специальным, соответственно, профессиональным обучением — в не меньшей степени оно существует между этими обеими задачами университета, с одной стороны, и более высоким *общим духовным образованием* и *образованием личности*, с другой, поскольку университет также считает их своими целями и поскольку в Германии он является почти что единственным заведением, которое имеет к этим целям какое-то отношение.

Здесь мы затрагиваем один из *самых удручающих* недостатков немецкой системы образования вообще¹². Мы видели, что Вильгельм ф. Гумбольдт, Фихте, Шлейермахер в своей реформе университета на *первое* место ставили духовное образование человека посредством философии, истории, религии, поэзии, искусствознания. Именно такую философско-гуманистическую науку имел в виду Гёте, когда произносил слова, в его время исполненные глубокого смысла, сегодня, однако, звучащие почти фальшиво: «Кто владеет наукой и искусством, тот владеет и религией». Науку такого рода цементировал одушевленный христианством и открытый миру философский пантеизм. Лишь овладев таким «образованием» — полученным от учителей, влиявших как личностные *образцы образованности*, — молодой человек должен был искать профессию, специальность, принимая их в их «ограниченности», поскольку он видел их место *в целостности всего мира, к структуре* которого он ранее приобщился. Это наделяло его прозорливостью, широким кругозором, воспитывало скромность и смирение в отношении к своему профессиональному делу — например, удерживало государственного чиновника от того, чтобы стать поборником узко-ведомственных интересов, не способным выглянуть за стены своего министерства, чтобы увидеть *совокупный организм* государства и его нужды, не давало образованному коммерсанту видеть во всем только его собственные деловые интересы и больше ничего. Смысл и особый этос избранной им профессии в народной и государственной жизни как целом был ясен каждому.

В течение XIX века это отношение между общим и специальным образованием изменилось в университетах прямо на *противоположное* — не по чьей-то вине, а под давлением обстоятельств, — между тем ни *новая*

¹² См. публикуемый ниже перевод фрагмента б) из рукописного наследия М. Шелера под названием «Недостатки немецкого образования». — *Прим. пер.*

форма, ни какой-либо институт духовного образования и преобразования личности наряду с университетом так и не были созданы. Немецкий студент, в отличие, скажем, от английского, который сначала два года посвящает общеобразовательным целям, в большинстве случаев сразу выбирает специальность, чтобы как можно раньше начать зарабатывать на хлеб, однако вследствие этого не видит в *общеобразовательных* целях ничего, кроме бесполезного «примечания» к своим специальным и профессиональным штудиям. Так возникли две вещи, одинаково ужасные по названию и по сути: «образовательный предмет», или «образовательные предметы», и «образовательные экзамены» — звучит почти как «деревянное железо»! Естественно, учебные курсы и дисциплины также перестроились сообразно этому новому открытию «образовательных предметов». Философия стала логикой и методологией наук, «историей философии» или экспериментальной психологией. Будучи во времена Гегеля даже не «царицей наук», а их деспотичной правительницей, она превратилась сегодня в *служанку специальных наук*, или даже в самую специальную науку. И это еще не все: произошло своего рода вспучивание специальных дисциплин, соответственно, разбухание их основных понятий до понятий о мире, или мировоззренческих понятий¹³; воцарилось нечто вроде *анархии* специальных наук, каждая из которых претендовала на то, чтобы быть философией, в действительности же либо претерпевала схоластическое окостенение, либо трансформировалась в секту с тайной терминологией.

Разумеется, такая форма философии — я не говорю здесь о *личностях*, они, как правило, хорошо знали свое дело, — не могла оказать никакого влияния на *общее немецкое духовное образование*. Об этом позаботились, между тем, гениальные оригиналы по ту сторону университета: Шопенгауэр, Ницше, ф. Гартман, Чемберлен и другие. Философия, породившая в эпоху Освободительных войн дух нового государства, философия, которая вызывала и еще вызывает к себе повышенный интерес не только у студенческой молодежи, но и у представителей старших поколений, у людей образованных, причем не только в Германии, но и в России, Европе и Америке, — эта философия как элемент *национального образования* была в Германии ровным счетом утрачена. Аналогичная девальвация образовательной ценности постигла филологию, историю, литературоведение и искусствоведение. Они разрослись до невероятных масштабов, и это следует отнести на счет таких немецких качеств, как чутье, остроумие, прилежание,

¹³ См. в этой связи меткие наблюдения Э. Гуссерля в его «Философии как строгой науке» (E. Husserl, «Philosophie als strenge Wissenschaft», Logos I, 1910), а также раздел «О сущности философии» в моей книге «О вечном в человеке» («Vom Ewigen im Menschen», Leipzig, 1921).

точность. Но *синтезы* остались в большинстве случаев на уровне «синтезов переплётчика» (Buchbindersynthesen) специально-научных книг! Эстетический интерес оказался исключенным из литературоведения и искусствознания (подобно тому, как философский интерес — из истории философии), религиозный интерес — из теологии, интерес к классическому образцу был вытеснен из филологии, которая полностью стала «исторической». Нарботанное специальными науками, занимавшимися только проведением исследований, в систематической форме преподносилось как *синтетическое благо сферы образования*, предназначенное духовному существу в человеке, — другое, но оттого не менее значимое дело, нежели ученое исследование первоисточников. Те же, кто пытались заниматься последним, — как недавно Гундольф в своих работах «Шекспир», «Гёте» — считались и считаются охранителями специально-научных исследований, людьми, вызывающими подозрение; образование духа на примере *образцовых личностей* в духе и в смысле этих образцов — это для них «allotria»¹⁴.

3. Между тем, «образование» находится сегодня в напряженных отношениях не только со специально-научным образованием, но в не меньшей степени и с *исследованием*. Ведь главной задачей образования является не забота о том, чтобы описывать, как что-то медленно вырастает в процессе истории, не достигнутые с помощью определенного метода успехи, а *приобретение* душой человека *личностной формы*: образование призвано делать познание плодотворным для *духовного роста и формирования человека* — не для его удовольствия и удовлетворения, а для *духовной личности* в нем¹⁵. Когда Эдуард Шпрангер, защищая сложившиеся обстоятельства, доказывает, будто пробиться к такому образованию можно не только путем того, что стремишься к нему как к *самостоятельной цели наряду* со специальным и профессиональным образованием, но и благодаря тому, что пытаешься усвоить *саму общеобразовательную ценность* своей *специальности*, например, постигаешь «философское» в ботанике, юриспруденции и т. д., — то здесь с блестящим исследователем я *не могу* согласиться. Образование — не образование, если оно не *всестороннее* образование. Как химик путем постижения образовательной ценности избранной им специальности может добиться развития, например, своих *религиозных* или *государственно-гражданских* чувств и устремлений? То, что Шпрангер называет философской образовательной ценностью специального научного предмета, *можно впервые увидеть* и понять лишь в свете философии

¹⁴ Allotria (греч.) — здесь: нечто чуждое. — Прим. пер.

¹⁵ Глубокое исследование сущности «образования» см. в моем докладе «Формы знания и образование». Бонн, 1925 («Die Formen des Wissens und die Bildung», Bonn 1925).

или такого образования, которое всесторонне охватывает *мировое целое*. Лишь тот, кто придал себе форму и образ посредством духовной работы, *отделенной* от работы специально-научной, способен увидеть свой специальный предмет, его ограниченный смысл и значение *в целостной системе* задач человеческой жизни и ее смысла. Только потом можно ставить перед собой задачу выявления нитей, связующих специальный предмет с целостностью мира и жизненных задач. Образование, далее, невозможно без *ценностных суждений и решений целого человека* в пользу определенных исторически явно выраженных ценностей (если оно не хочет быть романтическим безответственным приключением духа, который кочует по всевозможным культурам, чтобы бесцельно в них вчувствоваться). Но такое образование с необходимостью *исключает* как специально-научное и профессиональное обучение, так и чистое исследование. Вот почему Макс Вебер справедливо требует для национальной экономики в университетах по возможности *свободного* от ценностей причинного анализа экономических отношений¹⁶. Но именно поэтому — если нам не нужны бесхарактерные, неспособные сформулировать свою личную точку зрения логические и технические автоматы — *мировоззренческая образовательная цель* должна стать в университете предметом особой заботы и культуры, *независимой* ни от профессионального и специально-научного образования, ни от подлинно исследовательской деятельности.

4. На университет возложены у нас, — по крайней мере, косвенно — не только эти задачи, но и *распределение знания и образования по различным слоям народа*. Оно может осуществляться различным образом. Отчасти же оно происходило так, что университеты все шире и шире открывали свои двери, вольнослушатели занимали в университетах все больше места, в результате чего либо постепенно снижались предварительные требования к аудитории, либо их наличие проверялось все более небрежно. В этом отношении особенно преуспел Гейдельберг. Отчасти распределение осуществлялось другим известным способом: создавался *народный университет* — но не в качестве самостоятельного заведения с подобранным преподавательским составом, как полагается, согласно директивам особого имперского законодательства либо законодательства, предусмотренного для отдельных государств, а лишь в рамках так называемого *движения за расширение университета*. Кроме того, распределение знания и образования осуществлялось посредством учреждения каникулярных курсов, курсов в народных школах и т. д. Итак, наряду с уже названными тремя принципиально разными целями — учение, исследование, образование

¹⁶ См. Вебер М. Наука как профессия и призвание. 1919 (Max Weber, «Wissenschaft als Beruf», 1919).

личности — уполномоченные университетские доценты должны были без особой проверки их пригодности к выполнению этих *в корне различных*, с педагогической точки зрения, целей взять на себя еще и эту, четвертую, задачу. В своей работе «Немецкий народный университет будущего» В. Пихт пишет: «Если бы в Германии всерьез проводилась агрессивная внутренняя культурная политика, инструментом которой была бы совокупность увенчивающихся народным университетом *образовательных устремлений народа*, то народный университет не следовало бы рассматривать как придаток университетов. Не надо создавать никакого движения за расширение университета, для которого такой университет всегда будет чем-то побочным, третьесортным, средством заработка или тренировочным полем для незанятых приват-доцентов»¹⁷. Я полностью с этим согласен.

Все эти глубокие (признаваемые также и Беккером) *противоречия* в сущности и существовании нашего современного университета должны быть когда-то *кардинально разрешены*.

Прежде чем перейти к частностям, я позволю себе сначала обрисовать *два* принципиально различных *идеальных направления* в их решении. Первое из них представляет К. Х. Беккер¹⁸, второе я выношу здесь на обсуждение. Во всех вопросах, которые касаются симптомов болезни, изъянов, недостатков системы немецкого высшего образования, я почти полностью согласен с Беккером; то же самое можно сказать и об оценке ряда практических реформ в педагогике, организации отношений государства и университета и т. п. В этом вопросе мнения всегда сходятся на почве конкретной, исторически обусловленной *практики*; вот и между нашими взглядами, Беккера и основным содержанием моих воззрений, здесь также возможно самое широкое единство. И тем не менее, в том, что касается *идеальных целей* и задающих вектор *масштабов*, я иду в другом направлении, чем Беккер. Здесь противоположность наших позиций, говоря кратко, состоит в следующем.

Беккер хочет устранить указанные противоречия путем *максимального сосредоточения* всех задач высшего образования Германии, насколько это возможно, в *одной* ядровой институциональной форме: в университете. Затем он хочет добиться того, что ему представляется необходимым, путем *внутреннего* расширения и дифференциации задач и сфер компетенции реформированных образовательных учреждений.

¹⁷ См. Пихт В. Немецкая школа будущего. (W. Picht «Die deutsche Volkshochschule der Zukunft», Leipzig 1919, S. 18.)

¹⁸ См. Беккер К. Х. Культурно-политические задачи империи. (С. Н. Becker, «Kulturpolitische Aufgaben des Reichs», Leipzig 1919).

Я придерживаюсь обратной точки зрения: старый, уже и так предельно концентрированный «universitas» *невозможно восстановить*. Мне представляется необходимым по возможности *распределить* те принципиально различные задачи, которые до сих пор ставил перед собой университет и давление которых вкупе с ответным давлением на них университета породило те самые констатируемые Беккером и мной экзистенциальные противоречия, *по множеству высших образовательных институтов*, призванных находиться между собой во взаимосвязи и живом взаимодействии по известным направлениям и правилам, но поначалу обязанных сформироваться в качестве *отдельных*, самостоятельных учреждений — даже если в них зачастую будут работать преподавателями одни и те же люди.

Это различие между мной и Беккером в понимании направленности реформ обусловлено рядом моментов. Во-первых, — различием во взглядах на то, что вообще еще *можно* сделать из нынешнего университета. Во-вторых, оно обусловлено тем, что мы с Беккером по-разному оцениваем весовое соотношение между *образованием человека* в духе вечных и космополитических ценностей, с одной стороны, и государственно-гражданским, национальным воспитанием и профессиональным обучением, с другой: первому я придаю *большее* значение, чем Беккер. В-третьих, оно обусловлено нашим различным пониманием политического будущего Германии, поскольку Беккер именно по культурно-политическим соображениям стремится к возвышению министерства культуры Пруссии до *имперского* консультационного центра в области культуры, а тем самым — к культурно-политической гегемонии прусского министерства в сфере просвещения и народного образования Германии; я же, напротив, именно по культурно-политическим соображениям выступаю за большую *духовную самостоятельность немецких родов и кланов* и за большую *автономию кланов, родов и отдельных государств* на федералистской почве. И наконец, это различие, хотя бы и в малой степени, но точно обусловлено тем, что Беккер как ответственный практик, ведущий ежедневную борьбу с тем сопротивлением, которое, по его собственным словам, всячески оказывают ординарные профессора *любой* реформе университета, естественно, в большей мере вынужден учитывать сложившееся положение вещей, — а, стало быть, в финансовом отношении его реформаторский план должен быть много дешевле, чем мой.

В идее восстановления «universitas» я усматриваю прежде всего принципиально *традиционалистскую* попытку не только удержать образовательный институт, который, с *социологической точки зрения*, несет в себе сущность и дух средневековья, в его пока еще сохранившейся оболочке, но и вдохнуть в него новую жизнь на непригодной для этого исторической почве, вновь наполнить его соответствующим этой оболочке содер-

жанием. Например, Беккер сетует, что *практически ориентированные* высшие учебные заведения (коммерческие, технические, сельскохозяйственные и другие высшие школы) возникли независимо от университета, и хочет, насколько это возможно, также присоединить их к университету. Но подчинится ли тот *новый дух*, что обрел силу в этих высших учебных заведениях, *старому университетскому духу*? Не следует ли, скорее, признать тот факт, что сам университет в условиях ослабления своего *единства* как «Universitas» уже превратился в *сумму практически ориентированных* высших учебных заведений, и его возможный «прогресс» может заключаться *только* в том, чтобы он совершенно *открыто и честно* — а не, как до сих пор, скрыто и стыдливо прикрываясь сомнительным рвением дать «образование», которое больше дать не может, — стал институтом для *специально-научного и профессионального образования*? Тогда университет был бы тем, чем он по сути и большей части уже *является*, — только легально и честно, *с чистой совестью*.

При этом следует подчеркнуть, что в будущем практически ориентированное *специальное и профессиональное обучение* должно стать делом, намного более *серьезным, дифференцированным и эксклюзивным*, чем было до сих пор. Более или менее демократическому государству в центральном управленческом аппарате и структурах самоуправления требуются совершенно *новые типы чиновников*, они должны иметь высокую, *практически ориентированную, отвечающую современным нуждам профессиональную квалификацию*. Бюрократизация предпринимательства, банковского дела, промышленного производства, а также коммерческих предприятий, число которых, хотим мы того или нет, будет значительно возрастать, также требуют и более широкого профессионального образования, и его специализации. *Социальная демократизация* нашего народа не позволит оставить в неприкосновенности университеты, в основе своей все еще консервативные. Если же *не пойти* навстречу этим, несомненно, историческим тенденциям к возрастанию удельного веса профессионального и специального образования в университетах, если, как того желает Беккер, в духе Гумбольдта, Фихте, Шлейермахера пытаться поставить в нем *на ведущие и руководящие должности создателей духовных синтезов большого стиля*, — короче говоря, если снова однобоко настаивать на *образовательной задаче* университета, то последствия будут двойственными: научно-теоретическая *реакция* в виде потуг приостановить неуклонную естественную тенденцию к специализации исследования и мощное давление со стороны в любом случае необходимого специального и профессионального обучения, которое в обход и помимо университета будет вынуждено прокладывать себе другие пути и искать другие места. Реальным последствием было бы не прикрытие к университету новых практически ориентированных высших

учебных заведений, но частичное *истощение* университета их постоянно возникающими новыми видами и разновидностями, а также растущим числом этих заведений *вне* университета.

Если же попытаться провести более жесткое разделение учения и исследования *внутри* университета, то это в конце концов также дало бы всего лишь местное и административно-техническое единство — отнюдь не *духовное*, каковым должен был бы являться реформированный в *этом* смысле «universitas».

Что касается задачи *общего образования*, то ее автономизация после того, как университеты уже исторически сложились такими, какие они есть в настоящее время, — с теми профессорами, тем духом, тем пониманием «образовательных предметов» — дала бы лишь второстепенный *довесок* к университету; даже если дело дошло бы до учреждения особого образовательного факультета — решение, против которого можно привести весьма убедительные аргументы. Во всяком случае, существующее ныне положение вещей изменилось бы мало. Кроме того, именно образовательные задачи, особенно в плане подбора для них преподавательских кадров, более чувствительны к централизованному управлению и *хуже его переносят*, чем задачи специального и профессионального обучения и диктуемый ими подбор кадров. Как раз потому, что здесь играют главную роль *личность*, мировоззрение и оценки человеческих деяний, централизованное управление со стороны прусского министерства культуры нанесло бы всей империи большой вред. Позволить *государству* выбирать по собственному усмотрению в высшей степени влиятельный класс духовных вождей нации означало бы подтолкнуть государство — пока еще только возможное государство, ибо оно охвачено сильным социалистическим движением, — к прямому *соблазну* чинить несправедливости.

Важным моментом, далее, является то, что именно высшие образовательные институты каждого народа и работающие в них лица должны быть обращены ко *всему* образованному населению — стало быть, не *только* в первую очередь к академической молодежи, но и к *молодым и пожилым*, вообще к образованным людям *всех* сословий. Ибо надо, наконец, изменить сложившееся в Германии положение, когда человек, закончивший университет и принадлежащий к высшим профессиональным слоям общества, так занят службой или собственным делом, что уже не в состоянии поддерживать свое образование (в него входит и национальное образование) на европейском уровне, а тем более мировом. Здесь заключается *главная причина* того упадка, за который со-ответственна наша система образования. Чего нам не хватает, — так это учреждений типа «Collège de France», существующих при Сорбонне в Париже, — институтов, где лучшие умы нации, одаренные способностью к духовным синтезам, обращаются

к высокообразованному слою Франции. Такие личности должны обращаться ко *всем* образованным людям вообще, а не только к студентам.

Далее. Для *этих* целей у нас, как и у всякого народа, есть лишь горстка выдающихся ученых. Они не должны быть очень крепко привязаны к определенным университетам, если, конечно, все остальные университеты (и прочие города) не хотят остаться вообще без этих преподавателей; ибо мы — как и *всякий* народ — просто не имеем их в таком количестве, чтобы в каждый немецкий университет можно было направить хотя бы одного или двух из них. Эта потребность в лучших кадрах до сих пор удовлетворялась за счет того, что такие персоны приглашались на «доклады» то в одно место, то в другое. Но это опять-таки делает невозможным постоянное обучение и воспитание духа в каком-то определенном направлении или с какой-то определенной целью. Для этого следовало бы рекомендовать *множество таких высших образовательных институтов* — независимых от университета либо состоящих с ним в свободном союзе — с принципиально сменяемым преподавательским составом, где определенную роль играли бы изъясненные пожелания слушателей. Характерно, что Берлинская высшая школа им. Лессинга, удовлетворявшая до войны образовательные потребности мелкой буржуазии благодаря подходящему преподавательскому составу, в последние годы преобразовалась именно в этом направлении. Молодежь и люди старших возрастов всех сословий слушают здесь наиболее творчески мыслящих преподавателей Берлинского университета, и последующие дискуссии о различного рода предметах проходят здесь часто на более высоком уровне, чем дискуссии на университетских семинарах. Так было, кстати, и во времена Гегеля; сохранился еще список слушателей его лекций в Берлинском университете, среди которых значатся имена высших военачальников и государственных чиновников того времени. В Марбурге Свободным Студенческим обществом с помощью таких ученых, как Раде, Наторп, Шюккинг, при университете основана Свободная Высшая образовательная школа, которая также стремится к освобождению специфически образовательных целей от их малодстойной роли в университетах.

Одним словом, идеальная цель для меня — провести *разделение принципиально различных задач*, которые до сих пор были возложены на университет, и не спеша *распределить их по четырем или пяти различным видам учебных и образовательных институтов*, перечисленных мной в нижеследующих пунктах.

1. *Прежний университет* постепенно, со все большим сознанием дела преобразуется в институт преимущественно *профессионального и специального образования*.

2. *Исследовательские заведения*, в том числе и те, которые уже существуют, — Институт им. Кайзера Вильгельма в Берлине, Исследовательский институт

социальных наук в Кёльне, Исследовательские институты во Франкфурте, Киле и т. д. — учреждаются заново, устанавливая более тесную взаимосвязь с университетами и академиями или хотя бы примыкая к ним.

3. *Основываются новые заведения по типу Collège de France*, т. е. институты, где выдающиеся исследователи, способные к *духовным синтезам* (философы, историки, искусствоведы, социологи, религиоведы и т. д.) передают современное *знание* не только студентам, обязанным точно так же посещать эти институты наряду со своей профессиональной подготовкой в университете, но и избравшим разные профессии бывшим выпускникам университета (Akademikern), — причем делают все это с учетом прогресса научных исследований и в свете *различных мировоззрений*.

4. *Самостоятельные, независимые от университета народные университеты* учреждаются в соответствии с имперским законом.

5. Между заведениями, указанными в пунктах 3 и 4, в качестве переходных можно было бы еще ввести «*Академии политических и социальных наук*»; они бы решали задачу, которой у нас, в Германии, так досадно пренебрегают: ставили бы специально-научное знание на службу *общественно важным*, в особенности *политических вопросов современности*. В них культивировалось бы страноведение, в смысле всестороннего описания сущности и жизнеустройства других, существующих в это же время народов и государств, изучались бы «сущность и история прессы», журналистика, реклама, история партий, международное право рабочих, вопросы Лиги наций и т. п.

Если бы я вместе с несколькими лучшими знатоками главных отраслей науки и с помощью списка преподавателей немецких университетов и институтов — которые представляют собой ныне пестрый винегрет самых разных духовных типов — должен был выбрать для этих пяти видов институтов *преподавательские кадры, подходящие к каждому из них*, то было бы нетрудно разделить этих людей на различные группы, которые *соответствуют этим институтам*. Это были бы следующие типы преподавателей: 1) *прилежные учителя-предметники*; 2) *исследователи*; 3) *творцы духовных синтезов*; 4) *добросердечные понимающие люди, квалифицированно подготовленные служить в качестве тех, кто несет своему народу образование*, т. е. руководители и преподаватели, требующиеся народному университету; 5) *социальные и политические идеологи*. Сейчас эти типы равнодушно сосуществуют на почве университета, в большинстве случаев не проявляя друг к другу никакого интереса. Они знают друг друга, но не понимают и не уважают. Тот, кто пройдет по сегодняшнему университету, невольно спросит себя: «Куда я попал? В академию? Может быть, я — в специальном научно-исследовательском институте? Или спецшколе? Или это какое-то народное собрание? И т. д.» *Невозможно*, чтобы

университет давал *все*. В конечном счете, он не дает ничего, ибо ничего не дает в полном объеме и как надо.

Формы отбора персонала преподавателей в пяти вышеуказанных заведениях должны быть *разными*.

Государство, т. е. министерство, должно принимать решения о назначениях на ту или иную должность в отношении *специально-научного и профессионального преподавательского состава* — но только после рекомендаций лучших специалистов; такое право должно принадлежать государству, потому что именно оно в первую очередь заинтересовано в специальном и профессиональном обучении своих чиновников. Что касается теологов, то здесь все зависит от принципиальных отношений между церковью и государством, которые у нас вскоре стабилизируются. Я не хочу здесь касаться трудного вопроса о будущем месте теологических факультетов и их отношении к семинарам священников и свободным церковным учебным мероприятиям¹⁹. Я лишь констатирую, что вновь вспыхнувший интерес к религии нуждается в самой энергичной поддержке в *высших* учебных заведениях и народных университетах (правда, лишь в форме философии религии, истории религии, религиозной психологии, учения о сущности мировых религий, а не в виде догматики и т. п.).

Руководство и надзор со стороны государства за университетами как *школами специально-научной и профессиональной подготовки*, если вспомнить прежние масштабы их самоуправления и хотя бы уже из-за крайне консервативного сопротивления факультетов *всем* нововведениям, я предпочел бы сегодня, скорее, *усилить* — в первую очередь в отношении назначений на должности.

Совершенно иначе дело обстоит, по-моему, с желательными формами отбора кадров преподавателей и исследователей для других институтов. Вообще, причина неразрешимости вопроса о лучшем способе выбора заключается как раз в том, что для всех этих разных видов персонала искали *один тот же* ответ.

Что касается трансляции специфических благ высшего *образования*, то *личности* того преподавателя, который обязан быть духовным воспитателем и образцом, надо уделять гораздо больше внимания, чем в случае с рядовым преподавателем-предметником. Что не играет главной роли у преподавателя-предметника и еще больше не находит применения у исследователя (часто крупные исследователи ничего не представляют

¹⁹ Немаловажное явление: во многих новых университетах больших городов (например, в университетах Гамбурга, Франкфурта-на-Майне, Кёльна), поддерживаемых из фондов либо из муниципальной казны, нет теологических факультетов.

из себя как личности), у *такого* преподавателя должно стоять на *первом* месте. Необходимо также совсем иным образом, чем раньше, учитывать *общую духовную значимость* такого типа личностей внутри нации и во внешнегерманском мире. Наконец, в условиях ограниченности временных сроков назначения преподавателей в высшие учебные заведения города определяющую роль должны играть и пожелания *аудиторий слушателей* – однако в таком случае не только студентов, но и всех высоко образованных людей этого города, «городской интеллигенции».

Что касается *исследовательских институтов*, то при назначении в них на первые должности единственно решающее значение и обязательную силу – в том числе для управленческого аппарата, министерств и т. д. – должны иметь, безусловно, *международный научный авторитет* исследователя, а внутри нации – мнения о нем исследователей-специалистов первого ранга.

Наконец, в отношении народного университета я согласен с предложением В. Пихта, выступающего за то, чтобы на уровне законов империи народный университет регулировался общим рамочным законом, на уровне же реализации этого закона – самостоятельными районными и местными организациями федеральных государств, связанными друг с другом посредством высшего комитета. В качестве высших педагогических руководителей народного университета следует привлекать только высоко образованных представителей академического мира с душой, открытой народу, досконально знающих его жизнь и потребности, и только они, учитывая пожелания и запросы живущих в данном месте слушателей, должны отбирать для них преподавателей.

Мне представляется – и отчасти об этом уже говорилось, – что сама природа всех перечисленных высших учебных заведений исключает *одинаковый способ управления* ими, что трудности распределения полномочий между империей, федерально-государственными министерствами и органами городского самоуправления в руководстве нашими высшими образовательными заведениями возникают в первую очередь оттого, что в условиях, когда все эти задачи сосредоточены в университете, обязательно надо искать *одинаковый* способ управленческого регулирования всех учебных и образовательных потребностей, подлежащих удовлетворению в этом учреждении²⁰.

²⁰ Только поэтому в немецких университетах и высших школах (Ганновер) возникли глубоко противоречащие их духу и сущности католические (а в последние годы и евангелические) «мировоззренческие профессуры» без теологических факультетов.

Университеты и исследовательские институты должны быть подчинены всюду, где это возможно, *имперскому ведомству культуры*. Беккер выступает против этого в любопытной работе под названием «Новое построение империи с точки зрения немецкой культурной политики». Когда он в ней утверждает, что культурная политика империи, совершенно независимо от противоречащего практическим целям разделения ее на два имперских ведомства и особые подведомства, была недостаточно продуктивна якобы «потому, что ей не хватало органической взаимосвязи с производящей культуру питательной почвой отдельного государства» и что «империя сама по себе не производила никакой культуры», то в этом он, без сомнения, прав. Однако новая империя — это уже не старая империя, и от «производства культуры» Прусским государством, которому Беккер хочет препоручить руководство всей немецкой культурной политикой, она восприняла не так уж и много. На мой взгляд, всякая государственная политика в области культуры вообще может и должна быть в принципе только *освобождающей и утверждающей свободу*, а не формирующей и созидающей²¹. В этих границах имперское ведомство культуры вполне могло бы взять такие функции в свои руки ради *единства национального образования* — тогда как переустройство Прусского образовательного министерства в имперское ведомство народного образования, о чем Беккер мечтает в своем сочинении, завершится провалом уже хотя бы потому, что встретит решительное сопротивление со стороны южно-германских государств. Все остальные образовательные институты также не должны сильно зависеть от такого имперского ведомства культуры. Право немецких *родов* и всех принадлежащих им структур самоуправления должно быть гарантировано *особым* образом как раз в отношении *задач высшего образования и народного образования*, поскольку в этих видах образования, как и во всем органическом, мировоззрение и история играют намного большую роль, чем в специальном образовании и исследовании.

II. Построение народного университета и университет

A. Этнос и целевые определения

В каких отношениях друг с другом должны находиться *университет* и *народный университет* при условии, что университет не будет просто

²¹ Представленную точку зрения М. Шелер впервые обосновал в работе «Формализм в этике и материальная этика ценностей» (Scheler M. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Mit besonderer Berücksichtigung der Ethik I. Kants. 1. Aufl. Halle: Sonderdruck des Jahrbuches für Philosophie und phänomenologische Forschung, 1916). См. Scheler M. Der Formalismus... 4. Aufl., 1954. S. 548. — *Прим. пер.*

«расширяться» до народного университета или организовывать его из самого себя, — это зависит, конечно, от тех *целей*, которые, со своей стороны, ставит перед собой народный университет, а также от подразумеваемого *типа* народного университета.

Прежде чем я перейду к тому, какие цели, на мой взгляд, должен ставить перед собой народный университет и какая собственная основная форма должна быть ему присуща, необходимо сразу сказать несколько слов о том духе и *этомсе*, которыми *сообща* надлежит проникнуться движению в поддержку народного университета *и* университету, соответственно, и тем образовательным учреждениям, что являются продуктами дифференциации последнего, если мы действительно стремимся создать между ними атмосферу осмысленного взаимодействия.

Когда я читаю прекрасную книгу В. Пихта «Расширение университета и движение за народный университет в Англии», в особенности раздел о «Workers Educational Association»²², о духе и *этомсе*, которыми были преисполнены Мэнсбридж и его сотрудники, то не могу не восхищаться такого рода явлениями. Два сомкнувшиеся благодаря Мэнсбриджу пламенных потока вызвали здесь безбрежный океан света — один пробился сам из глубин жаждущей образования рабочей среды; другой поддерживался выдающимися представителями английского университетского образования, которыми руководила высшая мудрость и понимание насущной человеческой и национальной необходимости *духовно и душевно возвысить* рабочий класс, поднять его и тем самым преодолеть резкую противоположность в образовании высших и низших классов. Каким большим смыслом, какой мудростью, а главное какой *силой сердца*, чуждой всякого рода «благотворительного» патримониализма и государственного благоразумия, преисполнены приводимые Пихтом речи президентов ежегодных собраний²³.

К сожалению, в нашей стране еще полностью отсутствует подобный дух — и в общем и целом также личности, которые могли бы его вызвать к жизни. «Виноваты» в его отсутствии *обе* стороны — немецкий рабочий класс, равно как академики и университеты: с одной стороны, — беспутный призрак «новой» пролетарской классовой культуры на базе дырявой, как решето, доктринальной системы идей марксизма; с другой — мечтательное пребывание в ушедших реалиях и идеях философской системы, которую раз навсегда отвергла история, неспособность к *духовному переустройству* в соответствии с требованиями времени, негодование и раз-

²² Workers Educational Association (*англ.*) — Образовательная ассоциация рабочих. — *Прим. пер.*

²³ Например, обращение президента на собрании 1909 г.; см. В. Пихт, там же. (W. Picht a. a. O., S. 55).

дражение академически образованных слоев, их почти полная гипнотизация *экономическими* трудностями. Все это вместе не позволяет появиться той *атмосфере*, в которой могла бы сформироваться разумная организация взаимодействия между университетом и народным университетом.

Но именно отсюда и надо начать работу! Только если пользующиеся полным доверием рабочего класса люди, прежде всего лидеры профсоюзов, *объединятся* с выдающимися духовными вождями из университетов и создадут *новую атмосферу*, университет сможет взаимодействовать с народным университетом. Тогда перед духовными вождями встала бы задача внедрить в сознание рабочих несколько новых учений. 1. *Культура*, возникшая из «класса», вообще *не существует и никогда и нигде в мире не существовала*; хотя история и знает «сословную» культуру (сословное поэтическое творчество и т. п.), классовой культуры не было нигде и никогда — класс имеет только «интересы» и больше ничего. 2. То, что называется «пролетарской наукой» в противоположность «буржуазной науке», суть отходы и крохи со стола так называемой «буржуазной науки» — а именно ее отходы и крохи в том виде, какой она была 50 лет тому назад; вот почему упрямая приверженность рабочего класса идее, согласно которой он якобы из самого себя *как* класс способен породить «новую культуру» (о какой бы сфере культуры ни шла речь), означает в действительности, что он ставит себя на службу *позавчерашних*, с точки зрения мировой истории, идей и теряет из-за этого всякий живой контакт с общим движением мировой культуры. 3. Классовые идеологии суть *антиподы* культуры и науки — это их фальсификации, а вовсе не «корни»²⁴. 4. Вообще *образование* *начинает* быть чем-то серьезным и человечески полноценным лишь тогда, когда оно рассматривается как *единственная в своем роде цель самой души независимо* от намерений получить экономическую и политическую власть, независимо и по ту сторону от труда в промышленности, на фабрике, независимо от партийных, классовых и прочих «интересов». 5. Гнаться за такими фантомами, как «классовая культура» либо «культура», якобы проистекающая из ручного труда или современной техники, в действительности означает рабски поступаться собственным святым правом на национальные и наднациональные образовательные блага.

С другой стороны, в университет и студенческую среду необходимо со всей энергией внедрять новую живую идею о *смысле и ценности духовного труда*, которая в нашей стране сегодня, на мой взгляд, не понята и в минимальной степени. Говоря кратко, это *особое преимущество* вообще иметь возможность заниматься главным образом *духовной* деятельностью, буду-

²⁴ См. мои «Проблемы социологии знания», опубликованные в этой книге. [Шелер имеет в виду книгу «Формы знания и общество». — Прим. пер.]

чи составной частью такого народа, как наш, — народа, который теперь должен десятилетиями трудно и упорно работать, чтобы обеспечить себе материальное благосостояние и завоевать свою свободу; это ни в коем случае не само собой разумеющееся «право»! Все страдания, обусловленные экономической ситуацией и выпавшие сегодня на долю высокообразованных людей — причем не столько по злой воле слоев, возвысившихся в социальном и политическом отношении, сколько из-за неблагоприятного стечения обстоятельств, — это относительно малые, незначительные жертвы по сравнению с милостью, особой *привилегией быть работником умственного труда*. Я часто сталкивался с тем, что представители академической среды склонны у нас доказывать свое не-материалистическое и не-экономическое «мировоззрение» прежде всего упреком в адрес социал-демократии, а нередко и всего рабочего класса, что мол они *недооценивают* значение и ценность *умственного руководящего* труда в совокупном продукте народного хозяйства. Здесь они совершенно правы. Но эта истина — всего лишь *экономическая*: к «мировоззрению», «идеализму» она не имеет ни малейшего отношения. «Идеализм» начинается лишь тогда, когда умственный труд, понимаемый *исключительно как духовная деятельность и образ жизни*, — т. е. не как средство для экономически важных результатов, а вообще, *сам по себе* — любят, переживают, осмысливают и квалифицируют как более высокую ценность: а именно как более высокую, чем ценность образа жизни человека преимущественно физического труда. Но если это имеет место — если кто-то, действительно, «мировоззренческий идеалист», — то не меняет ли это оценку? Разве не надо тогда сказать: как раз во имя этой более высокой ценности, ради *милостивой возможности* быть работником умственного труда — возможности, выпавшей на мою долю лишь потому, что тысячи моих соотечественников трудятся физически, а не умственно, — я обязан принести *жертву*; и я обязан принести ее даже в том случае, если оплата не соответствует моему трудовому вкладу и плоды моего труда в совокупном продукте народного хозяйства недооцениваются. Именно здесь *этос солидарности* имеет огромное значение для выработки у представителей академической среды сознания долга и ответственности за духовное здоровье и благосостояние всего народа, частью которого они являются. Да, было бы «материалистично», в духе учения Маркса, сказать: «Я должен получать больше, потому что я работник умственного труда». Нет! *Только* потому, что ты имеешь милостивую возможность быть работником умственного труда, ты вовсе не должен, как раз по идеалистической оценке, получать «больше»! Наоборот, если посмотреть на суть дела, приняв эту и *только* эту логику, — что, правда *in concreto*²⁵

²⁵ *In concreto* (лат.) — здесь: в конкретных, реальных условиях. — Прим. пер.

недопустимо²⁶, — ты должен получать даже меньше, чем тот, кто трудится физически, ибо все-таки он (независимо от его реального вклада) несет на себе *damnum*²⁷ физического труда, в то время как ты обладаешь *lucrum*²⁸ заниматься преимущественно умственной деятельностью! Такая чисто *настроенческая* готовность к «*трудоовому уравновешиванию*», осуществить которое законодательно и принудительно в условиях нашей социальной и экономической структуры невозможно, должна получить широкое распространение в высокообразованных слоях нашей страны, если мы в самом деле хотим добиться подлинной *кооперации* в решении задачи народного образования.

Если бы у нас было такое охватывающее рабочих и деятелей образования *духовное движение за народный университет*, которое бы, как мотор, *формировало общественное настроение*, то способ и масштаб *содействия университетов* построению и поддержанию *народного университета* в дальнейшем весьма существенно зависели бы от тех особых *целей*, которые ставит перед собой народный университет, будучи лишь частью института народного образования. В мои намерения не входит углубляться по всем направлениям в этот широко обсуждаемый ныне вопрос о целях. Рассмотрим кратко только то, что касается нашей темы.

1. Народному университету нельзя ставить перед собой *ни слишком высокую, ни слишком низкую цель*. Завышенной целью было бы ожидание, что он сформирует глубокий по своему умунастроению *религиозно-мировоззренчески* фундированный образ жизни. Как бы последний сам по себе ни был желателен, добиться этого невозможно, ибо такая цель вообще *не вписывается* в рамки какой-либо «школы» и тем более *общей* школы. Что растет и становится в глубине души каждого, что нуждается в устойчивой, долговременной жизненной общности с теми, у кого такое же умунастроение, чтобы обрести свою форму, — все это невозможно привести посредством какой-то новой «организации». Поставить перед народным университетом такую цель — значит отдать его на откуп многочисленным «пророкам»

²⁶ Описанная выше точка зрения существенно ограничивается тем, что подготовка работников умственного труда требует много больших экономических затрат, а возможности заработка у них появляются *позднее*, чем у людей, трудящихся преимущественно физически; к тому же занятие преимущественно умственным трудом само по себе требует в известном смысле более высокого содержания жизни в том, что касается жилищных условий, одежды и т. д., — не в качестве вознаграждения, а ради единства жизненного статуса.

²⁷ *Damnum* (лат.) — убыток, потеря, ущерб. — Прим. пер.

²⁸ *Lucrum* (лат.) — выгода, прибыль. — Прим. пер.

и основателям сект, которые плодятся ныне повсеместно, угрожая лишить народный университет всякого единства, либо — что таит в себе еще большую угрозу — сделать из него новую *партийную* школу — будь то для различных религиозно-церковных конфессий или политических партий. Между тем как раз одной из *главных целей* народного университета должно быть *уменьшение конфессиональной и партийной раздробленности нашего народа*, воспитание способности к подлинно *общему* целеполаганию и утверждению ценностей, утраченную у нас в Германии²⁹. В противном случае содействие ему именно со стороны университета будет наименьшим; ибо его преподаватели — приверженцы самых различных мировоззрений и вполне оправданно привыкли строго *держаться* это свое мировоззрение *при себе*, чтобы тем самым впервые обнаруживать научно общезначимое. Мы, конечно, восхищаемся шедевром *датского народного университета*, как его блистательно описал А. Х. Хольман. Но у нас нет никакой уверенности в том, что в нашей конфессионально разобщенной стране подобные движение и институт имели бы успех. Такой университет может быть создан лишь по инициативе педагогического гения и только там, где преобладает крестьянское население с единой исторической религиозной традицией. Но германский народный университет должен быть, во-первых, *общенемецким*; во-вторых, в первую очередь — школой для *рабочих*; и в-третьих, служить не только образованию, но и *духовному национальному единению*. А это исключает для германского народного университета возможность обосновать вышеуказанные цели в замкнутом религиозном мировоззрении. От него, скорее, надо требовать, чтобы он — по формальной аналогии с университетом — был в мировоззренческом смысле «нейтральным», чтобы в нем *сознательно не представлялись* и не защищались *определенные* мировоззрения.

Тем не менее, народный университет обязан самым тесным образом заниматься мировоззренческими вопросами — причем даже более интенсивно, чем университет. Во-первых, он должен будет предлагать тот научный *материал*, который наиболее релевантен мировоззрению и на основе которого каждый слушатель сможет *сам сформировать себе* мировоззрение, соответственно, скорректировать уже имеющееся. Преподаватель постоянно должен обращать внимание слушателей на возможность различных интерпретаций соответствующих научных результатов. При этом он также может и должен честно изложить собственную позицию, выставив на обсуждение предметные основания своего выбора и побудительные мотивы в пользу именно такого решения. Но он всегда обязан делать это с одной

²⁹ См. мою работу «Мир между конфессиями» («Friede unter den Konfessionen», 1920), переизданную в книге «Сочинения по социологии и учение о мировоззрении» («Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre», 1924).

оговоркой и так, чтобы все ее осознали и уяснили: это его *личный* выбор — а не «результат науки». Во-вторых, народный университет должен давать то, что я называю «*учением о мировоззрении*». Оно включает в себя 1) живое и строго объективное описание сущности и содержания мировоззрений, которые продолжают оказывать на нас мощное воздействие; 2) выявление важнейших *исторических* и *личностных* корней этих мировоззрений; 3) подведение слушателей к той *гипотетической взаимосвязи*, которая существует между описанным мировоззрением и научно общезначимыми фактами и законами соответствующей области знаний³⁰. Чрезвычайно важно, чтобы различные группы нашего народа *узнали* свои собственные мировоззрения и научились *сравнивать* их между собой, чтобы таким образом разрушались их ложные *предрассудки* и чтобы все застывшее в их мировоззрении снова обрело текучее состояние и пришло в движение. Если преподавание учения о мировоззрении будет правильно поставлено в народном университете, то уж тем более оно должно культивироваться соответствующим образом в университете, поскольку все науки о духе и прежде всего философия имеют к этому учению непосредственное отношение. Дильтей, Г. Гомперц, Макс Вебер, Эрнст Трёлльч, Ясперс, Грюнбаум, Радбрух каждый по-своему, так сказать, заново обосновали для современности эту дисциплину, которую раньше просто сводили к истории. Так как наибольшая опасность для немецкого народного университета состоит в том, что он снова может превратиться в бессвязную группу *партийных* школ или *скрытых* партийных школ (эссенская система³¹), утратив тем самым всякий рациональный смысл своего существования, то именно в этом вопросе ему следует ориентироваться на дух университета и в особенности — философов и специалистов в области наук о духе. Чем больше у нас оснований отвергать народный университет как плод движения за расширение университета, тем больше мы должны стремиться к тому, чтобы народный университет имел *живую связь с университетом* — чтобы он не остался отчужденным вне сферы влияния его духа. Выход за ее границы происходит сразу, как только народный университет снова становится партийной школой.

2. Если целью народного университета, с одной стороны, не может быть непосредственное, так называемое, «настроенческое» образование

³⁰ См. статью «Мировоззрение, социология и утверждение мировоззрения» («Weltanschauung, Soziologie und Weltanschauungssetzung», 1921), переизданную в книге «Сочинения по социологии и учение о мировоззрении» («Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre», 1924).

³¹ Очевидно, имеется в виду неофициальная практика политического обучения рабочих, сложившаяся в народном университете промышленного города Эссен. — *Прим. пер.*

сердца и воли, ибо он апеллирует, в первую очередь, к *рассудку и созерцанию*, то ею не может быть, с другой стороны, и *простая* передача *специально-научного* знания, в еще меньшей степени — знания *профессионального*. Знание должно преподаваться в таких живых синтезах, чтобы оно обладало возможной *образовательной и формирующей ценностью для всего человека*. Но образовательную ценность имеет лишь такое знание, которое наделено непосредственно переживаемыми смыслом и ценностью для человека именно *как всего* человека, а, с другой стороны, которое настолько доступно и пластично для переработки, что в любой момент актуальной жизни может оказаться в сознании, чтобы встроиться в любую ситуацию и задачу как живой направляющий целевой фактор. Только такой вид знания гарантирует *чувство возрастания самой души* — и ее внутренней силы. К «образованию» относится лишь такое знание, которое *в настоящее время* скрыто *присутствует* в *непосредственной* сфере воспоминания и как бы уже слышится, а не то, на извлечение которого из памяти мы еще должны искусственно настраиваться³². Это определение цели, кажется, еще больше отдаляет народный университет от университета, превратившегося в специально-научную школу. Если бы образовательная задача была изъята у всех университетов и препоручена особым институтам — как я предлагал выше — то народный университет мог бы установить с этими институтами непосредственные связи. До тех пор, пока этого нет, приходится только требовать и ждать, пока будет принято правильное решение, определяемое то по желанию доверенных лиц рабочих или других стремящихся к образованию групп народа, то по тактичному усмотрению самих штатных либо внештатных университетских преподавателей.

Есть много оснований, чтобы *отвергать в рамках народного университета всякое специальное и профессиональное образование*. В первую очередь, здесь следует исходить из симптоматики *отклонений* от традиций нашего немецкого образования. Главным отклонением стала односторонняя *специализация всякого знания*. Это зло затрагивает в одинаковой мере университет и народ: оно охватывает все наше бытие³³. Поэтому от обратного влияния народного университета на университет мы ожидаем большего,

³² См. мой доклад «Формы знания и образование» («Die Formen des Wissens und die Bildung», Bonn 1925), подготовленный по случаю 10-летнего юбилея Берлинской высшей школы им. Лессинга.

³³ См. мою книгу «Причины ненависти к немцам» («Die Ursachen des Deutschenhasse», 1917); см. также «О двух немецких болезнях» («Von zwei deutschen Krankheiten», 1919) и «Мир между конфессиями» («Friede unter den Konfessionen», 1920), переизданные в книге «Сочинения по социологии и учение о мировоззрении» («Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre», Leipzig 1924).

чем от влияния университета на народный университет. Ибо каждый университетски образованный преподаватель, работающий в народном университете, сам будет вынужден *интегрировать* все свое знание, извлекать его по мере возможности из искусственной терминологии, впервые *по-новому определять* его образовательную ценность, преподносить его в более живой и наглядной форме. Здесь принцип «docendo discimus»³⁴ имеет значимость в особом смысле. Правда, такой благоприятный исход следует ожидать, только если задачи специального образования и духовного образования человека будут более четко разделены – либо внутри самого университета, либо в отдельных институтах. Если этого не произойдет, то опасным следствием *слишком тесного* соприкосновения народного университета с университетом станет дилетантизм в специально-научных дисциплинах и в сфере исследований.

Другая фундаментальная причина для исключения специально-научного и профессионального знания из народного университета кроется в том, что последний должен обращаться в первую очередь к *рабочим*. Но здесь так называемая «точка соединения» в передаче знаний со способом труда человека создает еще больше проблем, чем даже в случае со средневековыми профессиями. На мой взгляд, *принципиально ложной* целью народного университета было бы стремление «одушевить», «одухотворить» труд рабочих. Современный промышленный труд *таков*, что его нельзя ни «одушевить», ни «одухотворить»³⁵. Возможно, это удалось бы сделать с ремесленной и крестьянской деятельностью – современная основанная на разделении труда фабричная работа не дает в плане образования человека *никаких* зацепок. Здесь напротив отказывает знаменитый педагогический принцип «соединения» с имеющимися апперцептивным массивом, в особенности практическим. Как раз наоборот, в рабочем надо пробудить ощущение того, что мир образования находится полностью *за пределами* его повседневного труда: что он как человек, гражданин, немец имеет еще совершенно *другие* задачи, чем те, что свойственны ему как рабочему. Именно рабочему мир образования *должен* противостоять как нечто *чуждое, новое*, как некое неведомое для него ценностное измерение, бесконечно далекое от его профессии. Именно резкая противоположность между, с одной стороны, необходимо механизированным, в принципе не поддающимся одушевлению профессиональным трудом и, с другой стороны,

³⁴ Docendo discimus (лат.) – обучая, мы учимся сами. – Прим. пер.

³⁵ Этот тезис М. Шелер впервые обосновал в своей ранней работе «Труд и этика», полемически заостренной против марксизма. См. Scheler M. Arbeit und Ethik // Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. Bd. 114, Heft 2. 1899. – Прим. пер.

стремлением к человеческой и гражданской самостоятельности — вот что составляет совершенно новую проблему душевной *пустоты*, которую создает в рабочем профессия вкупе с односторонней политической партийной работой и которую образование должно заполнить. Как может колесо в механизме профессиональной жизни быть вне профессии *в то же время* цельным человеком? Вот в чем заключается здесь вопрос.

3. Третье целевое предназначение народного университета, находящееся в теснейшей взаимосвязи с только что сказанным, — это возможно более четкое и ясное вычленение *чисто человеческого и душевного ценностного содержания* преподаваемых здесь *благ знания и образования*. Как бы высоко мы ни ценили роль народного университета в национальном единении, преодолении классовых, партийных, конфессиональных и клановых противоположностей, как бы высоко мы ни оценивали с политической точки зрения его вклад в становление новой германской *демократии ответственности перед самим собой* и содействие разумному применению новых завоеванных политических и экономических «прав» — все это, тем не менее, *нельзя рассматривать как первостепенную* задачу народного университета. *На первом месте* должна стоять ценность духовной деятельности вообще, радость от возрастания и обогащения души — одним словом: *чисто человеческая ценность* образования и знания, полученного собственным трудом. До тех пор, пока бурный порыв именно к этой ценности образования — абсолютно независимой от любой практически-результативной применимости знания — не охватит коллективное сознание народа, у нас не будет подлинного движения за народное образование.

Это *высшее целевое предназначение* народного университета, с одной стороны, позволяет установить живейшую связь с *университетом*, но, с другой — в известном смысле *противопоставляет* ему. Первое возможно благодаря тому, что цели научной и исследовательской деятельности, как и цели человеческого образования, особенно в соответствии с немецкими традициями и благороднейшим наследием немецкого духа, *универсальны, наднациональны, сверхутилитарны* и в принципе *внеполитичны*. Согласно Й.-Г. Фихте, университету возбраняется быть «школой национального воспитания». Сближение народного университета с духом университета оплодотворяет его этим благороднейшим наследием. Если же народный университет будет стремиться *только* к национальному единению, он резко противопоставит себя университету. А если он будет сообщать *лишь* последние политические и экономические сведения в целях обучения новым избирательным или иным правам, то ему лучше идти на сближение с учреждаемыми сейчас политическими академиями, а также коммерческими, техническими и индустриальными высшими школами, чем с университетом. С другой стороны, как раз для немецкого университета — в отличие

от английского, французского, американского — характерен весьма односторонний *идеал высокой успеваемости*. Но, по мнению почти всех *экспертов*, в народном университете *не должно оставаться ничего*, что напоминало бы об экзаменах, проверках, а также особых правах, которые приобретаются в результате посещения, — в том числе праве продолжать образование на особых курсах. Ибо народный университет ни в коем смысле не должен становиться средством так называемого социального «восхождения». Всякое пробуждение честолюбия посредством каких-либо наград было бы для него величайшей ошибкой. Поэтому совершенно *недопустим* непосредственный переход из народного университета в университет при определенных показателях успеваемости. Как раз новый народный университет должен *избавить* университет от того, чтобы открывать свои двери *еще шире*, чем он их уже открыл (например, благодаря новым законам о преподавателях), или еще больше смягчать условия допуска, чем это он уже, к вреду своему, сделал (например, в том, что касается древних языков).

Если народный университет призван обращаться в первую очередь к рабочим и крестьянскому населению, а не к среднему сословию, для которого уже давно созданы особые образовательные организации, то он должен — в этом я согласен с Р. ф. Эрдбергом — быть, тем не менее, народным *университетом*, т. е. апеллировать не к массе, а к *аристократии* желающих получить образование и испытывающих в нем потребность. Это предполагается уже педагогически-техническими условиями, поскольку только при малом числе слушателей (40—60 человек) возможны нормальная слышимость и непрерывность совместной работы, которые надлежит требовать в обязательном порядке. С увеличением числа присутствующих духовная активность слушателей *снижается*. Так что следует уповать на опосредствованное влияние этой формирующейся таким образом аристократии, а именно на то, что с помощью полученного в народном университете образования она в дальнейшем окажет влияние на массу. Этот процесс пойдет потом автоматически, что подтверждает, например, русский опыт обучения крестьян чтению и письму. Это целевое предназначение также связывает университет и народный университет. Только таким образом можно поддерживать уровень лекций и курсов на достаточно высоком уровне, который делал бы возможным и целесообразным участие в народном университете преподавателей из университета, не превращая их в массовых ораторов или проповедников. Но тем яснее надо понимать, что эта аристократия сугубо *добровольная* и что при ее образовании не имеет значения ничего, кроме глубины, серьезности, силы *воли к образованию*. Такого рода аристократия должна выделяться из массы — насколько это возможно — не посредством каких-либо условий допуска, но исключительно за счет высокого уровня курсов, их взаимной связи

и последовательности. Правда, с этим целевым предназначением тесно связаны опасности односторонней ориентации на «воспитание лидеров» у преподавателей и упомянутая выше ориентация на «социальное восхождение» у обучающихся. Но их можно частично нейтрализовать, в первую очередь путем *выбора учебного материала*, ориентированного на человеческое образование.

Посмотрим теперь, что из этих общих целевых предпосылок университет может реально предложить народному университету и как может быть организована их кооперация.

Б. Взаимодействие университета и народного университета в практическом плане

Возможное практическое содействие университета в построении и функционировании народного университета можно изложить в следующих *главных пунктах*:

1. Содействие университета в создании, поддержании и организации народного университета.
2. Набор преподавателей из числа преподавателей университета.
3. Обучение в университете будущих преподавателей народного университета; профессура по педагогике.
4. Сравнительное изучение проблемы народного образования и исследование *социологических условий* народного образования различными науками в университете.
5. Возможность содействия приват-доцентов народному университету.
6. Содействие студентов.
7. Периодически устраиваемые университетом и существующие наряду с народным университетом популярные курсы как средство для дальнейшего развития тех, кто уже посещал народный университет.
8. Предметы, подлежащие изучению в народном университете, и учебные средства.

К пункту 1. Если соприкосновение университета и народного университета будет действительно таким тесным, каким его требует наша постановка цели, то университет в той или иной форме должен *участвовать* в создании народного университета и *формировании его организации*. Такое изначальное содействие университетов созданию народного университета может вполне успешно происходить в рамках общих организационных предложений, выдвинутых В. Пихтом в его книге «Немецкий народный университет будущего», на мой взгляд, весьма целесообразных. Пихт справедливо заявляет: «Народный университет — прерогатива империи»³⁶.

³⁶ См. В. Пихт, там же. (Sieh a. a. O. S. 17.)

Уже ради одной только идеи духовного национального единства, которая, с нашей точки зрения, также является, хотя и не высшей, но все же *существенной* целью народного университета, обязательно должен существовать по крайней мере общий достаточно свободный и гибкий рамочный закон, предлагающей основную схему его организации. Разумеется, он не только не должен парализовать самостоятельную инициативу отдельных государств, коммун, союзов, частных лиц, но и, наоборот, призван ее пробудить. Организация должна быть создана как для кругов, желающих нести новое образование, так и для тех, кто к нему стремится. Последним Пихт рекомендует создавать «общества слушателей»; как носители *движения* они, по его замыслу, противостоят комитетам, носителям *организации*. «Общества слушателей» объединяются в земельные союзы, а те — в имперские. Поначалу эти союзы лучшего всего создавать с помощью профсоюзов. Они передают центральному комитету и земельным комитетам отдельных государств, в которых основывается эта учреждаемая государством организация, пожелания относительно проведения курсов, выбора предметов, методов обучения и личностей преподавателей. Как в центральный комитет, так и в земельные комитеты отдельных государств должны привлекаться представители университетов, а именно те, кого университетские сенаты сочли для этого подходящими кандидатурами. Гораздо важнее то, чтобы в ходе формирования этих организаций университетские преподаватели, проявившие по отношению к народному университету понимание сути дела и определенный внутренний пафос — таких, к сожалению, немного — вступили с личным контактом, нашли общий язык и взаимопонимание с лидерами рабочих и доверенными лицами «движения». Пропаганда движения внутри университетской молодежи и среди самих рабочих должна происходить по возможности на собраниях, где представители профсоюзов, ратующие за народный университет, выступали бы *вместе* с представителями университетов.

К пункту 2. Важнейшая часть содействия университета народному университету — это, разумеется, *подбор преподавательских кадров*. Конечно, речь не может идти о том, чтобы все или даже большинство преподавателей народного университета были университетскими преподавателями. Напротив, надо стремиться к тому, чтобы народный университет растил *собственные и самостоятельные преподавательские кадры*. Правда, пока не сформировалась надежная система их отбора, все-таки необходимо будет привлекать больше университетских преподавателей. В *долгосрочной перспективе* содействие университетов в отборе преподавателей должно осуществляться *в форме консультирования*. Вообще, чувство сопричастности университету не должен утратить ни один преподаватель. Вопрос о том, кто из университетских преподавателей наиболее пригоден к рабо-

те в народном университете, в каждом отдельном случае должен решаться только на основе чувства личного призвания и пожеланий, исходящих от доверенных лиц самих рабочих. Право государства назначать преподавателей должно играть здесь столь же малую роль, как и долг университетского преподавателя принимать такое назначение.

Можно указать некоторые *качества*, которыми обязан обладать университетский преподаватель, привлекаемый к работе в народном университете. Главных из них три. Первое — это *подлинная любовь* и серьезный пафос по отношению к делу народного образования. Тому, кого в народный университет не влечет «дух», кто видит лишь мировоззренческие, практические либо иные второстепенные цели, лучше держаться от него подальше. Второе — это способность, талант к созданию *живых творческих синтезов* в своей исследовательской области. Для этого подходят не то чтобы лишь одни философы, но люди с явно выраженным философским складом ума. Третье качество — это нового типа *педагогические* способности, необходимые для народного университета: прежде всего, умение извлекать знание из терминологий и формул, говорить точно и кратко, искусство задавать вопросы и вести дискуссии с людьми совершенно иного склада, не привычного для академической среды.

В народном университете должен учить только тот, кто с помощью преподавательской деятельности сам надеется развить собственное существо и познать душу рабочего человека, — а не тот, кто хочет авторитарно навязывать свое знание.

К пункту 3. *Из каких кругов* должен набираться основной состав преподавательских кадров для народного университета? Если не считать исключений, то, конечно, — из числа таких лиц, которые имеют университетское образование, однако благодаря в одинаковой мере своим профессии и образу жизни сохраняют непосредственный *контакт с действительностью народной жизни*. В особенности следует иметь в виду академически образованных преподавателей и преподавательниц, которым надо создать особые условия в университете для того, чтобы они повышали свою квалификацию для работы в народном университете. После того как недавно избранным из них был открыт доступ в университет, можно сказать, были наведены мосты между университетом и народным университетом. В меньшей степени следует привлекать пока старших учителей, так как их своеобразные сословные традиции не вызывают у рабочих доверия и еще больше исключают успешную деятельность в народном университете, чем традиции университетских преподавателей. Духовенство и священников можно призывать лишь там, где население в конфессиональном отношении в некоторой степени однородно, и при условии, что имеются явно выраженные личные способности. Желательно, чтобы религия в народ-

ном университете обсуждалась университетски образованными теологами, специалистами по религиозной психологии и религиозной философии, а не практикующими духовными лицами и священниками. О преподавании религиозной догматики здесь вообще не может быть и речи — речь может идти лишь о естественной теологии, религиозной философии, истории религии, религиозной психологии, описательной символике. Юристы, врачи, специалисты по национальной экономике должны привлекаться в качестве преподавателей, как правило, по совместительству и от случая к случаю. Хотя бы иногда важно привлекать в народный университет капитанов экономики и корифеев техники — конечно, только тех из них, кто в состоянии отвлечься от собственных «интересов».

Всем этим слоям обязательно надо предоставить в университете возможность подготовиться к своей учебной деятельности в народном университете.

Но как это осуществить? Вначале каждый университетский преподаватель должен иметь возможность в меру своих сил развивать среди студентов то, что я назвал *этосом ответственности* и солидарной *соответственности* университетских преподавателей за духовное здоровье рабочего класса. С этим связано все более настойчиво выдвигаемое *требование профессуры по педагогике* как особое условие. Его ни в коем случае нельзя удовлетворять за счет философских кафедр (им в свое время и так был нанесен ущерб из-за того, что некоторые из них были переданы экспериментальной психологии), ибо как раз сейчас философия переживает новый большой подъем. С другой стороны, распространенный скепсис в отношении того, почему университетские преподаватели так добиваются этих профессур, нельзя считать оправданным. Зачастую это лишь следствие того, что у нас в Германии еще крайне мало педагогов того типа, который требуется как раз для обучения преподавателей народного университета. В особенности два типа мало годятся для выполнения этой задачи. Первый — это тип филолога, принимающего за отправной пункт методики преподавания в высшем учебном заведении способ обучения в гимназии; второй — это специалист по экспериментальной психологии или экспериментальной педагогике. В подготовке к профессии преподавателя в народном университете речь идет не о педагогике вообще, а в первую очередь о *социальной и национальной педагогике*. Но эта область знаний, несмотря на выдающиеся усилия Пауля Наторпа, выстроена пока что главным образом в принципиальном и дедуктивном аспектах и еще совершенно недостаточно разработана с *конкретной, социологической и социально-психологической*, стороны. Можно и нужно спросить: должны ли мы требовать от ординарных профессоров и заведующих кафедрами вклада в науку, которая еще даже не существует, которую сначала

надо создать? Можно ли с помощью введения новых преподавательских должностей *создать* науку? Этот вопрос, не без оснований поставленный перед Наторпом, нельзя парировать одним лишь утверждением, будто эта наука уже существует. Существует множество публикаций на эту тему, есть статистические данные, научные труды, предложения и т.п., но все это в совокупности еще нельзя назвать «наукой». Таким образом, можно лишь требовать, чтобы назначения на новоучрежденные и новоучреждаемые преподавательские должности по общей педагогике делались с учетом становления *социально-педагогической науки*, т.е. чтобы их занимали люди, имеющие в этой области специальные познания и опыт. Большого можно ожидать от учреждения рекомендуемых Наторпом «социально-педагогических институтов при университетах и высших школах», которые, по его замыслу, должны будут устанавливать взаимные связи для обмена опытом. Там, где уже есть профессуры по педагогике, этими институтами должны руководить педагоги. Но я вполне допускаю, что коллегия профессоров — конечно, имеющих к этому делу интерес — может руководить этими институтами с помощью одного ассистента.

К пункту 4. В этих институтах надо досконально исследовать всю систему народного образования, прежде всего ее фактические основы — социальные, экономические, психологические, педагогические; необходимо также изучать историю народного образования и проводить сравнительные исследования систем народного образования в различных странах. Эти институты можно учреждать либо по образцу семинаров по государствоведению, либо по образцу исследовательских институтов социально-научной направленности, а также в тесном контакте с университетскими службами профессионального консультирования. Надо, чтобы в них можно было стать кандидатом наук по указанным выше темам — по философии или государствоведению. Посетителям этих семинаров будут выдаваться — но без государственной проверки — сертификаты, удостоверяющие, что их владельцы прошли учебную подготовку для ведения преподавательской деятельности в народном университете.

К пункту 5. Часто указывали на то, что благодаря народному университету перед *приват-доцентами* — они, я надеюсь, сохранятся у нас в смысле свободой приватной доцентуры, а не как ассистенты профессоров, — открывается новое поле деятельности и новый источник заработка; что за счет него молодая академическая поросль в нашей стране почувствует, наконец, некоторое облегчение в борьбе с неслыханными экономическими трудностями. Однако это представление о народном университете как потенциальном источнике заработка для целого социального слоя надо *безусловно отвергнуть*. Народный университет — не экспериментальное поле для приват-доцентов! С другой стороны, тот, кто еще только стано-

вится доцентом, должен быть преисполнен духом спокойного, строгого исследования и самосовершенствования в избранной специальности. Чем сильнее народный университет будет привлекать его по чисто экономическим мотивам, тем в большей мере и с большей легкостью тот будет наполнять его духом *дилетантизма* или *демагогии*. Требуемый в народном университете творческий синтез предполагает высшую зрелость мышления и широкий кругозор в своей предметной области, а их приват-доцентам обычно как раз и не хватает. Конечно, могут быть случаи, когда все эти сомнения полностью отпадают, прежде всего когда речь идет о приват-доцентах, преподающих лишь по совместительству, которые, стало быть, сами не хотят подниматься по академической карьерной лестнице. Такого рода университетские преподаватели, именно в силу своей двойной связи с университетом и практической жизнью, больше всего подходят для преподавательской деятельности в народном университете. Для обучения страноведению в народном университете следует широко привлекать лекторов и доцентов, преподающих в новых страноведческих институтах.

К пункту 6. В гораздо меньшей степени следует привлекать в народный университет *студентов* (даже старших курсов). Уже от того, что умудренных жизненным опытом рабочих будут учить юнцы-студенты, все приобретает какой-то унылый оборот. Ведь именно здесь, где речь идет не о специально-научном образовании, студенту, который еще сам как личность пребывает в процессе становления, почти что нечего сказать. Студентов старших курсов, впрочем, можно привлекать — но лишь в качестве ассистентов на экспериментах, демонстрационных опытах, экскурсиях и т. п.; а также в случаях, когда в народном университете проводятся свободные практически ориентированные курсы, например, по иностранным языкам, стенографии и т. д.

К пункту 7. Университет должен предоставлять тем, кто обучался в народном университете, прослушал определенные курсы и получил за это сертификат, возможность еще глубже изучить предмет, которым они занимались, на периодически устраиваемых *курсах*. Эти курсы должны проводить, естественно, университетские преподаватели, взявшиеся за это дело добровольно и официально утвержденные факультетами; курсы должны охватывать все области знания, которым обучают в народном университете, но, соответственно, на более высоком научном уровне. Университеты должны устраивать также ежегодные курсы и для преподавателей народного университета — если преподавательская деятельность является их главной профессией — с целью постоянно сближать их, особенно тех, кто работает в сельской местности, с новыми научными исследованиями. Здесь возникает вопрос, насколько широкими должны быть права особо одаренных выпускников народного университе-

та продвинуться еще дальше по этому пути, например, начать обучение в университете (став вольнослушателями или практикантами³⁷). С моей точки зрения, для особо одаренных двери университета не должны быть полностью закрыты. Почему бы и среди нас не объявиться новому Фарадею? Но из этой возможности *нельзя* делать *правила*. Ибо, как уже говорилось, народный университет ни в коем случае не должен стать средством «социального восхождения». Французская система постоянно манящей наживки для честолюбия нам не нужна! Ибо всякое народное образование на то и существует, чтобы низшие классы *как таковые* наполнить духовно, удовлетворить душевно, возвысить в человеческом отношении и как граждан — а не для того, чтобы малую часть из них благодаря новому образованию включить в другие классы общества.

К пункту 8. Поскольку спонтанные пожелания слушателей относительно выбора тем, подлежащих изучению в народном университете, имеют решающее значение и никогда не должны игнорироваться, то принимающий участие в организации народного университета университетский преподаватель должен так или иначе — путем достижения согласия с доверенными лицами рабочих либо с помощью консультаций с прочими слушателями — позаботиться о том, чтобы, во-первых, были выбраны *подходящие темы* и чтобы, во-вторых, лекционная программа не была лишена известной *гармоничной всесторонности* (в соответствии с имеющимися в наличии преподавательскими кадрами). Рабочие в своих пожеланиях склонны отдавать слишком одностороннее предпочтение социальной науке, государствоведению и национальной экономике, что как раз очень легко сбивает с цели *человеческого образования* в народном университете.

«Подходящими» темами для народного университета являются все области знания, обладающие общечеловеческой, гражданской и национальной образовательной ценностью. «Гармоничная всесторонность» должна проявляться в первую очередь в том, чтобы *в равной мере* были представлены четыре большие области знания: 1. религия, мировоззрение и воззрение на жизнь, философия; 2. науки о духе и науки о культуре (история, литература, язык, искусство); 3. точные и описательные естественные науки, математика и техника; 4. социология, социальные науки, науки о государстве, праве, хозяйстве. Я и здесь считаю нежелательным делать ставку на связь с уже имеющимся запасом знаний и слишком на него опираться, например, читать аудитории, состоящей из городских промышленных рабочих, прежде всего те области прикладной физики и химии, которые нашли применение в их отрасли промышленности, аудитории же из сельского населения — соответствующие области биологии. Наоборот,

³⁷ Hospitant (*нем.*) — 1. вольнослушатель (-ница); 2. практикант (-ка). — *Прим. пер.*

надо открывать *далекое* и чуждое для привычного круга, чтобы противодействовать односторонности в формировании картины мира.

Тем самым уже ясно, какие области знаний в рамках учебного материала университета надлежит учитывать и, следовательно, каких университетских преподавателей следует прежде всего привлекать для народного университета. Это, в первую очередь, философы, теологи, историки, германисты, историки литературы и искусства, социологи и специалисты по национальной экономике, специалисты в области естественных наук, владеющие также методологией и историей естествознания, преподаватели публичного права и специалисты по гигиене с медицинского факультета. От преподавательской деятельности в народном университете больше других выиграют представители наук о духе, которые в нашей стране, по меткому замечанию Майнекена, меньше всех соприкасаются с народной жизнью и психикой народа, в особенности с миром рабочих.

Философы нужны для народного университета с разных точек зрения. В каждом подготовленном к работе народном университете должен читаться элементарный курс по теории познания, методологии и логике (включая проблему подразделения наук); там, где это возможно, — также курс по эмпирической психологии, включая массовую психологию, психологию выбора профессии, психологию полов и классов. Хотя и в меньшем объеме, но должна преподаваться история философии как *учение о типах философских мировоззрений* в том виде, в каком его разработали Дильтей, Ясперс и другие. Главные особенности истории западноевропейской научной культуры также необходимо сделать предметом обсуждения. Образцами здесь являются знаменитые работы Э. Маха и П. Дюгема, а также творческая методология Макса Борна, с помощью которой в своей книге о теории относительности он вывел эту теорию из *истории*. Образцами для философского освещения *естествознания* являются известные труды Эриха Бехера и особенно подходящая для учащихся народного университета книга Г. Еллинека «Тайна миров». *Этика и социология*, а также *философско-исторические* проблемы, столь впечатляющим образом волнующие нашу современность, обязаны стать предметами курсов, учебное содержание которых должно начинаться с фундаментальных вопросов и заканчиваться вопросами *непосредственного конкретного жизнеустройства* всего в целом и каждого в частности. *Религия* должна преподаваться философами в том духе, в каком это сделал Шольц в своей книге о религиозной философии и автор этих строк в своих «Проблемах религии». Что касается естественной теологии, учения о типах религий, социологии религии (в духе Макса Вебера), а также религиозной психологии, то как раз в отношении них надо не столько дожидаться пожеланий, сколько впервые их *формировать, пробуждать* интерес. В историческом аспекте необходимо создавать образы времен религиозного творче-

ства, а не раскола вероисповеданий, и прежде всего — яркие и убедительные образы религиозно могущественных личностей с целью отвратить рабочих от чудовищного заблуждения их класса, что-де религия есть лишь зеркальное отражение социальных отношений в экономике.

Представители наук о духе должны в первую очередь открывать и растолковывать слушателям великие произведения искусства, шедевры поэтического и литературного творчества, характерно выражающие дух той или иной эпохи отечественной истории вкупе с внешними культурными влияниями. Речь здесь должна идти не об истории создания этих произведений, а прежде всего об открытии, выявлении заключенных в них *культурных и жизненных ценностей*, о том, чтобы слушатели впервые *могли их почувствовать*.

Если в преподавании этого, вышеназванного, учебного материала лучше держаться подальше от современной действительности, то при объяснении основ *правовой, государственной и хозяйственной жизни* надо обязательно исходить из проблем и ситуаций *настоящего времени*. Немало верного в этой связи высказал в своей работе «Обновление в обучении государствоведению» Й. Пленге, в том числе и в отношении народного университета³⁸. Теории и история социализма, попытки его практического осуществления, история *политических мировоззрений и партий*, религиозные социальные учения, теоретические принципы учения о народонаселении, этика и политика регулирования воли к продолжению рода, проблемы социальной политики, социализации, основы истории хозяйства — все эти темы были до сих пор излюбленными в народном университете, так что сейчас хотелось бы, скорее, немного сузить этот тематический круг. Все-таки именно народный университет должен стать местом, где как бы *размягчается* прежняя окостенелость политических и экономических партийных программ, вновь пробуждается *спонтанная мыслительная активность* масс или, по крайней мере, их элит. И косвенным образом благодаря этому народный университет должен стать местом, где достоверные научные результаты приобретают влияние на формирование нового типа классовых идеологий, — влияние, которым наука у нас давно не обладала. Лишь так возможна безусловно желательная *реорганизация* нашей партийной жизни — если, конечно, в один прекрасный день демократия и парламентаризм не будут сметены снизу либо сверху.

³⁸ Пленге Й. Первый учебный институт государствоведения (Plenge J. «Das erste staatswissenschaftliche Unterrichtsinstitut», 1920); Пленге Й. Будущее Германии и будущее государствоведения (Plenge J. «Die Zukunft Deutschlands und die Zukunft der Staatswissenschaft», 1919); см. также его образцово-показательный учебник и весьма поучительные «таблицы».

В преподавании *естествознания*, помимо исторического введения в состояние современной науки, следует в первую очередь иметь в виду все, что появилось фундаментально нового за последние десятилетия. Здесь не нужна борьба против монизма, дарвинизма, геккельянства — она истолковывается рабочими чаще всего крайне тенденциозно; надо, чтобы новые познания просто-напросто оказывали влияние (теория относительности, квантовая механика, точная наука о наследственности, учение о мутациях, проблемы неовитализма и т. д.).

Наконец, в виду ожидаемой с большой вероятностью *эмиграции* народный университет не может отказать себе в том, чтобы со знанием дела *предостерегать* людей от ложных ожиданий и указывать им разумные пути с помощью *страноведения*, экономической и культурной географии, посредством научно обоснованного определения *шансов* на восстановление немецкого могущества.

Если в заключение еще раз взглянуть на мои размышления о *принципиальном отношении между народным университетом и университетом*, то я бы отлил их в такую формулу.

Возрождаясь из общего *этоса доверия*, этоса общечеловеческой и национальной *солидарности*, постепенно реформирующего *оба* института, университет и народный университет, равно как их представителей, — университет и народный университет должны существовать и действовать *в принципе независимо* друг от друга. Но их сосуществование должно быть *живым взаимодействием*, которое им *обоим* пойдет на пользу. Нельзя допустить, чтобы народный университет попал под одностороннее руководство университета, — однако великое здание этой школы, которое является фундаментальным условием возможного возрождения нашего немецкого отечества, должно строиться по его советам и рекомендациям, при его активном *участии и содействии*.

ФРАГМЕНТЫ ИЗ РУКОПИСНОГО НАСЛЕДИЯ
МАКСА ШЕЛЕРА, ОТНОСЯЩИЕСЯ
К РАБОТЕ «УНИВЕРСИТЕТ И НАРОДНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

а) Опасности, грозящие немецкой науке

Недоверие по отношению к немецким университетам и их профессорам, да и к немецкой науке вообще, сложившееся не только в зарубежье (в том числе нейтральном), но и во многих слоях общественности внутри страны (по крайней мере, у *молодого поколения*), на мой взгляд, не сообразуется с фактами. Ибо в конце концов немецкая наука — ядро всех наших высших учебных заведений — вполне здорова и ни в коей мере не заслуживает тех грубых упреков, которые ей были брошены. Я не оспариваю ни наличия у нее реальных недостатков, ни той их *видимости*, что могла легко возникнуть и возникла. Эта видимость основывается прежде всего на том, что лучшие представители немецкой науки и образования, будучи со всей очевидностью абсолютно *аполитичными людьми*, в своих сочинениях, книгах, статьях и даже общих манифестациях *проявляли себя чрезвычайно активно в политическом отношении* (на ум приходит «Воззвание к культурному миру», где утверждается ложность того, в чем господа-участники этого воззвания даже не имели возможности удостовериться). Известный, конститутивный для германской ученой среды политический сервизм (так, Дюбуа-Реймон назвал Прусскую академию наук «лейб-гвардией Гогенцоллернов»), соединенный с безмерным доверием к высшим *политическим* руководителям германского государства, обнажил такие явления, какие мы не могли наблюдать, например, в России, Италии, Англии, и в каких нас перещеголяла разве что лишь Франция с ее беспримерным шовинизмом, который, правда, здесь глубже согласуется с народным характером и куда более национален. У людей, утративших всякий живой контакт с миром из-за постоянных тренировок в чисто духовном инцухте, обнаружилось своеобразное сужение кругозора... Однако было бы в корне ошибочно делать отсюда какой-либо вывод о ценности *научных достижений* соответствующих персон и тем более — среднего немецкого ученого. Так что не будем обманываться этой видимостью, не дадим заразить себя

по большей части несправедливыми и во многих отношениях невежественными оценками немецкой науки, которые появились в книгах и статьях ученых из нейтральных и враждебных нам стран (Дюгем). О том, что в них может быть справедливо, я покажу в этом докладе.

Но в принципе, я хотел бы сразу подчеркнуть, что обвинения против системы высшего образования и известные основанные на них требования, поскольку имеется в виду *сама наука*, таят в себе *большие опасности*. В первую очередь, я вижу *две* опасности, на которые хотел бы указать уже в самом начале моего выступления. Это, во-первых, опасность *фальшивой демократизации* науки; и, во-вторых, затрагивающая прежде всего нашу молодежь серьезная и психологически понятная опасность безграничного *дилетантизма*. В любых условиях мы должны избегать того, чтобы впасть на этой почве в склонность шарахаться из одной крайности в другую.

Наука по своей природе *аристократична* — удел *немногих*. Она зиждется не на экономических и социальных, а на присущих ей собственных началах. Опасно не понижение уровня ее высшей институции, но его *повышение*. Наука, далее, достигла такого уровня специализации, строгости и точности своих методов, что повторение попытки немецкого романтизма растворить ее в нерасчлененном потоке всесторонней духовной жизни или подчинить монопольному господству *одной единственной* философии — называйте ее, как хотите, — обернулось бы для науки величайшей бедой. Уже достаточно печально, что молодому поколению из-за больших брешей в образовании, оставленных военным временем, вследствие столь неожиданного потрясения всех его идеалов при одновременно происходящей сильной политизации смысла науки, ей самой отвергаемой, никогда уже не достичь ни той утонченности духа и строгости научного метода, ни того спокойствия жизни, которые были у старшего поколения. Вот почему, что касается *самой науки*, и тем более, если говорить о ситуации в общем и целом, лучше *все хорошее сохранить*, чем реформировать.

Прежде всего это относится к *естествознанию* и медицине, математике и технике, в области которых немецкие ученые даже во время войны добились успехов, способных затмить успехи наших военных. Несколько иначе дело обстоит в области *наук о духе*, где, как заметил еще Майнекке, образовалась *пропасть между теорией и практикой*, какой нет ни в одной другой стране. Напряжение, существовавшее между теологическими факультетами с их почти исключительно *внерелигиозными* и *внецерковными* историческими исследовательскими интересами — и консисториями, между юридическим факультетом — и коллегиями провинциальных школ, соответственно, министерством, было куда более сильным и глубо-

ким, чем того требовало само дело. Если немецкий дух безмерно подвел нас в *войне культур*, которая также велась в последней войне, наряду с войной оружия и экономической войной, и если знаменитые представители германского образования с самого начала не смогли указать немецкому народу его миссию, поставить перед ним разумную цель, то, несомненно, в этом отчасти виновата противоположность между теоретическим уровнем наук о духе и их *практическим применением* в жизни. Науки о духе в целом не сумели открыть путь к пониманию современного мира.

Совершенно другая проблема — даже если она где-то может быть связана с последней — это реформирование *высших исследовательских и образовательных учреждений* в Германии, которое ставит перед собой вопросы 1. *разделения задач и труда между ними*; 2. педагогической деятельности в высшей школе; 3. отношения образовательных учреждений к государству, церкви и обществу; 4. взаимоотношений между преподавателями и студентами и между самими преподавателями, с внутриорганизационной точки зрения; 5. о моральном духе в современной студенческой и преподавательской среде.

По этим вопросам, отодвинув на второй план специальные организационные проблемы, я и хотел бы высказать здесь свои взгляды, которые сформировались у меня отчасти в моей академической практике, отчасти из общего знания немецких университетов, не в последнюю очередь благодаря обмену идеями с нынешним руководителем прусского образования, помощником государственного секретаря профессором Х. К. Беккером, и, наконец, благодаря многолетнему живому общению с немецкой молодежью.

...Я поставил перед собой цель высказаться о *вопросах реформы всей системы немецкого университетского образования и народного образования в форме народного университета*. При этом речь не должна идти исключительно об университетах — это было бы, с моей точки зрения, неправильной постановкой проблемы; речь должна идти, в первую очередь, о *распределении задач исследования, образования, обучения* по различным видам высших учебных заведений, по возможности с учреждением новых видов или существенной трансформацией старых. И я, как и подобает философу, намеренно хотел бы разделить *то, что должно быть*, — и то, что из этого долженствующего быть *выполнимо* либо не выполнимо с учетом определенных исторических предпосылок немецкой системы образования и всей истории Германии, а также с учетом имеющихся в распоряжении, соответственно, ограниченных материальных, человеческих и духовных средств. Лишь четкое и ясное разделение цели и пути даст нам здесь, как мне кажется, существенное продвижение вперед. Не всегда надо позволять целям вырастать из путей!

б) Недостатки немецкого образования

Предлагаемые вопросы³⁹ надлежит рассматривать отчасти в свете общих организационных и педагогических точек зрения на реформу, существовавших еще до войны; отчасти следует исходить из ясного осознания вполне определенных *недостатков немецкого образования*, которые война, также и в этом ставшая *examen rigorosum*⁴⁰ для народов, обнажила со всей очевидностью; отчасти необходимо учитывать требования совершенно новой внутри- и внешнеполитической, а также экономической ситуации, в которой Германия оказалась в результате поражения.

Прежде чем я расскажу об этой новой ситуации, о педагогике и затем покажу, как распределялись образовательные задачи, позвольте мне кое-что сказать о *специфических* недостатках немецкого духовного образования; так как без их понимания вообще не имеет смысла набрасывать новые строительные планы.

К недостаткам немецкого образования относятся следующие.

1. Крайняя *предметная специализация*; ведомственность в политике, нехватка государственных деятелей; ложная специализация (естественная и неестественная специализация). «Переплётческие синтезы» (*Buchbindersynthesen*).

2. *Отношение власти и духа*; вместо освобождающей культурной политики со стороны политических руководителей, укорененных в высшем образовании немецкой нации, мы имеем позитивно формирующую культурную политику государственных чиновников, которые сами не принимают в ней никакого участия.

3. «Ложная внутренняя жизнь»⁴¹.

4. «*Quietum non movere*»⁴² и систематическое отстранение от всех ценностных, целевых, мировоззренческих вопросов.

5. Неудовлетворительная оценка целых классов — и вытекающее отсюда неудовлетворительное социальное обеспечение образованием тех слоев народа (рабочих), от которых в силу немецкой индустриализации

³⁹ Имеются в виду вопросы предлагаемого М. Шелером перераспределения учебно-образовательных задач. — *Прим. пер.*

⁴⁰ *Examen rigorosum* (лат.) — буквально «суровый экзамен»; традиционное название экзамена на получение степени доктора наук. — *Прим. пер.*

⁴¹ См. сочинение М. Шелера «О двух немецких болезнях» (*Scheler M. Von zwei deutschen Krankheiten. Darmstadt: Verlag Otto Reichl, 1919*) — *Прим. пер.*

⁴² *Quietum non movere* (лат.) — буквально «не трогай того, кто покоится», т. е. не нарушай существующих традиций. — *Прим. пер.*

зависит жизненное существование нации. (Следствие: немецкий коммерсант за рубежом и ненависть между народами.)

6. Недостаток знаний о чужих странах и о психологии других народов.

7. Принудительное объединение немецкого народа имперской реформой Бисмарка и отсутствие всякого национального единства духа и воли; провалы во всех *целевых* вопросах.

8. Чрезмерный ученый *историзм* и недостаток любого рода контактов с современным миром и его силами.

9. Представление немецкой культуры в *униформе* узко понятых немецких образцов; недостаток вклада в немецкую культуру со стороны немецких родов и кланов как самобытных индивидуальностей; нехватка личностей, которые могли бы служить образцами, все более ощущаемая даже в области науки; *отсутствие национального образовательного идеала* в форме образца à la «gentleman».

10. Бросающийся в глаза уход религии и ее сил из общества и культуры.

ВИТАЛИЙ КУРЕННОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ

Публикуемый перевод доклада Адольфа Райнаха (23. XII.1883–16. XI.1917) «О феноменологии» представляет собой один из наиболее значимых текстов раннего феноменологического движения. Доклад был прочитан в Марбурге 23 января 1914 (датировка является предположительной). Винтроп Бэлл охарактеризовал его тогда как «миссионерскую деятельность Райнаха в Мюнхене». И действительно, текст насыщен скрытой полемикой с наиболее влиятельным в то время в Германии неокантианством, «твердое ядро» которого было сосредоточено в Марбургском университете. Однако критика составляет лишь фон: текст является, по существу, изложением новой исследовательской программы – программы феноменологической философии – как она понималась на первом этапе распространения феноменологического движения (то есть до обращения Э. Гуссерля к трансцендентализму).

Краткий манифест этой программы, ряд положений которого легко может быть опознан и в докладе А. Райнаха, был несколько ранее изложен в качестве «Предисловия» к изданию первого *Ежегодника по философии и феноменологическому исследованию*, вышедшему в 1913 году:

В последние десятилетия возник, несомненно, широкий интерес к феноменологии и феноменологически фундированной философии; быстро выросло число исследователей, которые самостоятельно работают в областях, доступных различным феноменологическим методикам. Все чаще обращаются не только к собственно философским проблемам, но стремятся применять феноменологическое прояснение и сущностные анализы в интересах обоснования не философских наук. В связи с этим в широких кругах возникает живая потребность познакомиться с сущностью феноменологического метода и характером его достижений.

Этим живым потребностям должен служить новый журнал. В первую очередь, он должен объединить работу тех, кто ожидает от чистого и строгого проведения феноменологической методологии принципиально-

го преобразования философии — на пути надежно обоснованной, постоянно продолжающей развиваться науки.

Он стремится, далее, объединить все усилия прикладной феноменологии и философии.

Это не школа, которую объединяет издатель, и это должно учитываться всеми будущими сотрудниками; то, что объединяет их, есть, скорее, общее убеждение, что лишь путем возврата к оригинальным источникам созерцания и производимым на их основе сущностным усмотрениям можно использовать великие традиции философии в соответствии с их понятиями и проблемами, что только этим путем могут быть прояснены эти понятия, а проблемы — поставлены на интуитивное основание, а затем и принципиально разрешены. Все они убеждены, что феноменологию отличает бесконечное поле строго научного и чреватого огромными последствиями исследования, которое должно стать плодотворным, как для самой философии, так и для всех других наук — там, где вопрос стоит о принципиальном.

Поэтому этот журнал должен стать не ареной расплывчатой реформаторской затеи, но местом серьезной научной работы¹.

Но выход первого Ежегодника, призванного стать органом единого философского направления, парадоксальным образом означал потерю именно этого единства: «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии», открывающие этот том, открывали и новый этап в феноменологии Гуссерля — феноменологию трансцендентальную, которая была воспринята представителями раннего феноменологического движения как отход от первоначальных принципов феноменологии (главным образом реалистически понимаемого тезиса «назад, к самим вещам», методом проведения которого является «сущностное усмотрение») и переход к «конструктивизму» неокантианского типа. Философы, входившие по большей части в так называемую «Мюнхенско-геттингенскую школу», постепенно дистанцируются от Гуссерля, образуя самостоятельное течение «реалистической феноменологии». Доклад Райнаха и является, по существу, теоретической программой именно этого философского направления. Райнах, ставший в 1909 году ассистентом Гуссерля в Геттингене, и был «негласным» главой этого движения. Х. Конрад-Мартиус не случайно назвал его «феноменологом *an sich*»: подлинный *spiritus rector* феноменологи-

¹ Текст «не имеет автора» (т. е. просто-напросто не подписан) и должен, видимо, пониматься как совместный текст Эд. Гуссерля, М. Гайгера, А. Пфендера, А. Райнаха и М. Шелера (издатели первого «Ежегодника»). Но фактически, если следовать Шпигельбергу, он написан самим Гуссерлем.

ВИТАЛИЙ КУРЕННОЙ

ческого кружка в Геттингене, он был тем вторым полюсом университетского эллипса, место которого во Фрайбурге занял Хайдеггер.

В той или иной степени к реалистической феноменологии, помимо Райнаха, можно отнести Хедвиг Конрад-Мартиус, св. Эдит Штайн (в 1998 году канонизирована Католической церковью), Морица Гайгера, Яна Геринга, Романа Ингардена, Александра Пфендера, Макса Шелера и др. В послевоенное время реалистическая феноменология продолжала развиваться как теоретическое направление Дитрихом фон Гильдебрандом и его учениками. В настоящее время центром реалистической феноменологии является «Интернациональная Академия Философии в княжестве Лихтенштейн» (IAP), возглавляемая проф. Йозефом Зайфертом. Доклад А. Райнаха «О феноменологии» войдет в *Антологию реалистической феноменологии*, работа над которой в настоящее время ведется совместно IAP и издательством «Дом интеллектуальной книги».

Перевод был выполнен по изданию Adolf Reinach, *Gesammelte Schriften*. Hrsg. von seinen Schülern. Halle a. d. S. Max Niemeyer 1921, S. 379–405. Экземпляр, по которому делался перевод, принадлежал, к стати говоря, Александру Ахманову (книги которого составляют «Ахмановский фонд» Фундаментальной библиотеки МГУ). Но если, например, работа Райнаха «К теории негативного суждения» буквально испещрена маргиналиями владельца, то доклад «О феноменологии» следов проработки не имеет.

Переводчик благодарен Дмитрию Атласу (IAP), сделавшему независимый перевод этого текста, за замечания к переводу.

АДОЛЬФ РАЙНАХ

О ФЕНОМЕНОЛОГИИ¹

ДОКЛАД, ЧИТАННЫЙ В МАРБУРГЕ В ЯНВАРЕ 1914 ГОДА

Уважаемые господа! Я не ставил себе задачи рассказать Вам, что такое феноменология, но я хотел бы попытаться вместе с Вами феноменологически *помыслить*. Говорить о феноменологии — самое напрасное занятие в мире, пока отсутствует то, что только и может придать всякой речи конкретную полноту и наглядность: феноменологический *взгляд* и феноменологическая *установка*. Ибо это существенный пункт: в случае феноменологии речь идет не о системе философских положений и истин — не о системе, в которую должны были бы верить все, кто называет себя феноменологами, и которую я мог бы Вам здесь доказать, — но речь идет о методе философствования, который был востребован самими философскими проблемами и который сильно отличается от того, как мы осматриваемся и ориентируемся в жизни, и который еще в большей степени отличается от того, как мы работаем и должны работать в большинстве наук. Поэтому я хочу сегодня затронуть вместе с Вами ряд философских проблем, в надежде, что для Вас в том или ином месте станет ясно, в чем же заключается своеобразие феноменологической установки, — так как только это дает основание для дальнейшей дискуссии.

Имеется множество способов того, как мы обращаемся с объектами — с сущими или не сущими объектами. Мы находимся в мире как практически действующие существа — мы смотрим на него и все же не видим, мы смотрим на него более или менее пристально, и то, что мы в нем видим, определяется, вообще говоря, нашими потребностями и целями. Мы знаем, насколько это трудно — учиться действительно видеть, мы знаем, какая,

¹ Перевод Д. Атласа и В. Куренного по изданию: *Reinach A. Gesammelte Schriften*. Hrsg. von seinen Schülern. Halle a. d. S., Max Niemeyer, 1921, S. 379–405.

например, работа требуется для того, чтобы действительно видеть цвета, которые мелькают перед нами и которые попадают в наше поле зрения. То, что верно в этом случае, в еще большей степени оказывается справедливым в отношении потока психических <380> событий, в случае того, что мы называем переживанием, и которое как таковое не отстраненно противостоит нам, как чувственный мир, но с чем Я по своей сущности сопряжено, — в случае состояний, актов, функций Я. Это переживание настолько же достоверно для нас в своем существовании, насколько отдалено и трудно постижимо для нас в своей качественной структуре, в своем строении. То, что усматривает в нем нормальный человек, что он замечает, явно недостаточно; радость и боль, любовь и ненависть, стремление, тоска по родине и т. п., — вот то, что ему, пожалуй, доступно. Но это всего лишь грубые фрагменты из бесконечно нюансированной области. Даже самая бедная жизнь сознания намного богаче, чем то, что мог бы в целом постичь ее носитель. И здесь мы можем *учиться* видеть, и для нормального человека это является в первую очередь искусством, которое учит его постигать то, что он до этого не замечал. Дело здесь не только в том, что благодаря этому искусству в нас возникают переживания, которых мы иначе не имели бы; но оно также позволяет нам в полноте переживания усматривать то, что было и до этого, но чего мы об этом переживании не знали. Трудности растут, когда мы обращаемся к другим элементам, которые находятся еще дальше от нас — времени, пространству, числу, понятиям, законам и т. п. Обо всем этом мы говорим, и когда мы говорим, то мы сопрягаемся с ним, мы это *подразумеваем*, — но в этом подразумевании <Meinung> мы все еще отстоим от этого бесконечно далеко, мы все еще далеки от этого и в том случае, когда мы ограничили его при помощи *дефиниции*. Даже если бы мы ограничили те положения, в которых выражаются суждения, например, только теми, которые являются ложными либо истинными, — и тогда сущность положения и сущность положения, выражающего суждение, то, что это есть, его *Что*, не стала бы нам тем самым ближе. Если мы захотим постичь сущность красного цвета или цвета как такового, то нам понадобится всего лишь бросить взгляд на какой-либо воспринятый, или воображаемый, или представляемый цвет, и из этого цвета, который совершенно не интересуется нас как нечто единичное или действительное, извлечь его Так-бытие, его *Что*. Если же требуется, далее, таким же образом подойти к переживаниям Я, то трудности значительно возрастут. Мы хорошо знаем, что имеется нечто такое, как воление, ощущения или настроения, мы знаем также, что это, как и все сущее, может быть приведено к адекватному усмотрению, — но если мы попытаемся постичь это, <381> приблизить его к нам в его специфической особенности, то оно отшатнется — так, как будто бы мы хватали пустоту. Психолог знает, какие многолетние усилия требуют-

ся для того, чтобы преодолеть эти трудности. Наконец, совсем новичками мы являемся везде, где речь идет об идейном <Ideelles>. Конечно — мы говорим о числах и т. п., мы возимся с ними, и тех обозначений и правил, которые мы знаем, нам совершенно достаточно для того, чтобы достигать определенных целей в практической жизни. Но от их сущности мы отстоим бесконечно далеко — и если мы достаточно честны, чтобы не успокаиваться на дефинициях, которые ни на йоту не приближают нас к самой вещи, — то мы должны сказать то же, что и бл. Августин говорил о времени: «Пока ты меня не спрашиваешь, что это, я думаю, что знаю. Но если ты спросишь меня, то я больше не знаю».

Глубокое и роковое заблуждение — полагать, что эта естественная и труднопреодолимая отдаленность от этих объектов устраняется благодаря науке. Одни науки по своей сути стоят в стороне от прямого сущностного усмотрения — они довольствуются и имеют право довольствоваться дефинициями и дедукциями из дефиниций; другие же по своей сути хотя и должны обращаться к прямому постижению сущности, но в своем фактическом развитии они до сих пор уклонялись от этой задачи. Отчетливый и потрясающий пример этому являет психология. Я говорю о ней не постольку, поскольку она есть наука о закономерностях, которая стремится установить законы фактического реального потока сознания — дело здесь в другом. Я говорю о том, что называется дескриптивной психологией, о дисциплине, которая стремится к инвентаризации сознания, определению типов переживания как таковых. Речь идет при этом не о констатации существования — единичное переживание и его наличие в мире в некоторый момент объективного времени, его сопряженность с пространственно локализованным телом — все это не имеет никакого значения в этой области. Не о существовании, а о сущности <Essenz> здесь речь, о возможных видах сознания как таковых, безразлично, где и когда они существуют и существуют ли вообще. Конечно, можно возразить, что мы не могли бы знать о сущностях переживаний, <382> если бы они не реализовались в мире. Но в такой форме это возражение неверно, нам также известны виды переживания, о которых мы знаем, что они, возможно, никогда не были реализованы в мире в постигаемой нами чистоте; но даже если бы это возражение было совершенно верным, то оно могло бы указать нам только на то, что мы, люди, ограничены в отношении доступных нам видов переживаний, ограничены тем, что нам самим довелось пережить, — но тем самым, конечно, не устанавливается зависимость самих сущностей от их возможной реализации в сознании.

Если мы взглянем на фактически имеющуюся психологию, то мы увидим, что ей все еще не удалось прийти к ясности относительно своей

высшей и определяющей ее границы сущности — сущности самого психического. Дело обстоит не так, что противоположность психического и не психического впервые устанавливается благодаря нашим определениям и дефинициям, наоборот, наше определение должно руководствоваться окончательно данными и преднайденными сущностными различиями. Все, что может вступать в поток нашего переживания, что принадлежит Я в собственном смысле, как наш акт ощущения, воления, восприятия и т. п., отличается по своей сущности от всего того, что трансцендентно этому потоку сознания, что противостоит ему как чуждое Я: дома, или понятия, или числа. Возьмем тот случай, когда я вижу в мире какой-нибудь окрашенный материальный предмет, — тогда предмет с его свойствами и модальностями есть нечто физическое, а мое восприятие этого предмета, мое к нему обращение, внимание, которое я ему уделяю, удовольствие, которое я от него получаю, мое восхищение, одним словом — все, что представляется как деятельность, состояние или функция Я, — все это есть психическое. Теперь вернемся к сегодняшней психологии: она рассматривает цвета, звуки, запахи и т. п. так, словно бы мы имеем дело с переживаниями сознания, словно они не противостоят нам точно так же, как огромное и массивное дерево. Нас уверяют в том, что цвета и звуки недействительны, следовательно, субъективны и представляют собой нечто психическое; но это всего лишь неясные слова. Недействительность цветов и звуков — это еще вопрос, но допустим, что они недействительны — становятся ли они тем самым чем-то психическим? <383> Можно ли настолько не понимать различие между сущностью и существованием, чтобы отрицание существования смешивать с изменением сущности, сущностного свойства? Говоря конкретно: разве огромный, массивный дом в пять этажей, который я считал воспринимаемым, после того, как обнаружилось, что это восприятие есть галлюцинация, — разве этот массивный дом станет переживанием? Поэтому все эти исследования о звуках, цветах, запахах не могут претендовать на статус психологических — тем исследователям, которые не занимаются ничем кроме чувственных качеств, следует сказать, что подлинно психическое остается им совершенно чуждо, даже если они себя и называют психо-логами. Конечно, *видение* цветов, *слышание* звуков — это функции Я, они относятся к психологии, — но как слышание звуков, которое имеет свою собственную сущность и следует своим закономерностям, можно смешать с услышанными звуками? Есть же, например, неотчетливое слышание громкого звука. Громкость относится здесь к звуку, отчетливость и неотчетливость, напротив, суть модификации функции слышания.

Не все психологи, разумеется, так исказили сферу психического — но задачи чистого постижения сущности были поняты лишь очень немно-

гими. Стремилась учиться у естественных наук, хотели «свести» все переживания к возможно меньшему их числу. Но уже сама такая постановка задачи бессмысленна. Когда физик сводит цвета и звуки к колебаниям определенного вида, то он обращается к реально существующему, фактичность которого он хочет объяснить. Оставим в стороне более глубокий смысл сведения — в отношении сущностей оно не находит, конечно, никакого применения. Не сводить же, в самом деле, сущность красного цвета, которую я могу созерцать на любом примере красного цвета, к сущности колебаний, которая, очевидно, представляет собой нечто совершенно иное. Deskриптивный психолог как раз не занимается ни *фактами*, ни объяснением того, что существует, ни его сведением к чему-то другому. Когда он забывает об этом, появляются эти попытки сведения, которые, в действительности, суть обеднение и фальсификация сознания. Тогда приходят к тому, что в качестве основных сущностей сознания <384> называют, например, ощущение, воление, мышление или представление, суждение, ощущение, или проводят еще какое-нибудь недостаточное разделение. И когда после этого берут какой-нибудь вид переживания, который выходит за пределы этого деления, то его приходится перетолковать в то, чем он вообще не является. Имеем мы, например, прощение — глубокий и удивительный акт особого рода, — актом представления он, конечно, не является. Поэтому предположили, что это суждение — суждение о том, что причиненная несправедливость не является столь большой или вообще не является несправедливостью, то есть является именно тем, что делает осмысленное прощение вообще невозможным. Или же говорят, что оно является прекращением чувства, исчезновением гнева, как будто бы акт прощения не есть нечто особое, позитивное, как будто бы оно не является чем-то большим, чем просто забывание или исчезновение из памяти. Deskриптивная психология должна не объяснять или *сводить* к чему-то другому, она стремится *прояснить* и *приводить*. Она стремится привести что переживания, от которого мы сами по себе столь далеки, к предельной наглядной данности, стремится определить его в самом себе, отличить и отделить его от всего другого. На этом, правда, исследование еще далеко не заканчивается. Значимые для сущностей законы — это законы имеющие определенное своеобразие и достоинство, которые полностью отличают их от любых эмпирических взаимосвязей и эмпирических закономерностей. Чистое сущностное усмотрение есть средство постижения и адекватного схватывания этих законов. Но об этом я буду говорить только во второй части этого выступления.

Сущностное усмотрение требуется и в других дисциплинах. Не только сущность того, что может реализовываться сколь угодно часто, но и сущность того, что по своей природе является единственным и неповтори-

мым, требует прояснения и анализа. Мы видим, какие усилия прикладывает историк не только для того, чтобы пролить свет на неизвестное, но и для того, чтобы сделать нам ближе известное, привести его, в соответствии с его природой, к адекватному созерцанию. Здесь идет речь о других целях и других методах. Но и здесь мы видим значительные трудности и опасности уклонения и конструирования. Мы видим, как все время говорят о развитии, но при этом оставляют без внимания вопрос о том, что же здесь собственно развивается. Мы видим, <385> как боязливо держатся *окрестности* вещи, лишь бы не анализировать ее саму, мы видим, как вопрос о сущности какой-нибудь вещи стремятся разрешить, говоря о ее возникновении или ее действии. Насколько характерны здесь частые сопоставления Гете и Шиллера, Келлера и Мейера и т. д., — характерны для безнадежной попытки определить нечто через то, чем оно не является.

Если прямое постижение сущности столь непривычно и трудно, если оно может показаться некоторым невозможным, то это объясняется глубоко укорененной установкой практической жизни, которая скорее захватывает объекты и начинает ими орудовать, чем созерцательно их рассматривает и проникает в их собственное бытие. Это объясняется, кроме того, тем, что некоторые научные дисциплины — в отличие от рассмотренных — *принципиально* избегают любого прямого сущностного усмотрения, и у всех, кто себя им посвятил, любое прямое постижение сущности вызывает глубокую антипатию. Я имею здесь в виду прежде всего, конечно, математику. Гордость математика состоит в том, чтобы не знать того, о чем он говорит — не знать это в соответствии с его материальной сущностью. Я процитирую Вам, как Давид Гильберт вводит числа: «Мы мыслим некоторую систему вещей, мы называем эти вещи числами и обозначаем их как a , b , c Мы мыслим определенные взаимоотношения этих чисел, описание которых дается в следующих аксиомах», — и т. д. «Мы мыслим некоторую систему вещей, мы называем эти вещи числами, и мы указываем систему законов, которым должны подчиняться эти вещи», — о Что, о сущности этих вещей нет ни слова. Но даже выражение «вещь» говорит уже достаточно много. Его не следует понимать в философском смысле, в котором оно обозначает определенную категориальную форму; оно представляет лишь наиболее общее и абсолютно бессодержательное понятие нечто вообще. Об этом нечто теперь можно сказать все, что угодно, вернее «записать», например: $a + b = b + a$, и из этого и некоторого числа других законов последовательно и необходимо, без всякого обращения к сущности предметов, по чисто логической цепи теперь создается некоторая система. Дальше увеличивать расстояние до <386> объектов нельзя — от проникновения в структуру, от очевидности предельных

основных законов отказываются в принципе; понимание, которое имеет здесь место — чисто логическое понимание, — это, например, очевидность, что А, которое есть В, должно быть С, если все В суть С, — очевидность, которая достижима без всякого исследования сущностей, стоящих за А, В или С. Аксиомы, которые полагаются в основание, не проверяются сами в себе и не удостоверяются как действительно наличествующие — здесь в нашем распоряжении нет единственного средства удостоверения математики — доказательства. Это суть аксиомы, наряду с которыми возможны и другие — противоположные им, — и на их основании можно попытаться построить непротиворечивую в себе систему положений. Более того. Математику не нужно *удостоверять* положенные в основании аксиомы не только в пределах его дисциплины — ему даже не нужно понимать эти аксиомы согласно их последнему материальному содержанию. Что собственно означает $a + b = b + a$, каков смысл этого закона? Математик может отклонить этот вопрос. Для него достаточно возможности знаковой перестановки. Если же мы попробуем получить дальнейшие сведения об этом, то они никоим образом нас не удовлетворят. К пространственному расположению знаков на бумаге этот закон, конечно, не относится. Но он не может относиться и к временной последовательности психических актов субъекта — не может потому, что безразлично, я или какой-нибудь другой субъект прибавляет b к a или a к b . Ибо мы имеем здесь закон, в котором вообще не идет речь ни о субъекте, ни о его актах, ни о их протекании во времени. Скорее, речь идет здесь о том, что не имеет значения, прибавляется ли a к b , или же b к a . Что же означает это сложение, если это не есть нечто пространственное или временное? — Это проблема, проблема, которая может быть безразлична математику, но которая должна очень интенсивно занимать философа, который не может ограничиваться знаками, но должен проникать в сущность того, что знаки обозначают.

Или возьмите закон ассоциации: $a + (b + c) = (a + b) + c$ — закон, который, конечно, имеет некоторый смысл, и даже смысл величайшей важности, и речь здесь идет в конечном счете, <387> разумеется, не о том, что знаки скобок могут быть расставлены различным образом. Скобка, тем не менее, имеет некоторое значение, и это значение должно быть доступно исследованию. Как знак она не стоит на той же самой ступени, что и знак = или знак +; она не означает никакого отношения или действия, но есть указатель того же вида и ранга, какой мы находим в случае знаков препинания. Но благодаря этому указателю, указывающему на то, как в одном и в другом случае объединять и отделять знаки, изменяется *значение* всего выражения, и именно это изменение значения и его возможность требует понимания, сколько бы чужда ни была эта проблема математику. Это

вопрос о *смысле*, и рядом с ним стоит вопрос о *бытии*; т. е. необходимо, привести себя к созерцанию и к предельно очевидному постижению того, насколько правомерна эта аксиома *<Ansetzung>*, может ли засвидетельствовать себя как значимое и коренящееся в сущности чисел то, что выражается законом $a + b = b + a$. Именно это соображение особенно чуждо математике. Он постулирует свои аксиомы, и в пределах различных систем это могут быть противоречащие друг другу аксиомы. Он принимает, например, в качестве аксиомы, что через точку, не лежащую на прямой, можно на той же самой плоскости провести одну и только одну прямую, которая не пересекала бы первую. Он мог бы также вначале постулировать, что через точку, не лежащую на прямой, можно провести несколько или же нельзя провести вообще ни одной прямой, и на этих аксиомах построить некоторую систему непротиворечивых в себе утверждений. Математик как таковой должен считать все эти системы равноценными; для него есть только аксиомы и логически полная и непротиворечивая последовательность аргументаций, которые строятся на основании этих аксиом. Но эти системы не *суть* равноценны: *есть*, например, точки и прямые, даже если они реально и не существуют в мире. И мы можем в актах определенного вида привести эти геометрические фигуры к адекватному созерцанию. Но когда мы проделываем это, то мы постулируем, что через одну точку, не лежащую на прямой, на той же самой плоскости, действительно, может быть проведена одна прямая, которая не пересекается с первой, и ложно, что не может быть проведено ни одной прямой. <388> Следовательно, либо в случае этой второй аксиомы под одними и теми же выражениями понимается нечто иное, либо речь идет о системе положений, которая строится на не наличествующей аксиоме, и которая как таковая, разумеется, также может иметь ценность и, в частности, математическую ценность. Если под точкой и прямой понимаются вещи, которые должны удовлетворять соответствующей системе аксиом, то возразить здесь нечего. Но отстранение от всякого материального содержания становится здесь особенно ясным.

Из своеобразия математики становится понятным особый тип только-математика, который достиг определенных результатов в этой дисциплине, но который навредил философии больше, чем то можно выразить в нескольких словах. Это тип, который только полагает аксиомы и доказывает исходя из них, и который вместе с тем лишился чувства предельного и абсолютного бытия. Он разучился видеть, он может уже только доказывать. Но именно тем, что его *не* заботит, должна заниматься философия; поэтому и философия *more geometrico*, понимаемая в буквальном смысле, есть абсолютный абсурд. Напротив, *только* в философии математика может найти окончательное прояснение. В философии впервые

проводится исследование фундаментальных математических сущностей и предельных законов, которые коренятся в этих сущностях. Исходя из этого, только философия способна сделать полностью понятным пути математики, которая столь далеко удаляется от наглядного сущностного содержания, чтобы затем, в конце концов, вновь к нему вернуться. Первая задача для нас состоит, правда, в том, чтобы научиться здесь заново видеть проблемы, пробиться к предметному <sachlichen> содержанию через дебри знаков и правил, с которыми мы так превосходно научились обходиться. Об отрицательных числах, например, большинство из нас действительно задумывались только будучи детьми — тогда мы остановились перед чем-то загадочным. Но затем эти сомнения улеглись, по большей части на совершенно спорных основаниях. Сегодня, по-видимому, у многих почти исчезло сознание того, что числа хотя и имеются, однако противоположность положительных и отрицательных чисел покоится на искусственном установлении, основной закон и основание которого совсем непросто <389> усмотреть — так же как непросто усмотреть, каким образом в гражданском праве устанавливается юридическое лицо.

Если мы доберемся до того, к чему мы как философы должны прийти: через все знаки, определения и правила пробьемся к самим вещам, то очень многое предстанет перед нами иначе, чем думают сегодня. Позвольте мне привести один простой и довольно легко обозримый пример. Деление чисел на порядковые и количественные является сейчас общепринятым — не могут только согласиться в том, какие из них являются изначальными: порядковые или количественные, или же мы вообще не должны принимать ни одно из них в качестве изначального. Если в качестве изначальных принимают порядковые числа, то обычно ссылаются на Гельмгольца и Кронекера, и для наших целей весьма поучительно выяснить, что же собственно говорят эти математики. Кронекер говорит, что он считает естественным исходным пунктом развития понятия числа порядковые числа, представляющие собой запас упорядоченных обозначений, которые мы можем произвольным образом присваивать определенному множеству объектов. Предположим, что дан ряд букв a, b, c, d, e; теперь мы приписываем им друг за другом обозначения как первой, второй, третьей, четвертой и, наконец, пятой. Если мы захотим обозначить совокупность употребленных порядковых чисел или число букв, то для этого нам потребуется последнее из употребленных порядковых чисел. Должно быть ясно, что Кронекер вводит здесь знаки, а не числа. А именно, он вводит сначала порядковые обозначения, так как он затем может использовать последний из этих знаков для обозначения количества. Для философа проблемы здесь только возникают. Как можно понять, что последнее порядковое обозначение может дать одновременно количество всего

того, что было обозначено, что такое вообще порядковое и что такое количественное число? Сделаем несколько дальнейших шагов по пути, который ведет к прояснению этих понятий. Был поставлен вопрос о смысле числового выражения — точнее, была поднята проблема, чему может быть предсказано количество. На это может быть дано много и очень разных ответов — рассмотрим некоторые <390> из них поближе. Один из них не требует долгих размышлений — это взгляд, высказанный Миллем: количество сказывается об исчисленных вещах. Если бы количество три действительно относилось к исчисленным вещам так, как, например, к ним относится красный цвет, то каждая из них была бы три, как каждая из них есть красная. Поэтому утверждалось, что количество сказывается не об исчисленных вещах, а о совокупности, множестве, которое состоит из исчисленных вещей. Но и это мы должны оспорить. Множества могут обладать различными свойствами, в зависимости от предметов, из которых они состоят: множество деревьев может быть расположено по соседству с другим множеством, множество может обладать большей или меньшей мощностью, но множество не может быть четыре или пять. Конечно, множество может содержать четыре или пять предметов, но в таком случае ему предсказывается именно это содержание четырех предметов, а не четыре. Множество, которое содержит четыре предмета, так же не есть четыре, как и множество, которое содержит в себе только красные предметы, само не является красным. Даже если множеству можно приписать четыре, если оно содержит четыре элемента, — ему нельзя предсказывать четыре; и поскольку четыре нельзя предсказывать, как было показано, и тем предметам, которые содержит множество, мы попадаем в затруднительное положение. Эти трудности побудили Фреге понимать количество как выражение, которое относится к *понятию*. «Карета кайзера запряжена четырьмя лошадьми», — это должно означать, что под понятие лошадей, запряженных в карету кайзера, подпадают четыре предмета. Разумеется, это решение ничем не лучше. Сказывается о понятии, что под него подпадают четыре предмета, но о нем не сказывается четыре. Понятие, которое включает в себе четыре предмета, так же не есть четыре, как понятие, которое включает в себя материальные предметы, само не является поэтому материальным. Я не вхожу во множество других попыток разрешить эту проблему. В таких ситуациях у философа, само собой разумеется, возникает вопрос: не подходим ли мы здесь к этой проблеме уже с некоторым определенным предрассудком? Несомненно, так и есть — предрассудок заключается уже в постановке проблемы <391> как таковой. Спрашивается о субъекте, которому может быть предсказано количество — но откуда известно, что количество вообще чему-то предсказывается, можно ли предполагать, что любой элемент нашего мышления

должен быть предсказуем? Разумеется нет. Нам нужно рассмотреть всего лишь один простой пример. Например, мы говорим: только А есть b — этому «только» в высказывании соответствует некоторый важный элемент, но было бы, очевидно, бессмысленно спрашивать, чему предсказывается это «только». Это «только» совершенно определенным образом относится к А, но оно не может предсказываться ни ему, ни чему бы то ни было еще в мире. То же самое имеет место, когда мы говорим: все А суть b или некоторые А суть b и т. д. Все эти категориальные элементы не могут быть предсказаны; они лишь указывают область предметного, которая затрагивается предикацией, предикацией быть-b. Это проливает свет и на количество. Для него значимы две вещи. Оно само по себе и в себе не может быть ничему предсказано. И далее: оно уже предполагает предикацию, поскольку определяет количественную область чего-то, множество чего-то, что затрагивается предикацией. Количество отвечает не на вопрос «сколько?», а на вопрос «сколько А суть b?» Для учения о категориях это имеет величайшую важность. Поскольку та определенность, которая может быть количественно исчислена, предварительно уже затронута какой-то предикацией, то она располагается в совершенно иной сфере, чем, например, категория причинности, — она располагается в сфере, с которой мы позже познакомимся как со сферой положения дел. Впрочем, на основании этого дальнейшая дифференциация осуществляется очень просто. Возможно, например, что предикация, о которой здесь идет речь, относится к каждому предмету из той области, которую она определяет, в отдельности или ко всем этим предметам только в совокупности. Если мы говорим: пять деревьев являются зелеными, то здесь имеется в виду, что каждое отдельное дерево есть зеленое. Если же мы говорим, четырех лошадей достаточно, чтобы везти карету, то, очевидно, каждой лошади в отдельности для этого недостаточно. Подобные различия становятся понятны лишь исходя из изложенного здесь понимания количества, в соответствии с которым, как было сказано, оно не само предсказывается чему-либо, но предполагает, что нечто уже затронуту предикацией, область которого оно затем определяет. — Сказанного здесь достаточно для определения <392> количества. Но есть и другой вид чисел — порядковые числа; присмотримся к ним поближе. Обнаружилось, что количество не может быть предсказано; предсказуемость же порядковых чисел, на первый взгляд, не вызывает никаких сомнений. Очевидно, что они сказываются, а именно, сказываются о члене некоторого упорядоченного множества; по-видимому, они указывают этому члену его место в пределах множества. Напрашивается предположение: порядковое число есть то, что определяет соответствующее место элемента упорядоченного множества. Но все это окажется несостоятельным, если мы оста-

вим слова и знаки и обратимся к самим вещам. Как собственно обстоят дела с членами ряда и их местом? Мы имеем, прежде всего, член, открывающий ряд, — первый член ряда, — и соответствующий ему член, завершающий ряд, — последний член ряда. Затем мы имеем член, следующий за первым, затем член, который следует за членом, следующим за первым, и т. д. Таким образом, место каждого члена ряда может быть определено всякий раз путем обратной отнесенности к члену, открывающему ряд. О числе или же о чем-то соответствующем числу до сих пор не было ни слова. Не станут же нам указывать на то, что мы говорим о первом члене ряда — первый имеет к числу один такое же отношение, как последний — к пяти или семи. И далее: в ряде нет абсолютно ничего — никакой особенности членов ряда как таковой, ни чего-то напоминающего число, что еще могло бы быть нами извлечено. Элементы имеют свои места в ряду, эти места могут быть определены через отношение последовательности к члену, открывающему ряд, — о числах нет ни слова. Но если это так, то как же осуществляются в таком случае порядковые обозначения, которые все же напоминают о числах? Очень просто. Обозначения места с самого начала довольно сложны. Уже член *c* должен обозначаться как член, следующий за членом, следующим за первым членом — в конце концов это становится невыносимо, и тогда нужно подумать о более удобном способе обозначения. Здесь, разумеется, имеют место отношения между множеством и его членами и количеством, заметим — *количеством*. Ряд содержит некоторое количество членов и то же относится ко всякой части ряда. Член *c* есть тот член, включая <393> который, ряд содержит три члена, поэтому мы называем его третьим членом, точно так же *d* есть четвертый, и поэтому каждому члену ряда мы можем приписать такого рода обозначение, поскольку ряд до каждого члена включительно содержит определенное и всегда различное количество членов. Но теперь вы видите ту путаницу, к которой приводят знаки. Наряду с количествами, количественными числами, должен иметься и другой вид чисел, порядковые числа, — но где же они? — мы можем искать сколько угодно, но не найдем их. Имеются количества и обозначения количеств, и имеются, далее, порядковые обозначения, которые с помощью количественных чисел могут определять место элементов упорядоченного множества. Но нет порядковых чисел. Философия позволила застигнуть себя врасплох, так как она с закрытыми глазами следовала знакам, введенным математиками, и тем самым смешивала слова и вещи. Зашли настолько далеко, что стали выводить количественные числа из порядковых чисел, т. е. выводить количество из способа обозначения, который, кроме того, имеет количество своей предпосылкой. Что же касается этого способа обозначения, то не следует, разумеется, соблазняться уравниванием словесных и циф-

ровых обозначений. Словесные обозначения далеко не всегда оперируют количеством — первое не есть одно; существует ли языковое выражение, в котором можно выразить, что член, открывающий ряд, одновременно есть тот, включая который ряд содержит *один* член, я не знаю. И член, который следует за первым, не нуждается для своего обозначения в количестве — мы, правда, говорим «второй», но тот, кто говорит на латинском, — *secundus*. Не все, следовательно, порядковые обозначения суть обозначения порядковых чисел — дальнейшее исследование должно быть, разумеется, передано лингвисту.

Если мы стремимся к сущностным анализам, то мы, конечно, исходим из слов и их значений. Неслучайно, что «Логические исследования» Гуссерля начинаются с анализа понятий «слово», «выражение», «значение» и т. д. Сперва необходимо совладать с теми немислимыми эквивокациями, которые, которые особенно распространены в философской терминологии. Гуссерль обнаружил 14 различных значений понятия <394> «представление», и тем самым он еще далеко не исчерпал всех тех значений, которые — по большей части в смешанном виде — фигурируют в философии. Эти различия значений упрекали в изоэтрности и схоластике; и весьма напрасно. Небольшое и само собой разумеющееся размежевание может привести к тому, что целая философская теория будет опрокинута — если философ не обратил на него внимание; поучительным примером этого как раз и является термин «представление» или же термин «понятие» с его многочисленными и фундаментально различными значениями. Далее — и эту точку зрения мы сегодня уже разрабатывали: анализ значений может вести не только к тому, чтобы провести размежевания, но и к тому, чтобы устранить <aufzuheben> неправомерные различия. Понятно, что молодая феноменология поначалу с удивлением смотрела на бесконечное изобилие того, что прежде было неверно истолковано или упущено. Но в ходе своего развития она также устраняла многое, что ложно рассматривалось как нечто самостоятельное — примером этого и представляются мне порядковые числа. Впрочем, мне больше не требуется особенно подчеркивать, что сущностный анализ, которого мы требуем, никоим образом не исчерпывается исследованиями значения. Даже если мы исходим из слов и значений слов, то это должно вести нас только к самим вещам, которые требуют прояснения. Но возможен и прямой доступ к вещам, без руководства значением слов — надлежит не только прояснять то, что уже имеется в виду, но также открывать и усматривать новые сущности. То, о чем здесь идет речь, есть, в определенной мере, шаг от Сократа к Платону. Сократ занимался анализом значения, когда он на улицах Афин задавал свои вопросы: «Ты говоришь об этом и о том; что ты под этим подразумеваешь?». Здесь необходимо прояснить неясность и выявить противоречия означаемого —

метод, который, впрочем, не имеет ничего общего ни с дефиницией, ни, тем более, с индукцией. Платон, напротив, исходит не из слова и значения, его цель — прямое усмотрение идей, непосредственное постижение сущностей как таковых.

Я уже указывал на то, что сущностный анализ есть не последняя цель, но лишь средство. По отношению к сущностям значимы <395> законы, и эти законы не сравнимы ни с какими фактами и взаимосвязями фактов, о которых нас оповещает чувственное восприятие. Они значимы по отношению к сущностям как таковым, в силу своей сущности — в них мы не имеем никакого случайного Так-бытия, но лишь необходимое Так-быть-должно <So-Sein-Müssen> и, в соответствии с сущностью, Иначе-быть-не-может <Nicht-Anders-Sein-Können>. Наличие таких законов относится к наиболее важному в философии, а если мы продумаем это до конца — к самому важному в мире вообще. Изложить их во всей чистоте есть поэтому важнейшая задача философии, — но нельзя отрицать того, что она эту задачу не выполнила. Пожалуй, а priori признавалось всегда — Платон открыл его, и с тех пор оно больше не исчезало из поля зрения истории философии; но оно неверно понималось и ограничивалось даже теми, кто защищал его правомерность. Два упрека должны мы сделать прежде всего: в субъективации априори и в его произвольном ограничении немногими областями, тогда как его господство простирается на все области вообще. Сначала необходимо сказать о его субъективации. В одном пункте все всегда были согласны: априорное познание происходит не из опыта. Для нас это, по приведенным ранее соображениям, несомненно так. Опыт как чувственное восприятие относится, прежде всего, к единичному, к вот-здесь <Diesda>, и стремится постичь его в качестве такового. То, что испытывается в опыте, словно бы притягивает к себе субъекта: чувственное восприятие по своей сущности возможно лишь с какой-либо точки; и где мы воспринимаем человека, там этот исходный пункт восприятия должен находиться поблизости от воспринимаемого. В случае априори, напротив, речь идет о сущностном видении и сущностном познании. Но для того, чтобы схватывать сущность, не требуется никакого чувственного восприятия, здесь речь идет об актах созерцания совершенно иного вида, которые всегда могут быть выполнены, где бы ни находился представляющий субъект. В том, что — если брать совершенно простой и тривиальный пример — оранжевый цвет — в этом своем качестве — расположен между красным и желтым, я могу убедиться сейчас в этот момент <396> полной достоверностью, если только мне удастся привести к ясному созерцанию соответствующие сущности, без какого-либо указания на некое чувственное восприятие, которое должно привести меня в какое-либо место мира, где можно было бы обнаружить пример оранжевого, красного и желтого

цвета. Речь идет не только о том — как часто говорят, — что требуется лишь один-единственный случай восприятия для того, чтобы в нем познать априорную закономерность; в действительности не требуется ни одного случая восприятия, не требуется «испытывать», вообще не требуется ничего воспринимать, достаточно чистого воображения. Где бы мы ни находились в мире, нам повсюду и всегда открыт доступ в мир сущностей и их законов. Но именно здесь, в этом неоспоримом пункте, начались роковые заблуждения. То, что не может возникать у нас в чувственном восприятии, так сказать, снаружи, должно, видимо, существовать «внутри». Поэтому априорные познания приписываются имуществу души, к тому — даже если только возможному — врожденному, на которое требуется только бросить взгляд, чтобы признать его с несомненной достоверностью. В конце концов, если следовать этому своеобразному и исторически столь действенному образу человеческого познания, то все люди в равной мере обладают знанием. Они лишь различным образом разыскивают это общее сокровище. Некоторые живут и умирают, ничего не ведая о своем богатстве. Но если априорное знание выявляется, то никто не может избежать его очевидности. В отношении его возможно открытие или не-открытие, но никогда — ошибка или заблуждение. С этой точки зрения педагогическим идеалом является платоновский Сократ, как его понимала философия просвещения, — Сократ, простым выпрашиванием извлекающий из раба математические истины, о которых достаточно лишь пробудить воспоминание. Ответвлением от такого понимания является учение о *sensus omnium* как несомненном удостоверении высших основоположений познания. Ветвью его является, далее, учение об априорном познании как необходимости нашего мышления, как следствии Так-мыслить-должно <So-Denken-Müssens> и Иначе-мыслить-невозможно <Nicht-anders-Denken-Könnens>. Но <397> все это совершенно ложно — и эмпиризм легко справляется с такого рода теориями. Априорные взаимосвязи имеют место, безразлично, признают ли их все или многие или же никто из людей или других субъектов. Они в наивысшей степени общезначимы в том смысле, что каждый, кто пожелает вынести правильное суждение, должен их признать. Но это отличает не только априорные истины, но все истины вообще. И наиболее эмпирическая истина, что для какого-то человека в какой-то момент времени кусочек сахара имел сладкий вкус, — даже эта истина общезначима в этом смысле. Целиком и полностью должны мы, следовательно, отклонить понятие необходимости мышления как сущностного признака априорного. Если я спрашиваю себя, что было раньше — Тридцатилетняя или Семилетняя война, то испытываю необходимость мыслить первую как более раннюю, и, тем не менее, речь здесь идет об *эмпирическом* познании. Напротив, тот, кто вообще отрицает априор-

ную взаимосвязь, кто отрицает закон противоречия или не придает значения закону однозначного определения происходящего не испытывает, очевидно, никакой необходимости мышления. Чего же стоят все эти психологистические подделки! Разумеется, необходимость играет роль в случае априори — но только это не необходимость мышления, а необходимость бытия. Обратимся же к этим отношениям бытия. Один предмет находится в пространстве подле другого — это случайное бытие, случайное в том смысле, что оба предмета по своей сущности могли бы быть и удалены друг от друга. Напротив: прямая есть кратчайшая линия между двумя точками — здесь не имеет смысла говорить, что могло бы быть иначе; быть кратчайшей линией между двумя точками укоренено в сущности прямой как прямой — мы имеем здесь необходимое Так-бытие. Таким образом, существенно: априорными являются положения дел, они являются априорными в той мере, в какой предикация в них, например, быть-*b*, требуется в силу сущности *A*, поскольку это необходимо коренится в этой сущности. Но положения дел наличествуют независимо от того, какое сознание их постигает и постигает ли вообще их какое-нибудь сознание. Априори само по себе и в себе не имеет ничего общего с мышлением и познанием. Это необходимо <398> понять со всей отчетливостью. Если это понято, то можно избежать и тех мнимых проблем, которые были подняты в связи с априори, и которые привели в истории философии к столь причудливым конструкциям. Априорные взаимосвязи, например, имеют место в природных процессах. Если они понимаются как законы мышления, то спрашивается, как это возможно, как получается, что природа подчиняется законам нашего мышления: должны ли мы здесь предположить загадочную предустановленную гармонию? так ли это, что природа не в праве притязать на собственное и само по себе бытие? следует ли ее мыслить в какой-либо функциональной зависимости от актов мышления и полагания? Действительно, непостижимо, почему природа должна следовать законам нашего мышления. Но на самом деле о законах мышления здесь нет и речи. Дело в том, что быть тем или иным, вести себя так или иначе укоренено в сущности некоторого предмета — что же удивительного в том, что все, что причастно этой сущности, затрагивается одной и той же предикацией? Будем говорить конкретно и по возможности просто. Если однозначная зависимость от предшествующих по времени событий укоренена в сущности изменения — если не мы должны так мыслить, но так должно *быть*, то что же удивительного в том, что это значимо для любого конкретного изменения в мире? Я думаю, было бы непостижимо, если бы было иначе, или лучше сказать: очевидным образом иначе и быть не может.

Если в себе самом установлено своеобразие априорных взаимосвязей — в качестве форм положений дел, а не в качестве форм мышления, тогда

в виде второй проблемы может быть поднят вопрос о том, как собственно эти положения дел становятся для нас данностью, как они мыслятся или, лучше сказать, познаются. Говорилось о непосредственной очевидности априори в противоположность не-очевидности эмпирического. Но этой противоположности недостаточно. То, к чему здесь стремятся, ясно. Что являющееся мне в чувственном мире как наличествующее и существующее, действительно наличествует и существует, — для этого в самом акте восприятия мы имеем, пожалуй, лишь повод, а не бесспорную гарантию. Возможность того, что дома и деревья, которые я воспринимаю, не существуют, всегда остается <399> открытой в случае такого восприятия — окончательной абсолютной очевидности здесь нет. Поэтому, если сказать, что суждения о реальном существовании физического *не* могут претендовать на предельную очевидность, то это было бы совершенно правильно; но это говорится об эмпирических суждениях вообще, а это неверно. Если мы предположим, что восприятие дома, о котором я только что говорил, есть иллюзия, что воспринимаемый дом, следовательно, не существует, то при этом, разумеется, остается бесспорным, что я имел такое, пусть даже обманчивое, восприятие — иначе, как бы я мог вообще говорить об иллюзии? Суждение «я вижу дом» обладает, в противоположность суждению «там стоит дом», предельной неоспоримой очевидностью; само собой разумеется, это — эмпирическое суждение, — не в сущности же Я укоренено, что оно видит дом, — следовательно, недостающая окончательная очевидность *не* является признаком эмпирического познания. Только одно верно: *все априорные* познания без исключения допускают неоспоримую очевидность, т. е. окончательно-дающее созерцание своего содержания. То, что укоренено в сущности объектов, может быть приведено к предельной данности в сущностном усмотрении. Конечно, имеются априорные познания, которые не могут быть получены сами по себе, но требуют выведения из других. Но и они, в конце концов, ведут к предельным, в самих себе очевидным взаимосвязям. Не надо принимать эти последние слепо, основывать их на баснословном *consensus omnium* или на мистической необходимости мышления, — нет ничего более чуждого феноменологии, чем это; эти взаимосвязи должны быть, скорее, прояснены, приведены к окончательной наглядной данности, и мы особо подчеркиваем, что для этого требуется своеобразное усилие и методика. Но со всей строгостью мы должны бороться со стремлением и далее обосновывать априорные взаимосвязи, доказывать их права, исходя из чего-то другого; со стремлением обосновать абсолютно ясные и очевидные источники познания путем указания на неочевидные факты, которые сами могут быть обоснованы только благодаря этим источникам. Здесь, мне кажется, дает о себе знать то, о чем мы уже говорили, —

страх иметь перед глазами сами предельные взаимосвязи, слепое <400> цепляние за что-то иное, на которое они, якобы, должны опираться, как будто бы и эти попытки обоснования, если они не совершенно произвольны, не должны, в конце концов, иметь основанием предельно очевидные взаимосвязи.

До сих пор я обращался к субъективации априори — но не меньшим злом является то, что я выше назвал *обеднением* априори. Есть мало философов, которые бы так или иначе не признавали факта априори, но нет ни одного, который бы его не редуцировал каким-либо образом к небольшой провинции его действительной области. Юм перечисляет нам отношения между идеями — это *суть* априорные взаимосвязи; но почему он ограничивает их *отношениями* и к тому же столь немногими — неясно. И совершенно роковым для последующей философии должна была стать та ограниченность, с которой априори понимал Кант. В действительности же область априори необозримо велика; что бы мы ни узнавали об объектах, все они имеют свое «что», свою «сущность», и для всех сущностей значимы сущностные законы. Нет никакого основания, нет даже никакого права, ограничивать априори в чем бы то ни было только тем, что относится к формальному; априорные законы значимы и для материального, и даже для чувственного, для звуков и цветов. Тем самым для исследования открывается область, столь обширная и богатая, что мы сегодня еще не в состоянии полностью окинуть ее взглядом. Позвольте мне упомянуть лишь немногое. Наша психология очень горда тем, что она есть *эмпирическая* психология. Следствием этого является то, что она пренебрегает целой областью познания, которая укоренена в сущности переживаний, в сущности актов восприятия и представления, суждения, чувствования, воления и т. д. Если она натывается на существующие здесь законы, то неверно перетолковывает их в законы эмпирические. В качестве классического примера я назову Вам Дэвида Юма. В начале его главной работы речь идет о восприятии и представлении, и говорится, что любому восприятию соответствует представление того же самого предмета — для Юма это одно из важнейших основоположений его философии. Но как мы должны понимать это положение? Имеется ли в виду, что в любом сознании, в котором происходит восприятие некоторого предмета, должно реализоваться и представление того же самого предмета? Это было бы весьма сомнительным положением; мы, очевидно, воспринимаем все же очень много такого, что мы затем не представляем, что, возможно, <401> вообще никто никогда не представляет; в любом случае у нас нет никакого права утверждать противоположное. Но как Юм приходит к тому, чтобы положить в основу своих рассуждений это положение, откуда берется у этого положения та убеждающая сила, которую оно все же

имеет? Разумеется, верно, что каждому восприятию соответствует некоторое представление и наоборот — в том же смысле, в каком, например, каждому отрезку прямой соответствует круг, радиусом которого этот отрезок является. Не о реальном существовании идет здесь речь, не о процессах в эмпирическом сознании, но об идейном соответствии. А поэтому и та взаимосвязь, которую Юм утверждает как эмпирическую, на самом деле является априорной, коренящейся в сущности восприятия и представления. Аналогично обстоят дела со вторым положением, которое образует фундамент юмовской теории познания; что элементы, составляющие любое представление, предполагают предшествующее восприятие, принадлежащее тому же самому субъекту, что мы, таким образом, можем представлять лишь то, элементы чего мы уже прежде воспринимали. Это положение ведет к сложным проблемам — но одно ясно с самого начала, оно не может иметь *эмпирическую* природу. Как мы узнаем, имеет ли новорожденный сперва восприятия или представления? Нельзя сказать: *само собой разумеется*, прежде чем он сможет представлять, он должен воспринять — именно там, где человек претендует на это «само собой разумеется», мы должны схватить его за руку, — всякий раз это указывает на сущностные взаимосвязи, которые еще ждут научного прояснения.

До сих пор мы рассматривали периферические переживания, но в более глубоких слоях психики дела обстоят не иначе. Подумайте, прежде всего, о мотивационных взаимосвязях, которые мы с такой самопонятностью отслеживаем как в практической жизни, так и в исторических дисциплинах. Мы *понимаем*, что из того или иного чувства, из того или иного переживания может или должно возникнуть то или иное действие. Это происходит не от того, что мы часто встречались на опыте с тем, что люди, имея определенные переживания, поступали в соответствии с теми или иными намерениями, и поэтому мы теперь можем сказать: следовательно, и этот человек, предположительно, будет поступать таким образом. Мы понимаем, что это так есть и так должно быть, <402> мы понимаем это, исходя из мотивирующего переживания — в случае же голого эмпирического факта никакого понимания нет. Историк, который, вживаясь, следует мотивационной взаимосвязи, психиатр, который следит за процессом болезни, — все они понимают, понимают даже в том случае, если соответствующее развитие встречается им впервые; тогда они могут руководствоваться сущностными взаимосвязями, даже если они эти сущностные взаимосвязи никогда не формулировали и даже не смогли бы сформулировать. Здесь существует взаимосвязь между психологией и историей, о которой так много сказано, — взаимосвязь, которая не имеет отношения к эмпирической психологии, но относится к психологии априорной, чье начало — дело будущего. Эмпирическая психология

отнодь не является независимой от априорной. Законы, которые коренятся в сущности восприятия и представления, в сущности акта мышления и суждения, постоянно предполагаются, когда исследуется эмпирический ход этих переживаний в сознании. Сегодня психология заимствует эти законы из темных представлений обыденной <natürlichen> жизни, они относятся к той области смутной самопонятности, которая далее не заботит эту психологию. Тем не менее, психологическое сущностное учение имело бы для эмпирической психологии значение аналогичное тому, какое имеет геометрия для естественных наук. Подумайте о законах ассоциации. Сколь неверно понимается их подлинный смысл! Их формулировка часто прямо-таки ложна. Неверно, что если я в одно и то же время воспринял А и В, и если я теперь представляю А, то имеется тенденция представлять и В. Для того, чтобы такая тенденция стала понятной, я должен воспринять А и В вместе в феноменальном единстве — пусть даже если это будет совершенно свободное отношение. Там, где два предмета всегда являются нам, связанные некоторым отношением, возникает ассоциативная связь; и далее: если речь идет при этом об отношении, корнящемся в самих идеях, например об отношении подобия или контраста, тогда не необходимо даже такое предшествующее явление, тогда представление А как таковое уже ведет к представлению ему подобного или контрастирующего с ним В, и для этого мне вообще не требуется когда бы то ни было воспринимать А и В совместно. Совершенно произвольно <403> полагать в основание ассоциации пару определенных отношений, как то имеет место в настоящее время, например, пространственную или временную смежность или подобие. Любое отношение способно учреждать ассоциацию. Прежде всего речь здесь идет не об эмпирически собранных фактах, а о постижимых и укорененных в сущности вещей взаимосвязях. Разумеется, тот вид сущностных взаимосвязей, который нам здесь встречается, является новым, — это взаимосвязи не необходимости, а возможности. Нам понятно, что представление некоторого А может вести к представлению подобного ему В, но оно не должно вести к нему с необходимостью. Точно так же и мотивационные взаимосвязи по большей части таковы, что речь здесь идет о сообразном сущности Так-быть-может, а не о Так-быть-должно.

Требуется не только сущностное учение о психическом, но и сущностное учение о природе; при этом, правда, необходимо отказаться — как бы тяжело нам это не давалось — от специфически естествонаучной установки, которая преследует совершенно определенные задачи и цели. И здесь мы должны, преодолевая себя, научиться чисто схватывать феномены, усваивать себе их сущность без предварительных понятий и предрассудков — сущность цвета, протяженности или материи, света и тьмы,

звуков и т.д. Мы должны также исследовать конституцию феноменальных вещей, чисто самих по себе в соответствии с их сущностной структурой, в которой, например, цвет играет, конечно, иную роль, чем протяженность и материя. Везде проблемой являются сущностные законы, нигде не полагается существование. Этим мы не действуем против естествознания, но мы создаем основания, исходя из которых мы только и можем понять его структуру. Я не могу входить здесь в этот вопрос глубже. Первая задача феноменологии заключалась в том, чтобы указать на различные области сущностных отношений, в психологии и эстетике, этике и правоведении — повсюду открываются перед нами новые области. Но отвлечемся от новых проблем — даже те старые вопросы, которые передает нам история философии, получают новое освещение с точки зрения сущностного рассмотрения, и прежде всего — проблема познания. Какой смысл определять познание, перетолковывать и редуцировать его, отдаляться от него как можно <404> дальше, чтобы затем подменить его тем, чем оно не является. Мы все говорим о познании и при этом нечто подразумеваем. И если это подразумевание является слишком неопределенным, то мы можем ориентироваться на какой-нибудь случай познания, познания надежного и несомненного, и самый несложный, самый тривиальный пример является здесь наилучшим. Подумайте над случаем, в котором мы знаем, что нас наполняет чувство радости, или что мы видим нечто красное, или что звук и цвет различны, или нечто подобное. От отдельных случаев познания и их существования здесь также ничего не зависит, но в них мы усматриваем, как и везде, Что, сущность познания, которая заключается в принятии <Aufnehmen>, в получении и в присваивании того, что предлагает себя. К этой сущности мы должны приблизиться, ее мы должны исследовать но мы не должны приписывать ей ничего чуждого. Мы не должны, например, говорить, что познание есть, в действительности, определение, полагание или нечто подобное, мы не должны этого делать, так как если цвета, пожалуй, и можно свести к волновым колебаниям, то сущности к другим сущностям — нельзя. Здесь, возможно, присутствует нечто такое, как полагание или определение, и его сущность также должна быть прояснена. Мы имеем здесь акт суждения, а именно утверждение, как спонтанный, точечный, полагающий акт; и мы имеем определенные утверждения, которые оказываются определяющими полаганиями, например, утверждения формы «А есть b». Но если мы более внимательно присматриваемся к акту определения, который мы выполняем, в соответствии с его сущностью, мы все же ясно видим, что его сущность не идентична сущности познания, и более того, мы видим, что любое определение по своей сущности отсылает к акту познания, от которого оно только и может получить свою право-

мерность и свое удостоверение. Даже если сказать, что люди не способны выполнять акты познания, но лишь акты определения, — это было бы смелое утверждение, которого, конечно, нельзя было бы придерживаться, но само по себе оно не было бы бессмысленным. Но говорить, что познание есть, в действительности, определение, — это то же самое, как утверждать, что звуки, в действительности, суть цвета. Правда, сущностный анализ не исчерпывается, но только начинается с того, что отделяет все, что не следует смешивать с предметом, подлежащим исследованию. И все это <405> я хотел изложить Вам со всей отчетливостью. Если в феноменологии мы хотим порвать с теориями и конструкциями, и если мы стремимся к возврату к самим вещам, к чистой, несокрытой интуиции сущностей, то интуиция мыслится здесь не как внезапное вдохновение и просветление. Это сегодня я непрестанно подчеркивал; требуются своеобразные и большие усилия для того, чтобы из того отдаления, в котором мы сами по себе находимся по отношению к объектам, выйти к их ясному и отчетливому постижению — именно с оглядкой на это мы говорим о феноменологическом методе. Здесь имеет место все большее и большее приближение, и на этом пути возможны все те заблуждения, которые несет с собой любое познание. Необходимо развивать в себе эту способность сущностного усмотрения — и эта работа воплощена в образе, который нарисовал Платон в Федре: это образ души, которая со своей упряжкой должна *взойти* на небо для того, чтобы созерцать идеи. В тот момент, когда место внезапной мысли занимает трудная работа прояснения, философская работа переходит из рук одиночек в руки продолжающих работу и сменяющих друг друга поколений. Грядущим поколениям будет непонятно, как один-единственный человек мог набрасывать целые философские системы, настолько же непонятно, как то, что сегодня один человек мог бы очертить все естествознание. Если образуется непрерывность в пределах философской работы, то это означает, что мировой исторический процесс развития, в котором одна наука за другой отделялась от философии, протекает теперь и в философии. Она становится строгой наукой — не подражая другим строгим наукам, но вспоминая о том, что ее проблемы требуют собственного подхода, для проведения которого нужна работа в течение столетий.

ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, КИНО

ВИТАЛИЙ КУРЕННОЙ

ФИЛОСОФИЯ БОЕВИКА

Боевики смотрят все, но мало кто в этом охотно признается. Отечественный культуртрегер с давних пор понимает разницу между фильмами Феллини и похождениями Джеймса Бонда. Глубокомысленное кино – будь то «Андалузский пес» или «Зеркало» – заключает в себе всяческие непонятые мысли и позволяет зрителю – который после третьего просмотра только и начинает выстраивать связь между отдельными кадрами – увериться, в частности, в присутствии там непростого философского содержания. Постараемся показать, что и кино массовое порой заключает в себе скрытые философские сюжеты.

Обратимся, например, к боевику. Боевику, конечно, не всякому, но к одному из его современных типовых сюжетов, который мы назовем «картезианским». «Картезианским» потому, что если мы отвлечемся от того, о чем это кино *рассказывает*, то увидим, что *показывает* оно не что иное, как ход знаменитого радикального философского размышления Рене Декарта. Образцово картезианскими боевиками являются, например, *Коммандо* (Шварценеггер в главной роли), более современные: *Захват* (1992) и *Захват-2* (1995).

Этот тип боевика имеет несколько характерных признаков: мотивом поступков героя не является месть; герой во время выполнения главной миссии фильма не выполняет свои служебные обязанности (т. е. если он исходно полицейский, то здесь он должен, например, спрятать свой жетон в стол или быть предварительно уволенным с работы); герой является, в принципе, законопослушным гражданином (в начале и в конце фильма), и даже если он является преступником, скрывающимся от властей, то и здесь это «законопослушный» преступник, который понимает, что он преступник, а не борец, например, за социальную справедливость. Противоположностью же «картезианского» боевика являются, например, фильмы, составляющие известный всем зрителям НТВ сериал «Крутой Уокер – правосудие по-техасски», где герой представляет собой не что иное, как машинку по реализации «институционализированного» американского правосудия.

Если воспользоваться старинным структурным методом, то можно изобразить примерно такую типовую схему нашего сюжета:

- Герой имеет устойчивый социальный статус, он является членом Общества, соблюдающим его Закон.
- Со стороны враждебной силы происходит нарушение Закона, угрожающее всему Обществу.
- Герой лично заинтересован в происходящем (угроза родным или близким).
- Общество неспособно защитить себя и интересы Героя.
- Герой развивает акции спасения (герой хорошо подготовлен для выполнения своей миссии).
- Герой действует методично.
- Герой начинает устранять враждебные силы.
- Герой выходит за пределы Закона/Общества.
- Герой находит Помощника, который а) служит контрастным фоном для подчеркивания характеристик героя (сильный/слабый, мужчина/женщина), б) функционирует как репрезентант Общества, представители которого лишены особых способностей Героя.
- У Героя есть Двойник-антипод (у Двойника с Героем личные счеты).
- Кульминация акции спасения – битва с Двойником (герой, как правило, устраняет существование Двойника непосредственным образом – проще говоря, убивает его «голыми руками»).
- Закон вновь вступает в свои права; личный интерес Героя удовлетворен.
- Противозаконные действия Героя оправданы устранением опасности Закону/Обществу.
- Герой восстанавливает свое и социальное status quo.¹

¹ Ввиду известности «постструктуралистского» подхода М. Ямпольского к анализу кино, видимо, имеет смысл оговориться относительно данной «структуралистской» стилизации. Работа в рамках концепции «интертекстуальности» налагает, на наш взгляд, определенные границы на выбор объектов исследования, каковыми становятся либо фильмы классические (в собственном смысле слова), либо фильмы совершенно особые и экстремальные, созданные такими зондерлингами, как Дали или Леже. Кино массовое, обычно, не представляет собой поля изоощренных коннотаций и цитирования, потому попросту выпадает из предметной области метода, где, таким образом, оседают одни «шедевры». С другой стороны, именно структурализм работает с явлениями массовыми и деперсонифицированными (мифы, сказки и т. п.), что делает этот подход довольно привлекательным в области массовой кинопродукции. Мы лишь поддерживаемся относительно вопроса о носителе структуры (который, как правило, решается в духе какой-нибудь психологии).

Конечно, в голливудской кинопродукции часто встречается откровенная халтура: многие элементы и функции могут быть вырождены, в других случаях они тщательно закамуфлированы. Так, в *Захвате* и *Захвате-2* просматривается тенденция скрыть все моменты, связанные с выходом Героя за рамки Закона, но и здесь пылливый исследователь найдет их рудиментарные следы: например, чтобы догнать поезд в *Захвате-2*, Герой угоняет и разбивает автомобиль (попирая право частной собственности).

В отличие от «классического вестерна» (по классификации В. Райта²), в «картезианском» боевике не моделируется разрешение проблемы, связанной с напряжением индивид – общество, то есть проблемы успешной социализации индивида. Герой изначально имеет нормальное (а не выделенное) социальное положение и в результате всей эпопеи лишь восстанавливает его, совершив свой ритуал очищения. Мы имеем дело со структурой совершенно циклической, замыкающейся на саму себя, то есть, в конечном счете, с мифом. Зрителю с самого начала известен исход фильма, он не несет для него никаких неожиданностей, так же как и любой ритуал.

Именно эта процедура очищения позволяет опознать в структуре этого сюжета совсем другую историю – историю, рассказанную Декартом почти четыре века назад³. Исходная завязка картезианского рассуждения такова: субъект философского размышления долгое время живет в обществе, соблюдая его нормы и законы, отличаясь лишь тем, что развивает постепенно свою способность мышления и способность к познанию истины, опираясь на систематические упражнения в применении метода: «я продолжал упражняться в принятом мною методе... Таким образом, не отличаясь по видимости от тех, чье единственное занятие – проводить в невинности тихую жизнь, стремясь отделять удовольствия от пороков, и во избежание скуки при полном досуге прибегать ко всем пристойным удовольствиям, я жил, продолжая преследовать свою цель, и, кажется, преуспел в познании истины более, чем если бы занимался только чтением книг и посещением ученых людей» (I, 267)⁴.

² См. Wright, W. *Six Guns and Society: A Structural Study of the Western*, University of California Press, Berkley, 1975.

³ Декарт не представляет собой в данном случае безусловного предела. В указанном типе боевика можно указать ряд моментов, связанных с темой «возвращения», отсылающих уже к Гомеру. Попутно, однако, заметим, что новоевропейский тип действующего субъекта имеет все же значительные отличия от того, который дан в лице Одиссея.

⁴ I – Декарт, Сочинения. Т. 1. М.: «Мысль», 1989; II – Декарт, Сочинения. Т. 2. М.: «Мысль», 1994.

Те результаты, которые достигаются в результате «подготовительного периода», не являются самоцелью. Целью же является, скорее, определенный навык, способность к разысканию истины, ясному и отчетливому представлению предметов. Общая начальная ситуация философствующего субъекта, следовательно, такова:

Субъект является рядовым членом общества, соблюдающим его закон и обычай. Этот субъект, однако, хорошо подготовлен для решения определенной специальной задачи: разыскание истины.⁵

Достаточно сложен вопрос с завязкой сюжета в боевике и с началом радикального метафизического размышления Декарта. В нашей схеме этот момент отмечен как угроза Обществу и личным интересам Героя. Но мотивировка самого способа разрешения проблемы требует, вообще говоря, выхода за рамки сюжета как такового. Дело в том, что завязка сюжета (переход Героя к выполнению своей миссии в той форме, как мы ее изложили) мотивирована, скорее, ожиданием зрителя, чем «аналогией действительности». Опознав в начале фильма Героя, зритель ожидает от него выполнения его миссии. Если такового не случается, то мы имеем дело просто с другим жанром, например с пародией. Правда, мотивировку действия Героя стремятся создать и «имманентным» сюжету образом.

Как правило, в качестве таковой выступает жесткое (как правило, надуманное) временное ограничение. Герой всегда должен «уложиться» в заданный конечный временной интервал. Не менее запутан и вопрос о мотивировке радикального метафизического размышления. Не исключено, что Декарт мог бы его так никогда и не совершить. Находясь «в хорошей научной форме» благодаря постоянному упражнению в методе, он мог бы продолжать наращивать результаты своих научных изысканий, так никогда и не обратившись к радикальному размышлению и сомнению.

Толчком здесь также послужило, с одной стороны, временное ограничение и, с другой стороны, ожидание «зрителей» – социума, окружавшего Декарта. В начале первого размышления о первой философии он говорит: «я медлил так долго, что в дальнейшем не искупил бы своей вины, если бы время, оставшееся мне для действия, я потратил на размышления» (II, 16). В «Размышлении о методе» мы находим вторую, «внешнюю», мотивиров-

⁵ Хотя здесь параллельно схеме боевика выписывается вторая схема, это не значит, что речь идет об аналогии между двумя различными структурами. Структура одна и та же, но ее элементы, разумеется, были бы лишены конкретных характеристик, позволяющих легко опознать сюжет, поэтому она не приводится (мы видим мало проку в тенденции к «оцифровыванию», присущую структурализму).

ку: «Пример многих превосходных умов, которые брались за это прежде меня, но, как мне казалось, безуспешно, заставляя меня представлять себе дело окруженным такими трудностями, что я, может быть, долго еще не решился бы приступить к нему, если бы до меня не дошли слухи, будто я его успешно завершил... Но так как у меня достаточно совести, чтобы я не желал быть принятым за того, кем на самом деле не являюсь, я считал, что должен приложить все усилия, чтобы сделаться достойным сложившейся репутации» (II, 267–268).

Обществу, надо сказать, было отчего проявлять свое нетерпение. Раздираемое спорами католиков и протестантов, оно давно погрузилось в бездну скептицизма, чреватую отрицанием существования Бога – единственного оплота порядка. Вражда на религиозной почве захлестнула Европу. Закон и Порядок были нарушены, требуя решительных действий. Вспомним сюжет боевика: враждебной силе потому удастся одержать верх над Законом, что сама она действует беззаконно. Она попирает Закон силой. Герой, однако, выступает против враждебной силы, действуя ее же оружием – силой. Сила проигрывает большей силе, освобождающей место Закону. Декарт действует против сомнения и скептицизма, противостоящему порядку, освященному до той поры Богом и его законом. Он одержал победу лишь пойдя путем радикализации сомнения. Сомнение одержало верх над сомнением, чтобы дать место порядку.

Итак, в размышление Декарта мы можем внести следующую сюжетную функцию:

Враждебная сила (скептицизм и атеизм) нарушает существующий порядок, основанный на вере в существование Бога, что так или иначе имеет для общества далеко идущие негативные последствия.

Это, так сказать, социальная «легитимация», или оправдание, радикального метафизического размышления Декарта. Она ясно представлена в том приветствии «ученейшим и славнейшим членам священного теологического факультета в Париже», которое Декарт предпослал «Размышлениям о первой философии». Но этим легитимность размышления не исчерпывается. Декарт по своему институциональному и ролевому статусу не призван, вообще-то говоря, выполнять эту функцию защиты, поскольку для этого и существуют «ученейшие и славнейшие члены священного теологического факультета», но он выполняет и ее в том числе, несмотря на то, что эта философская сверхзадача является, по существу, его *личным* делом.

Точно так же и Герой «картезианского» боевика не является в большинстве случаев официальным стражем Закона (обычно он был им в прошлом, это, например, «бывший зеленый берет»). Более того, если исходно Герой

и является, например, полицейским, то для выполнения своей радикальной миссии он *обязательно* снимает с себя эту ролевую функцию и действует не от имени института, но в соответствии с личной установкой: «Ну, теперь дело между нами!», которая так импонировала М. К. Мамардашвили в философии Декарта. Но в то же время он непременно выполняет и социальную функцию, иначе перед нами не «картезианский» боевик, но разновидность боевика «возмездие» или что-то в этом роде. Таким образом,

Радикальное философское размышление является личным делом субъекта.

«Подготовленность» субъекта, о которой мы говорили выше, служит гарантией возможности проведения определенной особой миссии: эта миссия не связана с теми частными задачами, которые приходилось решать субъекту на подготовительном этапе. Размышляющий субъект на предварительном этапе допускает возможность того, что он разделяет некоторые ложные мнения и суждения: «я ни на минуту не счел бы себя обязанным следовать мнениям других, если бы не предполагал использовать собственную способность суждения [т. е. способность различать ложное от истинного] для их проверки, когда наступит время» (I, 266).

Теперь обратим внимание на то, *что* собственно устраняется и что достигается в результате радикальной акции субъекта, радикального методического сомнения, к которому субъект приступает, уже будучи, так сказать, «профессионалом» в деле разыскания истины. Первое размышление о «первой философии» Декарт начинает так: «Вот уже несколько лет, как я заметил, сколь многие ложные мнения я принимал с раннего детства за истинные и сколь сомнительны положения, выстроенные мною впоследствии на фундаменте этих ложных истин; а из этого следует, что мне необходимо раз и навсегда до основания разрушить постройку и положить в ее основу новые первоначала, если я хочу когда-либо установить в науках что-то прочное и постоянное» (I, 16).

Предметом, который размышляющий субъект должен устранить, «разрушить», являются ложные суждения. Ложные суждения не имеют онтологического права на существование, поскольку само небытие является их источником: «И если мы довольно часто имеем представления, содержащие в себе ложь, то это именно те представления, которые содержат нечто смутное и темное, по той причине, что они причастны небытию» (I, 272). В свою очередь, все то, что есть ясного и отчетливого в наших суждениях, получает свой онтологический статус, санкцию на существование со стороны Бога: «наши идеи или понятия, будучи реальностями и происходя от Бога, в силу этого не могут не быть истинными во всем том, что в них есть ясного и отчетливого» (там же).

Аналогом картезианского Бога в рассматриваемом сюжете является Закон и Общество — два предельных и взаимосвязанных понятия в американском боевике вообще. (Для американского «кино для всех» абсолютно чужд мотив ложности, несправедливости и т. п. Государственно-го Закона. Местные «злоупотребления» власти (шериф-негодяй) всегда оканчиваются явлением подлинной Государственной Власти⁶.) Сообразно этому в рамках «картезианского» боевика право на существование имеет, в конечном счете, лишь то, что санкционировано Законом. Герой, методически уничтожая злодеев, лишь возвращает их в царство небытия, которому они изначально причастны по своей природе (любимое присловье героя фильма *Last Man Standing* (1996) «лучше бы им никогда не родиться»). Таким образом, мы можем дополнить схему картезианского размышления еще двумя моментами:

- Субъект действует методично.
- Субъект лишает видимой реальности то, что по своей природе и так причастно небытию.

Как уже было сказано, важной особенностью «картезианского» боевика является выход Героя за пределы Закона и Общества — не потому, что он преследует личные или групповые интересы, но потому, что только так он может спасти Закон и Общество. Парадокс метафизических размышлений Декарта в том и состоит, что он вводит радикальное сомнение в существовании Бога лишь затем, чтобы в итоге прийти к абсолютной достоверности существования мыслящего субъекта и аподиктическим образом доказать существование Бога. Декарт не просто вводит предположение о несуществовании Бога, но усиливает это сомнение предположением о Боге-обманщике: «Итак, я сделаю допущение, что не всеблагой Бог, источник истины, но какой-то злокозненный гений, очень могущественный и склонный к обману, приложил всю свою изобретательность к тому, чтобы ввести меня в заблуждение» (II, 20). Такова будет и следующая наша функция:

- Субъект выходит за пределы допущения о существовании Бога.
- Субъект не просто размышляет вне этого допущения, но делает и противоположное предположение о Боге-обманщике, который понимается

⁶ В связи с этим любопытную аномалию представляют собой американские фильмы, где зло ассоциировано с высшими институтами власти. Такова, например, президентская власть в «Деле о пеликанах» (1993). Решающим здесь является введение «глобальной проблематики» (в указанном фильме — экологическая проблема), доминирование которой ведет к тому, что национально-государственные формы власти теряют свою исключительную роль.

как сила, по существу враждебная и препятствующая выполнению миссии разыскания достоверной истины.

Как известно, предельной достоверностью для Декарта оказывается существование субъекта, которое с непосредственной достоверностью усматривается в акте мышления (*cogito ergo sum*). Здесь необходимо подчеркнуть, что это именно *акт*, актуально выполняемое мышление: «Я есмь, я существую — это очевидно. Но сколь долго я существую? Столько, сколько я мыслю. Весьма возможно, если у меня прекратится всякая мысль, я сию же минуту полностью уйду в небытие» (II, 23).

Существование Героя на киноэкране во время выполнения его миссии также является лишь актом деятельности, ничем более. Эта деятельность выражена киноязыком мордобоя с подчеркнутой динамикой телесного движения, но это тот язык, на котором воспитан зритель, и именно на этом языке ему понятен акт деяния.

Под тем «я», которое мыслит и существование которого в акте мышления неоспоримо, Декарт понимает не тело — вещь протяженную, но вещь мыслящую, или непротяженную. Мое тело — это ложный двойник меня самого как чистого акта мышления. Если вспомнить те ценностные характеристики, которые имеет тело, плоть в европейской христианской культуре, а также все сложности, связанные с отличием себя от плоти и борьбой с плотскими влечениями, то, возможно, удастся уяснить некоторые аспекты кульминационной битвы Героя с Двойником-антиподом. Но в любом случае

Кульминацией картезианского размышления является утверждение существования субъекта размышления, «я» как вещи мыслящей или непротяженной. Только «я» мыслящее обладает абсолютной достоверностью существования и правом на это существование, в отличие от «я» протяженного (тела размышляющего субъекта).

Некоторые сложности вызывает роль Помощника, действующего заодно с Героем и являющегося символом Общества, состоящего, по большей части, из достаточно заурадных личностей, способности которых намного уступают талантам Героя. Декарт, в свою очередь, отнюдь не рекомендовал практиковать радикальное сомнение каждому встречному-попечечному: «Из того, что мое произведение мне настолько понравилось, что я решился показать здесь его образец, не следует, что я хотел посоветовать кому-либо ему подражать» (I, 258). Однако кое-что общее все же имеется у субъекта радикального метафизического размышления и любого другого рядового субъекта. Это общее есть «естественный свет разума», которым мы все совершенно равным образом наделены. В лице По-

мощника Общество делегирует Герою одного из своих рядовых членов, и Герой тем самым получает санкцию от Общества в целом, несмотря на то, что он может быть лишен санкции Закона. Если естественный свет разума в равной степени присущ всем субъектам, а не только радикально-философствующим, то это означает, что выводы радикального рассуждения совпадали бы с выводом любого рассуждающего субъекта, если бы он был способен предпринять это рассуждение.

«Картезианский» боевик завершается восстановлением исходной сюжетной ситуации. Радикальное сомнение Декарта завершается онтологическим доказательством бытия Бога – ведь Бог является гарантом достоверности любого другого истинного познания: «достоверность всех прочих вещей настолько зависит от этой истины, что без нее ни одна вещь не может быть когда-либо познана в совершенстве». Ни одна... за исключением самого актуального мышления: «когда я говорю, что мы ничего не можем знать достоверно до тех пор, пока не познаем существование Бога, я... говорю только о знании тех заключений, память о которых может к нам вернуться и тогда, когда мы уже больше не обращаем внимания на посыпки, из которых мы их вывели» («Ответ на вторые возражения», II, 113).

Другими словами, Бог необходим нам в тот момент, когда мы переходим от актуального мышления к фиксации его результатов: «И хотя природа моя такова, что, пока я что-то воспринимаю ясно и отчетливо, я не могу не верить, что воспринимаемое мной истинно, тем не менее, поскольку я создан так, что не способен вперять свой умственный взор в один и тот же предмет, чтобы ясно его воспринять, и мне часто приходят на память суждения, вынесенные до того, как я уже забыл о причинах, по которым я раньше пришел к тому или иному выводу, мне могут быть приведены другие доводы, на основе которых я, если бы не знал Бога, легко изменил бы свои первоначальные представления, и таким образом, у меня никогда ни о чем не было бы истинного и достоверного знания, но лишь расплывчатые и переменчивые мнения» (II, 56).

Герой, действующий в рамках боевика, не нуждается в Законе и Государстве в то время, пока он развивает актуальную деятельность. Но как только эта деятельность завершена, именно в этот момент Закон вновь входит в свои права, поскольку только он способен зафиксировать результат, достигнутый Героем (в противном случае Герою пришлось бы бесконечно длить свою акцию). Иными словами,

Бог как гарант достоверности вновь вступает в свои права.

Размышляющий субъект, доказав существование благого Бога, восстанавливает практически в полном объеме всю ту достоверность, которую он имел до начала радикального сомнения: это как достоверность мате-

матических и геометрических истин, так и достоверность существования внешнего мира. В то же время субъект предлагает такое доказательство бытия Бога, которое прошло сквозь горнило наиболее радикального сомнения и отрицания и преодолело его. В итоге выполняется социально значимая миссия радикально размышляющего субъекта и удовлетворяется его личный интерес, поскольку поиск достоверной истины является, как мы уже говорили, личным делом субъекта (в частности, теперь нет никаких сомнений в достоверности и истинности тех научных истин, которые были получены субъектом до начала его радикального размышления). И здесь мы наконец можем вписать две последние функции:

- Субъект удовлетворяет свой личный интерес.
- Субъект восстанавливает свое и социальное *status quo*.

Таким вот примерно образом может быть вскрыто глубинное и далеко не тривиальное содержание одного из продуктов массового кинематографа. В отличие от фильмов с «наивно-философским» содержанием, в которых философы нарочито вложены режиссером и легко узнаваемы, здесь мы имеем дело с философией, вошедшей в «подсознание» современной культуры и не задерживающей взгляда, привыкшего к наивному восприятию мира и никогда не останавливающемуся на «само собой разумеющихся» вещах. Наконец, можно заметить, что отечественная кинопродукция, выходящая в настоящее время под рубрикой «боевик», вообще лишена какой-либо структурной схемы, хотя здесь старательно копируются какие-то характеристики элементов, типичные для разобранной выше структуры (что только усугубляет тягостное впечатление). Как правило, все развитие сюжета мотивируется совершенно произвольно: герой, например, разрешает какие-нибудь личные проблемы или действует на основании своих «внутренних убеждений». В данном случае это лишний раз свидетельствует о том, что отсутствует какая-либо продуманная или традиционно сложившаяся доктрина, позволяющая предложить образец радикально-действующего субъекта.

НАТАЛЬЯ НУСИНОВА

СЕМЬЯ НАРОДОВ

(ОЧЕРК СОВЕТСКОГО КИНО ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ)

История кино, как и история человечества, делится в нашем представлении на периоды, каждый из которых имеет свой устоявшийся имидж, свою печать — символ эпохи, выражающий наше представление о ней. Однако бывают случаи, когда обобщенный образ упрощает действительность, а тем самым и искажает ее. Если речь заходит о советском кино 30-х годов, то не менее, а может быть, и более сильной ассоциацией чем приход звука (об этом вспоминают в первую очередь кинематографисты, и эту тему в данной работе мы рассматривать не будем), становится устоявшееся представление о торжестве примитивного, социально ангажированного и догматического кинематографа «социалистического реализма», пришедшего на смену революционному, авангардистскому искусству 20-х годов. Как всякое общее представление, это справедливо, однако реальная ситуация была сложнее. Интересную концепцию высказывает киновед Майя Туровская, в 1989 году организовавшая первую в СССР ретроспективу «Кино тоталитарной эпохи», изучавшая этот феномен и сама пережившая (хотя и в детстве) 30-е годы: «Как свидетель этого времени (...), я высказываю предположение, что 30-е годы не были конечным продуктом диктатуры и ее “золотым веком”. Что, напротив, это было переходное время, когда революционизм 20-х годов стал переходить в прагматическую, практическую сталинскую диктатуру — “большой террор”, как его называют историки, но быт и культура, пережившие радикальную ломку, все еще сопротивлялись унификации, сохраняя неоднородность, негомогенность, многоукладность, которая практически рухнула после войны, когда и наступила ждановщина. Зато многоукладность 30-х несла в себе возможность для будущей “оттепели”»¹. Это высказыва-

¹ М. Туровская. 30–40-е: «Частный сектор» в эпоху диктатуры // Искусство кино. 1996. № 2. С. 73.

ние проливает свет на процесс эволюции творчества в условиях тоталитаризма от 30-х к 40-м, представляя 30-е как мостик от послереволюционного авангарда к позднему соцреализму эпохи ждановских репрессий, кампании против «космополитизма», дела «врачей-убийц» и «холодной войны». В некотором смысле это предположение развивает мысль, которую однажды высказал в нашей беседе Леонид Захарович Трауберг — свидетель и участник событий истории советского кино на всем ее протяжении, познавший на разных ее этапах и мировую славу, и горечь остракизма. Предостерегая нас от соблазна резкого противопоставления 20-х и 30-х как эпохи авангарда (свободы творчества) и соцреализма (подавления художника режимом), Трауберг сказал, что на самом деле 30-е готовились на всем протяжении 20-х, тоталитарное сознание постепенно вызревало в недрах послереволюционного энтузиазма. Поэтому, говоря о советском кино 30-х годов мы не должны рассматривать это десятилетие обособленно², отрывая его от предшествовавшей ему и последовавшей за ним эпох, но попробуем лишь взять крупным планом этот фрагмент истории и описать основные темы и семантико-мифологические блоки кинопродукции этих лет.

1. Поворот в конце 20-х. Новый завет для кинематографа

С 15 по 21 марта 1928 года в Москве состоялось Первое Всесоюзное партийное совещание по кино. В резолюции, принятой по результатам докладов, прочитанных на этом совещании, помимо пунктов предсказуемых (иначе бы не созывалось такое совещание) — усиление роли партии в кино, повышение «идеологической выдержанности» фильма и т. д., был сделан основной вывод, на наш сегодняшний взгляд, идущий вразрез с политикой социализма. Публикуя по свежим следам киносовещания статью об итогах его работы, журнал «Рабочий и театр» пишет: «Совещание решительно осудило противопоставление идеологии — коммерции, установив неразрывность и необходимость наличия того и другого для успешного развития советской кинематографии»³. Установка на развитие не просто развлекательных жанров, а на откровенно-коммерческое кино была явным ударом по интеллектуалам, создавшим в 20-е годы мировую славу советскому кинематографу, но отдалившие его от зрителя, не желавшего смотреть монтажные шедевры на тему революции с «героем-массой» и без захватывающего сюжета.

² Заметим, что если бы речь шла о 20-х годах в их соотношении с 10-ми, то такой отрыв был бы совершенно закономерен, поскольку все советское искусство, а кинематограф — в первую очередь отвергал «дореволюционное прошлое», строя свой «новый мир» на пустом месте.

³ Партийное киносовещание // Рабочий и театр. 8 апреля 1928. № 15 (186). С. 7.

Ответом на решения партсовещания была дискуссия⁴, развернувшаяся вокруг двух фильмов следующего года: «Новый Вавилон» (Г. Козинцев и Л. Трауберг) или «Танька-трактирщица» (р. Борис Светозаров)? Иногда шедевр проката 1929 года сравнивали с главным шедевром советского интеллектуального кино, и тогда дискуссия называлась: «Броненосец Потемкин» или «Танька-трактирщица»? В обоих случаях это была по сути дела дискуссия о форме — понятной, либо непонятной широкому зрителю.

«Новый Вавилон» и «Танька-трактирщица» предлагали два пути развития советского кино в 30-е годы, на рубеже которых они были сделаны: фильм Козинцева и Трауберга, снятый под влиянием статьи Эйзенштейна об интеллектуальном монтаже — «Четвертое измерение в кино», суперсложно смонтированный, тонкий, с атональной музыкой Шостаковича, предлагал двигаться дальше по пути киноавангарда; фильм Светозарова, ясный, нарративный, с увлекательным, по сути дела, детективным сюжетом, с простыми и понятными героями — указал ту дорогу, по которой советское кино и пошло.

При этом было нечто, что объединяло эти два фильма, и таким образом безоговорочно предвосхищало последующее десятилетие: это тема разрыва человеческих связей, говоря в нашей системе моральных ценностей — тема предательства, возникающая в обеих картинах как итог развития сюжета. В финале «Нового Вавилона» крестьянин-солдат (Петр Соболевский), надеясь купить себе жизнь, роет могилу для своей возлюбленной (Елена Кузмина), которую должны расстрелять враги Парижской Коммуны. Этот самый финал, кстати, и спас создателей авангардистского шедевра, по воспоминаниям Трауберга, обеспечив им неожиданную поддержку РАПП'а в лице одного из его руководителей, писателя Александра Фадеева, выступившего на решающем киносовещании со словами о том, что ФЭКС'ы ступили на правильный путь реализма, показав, что крестьяне разрушили Парижскую Коммуну, и не побоявшись впервые в истории отечественного кино дать трагический финал историческому фильму. Поскольку ситуация была трактована не просто как предательство невесты женихом, а как предательство Парижской Коммуны крестьянами, то вещи назывались своими именами — речь шла именно о предательстве. В фильме Светозарова «Танька-трактирщица» (второе название — «Против отца») героиня, дочка трактирщика, мечтающая стать пионеркой, подслушивает и выдает злодейский замысел отца об убийстве школьного учителя.

⁴ См. об этом: Григорий Козинцев. Глубокий экран. М.: Искусство, 1971. С. 102; Леонид Трауберг. Свежесть бытия // Москва: Киноцентр, 1988. С. 14, а также: «Известия». 25.1.1929; «Кино». М., 27. VII; 8. IX; 10, 17, 24. X. 1929, «Советский экран», М., 1929. № 43.

Заговор предотвращен, отца арестовывают, девочку принимают в пионеры, трактир переоборудуют в советскую чайную. Характерна последняя реплика фильма: «Теперь ты наша» — что значит: ты предала отца земного, и таким образом ты теперь вошла в нашу коллективную семью.

С момента возникновения советского кино его создатели были одержимы идеей создания нового человека, достойного жить в новом, коммунистическом мире, и такой искусственный человек в первую очередь начал создаваться кинематографом⁵. Кинематографист ощутил себя Демиургом, способным сравняться с творцом вселенной, зародить советского кино-гомункулуса⁶, окрестить его в купели атеизма⁷ и выпустить в мир нового календаря от рождества социализма⁸ в качестве персонажа своеобразной советской *commedia dell'arte*⁹. К концу 20-х, как мы видим, эта идея находит свое дальнейшее развитие в разрушении структуры традиционной семьи, в полном замещении личного общественным, и благословение на это святотатство дает кинематограф — отныне официальный преемник церкви, проводник религии тотального атеизма. В этом смысле характерен документ «Итоги и перспективы кинематографии в СССР» 1927 года, написанный в процессе подготовки вышеупомянутого первого партсовещания по кинематографии, обнаруженный российским киноведом Екатериной Хохловой в архиве «Совкино». В этом документе, в частности, говорилось о том, что «кино является главным конкурентом церкви в Советском государстве и главным проводником коммунистических идей»¹⁰. Фильмы с новой моралью, пересматривающей заповеди христианства, волной хлынувшие на экран в 1929 году («Черный парус» Сергея Юткевича — приемная дочь помогает комсомольцам в борьбе с ее

⁵ См. об этом: Noussinova. *Le mythe de la creation de l'homme dans le cinema sovietique*//Cinmatheque, Paris, 1998, № 14. Pp. 117–124.

⁶ См. об этом: Natalia Noussinova. *La femme d'Edison*//Leonid Trauberg et l'excentrisme (sous la direction de Natalia Noussinova)//Yellow Now/STUC; 1993, Pp. 84–97.

⁷ См. об этом: «Le avventure di Ottobrina» ovvero la vita sovietica artefice dei generi cinematografici//La nascita dei generi cinematografici (A cura di Leonardo Quaresima, Alessandra Raengo, Laura Vichi)//Udine, 1999. Pp.435–441.

⁸ См. об этом: Yuri Tsivian. *Tra il vecchio e il nuovo: la cultura cinematografica sovietica negli anni 1918–1924*//Griffithiana, Pordenone, 1996. № 55/56. Pp.14–64.

⁹ См. об этом: *Parola e immagine in «Giocattoli sovietici» di Dziga Vertov*//Scrittura e immagine. *La didascalia nel cinema muto.* (A cura di Francesco Pitassio, Leonardo Quaresima)//Udine, 1998, Pp. 369–381.

¹⁰ Екатерина Хохлова. *Выступление на дискуссии «Кино тоталитарной эпохи»*//«Искусство кино». Москва, 1990. № 1. С. 118.

приемным отцом-кулаком; «В город входить нельзя» Юрия Желябужского — профессор доносит в органы на сына-диверсанта и др.) были как бы ответом на требование партии, проповедью новой, социалистической нравственности, провозглашенной кинематографом.

К рубежу 30-х годов, таким образом, кино готовит модель новых семейных отношений, отказ от традиционной семьи в пользу коллектива, замены личных связей общественными.

2. СССР как семья народов. Евангелие от Иуды

Таким коллективным паллиативом семьи становится, например, трудовая коммуна для беспризорников в первом звуковом фильме «Путевка в жизнь» Николая Экка (1931), ночлежка для бедняков на китайско-советской границе в фильме «Моя родина» (1933) Александра Зархи и Иосифа Хейфица, даже чапаевский отряд из фильма братьев Васильевых «Чапаев» (1934). Однако наиболее характерный пример разрушения традиционной семьи во имя торжества социализма представляет собой фильм Г. Козинцева и Л. Трауберга «Одна» (1931) — снимавшийся как немой, но уже на завершающей стадии съемок по приказу, полученному из Министерства, переделанный в звуковую картину. По сюжету этого фильма молодая учительница, после окончания учебы собиравшаяся выйти замуж за своего жениха и работать в городе, неожиданно получает назначение на Алтай и, не желая быть «дезертиром трудового фронта», жертвует своей личной жизнью и комфортом и соглашается на отъезд. На Севере она вступает в одинокую борьбу с местным кулаком и замаскировавшимся врагом советской власти — председателем сельсовета, а те пытаются погубить ее, заморозив в снегу. Полюбившие учительницу бедняки разыскивают ее и связываются с центром. Врагов наказывают, а за заболевшей учительницей высылают самолет. Действие комментирует бестелесный голос, доносящийся из громкоговорителя (результат насильственной постсинхронизации фильма), который дважды вмешивается в судьбу героини — в первый раз пристыдив ее за нежелание ехать в Сибирь, а во второй — оповестив всю страну о случившейся с ней беде и отправив самолет для ее спасения. Так создается новая система отношений личности и государства — принесение в жертву семейных уз означает обретение советской семьи — в размерах всего государства, над которым витает могущественная сила, некто всезнающий и всевидящий — глава этой огромной семьи, пока что еще не материализовавшийся зрительно, но уже заявивший о себе с помощью главного новаторства начала 30-х — звукового кино.

Сюжетно-мифологическая структура фильма «Одна» оказалась весьма продуктивной для советского кино. В частности, она была очевидно

и неоднократно воспроизведена учеником ФЭКС'ов, актером их школы Сергеем Герасимовым, снявшимся в «Одной» в роли председателя сельсовета, а вскоре вслед за этим перешедшим в режиссуру. В фильме С. Герасимова «Семеро смелых» (1936) речь идет о зимовье комсомольцев-геологов в экспедиции в Арктике — их врач вылетает на самолете на чукотское стойбище, чтобы сделать операцию больному чукче, а те, в свою очередь, спасают жизнь замерзшим в снегах геологам. В фильме «Комсомольск» (1938) Герасимов заменяет Север Дальним Востоком, вместо чукчей рядом с комсомольцами, строящими город в борьбе с дезертирами трудового фронта, оказываются нанайцы; в фильме «Учитель» (1939) ученик Козинцева и Трауберга рассказывает о молодом учителе, после окончания московского института отправившегося нести знания в далекое родное село. Так укрепляется в советском кино миф о романтике комсомольскихстроек, нормальности самопожертвования, вознагражденности за жертву во имя социалистического идеала и взаимозаменяемости личного и общественного — вытеснения биологических семейных уз узами семьи социальной. Постепенно это приводит к отрицанию основных заповедей христианства и подмене их советскими аналогами.

В ходе дискуссии по поводу «Таньки-тракторщицы» на фестивале Госфильмофонда России в 1999 году киновед Леонид Козлов сделал справедливое замечание: «... когда в 35 году в руки Эйзенштейна попал сценарий Ржешевского “Бежин луг”, то Сергей Михайлович не отказал себе в возможности (...) свести счеты с “Танькой-тракторщицей”, переосмыслив тему “против отца”. (...) Интересна в этой связи хронология: история с Павликом Морозовым появилась в 32 году. А успех “Таньки-тракторщицы” выпал на 29 год. Не свидетельствует ли это о том, что массовое сознание было готово для восприятия мифа о Павлике Морозове?»¹¹. Данное замечание представляется очень важным, поскольку позволяет предположить, что влияние кино на психологию масс в начале 30-х годов было настолько велико, что киномиф не только отражал ход исторических событий, но и провоцировал их.

Социальный и нравственный смысл «Бежина луга» — фильма, снятого на основе реального факта, убийства мальчика родственниками за то, что он рассказал в сельсовете о действиях своего отца, продававшего подложные документы беглым кулакам, навсегда останется предметом дискуссии, прежде всего потому, что в марте 1937 года по распоряжению руководства ГУК постановка была прекращена, а материал фильма арестован. Судить

¹¹ «Броненосец Потемкин» или «Танька-тракторщица»? Фрагменты круглого стола. (Материал подготовила Татьяна Моквина-Ященко) // «СК Новости». 1999. № 3 (10). С. 7.

о замысле Эйзенштейна мы можем лишь по реконструкции фильма, сделанной в 1967 году Сергеем Юткевичем и Наумом Клейманом на основе монтажных срезов со всех кадров фильма, сделанных по просьбе Эйзенштейна его монтажницей Эсфирью Тобак и сохранных вдовой режиссера Перой Аташевой. По мнению Наума Клеймана: «Фильм “Бежин луг” меньше всего говорит о том, что дети должны доносить на отцов. Это фильм о том, как мальчик, пришедший из будущего, идеального будущего, будущего без насилия, пытается трижды предотвратить насилие: первый раз — поджог хлебов [кулаки вредители собираются поджечь сельсовет и колхозные хлеба — *Н. Н.*], второй раз — разоблачает поджигателей, третий — когда он вырывает у отца винтовку, из которой отец стрелял в него самого. Это трагедия будущего и трагедия прошлого, которые аннигилируются в классовой борьбе настоящего. Насколько далеко эта философская концепция отошла от ожидавшейся заказчиками пропагандистской ленты, — ясно из судьбы фильма, который можно считать одной из жертв 1937 года»¹².

Перенеся действие фильма с Урала, где происходили реальные события, в среднерусскую равнину и снабдив сценарий цитатами из «Записок охотника» Тургенева, первый сценарист «Бежина луга» Александр Ржевский, создатель и проповедник концепции «эмоционального сценария», пытался смягчить ужасный сюжет, придав ему черты романтического макабра в духе историй про нечистую силу, которые рассказывают друг другу ночью у костра ребятишки, стерегущие лошадей — герои повести Тургенева. В то же время фильм полон богоборческих мотивов (сцена разгрома церкви) и вместе с тем — библейских ассоциаций, выраженных физиогномически — в типажах героев (Бог Саваоф — старец-крестьянин, Богородица — молодая колхозница и т. д.). Развивая библейскую заповедь, отец оправдывает убийство сына апокрифической цитатой: «Когда господь бог наш всевышний сотворил небо, воду и землю и вот таких людей, как мы с тобой, дорогой сынок, он сказал: “Плодитесь и размножайтесь, но если когда родной сын предаст отца своего, — убей его, как собаку”». Характерно, что последним титром фильма становится фраза: «Ребята привели к умирающему Степку врача и начполита» (начполит выступает в роли священника). В этой трактовке получался не фильм о пионергерое, а притча о покаянии Богом-отцом сына, совершившего смертный грех. Неудивительно, что по распоряжению Главного управления по кинематографии производство было остановлено первый раз в 1936 году с требованием пересмотреть концепцию и переснять материал. В постановлении дирекции Мосфильма от 19 июля 1936 года режиссеру предъявлены

¹² Наум Клейман. Выступление на дискуссии «Кино тоталитарной эпохи» // Искусство кино. 1990. № 2. С. 113.

следующие требования: «Ввести в начале 1–2 сцены, дающие конкретную мотивировку перехода отца и других к *прямому и открытому вредительству*», «совершенно отказаться от “тургеневского начала”, “ввиду возможной опасности, что финал может выйти недостаточно оптимистическим, разработать второй вариант, где оставить Степка в живых и т. п.”»¹³. Эйзенштейн привлек к написанию второго варианта сценария Исаака Бабеля, из всех требований категорически отверг лишь последнее и в уста отца-вредителя и сыноубийцы в сцене убийства вложил характерную реплику: «Забрали тебя у папани, да я не отдал. Не отдал своо кровного»¹⁴. Неудивительно, что такая трактовка еще меньше устроила цензоров – теперь сыноубийство выглядело уже даже не как покарание, а почти как акт милосердия, во всяком случае – борьбы за душу сына, которую отец, забирая грех на себя, не отдавал нечистому новой веры. Можно высказать предположение, что «Бежин луг» был закрыт в том числе и потому, что он шел вразрез с генеральной политикой советского кино – разрушения традиционной семьи в пользу торжества коллективного начала. Убивая сына в «Бежином луге», отец не отдал его в советскую семью, ему уже не могли сказать, как когда-то «Таньке-трактирщице»: «Ты теперь наш».

3. Отец народов. Два вождя

К середине 30-х годов, когда в национальном сознании советского человека должна уже была укорениться мысль о доминанте общественного начала над личным (характерна фраза героини из фильма Льва Арнштама «Подруги» (1936), рассказывающей о своей матери – «А она все бастует-бастует, несемейная она у меня») и о том, что родственные связи между детьми и их земными родителями в принципе расторгимы, а высокая цель борьбы за социализм оправдывает предательство, кинематограф должен был заполнить освободившуюся ячейку: в новой социалистической семье-стране, месте обитания homo sovieticus'a, заменившего библейские заповеди социалистической моралью, нужен был новый лидер – отец страны. Реальных отцов у советского отечества было двое: кому из них суждено было стать кинематографическим символом главы державы?

Анализируя фильм Дзиги Вертова «Три песни о Ленине» (1934), Оксана Булгакова отмечает феномен сакрализации образа Ленина в фильме Вертова – его воскрешение: «Мертвый Ленин объявляется самым живым», как и творимые им чудеса: «пустыня становится плодородной, и вода Днепра

¹³ Цитируется по: С. М. Эйзенштейн. Собр. соч. в шести томах. Т. 6. М.: Искусство. 1971. С. 543.

¹⁴ Там же. С. 544.

превращается в свет»¹⁵. На святого молятся и ему поклоняются, однако он не может быть отцом семейства.

Второй, более распространенный вариант трактовки образа Ленина в советском кино, получивший свое распространение в 30-е годы, но укрепившийся в советской кинолениниане на всем протяжении существования советской власти, по-видимому, был задан Эйзенштейном в фильме «Октябрь» (1927). Имеется в виду впоследствии вырезанный при озвучании фильма эпизод, когда Ленин (рабочий Никандров), скрываясь от сыщиков Керенского, пробирается в Смольный с перевязанной щекой — будто бы страдая от зубной боли, а на самом деле — пряча лицо. В этом традиционном для советского кино образе Ленина главной особенностью является его «человечность» — стремление снять вождя пролетариата с пьедестала, не дать превратить его в статую и показать, насколько он был *простым гением, близким народу — живым человеком*. Видимо, именно с этой целью режиссер Сергей Юткевич вводит в свой фильм «Человек с ружьем» (1938) знаменитую сцену душевной беседы солдата Шадрина с великим вождем (Михаил Штраух) в коридорах Смольного. Учитывая особенности внешности Ленина и его дикции, совершенно независимо от воли создателей увековечивающих его шедевров, такой «очеловеченный» кинематографический Ленин напоминал героя американской комедии. Этому способствовало еще и несовершенство техники — убыстренные движения, искаженный голос Ленина — из записей и кадров 20-х годов при воспроизведении их на аппаратуре 30-х (Михаил Ромм. «Ленин в Октябре», сценарий Алексея Каплера, в роли Ленина — Борис Шукин, 1937). К тому же в фильмах Ромма Ленин представлен как потенциальная мишень, как объект агрессии и насилия, что превращает лидера в жертву — за ним охотятся шпионы Временного правительства, его укрывает на своей квартире рабочий Василий, его хочет убить профессиональный убийца Филимонов («Ленин в Октябре»), в него стреляет эсерка Каплан: вождь революции — жертва женщины («Ленин в 1918 году», 1939). Примечательно, что фильм Михаила Ромма, кумира советской интеллигенции эпохи оттепели, направлен против «спецов» — дореволюционной интеллигенции старой формации и оправдывает репрессии в ее адрес: «Нет, Алексей Максимович, мы не были суровы. Вот мне и досталась от интеллигенции — пуля». В 1957 году была выпущена вторая редакция этого фильма, где был купирован эпизод с Бухариным и другие сцены, акцентирующие тему предательства в партийной среде.

Собирательный образ Ленина, который сложился таким образом в советском кино 30-х годов в обоих вариантах — святого (Вертов) или

¹⁵ О. Л. Булгакова. Пространственные фигуры советского кино 30-х годов // Киноведческие Записки. 1996. № 29. С. 54.

смешного картавого человека, объекта насилия врагов, — никак не тянул на роль отца народов — защитника и даже эротического символа.

Сталин, любивший кино и видевший все эти фильмы, не мог хотя бы интуитивно не ощущать внутреннего дискомфорта при мысли, что кинематографисты могут сделать из него такое же посмешище. Роль, отведенная Ленину, наверняка его удовлетворяла, поскольку оставляла место лидера ему самому — недаром в фильме Михаила Чиаурели «Великое зарево» (1938), делавшемся, как и все фильмы этого режиссера, под непосредственным контролем Сталина, происходит уже окончательное измельчание образа Ленина. Он не может шагу шагнуть без помощи своего преемника. Сталин — его правая рука. Сталин следит за точностью публикаций его текстов. И фактически Сталин выдвигается на первый план, будучи как бы защитником и опекуном Ленина — то есть сильным покровителем. Он говорит, например, сотруднику «Правды»: «Пока партия доверяет мне служить в “Правде”, Ленина искажать, знаете ли, никому не удастся». В 40-е годы летописец Сталина Михаил Чиаурели («Клятва» — 1946, «Падение Берлина» — 1949 и др.) создал особый миф для своего заказчика, блестяще описанный Андре Базеном в его известной статье «Миф Сталина в Советском кино»¹⁶.

Но пока, в 30-е годы, Сталин еще только присматривался к своему будущему экранному образу и выбирал для него создателя. Существует версия, согласно которой он видел в этой роли первого режиссера страны, и посещение Кремля Эйзенштейном, Александровым и Тиссе после завершения ими работы над «Генеральной Линией» в 1929 году было связано не только с обсуждением предстоящей кинематографистам зарубежной поездки, как полагали приглашенные, но было задумано Сталиным в качестве кинопробы — как выяснилось, неудавшейся¹⁷.

Летописец и актер-исполнитель роли Сталина при его жизни нужен был потому, что сам Сталин сниматься не любил — в отличие, скажем, от Гитлера, постоянно появлявшегося в немецкой хронике. Сравнивая эти два феномена, Майя Туровская задает вопрос и сама же на него отвечает: «Почему в немецком кино Гитлер исполнял роль самого себя, если можно так сказать, без дублера? Носят ли эти различия частный или же идеологический характер? (...) Гитлер должен был «продавать» свой «образ», летая иногда из города в город на несколько митингов в день, чего Сталину, выдвинутому партийным аппаратом, делать никогда не приходилось. Гитлер сам назвал себя «барabanщиком революции», в то время как Сталин

¹⁶ Esprit, juillet-aot 1950.

¹⁷ Эпизод, рассказанный Наумом Клейманом в телепередаче «Неизвестный Эйзенштейн».

был ее «серым кардиналом»¹⁸. Иными словами — диктатор в демократическом обществе для прихода к власти нуждается в рекламе, в социалистическом же обществе он просто навязывается народу и реклама ему не нужна. К этому вполне справедливому соображению можно добавить лишь один нюанс — конкурентом Сталина в народном сознании был Ленин. Для создания культа личности недостаточно быть навязанным народу, надо суметь стать его кумиром. Сталин нуждался в рекламе, но хотел сделать ее по-своему: скорее всего, в глубине души он отдавал себе отчет в том, что его экранный образ при документальной съемке (внешность, акцент) может сработать против него, а к выбору кинематографистов-создателей киносталинианы относился с большим вниманием, наверняка учитывая печальный опыт с экранным Лениным. Во всех случаях съемки Сталина были редкими, и «Колыбельная» Вертова (1937) — это уникальный фильм о Сталине, где он сам представляет себя в монтаже документальных кадров.

В 1936 году Сталин объявил, что социализм в СССР «в основном построен». Вероятно, именно по этой причине на смену песенки из «Одной» — «какая хорошая будет жизнь», в «Колыбельной» рефреном слышатся другие слова, которые поют по всей стране женщины, баюкающие своих дочерей: «Спи, моя крошечка, спи, моя дочь, мы победили и холод, и ночь» — хорошая жизнь уже настала. Кроме того, 27 июня 1936 года Советом Народных комиссаров был ратифицирован закон о запрете аборт — потому мы видим сеть детских садов, ясель, школ, которые разрастаются по всей огромной стране (Туркмения, Узбекистан, Якутия, Россия), где счастливые женщины рожают дочерей и поют им песни о счастье. Вот учительница учит маленькую узбечку игре на фортепиано. Вот поет школьный хор девочек — они поют в унисон под руководством женщины-дирижера. Женщины прыгают с парашютом, управляют трактором, бодро маршируют на спортивных парадах под бравурную мелодию, прославляющую их страну. Постепенно пространство фильма сжимается и действие смещается к его центру — это мать даст дочери книгу и велит ей идти туда, куда ведет эта книга, — в город, где живет «мудрейший из мудрых и справедливейший из справедливых». Она указывает дочери дорогу и мы видим Москву, Кремль, Дворец съездов и Сталина на трибуне. В этот момент мы начинаем понимать, кто отец этого огромного семейства, кто оплодотворил огромный гарем из счастливых и плодovitых женщин, потому что Сталин — единственный мужчина в диегезисе фильма, не считая смущенно опускающего глаза и стоящего в стороне Ворошилова, и, начиная с этого момента, он появляется только в окружении женщин, и каждое такое появ-

¹⁸ Майя Туровская. Кино тоталитарной эпохи // «Кино: политика и люди. 30-е годы». М.: Материк. 1995. С. 36.

ление сменяется кадром нового ребенка — новой девочки. «Отец народов» в метафорике фильма Вертова становится как бы физическим отцом народа своей страны. Под «в основном построенном социализмом» мифология кинематографа 30-х годов подразумевает новую модель социалистической семьи, символом которой становится кино сталинской эпохи.

4. Веселье в доме. Музыкальная комедия

Отец семейства лично принял решение о том, что его народ должен веселиться, поскольку смех — важный психологический фактор в эпоху строительства социализма и Гулагов. Григорий Александров вспоминает в своих мемуарах о том, как вождь приказал ему создание жанра советской комедии: «Сразу же по возвращении на Родину [после поездки за границу с Эйзенштейном и Тиссе. — *Н. Н.*] меня в августе 1932 года пригласил побывать у него в Горках Алексей Максимович Горький. На даче у Горького был в тот день [случайно?! — *Н. Н.*] И. В. Сталин»¹⁹. Александров вспоминает, что он принялся рассказывать Сталину о своих дорожных впечатлениях и о смонтированном им фильме о выполнении в СССР пятилетнего плана по индустриализации страны. «Сталин с интересом, не перебивая, слушал меня»²⁰, но затем предложил бывшему ассистенту Эйзенштейна, насмотревшемуся на голливудское кинопроизводство и полному желания стать самостоятельной творческой единицей, — другое амплуа: «Искусство, по-моему, задержалось во вчерашнем дне. Известно, что народ любит бодрое, жизнерадостное искусство, а вы не желаете с этим считаться. (...) Алексей Максимович, — обратился он к Горькому, — если вы не против веселого, смешного, помогите расшевелить талантливых литераторов, мастеров смеха в искусстве»²¹. Разговор быстро перешел в форму официальной директивы. «Осенью 1932 года состоялось киносовещание, на котором были сценаристы и режиссеры кино. Нам было сказано, что кинозрители в своих письмах требуют звуковых комедий, которых на наших экранах почти нет. Говорилось и о том, что звуковые фильмы музыкального жанра должны вытеснить старые развлекательные комедии, прийти на смену оставленным нам в наследство царским строем бессодержательным фарсам. Музыка и песни этих новых советских картин должны заменить «жесткие романсы» и бульварно-блатные песни, еще бытующие в нашем обществе. (...) Это был новый социальный заказ»²².

¹⁹ Александров Г. В. Эпоха и кино. М., 1983. С. 180.

²⁰ Там же. С. 181.

²¹ Там же. С. 181.

²² Там же. С. 193.

Заказ был принят незамедлительно, и уже через два года в СССР стали появляться первые музыкальные комедии. В 1934 году выходит «Гармонь» режиссера Игоря Савченко, фильм, соединивший в себе элементы фольклорной традиции и сатиры, и в том же году, но чуть позже заказ вождя начинает выполнять Григорий Александров. Его первая (и лучшая) музыкальная комедия «Веселые ребята», снятая с участием джазового ансамбля Леонида Утесова, определена как новый жанр: «джаз-комедия». Музыка к фильму пишет композитор Дунаевский, тексты песен — Лебедев-Кумач, в главной роли снимается опереточная актриса, в будущем — звезда советского кино, прославившаяся в комедиях Александрова, его жена Любовь Орлова. Заказчик остался доволен — после просмотра только что отснятого и еще даже не вполне законченного фильма Сталин сказал: «Хорошо! Я будто месяц пробыл в отпуске»²³ — и эта резолюция определила всю дальнейшую судьбу новой кинематографической пары. Раз в два года Александров выпускает новые комедии: «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938), «Светлый путь» (1940) — бодрые, веселые, бравурные. Знаменитый марш из «Веселых ребят» — «Нам песня строить и жить помогает» — становится девизом творчества и жизни Александрова и Орловой. Ничто не омрачает их оптимизм — ни сгущение социальной обстановки, ни даже аресты близких им людей. Как отмечает биограф, лично знавший звездное семейство: «Арест Володи [Владимира Нильсена, известного кинооператора. — *Н. Н.*] Нильсена, близкого и любимого человека, приложившего свою талантливую операторскую руку к успеху и “Веселых ребят”, и “Цирка”, и успевшего уже снять несколько больших эпизодов для “Волги-Волги”, вызвал у наших героев разве что минутную растерянность. Но не более, чем минутную. На вопрос ассистента: “Не отменить ли съемку?” Александров спокойно ответил: “Зачем отменять? Снимать будет Петров (второй оператор). И в этот раз, и потом”. И больше разговоров о Нильсене не было ни на съемках, ни дома»²⁴. Самое точное определение для конформизма такого типа это «советский американизм» — дежурная улыбка и «все ОК» в любой жизненной ситуации. Время, проведенное с Эйзенштейном в Голливуде, не прошло для Александрова даром — по сути дела созданный им жанр, это не что иное, как перенесение на советскую почву американского мюзикла. Под стандарты классической голливудской звезды стилизована и внешность Любови Орловой, по требованию мужа, с самого начала их совместной деятельности перекрасившая волосы и ставшая блондинкой, нестареющая обладательница идеальной фигуры. В фильме «Цирк» все действие строится на оппозиции Америки (страны расизма и социальной несправедливости) и СССР (страны,

²³ Там же. С. 217.

²⁴ Марк Кушников. Светлый путь, или Чарли и Спенсер. М., 1998. С. 162.

где, как поют в этом фильме, «человек проходит, как хозяин необъятной родины своей»), но при этом музыкальные шоу из «Цирка» прямо копируют голливудские образцы. Образ жизни Орловой и Александра — санатории Крыма, путешествия, приемы, наряды, так же, как и стиль их отношений — церемонное «Вы» на протяжении всей супружеской жизни, становится достоянием общественности и фактом масс-медиа также по образцу голливудских звезд. И неважно, что героиня Орловой в советском кино обязана быть домработницей или почтальоншей, все равно, как в сказке о Золушке, ее ждет успех и счастливые перемены в жизни.

Второй тип советской музыкальной комедии формируется к концу 30-х годов в фильмах Ивана Пырьева («Богатая невеста», 1938; «Трактористы», 1939), также пользующихся большим успехом. Здесь, напротив, широко используются фольклорные мотивы, музыка представлена не шлягерами, а хорами (женский и мужской), по своей мифологии эти фильмы напоминают русскую народную сказку. Как отмечает в своей статье о морфологии фильмов Пырьева Майя Туровская²⁵, сюжеты всех этих лент сводятся, по сути дела, к одному и тому же — к теме свадьбы героев, а все предыдущее действие лишь оттягивает хеппи-энд (прием ретардации). Как правило, герой и героиня соревнуются между собой в труде, этим самым подогревая взаимный интерес друг к другу и привлекая к себе внимание всей страны, заинтересованной результатами их труда, что является, по точному выражению Майи Туровской, реализацией советского официального термина оксюморона «знатная свинарка». Образ СССР в фильмах Пырьева — это страна рубенсовского изобилия, где единственная проблема — это потребность трудиться еще лучше, завоевать своим трудом своего избранника и добиться личного счастья.

Выполняя сталинский заказ на создание веселых фильмов, советские комедиографы оказываются главными пропагандистами политики 30-х годов — их кино пользуется огромным успехом, миф о действительности сливается с самой действительностью так тесно, что советский человек уже не понимает, где кончается одно и начинается другое, и в самом деле чувствует себя хозяином своей страны.

5. Народный герой. Трилогия о Максиме

Мифология тоталитаризма включает в себя как неперемный компонент наличие народного героя — эталона, с которым может себя соотнести каждый. При всей популярности «Чапаева», герой братьев Васильевых на такую

²⁵ Майя Туровская. И. А. Пырьев и его музыкальные комедии. К проблеме жанра // Киноведческие Записки. 1988. № 1. С. 111–146.

роль не годился — хотя Василий Иванович и подкупал рядового зрителя простотой и безграмотностью, однако отождествлять себя с полководцем обыватель не может. Еще меньше для этой роли годились русские князья и цари, даже великие реформаторы и спасители отчества («Александр Невский» — 1938, реж. С.Эйзенштейн, «Петр Первый» — 2 серии, 1937–1938, реж. Петров). Герой стилизованно-фольклорный, такой как Хмырь из «Счастья» Медведкина, не годился тем более — это был человек из старого времени, к тому же — нерадивый, а что самое страшное для советского сознания — желающий разбогатеть. Неслучайно фильм Медведкина был запрещен к показу. Однако утопический «человек будущего» — спортсмен и комсомолец Гриша из «Строгого юноши» (1935) Абрама Роома по сценарию Юрия Олеси также не понравился сталинским цензорам — фильм был также категорически не принят. В чем дело? Киновед Евгений Марголит объясняет этот факт следующим образом: «По-видимому, одной из главнейших причин оказалась здесь откровенная условность образа будущего, в то время как для официального сознания именно это “светлое будущее” абсолютно безусловно, в отличие от настоящего, которое именно по этой причине не заслуживает внимания: его проблемы принадлежат прошлому и поэтому, естественно, остаются вне поля зрения советского кинематографа. Будущее не должно быть предметом для обсуждения, то есть объектом интерпретации. Оно едино для всех»²⁶. К этому можно было бы прибавить, что цензоры интуитивно почувствовали если не антисоветскость Олеси, бывшего сценаристом «Строгого юноши», то во всяком случае — полную «несоветскость» духа этой картины, пародийность образа главного героя — утопического комсомольца, будто сошедшего со страниц романа Оруэлла, наделенного внешностью Зигфрида из «Нибелунгов» и инфантильностью девственника, томящегося от влечения к зрелой женщине.

Нужен был человек из народа — всем понятный и всеми любимый, и в то же время способный перевернуть мир с ног на голову. Как пели в комедии Александрова, «Когда страна прикажет стать героем, у нас героем становится любой». Нужен такой герой, вышедший из массы, с которым каждый человек мог бы отождествить себя. Таким героем стал легендарный Максим из знаменитой трилогии Козинцева и Трауберга. На первый взгляд, составляющие эту трилогию фильмы («Юность Максима» — 1935, «Возвращение Максима» — 1937, «Выборгская сторона» — 1939) сделаны почти примитивно просто, на самом деле внешняя простота обманчива. На примере этих ключевых для эпохи лент, построенных по принципу сериалов из раннего кино, действие которых перенесено на совет-

²⁶ Евгений Марголит. Будем считать, что такого фильма никогда не было // Кино: политика и люди. 30-е годы // Цит. соч. С. 151.

скую почву, становятся более понятными многие механизмы конструкции и функционирования советских фильмов 30-х годов.

С самого начала своей работы в кино Козинцев и Трауберг увлекались сериалами. «Тайны Нью-Йорка», «Вампиры», «Фантомас» и «Жюдекс» были их школой, источником вдохновения и прародителями их ранних фильмов – «Женщины Эдисона» (неосуществленной первой серии – 1922) и «Похождений Октябрины» (осуществленной второй – 1925). Затем страсть фэкссов к приключенческому сериалу, казалось бы, поутихла, лишь отзвуками напоминая о себе в «Чертовом колесе», «СВД» или в «Одной». И вдруг она возродилась в трилогии о Максиме. Источник использовался авторами вполне осознанно. В книге «Глубокий экран» Г. М. Козинцев писал: «Форма многосерийного фильма была нами выбрана не только потому, что материал был обширен и не вмещался в одну картину. Другие соображения являлись не менее важными: уж больно хотелось пустить гулять по экрану героя, новых похождений которого стали бы с нетерпением ожидать молодые кинозрители.

Эйзенштейн (знаток жанра!) очень радовался, узнав, что вторая серия называется, согласно всем канонам, «Возвращением Максима»²⁷. Л. З. Трауберг рассказывал (в одном из наших интервью. – *Н. Н.*), что это название фактически и примирило Эйзенштейна с не понравившейся ему в целом «трилогией», поскольку оно прямо указывало на источник апелляции («Воскресший Рокамболь», «Возвращение Шерлока Холмса» и т. д.).

Подобное решение, однако, было найдено авторами не сразу. В апреле 1933 года Козинцев и Трауберг предложили на рассмотрение в РОССАРПК («Российская ассоциация работников революционной кинематографии») сценарий односерийного фильма «Большевик». Сценарий не пропустили, Эраста Гарина, который должен был играть главную роль большевика по фамилии Гарин, заняли в театре, а режиссеры между тем упорно и безнадёжно продолжали репетировать сцены неразрешенного к постановке фильма. За отсутствующего партнера текст проговаривал исполнитель роли его товарища, Демы, молодой актер из Театра юных зрителей, дебютировавший у фэкссов в эпизоде в фильме «Одна» и затем, уже в довольно значительной роли, в незавершенной картине «Путешествие в СССР». Когда появилась реальная возможность съемок, казавшаяся трудноразрешимой проблема – кем заменить отсутствующего Гарина, вдруг решила сама собой. Чирков органически вошел в картину. Смена имиджа исполнителя главной роли повлекла за собой изменение образа героя – он приобрел черты фольклорного персонажа, обманчиво простоватого и хитроумного, веселого и всемогущего, шутя побеждающего врагов и всюю распеваше-

²⁷ Козинцев Г. Глубокий экран. М., 1971. С. 173.

го куплеты получившей с его легкой руки необыкновенную популярность песенки «Крутится, вертится шар голубой». Иванушка-дурачок, сроднившийся с Тилем Уленшпигелем (именно так комментировал Козинцев петушиный крик, которым Максим возвещал о своем появлении на экране). А отсюда — намеренное упрощение структуры сюжета, сознательный отказ от психологической сложности, ориентация на лубок, притчу, и, в первую очередь, на бульварную приключенческую литературу. Недаром герой Чиркова, еще в «Путешествии в СССР» зачитывавшийся «Детьми капитана Гранта», в «Максиме» заявляет во всеулышание о своей любви к «Антону Кречету», а авторы наотрез не соглашаются с данным Пудовкиным определением «Юности Максима» как «лирической драмы». Это, скорее, первая серия приключенческого киносериала, жанр, начало которому в советском кино положили фэкссы и Перестиани и которому суждено будет впоследствии получить бóльшую популярность у зрителя чем простой агитке, второму жанровому зародышу советского классического фильма.

Для Козинцева и Трауберга, вчерашних авангардистов, за четыре года до горячо любимого народом примитивного «Максима» сделавших один из самых сложных в истории нашего кино с точки зрения языка, наррации и монтажной структуры фильм «Новый Вавилон», категорически не принятый современным ему массовым зрителем, это было не отступление и не отречение, а скорее, возвращение к собственным истокам. По-видимому, авторы вспомнили здесь народную притчу о царе Максимилиане (возможно, давшем свое имя в сокращенной форме герою Чиркова), которую ставил в юности Козинцев в театре у Марджанова, и приключенческие сериалы, которыми упивались Трауберг и Эйзенштейн и из которых выросла Октябрьина.

В «Максиме» чувствуется все то же неприятие «психоложества»... «драматического театра» (выражение Г. Козинцева), которое возвели в ранг своего главного эстетического принципа молодые эксцентрики в начале 20-х годов. С той лишь разницей, что теперь этот принцип был сформулирован более литературно: «Мы избегали всего сколько-нибудь психологически сложного» («Глубокий экран». С. 175.). Поэтому попытка советского биографа фэкссов Е. Добина «оправдать» режиссеров, добавив психологической насыщенности их трилогии, вступает в противоречие с авторской установкой и отражает, скорее, дух начала шестидесятых годов, когда была написана его монография и когда на смену примитивизму тоталитарной эпохи пришел наивный психологизм искусства периода оттепели: «Многие кадры «Юности» и «Возвращения», где речь идет о глубоких переживаниях Максима, связаны со зрительным образом колеблющегося, тусклого света фонаря. Друзья горюют о безвременной смерти Андрея. В глухом переулке прощается Максим с Наташей. Приходит весть об осуждении

Наташи военно-полевым судом. Свою первую революционную речь Максим произносит с фонаря»²⁸. Точно подмеченный Е. Добиним мотив, многократно повторяющийся в трилогии, связан, скорее всего, с любовью авторов к эстетике экспрессионизма, которой они отдали дань, в первую очередь, во время работы над фильмом «Шинель». Игра света и тени, мерцающие блики фонаря, напоминая о немецких фильмах 20-х годов и странно сочетающиеся с подчеркнуто реалистическим языком трилогии, стали, по-видимому, к этому времени неотъемлемой частью авторского стиля оператора А. Москвина, так же как рисованные задники и декорации среди пустырей рабочих окраин выдают стиль художника Е. Энея.

В целом повествовательная структура трилогии вступает в противоречие с установкой на приключенческий фильм. Действие развивается неторопливо, фильм смонтирован из длинных монтажных фраз, титры не информативны, а скорее призваны задать повествованию притчево-сказительный тон («Жили в Санкт-Петербурге, за Нарвской заставой, три товарища»), порой титры наделены легко прочитывающимися апелляциями к другой известной трилогии — Максима Горького, по-видимому, еще одного крестного Максима — героя фэксов. («И перед Максимом открылась дорога в люди», «И Максим попал в Университет» — сравним название биографических романов Горького: «В людях», «Мои Университеты»). Постоянный со времен «Нового Вавилона» композитор Козинцев и Трауберга Дмитрий Шостакович ограничился в данном случае лишь симфоническим прологом к первому фильму, в остальном звуковая дорожка заполнена реалистически-иллюстративными шумами, смонтированными главным образом по контрасту резких переходов от громкого звука к тишине, песнями — от революционных гимнов до шлягеров и шансонеток, а также безостановочной речью героев. От серии к серии фильм становится все более разговорчивым, вплоть до диспута в Государственной Думе («Возвращение Максима») и до судебных речей («Выборгская сторона»), постепенно слово все больше вымещает собой действие. Формально главным героем трех фильмов является Максим. Мы следим за судьбой петербургского рабочего паренька, начиная с 1910 года. После того, как его заводской товарищ Андрей погибает по вине мастера, Максим связывается с подпольщиками через учительницу воскресной школы Наташу, начинает ей помогать в революционной деятельности, вместе со своим вторым другом Демой, попадает в тюрьму, затем, после расстрела Демы сам становится профессиональным революционером, переходит на нелегальное положение и уезжает выполнять задание партячейки. Действие второй серии относится уже к 1914 году, когда партия большевиков, не получившая влияния в Думе, решает укре-

²⁸ Добин Е. Козинцев и Трауберг. М.; Л., 1963.

плять свои позиции на бастующих заводах, для чего в стачком посылают молодого большевика Максима, вернувшегося из ссылки. По поручению стачкома, Максим узнает, куда передан военный заказ, но в ходе выполнения задания получает ранение от руки врага. Начинается Первая мировая война. Оправившийся от ранения Максим отправляется на фронт с новым заданием – вести партийную агитацию среди солдат. В третьей серии мы встречаем Максима в первые послереволюционные годы в роли Комиссара Госбанка, когда он, борясь с врагами и саботажниками и не зная банковского дела, почти без помощников, составляет первый бюджет советского государства. С помощью солдатки Евдокии, от отчаяния и нужды принявшей участие в разгроме винных складов, но оправданной революционным судом, Максим разоблачает и задерживает группу офицеров, намеревавшихся убить Ленина в день открытия Учредительного собрания. После этого он вновь уходит на фронт.

Если внимательно присмотреться к сюжетной структуре, станет очевидным, что движущей силой, субъектом действия трилогии является не Максим, а Наташа. Она втягивает героя в революционную борьбу и обучает его правилам конспирации, она руководит демонстрацией и возглавляет суд, организует сбор хлеба в деревне и занимает место комиссара Госбанка после ухода Максима на фронт. И тематически (защита Госбанка) и ситуационно (героиня-лидер) это напоминает Октябрину, героиню первого фэковского сериала, по-видимому, навеянную образами Пирл Уайт из «Опасностей Полины» и «Подвигов Елены». Так создается ситуация матриархата, которой суждено будет укорениться в советском кино в фильмах военного десятилетия и откристаллизоваться в образе героини Веры Марецкой («Член правительства», 1940, реж. А. Зархи, И. Хейфиц – «Она защищает родину», 1943, реж. Ф. Эрмлер).

Первый просмотр «Юности Максима» на Ленфильме предвещал если не запрет фильма, то уж по крайней мере отсутствие каких бы то ни было продолжений. Максима противопоставляли Чапаеву как недостижимому идеалу. Судьбу картины, да и ее создателей решил просмотр первой серии на квартире у Сталина, состоявшийся в середине декабря 1934 года, и слова Хозяина, по воспоминаниям Л. З. Трауберга, произнесенные со стаканом чая в руках, но имевшие силу приговора: «Максим хорош! Хорош Максим!»²⁹. Трилогия о Максиме была утверждена в ранге классики советского кино, а ее огромный успех превратил Максима в представлении зрителей из героя фильма в почти реального персонажа истории – казалось, он живет по соседству, обладает всеми человеческими слабостями и огромной силой, переживает все то же, что все, и каждый может стать таким же, как он.

²⁹ Л. Трауберг. Он был похож на самого себя // Борис Чирков. М., 1994. С. 135.

6. Враг не дремлет

Как уже отмечалось в начале статьи, образы врагов советской власти не были изобретением 30-х годов — мы видели их «звериный оскал» и в фильмах предыдущего десятилетия. Обычно в 20-е годы враги оказывались диверсантами или же белоэмигрантами, вернувшимися на родину, чтобы изнутри подорвать новый режим. В 30-е годы также проникли диверсанты (например, в фильме К. Юдина «Девушка с характером», 1939, юная героиня между делом ловит и обезвреживает одного из них), но чаще в фильмах этого десятилетия враг тем и коварен, что хорошо маскируется. Каждый должен знать, что враги повсюду, и каждый советский человек должен быть бдительным, охраняя свою социальную семью и жертвуя семьей биологической, внимательно присматриваясь к окружающим. Как писала в своей статье о мифологии советского фильма 30-х годов киновед Лилия Маматова: «Простой человек в конце концов прозревает, чтобы обнаружить вредителя в коллеге, в приятеле, в собственном сыне (“Родина” — Николай Шенгелая, 1939), в жене (“Две встречи” — Яков Уринов, 1932), в муже. Сообразительная Варвара, услышав от мужа первую же критическую фразу о колхозе, тут же вскакивает с супружеского ложа, озаренная догадкой (“Крестьяне” — Фридрих Эрмлер, 1934). А вот медлительная Анна направляет пистолет в грудь упавшему на колени мужу только после многодневного, индивидуально проведенного ею расследования (“Партийный билет” — Иван Пырьев, 1936). [...] Не надо думать, что вредитель — быстрый и ловкий атлет, хорошо владеющий оружием. В деревне злодей прячется в облике флегматичного счетовода, худенького пожилого бухгалтера в очках, печального заведующего свинофермой, играющего на дудке, престарелого конюха (...). Лютую ненависть к советскому строю они вымещают чаще всего на колхозных животных, намеренно не заготавливая свиньям корм на зиму в русской деревне (“Крестьяне”) или пряча сыворотку, чтобы не лечить заболевший скот в горах Армении (“Нерушимая дружба” — Патвакан Бархударян, 1939)»³⁰. Однако к концу десятилетия все сильнее звучит тема предательства в партийной среде, по-видимому, особенно необходимая властям для подготовки народного сознания к оправданию партийных чисток и репрессий. Своей кульминации развитие этой темы достигает в фильме «Великий гражданин» (1 серия — 1938, 2 серия — 1939, реж. Фридрих Эрмлер), посвященному истории убийства С. Кирова (по фильму — Шахов). Действие дилогии Эрмлера, получившей определение историков как «разговорный кинематограф» (речи и соб-

³⁰ Лилия Маматова. Модель киномифов 30-х годов // Кино: политика и люди. 30-е годы. Цит. соч. С. 63.

рания составляют огромный процент экранного времени), начинается в 1925 году и развивается на протяжении целого десятилетия. Мы оказываемся свидетелями деятельности и партийного роста известного большевика, его борьбы с врагами и вредителями и в конце — его убийства контрреволюционерами. В 1941 году эта картина была награждена Сталинской премией 2 степени, поскольку была особенно необходима Сталину — Киров, по всей вероятности, был убит по приказу Сталина, и это убийство положило начало коллективным репрессиям, но представить его надо было как результат деятельности врагов революции.

К концу 30-х годов положение в кинематографии берется под особый партийный контроль. В 1938 году глава советского кино Борис Шумятский был обвинен во вредительстве и расстрелян, на его место был поставлен Семен Дукельский. Вскоре (4 июня 1939 года) он был освобожден от занимаемой должности «согласно его просьбе», и Председателем Комитета по делам кинематографии при СНК (Совете Народных Комиссаров СССР) был назначен Иван Большаков. В жизни кинематографистов намечались серьезные перемены. Как отмечают в своей работе историки кино Ольга Юмашева и Илья Лепихов: «В сентябре 1940 года на волне осуждения фильма «Закон жизни» были закрыты работы по ряду картин на всех кинофабриках страны. Спустя еще полгода, в марте 1941 года секретарь ЦК ВКП (б) по идеологии А. А. Жданов публично высказал желание встретиться с кинематографистами: “Мы тут страдаем за каждую картину, болем, обсуждаем каждую картину, как поправить то, что является непоправимым. (...) [Режиссеры] очень оторваны от нашей жизни, от народа [...] Я считаю, что нужно созвать в Центральном Комитете работников кино [...], нужно выяснить, как ведется среди них политвоспитание, кто их там воспитывает, кто их направляет”»³¹. Центральный Комитет Коммунистической Партии в конце предвоенного десятилетия берет на себя личный труд воспитывать и направлять неразумных детей-кинематографистов, указывая им правильный путь в искусстве. Кто знает, какие бы плоды дало это воспитание, если бы через три месяца после выступления Жданова Гитлер не напал на Советский Союз.

³¹ Юмашева О. Г., Лепихов И. А. Феномен «тотального либерализма» (Опыт реформы советской кинематографии, 1939–1941 гг.) // Киноведческие Записки. 1993/4. № 20. С. 125.

ТАТЬЯНА ДАШКОВА

ВИЗУАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖЕНСКОГО ТЕЛА В СОВЕТСКОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ 30-х ГОДОВ

1. Женское тело: способы репрезентации (Опыт разглядывания журналов 30-х годов)

1.1. Язык тела: «считывание»

Журналы начала 30-х годов удивляют тем, что в них обнаруживается сосуществование двух совершенно противоположных друг другу *типов женской телесности*, которые весьма условно можно назвать «рабоче-крестьянский тип» и «артистический тип». Каждый из них репрезентировался определенным типом журналов, у которых были *свои* задачи и *свои* читатели. Так, «артистический тип» был представлен в журналах по театру, кино и в журналах мод¹ («*Искусство кино*», «*Домашняя портниха*» и, особенно, «*Искусство одеваться*»). Это тип утонченной, чуть манерной кинозвезды западного образца: немного утомленное лицо с тонкими выразительными чертами, большие печальные глаза, тонкие брови (иногда закрытые челкой) и ярко накрашенные четко очерченные губы. Это худенькие хрупкие женщины с подчеркнуто «плоскими» фигурами, коротко стриженными головками² на длинных шеях, черными гладкими волосами с челкой или

¹ Последние практически закончили свое существование к началу 30-х гг.

² Мода на короткие волосы, начавшаяся в 1924–25 годах, приняла столь «устрашающие» масштабы, что в журналах время от времени начали появляться «реплики» в защиту кос. В основном — это сообщения о проходивших на западе конкурсах длинных волос. победительницы которых получали огромные премии — и дискуссии о длине волос отечественных гигиенистов. См. «*Искус-*

на косой пробор. Поскольку этот тип мы можем наблюдать по фильмам, журналам мод и киножурналам³, ясно, что одежда «моделей» соответствовала последней моде. Для конца 20-х – самого начала 30-х – прямоугольный «плоский» силуэт («женщина-дощечка»), иногда – одежда, чуть расклешенная книзу. Длина – до середины – или чуть за колено, открытые стройные ноги и туфли на каблуках⁴. Этот тип активно пропагандировался театром и кинематографом указанного периода, а после окончания выпуска журналов мод (начало 30-х) – остался только на сцене, экране и в «артистических» журналах.

В середине 30-х привлекательную женщину («артистического типа») стало трудно встретить и в киножурналах. Некоторое время ситуация компенсировалась за счет «фильмов о циркачках», которыми был заполнен экран конца 20-х – начала 30-х, но против них началась журнальная кампания, после чего ситуация «рассосалась»⁵. Реликтом и достойным завершением этой темы стал знаменитый фильм «Цирк» (1936), где «циркачка» превращается в «простую советскую женщину». Кроме того, мой опыт просматривания киножурналов этих лет показал, что, если при просмотре взгляд останавливается на фотографии сексапильной⁶ женщи-

ство одеваться». 1928. № 4, № 6. (Гигиенисты сошлись на том, что короткие волосы гигиеничнее, если их вовремя мыть и не красить низкосортными красками).

³ Отметим, что в 30-е гг. (впрочем, как и сейчас) наиболее модными женщинами были актрисы. Кроме того, в те годы они часто являлись «живой рекламой» новейших моделей одежды (см. многочисленные фотографии актрис в кн.: Дзеконська-Козловска А. Женская мода XX века. М., 1977).

⁴ Подробнее об этом см. в указ. кн.: Дзеконська-Козловска А. Женская мода XX века.

⁵ Этому в немалой степени способствовали, например, выступления против «мещанской фильмы» в журнале «Кино и жизнь». Так, в статье под заголовком «Буржуазные влияния в советском КИНО (так!)» выражалось возмущение тем, что во многих фильмах «в революционных ситуациях действуют *балерины, танцовщицы, шансонетки, кокетки*». Что мелодрамы, фильмы на цирковые темы – это «идеализация барских усадеб» (1930. № 2).

⁶ Здесь мы сталкиваемся со сложностью вербализации некоторых, казалось бы, всем понятных характеристик. То есть, по каким *визуальным* признакам мы распознаем наличие сексапильности «в кадре». Конечно, здесь уместнее всего вспомнить о беньяминовском понятии «ауры» (см.: Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избр. эссе. М., 1996). Из репрезентативных признаков назову блеск глаз, легкую полуулыбку и взгляд прямо в камеру («в глаза» разглядывающему). Кроме того, вспоминается эпизод из послевоенного кинофильма «Весна», где героине Л. Орловой, в процес-

ны, — это почти всегда фильм или о «гнилом западе», или исторический фильм. К середине 30-х «артистический» тип женской внешности стал сходить на нет, отступая на периферию (см. ленты с участием Л. Целиковской, например, в фильме «Воздушный извозчик», где ее героиня — обворожительная оперная певица) и уступая господствующее место другому — «рабоче-крестьянскому».

Долгое время последний сосуществовал с «артистическим», составляя с ним разительный контраст. Но и сам «рабоче-крестьянский тип» на протяжении 30-х претерпел заметные изменения. Для начала 30-х — это широкое лицо с крупными грубыми чертами. Бросается в глаза абсолютное отсутствие косметики и общая неухоженность изображаемых лиц: широкие «растрепанные» брови, растрескавшиеся губы, неухоженные волосы. Причем волосы в большинстве случаев — короткие⁷: просто ровно подстриженные чуть ниже ушей, зачесанные на пробор (чаще — на косой), иногда подколотые невидимками над ушами (или зачесанные за уши) или схваченные большим гребнем, очень редко — чуть подвитые снизу. Фигура обычно коренастая, крепкая, шея короткая, плечи широкие. Поскольку одежда объемная и мешковатая (чаще всего спецодежда, ватник, толстовка, «мужской» пиджак) — «женские признаки» под ней почти не видны. Мне кажется очень важным отметить эту «половую невыраженность» на женских фотографиях изучаемого периода. Кстати, этому «снятию гендерных различий» в немалой степени способствовало быстро привившееся «бесполое» обращение «*товарищ*». И все же трудно поверить, чтобы некрасивые и неухоженные лица «насаждались» сознательно — скорее всего, это была «правда жизни», за которой не всегда успевали уследить⁸. Эту мысль подтверждает тот факт, что нередко при репрезентации жен-

се подбора грима, «примеривают» *зубы* «Сексапил №6» (что также говорит в пользу внешних признаков сексапильности).

⁷ Эти «десять процентов» приходится на взрослых крестьянок, более традиционных в этом вопросе и потому продолжавших носить длинные волосы, обычно собранные в пучок на затылке. Вспомним героиню В. Марецкой из фильма «Член правительства»). Совсем юные девушки — уже стриженные.

⁸ Так, на обложке журнала «*Работница*» (1930.— №5) изображена мужеподобная женщина в ушанке, которая ей очень не идет. То, что это женщина можно понять только из подписи: «Тов. Булгакова Анна, работница Фармазавода №8 в Москве, добровольно едет на работу в колхоз в счет 25 тысяч». Заметим, что создателей обложки в данном случае интересует не конкретная женщина, а уж тем более — не ее внешность. Изображенная, прежде всего, — «*работница*», которая «*добровольно едет в колхоз*», то есть мы видим явный перевес социального статуса и скрытой идеологической риторики («*добровольно едет*»), над

ских образов на страницах журналов в дело включалась ретушь, несколько облагораживавшая лица. Скорее всего, эту «антиженственность» часто просто не замечали, считали несущественной по сравнению с социальной значимостью изображаемых женщин.

Интересно отметить следующую особенность — кинематограф начала 30-х счастливо избежал этого влияния «мужеподобного» женского типа. Возможно, это было связано с особенностями кинематографа: он был серьезно озабочен проблемами «прекрасного» и «гармоничного»; а как искусство постановочное и «подробное», он дотошно следил за всеми «детальями», за которыми могла не уследить «репортажная» журналистика. Соответственно, женские лица, подвергались гримировке (аналогом которой в журнальной практике была ретушь), и потому выглядели выразительными и привлекательными, даже если персонажи были одеты в лохмотья. Достаточно вспомнить «опереточных» персонажей фильма «Веселые ребята» (1934): с самого начала невозможно поверить, что герой Л. Утесова — пастух, а героиня Л. Орловой — служанка, — настолько ухоженные и выразительные у них лица. Это «физиогномическое несоответствие» подтверждается сюжетом фильма: «он» оказывается джазовым музыкантом, «она» — певицей. Драматургический прием, удачно найденный на этой картине режиссером Г. Александровым, стал у него кочевать из фильма в фильм. Оставляя в стороне «социальные метаморфозы» героинь комедий Александрова, отметим интересные особенности в плане «женской телесности». Героини Орловой внешне *изначально* хороши собой — это эффектные «золушки», в силу «исторической несправедливости» или ввиду обстоятельств одетые и причесанные не так, как им подобает. В финале фильмов «социальная справедливость», кроме прочего, репрезентирована еще и переменами во внешности и одежде.

С середины 30-х годов наметились существенные изменения как в типах женской телесности, так и в *приемах* ее журнальной (и не только журнальной) репрезентации. В самом общем виде я бы ее сформулировала так: был взят «курс на женственность». Определить эту перемену можно словами из журнала «Искусство одеваться»: «война давно закончилась — пора отрешиться от рваной юбки»⁹. Мысль о том, что желание

именем и внешностью. Об этом свидетельствует и порядок слов: более значимая информация помещена в ударную позицию.

⁹ 1928. № 1. С. 6. Цитируемый материал — достаточно большая редкость для журнала «Искусство одеваться». Он появился в одном из первых номеров этого журнала и носил «оправдательный» характер — он включал в «контекст эпохи» откровенно «модный» и неполитизированный журнал. Такую же роль выполняла в этом номере и статья «Наркомпроса А. В. Луначарского» под симптома-

хорошо одеваться — «не грех для пролетария», кроме эстетической привлекательности своих результатов носила и идеологический оттенок: здоровые нарядные граждане были визуальным свидетельством улучшения условий жизни.

Произшедшую перемену легко заметить, если сравнить «женские образы» в журналах начала и середины 30-х (приблизительно 1930–31 и 1935–37 гг.): изменилась не только женская внешность, — изменились и сами *способы репрезентации женщины*. Прежде всего, стала «размывать» противопоставленность «рабоче-крестьянского» и «артистического» типов женской телесности: среди изображаемых женщин резко возросло число привлекательных и интеллигентных лиц. У женщин на фотографиях начала появляться косметика — обычно это ярко подкрашенные губы, выщипанные и/или подведенные тонкие брови¹⁰, прически (в основном, короткие волосы, подвитые щипцами — «волны»), украшения: чаще всего — нитка бус, брошка, реже — маленькие серьги (крупные — только у «женщин востока»). Ручные часы стали фигурировать как символ определенного статуса — их носили преимущественно научные работники и взрослые члены их семей¹¹, поэтому в журналах с «рабоче-крестьянской» ориентацией они довольно редки; как и очки (круглые металлические), по которым можно сразу узнать ученого. Вне трудового процесса исчезли платки¹² и начали изредка появляться шляпки, чаще — береты. Женская одежда, попадающая на страницы журналов также изменилась: стали доминировать костюмы — пиджак, блузка, иногда с жабо, бантом или белым накладным воротничком и юбка, чуть прикрывающая коле-

тичным названием: «Своевременно ли подумать рабочему об искусстве одеваться?», где нарком заверяет: «Если пролетарий или *пролетарка*, комсомолец или *комсомолка*, вместо того, чтобы *пропить деньги в пивной* или *проиграть их в карты*, покупают приличную одежду, то это, конечно, положительный факт» (С. 3). Заметим, что курс на «искусство одеваться» был взят уже в конце 20-х, но начал реально проводиться в жизнь только к середине 30-х.

¹⁰ Красили ли женщины глаза — определить трудно. Возможно то, что можно принять за подводку глаз — лишь ухищрения ретушера.

¹¹ Вспомним двух сестер из более позднего (1941 г.) фильма «Сердца четырех» (сыгранных В. Серовой и Л. Целиковской): героини, находящиеся на даче, постоянно в часах.

¹² Для 30-х гг. *платки* — важный маркер: по тому, как надет платок можно точно установить социальное происхождение женщины. Работницы ходили в косынках, завязанных назад. Крестьянки завязывали платок под подбородком или накидывали его на плечи. Позднее, наиболее радикальные девушки сменяют их на кепки — отличительный знак трактористок.

ни; появились платья — достаточно эффектные, часто комбинированные (с асимметричными геометрическими вставками и крупными пуговицами). В качестве украшений стали использоваться аппликации, вышивки, кружевные воротники, галстучки, искусственные цветы.

Таким образом, можно констатировать, что в 30-е годы сосуществовали два типа женской телесности — «артистический» и «рабоче-крестьянский», которые первоначально автономно сосуществовали, после чего произошло их постепенное слияние — «взят курс на женственность». Изменился не только «язык тела» (внешность, одежда и др.), но и приемы показа женщин. Эти разительные перемены были связаны и с изменением *ситуации показа женщин* в массовой культуре начала и второй половины 30-х годов.

1. 2. Тело и фон: «вписывание»

Изменение *ситуаций показа*, как было указано выше, сильно повлияло на способы визуальной репрезентации женщин: если с начала 30-х годов их «заставали» за трудовым процессом («у станка») или на митинге, то во второй половине 30-х к этому добавились *торжественные собрания, учеба, праздники, отдых, военная подготовка*.

Все это внесло существенные изменения в журнальный видеоряд: ведь *работающих женщин* изображали стоя, по пояс или чуть ниже пояса (не видно ног), в косынках, рукавицах и спецодежде с длинными рукавами, — то есть в одежде, максимально скрывающей тело. То же можно сказать и о *митингах*: поскольку они происходили до, после или во время работы — форма одежды была аналогичной. Кроме того, это всегда групповые фотографии, на которых, люди стоят достаточно плотно («демонстрируя единение»), поэтому можно разглядеть только лица и плечи, да и то первых двух-трех рядов. Из одежды видны только косынки и воротники (спец-) одежды (если таковые имеются)¹³.

Иная ситуация наблюдается с изображением женщин на *торжественных собраниях*: во первых, они сидят, то есть можно рассмотреть фигуру, а иногда и ноги; во вторых, они, по возможности, нарядно одеты, аккуратно причесаны, а иногда и подкрашены. Да и сама ситуация «торжественного собрания» («их пригласили!») создает у женщин иное, приподнятое настроение. Кроме того, возможно, они замечают, что их фотографируют, поэтому немного «позируют», то есть стараются выглядеть еще лучше.

¹³ Мне запомнился интересный кадр: митинг на карамельной фабрике (периода процесса над троцкистами). Все женщины-работницы в белых халатах и косынках. Страшная теснота (я насчитала «в кадре» около 30 человек), поэтому женщина, читающая резолюцию, *стоит на табуретке*. («Работница». 1937. № 5. С.7).

В районе 1937 года снимки с такого рода мероприятий стали появляться очень часто: обычно это торжественные собрания в Кремле с присутствием Сталина и других членов правительства¹⁴. На фотографиях — либо, достаточно крупным планом, ряды приглашенных, среди которых фотограф «выхватывает» преимущественно женщин (поскольку «женский» журнал!); либо женщина, выступающая на трибуне; либо женщина (женщины), вручающие цветы Сталину, Ворошилову, Молотову, Кагановичу; либо члены правительства, пожимающие руки наиболее отличившимся женщинам.¹⁵

В это же время в журналах стало появляться много материалов, связанных с вопросами обороны (ожидание войны, конфликты на границах). Если рассмотреть «женский ракурс» проблемы, то это, прежде всего, фотографии с *военных учений* по стрельбе, по прыжкам с парашютом, по химзащите¹⁶, где девушки тренируются наравне с мужчинами. Ярким примером может служить неподдельный энтузиазм и соревновательный пыл героинь фильма И. Пырьева «Трактористы» (1939), желающих обогнать мужчин не только в работе, но и в военной подготовке.

Это желание догнать мужчин — очень характерно для культуры второй половины 30-х: женщины начинают осваивать несвойственные им профессии и этот почин активно пропагандируется журналами. Появляются фотографии трактористок¹⁷, бурильщиц, бетонщиц, а также женщин-военных¹⁸. Последние на снимках тех лет, за редким исключением,

¹⁴ Фотографии которых появлялись на страницах «женских журналов» с завидной регулярностью.

¹⁵ Эти фотографии следуют строгой схеме — обычно это многофигурная композиция, данная средним планом, на которой запечатлен стол президиума, за которым и происходит «дарение» и/или рукопожатие. (См. аналогичные мизансцены на картинах В. Ефанова «Незабываемая встреча» (1937) и Г. Шегала «Вождь, учитель, друг» (1937) в кн.: Морозов А. И. Конец утопии. М., 1995.). В это же время в иконографии соцреализма сложился и другой тип изображения сходной ситуации: Сталин (Молотов, Киров или др.) с высокой трибуны *наклоняются* к женщинам, вручающим им букеты. (См. картину А. Самохвалова «С. М. Киров принимает парад физкультурников» 1935 года).

¹⁶ Хотя трудно понять, мужчина или женщина в противогазе. Обычно это выясняется из подписи к снимку.

¹⁷ Которые не только водят, но и *чинят* свой трактор (о чем сообщается в подписи к снимку). Подобная практика была очень распространена и среди заводских работниц — они тоже быстро научились налаживать свои станки.

¹⁸ Чаще всего летчиц. Популярности этого рода войск способствовали сенсационные дальние перелеты, и прежде всего, женского экипажа В. Гризодубовой, П. Осипенко, М. Росковой.

выглядят очень привлекательно – им идет военная форма, подчеркивающая все прелести женской фигуры, у них интеллигентные молодые лица (недавно получили образование), аккуратные прически и вообще особый шарм, привносимый их особым, выделенным положением и постоянным мужским окружением.

Но поскольку женщины-военные продолжали оставаться фигурами достаточно экзотическими, средства массовой информации нашли весьма нетривиальное решение проблемы «женщина и армия», сведя воедино проблемы гражданской обороны и женской привлекательности в большом количестве появившихся журнальных публикаций об общественной деятельности жен комсостава¹⁹. *Жены военных* составляли совершенно особый социально-психологический тип – это женщины, жизнь которых была полностью обусловлена службой мужа²⁰: военных часто переводили с места на место, поэтому женщины не успевали не только обжиться и «пустить корни» на новом месте, но и устроиться на сколько-нибудь стабильную работу. Поэтому, чаще всего, жены военных – это неработающие домохозяйки, посвятившие свою жизнь мужу и детям²¹. А следовательно, имеющие время следить за своей внешностью и гардеробом. Хорошо выглядеть – было их обязанностью, поскольку привлекательная жена повышала статус мужа и, зачастую, способствовала его продвижению по службе. Да и требования к внешнему виду неработающей женщины всегда были сильно повышены. Поэтому в 30-е годы жены военных – наиболее обеспеченные женщины, имеющие время и возможность (в том числе и материальную) следить за модой. На фотографиях тех лет – это красивые женщины с изысканными прическами (обычно, укладка щипцами или завивка), со вкусом наложенной косметикой (яркие губы, выщипанные

¹⁹ Журнал *«Работница»* за 1937 г. постоянно публиковал материалы на эту тему.

В частности, широко освещалось Всесоюзное совещание жен командного и начальствующего состава РККА и печатались списки награжденных женщин. Судя по всему, деятельность жен комсостава имела большую идеологическую значимость. Определяющим является название речи одной из делегаток: *«Смелость мужей передается и нам»*.

²⁰ А вышедшие замуж в годы гражданской войны успели побывать в экстремальных ситуациях и столкнуться со страшным военным бытом в далеких воинских частях. Устойчивость этих представлений о послереволюционных годах отразилась в фильме семидесятых годов *«Офицеры»*.

²¹ В «сталинские времена» военные очень хорошо зарабатывали, поэтому жены комсостава могли позволить себе не работать. Престиж военной профессии начал резко падать при Хрущеве, сократившем, в частности, зарплаты и пенсии военным.

и подведенные брови), в платьях индивидуального пошива из хороших материалов, в туфлях на высоких каблуках, а зимой — в шубах²² и сапожках (а не в валенках с калошами, как большинство советских граждан). Такая женщина смотрелась неотразимо рядом с мужчиной в военной форме! Поэтому муж воспринимал ее как достойные и всячески способствовал, чтобы ее вид был неизменно эффектным²³.

Следует отметить, что для второй половины 30-х все более важное место стали занимать *вопросы семьи и брака*. Причем именно семьи, поскольку проблемы любви практически вовсе исчезают со страниц периодической печати²⁴. Интересно отметить различие акцентов в подаче «семейной темы» в журналах начала и второй половине 30-х. В начале 30-х семья рассматривалась исключительно как помеха в работе (наследие дискуссий 20-х о семье и браке): считалось, что женщина, вышедшая замуж, сразу окунается в домашние заботы, а следовательно, начинает плохо работать и отвлекаться от общественной жизни. Особенно, если муж — не комсомолец (или не «партийный»). Часто встречаются призывы к замужним комсомолкам привлекать мужей к деятельности комсомольской ячейки и к вступлению в ВЛКСМ. Если говорить о визуальном ряде, то в этом плане проблема брака разрабатывалась почти исключительно на карикатурном уровне: в сатирических рубриках журнала «Работница», носивших названия «Все напоказ» и «Фото-глаз “Крокодила”», «Веселые беседы ткачихи-непоседы» основной темой был рассказ об оскорблениях и побоях жен пьяными мужьями (причем дело доходило до ножевых ран и госпитализации). Больше всего поражает, что об этом говорится веселеньким раешным стихом²⁵,

²² Шубы в то время себе могли позволить еще разве только знаменитые актеры и высокая партийная бюрократия.

²³ В. Паперный связывает «появление понятия» жен» с новым этапом развития советской культуры — с «тоталитарной» «культурой 2». Для этой культуры, по его мнению, характерно появление различных организаций «жен» («советов жен»), тогда как для авангардной «культуры 1» свойственно стремление к уничтожению семьи «как органа угнетения и эксплуатации». (См.: Паперный В. Культура Два. М., 1996. С.146–155.)

²⁴ Проблемы *любви* бурно обсуждались после революции и в 20-е гг. на всех уровнях, вплоть до правительственного. Например, можно вспомнить любопытные работы на этот счет А. М. Коллонтай и др. В середине 20-х уже начинает ставиться акцент на вопросах *семьи и брака*. См.: Партийная этика. Документы и материалы дискуссии 20-х годов. М., 1989. В 30-е гг. любовная тема разрабатывалась уже практически только в художественной литературе и кинематографе.

²⁵ Например: «Ноты рвутся не простые, не удержишь и струну: там Герасимов, партиец, пятый год все бьет жену». (Подпись: «Баба-раешница»). «Работница». № 4. С.8.

а сопровождается материал мелкими карикатурками грязных пьяных мужиков, с топорами (бутылками) гоняющихся за орудиями растрепанными женщинами. А мнение о том, что замужество пагубно сказывается на дальнейшей трудовой и общественной деятельности женщины, судя по всему, оказалось очень стойким: в 1938 году в фильме И. Пырьева «Богатая невеста» этот вопрос все еще дискутируется. Так, важнейшим фактом для счастливой женитьбы и главные героини, и колхозная общественность считают трудовые показатели²⁶. Вопрос женитьбы активно обсуждается в бригадах жениха и невесты. Бригадирша, огромная женщина с пышными формами и бурным темпераментом объясняет девушкам, к чему приводят браки с «ледащими» мужиками, демонстрируя нарядным и пышущим здоровьем девушкам замученную и неопрытаную замужнюю Фроську. Кстати, к этому времени уже сложился визуальный стереотип показа «селянок» — это либо веселые молоденькие девушки с круглыми лицами²⁷ и короткими волосами в национальных костюмах (вышитая рубашка, подпоясанная пучком соломой, юбка ниже колена, передник и босиком); либо пышнотельные сильные женщины с уложенными на затылке тяжелыми косами, олицетворяющие здоровье, благополучие и плодovitость.

Еще одним решением проблемы показа семейных отношений было повышенное внимание к фотографиям *беременных, роддомов* и *грудных детей*²⁸. В конце 20-х в СССР для беременных и матерей были введены льготы: были запрещены ночные работы, утвержден декретный отпуск на 4 месяца (2 месяца до — 2 после родов), стали организовываться женские консультации и ясли. Но только с середины 30-х на страницах женских журналов стали появляться материалы на эти темы. Например, об отдыхе для беременных женщин с фотографиями пансионатов для беременных передовиц труда: на них обычно были изображены опрытно одетые

Реальные фамилия, место жительства, место работы «нарушителя» были «вмонтированы» в стихотворный текст и выделены жирным шрифтом.

²⁶ Отрицательный герой, счетовод, формулирует это прямо: «Какая больше всех трудодней имеет — ту и возьму!». Главные героини, Маринка (М. Ладынина) и Павло в этом вопросе более щепетильны, поэтому *потихоньку* узнают о трудовых показателях друг друга через третье лицо, которое их «дезинформирует». На этом и построена интрига.

²⁷ М. Ладынина с ее узким «некрестьянским» лицом, составляла контраст с остальными «девчатами», поскольку всегда играла «героинь» — передовиц и местных красавиц.

²⁸ Это можно связать с общим «*пафосом плодovitости*», характерном, по мнению В. Паперного для культуры второй половины 30-х (Культуры 2). См.: Паперный В. Культура Два. М., 1996. С. 163–165.

женщины, сидящие за столом по двое-трое, за чтением или рукоделием²⁹. На заднем плане — обычно богатый интерьер (пансионаты чаще всего размещались в старинных загородных усадьбах), картина и фикус (пальма) в кадке. Достаточно частыми были снимки родильных палат — пустых, с аккуратно застеленными кроватями и цветами в горшках на белых тумбочках, — или с сидящими (очень редко — лежащими) женщинами, с грудными детьми на руках. Стали появляться фотографии врачей, медсестер, акушеров с подробными объяснениями кто это и где работает³⁰. Большое внимание стало уделяться проблеме ясель³¹, вопросам ухода за детьми, детского питания и детской одежды³². На эти темы появляются проблемные статьи, начинают печататься советы беременным и рекомендации матерям по уходу за детьми (в том числе рецепты блюд, выкройки детской одежды, советы по изготовлению и починке игрушек и др.). Отдельный раздел составляют письма благодарных читательниц (практически всегда *не* сопровождавшиеся фотографиями), где женщины рассказывают о преимуществах родов при социализме³³.

²⁹ Беременность изображенных внешне не акцентирована (в этом видна характерная «стыдливость» культуры этого времени): о ней мы узнаем из подписей к снимкам, в которых указывается, что отдыхающие в пансионате *беременные* женщины — передовицы, стахановки, реже — комсомольские лидеры. В подписи подробно указаны имя, фамилия, чем отличилась, место работы и, иногда, место учебы *без отрыва от производства*.

³⁰ Хорошенькие молодые акушерки пользовались особой популярностью на страницах женских журналов, особенно если это образованные городские девушки, добровольно поехавшие работать в деревню (о чем становилось известно из подписи).

³¹ В силу маленького срока послеродового отпуска эта проблема стояла очень остро, особенно в сельской местности. Вспомним кадры из кинофильма «Богатая невеста»: во время уборки урожая женщины сдают своих грудных детей в импровизированные «ясли», т. е. — под навес, установленный тут же, *на поле*. Отмечу также картины А. Самохвалова на эту тему: «Ясли. Внимание к ребенку» и «Передача детей в ясли» (1930).

³² Например, статья «О детском приданом», т. е. о продаже вещей для новорожденных в отдельных местах, чтобы беременные не стояли в общей очереди. «*Работница и крестьянка*». 1939. № 1–2. С. 31.

³³ В 1936 году в СССР были полностью запрещены аборт. Следствием этого было появление в печати большого числа статей, повествующих о достижениях в области облегчения процесса деторождения, например, о *гипнозе*. Так, в статье «Гипнотарий» пропагандируются сеансы массового внушения над беременными женщинами, в результате которых их перестает тошнить, проходят

В середине 30-х годов важной темой была визуальная репрезентация *праздников*. Интересно отметить, что для изображения праздников использовались преимущественно кинематограф (как художественный, так и документальный) и монументальная живопись (в том числе, практика настенных мозаичных панно в Московском метро). Изображение празднеств и массовых гуляний требовало особой стилистики и размаха, а мелкая черно-белая журнальная фотография не удовлетворяла поставленным требованиям. Потому в женских журналах изображение праздника обычно давалось на *рисованной красочной* обложке: веселые наряженные женщины (часто – представительницы разных союзных республик в национальных костюмах) с детьми и цветами. Мужчины на обложках «женских» журналов обычно отгеснены на второй план.

С темой праздника неразрывно связана тема *отдыха*, причем отдыха *активного* (то есть исключаящего праздность) куда входили спорт и кружки по военной подготовке³⁴. Последние так тесно переплелись, что уже воспринимались как единое целое³⁵. Журнальные страницы пестрят изображениями девушек, чаще всего занимающихся стрельбой³⁶ из винтовки или из пистолета. Стреляющих из винтовки обычно изображали лежащими и со спины, а стреляющих из пистолета – стоящими рядом с инструктором. Бросается в глаза, что тренирующиеся девушки одеты в *повседневную одежду* (юбка до колена, блузка, белые носочки, иногда берет или шляпка!).

Теме военной подготовки отдала дань и живопись: отмечу, например, картину А. Самохвалова «Осоавиахимовка» 1932 г., композиционно повторяющую ситуацию на аналогичных фотографиях: изображенная на ней мужеподобная женщина одета в военную форму и кепку. Возможно, для начала 30-х ситуация учений была не столь привычна, как

головокружения, перестают мучить семейные проблемы. См. ст.: *После внушения – роды без боли*. (Метод доктора Вигдорловича) // *Работница и крестьянка*. 1939. № 17. С.10–11. На снимке – мужчина, нависающий над спящей женщиной. Только из подписи понятно, что это врач-гипнотизер.

³⁴ Хотя изредка встречаются сообщения о «пассивном» отдыхе, например, объявления о продаже путевок на курорты Крыма.

³⁵ А возможно, «чистый» спорт, то есть лишенный общественной полезности (исключая, разумеется, парады физкультурников) уже начинал восприниматься как праздность и индивидуализм. Либо ему придавался статус «*боевых действий*» (по аналогии с трудом как «*битвой за урожай*»). Вспомним песню: «Эй, вратарь, готовься к бою, // часовым ты поставлен у ворот, // ты представь, что за тобою // *полоса пограничная идет*».

³⁶ Поскольку для прыжков с парашютом с 1935 г. требовалось специальное разрешение наркомата обороны.

для второй половины, когда она, судя по всему, стала частью повседневной жизни. Но особым интересом живописцев и скульпторов пользовались спортсмены (точнее, спортсменки) — вспомним известные картины А. Дейнеки «Кросс» (1931), «Физкультурница» (1933), «Игра в мяч» (1932) и А. Самохвалова — «Спартаковка» (1928), «Девушка в футболке» (1932), «Физкультурница с букетом» (1935), «На стадионе» (1935) и др. С их легкой руки образы молодых спортсменов воспринимались (и продолжают восприниматься) как символ радости, здоровья и молодости. Античные торсы советских физкультурниц заполнили не только полотна живописцев, но и дорожки парков культуры и отдыха («Девушка с веслом» (1935) И. Шадра) и стены станций метро (напр., круглые барельефы на станции метро «Парк культуры» кольцевая).

И еще об одной ситуации репрезентации женщины, появившейся на страницах журналов в конце 30-х годов — это ситуация *учебы*. Как я уже упоминала, женщины нерабочих профессий появлялись на страницах журналов крайне редко — чаще всего, это были либо медики в белых халатах, либо профессора вузов в очках (обычно преподаватели естественно-научных дисциплин, поэтому тоже в белых халатах и с пробирками в руках³⁷), либо актрисы в костюмах и в гриме³⁸. Ситуация учебы стала появляться на страницах журналов (прежде всего *«Работницы и крестьянки»*) в связи с кампанией по обучению работниц *без отрыва от производства* (что всегда подчеркивалось в подписях к фотографиям): на снимках изображались молоденькие девушки, склоненные над книгами или проектами. На переднем плане обычно лежали «орудия труда»: карандаши, линейки, циркули, лекала... Кроме того, начали попадаться фотографии инженеров на производстве или на селе — обычно, в сопровождении статей об их трудовом пути.

2. Телесный канон: Способы конструирования

2.1. Визуальные женские образы в пространстве журнала

В этом параграфе я буду рассматривать роль визуальных женских образов в пространстве «женского» журнала. Ниже я опишу ряд общих закономерностей, характерных для «бытования» визуального ряда «женских журналов» 30-х годов — *«Работница»*, *«Крестьянка»*, *«Работница и крестьянка»*. Эти три журнала имеют много общего как в тематике, так и плане

³⁷ Поскольку непонятно, что должно быть в руках у гуманитария — он менее репрезентативен.

³⁸ Напр., фото Г. Улановой в роли Марии из спектакля «Бахчисарайский фонтан». *Работница и крестьянка*. — № 11. — С.21.

репрезентации женского тела. Эта общность становится тем более явной, если сравнить их с типом «модных женских журналов» конца 20-х, представленным *«Домашней портнихой»* и *«Искусством одеваться»*.

Если *«Домашняя портниха»* — это традиционный журнал мод (большой формат, рисунки, в том числе и цветные, моделей одежды и объяснения к ним, советы портнихам и выкройки в качестве приложения), то журнал *«Искусство одеваться»* можно назвать «культурно-просветительским журналом мод». Он не только был прекрасно оформлен³⁹ и разнообразен по части женской одежды (мужская одежда встречалась крайне редко)⁴⁰, но и включал в себя ряд интересных рубрик: «Парижские письма» — сообщения корреспондента из Парижа о тенденциях моды), «Курьезы мод» — смешные истории, связанные с модой, «Прошлое костюма» — о культурном значении костюма в различные эпохи и в различных ситуациях. И кроме того, отдел «Полезные советы», где можно было узнать, «как чистить лайковые перчатки», «как стирать тонкие кружева», «как обновить черные кружева и вуали», «как устранить перегибы и складки на гравюре» и проч. В журнале также печатались статьи ведущих модельеров, врачей-гигиенистов, рекламы товаров с ценами. Это достаточно рафинированное издание являет нам оригинальный способ балансирования между политической конъюнктурой⁴¹ и желанием быть на переднем крае современной моды.

Тем более разительный контраст составляет он журналам *«Работница»*, *«Крестьянка»*, *«Работница и крестьянка»*. Начну с общего обзора — все они достаточно большого формата, тонкие, отпечатанные на желтой («газетной») бумаге, с большим количеством черно-белых фотографий, преимущественно плохого качества (самое плохое качество снимков — у самого «тонкого» из этих журналов — у *«Крестьянки»*). Оформление обложки имеет следующие варианты: это либо фотография, либо — коллаж, либо — рисунок. *Фотография*, индивидуальная или групповая, чаще всего, женская (хотя встречаются «исключения» вроде портрета Сталина под заголовком *«Работ-*

³⁹ В этом журнале, наряду с рисованными моделями присутствовали и *фотографии*, причем, преимущественно из зарубежных (парижских) журналов. На них, наряду с роскошными моделями, присутствовали и «фрагментарные» снимки: ножки в дорогах чулках, головки в шляпках, аксессуары, украшения.

⁴⁰ Причем дело доходило до курьезов: так, например, на одной из фотографий мужчина, демонстрирующий костюм, был изображен без головы — она «не попала в кадр» (*«Искусство одеваться»*. — 1928. — № 7).

⁴¹ Этим объясняются такие факты, как «передовица», написанная Луначарским, как эскизы рабочих костюмов или снимки работниц, демонстрирующих модели одежды (с подписями фамилий и места работы).

ница и крестьянка»), обычно сильно отретушированная. Сильная ретушь зачастую делает фотографии неотличимыми от рисунков⁴². Мне кажется, что ретушь, кроме «идеологических» функций (придания лицу «определенного» выражения), ставила задачи и чисто эстетические — облагородить внешность изображаемой и компенсировать погрешности при съемке.

Особо следует сказать о подписях к фотографиям⁴³ на обложках и к внутрижурнальным фотографиям — здесь существовала своя иерархия: понятно, что не подписывались фотографии Ленина и Сталина; также никогда не подписывались и снимки Ворошилова, Молотова, Кагановича, Крупской⁴⁴. Обычно подписывались фотографии передовиц и награжденных, хотя встречаются случаи безымянных героинь (например: «Ударница, делегатка съезда»). Коллажи встречаются двух видов: чисто фотографические (т. е. вырезанные по верхнему контуру фотографии, иногда на *цветном* фоне) или комбинированные — сочетание фотографий, рисунков и дорисовок. Дорисовки, подрисовки или раскрашивания (до трех цветов), чаще всего объясняются желанием хоть как-то «расцветить» мрачное и однообразное фотографическое изображение, придать ему праздничности. Но бывают и «особые случаи», когда дорисовка и раскраска несут идеологическую нагрузку. Так, обложка одного из журналов «Крестьянка» представляет собой следующий коллаж: на оранжевом фоне помещен громадный, снятый снизу, трактор, которым правит сидящая где-то наверху монструозная крестьянка в завязанной назад косынке и с хищным выражением лица. Снимок предельно отретуширован (очень крупное «зерно»). Этот *сфотографированный* трактор как бы наезжает на *нарисованных* в правом нижнем углу «кулаков» и «счетоводов»⁴⁵ — судя по изображенным тут же связкам

⁴² Так, на обложке журнала «Крестьянка» (1933. № 5) можно понять, что это фотография, а не рисунок только по наличию у изображенной женщины крупной родинки у носа.

⁴³ Об этом упоминал В. Беньямина, акцентировавший проблему «директивности» подписей к фотографиям. Его интересовала «подпись, втягивающая фотографию в процесс олитературивания всех областей жизни, без ее помощи любая фотографическая конструкция *останется незавершенной*». — Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избр. эссе. М., 1996. С. 34, 91.

⁴⁴ Эта *иерархия* сохраняется и для внутрижурнальных снимков. Кроме того, именно вышеперечисленные всегда указывались первыми в различных перечнях: например, в списках награжденных указывались сначала эти фамилии, а потом — далее — по алфавиту.

⁴⁵ Культура 30-х гг. вообще очень подозрительно относилась к этой профессии. Так, в кинофильме «Богатая невеста» единственный отрицательный персо-

ключей и счетам. Возможно, в данном случае, сфотографированный объект должен был восприниматься как подлинный, в отличие от иллюзорности рисованных «вредителей». Чисто *рисованные* обложки появлялись обычно у праздничных (первомайских, посвященных 8 Марта и др.) номеров и строились по традиционным схемам⁴⁶, о которых будет сказано дальше. Добавим к этому наличие лозунгов и частично цветной печати.

О *подписях* к фотографиям я уже много раз упоминала в процессе работы. Здесь же мне кажется необходимым обратить внимание на основную особенность подписей к журнальным фотографиям 30-х годов: эти *подписи* значительно *важнее самих фотографий* (которые могут быть неразборчивыми, плохого качества и др.), поскольку они программируют то, что *должен* увидеть на снимке читатель. В них латентно закладывается *оценка* репрезентируемого события или человека⁴⁷. В этом я вижу важную особенность тонкого журнала вообще — он рассчитан на *просматривание*, то есть на разглядывание фотографий и на чтение подписей к ним. *Статьи* могут вообще не прочитываться. Кстати, в исследуемых журналах очень часто фотографии, помещенные внутри или под заметкой, никак *не соответствуют* ее содержанию, составляя свой визуальный текст, параллельный тексту вербальному⁴⁸. «Параллельный текст» чаще всего представляют и *лозунги*: от длинных и многосоставных⁴⁹ до забавных и лаконичных⁵⁰. Обычно они помещаются в рамке внизу страницы (кроме особо важных, отпечатанных вверху и, при двухцветной печати, цветным шрифтом).

наж — колхозный счетовод — упоминается не иначе, как с эпитетом «чернильная душа».

⁴⁶ Кроме указанных «связок» персонажей скажу еще о достаточно часто встречающемся символическом изображении «дружбы народов»: в «женском» варианте — это изображение веселых девушек в национальных костюмах.

⁴⁷ Интересным примером может служить журнал «Кино и жизнь» для которого характерно *неразличение* в репрезентации кадров из фильмов (сцен из спектаклей) и ситуаций «из жизни». Так, под снимками сцен из спектакля я встретила весьма симптоматичные подписи: «Кулак мстит» или «Рабочие пришли заступиться за выдвигенца». «Преступление Караваяева», реж. Лукашевич» («Кино и жизнь». № 1).

⁴⁸ Следует отметить, что заметки, как и фотографии, *не всегда подписывались* или подписывались только инициалами.

⁴⁹ Например: «Работницы! В ответ на провокацию фашистов и церковников вступайте в ряды МОПР и ОСОАВИАХИМа, укрепляйте оборону СССР!». «Работница». 1930. № 13 (— сразу три пропагандистские идеи: антифашистская, антицерковная и оборонно-спортивная). Лозунги в «женских» журналах обычно носили «гендерную» ориентацию.

⁵⁰ Вроде следующего: «Работницу — в массы!» — «Работница». 1930. № 15.

Отдельного внимания заслуживает *рубрикация*. В рассматриваемых мною «женских» журналах она выражена неявно: появившиеся рубрики не соблюдаются, исчезают, а потом появляются вновь, меняются, переименовываются, что, как мне кажется, является свидетельством нечеткости изначальной концепции журнала. К концу 30-х ситуация выравнивается. Кроме того, роль постоянной рубрики играет ежежурнальное печатание на первых страницах оперативной политической информации — законов, постановлений и распоряжений правительства, которые выполняли роль журнальных «передовиц». В этой же роли выступали и наиболее «судьбоносные» статьи⁵¹ или сообщения о государственно важных событиях (съездах, юбилеях, празднованиях). Среди достаточно устойчивых рубрик следует прежде всего назвать *письма читателей* — рубрика «Рабкорки пишут» — отклики читательниц на актуальные события (напр., на процесс над троцкистами); и *письма (к) читателям* — рубрику «Почтовый ящик» — ответы на письма «работниц», с указанием их имен и места жительства. В основном — это объяснения, по каким причинам заметка не может быть напечатана (напр.: «мало конкретных фактов») и советы на будущее. Также есть отклики на присланные стихи и рассказы⁵². Кстати, на страницах журналов достаточно регулярно печатались стихи и песни. Правда, чаще это были «официальные» тексты, вроде «Песни о Ворошилове» с нотами⁵³, но в рубрике «Литературная страничка» встречались и лирико-патриотические произведения читательниц (а, может, и неизвестных писательниц). Позднее стали печатать рассказы классиков: Горького, Чехова (рассказ «Спать хочется») со схематичными иллюстрациями.

Представляют интерес и неполитические рубрики, такие как «Охрана здоровья» и «Новое в медицине», где в популярной форме рассказывается или о том «что должен знать каждый» (например, статья «Для чего делают операции»), или о каких-то диковинках (ст. «Удаление половины головного мозга»). В конце 30-х годов появляются публикации на темы быта и снабжения («Почему такой скудный ассортимент головных уборов», «Платьев много, а выбрать нечего», «В Ленинграде плохо чинят обувь») со снимками кокетливых женщин, примеряющих одежду (обувь, шляпки).

Кроме того, очень любопытны рубрики и статьи на «женские темы». Чаще всего они касались гигиены беременных и уходу за детьми (преимущественно грудными). Но к концу 30-х появились публикации по вопро-

⁵¹ Например, статья Сталина «Головокружение от успехов (К вопросам колхозного движения)». «Работница». 1930. № 10.

⁵² Все это очень напоминает письма отдела по работе с читателями недавнего советского времени, только в начале 30-х годов эти ответы публиковались.

⁵³ «Работница». 1937. № 5. С. 11.

сам гигиены и косметики⁵⁴. Другие сообщения помещались на вкладышах в журнале, что создавало ситуацию некой выделенности этой информации (заметки «не для всех»): обычно здесь в доступной форме давалась информация по половым и гигиеническим вопросам.⁵⁵ Здесь же помещались выкройки женской и детской одежды, мода, рецепты, советы хозяйкам, реклама⁵⁶. Обычно, это был вкладыш с одной выкройкой, к которой прилагалось ее подробное описание. Также в качестве вкладыша иногда появлялось бесплатное приложение к журналу «Работница», называемое «Малышам», — двойной листок меньшего, чем журнал, формата, где печатались стихи для детей с крупными рисунками.

Кроме того, странной и разнородной была журнальная *реклама*. В основном она размещалась на внутренней стороне обложки (точнее — на предпоследней странице журнала) и представляла собой маленькие «окошки» с различной информацией. Чаще всего, рекламировали услуги сберкасс, книги и журналы, каталоги выкроек и косметические средства. Обычно в рекламу входила и цена товара. Изредка появлялись схематичные рисунки: так, из номера в номер журнала «Работница и крестьянка» повторяется реклама крема от веснушек «Метаморфоза», которую сопровождала картинка интересной и ярко накрашенной молодой женщины на фоне далекого хутора.

Таким образом, обзор журналов показал, что в 30-е годы концепция «женских» журналов находилась в стадии формирования. Кроме того, узость тематики и скудость видеоряда несколько разнообразилась — и ко второй половине 30-х журналы начали приобретать более цельный и продуманный вид.

Разглядывание женских журналов 30-х годов дало совершенно неожиданную картину: в этих журналах был сформирован особый тип (вернее, типы) репрезентации женского тела. Далее я рассмотрю основные *типы изображения женщин*, выведенные мною в результате разглядывания «женских журналов»: «Работница», «Крестьянка», «Работница и крестьянка» (другие журналы будут использоваться только как вспомогательные).

⁵⁴ Например, серьезная статья «Директора института косметики и гигиены, доцента московского медицинского института И. Л. Белахова», рекламирующая работу этого института, в том числе массаж, маникюр и педикюр, удаление деформированной кожи, лечение и уход за волосами, косметическую хирургию.

⁵⁵ Например, заметки «О половой холодности» (с подписью «Врач»), «Об онанизме», «О парше», «О причинах бесплодия», «Отчего человек краснеет» (последние четыре — на одной странице). «Работница». 1930. № 47.

⁵⁶ Надо заметить, что все эти разделы полностью отсутствовали в журнале «Крестьянка».

«**Портреты**»: погрудные снимки женщин, напоминающие фотографии на паспорт. Обычно это небольшие снимки (2×3 или 3×4), расположенные по 2–3 на странице, либо в ряд по 4–6 по ее периметру. Под фотографиями не всегда есть подписи. Часто подписывается только фамилия. Схема наиболее типичной подписи: где работает изображенная (подробно), трудовые заслуги, фамилия без инициалов. Фамилия фотографа, сделавшего снимок, чаще всего, отсутствует⁵⁷.

Тип изображений, названных мною «портретами», представляет собой простую констатацию внешности, то есть фиксируется только внешнее сходство. Чаще всего, выражения лиц достаточно однообразны (весело-беззаботные) — изображенные «позируют», следовательно пытаются придать своему лицу определенное выражение — то, которое они хотят увидеть на страницах журнала. Ситуация спонтанности абсолютно исключена — об этом свидетельствует спокойная подготовленность лиц изображенных женщин. Думаю, что их не просто предупреждали о съемке, но и предварительно расспрашивали, записывали, объясняли для какого издания их фотографируют.

«**Многоголовые портреты**»: особый тип изображений, не встречавшийся мною более нигде — своеобразный фотографический коллаж, состоящий из вереницы однотипных и однородных фотографий женщин (погрудных), вырезанных по верхнему контуру. Это могут быть или женские головки, выстроенные в ряд, или в несколько (обычно до трех) рядов, в которых они расположены на одной плоскости, то есть одна над другой⁵⁸. Чаще всего (в начале 30-х), такие коллажи печатаются без подписей. С середины 30-х подписи появляются: они даются сплошным текстом под всем массивом фотографий. Схема та же, что и в обычных портретах. Указания на фотографов, сделавших снимки, разумеется, отсутствуют.

Впечатление создается странное, если не сказать страшное: взгляд скользит по рядам абсолютно однородных и поразительно похожих голов. Изображения носят чисто орнаментальный характер (о чем свидетельствует первоначальное отсутствие подписей к ним) — они обрамляют текст,

⁵⁷ Указание фотографа стало появляться под журнальными снимками (и то не под всеми) приблизительно с середины 30-х. *Всегда* подписывались политически ответственные снимки: фотографии, на которых присутствует Сталин и члены правительства, снимки с важных совещаний и мероприятий государственной важности.

⁵⁸ Больше всего это напоминает живопись позднего средневековья, в частности, Гентский алтарь («Поющие ангелы»): поскольку еще не известна прямая перспектива, персонажи разных рядов располагаются художником на одной плоскости, голова над головой.

являются репрезентацией некоего собирательного женского «мы», деперсонифицированного и механистичного. Появившаяся позднее подпись мало изменила ситуацию — это единая подпись под изображением «коллективного тела», где одно лицо неотделимо от другого и где невозможно установить, какая часть подписи относится к какому лицу. Однородность и похожесть усиливается обильной ретушью, делающей лица на фотографиях не только похожими, как близнецы, но и, зачастую, вообще создающей впечатление не снимков реальных людей, а странных рисунков⁵⁹.

«Женщина/станок»: фотографии среднего формата (4×6, 5×6), изображающие женщину за работой на станке, тракторе, поле, трибуне и т. д. В некоторых случаях лица не видны или видны нечетко. Иногда — снимки со спины. Подписи под снимками двух видов: либо — специальность, фамилия (иногда с именем), «за работой на/в...» (или «выступает на...»), — либо просто: «Ткачиха/токарь/доярка за работой» (то есть без указания фамилии и какой либо конкретизации), или «Слесарь завода... (за работой)».

К этому же типу можно отнести и «женщину/диаграмму», то есть фотоколлаж, изображающий женщину среди графиков и диаграмм. Это обычно большие коллажи (1/2 страницы или разворота журнала) с цифрами и комментариями⁶⁰.

«Станок» («трибуна/корова/пробирка») на таком снимке воспринимается как продолжение телесности вовне — это не «человек у станка» или не «человек, работающий на станке», а «человек-станок». Человеческое тело неотделимо от «механизма», оно без него неполно и незначимо. Это «кентаврический объект» — единый телесный комплекс, неделимый и непроницаемый далее (то есть далее одежды и устройства «станка»). С этим связано и отсутствие подписей под изображениями: снимается *трудовой процесс*, а не конкретный человек. Фотограф видит механизм — человек лишь его обслуживает — отсюда нечеткость в изображении лиц, дальние планы, снимки со спины.⁶¹

⁵⁹ Отмечу, что вместо индивидуальных фотографий иногда печатались *рисунки*, графически изображающие ту или иную конкретную женщину. Под рисунком была подпись, аналогичная подписи под фотографией и автограф нарисовавшего художника. Эти картинки выполняли функции фотографий.

⁶⁰ Например, «Фото-диаграммы» из журнала «Крестьянка». 1933. № 4. С.4–5. Одна из этих диаграмм носила название: «Удельный вес женщины в школах ФЗУ и типа ФЗУ по подготовке кадров».

⁶¹ Первоначально я собиралась выделить в отдельный тип фотографии на которых не видны (или плохо видны) лица, ракурсы с наклоненной головой или со спины, назвав их «Бестелесные кадры». Но поскольку на этих снимках

«**Массовки**»: групповые многолюдные фотографии различной величины, фиксирующие собрания, митинги, демонстрации, военные учения, на которых отдельные люди практически неотличимы. Почти никогда не сказано, «кто» изображен на снимке — подписано только, «что происходит», «по какому поводу» и «где»⁶².

Для фотографа и журнала *важно событие* — конкретные люди не значимы, важно только, что их *много*. Обычно люди на снимках очень однородны: взгляд скользит по рядам голов, а сходство лиц усиливается ретушью — на групповых снимках она особенно сильная (ряды голов напминают грядку). Можно предположить, что журнальная эстетика таких «массовок» (однородность, подобие, ретушь) имела целью *зримо* продемонстрировать единение и единоподушие участников зафиксированного на снимке процесса.

«**Безлюдные кадры**»: фотографии разного размера и формы, изображающие «портреты» заводов, станков, мешков и т. д., то есть изображения *без людей*. Обычно — подробная подпись: что изображено и где это находится⁶³.

Это именно «портреты», на которых с подписями изображены объекты, казавшиеся *значимыми* для составителя журнала, а следовательно, достойными быть запечатленными. Если вполне логично увидеть фотографии заводов и фабрик, то снимки станков без людей, гор мешков или щепенки, штабелей дров и т. д. вызывают болезненное ощущение *нехватки* человека. Изображения такого рода наталкивают на невольные поиски субъекта, поскольку безлюдные изображения воспринимаются исключительно как предикат: не видя «субъекта» я пытаюсь его «достроить» за счет контекста — подписи к снимку, сопровождающей статьи (которая, чаще всего, со снимком не связана!) — и обычно, безуспешно.

2.2. Другие виды массовой культуры

Прежде чем перейти к рассмотрению специфики представления женских образов в различных видах массового искусства, мне представляется важным рассмотреть вопрос об окружении женщины, то есть о структуре визуальных текстов, в которые в качестве значимой единицы включена женщина. Таким образом, я буду говорить о типах изображений — о семан-

телесность неотделима от механизма, я посчитала целесообразным рассмотреть их в рамках типа «женщина/станок».

⁶² См. также данное ранее описание *ситуации митинга*.

⁶³ Например, на снимке нечетко сфотографированы две свиньи. Подпись: «Свиньи колхоза “Красная роза”, Анненского сельсовета, Тербунского района. Фото Гальцева». («Крестьянка». 1933. № 1. С.13).

тике и способах визуальной репрезентации изображений женщин в «связках» с другими значимыми персонажами – мужчинами, детьми, стариками – и о культурных смыслах, стоящих за различными модификациями всех этих персонажей.

Наиболее частотным и значимым для культуры 30-х годов была пара «мужчина/женщина» – недаром символом эпохи стала скульптура В. Мухиной «Рабочий и Колхозница» (1937): она не только была установлена в наиболее символически нагруженном месте – у входа на ВДНХ СССР, но и ее изображения (вспомним, например, заставку киностудии «Мосфильм», значки, марки, печати и т. д.) стали прочитываться как предельно лаконичный знак, отвечающий основным тенденциям культуры того времени. Это не только показ единства и неразрывности «союза рабочего класса и колхозного крестьянства», но и кодирование сложной гендерной символики, актуальной для 30-х годов. Так, идея единения передается через «союз» мужского и женского, причем мужское начало репрезентировано более социально и политически значимым «рабочим классом» (добавим сюда фаллическую символику молота с его репрессивной семантикой), тогда как женское начало представлено «крестьянством», изначально маркируемым как близкое к земле, нижнее, слабое, зависимое, неполное («вогнутость» серпа, его «половинность» и стремление к дополнительности). Интересно проследить смысловую динамику такого «союза» между активным и пассивным, верхним и нижним, репрессивным и подавляемым: он ведет к вечному противостоянию «мужского» и «женского» (скрещение серпа и молота), в результате которого происходит перераспределение гендерных признаков. Ситуация «союза/борьбы» инициирует постепенное «мужание» более слабо маркированной «женской» стороны, наделение ее изначально ей несвойственными атрибутами силы, мощи, воли, энергии, необходимые для поддержания «равновесия» в этой «паре».

Такая семантика «связки» «мужчина/женщина» весьма характерна для ситуации 30-х годов: чаще всего скульптурная группа, картина, фотография, изображающая мужскую и женскую фигуры кодировала равные силу, мужество, порыв. Обычно такие «пары» возникали при изображении ситуации спорта (вспомним барельефы на станции метро «Парк культуры» кольцевая, кадры финального парада физкультурников из фильма «Цирк»), реже – в ситуации труда. В этом плане интересным примером может служить картина А. Самохвалова «В приволжских степях» (1934), изображающая трактористов – мужчину и женщину – даже композиционно создающих противостояние и равновесие двух сил: «он» и «она» чуть наклонены друг к другу (что создает ощущение притяжения/отталкивания), при этом оба, как из постамента, «вырастают» из гусениц трактора, вызывая стойкую ассоциацию с динамическим равновесием античных статуй.

Другой ситуацией изображения мужчины и женщины является ситуация обучения: чаще всего, это фотографии (реже — картины), на которых показан процесс обучения женщины мужчиной (и никогда — наоборот!) работе на станке, тракторе, объяснение приемов стрельбы, прыжков с парашютом и т. д. Понятно, что в такой ситуации в «сильной позиции» оказывается мужчина: более опытный, умный, взрослый. Поэтому на снимках процесса обучения чаще всего присутствуют мужчина и девушка (девушки): ситуация подразумевает «вертикальную» передачу опыта, в отличие от «горизонтального» сотрудничества между мужчиной и женщиной. Вариантом «пары» «мужчина/девушка» является также показ эпизодов с семантикой защиты: в характерной для 30-х годов атмосфере ожидания войны и происков внутреннего врага, появляются картины и скульптуры, изображающие солдата (часто с собакой-овчаркой) и девушку, выслеживающих «нарушителя»⁶⁴. Мужчина, являющийся композиционным и смысловым центром группы, защищает и закрывает от (предполагаемого) врага хрупкую девушку, сообщившую ему об опасности.

Следующей значимой фигурой, встречающейся рядом с женщиной на фотографиях в женских журналах, картинах, барельефах и т. д., является ребенок (дети). Сами по себе дети появляются на снимках из роддомов (грудные дети, завернутые «конвертиком», лежащие в ряд, либо на руках у кормящих матерей или нянечек); на школьных фотографиях⁶⁵, запечатлевших учеников за партами и, очень редко — просто в кругу семьи (обычно такая фотография сопровождает статью о воспитании детей или о подарках детям к празднику). Но значительно чаще изображения детей появляются на обложках журналов, картинах, мозаиках как один из необходимых элементов ситуации праздника. Обычно это «связки», включающие в себя следующие устойчивые фигуры: «ребенок/женщина (женщина и мужчина)/старик». На таких «монументальных полотнах» образы детей, наряду с образами женщин/мужчин и стариков носят символический характер (поэтому они часто не прописаны и схематичны) — они представляют только звено в «жизненной цепи»: детство — зрелость — старость и являются необходимым атрибутом репрезентации государственных праздников⁶⁶.

⁶⁴ Скульптурные группы такого рода были весьма распространены. См., например, фотографию на внутренней стороне обложки журнала *«Работница и крестьянка»*, № 19–20 за 1939 год.

⁶⁵ Здесь мы пока не касаемся частных *фотографий*, на которых, по понятным причинам, доминировали изображения детей. Упомянем пока только очень распространенные перед войной групповые снимки целого класса вместе с учительницей (учителями).

⁶⁶ О государственных праздниках как «ритуалах витализации» см.: Глебкин В. В. Ритуал в советской культуре. М., 1998.

Поскольку доминантной фигурой в такого рода композициях является женщина (либо женщина и мужчина), олицетворяющая идею плодovitости и продолжения жизни, она оказывается структурно-смысловым центром картины, «прописанным» наиболее тщательно. В ситуации праздника женщины изображались здоровыми, веселыми, нарядно одетыми, со всеми прелестями женской фигуры, подчеркнутыми развевающейся одеждой⁶⁷. Старикам и детям отводилась роль ликующих статистов, чья символическая значимость полностью подавляла изобразительную.

Отметим, что изображение на картинах, скульптурных группах, мозаиках стариков имело ту же функцию, что и присутствие детей: цепочка «старик/ребенок» была также достаточно частотной и несла на себе дополнительную семантику передачи жизненного опыта. (Обратная последовательность, т. е. «ребенок/старик» была невозможной — ее исключал все еще футуристический пафос культуры 30-х годов⁶⁸). Образ старика (и несколько измененная «связка» «старик/мужчина») появлялся в традиционном архетипическом контексте — как символ вековой мудрости. Этот «восточный оттенок» был, например, использован в фильме «Свинарка и пастух», где «песню вечной любви» для главного героя слагает его старый отец. «Связка» «старуха/девушка» была очень редкой и нечетко прописанной⁶⁹ (вспомним невыразительную «бабушку» главной героини из того же фильма «Свинарка и пастух»). Гораздо более значи-

⁶⁷ Которая была знаком «единого порыва» и, кроме того, признаком «античной традиции» (вспомним складки на одежде греко-римских статуй). Так, в фильме А. Роома «Строгий юноша» с античной статуей постоянно сопоставляется главная героиня — женщина внушительных форм, репрезентированная стилистикой фильма как недостижимый идеал красоты.

⁶⁸ Которая, как считает В. Паперный, уже начинала «затвердевать» (этим, возможно, и объясняется тяга к монументальным формам). Он считает, что культура 2, при всем старании подчеркнуть отсутствие возраста, если кого-то и выделяла, так это *старца* и *младенца*. (В отличие от культуры 1 с ее культом молодости). В качестве примеров он приводит многочисленные фотографии и картины, изображающие Сталина с маленькой девочкой на руках. См.: Паперный В. Культура Два. М., 1996. С. 93–94.

⁶⁹ Изображения *старух* вообще появлялись достаточно редко. В женских журналах их почти нет. Среди исключений можно назвать фотографию *семидесятилетней* (!) ударницы. («Крестьянка». 1933. № 9. С. 12) и снимок, на котором старуха ест с подписью: «Очень хорошо живется» («Кино и жизнь». 1930. № 12). Особую группу составляют фотографии о бедственной жизни западного пролетариата, где, наряду с другими угнетаемыми, встречаются и старухи, воспринимающиеся как наиболее слабая и беззащитная часть населения.

мой был «вертикальная» пара «женщина/девушка»: в этом случае ситуация была эквивалентна паре «мужчина/девушка» — семантика наставничества и передачи опыта (иногда не только рабочего, но и специфически «женского», вспомним «амбивалентные» поучения бригадирши молодым девушкам из фильма «Богатая невеста»).

Для культуры 30-х годов значимой является также и «связка» «женщины/дети» (причем обычно в цветущем саду), символизирующая не только материнство и продолжение жизни, но и изобилие, процветание и «вечную жизнь» — некий аналог эдемского сада — остановки времени и пребывания в счастливой вечности. Аналогичную символику имеет группа «мужчина/женщина/ребенок», акцентирующая, кроме всего прочего, семантику «счастливого детства» и «семейного благополучия». Обычно изображение дается в лучах солнца или на фоне цветущего сада. В связи с этим хочется вспомнить о не вошедшей в окончательный вариант фильма «Чапаев» финальной сцене: спустя годы Петька, Анка и их дети встречаются в яблоневом саду⁷⁰. «Связка» «мужчина/женщина/ребенок» была (и продолжает быть) весьма частотной в живописи, скульптуре, монументальных мозаичных панно: и в наше время она появляется в оформлении экстерьеров курортно-оздоровительных комплексов, спортивных сооружений, школ, детских садов.

Бликие значения имеет пара, которую я условно назову «женщина/флора», то есть изображение женщины на фоне цветущих деревьев, виноградных лоз, фруктов, цветов, снопов (или всего этого вместе). Такие изображения часто встречаются при оформлении залов метро, а своего апофеоза эта эстетика достигает в ансамблях ВДНХ (фонтаны, входы в павильоны, скульптурные ансамбли). В этом случае к семантике райского изобилия добавляется аллюзия на плодородие (Мать-Земля, архетипическое отождествление женского с плодоносящим началом). Часто женское тело неотделимо от *орнамента*: он является как бы продолжением телесности или же само тело «вплывается» в орнамент. Предельным проявлением этой тенденции является деперсонифицированные проявления пафоса плодородия: колонна «Изобилие» в переходе станции метро «Курская», колонна в кассовом зале станции метро «Сокол». С пафосом плодovitости и урожайности, по мнению В. Паперного, связано и широкое распространение в архитектуре мотивов колоса и снопа (вспомним орнаменты и мозаики в метро и оформление все той же ВДНХ, например, фонтан «Дружба народов»)⁷¹.

⁷⁰ Этот факт описан в книге: С. И. Фрейлих. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского. М., 1992.

⁷¹ Об этом см.: Паперный В. Культура Два. М., 1996. С. 163–165.

Телесность и материал

Теперь обратимся к рассмотрению зависимости способа репрезентации женской телесности от вида искусства, в котором эта телесность находит свое воплощение. Произведения, отобранные мною для анализа, активно функционировали в системе массовой культуры 30-х годов: фильмы широко транслировались и массово посещались, картины репродуцировались (в том числе и в периодике), скульптуры и мозаики украшали наиболее значимые и посещаемые места – станции метро, парки культуры и отдыха, и др. Поэтому, на мой взгляд, эти произведения, включенные в систему (массовой) коммуникации⁷², можно считать наиболее характерными, а значит, и наиболее репрезентативными для сложившейся в 30-е годы культурной ситуации.

Перед тем, как перейти к рассмотрению визуальных образов в различных видах массовой культуры, необходимо сказать несколько слов о соотношении журнальной фотографии и фотографии *частной*.

Первое, что отличает *частные* фотографии 30-х годов, – это практически полное отсутствие спонтанности: люди на снимках *всегда* позируют. Элемент непреднамеренности, застигнутости врасплох возникает (если возникает) в основном от неумения фотографа⁷³ и вызывает у изображенного (обычно, в ситуации дарения снимка) ощущение неловкости – человек смущен тем, что не смог представить себя должным образом⁷⁴. Возможно, такие же ощущения испытывал и реципиент.

Объяснений этому может быть несколько. Во-первых, технические сложности: громоздкая аппаратура, затрудняющая съемку и достаточно долгая выдержка, требующая и от фотографа, и от модели настройки (в том числе и психологической)⁷⁵. Во-вторых, отношение к процессу съем-

⁷² Произведения, носящие более «элитарный» характер, культура 30-х годов не включала в систему массовой коммуникации.

⁷³ Об этом очень верно сказано в статье Ю. Богомолова: «... Чем более любительский характер носит снимок, тем он интереснее в определенном смысле. Неумелость и неопытность фотографа *сужает круг возможностей выразить свое отношение к снимаемому, интерпретировать модель*». – Богомолов Ю. Материал публицистической и художественной фотографии // Мир фотографии. М., 1989. С. 19–20.

⁷⁴ Иногда это отражено и в подписях к фотографиям.

⁷⁵ См. интересные заметки о *невозможности репортажной съемки* в ранней фотографии у А. Варганова: исследователь рассказывает о том, что даже наиболее «динамичные» сюжеты (напр., ситуация боя) *«решались с помощью постановки: их участники специально позировали для фотографа, становясь в жизнеподобные*

ки, как к священнодействию — в силу важности и редкости этого события. Фотография все еще продолжала маркироваться в качестве некоей жизненной вехи: часто *не* события фотографировались, а сам факт съемки являлся событием. Об этом свидетельствует благоговейное отношение людей к фотографиям — я уже не говорю о семейных «иконостасах», где, взятые в рамочку, висели все наиболее значимые снимки — практически на всех старых фотографиях *проставлен год* (а иногда и более точная дата), многие из них на обороте *подписаны* (но встречаются подписи и в углу на лицевой стороне). Эти подписи, на наш, «современный», взгляд, очень многословны и несколько сентиментальны. Но это нетрудно понять — человек дарит другому свой *образ*, то есть запечатление себя таким, «каким он хочет себя видеть», «каким он кажется себе» — наиболее красивым/умным/сильным... Об этом процессе, назовем его *программированием рецепции в процессе съемки*, очень точно написал Р. Барт (причем, заметим, написал о *себе* и *своих* ощущениях): «Так вот, как только я чувствую, что попадаю в объектив, все меняется: *я конституирую себя в процессе позирования, я мгновенно фабрикую себе другое тело, заранее превращая себя в образ*»⁷⁶.

В 30-е годы фотографию все еще продолжают ценить за продуманность и сделанность, то есть воспринимать как *портрет*⁷⁷, (тогда как сейчас более всего стремятся к фиксации мимолетности, неподготовленности и неожиданным ракурсам). В процессе съемки человек как бы мгновенно режиссирует снимок. Придавая своей позе, одежде, выражению лица наиболее адекватный (выгодный) вид. Не говоря уже о фотографе, который может все это «поставить»: усадить «должным образом», причесать, заставить «улыбнуться» или «сделать умное лицо».

Именно в изначальной постановочности фотографий 30-х годов кроются, на мой взгляд, их визуальные особенности, независимо от того, —

позы, держа соответственным образом оружие, изображая боевой порыв». — Вартанов А. Этапы развития советского фоторепортажа (20–30-е и 50–60-е годы) // Мир фотографии. М., 1989. С. 8. Реликты такого рода постановочности остались и в фотографии 30-х годов.

⁷⁶ Барт Р. *Camera lucida*. М., 1997. С. 21.

⁷⁷ Интересные сведения приводятся в статье А. Вартанова: в конце 20-х годов все еще бытовало мнение, что *престижной* для фотографа является работа в традиционных жанрах портрета, пейзажа, натюрморта — тогда как «*фиксация событий каждодневных*» признавалась далекой от целей высокого творчества». — Вартанов А. Этапы развития советского фоторепортажа (20–30-е и 50–60-е годы) // Мир фотографии. М., 1989. С. 9. Возможно, именно поэтому в журналах начала 30-х годов под репортажными съемками *не подписаны фамилии фотографов*.

частная это фотография или журнальная. На снимках этого времени лица не только статичны, но и строго *сориентированы на причину фотографирования*: то есть выражение лица «позирующего» *внутренне срежиссировано*, настроено на получение нужного результата. Поскольку причиной съемки обычно являлось некое социально / политически значимое событие, то фотограф (особенно газетно-журнальный) еще и объяснял фотографируемому «сверхзадачу» съемки, добиваясь от него, таким образом, нужного результата. Неточности выражения лица и небрежности съемки компенсировались обильной ретушью.

С *изначальной постановочностью* и *внутренней срежиссированностью* фотосъемки и связаны, на мой взгляд, предпосылки для формирования визуального канона в массовой культуре 30-х годов. Для канонических построений этого времени характерна *оценочность* – не только рецепции, но и *самоощущения* «художника» и «модели». О близких проблемах, но только в отношении кинематографа, писал В. Беньямин. Справедливо делая упор на посреднической роли аппаратуры, во многом обуславливающей природу зрелища, исследователь отмечает, что аппаратура, «под руководством оператора... постоянно *оценивает* (здесь и далее в цитатах курсив мой. – Т. Д.) игру актера. *Последовательность оценочных взглядов*, созданное монтажером из полученного материала, образует готовый смонтированный фильм»⁷⁸. Оценивающая роль кинокамеры (фотообъектива) передается зрителю, то есть кинообъектив *программирует рецепцию*. Оператор («режиссер») моделирует ее в зависимости от своих (в том числе и пропагандистских) установок, обращая внимание зрителя на наиболее типичное, характерное и / или идеологически устойчивое. Как писал В. Беньямин, «возникает новый отбор, отбор перед аппаратурой, и победителями из него выходят *кинозвезда* и *диктатор*»⁷⁹. То есть, победителями выходят люди, наиболее хорошо понимающие *природу зрелища* и использующие ее в своих интересах. Об этих свойствах власти писал в своей статье «Власть как зрелище власти» М. Ямпольский: «... один из существенных аспектов функционирования власти – патологическое *стремление к самоэкспонированию*, выставлению себя напоказ, к превращению себя в перманентное *зрелище*»⁸⁰. Он цитирует французского исследователя Луи Марена, который отмечает, что изображение представителя власти не предполагает динамики, «он вынужден сохранять *абсолютную статуарность*. Движение – это действие – переход от одного состояния к другому, нечто не согласую-

⁷⁸ Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избр. эссе. М., 1996. С. 36–37.

⁷⁹ Там же. С. 42.

⁸⁰ Ямпольский М. Власть как зрелище власти // Киносценарии. 1989. № 5. С. 176.

щеся с абсолютной репрезентативностью»⁸¹. Эта «абсолютная репрезентативность» подразумевает предельную степень срежиссированности рецепции, следствием которой является «застывание» репрезентируемого образа. Это, на мой взгляд, и свидетельствует о начале процесса «канонизации» в культуре, наглядную артикуляцию которого на визуальном уровне я стараюсь проследить.

Именно оппозицию «*Растекания – Затвердевания*» (и ее варианты – «движение – неподвижность», «горизонтальное – вертикальное», «равномерное – иерархическое») положил в основание своей типологии В. Паперный. В книге «Культура Два»⁸² он, на примере советской архитектуры, наглядно показал, что в культуре 30-х годов («культуре 2») наблюдается четкая тенденция к «затвердеванию», «застыванию», «неподвижности» (– и «иерархичности» как неизбежному следствию «застывания»), в отличие от «подвижной», «горизонтальной» и «равномерной» культуры 20-х годов (авангардной «культуры 1»).

Лучше всего это можно проследить на примере советской живописи и скульптуры. Происходит «застывание» форм: взяв за образцы художественную парадигму «Греция – Рим – Ренессанс»⁸³, искусство 30-х годов при всей внешней схожести предельно «утяжелило» и «заземлило» античные образцы, наделило их латентной иерархичностью. Создается впечатление, что художники (скульпторы) «писали портреты» с античных скульптур, а те им долго и старательно позировали. Это *застывшая* античность, превращенная в символ вечного совершенства, ставшая единственным образцом, античность «остановленная», возведенная в канон.

Эта тенденция, охватившая *скульптуру*, – тенденция «застывания» (которое маркировалось как «ваяние на века»), – проявилась в весьма специфических формах. Во-первых, скульптурные изображения начали *раскрашивать золотой (бронзовой) краской* (например, фигуры фонтана «Дружба народов» на ВДНХ, скульптуры в переходах станций метро) – что делает их телесно непроницаемыми: взгляд, рассеиваемый блеском, не может сосредоточиться на телесных подробностях – он «соскальзывает» с фигуры, заставляя воспринимать ее как неантропоморфный объект. Воспринимается только *идея* изображения, тогда как ее телесное воплощение максимально нивелируется. То есть *символическое подавляет телесное*. Во-вторых, похожая ситуация возникает и с *гипсовыми слепками* – они, в силу своей фактуры, не дают взгляду задержаться, поэтому воспринимаются как деталь ландшаф-

⁸¹ Цит. по: Ямпольский М. Власть как зрелище власти // Киносценарии. 1989. № 5. С. 179.

⁸² Паперный В. Культура Два. М., 1996.

⁸³ См.: Паперный В. Культура Два. М., 1996. С. 47–48.

та (в который они обычно вписаны) — наподобие стены дома или лестничного парапета. А тенденция их тиражирования делает их привычными (а, значит, неразличимыми), давая окончательное совпадение плана выражения и плана содержания. Кроме того, в плане репрезентации телесности интересны лепные *панно* и *мозаики* (например, на станциях метро «Киевская» кольцевая, «Парк культуры» кольцевая, «Электrozаводская» и др.). М. Рыклин в качестве их визуальной характеристики отметил «их *незаметность* для протекающей мимо, как бы сквозь них, массы»⁸⁴. Это происходит за счет их удаленности от взгляда и неудобности расположения (например, на потолке, как на станции «Белорусская» кольцевая). При рассматривании они обнажают свою символическую природу: в силу дискретности расположения, они являются изображениями, которые «сами-себе-контекст», то есть высказываниями, замкнутыми в себе и на себя, не предполагающими постройки горизонтальных связей. Поэтому, чаще всего, это предельно знаковые персонажи в предельно знаковых ситуациях, не допускающих толкования: форма растворена в содержании и мы видим только некую «риторическую фигуру», а не телесный образ.

Интересные варианты репрезентации *женского тела* мы можем наблюдать в *живописи*. В 30-е годы для изображений женщины была характерна удивительная тяжеловесность и монументальность, вспомним хотя бы «Метростроевок» А. Самохвалова: впечатление такое, что они не нарисованы, а вылеплены — это античные скульптуры борцов, вырастающие из массивного постамента. Причем эта монументальность входила в программную установку А. Самохвалова — она ассоциировалась у него с «музыкой *механизированного труда*»⁸⁵, а тяжеловесность для него была способом показа «образа-типа советской девушки-метростроевки, *органически впаянной* в общий рабочий ход гигантской стройки»⁸⁶. Оксюморон «органически впаянная» — очень характерная оговорка. Он свидетельствует о желании свести несовместимое: органическое, хаотическое, динамическое женское начало и механистическое, упорядочивающее, статичное мужское — то есть опять попытка синтеза/противостояния двух начал (как в скульптуре «Рабочий и Колхозница», о которой говорилось выше). Результатом такого синтеза явилась *маскулинизация* женской телесности в живописи. У А. Самохвалова эта тенденция получила наиболее последовательное воплощение.

Начиная с конца 20-х в картинах «Женщина с напильником» (1929), «Работница с поднятой рукой» (1929–30), «Кондукторша» (1928), «Спар-

⁸⁴ Рыклин М. Террорологии. Тарту; М., 1992. С. 41.

⁸⁵ См. мемуары: Самохвалов А. Мой творческий путь. Л., 1977. С. 207.

⁸⁶ Там же. С. 210.

таковка» (1928) и др. и позднее в знаменитых «Метростроевках» 1934 года («Со сверлом», «Несущая арматуру», «С лопатой» и др.) он добился синтеза ценою маскулинизации женских образов. Причем, его явно смущало исчезновение «женской телесности»⁸⁷, потому им был сконструирован особый способ изображения женщины: до пояса это была достаточно пропорциональная, чуть крупноватая широкоплечая женщина (девушка); зато нижняя часть фигуры была непропорционально мощной и громоздкой, особенно ноги, которые по своей толщине приближались к объему талии⁸⁸. Фигура обычно представляет собою «треугольник»: небольшая головка с симпатичным лицом и неимоверно массивный низ, напоминающий постамент памятника. Вообще женским образам Самохвалова присуща несвойственная портретной живописи «монументальность» — он рисует не женские тела, а статуи античных богов, (причем, вместе с постаментами!), на которые по недоразумению надели современные одежды. Женские «орудия труда» (напильник, сверло, лопата) также имеют конструктивную функцию — они выполняют роль опор для монументальных тел — вместо классических колонны, скалы, щита или меча⁸⁹. При этом интересно заметить, что в портретах родных художник не «экспериментирует с телесностью»: так на картине «Материнство. (Е. П. Самохвалова с дочерью)» (1930–32) изображена кокетливо одетая женщина нормальных пропорций.

В целом, в живописи, как и вообще в культуре 30-х, были представлены те же два противоположных типа женской телесности, которые я назвала «рабоче-крестьянским» и «артистическим»⁹⁰. Как мы могли убедиться, наиболее последовательно «рабоче-крестьянский» тип представлен в живописи А. Самохвалова, дань этой тенденции отдали А. Дейнека (картина-плакат «Физкультурница»⁹¹), С. Герасимов, Е. Рязский, А. Матвеев, Т. Смотров и многие другие.

⁸⁷ Поскольку в его сверхзадачу входило изображение в одном лице и «богини» и «русской девчонки». См.: Самохвалов А. Мой творческий путь. Л., 1977. С. 207.

⁸⁸ Возможно, именно поэтому одна из самых удачных и знаменитых картин А. Самохвалова «Девушка в футболке» (1932) представляет собою *поясной* портрет: у изображенной чуть широковатые плечи, а в остальном — «Венера» Боттичелли, только в полосатой футболке и с обрезанными волосами.

⁸⁹ Также, как роль цоколя для двух фигур с античными торсами — наклоненных друг к другу тракториста и трактористки — выполняют гусеницы трактора. См. уже упоминавшуюся картину А. Самохвалова «В приволжских степях» (1934).

⁹⁰ См.: 1.1.

⁹¹ На плакате молодая девушка метает диск (массивный торс и «треугольный» силуэт). Тут же дан следующий «реминисцентный» текст: «Работать, стро-

Нужно отметить, что А. Дейнека в силу своей талантливости и разно-сторонности достаточно быстро преодолел это «увлечение эпохи». На его картинах присутствуют разнообразные типы женской телесности от хрупких образов 20-х годов («Текстильщицы»), до «рубенсовских форм» работ тридцатых годов («Мать» 1932, «Купающиеся девушки» 1933). «Артистический» тип был представлен преимущественно картинами и киноплакатами Ю. Пименова: «Зинаида Райх в роли Маргариты Готье» (1934), «Актриса» (1935), киноплакат «Пышка» (1934). Следует еще раз подчеркнуть, что художник изображал преимущественно *актрису в роли*⁹², то есть в костюме, гриме и вписанной в театральный интерьер (декорацию). Все это позволяло изображать женщин — «актрис», «циркачек», «персонажей из истории» и «бесправных женщин Запада» — изящными, загадочными и привлекательными. Подпись к картине «легитимировала» неканоничность изображенных. «Неканоничные» женские образы встречались также у А. Тышлера, В. Лебедева, А. Софронова, А. Фонвизина и некоторых других.

Прежде чем дать краткий обзор репрезентации женской телесности в *кинематографе* 30-х годов, мне кажется уместным опять вспомнить замечание В. Бенямина о том, что победителями «в отборе перед аппаратурой» выходят *кинозвезда и диктатор*. Они не случайно названы *в пафе* — они действительно мало отличаются по способам репрезентации: и тот, и другая являются воплощением *идеала*⁹³. «Человек» и «образ» сплавлялись в них в единое целое: из их «человеческой» (т. е. бытовой, обыденной жизни) камера фиксировала только то, что соответствовало «идеальному образу»⁹⁴ — ум, красоту, патриотизм... И постепенно «образ» занимал роль «человека», навязывая его репрезентациям свои «режиссерские трактовки». Не останавливаясь дольше на «зрелище власти», отмечу особенности

ить/и не нить!/ нам к новой жизни/ путь указан./ Атлетом можешь/ ты не быть./ Но физкультурником —/ обязан».

⁹² Следует указать на знаменитую картину Ю. Пименова «Новая Москва» (1937), на которой *современная* молодая женщина, ведущую автомобиль по дождливой Москве, изображена *со спины*.

⁹³ Поэтому невозможно помыслить в качестве кинозвезды 30-х актрису, исполняющую *отрицательные* роли. Эта тенденция была очень стойкой: вплоть до глубокой перестройки государственные награды и премии давали актерам *только* за роли положительных персонажей (желательно, еще и идеологически «нагруженные»).

⁹⁴ Именно с этим был связан, например, строжайший отбор изображений вождей, с преданием забвению (уничтожению) «неканонических» трактовок. Неизвестным «неканоническим» портретам Ленина, Сталина, Хрущева и др. была посвящена выставка в Историческом музее (Москва, осень 1998 года).

в представлении кинозвезды. В тридцатые годы, «официально» их было только две — Л. Орлова и М. Ладынина. Это интересный факт, поскольку, при изобилии талантливых актрис (В. Серова, З. Федорова, Ф. Раневская, Л. Целиковская, В. Караваева), звездами были «назначены» далеко не лучшие. При всем том, что статус «звезды» всегда искусственно конструировался, в тридцатые годы эта процедура имела свои особенности. Прежде всего, эти актрисы снимались в «эпохальных» фильмах, то есть в фильмах, моделировавших наиболее важные идеи культуры 30-х годов в форме, в наибольшей мере адекватной для этой культурной ситуации. В фильмах Г. Александрова с участием Л. Орловой («Цирк» 1936, «Волга-Волга» 1938, «Светлый путь» 1940) и в фильмах И. Пырьева с участием М. Ладыниной («Богатая невеста» 1938, «Трактористы» 1939, «Свинарка и пастух» 1941) был выработан особый художественный «язык»: был найден способ монологического «говорения» о политике при помощи персонажа-протагониста. Проводниками этой политической риторики и были выбраны выше-названные актрисы. (Заметим в скобках интересную особенность: именно *актрисы*, а не актеры⁹⁵, репрезентируют наиболее важные идеи и типы в кинематографе 30-х годов. Поэтому такое большое значение придавалось *телесному облику «героинь»* — их внешность (тип лица, одежда, жесты), наряду с произносимым текстом, являлась проводником идей.) Наглядным примером работы с «телесным образом» может служить публикация в журнале *«Искусство кино»* за 1936 год, в которой не только рассказывается, но и показывается, как создатели фильма «Цирк» «вылепливали» героиню Орловой. В журнале воспроизведена «цепочка» из 7 фотографий (3x4) под названием «Эволюция портрета Марион Диксон»⁹⁶: на этих кадрах показано, как угнетаемая американская «циркачка» превращается в свободную советскую труженицу, то есть, как изменение статуса и убеждений героини влечет за собою перемены во внешности (одежде, причёске). На этих «кадриках» Орлова из жгучей брюнетки с настороженным взглядом превращается в кудрявую блондинку с волевым открытым лицом. В статье эта метаморфоза объяснялась с идеологической точки зрения.

При рассмотрении женских образов кинематографа 30-х обращаешь внимание еще и на следующий факт: кинематограф пытается свести воеди-

⁹⁵ Поскольку запоминающиеся мужские образы создали только В. Зельдин («Свинарка и пастух») и Н. Крючков («Трактористы», «Свинарка и пастух»). Остальные партнеры Орловой и Ладыниной не запоминаются. Возможно, это было сделано сознательно: во-первых, чтобы не затмевать «звезд»; во-вторых, чтобы придать идеям, представляемым героями, большую *четкость* и *однозначность*, — а хорошая актерская игра обязательно влечет за собой *неоднозначные* трактовки.

⁹⁶ *«Искусство кино»*. 1936. № 7. С. 43.

но оба женских типа «артистический» и «рабоче-крестьянский»⁹⁷. Отсюда либо постоянные сюжетные метаморфозы – превращения «золушек» в «принцесс» – позволяющие героиням фильмов Г.Александрова претерпевать «духовное перерождение», и как следствие его – телесные перевоплощения; либо изначальная условность «некрестьянской» внешности крестьянских героинь Ладьиной из фильмов И.Пырьева – как знак их исключительности – передовицы/активистки и просто красавицы. Именно попытками этого синтеза объясняется и несколько аффектированная интонация, жестикация и походка героинь – они не говорят, а агитируют, продолжая жестами словесный ряд, не ходят, а бегают. Они никогда не находятся в статичном положении: возможно, эта внешняя подвижность должна была компенсировать внутреннюю аморфность образов.

Впрочем, киноискусство 30-х дало огромное число вариантов «нарушения» им же выработанного канона⁹⁸. Их спектр очень велик: от авангардных экспериментов с показом телесности в документально/художественных фильмах Дзиги Вертова – до нежных и неоднозначных образов из фильмов «Сердца четырех» и «Машенька». Эти «нарушения» органично вошли в культуру и, чаще всего, именно они вызывают ностальгически-влюбленное отношение к этой эпохе.

⁹⁷ Сразу оговорюсь, что речь идет о *канонических* женских образах. Героини В.Серовой («Девушка с характером», «Сердца четырех»), Л.Целиковской («Сердца четырех»), В.Караваевой («Машенька»), как и любые талантливые произведения, не укладываются в классификации. Они составляют исключение, отклонение от существовавшего канона.

⁹⁸ Укажу, например, на кинофильм «Заклученные» (1936, реж. Е. Червяков), где показан быт женщин-лагерниц, проходивших «перековку трудом».

БОРИС ГАСПАРОВ

РАЗВИТИЕ ИЛИ
РЕСТРУКТУРИРОВАНИЕ
ВЗГЛЯДЫ АКАДЕМИКА
Т. Д. ЛЫСЕНКО В КОНТЕКСТЕ
ПОЗДНЕГО АВАНГАРДА
(конец 1920–1930-е годы)

Свое название движение авангарда получило за непрерывное стремление к неизвестному, лежащему далеко в будущем и за пределами наличного опыта. В контексте русской культуры с ее мессианскими обертонами это «футуристическое» мировоззрение проявлялось во всеохватной борьбе, направленной на радикальную перестройку не просто концепций искусства и языка, но — с ними и через них — жизни как целого¹. В этой борьбе авангардный прорыв не могло сдерживать никакое принуждение — будь то эстетические традиции, условности языка и социального поведения или законы природы в том виде, в каком их определила «позитивистская», или «буржуазная», наука девятнадцатого столетия. Поскольку творческая сила человеческого духа освобождается от ограничений «позитивистского» интеллекта предшествующего столетия, более не кажутся непреодолимыми даже основополагающие условия человеческого существования, такие как смертность².

¹ Исчерпывающее исследование утопических течений в русской культуре и обществе 1920–30-х годов см.: Richard Stites. *Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution*, New York-Oxford: Oxford University Press, 1989. Политическая и общественная роль утопической мысли начала XX века изучена в: Mikhail Geller & Aleksandr Nekrich's *Utopia in Power: The History of the Soviet Utopia from 1917 to the Present*, New York: Summit Books, 1986.

² Идея Николая Федорова об объединении всех творческих усилий человечества в «общем деле» (направленном на преодоление смерти и воскрешение всех

В этом контексте идея эволюции, или развития, в его различных измерениях: от космогонии, геологической истории и биологической эволюции до социального прогресса и развития языка и искусства — затрагивает самый нерв авангардного сознания, резонируя с мессианскими и утопическими устремлениями этого движения. Русские футуристы и особенно их последователи первого послереволюционного десятилетия были заинтересованы не просто в том, чтобы создать что-то «новое», но в том, чтобы привести в движение силы, которые в конце концов перестроят мир. Овладеть сущностью развития, понять его движущие силы и то, как эти силы можно покорить и направить к конкретным будущим целям, казалось для достижения утопического идеала решающим. Так, понятие эволюции в целом и биологической эволюции, в частности, стало одной из центральных категорий русской авангардной мысли, особенно после революции, когда идея перестройки «жизни» как целого (скорее всего на авангардных условиях) стала реальной целью³.

Таков общий фон, на котором я бы хотел исследовать взгляды Трофима Денисовича Лысенко на биологическую эволюцию: его «теорию развития», совершенствовавшуюся в конце 1920-х—1930-е годы в жесткой борьбе с тем, что он называл «формалистической» или «механистической» генетикой. В ряде имеющихся исследований «дела Лысенко» их объект рассматривается скорее как воплощение разрушительных сил сталинской эпохи, беспримесный символ зла, нежели как реальная историческая фигура, действовавшая в конкретном идеологическом и культурном контексте⁴. Я не собираюсь ни вносить изменения в этот моральный вердикт, ни ставить под сомнение всеобщую уверенность в ненаучности лысенковских экспериментов с растениями.

Цель этой статьи — изучить, что же в действительности Лысенко и его сотрудники говорили (неважно, справедливо или нет, «научно» или нет)

предшествовавших поколений) оказала мощное воздействие на эстетические, философские и социальные идеи эпохи авангарда. См. например: Михаил Геллер. *Андрей Платонов в поисках счастья*, Paris: YMKA Press, 1982; Michael Hagemeyer. *Nikolaj Fedorov: Studien zu Leben, Werk und Wirkung*, München: Verlag Otto Sanger, 1989; Светлана Семенова. *Николай Федоров. Творчество жизни*, М., 1990 (Ч. III: «Судьба идей»), Irene Masing-Delic, *Absolishing Death: A Salvation Myth of Russian Twentieth-Century Literature*, Stanford: Stanford UP, 1992.

³ О дискуссии по проблеме природы биологической эволюции в советской науке 1920-х годов см.: David Joravsky. *Soviet Marxism and Natural Science, 1917–1932*, New York: Columbia University Press, 1962 (Ch. 19: «The Crisis in Biology»).

⁴ David Joravsky. *The Lysenko Affair*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1970 (The book contains an extensive bibliography); Марк Поповский. *Дело академика Вавилова*, Ann Arbor: Hermitage, 1983.

о работе своей и своих оппонентов. Взгляды и заявления Лысенко — взятые не в качестве научного проекта, но в качестве символа веры: то есть в независимости от того, были ли эти заявления разумными или совершенно катастрофическими, или даже умышленно ложными в пределах экспериментальной науки того времени, — важны для понимания идеологических течений в русской авангарде на последней стадии его развития, начавшейся во второй половине 1920-х годов и уничтоженной трагедиями конца 1930-х.

Главный порок генетики Лысенко видит в том, что живой организм она трактует как механическую «конструкцию», сделанную из отдельных частей. Он возражает против понимания генов как особых физических тел, каждое из которых, возможно, ответственно за сохранение определенных генотипических признаков (то есть функционирует как «кусочки наследственности», как он издевательски их называет). Лысенко утверждает, что организм функционирует только как целое: ни один аспект его наследственности не может проявить себя как обособленный изолированный признак, но с необходимостью затрагивает весь организм. Более того, каждый отдельный организм сложным образом принадлежит большому целому: своей семье или роду, что в конечном счете составляет его родовую историю.

Живое тело вообще, любая его частичка обладает породой — наследственностью⁵.

Эта история встроена в организм как его эволюционный потенциал, полностью раскрывающийся в процессе адаптации организма к условиям среды. Результат развития в каждом случае уникален, поскольку осложнен взаимодействием между наследственным потенциалом и внешними условиями.

Все в растении, каждое его свойство, признак и т. д., есть результат развития наследственного основания в конкретных условиях внешней среды. Наследственное же основание есть результат предшествующей филогенетической истории⁶.

Генетики представляли наследственные признаки организма как его структурную «сердцевину», которую невозможно изменить внешним влиянием среды. Для Лысенко взаимодействие между организмом и его окру-

⁵ «Что такое мичуринская генетика» («What is Michurin's genetics?»), 1940 [*Lysenko 1946*, 395]. Lysenko's works are quoted from the edition: M., 1946.

⁶ «Теоретические основы яровизации» («Theoretical foundations of the yarovization»), 1935 [*Lysenko 1946*, 4].

жением составляет самое существо развивающейся «истории семейной линии». Каждый отдельный организм представляет собой уникальное сочетание его наследственности и его адаптивных усилий: этот уникальный результат, в свою очередь, вносит вклад в наследственность последующих поколений и, тем самым, в направления, по которым будет развиваться их адаптация к среде. Этому процессу неведома никакая неподвижность: он непрерывно разворачивается во времени.

Никогда в мире не бывает ничего абсолютно одинакового: в том числе и двух квадратных метров поля нет абсолютно одинаковых.... Организмы всегда обладают свойством повторять пройденный их предками путь развития, но так как условия внешней среды никогда не бывают ни для одного растения абсолютно такими же, какими они были для предков, то и получается, что никогда наследственность семян не бывает абсолютно такой же, какой она была у семян предыдущих поколений ⁷.

Лысенко указывает на то, что так называемая «формалистическая генетика» исследует организм так, как если бы это был «неживой», неорганический феномен. Применительно к объектам, принадлежащим к неорганическому миру, верно, что окружение либо не влияет на их существование, либо играет отрицательную — скорее деформирующую, нежели образующую — роль: однако для всех «живых» явлений существование в среде — это не посторонний фактор, но первостепенное условие. Формирование всех черт живого организма осуществляется в этом непрерывном взаимодействии со средой. Основной порок генетики, согласно Лысенко, состоит в ее «абиологизме», то есть в неумении понять решающее различие между живыми феноменами и теми, что подвластны «механическим» законам.

Взаимодействие неживых тел с окружающей средой не является условием их сохранения, наоборот, это — условие уничтожения их как таковых. Например, чем лучше изолировано какое-нибудь неживое тело от воздействия кислорода, влаги, температуры и т. д., тем дольше оно остается тем, что оно есть. Наоборот, если живой организм изолировать от условий внешней среды, ему необходимых, то он перестанет быть организмом, живое перестанет быть живым. Живое неотъемлемо связано с окружающей средой, с условиями постоянного обмена веществ ⁸.

⁷ «Внутрисортное скрещивание и менделевский 'закон' расщепления», («Inbreeding and the so-called Mendelian 'law' of segregation»), 1938 [*Lysenko 1946*, 187–188].

⁸ «Организм и среда» («Organism and environment»), 1941 [*Lysenko 1946*, 275].

Поскольку организм не состоит из неподвижных и predetermined элементов, продуктивный способ направить его развитие к желательным целям должен коренным образом отличаться от того, что предлагают генетики. Конечной целью должен быть не «механистический» отбор видов с оптимальными линиями наследственности, но скорее «обучение» существующих растений путем подчинения их определенным влияниям среды. Направленная эволюция видится не как ограничительный процесс, нацеленный на отбор и поддержку видов с чистой наследственностью, которая, якобы, сама продуцирует в растении или животном все желательные черты: напротив, она должна стать «творческим» процессом саморазвития, в котором различные виды — сколь бы несовершенны и нечисты по происхождению они ни были — принуждаются к переходу в новое, наилучшее состояние путем взаимодействия друг с другом и со средой.

...[П]роблема — переделка природы растений в нужном нам направлении путем соответствующего их воспитания... Приняв нашу точку зрения, и Н. И. Вавилов сможет переделывать природу озимых растений в яровые. Причем любой озимый сорт при любом количестве растений можно переделать в яровой.

В а в и л о в (*из зала*). Наследственность переделаете?

Да, наследственность! К сожалению, генетическая концепция с ее неизменяемыми генами в длительном ряде поколений, с ее непризнанием творческой роли естественного и искусственного отбора все-таки властвует в головах многих ученых. (*Бурные, продолжительные аплодисменты.*)⁹

Вне зависимости от научной ценности лысенковского силлогизма он вполне последовательно и красноречиво выражал главную мыслительную парадигму, получившую господство в конце 1920-х годов в качестве реакции на преобладающее умонастроение предшествовавшего десятилетия (время первоначального возвышения авангардной культуры). Поэтому не стоит удивляться тому, что полемика Лысенко с «формалистической генетикой» поразительно, пункт за пунктом, сходна с аргументами, выдвигавшимися М. М. Бахтиным и его последователями В. Н. Волошиновым и П. Н. Медведевым в конце 1920-х годов в полемике со структурной (соссюрианской) лингвистикой и формалистической концепцией литературы и литературной эволюции.

⁹ «О двух направлениях в генетике» («On the two trends in genetics»): Key-note address of the session of the Academy of Agriculture [ВАСХНИЛ], 23 December 1936 [*Lysenko 1946*, 164–165].

И Волошинов в «Марксизме и философии языка» (1929: 2-е издание — 1930), и Медведев в «Формальном методе в литературоведении» (1928: в 1934 г. книга переработана в полемически заостренную версию под названием «Формализм и формалисты») полагали, что общая ошибка структурно ориентированного изучения языка и литературы заключается в трактовке их предметов как «мертвой материи». Волошинов доказывал, что теория Соссюра продолжает европейскую традицию абстрактно-рационалистического подхода к языку, сформировавшуюся в процессе изучения «мертвых» языков древности. В том же ключе Медведев подчеркивал, что формалисты, изолируя структуру литературного произведения от его социальной среды, трактовали ее как «химическую (т. е. неорганическую — *Б. Г.*) структуру»¹⁰.

Если бы художественная структура была аналогична, например, химической структуре, которая сама по себе, конечно, внесоциальна, то литература имела бы свою внесоциальную закономерность, так же недоступную никаким социологическим методам, как недоступна им химическая закономерность¹¹.

¹⁰ В. Н. Волошинов. *Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке*, 2nd. ed., Leningrad, 1930 (*Marxism and the Philosophy of Language*, transl. by L. Mateika & I. R. Titunik, New York: Seminar Press, 1973); П. Н. Медведев. *Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику*, М., 1928 (*The Formal Method in Literary Scholarship*, transl. by A. J. Wehrle, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1978); П. Н. Медведев. *Формализм и формалисты*, М., 1934 (In all subsequent quotations translations are mine; numbers in square brackets refer to pages in original editions).

После смерти Бахтина вспыхнула горячая полемика по вопросу авторства двух первых книг. (Однако авторство Медведева в книге «Формализм и формалисты» сомнению не подвергалось, несмотря на то, что большие порции ее текста совпадают с предыдущей книгой, изданной под его именем.) Некоторые ученые категорически утверждают, что обе книги целиком написаны Бахтиным, а имена его коллег появились на них по причинам внешнего порядка. Другие (чье мнение я разделяю) полагают, что Бахтину действительно принадлежат важнейшие идеи обеих книг (а также многое в их конкретной аргументации и справочном аппарате) и даже некоторые пассажи, но «автором» этих книг в строгом смысле он, несомненно, не был. Как бы там ни было, даже если эти книги не принадлежат Бахтину буквально и не могут рассматриваться как «труды Бахтина», они несомненно отражают общий дух бахтинских представлений о языке и словесном искусстве. В этом смысле вполне можно говорить о книгах Волошинова и Медведева как о проявлениях «Бахтинской школы».

¹¹ П. Н. Медведев. *Формальный метод в литературоведении...*, стр. 47–48.

Результатом такого «неорганического» подхода становится отношение к социальной среде как к совершенно постороннему и разрушительному фактору, могущему противоречить художественной структуре и даже разрушать ее, но не играющему в ее создании образующей роли.

Если они правы, если структура литературного явления действительно несоциальна, то роль социологического метода в литературоведении чрезвычайно ограничена и касается, действительно, не факторов развития, а лишь помех развитию литературы, тех палок, которые ставит история в колеса литературной эволюции ¹².

При альтернативном подходе, выдвинутом в книге Медведева, литература рассматривается как феномен, самое существование которого имеет смысл только в качестве неотъемлемой части социальной среды.

Другое следствие «неорганического» подхода состоит во взгляде на литературу или язык как на сооружение, построенное из отдельных и единообразных «готовых элементов». В этой перспективе литература (и ее эволюция) предстает полностью лишенной «созидательной» энергии. Формалисты трактуют ее как чисто механистическую манипуляцию универсальными элементами — то есть как процесс разнообразного комбинирования и рекомбинирования одних и тех же элементов «художественной структуры».

...основная тенденция формалистов — понимать творчество как перекомбинирование готовых элементов... Они последовательно рассматривают весь «литературный» материал как ограниченное число определенных элементов, остающихся неизменными в течение исторического процесса развития литературы ¹³.

Подобный подход Медведев считает чуждым правильному пониманию развития и истории. Для формалистов все компоненты, из которых литература делается, уже наличествуют в универсальном инвентаре истории и культуры. Всякое изменение в литературе или языке состоит просто в перенесении отдельных предметов из этого «складского» помещения на авансцену культуры. Хорошенько использованные и изношенные, эти предметы вновь ускользают на задний план для «репродуктивного отдыха» («уходят вниз гулять под паром», — как формулирует Медведев, иронически отсылая к способу сельскохозяйственного производства). В этом процессе нет никакого действительного развития; он разворачивается, так сказать, в «вечном настоящем»... В нем нет никакого творческого усилия,

¹² Ibid., стр. 54.

¹³ Ibid., стр. 190–191.

никакого стремления «расти» от одного состояния к другому — просто механическое чередование малозначимых компонентов.

Тынянов не показал и не стремится показать, что державинское смещение ломоносовской оды было подготовлено внутри самой ломоносовской оды, что сама ломоносовская ода по собственной внутренней необходимости подготавливала это смещение, что в ней самой накопились те противоречия, которые с необходимостью взорвали ее и создали на ее месте качественно новое образование — державинскую оду¹⁴.

(Последнее утверждение являет особенно примечательную смесь марксистской «диалектической» фразеологии и бахтинской идеи культурного многоязычия, надетую на ламаркианский костяк эволюционной мысли.)

Параллели между этой филологической дискуссией и цитированной выше биологической полемикой несомненны. Иногда кажется, что споры с «формальным методом» в литературе и биологии находятся в отношениях метафорической парафразы. В самом деле, заменив «биологический организм» на «литературное произведение», «природную среду» — на «социальное окружение», «гены» — на «приемы», «эволюцию видов» — на «литературную эволюцию» (или наоборот), мы придем к двум почти взаимозаменяемым парадигмам представлений о природе «органических» явлений, характере их образования и путях их развития во времени.

Я далек от того, чтобы предполагать какие бы то ни было отношения «наследственности» между бахтинской философией языка на рубеже 1920–1930-х годов и «лысенковской» философией биологии последующего десятилетия. Скорее, в этих двух явлениях можно видеть две независимые родословные, или «длительности» разнонаправленной «творческой эволюции» культуры. В самом деле, связь обеих концепций с идеями Анри Бергсона: его жестким разграничением между органической и неорганической материей, его акцентом на творческой стороне приспособления живого организма к среде и, наконец, его пониманием биологической эволюции как дления, то есть непрерывного развития — вполне прозрачна. В случае Бахтина влияние Бергсона могло быть прямым: что касается Лысенко, оно несомненно обнаруживается на промежуточной ступени — в неоламаркистской биологии.

Необходимо, однако, отметить, что Лысенко возражал против того, чтобы его взгляды, как это неоднократно предлагали его оппоненты, квалифицировались как «ламаркизм». Он утверждал, что его «теория развития» переросла «субъективные» элементы ламаркистской концепции эволюции, а именно его веру в неограниченную способность одиночно-

¹⁴ Ibid., стр. 221.

го организма к самоизменению через творческие адаптационные усилия. Лысенко отвергал не только «механистический» подход к биологическому развитию, свойственный, по его мнению, генетикам, но также и «субъективизм» неоламаркистской биологии. Он подчеркивал, что его попытки «перевоспитать» растения осуществлялись не произвольно а в рамках их *родовой истории*.

Сходным образом Волошинов оспаривал не только то, что он называл «абстрактным объективизмом» соссюррианской лингвистики (то есть соссюрровский подход к языку как к структуре, построенной из единообразных компонентов), но и «субъективизм» современной лингвистической мысли. В качестве примера последнего Волошинов ссылался на труды Карла Фосслера, который в 1910–1920-е годы развивал представление о языке как о поле непрерывных творческих усилий его индивидуальных носителей¹⁵. Будучи по взглядам явно ближе Фосслеру, особенно в полемике с Соссюром, Волошинов отвергал абсолютизацию Фосслером творческого потенциала индивидуальных речевых актов. Бахтинское видение языковой эволюции во времени сводит «объективный» и «субъективный» факторы: с одной стороны — историческая память, запечатленная в языковом материале: с другой — непрерывные попытки перестроить этот материал и приспособить его к индивидуальным целям и уникальным условиям употребления.

Бахтин и Лысенко оба были связаны с общей «бергсониянской» структурой мышления, сторонники которой пытались в первой трети столетия (как в биологии, так и в филологии и эстетике) выработать альтернативу тому, что они рассматривали как новую (авангардную) версию позитивистского, «механического» подхода, на который изначально и был обращен критической пафос Бергсона. В то же время оба пытались преодолеть «субъективизм» чисто бергсониянской методологии и найти компромисс (или «диалектическое» согласование) между объективной всеобщей основой и ее динамическим, или созидательным, аспектом. Этим сходством объясняется параллелизм между двумя феноменами советской культуры 1930-х годов, невзирая на все различия в общественном положении и несомненное отсутствие прямых контактов между ними.

Что же касается родства формалистических и генетических представлений об организме и эволюции, то оно носит более прямой характер: это родство было распознано и точно сформулировано самими членами круга ОПОЯЗ — ЛЕФ (особенно В. Б. Шкловским). Ссылки на генетику (наряду с другими естественными науками) оказались ясным, хотя и периферийным способом выразить ощущение объективности и научной точности

¹⁵ Carl Vossler. *Sprache als Schöpfung und Entwicklung*, Heidelberg, 1905; idem, *Frenkreichs Kultur und Sprache*, Heidelberg, 1929.

литературных исследований — качества, которые и в подлинно научной работе считали решающими Шкловский, Р. О. Якобсон и О. М. Брик.

В «Гамбургском счете» (1928) Шкловский использовал основные понятия генетики в качестве метафор, с помощью которых он резюмировал и подтвердил свои взгляды на литературные формы и их эволюцию:

Как химические элементы не соединяются в любых соотношениях, а только в простых и кратных, как не существует, оказывается, любых сортов ржи, а существуют известные формулы ржи, в которых при подставках получается определенный вид... так существует определенное количество жанров, связанных определенной сюжетной кристаллографией.... Я говорю, что у одного писателя не двойная душа, а он одновременно принадлежит к нескольким литературным линиям ¹⁶.

Этот отрывок словно умышленно написан так, чтобы создать мишень для критики со стороны школы Бахтина или Лысенко. (Между прочим, процитированное выше утверждение Медведева о том, что литература не аналогична «химической структуре», могло быть прямым ответом на этот отрывок из Шкловского: обе книги опубликованы в один и тот же год.) Литература, растения, кристаллическая и некристаллическая неорганическая материя, по существу, совмещаются Шкловским как различные проявления одного универсального принципа. Их характер предопределяется универсальными фиксированными «формулами», перестановка которых (подставки) приводят к разнообразию конкретных видов. Следовательно, каждое результирующее явление должно характеризоваться не такими смутными понятиями, как его «душа», но формульными линиями наследственности.

На всем протяжении 1920-х годов ОПОЯЗ находился под постоянным критическим огнем за пренебрежение ролью социальной среды в формировании и развитии литературы. К середине двадцатых Ю. Н. Тынянов, Шкловский и Б. М. Эйхенбаум создали разные варианты развития формалистической модели, краеугольным камнем которой стали взаимоотношения между художественными приемами и нелитературными «фактами», между «стилем» и «материалом», между литературными произведениями и литературным бытом. У Шкловского это развитие только усилило формалистическое родство формалистов с генетикой, показывая, как скрытые наследственные признаки открываются благодаря неожиданным изменениям среды.

Литературные жанры существуют в писателе, как свойства черного кролика в белом, рожденном от черного и белого.

¹⁶ В. Б. Шкловский. *Гамбургский счет*, Л., 1928, стр. 40–41.

Выбрейте его на морозе. Вырастут черные волосы. В зоологии это делает [М. М.] Завадовский.

Изменение климата — это внелитературный факт. «Таким образом, ответ животных тканей на внешние раздражения — в нашем случае холод — определяется всецело наследственным свойством живого существа» [Цитата из Завадовского. — Б. Г.].¹⁷

В высшей степени характерно, что как в эксперименте Завадовского, так и в его литературной экстраполяции, осуществленной Шкловским, среда хотя и признается существенным фактом, но понимается как внешняя враждебная сила: ее взаимодействие с организмом драматично и жестоко: это скорее нападение, чем влияние. Но даже это опасное вмешательство среды способно лишь выявить и, тем самым, возобновить ту наследственность, которая уже отпечаталась в организме в направленной форме, готовой проявиться при правильном напоминании.

Несколькими десятилетиями спустя, в середине шестидесятых годов, через много лет после осуждения (в своей статье 1930 г. в «Литературной газете») формализма как «научно ошибочного», Шкловский в своих мемуарах признал методологическую ошибку опоязовской модели литературы, сравнив ее с моделью ранней генетики:

...доказывал полную независимость искусства от развития жизни. У меня была неправильная теория саморазвивающихся поэтических ген¹⁸.

Теперь Шкловский смотрит на литературу в бесспорно «правильной» научной парадигме: он намекает на то, что литературное развитие зависит от павловских «рефлексов возбуждения и торможения»:

Цель образности, цель создания нового искусства было [sic. — Б. Г.] возвращение предмета из узнавания в видение. Если говорить на языке современной физиологии, то дело сведется к торможению и возбуждению. Сигнал, поданный много раз, действует усыпляюще, тормозяще. На это совпадение моих тогдашних высказываний с работой Павлова мне указал Лев Гумилевский¹⁹.

Генетическая метафора благоразумно отвергается как ошибочная, с тем чтобы заместиться метафорой бихевиористской. После подобной перестройки взгляды Шкловского, казалось, приобрели полезное свойство идео-

¹⁷ Ibid., p. 38.

¹⁸ В. Б. Шкловский. *Жили-были. Воспоминания. Мемуарные записи. Повести о времени: с конца XIX в. по 1962*, М., 1964, стр. 311.

¹⁹ Ibid., p. 294.

логического иммунитета; тем не менее, даже в переформулированном виде они остались открыто «механистическими» и потому столь же, как и прежде, уязвимыми для критики со стороны лагеря «Бахтина — Лысенко».

Третья область культуры конца 1920–1930-х годов, ставшая полем сражения «формальной» и «органической» мыслительных парадигм, включала изучение происхождения и исторического развития языка. В этой области возрастающее влияние антиформалистического «органического» подхода наиболее всеохватно и бескомпромиссно воплотилось в фигуре Н. Я. Марра и его «новом учении о языке».

С точки зрения Марра, все языки мира вовлечены в постоянный процесс взаимодействия друг с другом, а также с идеологическими и материальными условиями их среды, такими как экономика и материальная культура, социальные иерархии и коды, ритуал и мифология. Эту всеохватную картину образования и развития мировых языков он противопоставлял сравнительному языкознанию с его строгим делением языков на различные «семьи», каждая из которых предположительно происходит от своего особого праязыка. Идею о том, что языки могут быть распределены по разным линиям наследственности, каждая со своим особым набором исходных структурных признаков и их последовательными трансмутациями, которые предопределены точными структурными законами, Марр отвергал как рационалистическую фикцию.

Язык создавался в течение многочисленных тысячелетий массовым инстинктом общественности, слагавшейся на предпосылках хозяйственной потребности и экономической организации. В языке не столько важны как факторы физиологические данные, сколько общественное мировоззрение и организующие идеи... Простых образований, девственно непечатых представителей какой-либо чистой расовой речи не только мы не находим ни в одном племени, ... но их никогда и не было²⁰.

В этой критике абстрактного рационализма и формализма, господствовавших в лингвистической мысли на рубеже веков, Марр не был одинок: многие его идеи напоминали идеи его западных современников, таких как Карл Фосслер (бывшего, как мы уже видели, важным источником ссылок и для Волошинова-Бахтина) и Гуго Шухардт²¹. Все эти ученые пытались преодолеть имманентный и строго формальный подход к языку, типичный для сравнительного (а позже и сосюрковского) языкознания.

²⁰ «К происхождению языков» [«On the origin of languages,» 1925] // Н. Я. Марр.

Избранные работы, т. I: *Этапы развития яфетической теории*, М., 1933, стр. 218.

²¹ Hugo Schuchardt. *Über die Lautgesetze: Gegen die Junggrammatiker*, Berlin: Oppenheim, 1885.

Все они апеллировали к романтическому представлению о языке как о воплощении творческой энергии, в начале XIX столетия выдвинутому Вильгельмом фон Гумбольдтом: все сетовали на последующее вырождение лингвистической теории в поиск чисто формальных моделей материальной оболочки языка, господствовавший в языкознании на протяжении второй половины XIX – начале XX столетия²².

Поэтому неудивительно, что некоторые из пунктов критики Марра до боли похожи на критику Волошиновым «абстрактного объективизма» соссиоровской лингвистики и на идеи самого Бахтина о разнородных идеологиях, запечатлевшихся в культурном дискурсе, которые он развивал на протяжении 1930-х годов в таких работах, как «Слово в романе» (1935) и «Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1940). Подобно Бахтину, Марр доказывал, что идеи структурной «чистоты» языка и однородности его наследственной линии являются результатами идеологических манипуляций господствующей социальной силы. Такая сила – будь то привилегированная «высшая культура» или евроцентричное представление о сообществе «индоевропейских» наций – всегда стремилась сохранить свое господство, навязывая свои собственные ценности всему культурному миру и подавляя множество голосов, в действительности сосуществующих и сливающихся в говорящее сообщество на любой стадии его развития.

Подобно Волошинову, Марр полагал, что «схоластика» господствующей лингвистики уходит корнями в традицию изучения «мертвых языков», господствовавшую в европейской филологии:

Индоевропейская лингвистика, ... исходя... почти исключительно от очеченых норм письменных языков, притом, в первую очередь, мертвых языков, естественно не могла сама выявить процесс возникновения вообще речи и происхождения ее видов²³.

В самом деле, сходство настолько поразительно, что представляется вероятным, что этот довод Марра (чьи идеи получили к середине 1920-х годов в советской культурной среде особую известность) мог повлиять на критику Бахтиным – Волошиновым соссиоровской лингвистики и помог оформить некоторые конкретные выводы, предложенные в книге Волошинова. В любом случае, что касается общего философского представ-

²² Как и во многих других полемических работах того времени, риторика Марра строится в значительной степени на сельскохозяйственных и биологических метафорах.

²³ «Основные достижения яфетической теории» [«The principal achievements of the Iaphetic theory», 1924] // Н.Я. Марр, *op. cit.*, vol. I, стр. 211.

ления о языке, аргумент Марра оказался похож на идеи, приблизительно в это же время выдвинутые Бахтиным и его кругом. Обе теории поддерживали «органический» подход к языку в противовес трактовке его как «мертвой материи». Обе доказывали, что важнейшей стороной языка являются скорее запечатлевшиеся в нем коллективные идеологии и коллективная память, чем его материальная форма; эти идеологии носят неизбежно смешанный, амальгамированный и постоянно меняющийся характер — в противоположность жестким и последовательным правилам, которыми может быть описана материальная форма языка. Наконец, оба доказывали, что язык, подобно любой другой «органической» материи, может существовать и развиваться только во взаимодействии со своим окружением.

Что отличало Марра от его потенциальных союзников на Западе (в которых он соглашался видеть только попутчиков) и в России, так это всеохватный, бескомпромиссный характер в равной степени и его критики «западной», или «буржуазной», исторической лингвистики, и того, что он предлагал в качестве позитивной альтернативы. Марр отказывался подчиняться каким бы то ни было формальным законам фонетических изменений, установленным сравнительным анализом языков одной и той же «семьи»: его собственные реконструкции доисторического прошлого языков были движимы свободной ассоциацией идей и не следовали никаким формальным правилам и процедурам.

Иногда результаты были глубокими и многообещающими, но часто в целом произвольными, даже эксцентричными. Ситуацию обострила непрерывно разраставшаяся в конце 1920-х— 1930-е годов идеологическая полемика, которую Марр и его ученики вели со своими оппонентами, и последовавшее за этим административное подавление «формальных» (то есть сравнительно-исторических и структурно-синхронных) лингвистов, приведшее к гибели некоторых из них. Все это: страстное стремление освободить научную мысль от старых позитивистских догм, в конце концов приведшее к полному пренебрежению и даже к полному презрению ко всем конвенциональным правилам и направлениям научной работы: самоуверенность и ощущение гонений со стороны «истэблишмента», приведшее к попыткам любыми средствами этот «истэблишмент» разрушить²⁴ — все это слишком похоже на «дело Лысенко»²⁵. Однако сколь бы ошибочны ни были конкрет-

²⁴ В анналах противостояния Лысенко и Вавилова сохранилась забавная, но психологически замечательная деталь: в кругу Лысенко в конце 1930-х годов было принято говорить о предстоящем уничтожении своих противников как о «разрушении Вавилона». Каламбур, основанный на имени Вавилова, передавая дух библейской праведности, господствовавший среди адептов новой веры.

²⁵ Gisela Bruche-Schulz. *Russische Sprachwissenschaft: Wissenschaft in historisch-politischen*

ные выводы и притязания «нового учения о языке», сколь бы предсудительную роль в советской репрессивной машине не играли его адепты, это не должно затушевывать смысл маррвской неудовлетворенности современной ему лингвистической теорией и серьезность тех общеполитических оснований, что послужили для него отправной точкой в изучении происхождения и развития языка.

В начале 1930-х годов самым громким оппонентом Марра был Е. Д. Поливанов — лингвист, тесно связанный с кругом ОПОЯЗа. В полемической книге «За марксистское языкознание» (1931) и ряде статей Поливанов подчеркивал роль неизменных и единообразных законов, проявляющихся в структуре всех языков и универсальных моделях языкового развития. Развитие языка он видел как дискретный процесс, состоящий из того, что он назвал «сдвиги» или «мутации». Любое отмеченное в языке изменение может и должно быть описано как правильный переход от одного состояния к другому в соответствии с определенными правилами. Поливанов преуменьшал все непоследовательности, которые встречаются в речевых данных (если они не были настолько значительны, чтобы образовать согласованную систему субправил), все указания на сложные и зачаточные процессы развития: подобные явления он считал периферийными по отношению к структурному центру, относительно которого в языке и происходят изменения. Поливанов утверждал, что лингвисты

должны откинуть все эти допущения 0,1 %, 1 %, 2 % и т. д... а иметь дело лишь со следующим: первый этап — отсутствие данного новшества...; второй этап — появление этого новшества... и шаг от первого этапа ко второму, конечно, должен содержать сдвиг мутационного порядка²⁶.

В этом умозаключении опоязовская концепция языка (понятие «сдвига») отразилось в метафоре биологической эволюции, заимствованной из генетики.

В начале 1930-х годов Поливанов способствовал выработке и внедрению единообразной графической системы (основанной сначала на латин-

Prozeß des vorsowjetischen und sowjetischen Rußland, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1984. В этом исследовании «марризм» предстает воплощением злых сил сталинского времени, главной задачей которых было уничтожение «настоящей» науки и «настоящих» ученых. Доказывая эту точку зрения, автор ссылается в качестве аналогии на «дело Лысенко». И Лысенко, и Марр появляются во второй главе с характерным названием «<Сталинские феномены> и пролетарская наука».

²⁶ «Мутационные изменения в звуковой истории языка» («Mutational changes in the history of the sounds of language», early 1930s) // Е. Д. Поливанов. *Статьи по общему языкознанию*, М., 1968, стр. 93–94.

ском, а затем на кириллическом алфавите) многих языков Советского Союза, до революции либо не имевших письменности, либо использовавших арабские буквы. Чтобы привести в определенный порядок, основанный на единообразных и рациональных, научно утвержденных принципах, все «языковое хозяйство» Советского Союза, были приложены огромные усилия. Академик Н. И. Вавилов также в это время видел коллективизированное советское сельское хозяйство как рационально организованное государственное предприятие, которое генетически через централизованную исследовательскую инфраструктуру будет снабжаться чистыми и единообразными генотипами²⁷. Однако ко второй половине 1930-х годов и Вавилов, и Поливанов потерпели поражение от сторонников более идиосинкразического, «органического» подхода; оба в конце концов умерли в заключении. Ретроспективно их гибель является моральным обвинением их оппонентов и, значит, тех идей, что служили инструментом их политических преследований. Казалось, это подтверждается и тем, что в ходе идеологической и политической борьбы конца 1930-х и 1940-х годов упомянутые идеи претерпели различные превращения: они и впрямь превратились в уродливые орудия подавления, философская «родословная» которых стала фактически неузнаваемой.

В заключении хотелось бы сказать о любопытном «связующем звене», являющемся доказательством существования по меньшей мере косвенных связей между различными сторонниками «органической» парадигмы, которые в других отношениях оставались друг для друга абсолютно чужими (в отличие от своих оппонентов, отдававших себе полный отчет в «общности» структурной лингвистики, формалистической литературной теории и генетики). Это звено можно отыскать в произведениях Осипа Мандельштама, относящихся к началу 1930-х годов, – в особенности, в его прозаической книге «Путешествие в Армению» (1931–32, опубликовано в 1933) и стихотворении «Ламарк» (1932). На мандельштамовское описание Ламарка в этих двух произведениях повлияла его дружба с Борисом Кузиным – молодым биологом-неоламаркианцем и поклонником Гете и немецкого романтизма.

О «ламарковском» духе (с которым он настойчиво отождествлял себя) Мандельштам говорит как о проявлении романтического видения органической целостности мира. В Кузине и его коллегам-неоламаркистам он видит последних носителей этого духа, кажущегося безнадежно устаревшим и неподходящим для тусклого позитивистского мира, в котором они живут. Особенно интересно для нашего анализа то, что другое проявление того же духа, родственное ему самому и Ламарку, Мандельштам

²⁷ М. Popovskii, *op. cit.*, p. 38–39. Joravsky 1968, p. 305–306.

видит в Марре и его философии языка, которую он характерно называет «яфетическим любомудрием»; это название раскрывает связь, существовавшую в сознании Мандельштама между марровской «яфетической теорией» и «любомудрами» — русскими романтиками 1820–30-х годов, адептами «органической» метафизики Шеллинга. Так идеи Ламарка о биологической эволюции, марровское представление о процессе глоттогонии и взгляды самого Мандельштама на язык и поэтическое слово (выраженные в таких теоретических произведениях, как «Слово и культура» и «Разговор о Данте») как на воплощении непрерывной культурной памяти соединяются в качестве различных ипостасей того, что он называет антипозитивистской или «романтической» системой мышления²⁸.

В качестве комментария необходимо дополнить, что в 1932 г. Кузин потерял работу в Тимирязевской Академии и два месяца пробыл в заключении — за «ламаркианство», как указала в своих мемуарах Н. Я. Мандельштам²⁹. Ретроспективно этот сравнительно мелкий факт видится прологом к тем несчастьям, которые произойдут с оппонентами Лысенко в конце десятилетия и которых Кузин хлебнул полной мерой. Однако эта перспектива обманчива: в действительности победу над ламаркистами в начале 1930-х годов одержали генетики, объявили их работу «ненаучной» и разгромили или захватили их научные центры (главными из которых была Тимирязевская Академия). На волне этой победы в 1931 г. была организована Всесоюзная Академия Сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ), президентом которой стал Вавилов³⁰. Однако ко второй половине 1930-х годов ситуация изменилась в противоположную сторону: новым президентом Академии стал Лысенко, который свою борьбу с генетикой постепенно перевел с философской почвы на административную.

1920-е годы были эпохой господства культурных сил, созидательная активность которых (социальная, художественная или научная), равно как и утопические проекты радикального переустройства общества, развивались в рамках той парадигмы, которую можно охарактеризовать как «конструктивистскую», «структурную» или «механическую». Сердцевину ее составляет вера в возможности универсального рационального («научного») подхода, при котором ко всем объектам, как естественным, так и социальным, как органическим, так и неорганическим, относятся оди-

²⁸ См.: Boris Gasparov. «Тридцатые годы — железный век (к анализу мотивов столетнего возвращения у Мандельштама)». В: *Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age*, ed. by Boris Gasparov, Robert P. Hughes, and Irina Paperno, Berkeley-Los Angeles-Oxford: University of California Press, 1992, p. 150–179.

²⁹ Надежда Мандельштам. *Воспоминания*, New York: YMKA Press, 1970, p. 260–261.

³⁰ *Joravsky 1968*, Ch. 19 («The Crisis in Biology»), p. 299ff.

наково. В самом деле, возможность значительного прогресса в понимании и покорении внешне столь причудливого мира органических, социальных и идеологических явлений эта линия мысли связывала с экстраполяцией на него принципов и понятий, правильность которых была несомненно доказана в сфере естественных наук и технологии. Отсюда стремление к точным и единообразным методам исследования, к чистоте и последовательности, понимаемым как подлинная природа всякого объекта (даже если она скрывается под причудливой оболочкой), враждебность ко всему «природному» (то есть разнородному, зачаточному и рационально не контролируемому³¹), и, наконец, его риторическая склонность к индустриальным, механическим и простейшим математическим (арифметическим, геометрическим) метафорам.

При таком подходе развитие или история любого явления сосредотачивается в тех сдвигах, которые совершаются в его структуре от одного дискретного состояния к другому: такие сдвиги происходят путем чередования или перестановки составных компонентов структуры. В прошлом эти процессы шли стихийно, однако в новом, послереволюционном мире развитие через перестройку призвано было стать организованным процессом, основанным на строго научных методах, результаты которого можно планировать и предсказывать.

Но во второй половине 1920-х годов и, особенно, в начале следующего десятилетия, эта мыслительная конструкция была оспорена другой тенденцией, которую можно назвать «органической», «экзистенциальной» или «неоромантической». Основываясь на четком разграничении того, что есть «жизнь» (как в биологическом, так и в социологическом смысле) и что ею не является, она к явлениям первого порядка подходила совершенно иначе, нежели к последним. Самым существенными свойствами «органического» феномена были признаны его целостность, активная,

³¹ Это настроение, господствовавшее в начале 1920-х годов, нашло красноречивое выражение в статье Сергея Третьякова «Откуда и куда?», появившейся в журнале «ЛЕФ» в 1923 г. Третьяков предсказывал появление нового человеческого «типа», главной особенностью которого должна стать «ненависть ко всему неорганизованному, косному, стихийному, сиднем-сидючему, деревенски крепкозодому. Трудно ему [т. е. «новому типу» — Б. Г.] любить природу прежней любовью ландшафтника, туриста и пантеиста. Отвратителен дремучий бор, невозделанные степи, неиспользованные водопады, валящиеся не тогда, когда им приказывают, дожди и снега, лавины, пещеры и горы. Прекрасно все, на чем следы организующей руки человека; великолепен каждый продукт человеческого производства, направленный к целям преодоления, подчинения и овладения стихией и косной материей. *ЛЕФ* № 1, 1923 (Март), стр. 201–202.

непрерывно развивающаяся природа и его способность к «творческому» взаимодействию со средой. У органического явления нет постоянных компонентов, которые могут быть описаны в качестве таковых помимо того целого, которым они поглощены. Не поддается он и изъятию во имя научной «чистоты» из своей целостной среды. Способ существования организма – «дление», а не «состояние»: он непрерывно пересоздает себя благодаря взаимодействию между предшествующим и новыми задачами. Органическое утопическое мировоззрение наблюдает скорее за тем, как мир «вырастает» в идеал будущего, нежели перестраивается в него.

Два эти взгляда на мир и его движение к утопическому идеалу нашли символическое изображение в двух двустишиях, первое из которых написано в 1926 г., а второе – в 1935-м:

Мы – это ЛЕФ, без истерики – мы,
По чертежам, деловито и сухо,
Строим завтрашний мир. [Маяковский] ³²

...Но как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу, и люди хороши ³³.

Оба эти мировоззрения можно назвать авангардными, по крайней мере, в том значении, которое предложено в начале этой статьи. В самом деле, оба боролись за радикальное обновление как в своей сфере, так и во всем мире. Оба были плодами философской, художественной и научной революции в начале двадцатого столетия и от своих предшественников и наставников 1900–1910-х годов унаследовали подчеркнутое неприятие «буржуазного» позитивизма второй половины девятнадцатого века. На ранней стадии формирования этих течений различия между теми, кто в своем продвижении к новому миру идей и, в конечном счете, к новому миру всего выбрал рациональный и детерминистский «гуссерлианский» (или, в более широкой исторической перспективе, «гегельянский») путь, с одной стороны, и теми, кто избрал более динамичный и странный «бергсонианский» (resp. «шеллингианский») путь, с другой, – не носили решающего характера. В эпоху подъема и брожения авангарда в 1910-х годах различие между двумя линиями наследственности затенялось их

³² В. В. Маяковский. *Полн. собр. соч. в 30 т.* Т. 7, М., 1958, p. 209.

³³ «Like a peasant who, casting off his private landownership, enters the kolkhos – so enter I the world [or ‘the community’; the meaning is deliberately ambiguous – *B. G.*], feeling goodness of the people.» (Осип Манделштам. *Собр. соч. в 3 т.*, eds. Г. П. Струве и Б. А. Филиппов, vol. 1, 2nd ed., Washington: Inter-Language Literary Associates, 1967, p. 217.

общим противостоянием «старому миру». Только когда авангардные представления стали ощутимо воздействовать на «реальную жизнь», разница между двумя направлениями с их представлениями о будущем стала вопросом жизни — или, точнее, жизни и смерти.

Сессия ВАСХНИЛ, в которой я уже упоминал, — на которой Лысенко, уже в новом качестве президента, разгромил своих оппонентов, — состоялась 23 декабря 1936 года. Прошло всего две недели с момента официального утверждения новой «Сталинской Конституции». Новая конституция упразднила существовавшие ограничения прав граждан по их классовому происхождению и, казалось, всем открыла дверь в новый социалистический мир. Произошло это в том же духе, что и реорганизация советской литературы несколькими годами раньше (1932–34); роспуск Всесоюзной и Российской Ассоциации пролетарских писателей (ВАППБ, РАПП); отказ от обозначения классового происхождения писателя; и создание всеохватного Союза советских писателей. Тот же дух сказался и в знаменитой сталинской фразе «Сын за отца не отвечает», адресованной сыну кулака, ставшему передовиком колхоза.

Время «индустриального» строительства нового мира и нового человека, основанного на обдуманной и научно обоснованной селекции «правильных» компонентов, прошло. Человека больше не рассматривали как винтик в машине; в нем скорее предполагали клетку организма. Человек и его труд больше не воспринимаются как деталь, которая либо подходит работающему механизму, либо отвергается; напротив, он постоянно востребован, он остается в состоянии непрерывного творческого усилия органически «врасти» в непрерывно изменяющийся новый мир. Либо он преуспеев в своем органическом возрождении, либо — на какой-то стадии процесса — будет отвергнут организмом, однако оба результата, будучи проявлениями непрерывного функционирования и развития организма, имеют положительное значение. Процесс не допускает исключений — не потому, что он «универсален», а потому что органически всеохватен. Усилия нового человека под стать усилиям лысенковского растения, старающегося переделать себя по более полезному образцу, или марровского языка, приспособляющегося к вечно новым экономическим и идеологическим проблемам; путь к «жизни» поэта-акмеиста в воронежской ссылке напоминает путь крестьянина в колхоз. Безличный рационализм и бескомпромиссный детерминизм утопии 1920-х годов проложили путь коллективности и всеохватной целостности утопии 1930-х.

Перевод с английского М. А. Дзюбенко

ОЛЬГА ЭДЕЛЬМАН

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Одна старуха так сильно нагрестила верблюда, что тот не смог подняться. Увидев это, она опустилась на колени и произнесла: «Шейх Абдулкадиф, подними, пожалуйста, моего верблюда!» Едва старуха закончила молитву, как верблюд поднатужился и встал на ноги.

«Мама, – обратилась к старухе ее дочь, – кем нам приходится шейх Абдулкадиф?»

– По-моему, никем, – ответила та. – Но это не имеет значения.

Главное, что он хорошо поднимает верблюда.

Сомалийская сказка

Работая в большом исследовательском проекте Государственного Архива Российской Федерации по истории антисоветских выступлений в послесталинское время, прочитывая сотни случаев «антисоветских проявлений», я начала ощущать, что за разнообразными произносившимися тогда советскими людьми крамольными фразами и текстами кроется какое-то единое для всех, цельное и странноватое мироощущение¹. Даль-

¹ Поскольку наши итоговые работы по истории антисоветских выступлений в послесталинский период еще не вышли в свет, следует пояснить, что за антисоветчики имеются в виду. Поскольку Н. С. Хрущев был, как известно, правителем либеральным, при нем по политическим статьям сажали много. В отличие от брежневской эпохи, когда власти стремились свести к минимуму судебные преследования инакомыслящих, и осуждали единицы, отсыла десятки человек в год, при Хрущеве число политических осуждений составляло по несколько тысяч за год, количественные пики приходится на 1957–1958 годы (не считая 1953-го, когда число осуждений сохраняло еще по инерции сталинские масштабы). И если при Брежневре репрессии обращались главным образом против диссидентов, последовательно

нейшие мои рассуждения являются не более чем попыткой собрать кусочки мозаики, предполагая изначальный узор. Анализировать мировоззренческие процессы можно при помощи самых разных оснований классификации, из множества схем выбирая ту, на которую лучше ложится данный фактический материал. Будь то борьба классов, разделенных отношением к средствам производства, сложившиеся исторически культурно-религиозные общности со специфическими способами реагирования, развернутые в гиперпространстве народных масс фрейдистские комплексы или что другое. Я нашла модель, в которую мой материал укладывался просто идеально. Без остатка, без натяжек.

Начнем с того, что крамола сопряжена с официальной пропагандой, они находятся в единой системе, подобно тому как богохульство и благочестие существуют в рамках одних и тех же религиозных представлений и никак иначе. Ведущая, формирующая роль здесь принадлежит стороне, утверждающей основы — религии, идеологии. Противная, вольнодумствующая сторона от нее зависит и, пытаясь опровергнуть, вынуждена следовать правилам игры противника. Таким образом, нам надо начинать с содержимого советской идеологической пропаганды. В свою очередь, как раз добавление к ней крамольных идей обрисовывает весь мыслительный круг и позволяет увидеть его пределы, ограниченный набор комбинаций, существующих в уме усредненного члена сообщества.

О мифологичности советской идеологии писали. При этом во многих случаях слово «миф» присутствовало скорее в значении, синонимич-

боровшихся с режимом, то при Хрущеве сажали за анекдоты, единичные разговоры, более или менее случайные и необдуманные «антисоветские проявления». Жертвами этих политических репрессий становились в большинстве случаев простые люди, не принадлежавшие к интеллигенции, зачастую не имевшие даже среднего образования, рабочие, мелкие служащие, колхозники. Огромное количество «антисоветских выступлений» совершалось в нетрезвом состоянии. Вот примеры характерных сценариев: совершенно пьяный человек брел по улице и среди прочего бормотания поминал привычными ему словами коммунистов вообще и лично руководителя государства, а при задержании сообщил милиционерам, что они фашисты и бериевцы. Просыпался он в участке уже с 58-й статьей и затем много лет писал жалобы в суд и прокуратуру, что он ничего не помнит вообще и какой же он антисоветчик. Или несчастный рабочий в небольшом городе, кормящий семью на скудную зарплату, много лет ждущий квартиру, после очередного скандала с женой напился, вырвал листок из детской школьной тетрадки и написал листовку, что народ живет плохо, а виноваты в этом коммунисты. Надо сказать, что в отличие от стандартных диссидентских 3 лет, при Хрущеве по тогда еще живой 58-й давали 5–7, а то и 10 лет заключения.

ном «неправде». Например, демонстрация советского изобилия — миф, на самом деле магазины пусты. Нас же интересует миф в изначальном значении — лежащее в основе миропонимания предание, включающее в себя описание мира путем рассказа о его происхождении. Таинственным и пока, кажется, никем до конца не объясненным образом мифы разных эпох и народов строятся по сходным канонам. Советская идеологическая схема была не только очень ловким демагогическим враньем. На чистом вранье она бы долго не продержалась, и даже вряд ли смогла бы так убедительно утвердиться в умах на много десятилетий и на огромной территории. Марксизм русского извода являлся классическим мифом, выстроенным по всем правилам этого жанра и соответствовавшим архетипу. Придумал все это, конечно, никак не Карл Маркс и даже не Владимир Ильич. Совершенно несообразно и несколько наивно положение, что «идеологию» избрало некоторое злокозненное меньшинство народа и навязало ее большинству с целью удержания власти. Мне представляется, что советская мифология родилась в сложном взаимодействии пропаганды и воспринимающей ее аудитории, взаимно друг друга отражавших и живших в мире традиционных коллективных бессознательных представлений (уместно напомнить о преобладании сельского населения и очень низком образовательном уровне в пореволюционные десятилетия). Марксизм был переварен и трансформирован традиционным мышлением так же, как в свое время христианство вновь окрещенными языческими народами. При этом оставшиеся на поверхности словесные формулы о «классовой борьбе», «диктатуре пролетариата», Святой Троице или Воскресении приобретали столь мощную и системообразующую архаичную подкладку, что полностью меняли внутренний смысл. Собственно, как то, так и другое учения (при всей очевидной разнице их масштабов) и утвердились благодаря заложенной в них возможности соответствовать парадигме мифологического мышления. Предложение и спрос на идеи жили, так сказать, по законам ценообразования на свободном рынке, в результате чего и родилась советская картина мира, отрицавшая, кстати, право рынка на существование. И внутри этого мифа (или нося его внутри себя, что в итоге то же самое) находились все, от Политбюро до последнего труженика².

² Рассматривать коммунизм как классическую мифологическую систему предлагал М. Элиаде («Аспекты мифа», Москва, 1995, с. 182–183; «Мифы, сновидения, мистерии», Москва, 1996, с. 25; «Священное и мирское», Москва, 1994, с. 128), однако Элиаде как основную составляющую рассматривал марксистскую идею о мессианской роли пролетариата и считал марксизм разновидностью мессианской религии; представляется, что такая оценка более актуальна в отношении русского дореволюционного и западного марксизма, чем для советской идеологии.

Нормальный миф обязан для начала повествовать о сотворении мира: творец из предвечного хаоса создает упорядоченный космос, дальнейшая история — это история борьбы сил порядка и хаоса. Советский акт творения — это конечно же Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая новую эру в истории человечества. До нее были мрак и несчастья, вокруг, за пределами ее воздействия — опять же мрак и страдания трудящихся. Описание буржуазного мира изобилует указаниями на его хаотичность: произвол и беззакония (сами законы несправедливы и следовательно беззаконны), бесправие, неуверенность в будущем, власть чистогана, стихия рынка, неравенство, своекорыстные капиталисты, уничтожающие продукты, тогда как бедняки голодают, трупы. Напротив, социалистический лагерь подчеркнута упорядочен. Общество, построенное в соответствии с открытыми Марксом законами, на строго научных основаниях, грандиозная идея плановой экономики, равные возможности для всех, народ сам творит историю, свойственная советскому человеку уверенность в завтрашнем дне, справедливые законы, пафос всевозможного упорядочения на всех уровнях: снос старых кривых переулков и строительство на их месте широких светлых проспектов, покорение природы с целью опять же наведения порядка — пусть реки текут регулярным, а не случайным образом, распределение всего между всеми поровну, вообще маниакальное выравнивание, ГОСТы, стандарты и классификаторы, единые образцы всего на свете... Не будем утруждать читателя, он и сам может продолжить примеры. Сюда же относится и фундаментальное советское требование коллективизма. Коллектив — организованная структура (партия, колхоз, профсоюз), противостоящая хаосу толпы одиночников. В общем, этакий идеал праздничного парада физкультурников, прекрасного именно своей предельной упорядоченностью, и все счастливы принадлежностью, причастностью к построению.

Круг земной, как известно, окружен мировым океаном, а за ним — хаос. Космос — остров среди хаоса, коммунизм в отдельно взятой стране. И грозят извне разные всякие чудища, главным образом хтонические. Врагов так и называли: гидра контрреволюции, ползучая контрреволюция, акулы империализма, просто гады. Поскольку хтоническая стихия — земля и вода, а чудища этого рода часто обладают свойствами поглощения-извержения, то цвет им полагался черный, земляной, а также большое пузо и очень большие зубы (см. Кукрыниксов или любое другое). Напротив, силы космоса цвет имели красный, огненный, были пламенными

В последнее время ряд исследователей (В. Н. Топоров, В. Паперный и другие) обращал внимание на архетипичность, например, отдельных составляющих советского мышления, но не подвергал его рассмотрению в целом, как систему.

революционерами с горящими сердцами, а также стальными мускулами, пускали барам красного петуха, символом приняли серп и молот и главной целью имели спасение и благодетельствованное человечества, — все это отсылает нас к образу мифологического кузнеца-демиурга (Прометей, Гефест, Тор): «Мы кузнецы, и дух наш молод, кuem мы счастья ключи», а вместо сердца у нас пламенный мотор. Стихия их — воздух, этим объясняется одержимость мечтой о полете, в том числе в различных поэтических формулах, всеобщее увлечение авиацией, Осоавиахим, Чкалов (как мы помним из истории Великой Отечественной, любимую Сталиным авиацию пестовали даже в ущерб иным родам войск, особенно ракетным), после II Мировой войны выросшие в манию покорения космоса (мы не забываем, что американцы тоже покоряли космос, но ведь и они тоже люди, у них свои мифы)³.

Рабочая, кузнечная символика доминировала над аграрной — серпами и колосьями⁴. Самые сознательные рабочие, между прочим, металлисты. Да и серп — вещь железная, скорее из кузнечного ряда. В легенду вошел, извиняюсь, прежде всего как предмет, коим был оскоплен Уран. Здесь надо, кстати, обратить внимание на вторую составляющую красной символики — образ крови. С железом, как демонстрирует пример Урана, он связан напрямую. Большевицское знамя красным было, по официальному объяснению, от крови, пролитой борцами за свободу. Всевозможные обгаренные кровью партбилеты и муссирование призывов к кровавой жертвенности отсылают нас к древнему и чрезвычайно распространенному во многих культурах понятию о сильнейшей магии крови.

Гегемония железного пролетариата по отношению к крестьянству многозначительна. Она подчеркивает стремление к подчинению аграрного начала, сопряженного с женской и хтонической плодородной сутью земли, а значит, родственного извечной враждебной силе. Именно поэтому особенно важной и трудной задачей стала коллективизация, упорядочение ненавистного большевикам крестьянского хаоса, который сопротивлялся изо всех сил. При том что, если попытаться взглянуть извне мифа, сама по себе идея об особенной косности и отсталости крестьянства в общем-то спорна. Пролетариат, разумеется, являлся началом мужским,

³ Между прочим, знаменательно отсутствие среди монструозных врагов революции самой эффектной твари — дракона. Гидра была, а дракона не было. Легко объяснимо тем, что дракон, хоть и пресмыкающееся и иногда даже появляется из моря, все же в большей мере связан с воздушной стихией, летает, а главное — он огнедышащий, значит, из своих.

⁴ Мы сознательно не вдаемся здесь в анализ еще одного символического советского атрибута — красного пентаэдра, о котором и без нас уже немало наговорено.

имел место «союз с крестьянством», символический сакральный брак рабочего и колхозницы (см. известную скульптуру). Отсюда и политика большевиков по отношению к крестьянству, стремление лишить аграрное население опасных корней, в том числе отъединить его от земли как путем создания колхозов, огосударствления земли, так и поставив между нею и крестьянином железного посредника — трактор, комбайн. Возвращаясь к образу серпа, отметим, что в качестве аграрного атрибута он служит тем же целям покорения живородящего царства. Серп — не заступ, не лопата, не плуг, им не взрыхляют землю для усиления плодородия, им срезают-умертвляют-покоряют произведения земли. И если в традиционных культурах копающие, взрыхляющие орудия стояли в ряду фаллических ассоциаций, а обработка ими земли осмыслялась как акт оплодотворения, то серп был приспособлением не столько для снятия урожая, сколько для кастрации. После союза пролетариата с крестьянством, как мы прекрасно знаем, земля родить перестала.

Из той же серии мер по приручению опасных и враждебных сил — и любимый вид великих строек коммунизма, сооружение плотин гидроэлектростанций, каналов, водохранилищ, последними особенно гордятся и называют искусственными морями. С точки зрения экономического прагматизма, равнинные ГЭС не столь рентабельны, чтобы оправдать такой эпический размах. Тут все дело в покорении именно водной стихии. Вплоть до проекта поворота северных рек и поэтического бреда о растоплении арктических льдов. Гораздо более прагматичное железнодорожное строительство окружалось меньшей помпой, не говоря уж о секретном овладении атомной энергией. А когда вместо гидросооружений вся страна занялась БАМом, это стало концом эпохи построения социализма, агонией мифа⁵.

⁵ Уместна параллель с историей реформ Петра I в том виде, в каком она существовала в советской историографии и в популярном изложении. Мифологический сценарий был сходный. Петр во всем наводил порядок, вместо грешивших стихийностью стрельцов учредил регулярную армию, создал табель о рангах, увлекался металлургией и лично любил помахать молотом, особенно напирал на литье пушек (огнестрельное и явно фаллическое орудие), рыл систему каналов (был очарован укротившей воду Голландией), покорял водную стихию, создав военный флот, и выстроил новую столицу с линейной планировкой и каналами для демонстрации победы над врагами. Вслух говорилось, что над шведами, но в сущности, конечно, над финскими болотами в устье Невы. Этим именно, истинным, а не показным, врагом и был сражен: умер от простуды после наводнения. После чего в качестве торжества вырвавшейся стихии последовала целая серия женских царствований.

До и вокруг светлого мира социализма был хаос, населенный ползучими врагами. Собственно, соответственно мифу, и революция-то началась с червей в матросском мясе. Эпизод исторически не центральный, и не самый худший из списка грехов царизма, и революция та была не окончательная, пробная, но в революционном предании как-то сам собой оказался он чрезвычайно значимым. И ведь не то чтобы мяса не было вовсе (тоже ведь нехорошо), или было оно просто вонючим, — нет, непременно черви. Как предельная степень наглости сил хаоса: уже и в тарелку полезли, дальше просто некуда, предел народного терпения, пора наводить порядок.

Эсхатологические ожидания пришествия коммунизма в результате мировой революции сначала, в самые первые после октябрьского переворота годы, были обостренными и имели в виду самое ближайшее время. В хрестоматийных речах Ленина времен гражданской войны присутствует мотив «мировая революция может замедлится до осени, поэтому с Колчаком и другими надо пока справляться самим». Затем коммунистический конец истории стал по техническим причинам постепенно откладываться на все более отдаленное будущее. Но вся драматургия советского бытия основывалась на наличии враждебного окружения.

Мифологическое мышление по природе дуалистично, поэтому мир делится на доброе и злое, своих и врагов. Советская страна излучала свет, правду и надежду народов, а за околом было темное и опасное царство буржуазии. Отсюда делались выводы как во внешней, так и во внутренней политике. Россия всегда была довольно замкнутой державой, отгороженной языком, православием, шириной железнодорожной колеи. После же революции и взрывных идей о ее экспорте с СССР случился настоящий коллапс. Сначала дипломатическое и военное недоверие ко всему окружающему миру, затем реальная возможность сразиться с самим мировым злом — немецким фашизмом (который оправдал ожидания и по части собственной кошмарности, и по части военного сценария: избавление от смертельной опасности и полная победа), наконец, железный занавес, холодная война и ядерное противостояние. Капиталистический мир, надо отдать ему должное, подыгрывал изо всех сил.

Народное мышление, как и советская пропаганда, воспринимало за границу как иной мир, тридевятое царство, настоящий Тот Свет. Что там в точности — не знал никто, ходили только разнообразные, смутные и противоречивые слухи. Через десятые руки передавались рассказы путешественников. По официальной версии, там было плохо. Капитализм был нашим антагонистом, у нас равенство — у них неравенство, у них безработица — у нас такой беды гарантировано нет, у них бедные голодают — у нас растет благосостояние народа, у них негров линчуют — у нас

дружба народов, у нас, в отличие от них, демократия подлинная, и так далее. Предполагалось, что у нас лучше все, поэтому в сталинское время сажали людей, в войну побывавших в Европе и рассказывавших, что там лучше дороги, и что там все едят белый хлеб (для советского человека признак зажиточности!). Вспомним также и столь сильное в конце 1940-х годов стремление доказать отечественные приоритеты во всем. Здесь трудно удержаться и не привести замечательный пример. В 1953 г. в Калуге был осужден школьный учитель, который во время урока в 6 классе, посвященном строению дождевого червя, «уделил слишком большое внимание английскому ученому Дарвину, и о наших ученых упомянул только вскользь, этим самым умалял значение достижений наших ученых»⁶.

Тот Свет есть Тот Свет, контакты с ним чреваты неведомыми опасностями и требуют многих предосторожностей, надзор за соблюдением которых был одной из функций специальной жреческой касты – Коммунистической Партии. Всех выпускаемых Заграницу тщательнейшим образом проверяли. Рациональному разуму никогда не понять, почему нельзя отправить в заграникомандировку человека, изменившего жене, или на которого накатали коммунальную кляuzu соседи. Но жрецы-то знали, что Там лишь кристально чистый человек упасется сам и не навлечет беды на Родину. Те же предосторожности, естественно, касались и приезжавших иностранцев. Во-первых, они ни в коем случае не должны были заметить у нас каких-нибудь недостатков. Во-вторых, следовало ограждать от них советских людей.

Эти меры на сознательном уровне восприятия объяснялись опасением шпионажа и стремлением создать для заграничной аудитории положительный образ Советского Союза. Вторая задача целиком в рамках мифа: трудящиеся всего мира должны знать, что их надежды связаны с социализмом, видеть в нем идеал, уповать на его пришествие. Вне коммунистической эсхатологии это лишено смысла. В рамках реальной внешнеполитической пропаганды тоже. К тому, как выглядел СССР с точки зрения западного наблюдателя, информация об отвратительном борще, отвданном каким-то туристом в уличной забегаловке, или о дырах в асфальте на трассе между городами Золотого кольца, вряд ли что добавляла. Ужас советского функционера при мысли: «Вдруг узнают на Западе!» имел чисто мистическую природу. Равно как и противоположное стремление недовольных режимом людей поведать Западу про наши беды.

Истерия шпиономании являлась одной из разновидностей паники перед мыслью о том, что Враг так или иначе мог ЗАПОЛЗТИ к нам. Можно назвать целый ряд родственных явлений. Фантасмагорические

⁶ Государственный Архив Российской Федерации. Ф-Р.8131. Оп.31. Д.65368.

обвинения в шпионаже, замыслах терактов и прочего в ходе массовых репрессий не подвергались проверке простым здравым смыслом именно из-за мистического характера Врага, так или иначе связанного с Тем Светом капитализма. Разве же можно предвидеть, что Он надумает, коварный, ползучий, неуловимый; то ли мост обрушить, то ли колодцы отравить на погибель советским людям. По тем же причинам казались потенциально опасными все граждане, так или иначе имевшие контакты с Заграницей (анкетные пункты о родственниках за границей, пребывании на оккупированной территории), предков из нетрудящихся сословий, репрессированных родственников. Все это запросто могло оказаться родом союза с Нечистым, околдованностью: «А вдруг его Там завербовали!». Инакомыслие также было видом Пособничества Врагу и потому столь жестоко преследовалось. Существовала «атмосфера общественной нетерпимости», порожденной подсознательным страхом. Для сравнения отметим, что когда в середине 1950-х власти испытали очередной приступ усиления борьбы с хищениями государственного и общественного имущества и поставили на вид правоохранительным органам явные провалы в этом деле, те в ответ пожаловались на главное препятствие в их доблестной работе: отсутствие как раз этой «общественной нетерпимости» к данному явлению. Расхитители народного достояния были понятными, своими, суеверного страха не вызывали и потому не мешали обывателям. При том что последние как раз вполне ощутимо и повседневно страдали от обмивания, обвешивания, разворовывания товаров из ТОРГов и прочего, а антисоветчики им ничего плохого не делали.

Люди, которые из собственного житейского опыта заключали, что советская жизнь не так уж благополучна, тем не менее оставались в плену дуалистического восприятия и дефицита информации о внешнем мире, устойчивые стереотипы мышления не разрушались, а только меняли знак. Данный пропагандой миф вывертывался наизнанку. Раз официальная пропаганда утверждала, что в СССР хорошо, а за границей — плохо, а на самом деле мы видим, что в СССР плохо, то отсюда следовали два варианта суждений: либо можно было считать, что за границей хорошо, т. е. СССР является средоточием зла, а капитализм — добра, в этом случае Космос и Хаос как бы менялись местами и можно было утверждать, что на Западе все устроено правильно и люди благоденствуют, а у нас — бардак (хаос); либо, сохраняя негативную оценку капиталистического мира, можно было обвинять коммунистов в том, что они уподобляются Врагу и ничуть его не лучше. Летом 1953 г. вызванный в суд по делу о краже человек, прежде судимый, явился туда пьяным, нарушал порядок, а когда конвой надел на него наручники, стал кричать, что они с ним обращаются хуже фашистов, что они купили наручники в 1945 г. в Америке за зо-

лото, чтобы надевать их на советских граждан, что если они освободят по амнистии всех заключенных, то те поднимутся против советской власти и перевешают всех судей и прокуроров⁷. В документах прокурорского надзора зафиксировано огромное количество высказываний, «восхваляющих жизнь в капиталистических странах», что безусловно квалифицировалось как антисоветское преступление. На самом деле нет никакого противоречия между хулой и восхвалением зарубежья. Это ведь Тот Свет, Тридевятое царство Кашея Бессмертного, там можно вовсе пропасть, а можно добыть несметные богатства и Василису Премудрую в жены, не говоря уж о всяких там волшебных колечках и скатертях-самобранках. Рисуемые в разговорах картины чужой жизни часто носили фантастический, сказочный характер: «В Америке представители интеллигенции пешком не ходят, ездят на машине, а в случае, если будут ходить пешком, то в таких случаях они вешают на ноги спидометры, ведут учет пути, который они прошли пешком, и за это получают зарплату»⁸; в Америке не осуждают более чем на два года, у них безработные живут лучше, чем у нас рабочие, и т. д. Мечта о бегстве за границу была сказочной, как поход Ивана-царевича. Можно, пожалуй, говорить о подспудном убеждении, что Там — страна исполнения желаний (если уцелеешь). Несколько армянских подростков, из неблагополучных семей, плохо учившихся (одного из них выгнали из школы за неуспеваемость) попытались угнать в Ереване самолет и улететь за границу. Они объяснили свой поступок тем, что Там смогли бы стать теми, кем хотели — один музыкантом, другой киноартистом⁹. Надо сказать, что в формировании сказочного образа закордонного мира участвовали и передачи западных радиостанций, которые, как явствует из дел об осуждениях по политическим статьям, слушали огромные массы советских граждан. Содержание передач внушало уверенность, что Там понимают всю лживость официальных советских заявлений о мнимом благоденствии страны, глубоко сочувствуют подданным коммунистического режима и готовы прийти к ним на помощь. Поэтому, убежав из страны, надо было первым делом выступить с обличением советских порядков, и тогда Тридевятое царство обернется благоприятной стороной. Очень распространенным явлением среди советских заключенных (в том числе и даже по преимуществу уголовников) было писание жалоб на то, что их несправедливо осудили, в американское посольство и лично президенту США, а также и главам других стран. Да и прочие граждане не прочь были написать господину президенту о своей тяжелой жизни,

⁷ ГА РФ. Ф.-Р.8131. Оп.31. Д.43189.

⁸ ГА РФ. Ф.-Р.8131. Оп.31. Д.48102.

⁹ ГА РФ. Ф.-Р.8131. Оп.31. Д.73888.

после чего уже получали и законную возможность писать упомянутые жалобы. Вряд ли они всерьез верили, что это улучшит их положение, но потребность писать все же ощущали.

Зарубежный мир воспринимался так же недифференцированно, как и подавался советской пропагандой. Особой разницы между странами советские люди не чувствовали, что вполне иллюстрирует такой пример: в 1964 г. матрос морского судна из Калининграда выбросил в море банку с двумя записками, «адресуя их властям Дании или Швеции, просил передать эти письма в разведывательные органы США, Англии, Швеции или Дании, предлагал свои услуги по проведению террористской и диверсионной деятельности на территории Советского Союза»¹⁰. Ему не только было безразлично, какая из спецслужб проявит к нему интерес, но и казалось естественным их тесное сотрудничество. Кроме того, он разделял общее для советских людей и пропаганды убеждение, что Запад не упустит возможности навредить Советскому Союзу любым способом, будут вознаграждены и террористические акты. В 1953 г. два жителя г. Нижний Тагил (один из них с уголовным прошлым) разобрали железнодорожные пути и вызвали крушение пассажирского поезда, после чего выражали желание найти агента иностранной разведки и получить от него вознаграждение за совершенный теракт¹¹.

Врагов валили в кучу и не сомневались в их союзе между собой и тождественности. Постоянным явлением были тайком писавшиеся на стенах и заборах лозунги вроде: «Да здравствует Эйзенхауэр и Великий Мао!», «Да здравствует Эйзенхауэр! Да здравствует Гитлер!», или же Тито, «Да здравствует фашизм и Америка», годился и любой другой набор обличаемых советской печатью персонажей. По нашим наблюдениям, особенно распространены такие лозунги были среди заключенных лагерей, и от них просачивались на волю. Однажды в одном лагере вывесили флаг с изображением знака доллара и свастики.

Вместе с тем, конечно, главным олицетворением буржуазного мира являлись Соединенные Штаты Америки. Мало того, что геополитически это была противостоявшая СССР сверхдержава; она еще и находилась за океаном. Соперничество двух сверхдержав приводило к тому, что в конце 1940-х – начале 1950-х годов в СССР было широко распространено ожидание скорой войны с Америкой, порождавшее надежды на освобождение от коммунизма. Особенно популярен этот мотив был у заключенных или людей, прошедших через лагерь: «Америка нас освободит», «Вся надежда на Америку», «Придут братья-американцы, и мы вместе с ними будем

¹⁰ ГА РФ. Ф.-Р.8131. Оп.31. Д.97309.

¹¹ ГА РФ. Ф.-Р.8131. Оп.31. Д.43172.

бить коммунистов» и т. д. Мечтали, чтобы американцы сбросили на Кремль атомную бомбу, особенно во время партийного съезда, даже заявляли, что лучше всем погибнуть в атомной войне, чем страдать под гнетом коммунистов. Говорили, что коммунисты однажды обманули народ, который сражался за них с Германией и ничего за это не получил, второй раз обмануть не удастся: «В этой войне больше Иванов не будет, чтобы идти в бой защищать вожда, они уже ученые. Каждый русский солдат знает, за что он воевал, чтобы получить себе срок 25 лет заключения» (из разговоров заключенных в Актюбинской области в 1950–1952 гг.¹²). Слухи называли конкретные даты, когда начнется война (через год, будущей весной и т. д.)

Иногда слухи приобретали характер мистических апокалипсических ожиданий: о гибели советского строя в войне с Америкой шла речь в подпольных рукописях под названиями «Золотой век», «Бедная душа», «Ангелы», «День страшного суда»¹³; говорили также, что большие войны происходят в годы, сумма цифр которых равна 15 (1914, 1941), таким образом, Америка нападет на СССР в 1950 году¹⁴. Инициатива в нападении безусловно отдавалась США (или США и Великобритании), поскольку Черчилль в Фултоне пообещал освободить народы от коммунизма. В Красноярске в 1967 г. даже были разбросаны листовки: «Америка, уничтожь дракона!», «Да здравствует священная Америка!», «Америка, когда ты придешь и разгромишь драконское царство!»¹⁵. Все-таки дракон — наше чудище, советское. Таким образом, эсхатологические ожидания оставались, но тоже меняли знак: вместо мировой революции — гибель СССР. Уместно вспомнить анекдот о патриархе, введшем догмат о возможности конца света в отдельно взятой стране. Еще более уместно рассказать, что у советских правоохранительных органов имелись более или менее стандартные формулы обвинения для участников различных религиозных сект. Ведь прямо сажать за участие в секте законы не позволяли, приходилось приписывать как состав преступления нанесение вреда здоровью верующих, призывы не исполнять законы государства и прочее. Так вот, членам секты иеговистов в 50–60-е годы инкриминировались разговоры «о скорой гибели советского государства в так называемой Армагеддонской войне», что трактовалось как призыв к насильственному свержению власти (честное слово, не шучу, своими глазами видела больше сотни архивных дел с такой квалификацией). Параллельно, как известно, Н. С. Хрущев провозгласил, что следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме, вскоре стали говорить о насту-

¹² ГА РФ. Ф.-Р.8131. Оп.31. Д.39758.

¹³ ГА РФ. Ф.-Р.8131. Оп.31. Д.67471.

¹⁴ ГА РФ. Ф.-Р.8131. Оп.31. Д.46877.

¹⁵ ГА РФ. Ф.-Р.8131. Оп.36. Д.2087.

плении коммунизма через 20 лет, появилась знаменитая работа А. Амальрика «Доживет ли СССР до 1984 года». Спад напряженности эсхатологических ожиданий по-видимому ознаменовался выдвинутым при Л. И. Брежневте тезисом о построении развитого социализма — это уже была некая статичная данность, коммунизм откладывался на неопределенный срок.

В отношении к Загранице присутствовала еще одна подспудная особенность мифологического мышления, имевшая помимо этого и множество других проявлений. Это — совершенно специфическое отношение к слову. Сотрудникам органов суда и прокуратуры предписывалось соблюдать ряд требований секретности при составлении документов, касавшихся антисоветских преступлений, особенно документов, не имевших грифа секретности — обвинительного заключения, приговора. Существовал ряд сведений, которые нельзя было там указывать. Нельзя было цитировать инкриминируемые антисоветские высказывания или письменные тексты. Также не следовало упоминать имен руководителей партии и правительства, они заменялись эвфемизмами. Обвинение формулировалось как: «Допустил клевету в адрес одного из руководителей советского государства и коммунистической партии». В одном документе, где речь шла о человеке, непочтительно высказавшемся о Сталине в траурные дни марта 1953 г., было даже сказано: «Об одном из руководителей партии и советского государства, недавно умершем». Замечательно, что правило неназывания имени действовало также и в отношении названий капиталистических государств. Писали не «восхвалял условия жизни в США», но обязательно «в одном из империалистических государств». Понятное дело, никаких рациональных резонов в такой секретности не было. Дело здесь очевидно в запрещении называния имени того, что наделено мистической силой, в отношении к слову как к магическому орудию.

Отголоски вербальной магии прослеживаются во многом. Это и страсть к развешиванию лозунгов, которые ироничные современные авторы уже наладились называть «заклинаниями». По сути верно, но это скорее не заклинания, а охранительные амулеты, обереги. Русские солдаты в старину носили на груди в ладанках бумажки с текстом из Библии, охранявшим от пуль. Но это были амулеты потайные, личные, традиция охранения общественных зданий и публичных мест с помощью цитат из священных текстов сильно проявлена у мусульман, христианству она, кажется, свойственна в меньшей степени и как правило ограничивается надписями в храме.

С другой стороны, из работы с архивами я вынесла глубокое изумление неожиданно огромным количеством листовок, писавшихся советскими людьми самого разного социального круга, образовательного ценза, по всей стране. Ну зачем, спрашивается, рискуя головой лепить на забор

листок с сообщением, что коммунисты — сволочи и виноваты во всех бедах? Какой здесь рациональный смысл? Что, народ, прочтя, немедленно прозреет и восстанет? Потребность высказаться в листовке диктовалась той же подсознательной верой в магическую силу слова. Прочитавшие истинное, правдивое слово действительно должны прозреть, в то же время тем, против кого оно направлено, оно должно причинить ущерб. Древняя вербальная магия, лежавшая в основе заклинаний, проклятий, да и бранных слов, сквозила и здесь. Возвращаясь к уже сказанному выше, прибавим, что отсюда же и нетерпимость к инакомыслию, убеждение во вредоносности антисоветских высказываний. Брань в адрес вождя могла принести ему реальный вред.

Вера в силу высказанного слова очень глубоко укоренена в русской культуре. Достаточно напомнить совершенно особое отношение к литературе и писателю. На креативной мощи слова базировалась и советская пропаганда, буквально создавшая в стране вторую реальность, далеко оторвавшуюся от реальности материальной, но не только существовавшую, но даже и бравшую верх над последней. Люди жили в двух мирах одновременно, стояли в очередях с хлебными карточками и каким-то образом верили при этом в советское изобилие. Конфликт между бытовыми обстоятельствами и виртуальной картиной для многих (как раз для гипотетических «народных масс») разрешался не в сторону обнаружения фальшивости сконструированного пропагандой мира, а напротив, противоречившие ему факты наблюдаемой действительности если не объявлялись вовсе несуществующими, то пускались по разряду незначительных «отдельных недостатков». А для борьбы с «отдельными недостатками» существовали газеты, которые их периодически «вскрывали», то есть описывали, после чего местные власти немедленно принимали меры, так что и здесь слово было действенным оружием. Оно оказывалось сильнее вещественного факта. Отсюда и главный способ улучшения жизни и борьбы с недостатками (не «отдельными») — ни в коем случае не обозначать их словами, не называть. Когда М. С. Горбачев начал перестройку с гласности, он нанес необыкновенно меткий удар. Созданное заклинанием заклинанием же и упраздняется. Кстати говоря, здесь же кроется и объяснение быстрого разочарования публики в перестройке. Штука была в том, что перечисленные с высоких трибун недостатки не пожелали исчезнуть немедленно.

Другого рода магические манипуляции, которые также ретиво преследовались советской властью, были связаны с осквернением изображений вождей и государственной символики. Порвать или испакостить портрет, сорвать флаг или вывесить флаг запрещенный (чаще всего — национальные флаги в Прибалтике и на Украине) — это уже не вербальная, а симпатическая магия.

Мы пока не касались еще одной фундаментальной составляющей советской мифологии – вождей. Их сакральная роль давно известна и очевидна до такой степени, что в свое время Н. С. Хрущев так прямо и воспользовался словом «культ» в применении к И. В. Сталину.

Центральный герой классического мифа – культурный герой, демиург, изобретатель множества полезных предметов (ремесел, орудий труда), приручивший домашних животных и научивший людей выращивать растения. Он – основатель рода, и его приключения выступают в роли исторического предания. Советский миф осложнялся тем, что демиургов было двое – Ленин и Сталин. В принципе, многие архаические мифы знают пару демиургов, братьев-близнецов, один из которых иногда выступает в роли трикстера. Но Ленин со Сталиным в близнецы не годились, поэтому их роли в предании отчасти продублировались, отчасти же разделились.

Типичным демиургом был Сталин. Демиург не является творцом мира, он только помог людям в нем устроиться. Так же и Сталин, хоть и соратник Ленина в революции, но не главный ее деятель. Зато он – отец народов, отец, как известно, всех детей, вождь мирового пролетариата (характеристики первопродка), а также корифей всех наук, главный специалист буквально во всем, от лесоводства до языкознания (понимал ведь роль слова!), устроитель жизни – «сталинские пятилетки», «10 сталинских ударов» в войну.

Образ Ленина сложнее. В нем можно обнаружить черты нескольких мифологических персонажей. Помимо признаков первопродка, он был наделен свойствами отдыхающего бога и умирающего бога аграрных мифов. Отдыхающий бог в ряде мифологий (в том числе египетской, шумерской, греческой) – это верховное божество, чаще всего бог неба или воздуха, творец мира, не имеющий при том своего культа. Его помещают во главе пантеона, но ему не поклоняются, поскольку он в дела людей не вмешивается и замещен в мире более молодыми и активными богами. Лежащий в мавзолее «вечно живой» вождь, который «жил, жив и будет жить» на фоне вождя активного вполне соответствовал этому образу. С другой стороны, фантазмагорическая идея мавзолея с мумией – слишком явный намек на последующее воскресение. Вспомним между прочим множество анекдотов про «Ленин воскрес, идет по Красной площади» и т. д. или слухи о том, что он в Мавзолее укрыт до пояса, потому что забальзамирован без ног, не то из экономии, а не то – по проискам Сталина, чтоб не встал¹⁶. Тогда уместно сравнение с центральной фигурой многих религий – умирающим и воскресающим богом (Осирис, Адонис, Таммуз), сопряженным

¹⁶ Эти слухи сложно датировать. Мне известны примеры их бытования в 1940-х и 1960-х годах, любезно сообщенные Н. В. Петровым и Я. М. Златкисом.

с календарным циклом смерти и возрождения природы. Считается, что этот тип религии свойственен в особенности достаточно развитым оседлым аграрным народам. Умирает такой бог как правило насильственно, его убивают — сопоставим с ходившими слухами об отравлении Ленина. Но здесь надо заметить вот что. В мифе об умирающем боге чрезвычайно важна роль женского божества — его супруги и возлюбленной (Исида), благодаря преданности которой и происходит воскресение. В советской же мифологии, несмотря на провозглашенное равенство полов и наличие в пантеоне женщин-революционерок (Крупская, Роза Люксембург, Инес Арманд), равноценной по значимости женской фигуры рядом с Лениным нет (потому и воскреснуть не может). Таким образом, мы возвращаемся к началу нашего разговора, к мысли о нарочитом принижении, искоренении роли женского начала в советском мифе. Вожди не имели жен, соответствующих традиционной функции богини-матери, покровительницы плодородия (опять же Исида, Гера). Крупская была бездетна, Аллилуеву, по слухам, Сталин вообще сам убил. Они даже фамилии вождей не носили. Советская картина мира несла в себе разрушительную идею бесплодия.

В зависимости от исторических и политических реалий акценты смещались с одного из двух главных вождей на другого. В Сталинскую эпоху он был демиургом, а Ленин — отдыхающим или умершим богом. После развенчания культа Сталина (что более чем разумно — двух отдыхающих или грядущих с воскресением богов в одном мавзолее явно много и быть не может) образ Ленина выдвинулся на первый план и вобрал в себя черты демиурга и первопредка, став «дедушкой Лениным». Соответственно вся страна в качестве родового предания изучала то биографию одного, то другого. Ну и, конечно, присутствовал весь декорум — священные изображения, мини-храмы Ленинских комнат и большие храмы обязательных музеев Ленина и все прочее.

Были еще Маркс и Энгельс, самые первые основоположники. Они-то точно были отдыхающими богами. Впрочем, вернее сопоставить их фигуры с оттесненными на задний план более архаичными божествами. Развитые религии имеют несколько поколений богов, изначальные, как правило связанные с небом и землей, породив богов действующего пантеона, отходили в тень, как Уран и Рея, Крон и Гея у греков, уступившие место Зевсу и богам-олимпийцам, или же египетские Шу и Тефнут, Геб и Нут, породившие Осириса, Исида, Сета и Нефтиду. Их почитали, но умеренно, как не совсем родных.

Вожди помельче рангом соответствовали второстепенным божествам, каждое со своей специализацией по одной из отраслей народного хозяйства. Сила и удачливость вождя магическим образом переходят на всех его подданных, от их величины зависит процветание народа. Поэтому их

именами называют города, заводы и прочие объекты, в честь них называют детей. Если вождь заболевает или имеет физические изъяны, становится дряхл от старости, это чревато утратой плодородия в стране, поэтому во многих традиционных культурах такой вождь должен был быть заменен или даже умерщвлен. Но советская парадигма несла в себе ген самоуничтожения, к тому же слишком полагалась на власть слова. Поэтому в вопросе о болезнях и старости вождей также шла по пути их замалчивания. Для народа официальное сообщение об анализе мочи товарища Сталина стало сокрушительным откровением и могло означать только его близкую, если уже не свершившуюся, кончину.

Еще имели место вожди-отступники Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев и иные. Самый плохой и опасный – Троцкий. Его образ лепился по подобию типичного павшего ангела, божества, некогда второго после бога-творца, его любимого детища и помощника, которое возжаждало власти, возомнило себя выше создателя и потому было низвергнуто и ныне возглавляет сонм темных сил.

По-видимому следует считать, что воистину гениальным творцом мифа и многих из его составляющих был И. В. Сталин. После его смерти космогония стала давать трещины, хотя продержалась еще долго. Н. С. Хрущев попытался обновить имидж, приблизив его к рационалистическому западному типу. Народ эти новшества воспринял очень неодобрительно, как потерю уровня и утрату мистического начала. Основные претензии к Хрущеву состояли в насмешках над его обликом и манерой поведения, его прозвали шутком и пьяницей и очень часто сравнивали со свиньей, что было скорее бранью, нежели пережитками тотемизма. Очень раздражал внешнеполитический курс Хрущева, его частые заграничные поездки и приемы в Кремле иностранных руководителей, другим постоянным прозвищем Хрущева и сопровождавшего его Булганина было «туристы». Эти вояжи были одновременно и непонятными и опасными контактами, заигрыванием с Тем Светом, и предметом злой зависти. Непопулярны были также помощь развивающимся странам (самим хлеба не хватает, мы работаем, а они едят), отставка Молотова, Маленкова, Кагановича и прочих членов «антипартийной группы» (они – старые ленинцы, патриархи-хранители традиции). Между прочим, в антисоветских разговорах гораздо меньше присутствовало возмущение мерами, непосредственно затронувшими население – урезанием приусадебных участков, ограничением частного скота. В целом, в мифе Хрущев оказался совершенно не на своем месте. Как фигура шутовская, высмеиваемая в бесчисленных анекдотах, а также тот, кто часто ездит Заграницу, он играл роль мифологического трикстера, шута – вредоносного проказника, служившего медиатором между Тем и Этим светом (Гермес, Локи). Он единственный

из всех богов мог путешествовать на Тот Свет и обратно и поэтому часто бывал проводником душ умерших. Во многих мифах он был фигурой, парной культурному герою, иногда его близнецом, но если герой создавал вещи нужные, то трикстер – вредные или бесполезные. Вроде посадок кукурузы в средней полосе. Верховным вождем трикстер не может быть ни в коем случае, поэтому Хрущева с редкой проницательностью прозвали еще и самозванцем.

Л.И. Брежнев выглядел более импозантно, но до богоподобного эпического героя также не дотягивал. Скорее всего, более-менее благопристойный патриарх. Собственно, миф и не может постоянно воспроизводиться в историческом времени. Миф не знает истории, его время циклично, но не несет с собой принципиальных перемен, подобно бесконечно меняющим друг друга временам года. Боги-творцы, демиург-первопредок действуют в ином измерении, во Времени Сновидений. Так что Брежневу и не требовалось быть чем-то бóльшим. А миф продержался, сколько продержался, а потом видоизменился.

БОРИС ГАСПАРОВ

ЛИНГВИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ

(ЗНАЧЕНИЕ СПОРОВ 1860–1870 гг.
О ПРИРОДЕ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ
В ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКОЙ
И ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ)¹

Споры о языке начала XIX века между «архаистами» (последователями А. С. Шишкова) и «новаторами» (школой Н. М. Карамзина) широко известны как один из важнейших эпизодов в истории русского литературного языка и русской культуры нового времени². Гораздо менее известна вторая

¹ Вариант настоящей статьи опубликован по-французски: «La linguistique slavophile», in: *Histoire-Epistemologie-Langage*, ed. Patrick Seriot, Lausanne, 1996, pp. 125–146.

² Прежде всего, следует назвать классический труд Ю. Н. Тынянова «Архаисты и Пушкин» (в его кн.: *Архаисты и новаторы*, Л., 1929, стр. 87–227). Языковые аспекты полемики с большой подробностью проанализированы в работах: В. В. Виноградов, *Очерки по истории русского литературного языка XVII – XIX вв.*, 2-е изд., Лейден, 1949, Гл. IV – V; В. Д. Левин, *Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII – начала XIX вв. (Лексика)*, М., 1964. В более позднее время появился ряд работ, освещающих позиции Карамзина и Шишкова в историко-культурной перспективе: Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, «Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры (“Происшествие в стране теней, или Судьбина Российского языка” – неизвестное сочинение Семена Боброва)». *Труды по русской и славянской филологии*, вып. XXIV (Acta et commentationes Universitatis Tartuensis, t. 358), Tartu, 1975, стр. 168–254, Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, «Письма русского путешественника Карамзина и их место в развитии русской культуры». В кн.: Н. М. Карамзин, *Письма русского путе-*

волна филологической полемики, начавшаяся в эпоху Великих реформ (конец 1850 — начало 1860-х годов) и продолжавшаяся, с перерывами, до второй половины 1870-х гг. В дебатах этого времени, как и полувеком ранее, обсуждался вопрос о характере русского языка и возможных путях его дальнейшего развития; вновь защитники уникальности русского языка и его исторического «особого пути» столкнулись со сторонниками универсальных принципов, которым должен отвечать язык всякого «просвещенного народа».

Хотя идеи, выдвинутые в полемике 1860-х годов, упоминаются в обзорах, посвященных истории русской лингвистики³, можно утверждать, что их более общее значение в истории русской культуры не оценено по достоинству⁴. Это можно объяснить тем, что масштабы полемики 1860-х годов были несравненно более скромными по сравнению с тем резонан-

шественника, Л., 1984, стр. 525–606; М. Г. Альтшуллер, *Предтечи славянофильства в русской литературе (Общество «Беседа любителей русского слова»)*, Ann Arbor: Ardis, 1984. См. также Б. М. Гаспаров, *Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка*, Wien, 1992 (Wiener slavistischer Almanach, Sonderband 27), стр. 28–73.

³ Лингвисты славянофильского направления долгое время не получали признания со стороны канонической науки. Заслуга включения их в историю русской лингвистики принадлежит В. В. Виноградову. См. его труды: *Русский язык. Грамматическое учение о слове*, М., 1947 (главы о категориях времени, наклонения и вида глагола) и *Из истории изучения русского синтаксиса. От Ломоносова до Потемни и Фортунатова*, М., 1958, стр. 194–202. Отдавая дань оригинальности взглядов таких лингвистов, как К. С. Аксаков, Н. П. Некрасов, А. А. Дмитриевский, Виноградов рассматривает их труды, в основном, как преходящий эпизод, который не оставил существенных следов в дальнейшем развитии учения о русской грамматике. В некоторых более поздних работах, однако, подчеркивается плодотворность идей этого направления; см. в особенности В. В. Колесов, «Становление идеи развития в русском языкознании первой половины XIX в. В кн.: *Понимание историзма и развития в языкознании первой половины XIX века*, под ред. А. В. Десницкой, Л., 1984, стр. 163–199.

⁴ Попытка такой постановки вопроса была предпринята в моей более ранней статье: Boris Gasparov, «The Language Situation and the Linguistic Polemic in Mid-Nineteenth-Century Russia». In: *Aspects of the Slavic Language Question*, ed. Riccardo Picchio & Harvey Goldblatt, New Haven: Yale Concilium on International and Area Studies, 1984, vol. 2, pp. 297–334. В этой работе, однако, я рассматривал только идеологическую связь филологических идей Аксакова и его последователей со славянофильским движением; более широкое философское содержание этих идей не было мне тогда понятно.

сом, который имела в русском обществе полемика «архаистов» и «новаторов» в начале века. Если за столкновением между партиями Карамзина и Шишкова следило все образованное русское общество, то новые дебаты проходили в основном на страницах филологических и педагогических изданий и охватывали сравнительно узкий круг лингвистов и преподавателей русского языка. Да и предмет спора, на первый взгляд, значительно сузился: в начале века вопрос стоял о том, каким должен стать русский язык нового времени; в 1860-е годы полемика велась не столько о судьбе языка как такового (русский литературный язык получил к этому времени такое многостороннее развитие, что его судьба едва ли зависела от чьих-либо пожеланий), сколько о способах его описания: какой должна быть русская грамматика и преподавание ее в школе.

И тем не менее, полемика третьей четверти XIX века, несмотря на свои скромные общественные масштабы, является важным фактом истории русской мысли. Идеи, выдвинутые в этот период, представляли интерес не только для изучения морфологии и синтаксиса русского языка, — они имели более широкое философское и историко-культурное значение. В спорах о категориях русской грамматики отразились общие тенденции развития русской философской мысли в ее отношении к европейской — в первую очередь немецкой — романтической философии и филологии.

Традиционная академическая наука, занимавшая господствующее положение в Академии, столичных университетах и Министерстве народного просвещения, принимала как аксиому, не нуждающуюся в обсуждении, идею о том, что описание всех языков — в том числе русского — должно строиться на основании всеобщих принципов. В основе этого убеждения лежала вера в объективный и универсальный характер научного знания, которое, по крайней мере в идеале, не должно зависеть ни от личного характера исследователя, ни от каких-либо местных обстоятельств. Унаследованное от эпохи Просвещения, это убеждение теперь, в середине XIX века, получило позитивистское переосмысление, в качестве веры в абсолютную и безусловную достоверность «фактов», добываемых наукой.

Применительно собственно к лингвистическим проблемам, эта принципиальная методологическая позиция подкреплялась убежденностью в том, что все языки (или по крайней мере все «развитые» языки, принадлежащие к индоевропейской семье и представляющие европейскую культуру) имеют сходную в принципе грамматическую структуру. Такая точка зрения нашла свое выражение в научных и учебных грамматиках русского языка, построение которых с большей или меньшей буквальностью следовало канве морфологических категорий и синтаксических структур, известных из грамматики классических, романских и германских языков. Специфические особенности русского языка — такие, например,

как широкая распространенность безличных предложений без подлежащего, — играли в таком грамматическом описании роль идиосинкретичных вкраплений в основную структуру, часто оцениваемых как пережитки «архаического» состояния. Такая позиция опиралась не только на авторитет западных образцов, но и на наиболее известные грамматики русского языка, появившиеся в предшествующие четверть века: *Практическая русская грамматика* Н. И. Греча (СПб., 1834), *Русская грамматика* А. Х. Востокова (СПб., 1851), *Опыт общесравнительной грамматики русского языка* И. И. Давыдова (СПб., 1852), *Опыт исторической грамматики русского языка* Ф. И. Буслаева (М., 1858).⁵

Академической традиции противостояла группа ученых, педагогов, публицистов, которую с некоторой условностью можно назвать «славянофильским» направлением. Его главным вдохновителем и идеологом был один из ведущих деятелей славянофильского движения — К. С. Аксаков, филологические труды которого были непосредственно связаны с идеологией и философией московских славянофилов 1840–1860 гг. Однако лингвистические идеи Аксакова нашли себе последователей среди небольшого, но весьма активного круга профессиональных лингвистов и педагогов, непосредственно к славянофильскому движению не принадлежавших, — не только в Москве (Н. И. Богородицкий), но и в Петербурге (Н. П. Некрасов), и в провинции (А. А. Дмитриевский). Их труды составили как бы особую ветвь этого движения, в которой славянофильское мировоззрение получило выражение применительно к специальным лингвистическим проблемам, относящимся как к трактовке общих лингвистических понятий, так и к конкретным чертам грамматического строя русского языка.

Славянофильское направление решительно оспорило оба фундаментальных принципа, составлявших основу академической филологии: и веру в универсальность и безличную объективность процесса познания, и убежденность в принципиальном сходстве строения всех европейских языков. В 1856 г. в журнале «Русская беседа» появилась статья Ю. Ф. Самарина «О народности в науке». Позитивистскому убеждению в объективности науки Самарин противопоставил романтическое (восходящее к Шеллингу) представление о познании как результате взаимодействия познающего субъекта с познаваемым объектом. Всякий акт позна-

⁵ Полемика К. С. Аксакова с концепцией и многими деталями *Исторической грамматики* Буслаева сыграла важную роль в формировании славянофильской оппозиции господствовавшему академическому канону. См. К. С. Аксаков, «Критический разбор “Опыта исторической грамматики русского языка” Ф. Буслаева», *Русская беседа*, т. 5, кн. 17 и т. 6, кн. 18, М., 1859 (также: К. С. Аксаков, *Полное собрание сочинений*, т. 2, ч. 1, *Сочинения филологические*, М., 1875).

ния, по Самарину, отражает в себе не только свойства объекта, но и свойства познающего субъекта – в первую очередь его «народность», то есть особый склад ума и способ воззрения на предметы, воспитанные в условиях определенной среды и определенной культурной традиции:

Народность есть больше, чем объект для мысли; сама мысль должна получить от нее свое образование; ибо, как в истории общечеловеческие начала проявляются не иначе как в народной среде, так и в области науки мысль возводит эти начала в сознание через ту же народную среду.⁶

Оппонент Самарина в «Русском вестнике» отвечал на этот тезис с искренним недоумением. Не отрицая роль «народности» в жизни той или иной нации, он решительно отвергал какое-либо ее значение для науки; предметом последней является объективная истина, не зависящая от индивидуальной или национальной психологии:

Ограничивая вопрос исключительно делом науки, мы должны сказать, что здесь разные точки зрения допускаются лишь по отношению их к одной, всеобъемлющей, единственно-обязательной точке зрения истины..... Познание не может и не должно иметь никакого характера, кроме истинного.⁷

В атмосфере все возраставшего всеобщего интереса к предметному знанию, характерной для середины века, и академическая наука, с ее рационалистическим универсализмом, и славянофильская филология, проникнутая духом романтического национального самосознания, уже не довольствовались декларацией своих общих воззрений на предмет, но стремились реализовать последние в конкретном описании этого предмета; и «нео-картезианская», и «нео-шеллингианская» идеология искали способы выразить себя в духе позитивистского века, с его культом «реальности» и конкретных, эмпирических фактов.

Описание родного языка предоставляло в этом отношении богатые возможности. Вопрос о том, как построен национальный язык и в каких категориях следует его описывать, послужил для славянофильского направления благодарной почвой, на которой срослись в неразрывное единство романтические представления о национальном духе и злободневные социальные вопросы об отношении науки и народной жизни, позитивистское стремление к фактической конкретности познания и такие фундаментальные философские категории, унаследованные от романтиче-

⁶ *Сочинения Ю. Ф. Самарина*, т.1, М., 1877, стр. 120.

⁷ «Заметки “Русского вестника” – вопрос о народности в науке» (редакционная статья), *Русский вестник*, 1856, № 12.

ской эпохи, как соотношение субъекта и объекта, духовной сущности и ее материального воплощения. Только оценив в полной мере те широкие философские и культурно-исторические категории, которые стояли за лингвистической полемикой и подразумевались ее участниками, можно понять то духовное напряжение, с каким лингвисты и преподаватели языка эпохи Великих реформ обсуждали вопросы о том, имеет ли русский глагол формы времени, или является ли подлежащее главным либо второстепенным членом предложения.

Суждения об уникальности строя русского языка и существенном его отличии от западноевропейских языков высказывались время от времени и в предшествующие два десятилетия; можно упомянуть, в частности, диссертацию М. Н. Каткова, в которой автор высказал мнение о том, что русскому глаголу, в отличие от западноевропейского, не свойственны формы времени — идея, которая займет одно из центральных мест в дискуссиях 1860-х годов⁸. *Филологические наблюдения над составом русского языка* Г. П. Павского (СПб., 1850) явились первым общим курсом русской грамматики, в котором особенностям структуры русского языка (в частности, формальному выражению «степеней действия», то есть видов) было уделено большое внимание. Но в 1830–1840-е гг. такие суждения не получали ни общественного отклика, ни более широкого идеологического осмысления.

Ситуация изменилась на рубеже 1860-х гг., когда в Москве вышли в свет два труда, которые можно считать основополагающими для славянофильской лингвистики: трактат К. С. Аксакова *О русских глаголах* (М., 1855) и первый том *Толкового словаря живого великорусского языка* В. И. Даля, открывавшийся «Напутным словом» автора (М., 1863).

В обоих сочинениях общая славянофильская идея об уникальности русского исторического пути переносилась на почву лингвистики. Исходный тезис обоих авторов состоял в следующем: подобно тому как духовное и социальное развитие русского народа должно следовать его уникальному историческому опыту, а не подражать чуждым ему формам, заимствованным у Запада, — так и описание русского языка должно выработать свои собственные категории, отражающие уникальные особенности предмета, а не следовать понятиям, переносимым из описания других языков. Грамматист или лексикограф, описывающий русский язык, отнюдь не должен стремиться найти в нем все то, что он привык считать непрменной принадлежностью западных языков. По словам Аксакова, —

Разве только в том состоит честь и слава, чтобы повторить у себя чужое, чтобы пройти по чужой дороге не хуже других? Разве нельзя идти по своей

⁸ М. Н. Катков, *Об элементах и формах славяно-русского языка*, М., 1845, стр. 210.

дороге, разве нельзя, не имея чужого, иметь вместо него свое, совершенно свободное, отличное от всех?⁹

Даль выражает ту же мысль с еще большей публицистической резкостью. Согласно Далю, сама судьба языка прямо зависит от того, адекватно ли изучение и преподавание этого языка отражает его национальную особенность. Русскому языку, переодетому в «немецкое платье» несвойственных ему категорий и оборотов речи, заимствованных из грамматик и словарей других языков, угрожает опасность захиреть и потерять способность к органическому развитию:

Мы начинаем догадываться, что нас завели в трущобу, что надо выбраться из нее поздорову и проложить себе иной путь. Все, что сделано было доселе, со времен петровских, в духе искажения языка, все это, как неудачная прививка, как прищипа разнородного семени, должно усохнуть и отвалиться, дав простор дичку, коему надо вырасти на своем корню, на своих соках...¹⁰

В своем трактате (который он посвятил А. С. Хомякову) Аксаков ставит вопрос о категориях русского глагола в выражениях, представляющих собой квинтэссенцию славянофильской идеологии:

О Русских глаголах было писано много, но вопрос доселе остается не решенным, доселе понимание еще не уравнилось с предметом, и глаголы нашего языка остаются во всей своей непокорной самостоятельности, не поддающейся теоретическим объяснениям..... И русские, и немцы пытались объяснить Русской глагол, но доселе безуспешно. Нет сомнения, что иностранцам трудно постигнуть язык, им чуждый; особенно Немцам трудно постигнуть язык Русской: но едва ли легче понять его и Русскому, руководимому иностранными воззрениями...¹¹

Эта декларация вместила в себя в сжатом виде все излюбленные славянофильские мотивы: тут и уникальная жизненность и энергия русского духовного опыта, неподвластная рационалистическому объяснению; и драматичность современной ситуации, возникшей из-за подражания «иностранному воззрению»; и наконец, энергичная тирада против «немцев», неспособных постигнуть сущность «чуждого» им языка. Следует подчеркнуть, что последний тезис в устах Аксакова отнюдь не являлся

⁹ К. С. Аксаков, *О русских глаголах*, М., 1855, стр. 7.

¹⁰ «Напутное слово» цитируется по изд.: В. И. Даль, *Толковый словарь живого великорусского языка*, 6-е изд., М., 1978, т. 1, стр. XIII.

¹¹ *О русских глаголах*, стр. 5–6.

примитивным националистическим выпадом; тут же он признает в качестве своих предшественников, наряду с Павским, немецких лингвистов Иоганна Фатера и Августа Вильгельма Таппе, впервые поставивших (в начале века) вопрос об исключительном значении вида для русского глагола.¹² Подобно этому, и вся славянофильская культурно-историческая концепция самым непосредственным образом вытекала из немецкой романтической метафизики и идеологии национального духа. Негативный собирательный образ «немцев» подразумевает, конечно, не Шеллинга и Гегеля, не Фатера и Гумбольдта, но скорее примитивный экстракт всего «иностранного», возникающий в его массовой рецепции на русской почве. Совершенно аналогичным образом, несколькими десятилетиями ранее основоположники немецкой романтической филологии, от Гердера и Ф. Шлегеля до Боппа, Гумбольдта и Я. Гримма, произносили энергичные тирады против поверхностности французской мысли и французского языка; немецкое национальное самосознание выросло из почвы, подготовленной влиянием французского Просвещения, и выпады против символических «французов» служили риторическим инструментом этого, позитивного в своей сущности, процесса.

Ниже мы вернемся к вопросу о том, почему именно «русский глагол» оказался для Аксакова, а вслед за ним и для целого ряда филологов 1860–70 годов, средоточием уникального русского начала, для осмысления которого непригодны никакие готовые понятия и категории. Сейчас же обратимся к сущности аргументов Аксакова и его последователей.

Аксаков приглашает читателя посмотреть на употребление глаголов в русском языке «взглядом ясным, без иностранных очков». Следуя этому предписанию, он демонстрирует на ряде примеров, что формам русского глагола не свойственно устойчивое выражение времени — ни прошедшего, ни будущего, ни настоящего:

...прежде всего поражает нас то, что прошедшего времени в нашем языке нет вовсе. Русский язык не считает действия прошедшего за действие.....
 Формы глагола, часто употребляемые для выражения будущего, не могут назваться формами будущего времени, ибо часто употребляются и в прошедшем и в настоящем..... Следовательно, в Русском глаголе нет формы

¹² Johann Severin Vater, *Praktische Grammatik der russischen Sprache in Tabellen und Regeln nebst Übungen zur grammatischen Analyse*, Leipzig, 1808; August Wilhelm Tappe, *Neue theoretisch-praktische russische Sprachlehre für Deutsche: Mit Beispielen, als Aufgaben zum Übersetzen aus dem Deutschen in das Russische, und aus dem Russischen in das Deutsche, nach dem Hauptlehren der Grammatik, nebst einem Abrisse der Geschichte Russlands bis auf die neuesten Zeiten*, St. Petersburg, 1812.

будущего времени. Какое же время есть в Русском глаголе? Одно настоящее? Но настоящее одно, без понятия прошедшего и будущего, не есть уже время: это бесконечность. Бесконечности опять не могут выражать Русские глаголы, выражая действие, непременно являющееся под конечными условиями мира.¹³

Можно заметить, что эта аргументация строится на двояких основаниях. Во-первых, Аксаков показывает на конкретном языковом материале разнообразии временных значений, принимаемых одной и той же формой глагола, номинально числящейся в грамматике как форма времени. Так, в примере из фольклора: *И поехал Дунай ко князю Владимиру, И будет у князя на шифоком дворе*, – формы «прошедшего» и «будущего» употреблены как синонимы; в этом контексте, слово *будет* отнюдь не означает будущего события («как понял бы иностранец», по словам Аксакова), но относится к повествованию о прошедшем. Аналогично, в высказывании: *Он немного теряет часов на разговоры, каждое утро он скажет мне: здравствуй, и пошел себе заниматься*, – все формы времен «перемешаны» и взаимозаменяемы. В этой свободной игре глагольными формами, возможной в русском языке, собственное временное значение каждой формы полностью растворяется в контексте.

Во-вторых, этот эмпирический аргумент подкрепляется идеологическим рассуждением: «русский глагол» потому пренебрегает категорией времени, что последняя представляет собой продукт абстрактного рационалистического подхода к жизненному опыту. Рационалистическая мысль отвлекается от непосредственного характера действия, сосредоточиваясь вместо этого на отвлеченных от самого действия условиях (временных и модальных), в которых оно протекает; именно так, по Аксакову, поступают «другие» (то есть западные) языки. В отличие от этого, значение форм русского глагола направлено на выявление качественной «сущности» действия, то есть его протяженности, кратности, интенсивности, исчерпанности и т. п.

Глагол в Русском языке выражает самое действие, его сущность..... Язык наш обратил внимание на внутреннюю сторону или качество действия, и от качества уже вывел, по соответствию, заключение о времени..... Вопрос качества, вопрос: *как?* есть вопрос внутренний и обличает взгляд на сущность самого действия; вопрос времени, вопрос: *когда?* есть вопрос поверхностный и обличает взгляд на внешнее проявление действия. Я несколько не завидую другим языкам и не стану натягивать их поверхностных форм на Русский глагол.¹⁴

¹³ О *русских глаголах*, стр. 9, 11.

¹⁴ *Ibid.*, стр. 12, 15.

Таким образом, значение вывода об отсутствии у русских глаголов грамматической категории времени выходит за рамки чисто лингвистической гипотезы о том, что в русском языке временные формы не имеют постоянного значения, а зависят от вида и способов действия. Для Аксакова обнаруженное им языковое явление имеет прежде всего философский и идеологический смысл. Оно позволяет поставить вопрос о различии между внешней, рационалистически отвлеченной категоризацией жизненного опыта, составляющей, согласно славянофильской концепции, сущность западной ментальности, и органическим подходом, стремящимся проникнуть в «жизненную» сущность явлений, — то, что составляет отличительное свойство русской культурной традиции, а как теперь выясняется, и русского языка. (Излишне напоминать, что именно такое противопоставление «сухого» рационализма и органической «жизненности» было центральной идеологической осью, вокруг которой на рубеже XVIII — XIX вв. строилось философское и эстетическое самосознание немецких романтиков, в его противопоставлении французскому Просвещению).

Даже эмпирический материал, на котором Аксаков основывает свою аргументацию, имеет идеологический подтекст: многие примеры переменного значения временных форм взяты из народной разговорной речи, пословиц, фольклорных поэтических произведений. В этой ориентации на «живую народную речь», опровергающую грамматические доктрины, имплицитно возникает тема, которую более радикальные последователи Аксакова в 1860–70-е годы будут выражать в полный голос: тема оторванности русского образованного общества от народа, символом которой служат «немецкие» грамматики русского языка, игнорирующие строй народной речи, который они совершенно неспособны объяснить.

Еще одним источником, на который Аксаков опирается для подкрепления своей позиции, является русская православная традиция. Аксаков приводит рассуждение Дмитрия Ростовского о сущности времени, смысл которого можно понять так, что различные временные планы, в которых человек привык осознавать свое существование, на самом деле есть фикция: «Мимолетное время вемо яко бе, но уже преиде и погибе, ниже бо возвратится когда. Будущаго же времени чаемъ, но не вемы, каково то будетъ. Настоящее же мнится имети, но ни сего имамаы, кроме единаго краткаго часа глаголемаго *ныне*. Ныне есть и абие несть, преиде бо. Паки ино настаетъ *ныне*, паки и то преходить»¹⁵. В контексте аргументов Аксакова эту цитату можно понять в том смысле, что и русская религиозная мысль, и опыт «живой» народной речи отвергают категорию времени как поверхностную иллюзию.

¹⁵ Ibid., стр. 46.

«Русский глагол», пренебрегающий выражением времен, отразил этой своей особенностью весь спектр национальной традиции — от мистического духовного опыта до уклада повседневной народной жизни.

Идея Аксакова получила развитие в книге Н. П. Некрасова *О значении форм русского глагола* (СПб., 1865). В отличие от Аксакова, теоретические рассуждения которого подкреплялись сравнительно небольшим числом примеров, Некрасов приводит обширный материал из фольклора и разговорной речи, иллюстрирующий отсутствие у форм русского глагола постоянных значений времени и склонения. Временные и модальные значения глагола в русском языке, согласно Некрасову, вторичны: они зависят как от характера самого действия, так и от разнообразных контекстуальных условий. Конечный вывод Некрасова очень близок к идее Аксакова:

Быстрота, краткость, продолжительность, кратность действия не нуждаются во времени и им не измеряются. Продолжительность проявления есть сила, душа, жизнь самого действия. Действие, проявляющееся под условием времени, отвлеченно, формально; действие же, проявляющееся под условием продолжительности (энергии), — жизненно.

Понятие о времени относится к понятию о продолжительности как нечто формальное, отвлеченное, условно существующее к тому, что живет на самом деле... Вот почему он [русский язык — Б. Г.] отверг сухую формальную категорию времени и развил в себе формы, выражающие его живое свойство, — энергию, или, как мы сказали, продолжительность проявления. Насколько действительно сущее отличается от условного и формального, настолько продолжительность как свойство русского глагола отличается от времени как свойства глаголов иностранных.¹⁶

И Аксаков, и Некрасов противопоставляют «жизненность» русского глагола отвлеченному рационализму мышления, выразившемуся в формах «глаголов иностранных». Отличие между двумя авторами состоит в том, что они понимают под «жизненностью». Для Аксакова это понятие имеет более романтический оттенок, как отражение внутренней «сущности» явлений; у Некрасова эта же мысль принимает более позитивистский оттенок: жизненность для него — это то, что есть «на самом деле».

Такой же незаметный переход от романтической (органической) к позитивистской идее «жизни» находим еще у одного последователя Аксакова — Н. И. Богородицкого.

Богородицкий стремился непосредственно применить славянофильскую концепцию форм русского глагола в школьном преподавании. Он соз-

¹⁶ Н. П. Некрасов, *О значении форм русского глагола*, СПб., 1865, стр. 139.

дал учебник русской грамматики, само заглавие которого имело эпически-фольклорный оттенок: *Грамматика языка русского* (вып. 1, М., 1867; 2-е изд., 1868; выл. 2, М., 1871)¹⁷. В учебнике Богородицкого все теоретические объяснения и грамматические разборы основывались на примерах из фольклора, либо из художественной литературы, стилизующей народную речь (сказки Пушкина, басни Крылова). Автор заявлял, что «живой смысл форм языка» может быть объяснен только на основании того, как «русский народ употреблял и употребляет эти формы в жизни». Тавтология, заключенная в этом утверждении, характерна: романтическое стремление проникнуть в «живой смысл» явлений, то есть в их внутреннюю (органическую) сущность, сливается здесь с позитивистским идеалом верности «жизни», то есть практике. «Мертвящему» влиянию рационалистических схем Богородицкий противопоставлял реальность употребления языка (преимущественно в народной речи) — «где нет никаких ложных теорий, где все конкретно и истинно»¹⁸. Славянофильское отрицание рационализма как феномена западной мысли, не свойственного русской духовной традиции, переводится здесь на язык понятий, скорее свойственных «реалистам» 1860-х годов, превращаясь в отрицание всяких «теорий» в пользу «жизни».

Издание учебника Богородицкого вызвало дискуссию в *Журнале Министерства народного просвещения*. Она открылась обширной статьей Богородицкого «По вопросу о русской грамматике как учебнике».¹⁹ С большой полемической энергией Богородицкий развернул идею о радикальном отличии русского глагола от глагола западных языков:

Русский глагол изображает действие не отвлеченное, как мыслимое под условием времени, а целиком схваченное в самый горячий момент его проявления в действительности.... Действие русского глагола все трепещет жизнью.... Степени действия — это жизненная, чуждая всякого отвлечения, чуть не предметная сторона нашего умного глагола.... Вот почему в русском глаголе вы не найдете ничего формального и отвлеченного, хоть бы этих времен и наклонений, как это находите вы в глаголах других языков.²⁰

Богородицкому возражали на страницах того же журнала Н. Завьялов и А. Некрасов; в свою очередь, он сам, а также присоединившийся к дис-

¹⁷ Впрочем, у Богородицкого был в отношении заглавия предшественник: И. Ф. Калайдович, *Грамматика языка русского*, М., 1834.

¹⁸ *Грамматика языка русского*, вып. 1, стр. 11.

¹⁹ *Журнал Министерства народного просвещения*, ч. 137 (Январь 1868), стр. 202–259. Отдельное издание: М., 1868.

²⁰ *Ibid.*, стр. 215, 236–237.

куссии Н. Некрасов отвечали своим оппонентами.²¹ Защитники традиционной точки зрения указывали на тот факт, что русский глагол имеет парадигму форм спряжения, в принципе подобную (и к тому же исторически родственную) парадигмам других индоевропейских языков. Славянофильское направление вновь и вновь отвечало на это примерами «живой речи», показывающими, что формы русских глаголов не имеют постоянных модальных и временных значений, а значит, не могут считаться формами наклонения и времени.

Как видим, в своем стремлении продемонстрировать уникальность русского языка славянофильская лингвистика опиралась исключительно на глагол и его категории. В этой перспективе грамматика имени отходила на второй план, хотя в принципе и тут, конечно, можно было бы найти явления, отличные от западных языков — такие, например, как категория одушевленности, краткие формы прилагательного и т. п.

Однако ни Аксаков, ни его последователи ничего не говорят о своеобразии именных форм русского языка. Более того, исключительное обращение к глаголу как выразителю «жизненной» сущности языка имела следствием идею о второстепенной роли имен, по сравнению с глаголом. Такая иерархия грамматических ценностей в свою очередь вступала в конфликт с традиционными синтаксическими понятиями, согласно которым главную роль в предложении играет подлежащее, к которому присоединяется, согласуясь с ним, глагол-сказуемое. Лингвисты славянофильского направления предложили иную трактовку структуры предложения, согласно которой абсолютным центром предложения является глагол, имена же — включая подлежащее, — занимают подчиненное положение. В этой трактовке подлежащее рассматривалось как одна из разновидностей дополнения, то есть считалось второстепенным членом предложения. Тезис о «второстепенности подлежащего» в русском языке (в отличие, опять-таки, от других языков) подкреплялся тем соображением, что в русском языке — и в особенности в народной и разговорной

²¹ Н. Завьялов, «Заметка на статью “По вопросу о русской грамматике как учебнике” г. Богородицкого», *ЖМНП*, ч. 138 (июнь 1868); Н. Богородицкий, «Заметка на заметку», *ЖМНП*, ч. 139 (сентябрь 1868); Н. Завьялов, «Последнее слово г. Богородицкому», *ЖМНП*, ч. 141 (февраль 1869); А. Некрасов, «По поводу новой Грамматики языка русского г. Богородицкого», *ibid.*; Н. Некрасов, «Объяснения по некоторым вопросам русской грамматики», *ЖМНП*, ч. 145 (сентябрь 1869); Н. Завьялов, «Этимология русского глагола (ответ г. Некрасову)», *ЖМНП*, ч. 150 (август 1870); Н. Некрасов, «Еще объяснения по некоторым вопросам русской грамматики (ответ гг. Завьялову и А. Некрасову)», *ЖМНП*, ч. 159 (февраль 1872) и 160 (март 1872).

речи — широко распространены различные виды безличных предложений, в которых подлежащее отсутствует.

Уже Богородицкий в своих синтаксических разборах подчеркивал важную роль предложений без подлежащего в русском языке. Однако центральное место этот аспект славянофильской концепции занимает в 1870-е годы. П. Глаголевский в небольшой книге (посвященной памяти Даля) *Синтаксис русских пословиц* (СПб., 1874) охарактеризовал перевес, отдаваемый в предложении глаголу, как характерную черту национального языкового характера; по выражению Глаголевского, «наш народ особенно любит употреблять глагольное сказуемое без подлежащего» (стр. 15). Но и там, где подлежащее имеется, оно часто выражается не именительным падежом, а самыми разнообразными морфологическими формами: частицами, наречиями, инфинитивами, даже личными формами глаголов: *Авось небось родной брат; Пожалуйста не кланяется, а спасибо спины не гнет; Подару-ка помер, а остался в живых брат его куну* (стр. 7–9).

Оба эти явления оценивались как подрывающие принцип «номинативности», то есть доминантную роль именительного падежа, применительно к русскому предложению.²² И необязательность присутствия подлежащего в предложении, и нестабильность его выражения подчеркивают вторичное и зависимое положение подлежащего по отношению к глаголу.

Наиболее последовательно тезис о «второстепенности подлежащего» развивал филолог и преподаватель языка Дмитревский. В цикле статей в журнале *Филологические записки* (Воронеж)²³ Дмитревский прямо утверждал, что подлежащее «должно быть рассматриваемо как один из видов дополнения». И подлежащее, и дополнение являются «придаточными» членами предложения; их роль — дополнять значение глагола, «которым по преимуществу выражается мысль».²⁴

Нетрудно увидеть, что идея Дмитревского хорошо согласуется с современными синтаксическими теориями — от «синтаксиса подчинения» Л. Теньера до работ по генеративной семантике, — подчеркнувшими взаимную заменимость подлежащего и дополнения в синтаксических транс-

²² См. также аргументацию против «номинативности» подлежащего у В. Классовского, который в других отношениях был чужд славянофильскому направлению: В. Классовский, *Нерешенные вопросы в грамматике*, М., 1870 (ч. 1: «Логико-грамматический вопрос о подлежащем»).

²³ А. А. Дмитревский, «Практические заметки по русскому синтаксису», *Филологические записки*, 1877, №№ 3, 4 и 1878, №№ 1, 2, 4; его же, «Еще несколько слов о второстепенности подлежащего (ответ г. Миловидову)», *ФЗ*, 1878, № 6; его же, «Опыт учебника русского синтаксиса», *ФЗ*, 1880, №№ 1–2 (приложение).

²⁴ «Практические заметки по русскому синтаксису», *ФЗ*, 1878, № 1, стр. 60, 61.

формациях и зависимую роль их обоих в предложении в качестве «аргументов», дополняющих значение предиката. Эта идея, однако, казалась странной представителям традиционной науки прошлого века. Оппоненты Дмитревского возражали ему, что подлежащее, и притом выраженное номинативом, есть обязательный и главный элемент всякого «стандартного» предложения.²⁵ Если же в речи встречаются выражения без номинатива, то эти выражения суть аномалии — «археологические памятники седой старины», то есть пережитки архаического (так сказать, дограмматического) состояния языка.²⁶

В своих утверждениях лингвисты славянофильского направления опирались на языковой материал, в котором особенно ярко проявлялись идиосинкретичные особенности русского языка. В стандартных академических и учебных грамматиках такой материал почти не упоминался — отчасти в силу его непривычности, главным же образом потому, что лингвистика этого времени просто не знала, что с ним делать. Спрашивая воображаемого оппонента, как бы он разобрал предложение из Даля — «Живут же люди неправдою, *и нам не тфеснуть статью*», — Богородицкий отвечал на этот риторический вопрос следующим образом:

Да он их не разбирает, считая подобные предложения и подобные обороты речи по своей теории аномалиями, а то, пожалуй, выражениями *чистофрусскими*, в том же смысле, в каком говорят иногда: это работа не французская, а русская.²⁷

Однако значение славянофильской лингвистики не исчерпывается интересными наблюдениями над языковым материалом и проницательными теоретическими догадками, некоторые из которых предвещали идеи, получившие в лингвистике признание и развитие почти столетием позднее. Чтобы в полной мере оценить смысл этого движения, необходимо увидеть весь спектр философских, социальных, идеологических ценностей, который стоял за славянофильским подходом к языку и который и лингвисты-славянофилы, и их оппоненты, несомненно, ощущали

²⁵ Г. А. Миловидов, «Второстепенный ли член предложения подлежащее? (Заметка на Заметки г. Дмитревского)», *ФЗ*, 1878, № 5; А. А. Хованский, «Два слова о забытом грамматическом разборе (к статье г. Дмитревского)», *ibid.*; А. В. Барсов, «О частях предложения в связи с рассмотрением некоторых этимологических форм», *ФЗ*, 1880, № 2; Я. К. Грот, «К вопросу о значении подлежащего в предложении», *ФЗ*, 1880, № 5.

²⁶ Г. Миловидов, «Второстепенный ли член предложения подлежащее? (Заметка на Заметки г. Дмитревского)», *Филологические записки*, 1878, № 5, стр. 15.

²⁷ Н. Богородицкий, «По вопросу о русской грамматике как учебнике»..., стр. 222.

в тех лингвистических аргументах, которыми они обменивались в ходе полемики.

С этой целью нам следует еще раз вернуться к вопросу: почему именно глагол послужил таким важным стимулом для славянофильской идеи об уникальности русского языкового пути? почему лингвисты этого направления так энергично настаивали на иерархическом превосходстве глагола над именем? Мы видели, что одних эмпирических соображений тут было бы недостаточно: как ни своеобразны категории русского глагола, в сфере имен при желании тоже можно было бы отыскать немало своеобразных грамматических явлений. Как это вообще характерно для славянофильского движения, эмпирические аргументы в их рассуждениях имеют ценность не сами по себе, но в силу вторичных символических смыслов, для которых приводимые конкретные факты служат как бы «воплощением».

Богородицкий, сетуя на то, что иностранные теории были особенно пагубны именно для глагола («отразились со всею мертвящею силой на нашем бедном глаголе», по его собственному выражению), объясняет этот факт следующим образом:

Иначе и быть не могло: глагол — это существеннейшая и важнейшая часть речи; глагол — это слово по преимуществу, это — сама живая речь.²⁸

Полемическая риторика Богородицкого обыгрывает тот факт, что термин *глагол* буквально значит 'слово'. В силу этой ассоциации, глагол провозглашается «словом по преимуществу» — и притом «живым» словом, в котором заключена сущность «живой речи». В этом определении мистическая коннотация понятия «живого слова» соединяется с апелляцией к практическому «живому» опыту, характерной для «реалистов» 1860-х гг.

В своих рассуждениях о «русском глаголе», и Богородицкий, и Аксаков, и Некрасов подчеркивали такие его свойства, как динамизм, энергия, сила. Все эти эпитеты русский глагол заслужил, преимущественно перед глаголами других языков, в силу наличия у него видовых форм, указывающих на различную продолжительность и интенсивность действия. Однако ассоциативная логика этих определений выводит мысль читателя далеко за рамки чисто лингвистического анализа. Динамизм, энергия, волевая устремленность — все это суть излюбленные категории романтического мировоззрения. Этими свойствами наделен шеллингианский творческий субъект, призванный освободить объективный мир от сковывающей его «мертвящей» инертности и рутинности. Воссоединение мыслящего и творящего субъекта с объективной «жизнью», активного творческого начала —

²⁸ Ibid., стр. 207.

с органичной гармонией природы, личности — с коллективным народным опытом: таков идеальный синтез, венчавший все философские, эстетические и историко-культурные построения Йенских романтиков на рубеже XIX века. Достигнуть этой цели суждено избранному индивидууму, наделенному абсолютной гениальностью, либо избранному народу, способному соединить в себе в идеальном равновесии субъективное и объективное начало, мысль и действие, содержание и форму.

В этой перспективе, унаследованной русскими романтиками от их немецких предшественников, «русский глагол» выступал как воплощение тех свойств, с которыми связывались историософские идеи и мессианские устремления русского «почвенного» самосознания. Поведение русского глагола неподвластно абстрактным рационалистическим схемам: он динамичен, всегда находится в движении, как сама «жизнь». Это свойство глагола отражает самую суть и национальной духовной традиции, и практической народной жизни; русский глагол оказывается «живым словом» и в смысле мистического Логоса, не знающего временных ограничений, и в смысле своего полного соответствия конкретному характеру повседневного жизненного опыта.

Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, в качестве воплощения противоположного полюса метафизического синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту «среду», в которую погружен активный субъект и в которой он призван действовать. Аксаков заканчивает свой трактат о русском глаголе следующей выразительной картиной, рисующей соотношение глагола и имен:

В заключение скажем, что значение внутреннее, дух, мысль слова занимают первое место в нашем языке вообще. В области имени, в области предмета — эта внутренняя сторона выразилась в твердых, постоянных формах; в области глагола, в области действия, эта внутренняя сторона принимает значение личности, и поэтому так подвижны и изменчивы служащие ей формы глагола.²⁹

Отсутствие стабильных морфологических форм у глагола и наличие таких форм у имен — эта особенность строя русского языка, по Аксакову, идеально соответствует противопоставлению «личности» и предмета, внутреннего (субъективного) и внешнего (объективного). Тем самым, любое

²⁹ К. С. Аксаков, *О русских глаголах*, стр. 44.

предложение русского языка оказывается ареной романтического синтеза, в котором глагол «одушевляет» окружающие его имена, а последние в свою очередь позволяют полностью реализоваться значению глагола.³⁰

В глазах славянофильских филологов, приобщение к строю народной речи, где эти свойства русского языка получают наиболее чистое и полное воплощение, имеет черты символического искупительного акта, в котором преодолевается разрыв между субъектом и средой, между мыслью и действием, и, конечно же, между «интеллигенцией» и «народом». Глаголевский характеризует синтаксический строй русских пословиц в выражениях, явно отсылающих к идее романтического Золотого века, — доисторическому прошлому, в котором идеальный органический синтез, впоследствии утраченный, существовал во всей полноте:

...бóльшая часть пословиц явилась в ту пору, когда еще не выделялся из народа так называемый образованный класс и когда весь народ говорил одним языком... Пословицы всегда рождались и жили в живой, разговорной речи; они не выдумывались, не сочинялись, а вырывались из уст как бы невольно, случайно, в жару живого, увлекательного разговора.³¹

Наличие романтического метафизического подтекста объясняет тот мессианский пафос, с каким лингвисты славянофильского направления вели дискуссию о таких, казалось бы, сугубо специальных предметах, как способы морфологического и синтаксического анализа. С точки зрения символической системы ценностей, рационалистическая, чисто «формальная» трактовка русского глагола в существующих грамматиках воплощала в себе разрыв между мыслью и практикой, между личностью и коллективной национальной традицией, а в популистской трактовке этой дилеммы, характерной для 1860-х годов, — также между «образованными классами» общества и «народом». «Живая» сила, заключенная в русском глаголе,

³⁰ Приведу пространное рассуждение Дмитревского, в котором идея синтеза глагола и имени как субъекта и объекта получила развернутое выражение:

Когда мы говорим, что сказуемое выражает признак-впечатление, переживаемое говорящим, то тем самым означаем, что в одночленном предложении [т. е. состоящем из одного сказуемого — *Б. Г.*] это впечатление еще замкнуто в оице, так сказать, погружено на дно духа и еще не прорубило окошка на свет Божий... Что же касается многочленного предложения [имеющего именные члены — *Б. Г.*], то в нем признак-впечатление, означаемый сказуемым, не переставая быть субъективным, так сказать, объективируется, то есть чувствуется в связи, в отношении к тому внешнему миру, откуда он возник («Практические заметки по русскому синтаксису», *ФЗ*, 1878, № 1, стр. 60).

³¹ П. Глаголевский, *Синтаксис языка русских пословиц*, СПб., 1873, стр. 1, 5.

оказывается в плену у «мертвящей» теоретической рутины; освободить ее из-под гнета, вернуть идеальный синтез, изначально свойственный народной речи, — такова искупительная миссия, с которой выступает филолог-славянофил. В контексте популистского движения и Великих реформ, эта романтическая идея приобретала прозрачные социальные аллюзии, превращаясь в идею освобождения народа и воссоединения с ним интеллигенции. Богородицкий рисует собирательный образ господствующей грамматической «рутины» в выражениях, отсылающих к ходячим образам бюрократического произвола, тяготеющего над народной жизнью:

Такая грамматика всегда надменна и готова от себя приписывать правила языку, забывая, что этим-то самым она невольно выказывает свое бессилие сладить с языком; а поэтому и смотрит она на него свысока и повелительно, как его законодательница и наука, хотя и не мешало бы иногда и ей самой у него поучиться.³²

Еще более выразительный риторический прием применяет Дмитревский. Его итоговая книга *Опыт синтаксиса русского языка* вышла в свет в Воронеже в 1881 году. Дмитревский, однако, выставляет в предисловии символически заряженную дату — «19 февраля 1879 г.» (двадцатилетие освобождения крестьян), сопровождая ее следующими словами:

Дай Бог, чтобы 19 февраля, в которое я начал писать эти строки, послужило началом освобождения и нашего учащегося юношества от школьной рутины и схоластических оков при изучении родного слова.

Романтическая идея освобождения духовной энергии народа, заключенной в языке, становится частью освободительной миссии, начатой Великими реформами.

Труд филолога осознается как акт социального служения, как своего рода филологическое «хождение в народ».

Таким образом, тот феномен, который я предложил назвать «славянофильской лингвистикой», имел двойственную природу. С одной стороны, он вырос из метафизических и историсофских идей русского романтизма 1830–40-х годов, которые во многих отношениях продолжали, на русской культурной почве и применительно к русской истории, круг вопросов, впервые поставленных Йенскими романтиками в начале XIX в.

С другой стороны, мысль «людей сороковых годов», устремленная к трансцендентному идеалу, в наступившую новую эпоху «реализма» искала способов воплотиться в фактическом знании, в конкретном описании предмета, доступного эмпирическому наблюдению. Именно таким опы-

³² «По вопросу о русской грамматике как учебнике»..., стр. 222.

том позитивистского воплощения романтической метафизики и стала славянофильская лингвистика.

Романтическая философия языка конца XVIII – первой половины XIX века – от Гердера до Гумбольдта – нарисовала яркий образ языка как воплощения народного духа; на русской почве в ту эпоху ближе всего подошел к такому пониманию национального языка А. С. Шишков³³. Но эта общая идея, при всей ее теоретической привлекательности, имела очень ограниченные последствия для конкретного описания грамматической структуры языков. Немецкий романтизм дал начало сравнительно-историческому языкознанию, сделавшему огромные успехи в течение первой половины XIX века. Но синхронное описание языков по-прежнему строилось в терминах универсальных категорий, унаследованных от античных грамматик. К середине XIX века стандартное описание грамматического строя какого бы то ни было языка представляло собой простую инвентаризацию его морфологических (или «этимологических», согласно терминологии того времени) форм согласно универсальной таксономической системе. Для идеи романтической филологии об уникальности строя каждого языка и его связанности с особенностью духовного «пути» народа в конкретном, фактическом описании языков практически не находилось места.

Славянофильская лингвистика была попыткой поставить романтические философские идеи на почву конкретной дескриптивной науки. Она восприняла предметность позитивистского знания, стремясь в то же время не утратить связь с идеальными метафизическими ценностями, характерную для всего строя мысли романтической эпохи. В этом заключалось принципиальное расхождение между славянофильским направлением и господствующей филологической наукой, для которой была характерна чисто позитивистская – без романтического субстрата – установка на язык как на эмпирический объект, формы которого должны получить как можно более единообразное, рационально организованное описание.

В споре по языковым вопросам между славянофилами и их оппонентами обе стороны сознавали, что причина того, почему они так по-разному оценивают одни и те же языковые «факты», заключается в принципиальном различии в подходе к кардинальным вопросам лингвистической теории: что следует понимать под языковыми формами, как соотносится в языке форма и значение, каким образом «дух» национального языка проявляется в его грамматическом строе.

³³ См. о романтических мотивах в рассуждениях о языке Шишкова (вопреки самосознанию последнего как защитника классицизма) в моей книге *Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка*, Wien, 1992, стр. 28 и след.

Оппоненты Богородицкого, возражавшие ему на страницах *Журнала Министерства народного просвещения*, исходили из убеждения, что различия между конкретными языками относятся лишь к внешним формам выражения, но общие принципы строения языков универсальны, чем и объясняется возможность перевода с одного языка на другой. Переводя этот аргумент на язык современных лингвистических понятий, можно сказать, что славянофильское направление отстаивало принцип уникальности «глубинной» структуры каждого языка, в то время как их противники признавали различие между языками лишь на уровне их «поверхностной» структуры. А. Некрасов писал по этому поводу:

Г. Богородицкий посмотрел на русского человека, как на какое-то особенное существо, весьма отличное от людей других наций. Русский человек мыслит не так, как другие.... Между тем мы изучаем все языки и переводим с них на русский; значит, между языками есть формы, вполне соответствующие одна другой.³⁴

Взгляд на формы отдельных языков как на поверхностный феномен — своего рода национальный «костюм», облекающий единую по своей сущности грамматическую структуру, — предполагает чисто таксономический подход к описанию этих форм. С точки зрения такого подхода, утверждение, что язык имеет такие-то морфологические формы, означает только, что в этом языке наличествует соответствующий набор флексий. В этой перспективе, утверждение о том, что русский язык не имеет форм прошедшего времени или повелительного наклонения, лишено какого-либо смысла. Завьялов решительно отвергает аргумент Богородицкого о том, что, например, в выражении *Я затаю, а вы не отставай* форму *отставай* нельзя признать императивом, поскольку в этом употреблении у нее отсутствует значение повеления; для Завьялова *отставай* в этом примере — бесспорное повелительное наклонение, поскольку здесь фигурирует флексия императива:

Дело в том, что форма *отставай*, как этимологическая, состоит из следующих частей: *от-ст-ав-а-й*, то есть, из приставки, корня, видовых примет и суффикса *й*: вот и все, что нужно для этимологического разбора.... Этимология имеет в виду форму, и только одну форму.³⁵

В силу этого же аргумента, *отставай* следует признать формой единственного числа, несмотря на то что смысл обсуждаемого выражения предполагает обращение к множественному адресату. Завьялов советует

³⁴ «По поводу новой Грамматики языка русского г. Богородицкого»..., стр. 8–9.

³⁵ «Заметка на статью “По вопросу о русской грамматике, как учебнике” г. Богородицкого»..., стр. 911–912.

своему оппоненту не требовать слишком буквального тождества формы и номинально принадлежащего ей значения; в противном случае, иронически добавляет он, пришлось бы «искать виновного» при каждом появлении формы «винительного падежа». Завьялов считает, что форма — это «знак», обладающий, как всякий знак, некоторой степенью условности: его значение может затемняться под влиянием тех или иных внешних контекстуальных условий; эти отклонения, однако, не нарушают единства формы, основанного на ее материальном тождестве.

Такой подход к формам языка как к чисто материальным средствам выражения был неприемлем для представителей славянофильского направления; вопрос о том, считать ли глагольную форму на -л прошедшим временем, либо вневременной формой, значение которой всецело определяется видом, служил для них лишь частным приложением более общего вопроса о природе языка: о том, как в языке соотносится его внутренняя «сущность» и внешняя, эмпирически наблюдаемая форма.

На приглашение квалифицировать формы по их материальному выражению, невзирая на употребление, Богородицкий отвечает резкой инвективной против такого «животно»-материалистического подхода к языку:

Иногда русская грамматика в необузданном разгуле доходит до того, что язык определяет... *куском мяса во рту!*? Право, так! (См. Грам. Алябьева. Москва. 1866 г.). А мы, в простоте сердца, думали до сих пор, что язык человеческий — заповеданный самим Богом рубеж, которым оканчивается царство животного мира и начинается царство духа.³⁶

Отношение к языку как к воплощению духовного мира народа, категорический отказ рассматривать формы языка сами по себе, безотносительно к духовной энергии, отпечатком которой эти формы служат, — такова принципиальная основа, из которой вырастает славянофильское учение о «русском глаголе». Из такого подхода с неизбежностью вытекало представление о том, что каждый язык уникален и непохож на другие, поскольку уникален воплощенный в нем духовный мир народа. Этим тезисом Н. П. Некрасов открывал свои лекции по русской грамматике:

Язык... есть звуковое выражение духовной деятельности человека... Различие в мирозерцании должно отпечатываться и на различии звуковых элементов языка: чем существеннее признаки этого различия, тем языки дальше отстоят друг от друга.³⁷

³⁶ «По вопросу о русской грамматике как учебнике»..., стр. 212.

³⁷ *Лекции по русскому языку, читанные в Императорском Историко-Филологическом Институте профессором Некрасовым в 1883/4 году*, СПб. (литографированная рукопись), стр. 1.

Богородицкий категорически отвергает мнение Завьялова о формах слова как «знаке», то есть таком феномене, в котором значение получает условное, чисто конвенциональное формальное воплощение. Славянофильская лингвистика рассматривала слово как органический феномен, все компоненты которого — форма, вещественное значение и синтаксическое употребление — составляют неразрывное и сущностное (отнюдь не просто конвенциональное) единство. По выражению Богородицкого, слово — это «целый мир», в котором, как в микрокосме, отразился склад ума носителей языка. Аналогично, Н. П. Некрасов указывал, что каждое слово представляет собой «сложный звуковой организм», характеризующийся «органическим сочетанием» всех своих составных элементов.³⁸

Поэтому членение слова на составные части не может быть чисто формальным процессом, как это предлагает Завьялов. Корень и флексия не существуют сами по себе, но образуют «органический» симбиоз. По словам Богородицкого: «... устройство русского языка таково, что ни корень без окончания, ни окончание без корня, одни сами по себе, не могут существовать в грамматическом смысле»³⁹. Из этого следует, что одна и та же флексия может получать разное значение в составе разных слов, и даже шире — в составе разных высказываний; в этом случае ее невозможно признать «одной и той же» формой, несмотря на материальное тождество. В сущности, когда славянофильская лингвистика говорит о «значении форм русского глагола», она имеет в виду не значение флексий как таковых, но значение разных глаголов (в контексте разных высказываний) как неразложимое целое.

И Богородицкий, и Некрасов признают это единство внутреннего и внешнего, материального и духовного, следствием которого является динамическая переменность значений грамматической формы, исключительным свойством русского языка, в отличие от западных языков. Богородицкий охотно соглашается, что в «других языках» имеются определенные, всегда самим себе тождественные времена и наклонения: «Мы совершенно с этим согласны, но только относительно иностранных языков, а не нашего»⁴⁰. Такая наивная аберрация зрения, заставляющая видеть в «своем» сложность, динамизм, переплетение разных факторов, а в «чужом», обзриваемом в отдаленной перспективе, — статику, единство, упрощенную упорядоченность, была не чужда славянофильскому мировоззрению вообще, и славянофильской лингвистике в частности. Однако тезис об уникальном характере форм русского языка имел более

³⁸ Ibid., стр. 13.

³⁹ «Заметка на заметку»..., стр. 1027.

⁴⁰ Ibid., стр. 1023.

общее теоретическое значение: он потенциально служил выявлению уникальности каждого языка, позволяя увидеть, хотя бы на примере одного русского языка, как может реализоваться в его описании принцип единства внутреннего и внешнего, формального и духовного аспектов.

Переводя аргументы Аксакова, Некрасова и Богородицкого на язык лингвистики XX века, можно сказать, что славянофильский подход отвергает два фундаментальных положения, которые несколькими десятилетиями позже лягут в основу учения Соссюра о языке: принцип произвольности языкового знака и разграничение между имманентным (чисто структурным) устройством языка и внешними (контекстуальными, культурно специфичными) условиями его употребления. Славянофильская позиция ближе другому современнику Соссюра – К. Фосслеру⁴¹, идеи которого сыграли важную катализирующую роль в философии языка начала XX века (они оказали, в частности, прямое влияние на М. М. Бахтина и его школу⁴²), но не получили прямого продолжения в теоретической лингвистике. И славянофилы, и позднее Фосслер искали возможность перевести романтическое понимание языка как воплощения народного духа в план конкретных дескриптивных понятий, в которых можно было бы описать строй того или иного языка и его историческое развитие, – описать таким образом, чтобы при этом не терялась связь между языковыми параметрами и категориями национального сознания.

И славянофильская лингвистика 1860–70-х годов, и критика Фосслером младограмматического позитивизма в начале XX века, и выступление Бахтина и его последователей (В. Н. Волошинова и П. Н. Медведева) против «абстрактного объективизма» формальной теории языка и литературы в 1920-е годы – все эти явления оставались в то время маргиналиями науки о языке и литературе, преходящими эпизодами, не сумевшими оказать сколько-нибудь заметного влияния на основное направление, по которому развивались лингвистика и поэтика. В перспективе боль-

⁴¹ Karl Vossler. *Sprache als Schöpfung und Entwicklung*, Heidelberg, 1905. Фосслер противопоставлял свой «идеалистический» подход к языку, продолжающий традицию Гумбольдта, формально ориентированному «позитивистскому» языкознанию младограмматиков.

⁴² В книге В. Н. Волошинова (*Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке*, Л., 1930), содержащей критику современного языкознания Соссюра с позиций школы Бахтина, Фосслер и Соссюр рассматриваются в качестве антиподов, представляющих, соответственно, «субъективизм» и «абстрактный объективизм» в подходе к языку. Хотя книга критикует оба этих направления, отсылки Волошинова к Фосслеру и его школе носят явно более сочувственный характер.

шинства современников они выглядели экстравагантными эскападами, отрицавшими бесспорные и достоверные «факты» в пользу экзальтированных спекуляций и потому не имевшими не только серьезного значения, но даже настоящего научного статуса. Начиная с младограмматиков и морфологической теории Ф. Ф. Фортунатова⁴³, через всю эпоху структурной лингвистики, и вплоть до появления и развития генеративной грамматики и генеративной семантики в 1960–70-е гг., господствующим направлением в развитии теории языка оставалось понимание языка как стабильного структурного остова, независимого от конкретных условий употребления и имеющего универсальные принципы строения. Динамизм и подвижность структурных «правил» каждого языка, их органическая связанность с условиями употребления, а в конечном счете, со всем складом мысли и коллективным опытом говорящих на этом языке, — эти аспекты жизни языка оттеснялись в такой перспективе на задний план, в качестве чего-то внешнего и вторичного, относящегося к сфере «прагматики» и «употребления», а не «строения» языка как такового.

Предпринятая славянофильской лингвистикой попытка осуществить предметное описание языкового материала, сохранив при этом динамический и синтезирующий характер романтического мышления, оказалась неспособной противостоять более прямой и последовательной позитивистской установке, завоевавшей господствующее положение во второй половине XIX века. Аналогичным образом, и лингвистика модернистиче-

⁴³ См. в особенности его лекцию «О преподавании грамматики русского языка в средней школе», 1903 (Ф. Ф. Фортунатов, Избранные труды, т. 2, М., 1857, стр. 427–462), в которой с наибольшей последовательностью излагается взгляд на морфологию как на классификацию слов по их формам. Строго формальный подход, разработанный Фортунатовым, оказал сильнейшее влияние на последующее изучение грамматических категорий и их значения в русском языке, от А. А. Шахматова и А. М. Пешковского до Р. О. Якобсона и В. В. Виноградова. Не могу согласиться с утверждением А. В. Бондарко о прямой преемственности Фортунатова и основанной им Московской школы по отношению к Аксакову: «Очевидна тесная связь воззрений К. С. Аксакова и основных принципов Московской школы в подходе к соотношению формы и содержания к грамматике. Таким образом, в данном отношении истоки фортунатовского направления восходят к концепции К. С. Аксакова» (А. В. Бондарко, «Из истории разработки концепции языкового содержания в отечественном языкознании XIX века [К. С. Аксаков, А. А. Потебня, В. П. Сланский]». В кн.: Грамматические концепции в языкознании XIX века, Л., 1985, стр. 94. Мне кажется, что в направлении Фортунатова как раз возобладали идеи оппонентов Аксакова, Некрасова и Богородицкого.

ской эпохи, господствовавшая на протяжении большей части этого столетия, выросла из последовательно позитивистской установки на язык как на инвентарь форм, хотя и переинтерпретировала эту установку в терминах «структуры». Попытки привить структурной лингвистике и поэтике романтическое понимание идеологических и метафизических ценностей как духовной энергии, сообщающей форме жизнь и движение, так же не удались, как попытка славянофилов дать бой господствовавшим в их эпоху принципам позитивистской грамматики.

В спорах о русской грамматике 1860-х годов проявились те философские и идеологические дилеммы, которые получили полное развитие в философской и филологической мысли начала XX века. Понимание сущности этих споров позволяет яснее увидеть те источники, которые составили основу русского и европейского модернизма, послужили движущими силами его развития и в конечном счете, определили его судьбу.

СЕРГЕЙ ЗИМОВЕЦ

НЕХВАТКА СУБЪЕКТИВНОСТИ.

ОТ НЕЙ ВСЕ КАЧЕСТВА

Предметом нашего рассмотрения будет небольшая и малоизвестная пьеса Л. Толстого «От ней все качества», которую он написал в 1910 году. Характерно, что этой пьесой сам автор был недоволен, хотя и переписывал её пять раз. Между тем она была сыграна любителями в 1912 году на хуторе В. Г. Черткова в Телятинках, Тульской области. А в 1918 году она была поставлена в Петербурге на сцене Александринского театра.

Не вдаваясь в спорные суждения о сути эстетического, художественного значения этого произведения или более того о нравоучительности его тона, мы все же особо должны признать, что эта пьеса имеет существенную языковую ценность. Не менее значима и симптомологическая (или нормопатическая) составляющая этого произведения, безотносительно к тому, в какой степени оно калькирует или картографирует реальность как таковую.

Итак, события развиваются в простой крестьянской семье. Старуха-мать, жена и дети ждут возвращения отца семейства Михайлы с городского базара, куда он отправился продавать сено. В его отсутствие местная администрация, десятский Тарас, следуя общинному правилу, приводит на ночной постой Прохожего. Через некоторое время приезжает наконец подвыпивший Михайла, между ним и женой Марфой вспыхивает конфликт, чреватый потасовкой, но в дело вмешивается Прохожий и скандал затихает. Затем следует всеобщая попойка, а наутро Прохожий исчезает, прихватив с собой хозяйские вещицы. Михайла догоняет Прохожего уже за деревней и насильно возвращает к себе домой. Далее следует краткое дознание, грядет праведная расправа, но неожиданно Михайла проявляет гуманность и отпускает Прохожего с миром...

При чтении пьесы особое внимание привлекают несколько характерных мест. Во-первых, это диалог десятского Тараса с женщинами, Акули-

ной и Марфой. Марфа обеспокоена тем, что Михайла в городе напьется. Вот как проходит обсуждение этой темы.

Акулина. (*садится за прялку; к Тарасу и указывая на Марфу*). Нет того, чтобы помолчать. Я и то говорю. У нашей сестры обо всем доука.

Марфа. Кабы он один, не думалось бы. А то с Игнатом поехали.

Тарас. (*усмехається*). Ну, Игнат Иваныч точно насчет выпивки дюже охотлив.

Акулина. Что ж, не видал он Игната? Игнат сам по себе, а он сам по себе.

Марфа. Тебе, матушка, хорошо говорить. А ведь его гульба-то вот где (*показывает на шею*). Пока тверёз, грешить не стану, а пьяный сама знаешь каков. Слова не скажи. Все не так.

Тарас. Да ведь и ваша сестра тоже. Человек выпил. Ну что ж, дай покуражиться, выспится, опять все чередом пойдет. А ваша сестра тут-то и перечит.

Марфа. Что хошь делай. Если пьяный, все не по нем.

Тарас. Да ведь все надо понимать. Нашему брату тоже нельзя другой раз не выпить. Ваше дело бабье — домашнее, а нашему брату нельзя — али по делу, али в компании. Ну и выпьет, авось беды нет.

Марфа. Да тебе хорошо говорить, а нашей сестре трудно. Ох трудно. Кабы вашего брата хоть на неделку бы в нашу должность впрячь. Вы бы не то заговорили. И меси, и пеки, и вари, и пряди, и тки, и скотина, и все дела, и этих голопузых обмыть, одеть, накормить, все на нашей сестре, — а чуть что не по нем, сейчас... Особенно выпивши. Ох, житье наше бабье...

Прохожий. (*прожевывая*). Это правильно. От ней все качества, значит, все катастрофы жизни от алкогольных напитков¹.

Предварительно хотелось бы отметить — для нерусскоязычного читателя, что в этом диалоге вообще не идет речи о каких-то братьях и сестрах персонажей, хотя их речь пестрит этими словами. Здесь можно бы квалифицировать формальное указание на социальную стратификацию полов, мужского и женского, «ваш брат» и «наша сестра» — это риторические обороты речи, отсылающие к специфическим психосоциальным ролям различных полов. Но более существенное значение этих оборотов речи, с нашей точки зрения, в том, что суждения персонажей апеллируют к некой коллективной инстанции, которая говорит через них, т. е. в данных высказываниях работает принцип соответствия частичного устройства большой коллективной машине высказывания. Только через сцеп-

¹ Л. Н. Толстой. Собр. соч. в 20 томах. М., 1952, т. 11, стр. 336–337.

ление частичного устройства высказывания с коллективным возникает не только само выражение и его смысл, но и легитимируется его правильность, уместность. Скрытый месидж здесь таков: то, что скажу я или ты в качестве отдельных лиц, — не существенно, суждения о сущности вещей, ситуациях и поведении человека могут иметь значение только как суждения от коллективного субъекта. Только речь от имени других может иметь авторитетный, компетентный и заслуживающий внимания характер. Речевой акт, лишенный такого эпистемологического авторитета, это пустословие, болтовня, блядословие.

В этой позиции речь никогда не исходит изнутри, субъективность не является тем внутренним богатством, которое выражает себя в языке *orbi et urbi*. Она — отношение без структуры, т.е. аффект, эксцесс причастности к коллективному сцеплению высказываний. Если за субъектом закреплены фаллические и анальные территории в качестве мест его психосоциальной привязки, то в языке таких территорий, принадлежащих субъективности, пожалуй, не существует. Субъективность — это скорее отклонение сигнификативных цепей от их целей посредством недержания синтаксиса. Чем более грамотен субъект, тем менее он субъективен. У речи субъекта нет другой функции, кроме как быть потоком, сливающимся с другими потоками. Но следуя этому имманентному предназначению, она пересекает различные экзистенциальные территории, производит эффекты и дефекты, т.е. продуцирует неустойчивые в сингулярном отношении контуры субъективности как таковой.

Следующим чрезвычайно интересным моментом пьесы является языковое поведение частичного высказывающего устройства «Прохожий». Вот образчик его стиля в момент обсуждения алкогольной темы.

Пр о х о ж и й. Мало того. Есть такие люди, субъекты, значит, что вовсе от ней рассудка лишаются и поступки совсем несоответствующие производят. Пока не пьет, что хошь давай ему, ничего чужого не возьмет, а как выпил, что ни попади под руку тащит. И били сколько, и в тюрьме сидел. Пока не пью, все честно, благородно, а как выпью, как выпьет, значит субъект этот, сейчас и тащит что попало².

Обратите внимание, в этом коротком высказывании Прохожий умудряется начать предложение с субъектным подлежащим множественного числа, перейти к безличному предложению, построенного на отсутствии субъекта высказывания третьего лица единственного числа, все это трансформируется в безличное предложение с подразумеваемым пер-

² Там же.

вым лицом, чтобы тут же перейти к субъекту третьего лица единственного числа.

Эта синтаксическая непоследовательность (анаколуф) обильно снабжена специфической революционно-экзотической лексикой: «мерси», «катастрофы», «кальера» [карьера], «аппетит», «фракции», «деспотический», «эксплытация», «экспроприация», «енерция», «дегенерат», «меланхолия». В целом же стилистическая орфоэпия Прохожего может быть охарактеризована чрезмерным сокращением гласных, выпадением согласных, нечеткостью артикуляции, прямым искажением слов, неверными ударениями, сбивчивым темпом речи.

К тому же в информационной структуре этого дискурса субъективность в качестве побочного продукта семантики синтаксической конструкции постоянно оказывается не темой, а ремой³. Несмотря на все языковые усилия окружающих тематизировать Прохожего (ему то и дело даются отправные характеристики тематического класса: «щеголь», «чудак», «сукин сын», «молодчина», «шельмец»), он тем не менее умудряется сигнифицировать собственную персону рематически, т. е. как что-то неустойчивое, неопределенное и «виртуальное». Сообщение, в котором говорящий репрезентирует себя в качестве рематизированной темы, придает дискурсу чрезвычайно деструктивный характер. В языковом отношении Прохожий ведет себя как специфический дискурсивный вирус.

Именно поэтому при коммуникативном столкновении с ним наименее резистентные частичные устройства коллективного сцепления высказывания начинают давать сбой. Такова сцена, в которой подвыпивший и разгневанный Михайла пытается избить жену. Высказывание-вирус «не дозволю над женским полом эксплытацию производить» моментально овладевает вербальными рефлексамы Михайлы и непоправимо деструктурируют их. Михайла еще пытается включить эту информацию в коллективную речь, но безнадежно перевирает ее: «эксплытация» у него становится «остолбацией»... и программа «зависает». Теперь, чтобы вернуться в нормальный режим, Михайле требуется дозагрузка вина.

И еще один момент: что означает признание Прохожего о невозможности самоконтроля в момент опьянения? Притом, что эта «бесконтрольность» фатально приводит его к одним и тем же последствиям — к краже. Очевидно, что при этих состояниях управление переходит к каким-то иным по отношению к сознанию структурам психики. И это иное зада-

³ *Рема* — ядро высказывания, содержание сообщения, конституированное на основе темы. *Тема* — та часть сообщения, которая содержит что-то известное, знакомое и служит отправной точкой для передачи нового — ядра высказывания, т. е. ремы.

ет-запускает инвариантную программу поведения. Данный случай вполне клинический и в психотерапии называется «клептоманией». Не попадает ли данная характеристика в разряд характеристик субъективности? Я попытаюсь развести два измерения совпавшие здесь: клиническое и социальное. В kleптомании реализуется подавленная энергия сексуального влечения, кража является особым перверсивным средством символического овладения объектом удовольствия, которое высвобождает при разрядке переживания сексуального порядка, но при этом с необходимостью стимулируется страхом и тревогой. Перверсивное языковое поведение Прохожего сразу же распознается Игнатом: на ту же самую фразу, которая останавливает и дезинтегрирует аффект Михайлы, он реагирует так: «Зараз видно, что дюже до баб охочь, едрена палка». В языке у подсознания нет иного механизма кроме как возвращения подавленного в поле денотаций, манифестаций и сигнификаций в преобразованном, искаженном виде, но балагур Игнат, с прозорливостью психоаналитика, проникает в скрытый смысл сказанного, т. е. осуществляет вполне адекватную интерпретацию. Такова клиническая картина события.

Социальный аспект обнаруживает себя в том, что сам Прохожий определяет в конечном итоге свое пагубное пристрастие — воровство — в качестве справедливой «революционной экспроприации», а наказание — как несправедливое гонение, тем самым превращая себя в «пострадавшего за правду». Точка субъективности здесь — это соединение своей психосексуальной перверсии с социально значимым действием. Так что демонстративный революционный дискурс латентно мотивируется требованием «справедливого», равномерного распределения сексуального удовольствия.

Что же такое субъективность в том виде, в котором она репрезентирована в произведении Толстого? Не является ли она лишь отклонением по отношению к коллективно-групповым стереотипам, социальным нормам и установкам? Или она является тем, что находится по ту сторону нормопатии и в то же время не совпадает с клиническим поведением? То есть субъективность как бы располагается на границе между общепризнанным и патологией, из-за чего и происходит ее фиксация, стигматизация как таковой. Так или иначе, но структурно субъективность принадлежит к неустойчивым хрупким образованиям, хотя бы потому, что она всегда оспаривается. Субъективность в своих проявлениях всегда готова опрокинуться, перейти в свою противоположность. Её непостоянство и нестабильность составляет суть ее манифестаций, суть тех эмоционально-экспрессивных состояний, которыми она, как правило, захвачена. Поиски субъективности ведут нас по направлению к довербальным интенсивностям, зависящим более от логики аффектов, чем от логики высказываний. В субъективности человек открыт фундаментальному разделению

с самим собой по всем аспектам, что и составляет его генеалогическую сущность. Если сформулировать кратко суть субъективации и субъективности человека, то можно было бы сказать, что субъективность — это техника гетерогенного миметизма, совмещенная со способностью поддерживать автономию в поле множественных интересующих человеческих инстанций и картографий.

Чрезвычайно характерна для понимания источников и возможностей субъективной автономизации заключительная сцена пьесы, когда люди схватили Прохожего.

Пр о х о ж и й (*в волнении*). Я не вор, я экспроприатор. Я деятель и должен жить. Вы понять не можете, что хотите делаете.

...

М а р ф а (*мужу*). А бог с ним. Покупку вернули. Пустить бы его без греха... Пуцай идет.

М и х а й л а (*повторяет слова жены*). Без греха... пуцай идет. (*Задумывается. Строго к жене.*) «Пуцай идет». Спасибо, научила. Без тебя не знаем, что делать.

М а р ф а. Жалко его, сердечного.

М и х а й л а. Жалко! Поучи, поучи, без тебя не знаем, что делать. То-то дура. «Пуцай идет». Идет-то идет, да ему слово сказать надо, чтоб он почувствовал. (*К прохожему.*) Так слушай ты, мусью, что я тебе сказать хочу. Хоть и в низком ты положении, а сделал ты дюже плохо, дюже плохо. Другой бы тебе за это бока намял да еще и к уряднику свел, а я тебе вот что скажу: сделал ты плохо, хуже не надо. Только уж больно в низком ты положении, и не хочу я тебя обидеть. (*Останавливается. Все молчат. Торжественно.*) Иди с богом да впредь так не делай. (*Оглядывается на жену.*) А ты меня учить хочешь.

С о с е д. Напрасно, Михайла. Ох напрасно, повадишь их.

М и х а й л а (*все держит в руке покупку*). Напрасно так напрасно, мое дело. (*К жене.*) А ты меня учить хочешь. (*Останавливается, глядя на покупку, и решительно подает ее прохожему, оглядываясь на жену.*) Бери и это, дорогой чаю попьешь. (*К жене.*) А ты меня учить хочешь...

...

М и х а й л а (*жене*). А ты меня учить хочешь...⁴

Частичное высказывающее устройство «Михайла» находится на пересечении различных дискурсов, имманентно связанных с группами-субъектами, — вменения в вину, прощения, сословного превосходства, нака-

⁴ Л. Н. Толстой. Собр. соч. в 20 томах. М., 1952, т. 11, стр. 376–377.

зания и т. д. Он должен выбрать один из них для огласовки, но при этом выдержать его синтаксис. Жалостливая жена подсказывает ему выбор. Но принимая дискурс прощения, Михайла старается автономизировать его, обосновать в качестве собственного. Иллюзия речи от имени собственного, иллюзия самостийности и самоволия создается за счет автономизации с одной стороны от семейной картографии, с другой — от корпоративно-групповой. Именно потому он так настойчиво исключает частичное высказывающее устройство «Марфа» из коллективного сцепления высказываний, деструктурируя и обесценивая её речь, и в то же время рассогласовываясь с мнением Соседа. Это и есть субъективность Михайлы, считающая себя ответственной за саму себя, позиционирующая себя с точки зрения инаковости по отношению к семейным традициям, местным обычаям и юридическим законам. Но эта слабая автономизация субъективности не является завершённой, поскольку она не охватывает всю совокупность источников и инстанций. Это частичная субъективация, поскольку частичное высказывающее устройство «Михайла» не может осуществить свою самореференцию и осуществляет мимезис к дискурсу православной этики, дискурсу гуманизма и всепрощения.

Исследуя репрезентацию субъективности в русской культуре, нужно признать, что каждая социальная группа передаёт свою собственную систему моделирования субъективности. Определённая картография зависимой группы создаёт семиотические, мифические, ритуальные, симптоматологические метки, и, исходя из этой картографии, индивид позиционируется по отношению к своим аффектам, своим страхам и пытается управлять своими ингибциями и влечениями.

Субъективная ситуация проявляет себя и имеет значение настолько, насколько она поддерживается определённым контекстом, определёнными рамками, которые задаются совокупностью коллективных инстанций. Именно поэтому в русской культуре субъективность не может стать ни формообразующей, ни отправной для конституирования жизненного мира, для этого ей не хватает автономии и суверенитета. По своим синтаксическим режимам и экзистенциальным устройствам она является частичной.

ДЖОН ДЖОЗЕФ

ЯЗЫК И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ¹

Природа национальных идентичностей

«Нация» — это неоднозначное по своей сути слово, иногда оно используется в этимологическом смысле — люди, связанные рождением, происхождением, — как, например, тогда, когда говорят о еврейском народе или народе чероки. Но чаще это слово используется в широком смысле — территориальное пространство, его население и правительство, которое управляет им из единого центра, — например, британская нация. Иногда, когда этимологическое и широкое понимания слова «нация» совпадают, используется термин «национальное государство». Так, Ирландия считается нацией и национальным государством, тогда как Великобритания — это только нация в широком смысле слова, состоящая по крайней мере из четырех наций в этимологическом смысле: англичан, северных ирландцев, шотландцев и валлийцев. Шотландию, Уэльс и другие подобные им образования иногда называют «нациями без государства».

Проблема в том, что *действительное* совпадение этих двух основных пониманий слова «нация» невозможно. Ведь для того, чтобы это произошло, национальную территорию должны населять представители только одной нации по своему рождению и ни один представитель нации по своему рождению не должен проживать за пределами этой территории. Такая безупречная картина образует «идеал» национального государства — скорее дистопический, нежели утопический идеал всякого ревностно-пуристического националиста². В современном мире вера в нацию

¹ John Joseph. Language and Identity: National, Ethnic, Religious. Houndmills, Basingstoke, Hampshire & New York: Palgrave Macmillan, 2004. P. 92–125.

² Хотя действительные условия в отдельных странах в отдельные эпохи могли приближаться к такому «идеалу», трудно представить, чтобы какая-то нация могла полностью закрыться ото всех чужаков на очень долгое время. Распростране-

по рождению усиливалась всякий раз, когда политическая нация ощущала угрозу со стороны «чужаков» либо в результате иммиграции, нарушавшей однородность населения, либо в результате имперского или колониального господства. В течение двух последних десятилетий во Франции поддержка партии Национальный фронт, выступавшей с лозунгом «Франция для французов!», была наиболее сильной в областях с наибольшей концентрацией новых иммигрантов — сначала выходцев из Северной Африки, а теперь все чаще — из Восточной Европы. В 2002 году основатель и руководитель Национального фронта Жан-Мари Ле Пен прошел во второй тур президентских выборов. В Шотландии расцвет Шотландской национальной партии пришелся на годы правления Маргарет Тэтчер, когда болезненные меры по экономической реструктуризации, проводимые во всей Великобритании, были восприняты многими шотландцами как имперское притеснение со стороны давнего врага, Англии. После частичной передачи в 1999 году правительством Блэра политических полномочий возрожденному шотландскому парламенту Шотландская национальная партия вновь начала борьбу, чтобы завоевать поддержку населения.

В США повсеместное вывешивание флагов после атак на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года стало наглядным примером того, как мы инстинктивно обращаемся к символам национальной идентичности в ответ на нападение на нацию — ведь именно так, по замыслу его организаторов, должно было быть воспринято разрушение этих зданий. До нападения и всего того, что за ним последовало, символическая значимость Всемирного торгового центра, если исходить из его названия, по всей видимости, была связана с международным капитализмом. Однако его доминирующее положение в силуэте Нью-Йорка, по-видимому, было истолковано теми, кто совершил это нападение, как свидетельство существования неразрывной связи между США и «международным» капитализмом. Еще более удивительно то, что башни стали национальным символом даже для тех американцев, которые жили за тысячи миль от Нью-Йорка, никогда не бывали в этом городе и обычно считали его олицетворением ценностей, полностью противоположных тем, что исповедовали они сами. Возможно, «национальная» ценность Всемирного торгового центра была создана самим этим нападением. Во всяком слу-

ние религий и других культурных конструкций и артефактов свидетельствует о том, что всякое сообщество может оставаться огражденным от внешних контактов и влияний в течение довольно непродолжительных периодов резкой реакции на вероятную угрозу вторжения или проникновения; и, наконец, если угроза окажется достаточно сильной для того, чтобы вызвать такую реакцию, то на какое-то время нации, вероятно, удастся замкнуться.

чае за несколько недель США удалось организовать международную коалицию для вторжения в Афганистан и свержения правительства талибов, которое предоставило убежище Усаме бен Ладену, вдохновителю нападения 11 сентября, а 18 месяцев спустя возглавить менее крупную коалицию для вторжения в Ирак и свержения Саддама Хусейна, который не имел непосредственного отношения к этим нападениям, но наряду с бен Ладеном воспринимался в качестве серьезного национального врага.

Конструктивистский поворот в социальных науках, произошедший в последней четверти XX века, повлиял на изучение национальной идентичности не меньше, чем на изучение любой другой формы идентичности. Действительно, постоянное изменение национальных границ после двух мировых войн, распад СССР и Восточного блока в 1989–1991 годах и признание субнациональных единиц в Западной Европе в 1990-х годах способствовали четкому осознанию текучести и произвольности национальной идентичности. И хотя такое осознание не поколебало глубокой веры в «реальную» национальную идентичность как нечто, связанное с нашим рождением или событиями детства и остающееся, по сути, неизменным в дальнейшем, оно, несомненно, способствовало возникновению среди ученых стремления рассматривать такие верования как мифические и считать идентичность чем-то, что создается и пересматривается нами на протяжении всей нашей жизни.

Неизменной темой исследований национальной идентичности последних четырех десятилетий было определяющее значение языка в ее формировании. Как мы увидим, многие видные историки, социологи и специалисты в области политических наук утверждали, что существование национального языка составляет важнейшую основу националистической идеологии. Другие же уделяли большое внимание собранным историками языка данным, которые показывали, что национальные языки не были даны изначально, а сами были созданы в результате идеологической работы по созданию национализма. Например, на протяжении многих веков Британские острова (термин, который сам по себе оскорбителен для ирландских националистов, но которому не существует замены) в языковом отношении представляли собой смешение местных диалектов, германских или кельтских по своему происхождению. Только в современную эпоху люди, движимые националистическими устремлениями, создали «языки» народов Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса, а также Корнуолла и других менее крупных областей (которые более горячие их приверженцы зачастую считают «нациями»).

В случае Шотландии сосуществование двух отдельных национальных языков (гаэльского и шотландского, восходящих к кельтскому и германскому источникам соответственно) не способствовало, а препятствова-

ло развитию языкового национализма, поскольку приверженцы обоих этих языков сосредоточили свои усилия на борьбе с притязаниями соперничающего языка, а не на гегемонии английского. Несмотря на то что Шотландии не удалось выработать единый национальный язык, подавляющее большинство шотландцев полагает, что стратегическая экономическая ценность использования мирового языка перевешивает политическую, культурную и сентиментальную ценность «унаследованных» языков. Можно заметить, что извечная борьба между гаэльским и шотландским языками представляет собой разумный способ сдерживания националистического пыла в приемлемых рамках.

Как показывает пример Шотландии, в отношениях между языком и национальной идентичностью не существует ничего неизменного. Даже значение понятий «язык» и «нация» меняется в зависимости от контекста. Однако мы можем обнаружить определенные модели, присутствующие при языковом конструировании национальной идентичности во всем мире, они образуют матрицу, которая позволяет объяснять и сравнивать различия в локальном конструировании.

Когда начинается национализм?

Как и в случае со многими «доктринами», которые представляют собой артикуляцию того, что уже существует на протяжении некоторого времени, определение истоков национализма оказывается сомнительным занятием. В этой статье будут рассмотрены взгляды современных ученых, датирующих его возникновение концом XVIII – концом XIX веков. Но даже если национализм действительно претерпел серьезные изменения за последние 250 лет, он возник не на пустом месте. Современный национализм обнаруживает важную преемственность с национальными идентичностями, которые восходят к истокам письменной истории.

В Ветхом Завете закреплены устные традиции еврейского народа, связанные с его происхождением, верованиями, отношениями с соседними народами, обращением в рабство и изгнанием с родных земель, а затем возвращением на них, ставшим прелюдией к его золотому веку; Ветхий Завет был не простым историческим повествованием, но подтверждением и средством обеспечения дальнейшего существования нации. Развитие национализма в XVIII – XX веках по-прежнему истолковывается сквозь призму библейских текстов, которые составляют общую основу европейской культуры, преодолевая национальное и социальное разделение. Впервые речь о народах заходит в десятой главе Книги Бытия. В этой главе перечисляются имена троих сыновей Ноя – Сима, Хама и Иафета – и места, где они проживали, иногда с точным указанием границ. Каждый

из трех отрывков завершается фразой, наподобие следующей: «От них [семи сыновей и семи внуков Иафета] населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих» (Быт. 10:5). Земля, язык, племя... народ. Верующие полагают, что все изложенное в Книге Бытия написано рукой самого Бога.

Десятая глава Книги Бытия служит генеалогической интерлюдией между историей Всемирного потопа (Быт. 6–9) и описанием того, как потомки Ноя впоследствии распространились по всему миру (Быт. 11). В начале одиннадцатой главы Книги Бытия мы возвращаемся ко времени, когда «на всей земле был один язык и одно наречие» (Быт. 11:1) и все племя Ноя, продвигаясь на запад, находит равнину в земле Сеннар и поселяется там. Люди решают построить «город и башню, высотой до небес», и «сделать себе имя, прежде нежели рассеяться по лицу всей земли» (Быт. 11:4).

Предполагается, что при отсутствии у них общего имени, то есть национальной идентичности, они неизбежно должны рассеяться. Целью создания идентичности служит сплочение людей, принадлежащих к народу, которые должны зависеть друг от друга и от городов, а не рассеиваться в поисках собственной земли в сельском пространстве, которое со временем начинает считаться «естественным», в отличие от «искусственного» образования городских пространств.

Древние империи средиземноморского бассейна были прекрасно осведомлены о населявших их народах. В Новое время английские националистические настроения нашли свое отражение в исторических пьесах Шекспира конца XVI – начала XVII веков, но называть их «националистическими», наверное, анахронично, если само понятие национализма как общей доктринальной позиции появилось лишь два столетия спустя.

Общепризнанно, что Американская революция 1776–1781 годов и Великая французская революция 1789–1793 годов сыграли важную роль в становлении современного понятия нации как политической реальности. Однако в книге, которую можно назвать основной для современных академических рассуждений о национализме, Эли Кедури отмечает, что решающие перемены произошли в начале XIX века после прихода к власти Наполеона в результате Великой французской революции. Его книга начинается с явно провокационного вводного предложения:

Национализм — это доктрина, которая была изобретена в Европе в начале XIX века... Вкратце, доктрина покоится на том, что человечество естественным образом разделено на нации, что нации обладают определенными особенностями, которые могут быть установлены, и что единственным законным видом правления является национальное самоуправление (Kedourie, 1960. P. 9).

В большинстве предшествующих работ о национализме, включая всесторонние исследования Дойча (Deutsch, 1953) и Шафера (Shafer, 1955), основное внимание уделялось проявлениям национализма в XX веке. При этом предполагалось, что сама нация как социальная структура существует в своем современном виде по крайней мере с эпохи Возрождения, а национализм был ее неизбежным идеологическим сопровождением. Кроме того, превратившись в основу политической и социальной организации во всем мире, нации и национализмы, несомненно, навсегда закрепили за собой такое положение — если, конечно, не был прав Маркс, считавший, что с наступлением коммунистического интернационализма нации падут одна за другой.

Маркс не был первооткрывателем сконструированного характера наций. До него в 1826 году Томас Купер писал о том, что «моральная сущность, грамматически именуемая нацией, наделяется атрибутами, которые на самом деле существуют только в воображении тех, кто преобразует слово в вещь» (Cooper, 1826. P. 88). Неудивительно, что Маркс истолковал такое овеществление нации с классовой точки зрения, признав ее средством, при помощи которого буржуазия оберегает и отстаивает свои интересы. Существование наций, как и религии с капитализмом, было просто необходимым этапом исторического развития человечества на пути к социалистическому идеалу.

То, что анализ Маркса был связан с революционной программой, направленной на скорейшее преодоление этого несовершенства, долгое время не позволяло немарксистам принять ключевую идею о том, что идея нации сама по себе была историческим продуктом. Серьезный шаг в этом направлении был сделан в 1944 году немарксистским исследователем Гансом Коном, который утверждал, что нация — это современная идея, датируемая серединой XVIII века, и что «национализм прежде всего и главным образом — это состояние ума, волевой акт, который со времен Французской революции становится все более характерным для человечества» (Kohn, 1944. P. 10–11; Кон, 2000. С. 109). В непосредственном контексте Второй мировой войны и борьбы с нацизмом (от которого бежал Кон) такая позиция встретила подготовленную аудиторию в англоязычном мире, но с началом «холодной войны» все вернулось на круги своя, и антинационализм, как и прежде, стал отождествляться с марксизмом.

Еще одна сложность в рассуждениях Кона связана с опорой на эссенциалистское противопоставление между «волютаристским национализмом» Англии и Франции и «органическим национализмом» Германии и народов Центральной Европы, которые, разумеется, были связаны с философскими традициями эмпиризма и рационализма соответственно. Положительное описание волютаристского национализма и кри-

тика органического национализма пришлось весьма кстати во время войны, но утратили свое значение с возобновлением борьбы между марксистским антинационализмом и национализмом вообще. Дойч (Deutsch, 1953) попытался исправить положение в типично модернистской манере, пересмотрев национализм с социологической точки зрения. Отталкиваясь от определения нации как «сообщества социальных коммуникаций», он стремился отыскать количественный метод, позволявший установить, что на самом деле представляют собой нации — цель, которая кажется сегодня практически недостижимой.

Кедури (Kedourie, 1960) отстаивал более чистую конструктивистскую точку зрения, нежели Кон, предложив вместо национализма как «волевого акта» национализм как доктрину, причем совершенно условную, и отодвинув ее истоки еще на несколько десятилетий назад. Рассмотрение этой идеи в историческом контексте без всякого упоминания Маркса помогло специалистам в области политических наук, историкам и другим исследователям признать в нациях и национализме исторически случайные образования. Как мы увидим, некоторые очень важные работы, многое почерпнувшие из этого сдвига, начинались с резкой критики Кедури по множеству частных вопросов, но в то же самое время признавали, что он сыграл ключевую роль в создании нового дискурса, обратив внимание на мыслителя, который ныне считается одним из наиболее оригинальных и здравомыслящих теоретиков: речь идет об Иоганне Гютлибе Фихте. Однако Фихте, положивший язык в основу своего определения нации, будет рассмотрен в этой статье более подробно далее, а пока мы должны вернуться на пять веков назад к прадеду всех языковых (прото) националистов Данте Алигьери.

Конструирование национальной идентичности и язык: «О народном красноречии» Данте

Очевидно, что отсутствие национального языка является одним из наиболее серьезных препятствий, которое необходимо преодолеть при создании национальной идентичности. «Миф национального государства» — общее представление о том, что мир естественным образом состоит из национальных государств, — связан с предположением, что национальные языки представляют собой изначальную данность. Независимо от трудностей, с которыми мы могли бы столкнуться при определении того, кто является «немцами» (например, являются ли немцами дети турецких иммигрантов и кто из эльзасцев французы, а кто — немцы), немецкий язык продолжает играть важную роль в решении этой задачи. Гитлер пытался оправдать свои первые вторжения в соседние страны тем,

что проживавшее в них немецкоязычное население было неотъемлемой частью немецкой нации; и, как показал Хаттон (Hutton, 1999), его политика притеснения и, в конечном итоге, истребления евреев подкреплялась идеей о том, что, хотя их язык — идиш — был разновидностью немецкого, евреи все же были расово неполноценными, так как они не смогли сохранить свой «родной язык». Поэтому они не принадлежали немецкому государству, а паразитировали на нем.

Но принадлежность богемского, австрийского, восточнопрусского диалектов и идиш к «немецкому языку» не была предопределена заранее, и даже лингвисты не имеют научного подтверждения этого. Дело в том, что «немецкий язык», как и любой другой национальный язык, представляет собой культурную конструкцию. Своим возникновением он во многом обязан Мартину Лютеру, который в своем переводе Библии стремился создать такую разновидность немецкого языка, которая смогла бы соединить в себе множество диалектных групп, существовавших до конца XIX века в многочисленных малых и крупных государствах, весьма различавшихся в языковом отношении. К тому же сама эта история культурно сконструирована, и хотя она соответствует действительности, в ней присутствует значительное упрощение. Для создания соответствующего «героического» мифа приходится игнорировать или маргинализировать работу многих других людей по созданию «немецкого языка», а также то, что Лютеру ничего бы не удалось сделать без более широких культурных перемен, начавшихся в конце XV века, включая изобретение подвижного шрифта и зарождение националистических настроений, которые сделали возможным разрыв с римской религиозной монархией.

Прототипом современного национального языка был итальянский язык. Удивительно, но Италии удалось стать политической нацией только к 1860 году, а окончательное объединение завершилось в 1870 году, за год до объединения Германии. Менее удивительно, что именно политические разногласия на итальянском полуострове привели к возникновению языкового и культурного единства. В мире романских языков на протяжении тысячи лет, прошедших от падения Римской империи до начала эпохи Возрождения, слово «язык» означало «латынь», которая использовалась в официальных целях и письме. Однако в неофициальном общении люди говорили на местных диалектах, исторически связанных с латынью, хотя и весьма различавшихся от селения к селению.

Никакого «итальянского языка» тогда не существовало. Возникновение и осуществление его идеи восходит — героически и вновь лишь полумифически — к Данте, автору «Божественной комедии». В трактате Данте «О народном красноречии» (около 1306 года), опубликованном только в 1529 году, описывается процесс *открытия*, а не изобретения нацио-

нального языка нации, которой понадобилось пять с половиной веков для того, чтобы обрести свое политическое существование.

Задача, как ее видел Данте, заключалась в открытии этого итальянского народного языка и использовании его вместо латыни, официального языка западного христианского мира:

Народной речью мы называем ту, к какой приучаются младенцы от тех, кто при них находятся, как только они начинают разбираться в словах; или, короче говоря, народной речью мы считаем ту, какую воспринимаем, подражая кормилице без всякой указки (Данте, 1968. С. 270).

Он противопоставляет этому языку язык с «граммотой», под которым подразумевается официальный письменный язык, который мы теперь назвали бы стандартным языком. И вновь для западного христианского мира этим языком оказывается латынь — язык, на котором писал и сам Данте:

Есть затем у нас и вторичная речь, которую римляне называли граммотой. Такая вот вторичная речь имеется и у греков, да и у других народов, но не у всех; навыка в этой речи достигают немногие потому, что мы ее выравниваем и научаемся ей со временем и при усидчивости (Там же).

Слово «вторичная», на первый взгляд, кажется, имеет просто временное значение, как если бы этот вид речи приобретался во вторую очередь. Но затем Данте утверждает, что классический стандарт также вторичен по своей *знатности* по отношению к народной речи:

Знатнее же из этих двух речей народная; и потому, что она первая входит в употребление у рода человеческого, и потому, что таковою пользуется весь мир, при всем ее различии по выговорам и словам, и потому, что она для нас естественная, тогда как вторичная речь скорее искусственная (Там же).

Латынь — это язык церкви, священный язык, и утверждение о том, что народный язык знатнее, граничило с ересью. Но Данте противопоставляет «естественную» речь «искусственной», той, что создана искусством. Владение искусством тогда считалось положительным качеством. Тем не менее искусство, в конце концов, принадлежало человеку, а природа была божественной.

Данте рассматривает различные итальянские диалекты, чтобы определить, какой из них лучше подходит для того, чтобы служить *volgare illustre*, ясным и понятным народным языком, способным стать лучшим поэтическим средством в общеитальянском контексте. По его мнению, ни один из существующих диалектов не подходит для этой цели. Поэтому

volgare illustre представляет собой *идеальный* язык, который следует искать не ушами, а умом:

После охоты в лесных нагорьях и пастбищах Италии и не отыскав пантеры, которую выслеживали мы, стараясь ее найти, проследим ее более разумно, дабы ту, которую мы чуем всюду, но которая нигде не показывается, изловить, хорошенько опутав тенетами (Там же. С. 284).

Чтобы достичь этой цели, необходимо найти среди диалектов «основное», самый простой член в своем роде:

Всякий предмет измерим в своем роде по тому, что он является в данном случае простейшим. В силу этого в наших поступках, поскольку они разделяются на виды, следует находить тот признак, по какому их и надо измерять... Поскольку мы поступаем как итальянцы, у нас имеются известные простейшие признаки и обычаев, и одежды, и речи, по которым измеряются и оцениваются поступки итальянцев (Там же. С. 285).

Не уточняя, в чем состоят признаки итальянскости, Данте довольно неожиданно заявляет, что теперь его поиски завершены:

А наиболее благородные из поступков итальянцев не составляют собственности никакого отдельного города Италии, а принадлежит им всем вместе: тут вот и можно теперь различить ту народную речь, за которой мы начали охотиться и которая ощутима в любом городе и ни в одном из них не залегает (Там же. С. 295).

На самом деле Данте не показал, в чем же заключаются наиболее благородные из поступков итальянцев, общие для всех городов, которые, однако, оказываются итогом длинной дедуктивной цепочки. Но Данте уверен, что мы установили знаменитую народную речь, за которой охотились, сделав вывод о том, что она не составляет собственности никакого отдельного города Италии, а принадлежит им всем вместе. Итак, существует действительный язык, который соответствует этому описанию: *grammatica*, латынь, но она исключается по определению. Она недостаточно благородна, потому что, будучи собственностью всех городов Италии, она не принадлежит всему народу. Нам нужно нечто, что принадлежало бы всему народу, а не какому-то отдельному городу; то, что делают все они, это все же не то, что делает каждый из них.

Современному читателю все это кажется чем-то надуманным, попыткой обнаружить понятный народный язык в том, что на самом деле было изобретением Данте, скрывавшим свои тосканские истоки. Но даже этот изобретенный язык не обладал бы ни одной из тех черт, которые требовал от него Данте, — в нем не было бы ни оригинальности, ни общности,

ни естественности, ни благородства. В таком случае с какой стати его можно было предпочесть латыни?

Данте переходит к описанию естественного элемента, который он не будет потом использовать в своем искусстве, так и не признав, что сам этот элемент мог быть произведением искусства. Если *grammatica* искусственна, потому что она представляет собой продукт человеческой истории, то *volgare illustre* — это продукт *анти*истории. И общим для всех людей Италии является то, что когда-то они были единым народом. Конечно, они были едины во времена формирования латыни, но впоследствии из этого единства выросли испанский, французский, окситанский и так далее. Пантера Данте поймана в результате отмены истории, достаточно глубокой, чтобы достичь итальянской исключительности. История — это то, что уничтожило общий итальянский язык, и *volgare illustre* обнаруживается именно благодаря избавлению от того, что история прибавила к каждому местному диалекту, как от чего-то наносного. По Данте, проблема истории может быть улажена, но не решена, при помощи «граммат», которая сама оказывается историческим продуктом, — историческим в худшем смысле слова: искусственным, сознательным искажением природы, грехом забвения. Историческое несходство языков — это грех забвения, пассивное искажение природы вследствие неспособности следовать основным знакам. Понятный народный язык Данте является антиисторическим в своей противоположности диалектному многообразию и классическому стандартному языку. Этот язык стремится создать альтернативную историю, то есть — неизбежно — глубоко мифическую, создавая общенациональное единство под предлогом его повторного открытия и восстановления.

Укрощение языка: Лебриха и Вальдес

Volgare illustre Данте, воплощенный в его «Божественной комедии» и сочинениях его ближайших современников — Петрарки и Боккаччо, стал образцом, по которому строились другие стандартные европейские языки эпохи Нового времени. Хотя итальянской национальной идентичности потребовалось несколько столетий для того, чтобы обрести свое политическое воплощение, что в значительной степени было обусловлено острой заинтересованностью папы и иностранных держав в сохранении разобщенности на полуострове, другие европейские национальные идентичности смогли воспользоваться выгодами созданной Данте языковой модели намного раньше. Ему, бесспорно, удалось доказать возможность существования того, что было заявлено в названии его трактата о языке, — народного красноречия. В этом понятии «красноречия» содер-

жалось множество общих посылок о природе общения, познания, истины, красоты и, не в последнюю очередь, о том, каким должен быть «народ». Пока его «естественный» образ речи считался непокорным (и он действительно был таким в сравнении с латынью, считавшейся искусственной после столетий упорядочения и утонченного использования), ни о каких притязаниях на автономию народа не могло быть и речи.

Уже в «Грамматике кастильского языка» Антонио де Лебрихи, первой важной грамматике современного европейского языка, заявленная цель состоит в превращении кастильского в основу современного испанского языка. Вступление к его грамматике, адресованное королеве Изабелле, начинается словами: «Язык всегда сопутствовал империи и следовал с нею таким образом, что они вместе возникали, вырастали, расцветали и приходили в упадок» (Nebrija, 1946 [1492]. P. 5–6). Затем приводится несколько примеров языков, которые расцветали и приходили в упадок вместе с великими империями. Далее Лебриха объясняет, почему он склонен *reduir en artificio*, «сводить к искусственному созданию» кастильский язык (P. 9):

И поскольку моя цель и желание заключаются в том, чтобы всегда возвеличивать наш народ и давать людям моего языка сочинения, которые позволяют им наилучшим образом использовать свое свободное время, которое они теперь тратят впустую, читая романы или истории, окутанные тысячью неправд и ошибок, я решил прежде всего свести наш кастильский язык к искусственному созданию, чтобы то, что будет писаться на нем отныне и впредь, могло соответствовать стандарту и распространяться на все последующие эпохи, по образцу греческого и латинского языков, которые, будучи подчиненными искусству, остаются единообразными, несмотря на века.

Три цели, указанные Лебрихой, — возвеличение народа, наилучшее занятие людских умов и предотвращение перемен в языке — представляют собой три основные цели языковой мысли Возрождения вообще. Выражения *reduir en artificio* и *debaxo de arte* означают одно и то же — «искусственное» в эту эпоху все еще означало «созданный в соответствии с искусством». Лебриха воспринимал написание грамматики языка как его завоевание, покорение и подчинение. Его покоряли, как покоряют врага, и сокращали в размерах, устраняя те элементы, которые не отвечали логике и правилам. В этом и заключается «искусство» грамматики. В конце вступления Лебриха сообщает Изабелле (P. 11):

Поскольку ваше величество покорило множество варварских племен и народов с экзотическими языками, и после завоевания они должны получить законы, которые завоеватель устанавливает у побежденных,

а с ними и наш язык, при помощи моего *Искусства* они смогут познать последний точно так же, как мы теперь сами познаем искусство латинской грамматики, изучая латынь.

Грамматика Лебриха позволит недавно покоренным подданным королевы изучить кастильский и тем самым установить у себя законы Испании, сделав возможным существование и функционирование испанской империи. Империя сможет расширяться настолько, насколько широко будет простирается «сопутствующий» ей испанский язык. Это не означает, что кастильский «принадлежит» Кастилии или Испании в каком-то естественном смысле или что в нем воплощен дух Кастилии. Лебриха приводит политические и функциональные доводы: Кастилия победила и потому должны быть установлены ее законы и язык. Поскольку изучение кастильского языка покоренными народами расширяет территориальные владения Испании, возвеличивание языка и империи идут рука об руку.

«Диалог о языке» (1535–1536) Хуана де Вальдеса — это типичное произведение своей эпохи, в котором приводились доводы в пользу отдельного народного языка или утверждалось превосходство одного народного диалекта над другим при закладывании основ национального языка. Но главным ориентиром всегда служили греческий и особенно латынь, не только как священные языки, но и как языки, определяющие красноречие, устанавливающие стандарт, которому должен соответствовать каждый народный язык. Вопреки убежденности большинства в том, что народные языки никогда не смогут соответствовать стандарту, Вальдес мог ссылаться на *toscana, volgare illustre* Данте как на пример современного языка, обладающего значительным красноречием и связанного с классическими языками. Количество написанных кастильском литературных произведений также позволяло говорить об очевидных эстетических достоинствах этого языка.

Споры о том, какой язык или диалект лучше, также касались и вопросов чистоты. Нельзя было допустить даже мысли о том, что национальный язык многое заимствовал у своих соседей, особенно если когда-то находился под их властью. Вальдес напрямую связывает наличие языкового многообразия с отсутствием политического единства и автономии в государстве и тем неизбежным фактом, что периферийные области государства имеют по крайней мере столько же общего с соседними государствами, сколько с центром и другими периферийными областями своего собственного государства:

Марцио: Поскольку мы берем за основу кастильского языка латынь, нам остается только объяснить, как произошло, что в Испании говорят на четырех других языках, а именно — каталанском, валенсийском, португальском и баскском.

Вальдес. Обычно многообразие языков в провинции вызвано двумя основными причинами; первая заключается в том, что при всяком государе, короле или властителе, откуда бы он ни происходил, существует столько же языковых различий, сколько правителей; вторая заключается в том, что, поскольку граничащие друг с другом области всегда чем-то связаны между собой, каждая часть провинции, заимствуя что-то у соседних провинций, постепенно начинает отличаться от других не только по своей речи, но и по своему говору и обычаям. Испания, как известно, находилась под властью многих правителей... Такое множество правителей, по моему, и стало причиной различия в языках, хотя каждый из них имеет больше сходства с кастильским, чем с любым другим, потому что, хотя каждый из них и заимствовал что-то от своих соседей, как Каталония заимствовала от Франции и Италии, а Валенсия от Каталонии, в целом видно, что в основном они заимствовали из латыни, которая, как я уже сказал, составляет основу кастильского языка (Valdes, 1965 [1535–1536]. P. 47–49)

Уверенность в том, что кастильский подвергся меньшему внешнему влиянию, чем каталанский или валенсийский, подкрепляет его притязания на роль национального языка в двух отношениях: во-первых, его испанскость лучше сохранилась, и, во-вторых, чем язык ближе к своей исторической основе, тем больше вероятность быть понятым большим числом испанцев, нежели в случае других, более «искаженных» языков. Что касается баскского и португальского, Вальдес отказывается принимать их в расчет, исходя из двух полностью противоположных соображений: баскский, говорит он, попросту слишком далек от всех остальных, чтобы его можно было понять, а португальский, по сути, остается кастильским, если не считать небольших различий в произношении и орфографии³.

Также велись споры о том, насколько серьезному «очищению», то есть латинизации, должен подвергнуться народный язык. Действительно, при таком очищении народный язык утрачивал свою «естественность», которая обычно была основным доводом в пользу его использования даже у тех, кто наиболее жестко настаивал на укрощении его такими средствами. Кроме того, очищению подвергались и диалекты испанского — поэтому возникает вопрос, какой именно диалект испанского должен быть взят за «основу» и действительно ли то, что было удалено из его исходной формы в результате «очищения», было чем-то несущественным и «чужеродным». Заметим, что Вальдес связывает заимствование языка с заим-

³ Между кастильским и португальским языками во времена Вальдеса действительно было намного больше сходства, чем сегодня, особенно на письме. Однако Вальдес серьезно преувеличивает степень этого сходства.

ствованием обычаев соседей. Это ставит под вопрос само существование испанскости. Центр, защищенный от внешних влияний своим географическим положением, определяет суть национального характера и его языковые проявления.

Несмотря на риторически убедительные доводы за использование центрального диалекта в качестве основы национального языка, стратегия маргинализации периферии приводит к ровно противоположным результатам, нежели те, на которые направлено политическое строительство нации. «Испанский» (итальянский или какой-либо другой) народ представляет собой конструкцию, основанную на политических границах, которые произвольны в смысле их исторической случайности, возможности пролегания в другом месте в другие эпохи. Политико-культурной целью становится определение границ, предотвращающее их изменение (если оно не связано с расширением). Для этого необходимо убедить тех, кто живет на границах нации, вблизи этих границ, в том, что они образуют единый народ именно с теми, кто живет в центре, а не с соседями по ту сторону границы. Необходимо также убедить в этом и тех, кто живет в центре, ибо у них должны быть веские основания оплачивать войну, позволяющую сохранять национальные границы неизменными. Крестьян, составлявших раньше основу войска, не нужно было убеждать идти в армию — они делали так, как им приказывал их феодальный сеньор, и избежать этого они могли, только оставив свое поместье ради анонимной жизни в городе или за границей. Но в настоящем сражении христианскому солдату, который должен был не бояться смерти, а мечтать о славной жизни после смерти, мог потребоваться мотив для того, чтобы отдать всего себя во имя национального дела.

Таким образом, суть идей нации и национального языка заключалась в том, что они определяют отличие от ближайших соседей. Англоязычные канадцы знают, «каковы они», преимущественно благодаря чертам, отличающим их культуру и язык от культуры и языка Соединенных Штатов; то же относится и к Шотландии с Англией, французским областям и центру, северному и южному Китаю и так далее. Такая уверенность в существовании различий неизбежно тонкого порядка — с учетом близости — приводит к тому, что даже малейшие различия наполняются огромным культурным смыслом. Можно считать, что сущность нации и состоит в некоторых внешне незначительных особенностях — сохранение гуттурального фрикативного согласного в фонетической системе, церемониальное ношение килта или приготовление блюда, которое соседи считают настолько отвратительным, что смеются над ним. Неудивительно, что «эссенциализм» стал общепринятым способом понимания национальной идентичности в науке, особенно если учесть, что такая идентичность оказывается эссенциалистской в своих основных проявлениях.

Национальная идентичность – например, «итальянская» – становится означаемым означаемого, которое существует в первом только как желание. Будучи достаточно сильным, такое желание может достичь критической массы в предполагаемой нации, и когда это происходит, означаемое – «итальянский народ» – становится реальным, настолько реальным, насколько таким бывает означаемое, учитывая, что они представляют собой понятия или категории, а не действительные физические объекты.

Язык, воображаемый как республика: дю Белле

Может, итальянцы и испанцы и создали первые трактаты, диалоги и грамматики, в которых утверждалось, что их народный язык или какая-то отдельная его форма способны приблизиться к красноречию классических языков, однако остальная Западная Европа не замедлила принять в этом участие. Жоашен дю Белле написал свой трактат «Защита и прославление французского языка» (1549) с намерением доказать, что французский язык был достоин и потенциально способен использоваться в литературном и научном письме, подобно латыни и греческому. Большинство идей «Защиты и прославления» было предвосхищено Спероне Сперони в Италии и французскими авторами начала XVI века, например, Жоффруа Тори в «Цветущем луге» (1529). Но это не помешало трактату дю Белле обрести в свое время огромное влияние и стать сегодня основным элементом французского образовательного канона. Как и Лебриха, дю Белле напрямую связывает воедино языковое и политическое влияние нации:

Я верю, что придет время и благодаря счастливой судьбе французов это благородное и могущественное королевство захватит, быть может, в свою очередь бразды мирового правления и что наш язык (если только он не погребен вместе с Франциском), только еще начинающий пускать корни, выйдет из земли и достигнет такой высоты и величия, что сможет сравняться даже с греческим и латинским... (дю Белле, 1981. С. 240).

Он признает парадокс, связанный с тем, что для достижения необходимого красноречия французский язык вынужден заимствовать отдельные элементы и аспекты тех самых языков, на которые он пытается равняться. В следующем отрывке дю Белле выражает это при помощи пары метафор: первая – экономическая (наш язык в состоянии передать заимствуемое), вторая – сельскохозяйственная (он приносит плоды тем, кто его возделывают), прежде чем связать все это непосредственно с *любовью к родине*.

Наш французский язык не настолько беден, что не может верно передавать заимствуемое у других, не настолько бесплоден, что не может сам

производить добрые плоды, — конечно, при известном мастерстве и прилежании его возделывателей, — если только найдется хоть несколько друзей своей страны, да и друзей самим себе, которые приложат к этому свои силы (Там же).

Займствование слов стало едва ли не навязчивой идеей дю Белле, и это понятно, потому что потребность в займствовании предполагает бедность языка и в то же самое время делает возможным его обогащение. Отсюда бесконечный поиск метафор, позволяющих оправдать займствование, наиболее интересной из которых, наверное, является та, в которой он представляет язык в качестве эквивалента нации, а отдельные слова в качестве иммигрантов, которым удастся или не удастся прижиться, то есть проникнуть в национальную идентичность («семью»):

Я полагаю, что искусство переводчиков, точных в данном случае, очень полезно и необходимо, и не следует медлить, если встречаются иногда слова, для которых не находится подходящего слова во французском языке; ведь сами римляне считали не всегда необходимым переводить все греческие слова, такие как риторика, музыка, арифметика, геометрия, философия... и главным образом большинство терминов, употребляемых в естественных и математических науках. Эти слова будут в нашем языке, как иностранец в каком-нибудь городе... И если философия, посеянная Аристотелем и Платоном на плодородную аттическую почву, будет пересажена на наши французские поля, это не значит, что она будет брошена среди терниев и колючек и станет бесплодной, но наоборот, тем самым мы сделаем ее из далекой — близкой, из иностранки — гражданкой нашей республики. (Там же, с. 247)

Так, и язык, и культура подобны «республикам», населенным в одном случае словами, а в другом — идеями⁴. Конечно, не всякому чужеродному элементу, проникающему в республику, будет предоставлено гражданство, но те, что смогут принести существенную пользу республике, будут приняты с радостью и смогут, подобно пересаженным семенам, не только расцвести на французской почве, но и стать французскими растениями. Любопытно, что дю Белле прямо говорит об «иностранце в каком-нибудь городе», городах, население которых сильно перемешано и где высока вероятность встречи с иностранцем, а также там, где появится национальный язык — отчасти как *lingua franca* для вновь прибывших в город из раз-

⁴ Дю Белле явно употребляет слово «республика» в общем смысле «государства», а не в более узком смысле противопоставления республики монархии или олигархии.

личных диалектных областей, отчасти благодаря тому, что город был средоточием правовых, управленческих, образовательных и коммуникационных институтов, играющих ведущую роль в формировании языка.

Одним из основных изменений в европейской мысли последующих двух с половиной веков, приведших к романтическому периоду, стало постепенное укрепление убежденности в том, что города из-за заметного присутствия в них чужеродных элементов *на самом деле* не имеют никакого отношения к нации: подлинная нация находится в деревне. Теперь понятно, что вопрос о том, *что же такое нация на самом деле*, присутствовал в спорах о языке эпохи Возрождения только в виде одного из риторических тропов в рассуждениях, связанных с расширением функциональной сферы отдельного языка или диалекта. Во второй половине XVIII века этот вопрос стал намного более важным, осуществившись в Америке и Франции в революционном действии, а в Германии, по крайней мере на первых порах, в философском созерцании. Тогда, в начале XIX века, политические события вывели его за пределы философии для немцев и, в сущности, всей Европы. И в этой сложной обстановке конца XVIII — начала XIX веков начали складываться современные идеи «нации» и «национализма».

Фихте о языке и нации

В 1799 году генерал Наполеон Бонапарт фактически захватил власть во Франции. В 1803 году он также возглавил Итальянскую республику, а в 1804 году французский сенат и народ провозгласили его своим императором. За последующие шесть лет в состав его империи вошла большая часть Европы. Именно в этот период мыслителям немецкого романтизма, многие из которых прежде превозносили Наполеона как героя, считая его воплощением возможностей человеческой воли, пришлось столкнуться с тем, что их собственная страна была покорена им, а сами они стали подданными его империи. Этот опыт вызвал к жизни представления о несправедливости такого имперского правления и о естественности национального правления.

Но каковы «естественные» границы нации? Это был ключевой вопрос, ответ на который казался очевидным каждому, когда наиболее распространенное определение слова «нация» было связано с территориальным пространством. Естественными границами были географические преграды, морское побережье, горные цепи или крупные реки, которые делали нацию менее досягаемой для соседей. Но, в принципе, ничто не мешало воспринимать «Европу» как нацию, а не как империю, состоящую из наций. Ни одна из естественных преград в ней не была непреодолимой (за исключением Ла-Манша). В частности, больше всего немецких роман-

тиков беспокоило отсутствие обширных земельных территорий или водной преграды, отделявшей их нацию от соседей на востоке или западе.

Если право немецкой нации на автономию подкреплялось чем-то более важным для романтического сознания, нежели простое историческое различие, чем-то негеографическим и в то же самое время кажущимся изначальным, то необходимо было установить «естественную» границу. Одним из решений могло стать возвращение к религии, на которой покоилась вся династическая система эпохи Средневековья. Но вся Европа была формально христианской, и несмотря на сильные доктринальные различия в западном христианстве, прежде всего связанные с отделением протестантов от римских католиков, немцы, в частности, не могли играть на них, опасаясь ослабить единство Запада в условиях угрозы со стороны православных славян на востоке. Кроме того, после эпохи Просвещения европейская мысль стала в основном светской. Религиозные идеи относились либо к прошедшей эпохе, либо к становившейся все более и более специализированной области богословия.

Наиболее убедительный ответ был предложен Фихте в 1806 году в его «Речах к немецкой нации», где он утверждал, что определяющей особенностью нации служит ее язык:

Первыми изначальными и по-настоящему естественными границами государств, несомненно, оказываются их внутренние границы. Те, кто говорит на одном языке, связаны друг с другом множеством невидимых уз самой природы задолго до возникновения всякого человеческого искусства; они понимают друг друга и способны и дальше развивать взаимопонимание; они связаны друг с другом и по природе образуют единое и неделимое целое. (Fichte, 1968 [1808]. P. 190–191)

Несмотря на контекст, в котором писал Фихте, язык ни в коей мере не был очевидным кандидатом на роль основного признака нации. Считалось, что европейские языки в большинстве своем восходили к общему языковому предку, причем различия между ними были просто побочным историческим результатом выделения из первоначального племени различных подгрупп, которые осели в различных частях континента, разделенных географическими преградами — естественными и исконными границами наций, и оставались изолированными в течение продолжительных промежутков времени. Фихте полностью перевернул традиционные представления:

По этой внутренней границе [языка], проводимой духовной природой самого человека, в результате и происходит разметка внешней границы по месту проживания; и при естественном взгляде на вещи отдельные люди образуют народ не потому, что они живут между определенными

горами и реками, а, напротив, потому, что они живут вместе — и если им улынулась удача, то под защитой рек и гор, — потому, что они уже были народом согласно намного более высокому закону природы.

Таким образом, немецкая нация находилась — достаточно сплоченная сама по себе общим языком и общим образом мысли и достаточно резко отделенная от других народов — посреди Европы, подобно стене, разделявшей неродственные народы (Ibid.).

Основное значение сочинений Фихте заключалось в том, что они побуждали немцев восстать против наполеоновского правления. Точка зрения, которой он придерживался, ни в коей мере не была исключительно политической; она вызвала серьезный отклик лишь потому, что она прекрасно отвечала системе идей немецкого романтизма в целом. Неоплатоновская по своему характеру, она ориентировалась на область вечных идеалов и связывала реальность не с миром поверхностных явлений и исторических случайностей, а с постоянной, неизменной сущностью вещей. В чистом виде сущность нации воплощалась в ее основателе и сохранялась на всем протяжении истории нации, составляя основу ее языка, культуры, образа мысли и интеллектуальных и художественных достижений. Однако смешение с другими нациями означает растворение этой сущности.

Такое целое [как нация, определенная языком] в своем стремлении поглотить и смешать с собой какой-то другой народ иного происхождения и языка не может избежать, по крайней мере поначалу, смятения и серьезного искажения развития своей культуры (Ibid.).

Эта отдельная сторона романтической мысли, которая логически вытекает из ее основных принципов, привела к развитию «научного расизма» в середине XIX — середине XX веков и ужаснейшим последствиям в истории человечества. Предвосхитили ли такое развитие сочинения той эпохи — вопрос спорный, но в случае Фихте можно вполне уверенно говорить о том, что его цель заключалась в спасении немецкой нации, языка и культуры от того, что казалось тогда несомненным и непреодолимым, — господства французов. Поэтому вряд ли его соотечественники считали приравнивание поглощения к смешению логическим обоснованием геноцида.

Ренан и спор между Кедури и Геллнером

Во второй половине XIX века во Франции произошли события, которые поставили ее в положение, схожее с тем, в котором находились немцы семью десятилетиями ранее. В 1863–1871 годах Пруссия во главе с Отто фон Бисмарком объединила немецкую нацию под своей гегемони-

ей после победоносных войн против Дании, Австрии и Франции. Кульминация Франко-прусской войны с осадой Парижа в 1870–1871 годах была для современного национализма во многих отношениях определяющей: она завершилась провозглашением Германской империи — современной Германии, какой мы ее знаем, — и аннексией этой империей территорий Эльзаса и Лотарингии, которые неоднократно переходили то под власть Франции, то под власть Германии, где местные диалекты были немецкими, но в политическом отношении население целиком было на стороне Франции. Париж продолжил сопротивляться новой Германской империи даже после того, как остальная Франция сдалась, и в течение двух месяцев находился под властью Коммуны, свободно организованного пролетарского «коммунистического» правительства, которое в конечном итоге было подавлено новым французским национальным временным правительством, созданным по соглашению с Пруссией.

Воздействие этих событий на дух Франции сравнимо с воздействием побед Наполеона на немцев в начале XIX века, которое привело, среди прочего, к появлению сочинений Фихте о национализме. Рассуждения Фихте о языке, определяющем нацию, естественно, стали основным оправданием германской аннексии Эльзаса и Лотарингии. Этот образ мысли оказал настолько сильное влияние на современную европейскую идею национализма, что даже французы, которые искренне считали, что Эльзас и Лотарингия должны быть французскими, не могли найти явного опровержения языкового аргумента. И, наконец, лингвист Эрнест Ренан предложил в ответ новую идею национализма, и именно она стала основой вильсоновских принципов, определивших пересмотр политической карты мира в Версале в 1919 году.

Поворотным пунктом принято считать лекцию Ренана «Что такое нация?», прочитанную в 1882 году. Концепция нации Ренана восходила к романтической идее об общей *вме* (слово, обозначающее и «дух» и «душу»), что было довольно предсказуемо, так как его подход к языку, сознанию и расе сложился в 1840-х годах под влиянием Гердера. Но Ренан преодолевает романтизм, выделяя составляющие этой *вме*, а именно — наследие воспоминаний и желание сохранить это наследие:

Нация — это душа, духовный принцип. На самом деле эта душа, этот духовный принцип, состоит из двух частей. Одна — это прошлое, другая — это настоящее. Одна — это общая собственность богатого наследия воспоминаний; другая — это современное согласие, желание жить вместе, желание сохранить полученное наследство (Renan, 1882. P. 26).

Иными словами, нация существует в умах — воспоминаниях и воле — людей, из которых она состоит. К этой идее обратился Андерсон в своем

определении нации как «воображаемого политического сообщества». Отмеченное Ренаном «наследие воспоминаний» определило будущие философские и научные попытки анализа национальной идентичности. Другой составляющей, коллективной «воле» людей, удалось оказать серьезное воздействие на политику, начиная с Версаля, и она до сих пор остается общепризнанным основанием законности политической нации.

Ренан неожиданно оказался в центре первого крупного современного спора о национализме, который произошел между двумя еврейскими учеными после окончания Второй мировой войны. Кедури вырос в Ираке, стране, искусственно созданной Британией; после создания нового государства Израиль он ненадолго поселился в нем, а затем продолжил свою научную деятельность в Лондоне. Эрнест Геллнер, как и Ганс Кон, эмигрировал из нацистской Германии, правда, не в Америку, а в Лондон. Геллнер и Кедури стали друзьями, и оба они признавали, что каждый из них сыграл важную роль в изложении двух по своей сути противоположных представлений о природе национализма, представлений, отражавших различия в их жизненном опыте.

Между ними были два основных расхождения. Первое заключалось в том, что, по Геллнеру, представление Кедури о национализме как о «доктрине, которая была изобретена в Европе в начале XIX века», превращает его из результата естественного, необходимого, всеобщего исторического развития, каким он, как считалось, был, в нечто «совершенно *случайное*, несущественное изобретение, побочный продукт случайной совокупности мыслителей в особой исторической обстановке» (Gellner, 1997. P. 10). Геллнер считал заслугой Кедури свое пробуждение из «догматического сна»: «Пока я не прочел его книгу, я придерживался представления (или, по крайней мере, не сомневался в его обоснованности) о “естественности” национализма» (Ibid.). Но, соглашаясь с мыслью Кедури о том, что нации не являются неизбежной исторической судьбой всего человечества, Геллнер отвергал следующий вывод о том, что национализм представляет собой всего лишь идеологическую случайность, которая никогда бы не возникла, если бы Кант и Фихте не написали того, что они написали:

Национализм не является ни общезначимым и необходимым, ни второстепенным и случайным плодом праздных шелкоперов и легковверных читателей. Он представляет собой неизбежное следствие или коррелят определенных социальных условий. Поэтому национализм вовсе не случаен: его причины глубоки и важны, он на самом деле является нашей судьбой, а не какой-то случайной болезнью, которой нас заразили писатели конца эпохи Просвещения. Но, с другой стороны, глубокие причины, вызывающие его, встречаются не везде, а потому национализм не явля-

ется судьбой всего человечества. Он оказывается весьма вероятной судьбой одних народов, но вряд ли ему удастся стать судьбой многих других. Наша задача состоит в том, чтобы выделить различия, которые разделяют народы, тяготеющие к национализму, и народы, стойкие к нему (Gellner, 1997. P. 10–11).

Не считая биографическое объяснение универсальным, все же без труда можно понять, насколько насущной казалась эта задача тому, кто потерял своих родственников во время геноцида, организованного фанатичным националистическим режимом, и что такому человеку идея национализма как простой идеологической абстракции могла казаться совершенно неубедительной.

Во всяком случае, Геллнер приступил к решению задачи, которую он определил для себя сам. Одним из наиболее заметных факторов при создании народов, тяготеющих к национализму, было, по его мнению, отмеченное еще Фихте наличие общего языка. В результате, современные исследователи национализма и национальной идентичности склонны были вслед за Геллнером считать язык основным фактором. Распространению этой тенденции способствовал общий «постструктуралистский» настрой, при котором *все* социальные структуры рассматривались как языковые конструкции. Предложенная Кедури альтернатива — превращение языка из изначальной связующей силы нации в одно из идеологических общих мест националистической риторики — встретила благожелательный отклик у тех же постструктуралистов, опасавшихся эссенциалистского придания определяющего значения языку или какому-то другому фактору⁵.

⁵ Геллнер (Gellner, 1964, Ch. 7) утверждал, что национализм лучше считать следствием неравномерного развития модернизации, ставшего причиной серьезных экономических и социальных сдвигов, разрушения традиционного образа жизни и переселения людей из деревни в город. Традиционные деревенские и племенные структуры, на которых покоилась социальная организация, перестали работать и должны были быть заменены, а в городском контексте заменой им мог стать язык и основанная на языке культура, особенно печатная. Современное государственное образование возникло благодаря печатному слову и стало институтом создания новых социальных иерархий, основанных на грамотности и языковых стандартах. Но новые иерархии порождали и новые противоречия, так как люди боролись за сохранение старых привилегий при новом режиме. Этнические объединения приобрели новое значение в этой борьбе, и из этого нового этнического сознания развились националистические движения, «изобретавшие» нации там, где их на самом деле не существовало. В более поздних работах Геллнер (Gellner, 1973; Геллнер, 1991) пере-

Второе расхождение между Геллнером и Кедури было связано с тем, что у последнего было кантианское понимание нации, построенное по образцу романтического идеала личности. По Геллнеру, строение нации всецело социально. В подтверждение этого он приводил известное высказывание Ренана о том, что «жизнь нации — это, да простят мне такое сравнение, ежедневный плебисцит» (Renan, 1882. P. 271), а также его описание ментального устройства нации, основанного не только на общих воспоминаниях, как принято считать, но и на общем забывании, отказе замечать различия между группами, образующими нацию, а также забывании того времени, когда они не были единой нацией.

По иронии судьбы Ренана сегодня помнят за его модернистские по виду высказывания, хотя, как отмечалось ранее, он был одним из тех лингвистических мыслителей XX века, которые наиболее полно развили эссенциалистское представление о языке. В своей знаменитой ранней работе о происхождении языка Ренан развивал идеи немецкого романтизма, изложенные Гумбольдтом, о том, что структура языков должна полностью существовать уже в момент их создания (Renan, 1858. P. 105–106). По мнению Ренана, первобытный человек создавал свой язык так же легко, как и ребенок (Ibid. P. 98), не прилагая при этом волевых усилий, но позволяя языку стихийно и естественно развиваться в соответствии с его физическими и умственными способностями (Ibid. P. 92–93). Вообще взгляды Ренана были близки к взглядам Гердера, но он отвергал идею Гердера о том, что *мысль* была ключом к происхождению языка, и возвращался к эпикурейской идее языка, исходящего из тела, точнее, из этнического тела. Подобно Фихте и Гумбольдту, Ренан считал, что «сознание каждого человека тесно связано с его языком» (Renan, 1858. P. 190).

смотрел свою теорию с учетом некоторых обстоятельств, которые она была не в состоянии объяснить. Одно из них было связано с определяющим значением, которое он придавал языку: можно было предположить, что при отсутствии общепризнанного национального языка возникновение национализма было невозможно, несмотря на множество свидетельств обратного, например, в арабоязычном мире и испаноязычной Латинской Америке (а также англоязычном мире, где, несмотря на использование одного языка, по-прежнему существуют американцы, канадцы и другие нации). Кроме того, присутствие различных языков не мешало созданию относительно устойчивых наций, как в случае Швейцарии. Поэтому позднее Геллнер стал придавать особое значение не языку, а институциональной структуре государственной системы образования и ее роли в определении и поддержании культуры, в которой национализм как политический принцип присутствует и осуществляется самыми разными способами.

«Воображаемые сообщества» Андерсона и «банальный национализм» Биллига

Наиболее ярко сопряжение Ренана и Геллнера проявилось в предложении Бенедиктом Андерсоном знаменитом определении нации как «воображаемого политического сообщества»:

Оно *воображенное*, поскольку члены даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев-по-нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах каждого из них живет образ их общности. Ренан в своей особой вкрадчиво двусмысленной манере ссылался на это воображение, когда писал, что «сущность нации в том и состоит, что все индивиды, ее составляющие, имеют между собой много общего и в то же время они забыли многое из того, что их разъединяет». Геллнер несколько утрашающе высказывает сопоставимую точку зрения, утверждая: «Национализм не есть пробуждение наций к самосознанию: он *изобретает* нации там, где их не существует». (Андерсон, 2001. С. 31).

Как и в случае «открытия» национального языка, важнейшей составляющей этого изобретения или воображения нации оказывается создание веры в то, что нация не была изобретена. Иными словами, ее изобретение забывается. Ибо, будучи изобретенной, нация была бы попросту искусственной и случайной, а значит, необоснованной. Поэтому должен быть создан миф о *естественности* и подлинности нации. Если письменной истории данная нация не знакома, то миф (или, чаще, комплекс мифов), при необходимости будет распространен на доисторические времена с тем, чтобы закрепить ее притязания на законность. Далее Андерсон объясняет, что нация

...воображается как *сообщество*, поскольку независимо от фактического неравенства и эксплуатации, которые в каждой нации могут существовать, нация всегда понимается как глубокое, горизонтальное товарищество. В конечном счете именно это братство на протяжении двух последних столетий дает многим миллионам людей возможность не столько убивать, сколько добровольно умирать за такие ограниченные продукты воображения (Там же. С. 32).

Основные организационные структуры, предшествовавшие современной идее нации, а именно — религиозной общины и династической монархии, имели вертикальное, а не «горизонтальное» устройство. Власть нисходила от бога к верховной человеческой власти — религиозной или светской, — а от нее на остальное сообщество. Особенность современной мысли заключалась в том, что эти вертикальные иерархии стали считаться мифическими, служащими интересам верхушки и угне-

тению низов. И потому они стали частично замещаться «горизонтальной» нацией, представители которой были в каком-то смысле равными членами. Определяющим теперь становится проживание на одной территории, и оно превосходит даже религиозные, культурные и классовые различия. Но как в этом случае можно заставить людей сражаться во имя нации, зачастую против своих единоверцев? Именно для этого и нужна была новая мифология.

Во многом отталкиваясь от предложенного Сетон-Уотсоном (Seton-Watson, 1977) описания языкового различия как основы национализма, Андерсон связывает начавшееся с эпохой Возрождения создание национальных мифов с отказом от

представления о том, что какой-то особый письменный язык дает привилегированный доступ к онтологической истине, и именно потому, что он — неотделимая часть этой истины... Происходил поиск, так сказать, нового способа, с помощью которого можно было бы осмысленно связать воедино братство, власть и время. И, наверное, ничто так не способствовало ускорению этого поиска и не делало его столь плодотворным, как печатный капитализм, открывший для быстро растущего числа людей возможность осознать самих себя и связать себя с другими людьми принципиально новыми способами (Андерсон, 2001. С. 58–59).

У этих новых представлений о себе уже имелась готовая основа: национальные языки, которые, по мнению Андерсона, появились в XVI веке в результате «постепенного, неосознаваемого, прагматичного, если не сказать случайного процесса» (Там же. С. 65); «в своих истоках застывание печатных языков и дифференциация их статусов были по большей части процессами неосознанными» (Там же, С. 68). Обоснованность этих представлений будет рассмотрена в следующем разделе этой статьи.

Национальность — это не обязательно идентичность, за которую люди готовы умереть. Не менее важны региональные и местные, а также классовые, расовые и религиозные идентичности. Даже языковая идентичность может быть самоцелью, хотя она, как правило, переживает квазирасовое превращение. Принимая во внимание важность этих идентичностей при определении представлений индивидов о самих себе, можно предположить, что идентичности должны покоиться на чрезвычайно глубокой основе тысячелетней культурной традиции. Так обычно обстояло дело с древними организационными структурами религиозных общин и династических монархий, но современные структуры, наподобие нации, обычно покоятся на куда менее глубоких и часто совершенно символических основаниях⁶.

⁶ В частности, Энтони Смит подчеркивает, что попытки создания национализ-

Во многих отношениях позиция Андерсона была расширена и разъяснена Майклом Биллигом. Термин «воображаемое сообщество» может означать, что нация «зависит от непрерывного воображения ее существования» (Billig, 1995. P. 70). Вместо этого первоначальное «воображение» иногда *воспроизводится* через целенаправленное развертывание национальных символов, но в основном через повседневные привычки, которые осознаются нами весьма смутно или не осознаются вовсе.

В качестве примера можно привести национальный флаг, вывешенный перед почтовым отделением, или национальные символы на монетах и банкнотах, используемых нами в повседневной жизни. Биллиг вводит термин *банальный национализм* для описания

идеологических привычек, которые делают возможным воспроизводство сложившихся западных наций. Эти привычки не исчезли из повседневной жизни, как предполагают некоторые наблюдатели. Каждый день нация отмечается или «обозначается» в жизни своих граждан. Национализм, не будучи колеблющимся настроением сложившихся наций, представляет собой эндемическое состояние (Billig, 1995. P. 6).

Эта идея, возможно, неявно присутствовала у Андерсона, когда он ссылался на слова Ренана о необходимости «забывания». Однако Андерсон на этом останавливается и связывает национализм с тем, что Биллиг называет «призывно развевающимся флагом», забывая об «обычных флагах», наподобие тех, что жалко висят перед почтовыми отделениями и осуществляют воспроизводство банального национализма, будучи «забытым напоминанием» (Ibid. P. 8) — его значение «забыто» наблюдателем, но все же присутствует в глубине его сознания. Мысль Биллига заключается в том, что исследователи национализма склонны уделять внимание открытому национализму, то есть меньшинству людей, и пренебрегать банальным национализмом, связанным с повседневной жизнью каждого (в том числе и националистов). Более того, он говорит о существовании

идеологической системы, в которой «наш» национализм (национализм сложившихся наций) забывается: он перестает казаться национализмом, исчезая в «естественной» среде «обществ». В то же самое время национализм определяется как нечто опасно эмоциональное и иррациональное: он воспринимается как проблема или состояние, которое избыточно по отношению к миру наций. Иррациональность национализма проецируется на «других» (Ibid. P. 38).

ма в значительной степени связаны с возвращением к прошлому в интересах «этносимволизма», см., напр.: (Смит, 2004. С. 312–361).

С его точки зрения, «идентичность следует искать в устоявшихся привычках общественной жизни» (Ibid. P.8), в том числе и в языке.

Следующий аспект национальной идентичности, который будет рассмотрен в этой статье, не получил подробного изложения у Биллига, хотя он и упоминает о нем, ссылаясь на высказывание Саида (Said, 1983) о том, что нации являются не только воображаемыми, но и «интерпретативными сообществами», поскольку требуется создание не только идеи нации, но и всей истории, основанной на особой интерпретации описанных событий. Действительно, идентичности связаны не только с представлениями их носителей (или потенциальных носителей), но и с осмыслением и интерпретацией таких представлений. По утверждению группы социологов,

Национальные идентичности, по сути, не фиксированы и не даны изначально, а во многом зависят от утверждений, которые люди делают в различных контекстах в различное время. Процессы идентичности основываются не только на этих утверждениях, но и на том, как такие утверждения принимаются, то есть получают поддержку или отвергаются многими другими (Bechhofer et al., 1999. P. 515).

Но мы не можем пренебрегать и тем, что думают о нас другие. Однако необходимо заметить, что наиболее важным из всех утверждений касательно национальной идентичности оказывается утверждение о том, что идентичность *действительно* закреплена и дана, *действительно* предопределена нашим рождением и остается, по сути, неизменной на протяжении всей нашей жизни. С точки зрения конструктивистов, эссенциалисты не способны понять прошлое мифа, связанного с изучаемой идентичностью. В то же самое время конструктивисты и сами должны старательно избегать возможных ошибок, связанных с отрицанием «мифа» как простого заблуждения, которое само по себе не заслуживает внимания исследователя. В конечном счете, такую культурную конструкцию невозможно отделить от национальной идентичности в целом.

Преодоление языкового эссенциализма: Хобсбаум и Сильверстейн

Хотя Эрик Хобсбаум был на несколько лет старше и Кедури, и Геллнера, он обратился к изучению национализма спустя более двадцати лет после того, как они задали границы нынешних рассуждений об этой проблеме. Как и многие другие современные исследователи национализма, Хобсбаум родился в еврейской семье в Германии и прибыл в Англию в 1933 году, хотя и не в качестве беженца. Но, в отличие от других, он был членом Ком-

мунистической партии с 1936 по 1991 год и по сей день остается преданным марксистом. Поэтому неудивительно, что в его подходе национализм не является основным объяснением политических событий и человеческого поведения, а оказывается связанным с более глубокими социально-экономическими факторами. Но благодаря мастерству Хобсбаума как историка, особенно экономического историка, к его взглядам серьезно относятся даже те, кто считает других крайне левых ученых фанатиками. Также важно, что его серьезная переоценка национализма появилась именно тогда, когда старые разногласия времен «холодной войны» стали историей.

Согласно Хобсбауму, дискурс национализма, в том числе заметная роль, приписываемая национальному языку, скрывает другие, более глубокие интересы, и было бы ошибкой принимать этот дискурс за чистую монету. Никто не спорит с тем, что утверждение современной идеи нации в конце XVIII века было вызвано политическими причинами, однако идеи естественного права народа на самоопределение предполагали его обособление не только от враждебных внешних держав, но и от правящего класса своей страны:

...Самым важным в низовом восприятии «нации-народа» было именно то, что подобная «нация» представляла общие интересы, общее благо в противовес частным выгодам и личным привилегиям, — о чем свидетельствует и сам использовавшийся до 1800 года термин «американцы», позволявший говорить о единстве нации, не прибегая к слову «нация». С этой революционно-демократической точки зрения этнические различия между группами были столь же второстепенными, как и в восприятии позднейших социалистов. Совершенно ясно, что отнюдь не этнические характеристики и не язык отличали американских колонистов от короля Георга и его сторонников, и напротив, Французская республика не видела никаких препятствий к тому, чтобы избрать в свой Конвент англо-американца Томаса Пэйна.

А значит, мы не вправе задним числом приписывать идее революционной «нации» что-либо похожее на позднейшие националистические программы образования национальных государств для сообществ, которые определялись согласно столь горячо обсуждавшимся теоретиками XIX века критериям — этнической принадлежности, общности языка, религии, территории и исторических воспоминаний... (Хобсбаум, 1998. С. 34–35).

Хобсбаум соглашается со своими предшественниками (и, в том числе, с Андерсоном) в том, что национальные языки играют в этом дискурсе важную роль. Но, в отличие от Андерсона, принимающего национальный язык как данность, образующую основу, на которой может быть построено-

на остальная часть национальной идентичности, Хобсбаум понимает, что национальный язык сам по себе является дискурсивной конструкцией:

Национальные языки... представляют собой противоположность тому, чем их склонна считать националистическая мифология, т. е. первоосновой национальной культуры и глубочайшим истоком национального самосознания. Обычно это результат попыток построить единый образцовый язык из множества реально существующих в живой речи вариантов, которые низводятся затем до уровня «диалектов» (Там же. С. 86).

Все историки национального или стандартного языка (за исключением отъявленных фанатиков) приходили именно к такому выводу. Но, в отличие от Хобсбаума, историки национализма, как правило, не интересовались работами историков языка, а сами историки языка редко осознавали значение собственных открытий. Между тем я думаю, что ни один лингвист не дал столь же емкого и краткого определения стандартного языка, какое было дано Хобсбаумом: стандартный язык – это «некая платоновская идея языка, которая скрыто существует за всеми его несовершенными вариантами» (Там же. С. 92). Затем происходит «мистическое отождествление национальности» с этой идеей языка, отождествление, которое, по мнению Хобсбаума, «характеризует, скорее, идеологические построения националистически настроенных интеллектуалов (пророком которых является Гердер), нежели реальное самосознание обычных носителей данного языка. Это чисто “литературная”, а не экзистенциальная концепция» (Там же. С. 92). И здесь я не вполне согласен с Хобсбаумом: так как хотя *исторически* в момент первоначального создания национальный / стандартный язык действительно является собственностью националистических интеллектуалов, а не простых людей, он перестает быть таким, как только попадает в сферу образования и через нее получает широкое распространение. В этом случае языковая идеология становится собственностью всей нации, и вероятность встретить ее твердых приверженцев среди рабочих, неприсяжных к ее созданию, ничуть не меньше, чем среди высших классов, которые и выступают в качестве ее создателей. В следующей главе Хобсбаум отмечает, что воодушевление языковым национализмом исторически было свойственно именно *низшему разряду среднего класса*:

Те группы, чья судьба прямо зависела от предоставления официального статуса письменному языку данного народа, занимали скромное общественное положение, однако принадлежали к образованным слоям. Сюда относились лица, которые вошли в низший разряд среднего класса именно потому, что их профессия, не связанная с физическим трудом, предполагала специальную подготовку и обучение (Там же. С. 186–187).

Они также стали оплотом национализма — не только активно размахивая флагами по символическим событиям, но и повседневным банальным образом, описанным Биллигом, включая использование «правильного языка» и соблюдение норм, например, в общении с собственными детьми. Хобсбаум полагает, что «национальная идентичность» в нашем обычном понимании на самом деле восходит к лавочникам и клеркам викторианской эпохи, завидовавшим верхушке общества с ее клубами и аристократическими титулами и рабочим, которые могли связать свою идентичность с социализмом:

...Если они жили в национальном государстве, то именно национализм давал им чувство национальной самоидентификации, которое пролетарии черпали в своем классовом движении. Можно предположить, что низшие слои среднего класса — как те его группы, которые, подобно ремесленникам и мелким торговцам, оказались теперь экономически незащищенными, так и те категории, которые были в значительной мере столь же новыми, как и рабочий класс (ввиду беспрецедентного расширения слоя «белых воротничков» и вообще лиц, чья профессия предполагала высшее образование) — видели в себе скорее не класс как таковой, но некое сообщество самых ревностных и лояльных, а потому и самых «уважаемых» сынов и дочерей своей родины (Там же. С. 195).

Иными словами, хотя их действительная идентичность была идентичностью социального класса, они скрывали ее от себя и от других в национализме, а своим стремлением «говорить правильно», считавшимся признаком респектабельности, они способствовали языковому конструированию своей нации.

Геллнер уже говорил о том, что, хотя национализм возник как идеология в начале XIX века, решающие события произошли в 1870–1871 годах и позднее. У Хобсбаума этот период приобретает поистине решающее значение, поскольку именно тогда идеологические представления о нации и языке, прежде ограничивавшиеся интеллектуалами и правящей элитой, впервые спустились вниз, к широкому народным массам, и, в конечном счете, достигли даже рабочего класса. Хобсбаум отмечает, что такое развитие событий привело к серьезным последствиям. Если прежде притязания народа на то, чтобы быть «нацией», принимались всерьез только тогда, когда его численность превышала некий негласный порог, то с последней четверти XIX века

любая народность, которая считала себя «нацией», могла добиваться права на самоопределение... и именно вследствие увеличения числа этих потенциальных «неисторических» наций — все более важными, решающими (и даже единственными) критериями национальной государственности становились этнос и язык (Там же. С. 163).

По-видимому, это противоречит тому, что мы наблюдали в более ранних рассуждениях об использовании языка при определении нации, особенно у Фихте. Хобсбаум позволяет нам по-новому прочесть Фихте и других его современников сквозь призму последней четверти XIX века, показав последствия, которые Фихте и его современники не в состоянии были предвидеть и которые являются определяющими для нас в вопросах национализма. Кроме того, возможно, мы переоцениваем влияние Фихте и его коллег-интеллектуалов на их соотечественников, которых, в конечном счете, такие споры почти не интересовали.

Событием, изменившим интеллектуальный климат современной эпохи, было возникновение и распространение идеи эволюции, связанной, в частности, с именем Чарлза Дарвина. Одним из многих последствий, которое Дарвин не мог предвидеть, было использование теории эволюции для «научного» обоснования веры в существование расовых различий интеллектуального и морального порядка. По мере распространения таких идей в популярной культуре основополагающий характер этнических различий постепенно становился все более «очевидным», а вместе с ним и естественное право различных наций на создание отдельных государств. Тем не менее, одна из проблем, как отмечает Хобсбаум, заключается в том, что этнические различия не всегда легко обнаружить на физическом уровне, по крайней мере если речь идет о действительных различиях. Там же, где различия в языке соответствовали этническим различиям, они, по-видимому, составляли более объективную основу для проведения границ, несмотря на утверждения ведущих лингвистов о том, что язык *не* имеет никакой прямой исторической связи с этнической общностью, о чем свидетельствует хотя бы существование народов, говорящих на двух языках. Но желание создать национальное отличие позволяло пренебрегать противоречиями.

Несмотря на постоянное подчеркивание Хобсбаумом влияния классовых сил на возникновение языкового национализма, его работа, бесспорно, позволила преодолеть априорный подход Андерсона к языку в идентичности. Выдающийся специалист в области лингвистической антропологии Майкл Сильверстейн не так давно выступил со схожей по духу критикой андерсоновского использования «языка при моделировании культурной феноменологии национализма» (Сильверстейн, 2005. С. 108–127). Его критика, которая в значительной степени основывается на весьма необычном прочтении лингвистических идей Уорфа, завершается утверждением о том, что Андерсон ошибочно принимает дискурсивные образования за «реальный» языковой национализм:

Андерсон, по-видимому, ошибочно принимает диалектически созданный троп «мы» за реальность. Кажется, он не понимает, что диалектическая

работа политических процессов, которые создают общее пространство реалистического повествования в стандартизованном языке, сама нуждается в описании и объяснении (Там же. С. 124).

Режим языка, от которого зависит такая диалектика, зачастую представляет собой хрупкий социально-политический порядок, пропитанный спорами, вызванными действительным многоязычием, разноречием и другими индексами, по крайней мере, потенциально фундаментальных политико-экономических конфликтов. Такой режим языка, однако, подпитывается и в каком-то смысле поддерживается при помощи ритуально-символического тропа «мы». Он предстает таким у Андерсона, который принимает этот троп за очевидную воображаемую «реальность» (Там же. С. 126–127).

И вновь трудно не согласиться с критическими высказываниями Сильверстейна о том, что в своем описании конструирования национальной идентичности Андерсон считает язык чем-то само собой разумеющимся и неизменным, тогда как на самом деле язык весьма изменчив. Иными словами, в основе конструктивистского подхода Андерсона к национализму лежат эссенциалистские представления о языке. Можно предположить, что Андерсон идет на это ради простоты объяснения. Но, по мнению Сильверстейна, как и по мнению Хобсбаума, это ложная простота. Национальные языки и идентичности находятся в сложном, если угодно «диалектическом», взаимодействии, которое должно составлять объект интереса и изучения.

Однако Сильверстейн идет еще дальше и утверждает, что «реальными» фактами являются только «политические процессы» и «политико-экономические конфликты», составляющие основу дискурса, посредством которого национальный/стандартный язык ведет борьбу за свое существование. «Мы», на котором строится воображаемое сообщество, представляет собой лишь один из «тропов» этого дискурса. «Ритуальная символизация» этого «мы» приводит к иллюзии его действительное существование, тогда как на самом деле оно является всего лишь фигурой речи. Это означает, что, вопреки Андерсону, идентичность, основанная на языке, не является истинным локусом национализма. В действительности национализм существует в политике и экономике, а то, что мы наблюдаем в языке, есть простое отражение этого реального национализма. На самом деле Андерсон ошибается, принимая образ в зеркале за вещь, которая отражается в нем.

Хобсбаум не заходит настолько далеко. Напротив, он предупреждает об опасности «сведения проблемы языкового национализма исключительно к вопросу о роде занятий его сторонников — подобно тому, как вульгарно-материалистически мыслящие либералы сводили войны

к вопросу о прибылях фирм, выпускающих оружие» (Хобсбаум, 1998, с. 187). Сильверстейн, напротив, близок к этому вульгарно-материалистическому суждению, когда утверждает, что идеологии языка — это просто отражение реальности, и сами они реальностью не являются. При этом он повторяет ошибку, которая уже критиковалась им у Андерсона: речь идет о сохранении слишком жесткого разграничения между языковой и политической «реальностью». Андерсон признает существование между ними *функциональной* взаимосвязи, но считает их глубоко различными по своей внутренней структуре: язык — изначально данным, а политическую идентичность — конструируемой. В отличие от Андерсона, Сильверстейн признает существование между ними глубокого внутреннего сходства, но отрицает существование функциональной взаимосвязи, за исключением довольно тривиальной — отражения одного в другом.

Здесь, мне кажется, прав Андерсон. Ошибка Сильверстейна, если воспользоваться его же словами из приведенной выше цитаты, заключается в том, что он считает пресловутое «мы» «диалектически созданным тропом», а не частью «диалектической работы политических процессов». Поэтому такое представление нуждается в четком и ясном разграничении, с одной стороны, того, что принадлежит «языку», а с другой — того, что принадлежит «политике». В отсутствие такого разделения — а такое разделение, на мой взгляд, может быть только иллюзорным — низведение Сильверстейном этого «мы» к категории простого «тропа», на котором основывается его критика Андерсона, оказывается попросту необоснованным аксиоматическим заявлением. Это «мы» — и национальные идентичности, и воображаемые сообщества, основанные на нем, — не более и не менее реально, чем «диалектическая работа политических процессов» или «политико-экономический конфликт», будучи неотъемлемой составляющей последних.

Замечания Сильверстейна в других местах указанной статьи заставляют меня подозревать, что он стремится провести принципиальное различие между «стандартными» языками, которые связаны с описанным мной политическим конструированием, и «нестандартными» языками или диалектами, которым удалось избежать такого политического конструирования. Когда-то я и сам признавал существование подобного различия, рассматривая схожую проблематику в одной из своих работ (Joseph, 1987), но, в конечном счете, я отказался от мысли о том, что какой-то язык или диалект, стандартный или нестандартный, может сложиться независимо от описанных политических процессов (см.: Joseph, 2000). Но даже если признать существование такого различия, то «мы», о котором пишут Андерсон и Сильверстейн, явно связано с политическим конструированием. То, что оно совпадает с первым лицом местоимения во множествен-

ном числе, встречающегося и в нестандартных диалектах, не ведет к его устранению из политической сферы путем «натурализации» или «метафоризации». Оно, как справедливо замечают Хобсбаум и Сильверстейн, способствует эссенциализации национальной идентичности. И эссенциализм необходимо объяснить, не позволив ему просочиться в наше объяснение. Поскольку же квазиэссенциалистское представление о языке у Андерсона создает возможность такого проникновения, Сильверстейн внес серьезный вклад в предотвращение этой опасности.

Перевод с английского Артема Смирнова

Использованная литература

- Bechhofer F., McCrone D., Kiely R. & Stewart R. Constructing National Identity: Arts and Landed Elites in Scotland // *Sociology*. 22. 1999. P.515–534.
- Billig M. *Banal Nationalism*. London: Sage, 1995.
- Cooper T. *Lectures on the Elements of Political Economy*. Columbia, S. C.: Printed by D. E. Sweeny, 1826.
- Deutsch K. W. *Nationalism and Social Communication: an Inquiry into the Foundations of Nationality*. Joint publ.: Cambridge, Mass.: Technology Press of the Massachusetts Institute of Technology; New York: Wiley, 1953.
- Fichte J. G. *Reden an die deutsche Nation*. Berlin: Realschulbuchhandlung, 1808. English version: *Addresses to the German Nation* (transl. by R. F. Jones and G. H. Turnbull) / Ed. by G. A. Kelly. New York: Harper Torch Books, 1968.
- Gellner E. *Thought and Change*. London: Weidenfeld & Nicolson, 1964.
- Gellner E. *Scale and Nation* // *Philosophy of the Social Sciences*. 3. 1973. P. 1–17.
- Gellner E. *Nationalism*. London: Weidenfeld & Nicolson, 1997.
- Hutton C. M. *Linguistics and the Third Reich: Mother-tongue Fascism, Race and the Science of Language*. London and New York: Routledge, 1999.
- Joseph J. E. *Eloquence and Power: the Rise of Language Standards and Standard Languages*. London: Frances Pinter; New York: Blackwell, 1987.
- Joseph J. E. *Language as Fiction: Writing the Text of Linguistic Identity in Scotland* // *English Literatures in International Contexts* / Ed. by H. Autor & K. Stierstorfer. Heidelberg: C. Winter, 2000. P. 77–84.
- Kedourie E. *Nationalism*. London: Hutchinson, 1960. [4th edn., Oxford and Cambridge, Mass.: Blackwell, 1993].
- Kohn H. *The Idea of Nationalism: a Study in its Origins and Background*. New York: Macmillan, 1944.

ДЖОН ДЖОЗЕФ

- Nebrija A. de. Gramática castellana: Texto establecido sobre la ed. «princeps» de 1492/Ed. by P.G.Romeo & L.O.Muñoz, 2 vols. Madrid: Edición de la junta del Centenario, 1946.
- Renan E. De l'origine du langage, 2nd edn. Paris: Michel Lévy, Frères, 1858. [1st edn. 1848].
- Renan E. Qu'est-ce qu'une nation? Conférence faite en Sorbonne, le 11 mars 1882. Paris: Calmann Lévy, 1882.
- Said E. The World, the Text and the Critic. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983.
- Seton-Watson H. Nations and States: an Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism. London: Methuen, 1977.
- Shafer B. C. Nationalism: Myth and Reality. London: Gollancz, 1955.
- Valdés J. de. Diálogo de la lengua/Ed. by R. Lapesa, 5th edn. Zaragoza: Ebro, 1965.
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: КАНОН-пресс Ц, Кучково поле, 2001.
- Геллинер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.
- Данте А. О народном красноречии // Данте А. Малые произведения. М.: Наука, 1968. С. 270–304.
- Дю Белле Ж. Защита и прославление французского языка // Эстетика Ренессанса. В 2 т. М.: Искусство, 1981. Т. 2. С. 223–270.
- Кон Г. Природа национализма // Этнос и политика: Хрестоматия. М.: Изд-во УРАО, 2000. С. 107–111.
- Сильверстейн М. Уорфианство и лингвистическое воображение нации // Логос. 2005. № 4. С. 87–132.
- Смит Э. Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий наций и национализма. М.: Праксис, 2004.
- Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998.

МАЙКЛ БИЛЛИГ

НАЦИИ И ЯЗЫКИ*

Небольшая заметка, напечатанная глубоко внутри номера британской ежедневной газеты *Guardian*. Она даже не была основным материалом на странице. Заголовок: «Фламандский лидер призывает к расколу». В заметке, написанной брюссельским корреспондентом издания, сообщалось, что лидеры крупных фламандских партий выступили с заявлением, которое «ошеломило франкоязычные политические партии». Они заявили, что Бельгия должна превратиться в свободную конфедерацию двух независимых государств — голландскоязычной Фландрии и франкоязычной Валлонии. Особые меры должны быть приняты в отношении «немногочисленной немецкоязычной общины на востоке Бельгии». До этого времени, сообщалось в заметке, с требованиями отделения Фландрии выступали только «небольшие националистические и крайне правые группировки». Бельгийское правительство надеялось, что существующие механизмы деволюции позволят «более или менее сохранить целостность Бельгии» (*Guardian*, 14 July 1994).

Помимо того, что было в ней сказано, заметка позволяет понять и то, что осталось невысказанным. Возможный распад Бельгии как национального государства был не настолько важным событием, чтобы писать о нем на передовице «серьезной» британской газеты. Это само по себе свидетельствует о духе эпохи. И хотя о возможном распаде говорилось как о чем-то неожиданном и ошеломительном, не было дано никакого объяснения подоплеки того, почему фламандскоязычное население могло хотеть создания собственного государства. Предполагалось, что читателям понятны такие национальные устремления. Через какое-то время в газете могли бы выйти статьи о франкоязычных сепаратистах в Канаде, баскских сепаратистах в Испании или даже валлийских в Великобритании. Языковые группы, стремящиеся к созданию собственного государства, не представляют загадки для читателей сегодняшних газет.

* Michael Billig, *Banal Nationalism*. London: Sage Publications, 1995. P. 13–36.

В этом материале содержатся два основных послания: явное сообщает британским читателям нечто о «них», бельгийцах, которые вскоре могут перестать быть «бельгийцами». Но в нем присутствует также неявное сообщение о «нас», британских читателях, и том, что «мы» предположительно знаем. Нам не нужно говорить, почему общины, говорящие на особом языке, могут желать создания собственного национального государства. Нам не нужно говорить о том, что представляет собой государство и что представляет собой язык. Все дело в обыденных представлениях о нациях, которыми «мы», как принято считать, обладаем.

Подобные представления встречаются и в работах ученых, и в ежедневных газетах. Социологи зачастую считают, что носители одного языка должны стремиться обрести свою собственную политическую идентичность и что в этом нет ничего необычного. Автор книги «Многообразие национализма» писал, что «в стремлении к безопасности происходит неизбежное сплочение народа, говорящего на одном языке» (Snyder, 1976. P. 21). Прилагательное «неизбежное» означает, что речь идет о неотъемлемой составляющей человеческой природы. Таким образом, если фламандскоязычное население не чувствует себя в безопасности, нет ничего удивительного в том, что оно стремится к сплочению и созданию государства, все граждане которого говорят на одном языке. По замечанию Джона Эдвардса, «язык по-прежнему считается основным столпом этнической идентичности» (Edwards, 1991. P. 269; см. также: Edwards, 1985; Fishman, 1972; Gudykunst and Ting-Toomey, 1990). Иногда говорят, что нации, включающие в себя различные языковые группы, возникают в результате непрочных соглашений, которые могут попросту рассыпаться вследствие ряда кризисов и в случае возникновения опасности (Connog, 1978; 1993). В таком образе мысли нет ничего нового. В XVIII веке Гердер и Фихте заявили, что основу и подлинный дух нации составляет ее язык. Согласно этой точке зрения, Бельгия, состоящая из фламандскоязычного и франкоязычного населения, не говоря уже о немногочисленной немецкоязычной общине, не может быть «настоящей» нацией. Поэтому фламандские сепаратисты стремятся перерисовать политическую карту так, чтобы она наилучшим образом соответствовала естественным склонностям человека: в таком случае, неудивительно, что их требования кажутся столь понятными.

И на этом нужно остановиться подробнее. Национализм одновременно очевиден и неясен. Кажется очевидным, что фламандцы и валлоны могли хотеть создания отдельных национальных государств. В конце концов, если они с трудом общаются друг с другом, то как они могут иметь общую идентичность, чувство общего наследия или ощущение общности? Реакция фламандскоязычного населения понятна, как понятна и озабо-

ченность франкоязычного премьер-министра, который может неожиданно обнаружить, что его страна сократилась вдвое. Следующий вопрос: откуда берется такое ощущение очевидности? «Естественно» ли думать об общине, нации и языке таким образом? Или подобное ощущение естественности само по себе представляет проблему?

Эрик Хобсбаум в начале «Наций и национализма» пишет, что историки национализма должны дистанцироваться от националистических мифов, ибо «ни один серьезный историк наций и национальных движений не может быть убежденным политическим националистом» (Хобсбаум, 1998. С. 23). Хобсбаум имел в виду гердеровские мифы относительно немецкой нации и языка. Распространением подобных мифов занимаются сегодня и фламандские националисты, говорящие о самобытной истории фламандского народа (Husbands, 1992). И такие мифы, согласно Хобсбауму, не следует принимать в расчет. Но еще больше должен дистанцироваться от них социолог, стремящийся изучить национализм как идеологию. Конечно, социолог обязан вынести за скобки требования тех, кто подобно фламандскоязычным политикам стремится создать новые национальные административно-территориальные единицы, утверждая, что они соответствуют естественным или вековым явлениям. Кроме того, должны быть вынесены за скобки и «наши» обыденные представления о нациях. А это еще труднее, чем дистанцироваться от «них», фламандцев или валлонов, и их особого конфликта. За метафорические скобки должно быть вынесено нечто более универсальное.

Чтобы осуществить такое вынесение за скобки, нам необходимо дистанцироваться от себя самих и от того, что мы обычно считаем очевидным или «естественным». При рассмотрении национализма как идеологии, оказывающей глубокое влияние на современное сознание — и «наше», и «их», — все очевидное должно быть поставлено под сомнение. Идеологии — это образцы верований и действий, которые заставляют казаться существующее социальное устройство «естественным» или неизбежным (Eagleton, 1991). Таким образом, патриархальная идеология заставляет казаться «естественным» (или отвечающим неоспоримому биологическому порядку вещей) то, что мужчины руководят, а женщины подчиняются; расистская идеология заставляла казаться «естественным» и «обыденным» для европейцев XVIII–XIX веков превосходство белого человека над по-детски наивными «туземцами» в искусстве управления. И разве у нас, живущих в национальных государствах и платящих налоги на поддержание наших вооруженных сил, нет «обыденных» представлений, которые заставляют казаться естественным этот мир национальных государств?

Чтобы понять эту часть нас самих, нам необходимо попытаться отойти от наших обыденных представлений. Нас не может удовлетворить «есте-

ственность» того, что люди, говорящие на одном языке, должны стремиться к созданию национальных объединений. И дело не в опытном испытании веры с целью выяснения ее обоснованности. Аналитик идеологии должен задаться вопросом, откуда эта вера — наша вера — берется и каково ее содержание. Нам необходимо поставить под сомнение — или вынести за идеологические скобки — сами понятия, которые кажутся незыблемыми и которые позволяют нам понимать содержание ежедневных новостей, в том числе такие понятия, как «нация» и даже «язык». При анализе национализма эти понятия нельзя использовать некритически, потому что они не занимают внешнего положения по отношению к теме, которая должна быть проанализирована. Однако эти понятия не утрачивают своей значимости в истории национализма.

Изучение национализма как идеологии

Вообще, западные либеральные ученые сегодня чаще склонны распознавать национализм у «других», чем у себя. Националисты могут отождествляться с экстремистами, подвижными излишним эмоциональным возбуждением и преследующими иррациональные цели; или представляться в виде героев, которые действуют за границей и ведут борьбу против колониальных угнетателей. Национализм можно наблюдать почти повсюду, но только не «у себя». Если национализм является распространенной идеологией, то ее устройство нуждается в особом рассмотрении с точки зрения образцов верований и действий, которые воспроизводят мир — «наш» мир — как мир национальных государств, гражданами которых мы являемся. В результате национализм оказывается не просто идеологией, которая заставляет фламандскоязычное население противиться существованию бельгийского государства, он оказывается также идеологией, которая делает возможным существование самих государств, в том числе бельгийского.

В отсутствие открытого политического вызова наподобие того, что был брошен фламандскоязычным населением, эта идеология может казаться банальной, обыденной, почти невидимой. Можно с уверенностью говорить о том, что термин «национализм» всегда относится к убеждениям «других». Когда же речь заходит о «наших» убеждениях, можно подобрать другие слова, например, «патриотизм», «лояльность» или «социальная идентификация». Такие термины позволяют избежать использования слова «нация», а вместе с ним и призрака национализма, по крайней мере в том, что касается «наших» привязанностей и идентичности. Проблема в том, что такие термины упускают объект, по отноше-

нию к которому выказывается «лояльность» или осуществляется «идентификация»: национальное государство.

В используемом здесь подходе «национализм» не ограничивается идеологией «других», поскольку, как будет показано ниже, такое ограничение сопряжено с определенными идеологическими последствиями. Напротив, национализм в широком смысле слова понимается как понятие, охватывающее способы воспроизводства национальных государств. Зачастую это связано с «банальным» национализмом, который отличается от открытого, артикулированного и выраженного национализма тех, кто ведет борьбу за создание новых наций. Есть и еще одна причина использования термина «национализм» для описания того, что хорошо знакомо и существует «здесь, у себя».

«Наши» обыденные представления о нации и «наша» психология национальных привязанностей должны рассматриваться в тесной связи с историей национализма. После помещения «наших» обыденных представлений в исторический контекст «наши» представления о нации и естественности принадлежности к ней оказываются продуктом особой исторической эпохи. Таким образом, очевидность таких представлений ставится под сомнение. В действительности они могут оказаться не менее странными, чем представления других эпох. Обычно специалисты в области социальных наук, особенно социологи и социальные психологи, не рассматривают тему национализма в таком ключе. Они склонны пренебрегать тем, что получило здесь название «банального национализма». Вследствие использования термина «национализм» в узком смысле слова такие теоретики зачастую проецируют национализм на других и натурализуют «собственный» национализм. Так происходит при двух типах теоретизирования, часто сочетающихся друг с другом.

1. Проецирующие теории национализма

При этих подходах национализм обычно определяется очень узко, как крайнее / избыточное явление. Он приравнивается к мировоззрению националистических движений, а если такие движения отсутствуют, национализм, как уже отмечалось, проблемой не считается. Как правило, сами авторы таких теорий не являются сторонниками националистических движений, хотя бывают и исключения. Такие теоретики зачастую утверждают, что национализм вызван иррациональными эмоциями. Поскольку они притязают на рациональную оценку чего-то, что они считают в своей основе иррациональным, они дистанцируются от национализма. Теоретики и сами живут в мире наций: они имеют паспорта и платят налоги национальным государствам. В их теориях мир наций считается «естественной» средой, в которой драма национализма выходит

наружу. Поскольку теоретики пренебрегают национализмом, который мир наций периодически воспроизводит в повседневной жизни, и национализм считается состоянием, свойственным «другим», такие теории можно признать риторическими проекциями. Национализм как состояние проецируется на «других»; «наш» же не замечается, забывается и даже теоретически отрицается.

2. Натурализирующие теории национализма

Некоторые теоретики склонны описывать современную лояльность к национальным государствам как проявление некоего психологического свойства человека. Поэтому такая лояльность может теоретически преобразовываться в «потребность в идентичности», «привязанность к обществу» или «примордиальные» узы, которые теоретически связываются со всеобщими психологическими состояниями, свойственными не только эпохе национальных государств. По сути, «банальный национализм» перестает быть не только национализмом, но и проблемой для исследования. В действительности отсутствие таких идентичностей (отсутствие патриотизма в сложившихся нациях) может считаться серьезной проблемой. Таким образом, подобные теории заставляют казаться естественными существующие состояния сознания, а мир наций превращается в нечто само собой разумеющееся.

У некоторых социологов проецирование и натурализация национализма совершались одновременно: «наш патриотизм» кажется «естественным» и, следовательно, невидимым, а «национализм» считается свойственным «другим». Заслуга таких теорий состоит в том, что они привлекают внимание к особым психологическим состояниям открыто националистических движений. Однако при этом они склонны упускать националистические аспекты «наших» обыденных представлений. Используемый в этой работе подход, напротив, позволяет сосредоточить внимание на «нас».

Необходимыми условиями воспроизводства мира наций служат воображение нации, память о ней, вера в нее и прочее. Для воспроизводства национального государства необходимо бесконечное множество психологических действий. И эти психологические действия не должны анализироваться с точки зрения мотивов отдельных участников. Идеологический анализ психологических состояний подчеркивает, что действия и, в сущности, мотивы индивидов создаются в ходе социально-исторических процессов, а не наоборот. Поэтому необходимо решительно отказаться от общепринятых теорий социальной психологии, которые предполагают, что психологические переменные универсальны, а не создаются в ходе истории (критику индивидуализма в наиболее ортодоксальных

подходах к социальной психологии см., напр.: Gergen, 1982; 1985; 1989; Moscovici, 1983; Sampson, 1993; Shotter 1993a; 1993b).

Язык играет жизненно важную роль в действии идеологии и формировании идеологического сознания. Это подчеркивалось более 60 лет тому назад Михаилом Бахтиным в «Марксизме и философии языка», книге, которая была написана им именем Волошинова (Holquist, 1990). Бахтин утверждал, что «объективная психология должна опираться на науку об идеологиях» и что формы сознания создаются при помощи языка (Бахтин, 2000. С. 357). Поэтому социально-психологическое исследование идеологии предполагает исследование конкретных действий языка: «общественная психология — это и есть прежде всего та стихия многообразных *речевых выступлений*, которая со всех сторон омывает все формы и виды устойчивого идеологического творчества» (С. 362).

Схожие идеи высказывались недавно дискурсивными психологами, утверждавшими, что многие психологические явления, которые считались свойственными человеку, создаются социально и дискурсивно (Billig, 1987; 1991; Edwards and Potter, 1992; 1993; Potter and Wetherell, 1987; Potter et al., 1993). Некоторые исследователи (Gillett and Harré, 1994) обращают внимание на то, что эмоции, наподобие гнева, страха или счастья, связаны с суждениями и внешними социальными действиями. То же относится и к так называемым эмоциям национальной лояльности или ксенофобии (Scheff, 1995; Wetherell and Potter, 1992). Эти эмоции зависят от суждений, общих убеждений или представлений о нации, о «нас» и о «них».

Такие эмоции выражаются в сложных формах дискурса, которые сами являются частью более широких исторических процессов. Босуэлл в своей «Жизни Сэмюэля Джонсона» рассказывает, что великий врач имел обыкновение гулять по ночному Лондону вместе с Ричардом Савиджем, поэтом-бродягой и осужденным убийцей. Обычно компаньонов повергала в уныние сонная обстановка в пути. Но однажды ночью, проходя по площади Сент-Джеймс, странная пара пребывала «в приподнятом настроении и была исполнена патриотизма». Они ходили по площади в течение нескольких часов, «поносили министра и “решали, что бы сделали они, будь они у власти”» (Boswell, 1906. Vol. I. P.95). Теперь уже не узнать, о чем они говорили тем вечером. Приподнятое настроение, в котором явно находились оба, отразилось на ходе беседы. Они спорили друг с другом, пока не пришли к патриотическому решению, осудив соответствующего государственного министра. Словами, жестами и интонацией они создавали настроение. Точно так же патриотический дух, которым они были «исполнены», заключался в заявлениях, решениях и суждениях. Джонсон, пересказывая историю Босуэллу, мог назвать беседу «патриотической», а его биограф мог согласиться с таким описанием. Патриотизм

не был чем-то странным, внеположным по отношению к самому разговору, подобно темным фигурам, проходившим по прилегающим к площади улицам. Собеседники ощущали этот дух в себе. Несомненно, поэт и будущий лексикограф говорили банальности, что подтверждается их патриотическим решением.

Чтобы быть явно исполненным патриотизма, необходимо понимать его дискурс, то есть фразы и взгляды, которые обычно считаются «патриотическими». Джонсон и Савидж, возможно, использовали стереотипы и выражали свое личное отношение. «Я готов любить всех людей, кроме американцев», — заявлял Джонсон много лет спустя во время беседы в доме мистера Дилли. Неугомонная природа Джонсона, по словам Босуэлла, «рвалась наружу» (Vol. II. P. 209). Джонсон, конечно, выражал собственные взгляды и чувства. Но не только: он говорил на избитые темы своего времени: о добродетельности патриотизма, любви ко всему человечеству и пылкой ненависти к американцам. Все эти вопросы выходят далеко за рамки личности Джонсона; они связаны с идеологической историей наций и национализма. Он произносил свои патриотические речи тогда, когда происходило политическое становление британского национального государства и правительства, осуществлявшего правление от имени всего «народа», включая бродяг и преступников (Colley, 1992). Когда же Джонсон в своей любви к человечеству сделал исключение для американцев, колония была увлечена строительством собственного национального государства, которое не зависело от британского суверенитета. В другие эпохи и в других странах люди могли говорить о преданности и ненависти иначе. Но поведение Джонсона во время беседы — и его эмоции — принадлежали к идеологическому сознанию, свойственному эпохе становления современных наций. Эта идеология сопровождала его в ночной прогулке по Лондону; она проникла в дом мистера Дилли и сидела за его столом, приняв облик беседы, скачущей с темы на тему — от кулинарии до религии. Национализм заполнял банальные моменты английской жизни в XVIII веке.

Национализм и национальное государство

Если отождествлять национализм с идеологией, которая создает и поддерживает национальные государства, то она занимает свое особое социально-историческое место. Не все групповые лояльности связаны с национализмом, но, как утверждал Эрнест Геллнер, национализм принадлежит эпохе национальных государств. Национализм не возможен без национальных государств; и, следовательно, будучи способом описания сообщества, национализм, с исторической точки зрения, представляет собой

особую форму сознания. На первой же странице «Наций и национализма» Геллнер утверждает, что «национализм — это прежде всего политический принцип, суть которого состоит в том, что политическая и национальная единица должны совпадать» (Геллнер, 1991. С. 23). По Геллнеру, национализм возникает только тогда, когда существование государства «уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся» (Геллнер, 1991. С. 27); основной принцип национализма состоит в убеждении, что «национальное государство, отождествляемое с национальной культурой и оберегающее ее, представляет собой естественную политическую единицу» (Gellner, 1993. P. 409). В геллнеровском определении национализм связывается с национальным государством, и политические принципы в этих обстоятельствах начинают казаться «естественными».

Среда национального государства — это, вообще говоря, современный мир, поскольку, как утверждает Хобсбаум, «важнейшая особенность современной нации и всего с нею связанного — это ее современность» (Хобсбаум, 1998. С. 25; перевод исправлен. — *Прим. перев.*). Историки спорили о времени возникновения национального государства в европейской истории. Одни, например, Хью Сетон-Уотсон (Seton-Watson, 1977) и Дуглас Джонсон (Johnson, 1993), утверждали, что подобные настроения и патриотическая лояльность появились в Англии и Франции уже в XVII веке. Другие ученые, например, Эли Кедури (Kedourie, 1966), называют более позднюю дату, утверждая, что национальных государств и националистических привязанностей до XVIII века не существовало. Элштайн даже говорит о том, что представление о *La France*, отчизне, «сложилось относительно недавно, в этом столетии» (Elshtain 1987. P. 66). Однако оба лагеря сходятся в том, что средневековая Европа не знала таких национальных государств. Энтони Гидденс попытался определить, какие новые формы правления были введены с созданием национального государства. Он определяет национальное государство как «совокупность институциональных форм управления, поддерживающих административную монополию над определенной территорией (границы), господство которых санкционировано законом и прямым контролем над средствами внутреннего и внешнего принуждения и насилия». Важнее всего, что государства существуют не в изоляции, а «в комплексе других национальных государств» (Giddens, 1987. P. 171).

Национализм охватывает образы мысли — образцы обыденного дискурса, — которые заставляют казаться естественной «нам», живущим в мире национальных государств, его ограниченность и монополизацию насилия. Этот мир — «наш» мир — представляет собой место, где нации содержат свои вооруженные силы, полицию и палачей; где границы строго очерчены; и где граждане, особенно мужского пола, могут быть призваны с тем, чтобы убивать и умирать, защищая национальные границы.

Беглый осмотр средневековых и современных карт обнаруживает новизну ограниченного государства. У европейских средневековых карт, помимо того, что они менее точны, что в центре у них, как правило, находится Иерусалим и что мир на них нанесен не полностью, а отдаленные страны теряются в неизвестности, есть еще одна особенность. Средневековые карты отображают мир, который не был одержим идеей границ (Roberts, 1985). При изображении обширных территорий королевств и империй отсутствовало стремление обозначить точное место, где заканчивалось одно королевство и начиналось другое. В этом отношении современная политическая карта серьезно от них отличается: на ней показан завершенный мир, разделенный четкими границами. Именно такая карта кажется «нам» привычной.

В средневековой Европе четких территориальных границ почти не существовало. Как отмечает Манн (Mann, 1988), средневековая Европа состояла из небольших пересекающихся сетей; ни один орган власти не управлял четко очерченной территорией или проживающими на ней людьми. Во всяком случае, территории меняли форму из поколения в поколение, поскольку монархи в эпоху раннего Средневековья часто делили свои владения между наследниками. Крестьяне могли испытывать чувство долга по отношению к местному сеньору, но к не далекому монарху. Даже если бы местный сеньор действительно проживал в этой местности, он почти наверняка не говорил бы на языке своих крестьян. При сборе войск короли полагались на крупных сеньоров, которые, в свою очередь, могли поручить выполнение этой задачи менее знатным. Существовала целая пирамидальная структура прав и обязанностей. Сбор войск происходил непрерывно, поскольку политика на всех уровнях, как правило, осуществлялась при помощи силы. В отличие от современных проявлений межгосударственной вражды официальное объявление и формальное завершение войны встречались тогда нечасто.

Во многих отношениях мир средневековой Европы кажется современному человеку невероятно беспорядочным, дезорганизованным. На всем протяжении Средневековья множество людей, проживавших на землях, известных ныне как Франция или Англия, не считали себя «французами» или «англичанами» (Бродель, 1994; Seton-Watson, 1977). Они слабо представляли себе территориальную нацию («страну»), которой они должны были быть преданы сильнее, чем самой жизни. Сообщество было воображаемым и жило иначе, чем сейчас. Отчасти именно поэтому средневековый мир кажется сегодня столь чужим. «Нам», признающим естественность «сознания границ», легко считать, что система национального государства внесла порядок и организацию в мир бессмысленного хаоса. Государство, независимо от того, кто его олицетворяет — монарх или президент, требу-

ет теперь непосредственной и полной лояльности от населения. Когда оно вступает в войну, правители государства не зависят от связей с феодальными баронами. Войска набираются напрямую из народа, который убеждают сражаться за свою «нацию». Случается, что набранные таким образом люди преследуют собственную выгоду или принуждаются к исполнению воинской повинности. Но в современном мире молодежь зачастую сама добровольно и даже охотно шла сражаться за дело нации (Reader, 1988).

С установлением монополии национального государства на право использования насилия в своих границах завершилась эпоха «неофициальных войн» (Hinsley, 1986). С этого времени «Британия» воевала против «Франции» во время наполеоновских войн, в «Россию» вторгались, а за всем этим пристально наблюдали «Соединенные Штаты Америки». В этом новом мире воюющих наций не было места герцогу Бургундскому или графу Йоркскому, которые вели в бой свои собственные отряды. Сегодня местные «полевые командиры», как правило, появляются там, где государственная власть терпит крах, например, в Бейруте или Сомали. Другие страны мира с ужасом наблюдают возникновение «неофициальных армий», опасаясь появления таких сил в собственных границах. Возникновение официальных войн, естественно, сопровождалось возникновением официального мира. На протяжении последних 200 лет окончание войн сопровождалось проведением конференций, на которых принимались решения о том, где именно должны были проходить государственные границы. Тон был задан Венским конгрессом после окончания наполеоновских войн. В «новом мировом порядке», о необходимости установления которого после военного поражения Ирака говорил президент Буш, нет ничего нового. С момента рождения национальных государств сильные страны, которые доказали свою силу в войне, стремились навязать свое видение определенного устройства четко проведенных международных границ. В этом отношении современное национальное государство — продукт международной эпохи.

Международный мир наций

В описании Гидденса система национальных государств «не имеет прецедентов в истории» (Giddens, 1987. P. 166). Вопрос о том, почему такой системе суждено было появиться в Европе, а затем распространиться на остальной мир, — одна из основных загадок современной истории. Исследователи говорят, что новая форма государства помогла решить ряд проблем в модернизирующемся мире. Геллнер (Gellner, 1987; Геллнер, 1991) утверждал, что индустриализация создала спрос на стандартизованные навыки, которые лучше всего могла обеспечить централизован-

ная система образования. Таким образом, централизованное государство обладало экономическим преимуществом и способно было создать одинаковый уровень грамотности. Кеннеди (Kennedy, 1988) придает особое значение военным преимуществам национального государства. Оно могло набирать напрямую из своего населения профессиональные армии, которые желали сражаться с патриотическим пылом и не исчезали на время сбора урожая у своего феодального сеньора.

Другие авторы прямо связывали возникновение национальных государств с возникновением капитализма. Андерсон (Андерсон, 2001) говорит о том, что возникновение национального государства было обусловлено возникновением книгопечатания, заменой латыни народными языками и распространением дискурсивной грамотности, необходимыми для развития капитализма. Манн соглашается с этим (Mann, 1992), но подчеркивает роль торгового, а не промышленного капитализма в формировании государства: в XVIII веке империалистические завоевания, которые должны были профинансировать промышленные революции Западной Европы, требовали государственной поддержки для сохранения достигнутого. Нейрн (Nairn, 1977) указал на неравномерное распространение капитализма, отметив, что государство стало средством, при помощи которого периферийные области могли прийти к капиталистической современности. Хрох (Hroch, 1985), развивая эту мысль, утверждает, что капиталистическая экономика нуждалась в определенном центральном руководстве, особенно в отношении образовательной и торговой политики, которая была необходимым условием современного национального государства. И какими бы ни были причины возникновения национального государства, сомневаться в его успехе не приходится.

Нация, распространившаяся из Европы в Америку и далее, превратилась в общепризнанную форму суверенитета. Вся земная поверхность, за исключением Антарктиды, «теперь разделена между нациями и государствами» (Birch, 1989. P. 3). И если национализм — это идеология, которая поддерживает такие национальные государства как национальные государства, тогда он представляет собой «наиболее успешную идеологию в человеческой истории» (Birch, 1989. P. 3). В отличие от современных либерализма и марксизма, а также средневековых христианства или ислама, влияние которых было территориально ограничено, национализм выступает в качестве международной идеологии. Система национального государства не терпит территориальной пустоты; каждое пространство должно помещаться в официальные национальные границы. Таким образом, сознание границ в национализме не знало границ в своем историческом триумфе.

Национализм в своем торжественном марше смел все соперничающие идеологии. В начале XX века марксисты предсказывали конец националь-

ного разделения: неизбежный крах капитализма должен был возвестить о мире универсального классового сознания, объединении рабочих классов различных стран. На деле же марксистские революции приспособились к национальным границам. Одна из основных задач вождей Октябрьской революции 1917 года в России состояла в обеспечении безопасности границ социалистического государства. По соглашению с Германией и ее союзниками, заключенному в Брест-Литовске, часть территорий отходила Турции. Во время последующей борьбы за сохранение завоеваний революции от внешнего врага большевики в действительности расширили границы старой Российской империи, аннексировав Бухару и Хиву и установив контроль над Внешней Монголией (Seton-Watson, 1977). Таким образом, большевистский режим изначально был национальным государством среди национальных государств. Сначала Ленин, а потом Сталин играли роль национальных вождей, ставивших своей задачей построение «социализма в одной, отдельно взятой стране» и защиту нации от иностранных захватчиков. Но и это еще не все. Как отмечает Бенедикт Андерсон, в конце 1970-х годов марксистские режимы Вьетнама, Камбоджи и Китая вели друг с другом националистические войны, подтверждая тот факт, что «после Второй мировой войны каждая успешная революция самоопределялась в *национальных* категориях» (Андерсон, 2001. С. 27).

В системе национальных государств есть нечто явно странное. Национальные государства могут принимать любые формы и размеры. Они включают и Китайскую Народную Республику с населением более 100 миллионов человек, и Тувалу с 10 000 жителей. В отличие от города-государства эпохи Возрождения, идея национального государства не связана с представлениями об идеальном размере. На некоторых землях, например Северной Америки, число национальных границ невелико, и большинство из них, как правило, проходит по прямым линиям, озерам или рекам. В Европе же, напротив, имеется множество границ, которые пересекают или огибают горы, равнины и реки. Иногда группы островов образуют отдельные нации, например, Япония, но в Карибском бассейне каждый остров, по-видимому, гордится собственным государством (Гаити и Доминиканская Республика находятся на одном острове). Почему Лихтенштейн? Почему Науру? Почему Соединенные Штаты Америки, а не Соединенные Штаты Южной Америки? И не национальное государство Корсики или Гавайев?

Короче говоря, невозможно найти набор «объективных» географических принципов, которые после обработки компьютерной программой привели бы к созданию нынешних ревностно оберегаемых национальных границ. Напротив, мир наций разделен на множество причудливых по своей форме и размерам государств, тесно и иногда неудобно соприка-

сающихся друг с другом. И в этом мире нет никакой общей логики языка или религии. Государства бывают одно- и многоязычными. Встречаются сравнительно однородные в культурном и языковом отношении государства, например Исландия, и государства с множеством религий и языков, например Индия. Иногда в националистической борьбе принимают участие различные религиозные группы, например, в Северной Ирландии, а иногда те же группы в ней не участвуют, например в Шотландии. Иногда язык служит символом националистических чаяний, как в Квебеке, а иногда нет: языковые меньшинства в скандинавских странах редко выказывают националистические настроения (Elklit and Tonsgaard, 1992). Равновесие между религией и языком может меняться. Когда в 1830 году было создано бельгийское государство, религиозная близость казалась более сильной, нежели языковые различия, но теперь, по всей видимости, положение полностью изменилось (Vos, 1993). В Швейцарии чувство принадлежности к швейцарской нации тесно связано с государством, которое не испытывает угрозы распада по линиям языкового разделения. Так называемый «юрский вопрос» связан только с проблемой отделения от бернского кантона с целью создания в Швейцарии нового кантона (Voutat, 1992).

И какая компьютерная программа — не говоря уже о теории объективного исторического развития — могла бы предсказать, что обширные испаноязычные католические территории Центральной и Южной Америки будут разделены национальными границами? Почему Венесуэла, Коста-Рика и Боливия гордятся своей независимостью, создают собственные армии и патрулируют собственные границы? Система национальных государств, по-видимому, не отвечает идеальным образцам глобального разграничения. При создании национального государства как логической формы управления современной эпохи могли сочетаться различные исторические силы. Тем не менее своенравная анархия, по-видимому, сопутствует практическому осуществлению логического принципа.

Создание государств и народов

Если место прохождения государственных границ не определяется так называемыми «объективными» переменными наподобие языка, религии или географии, то можно предположить, что решающее значение имеют «субъективные» или психологические переменные. Нации — это не «объективные сообщества» в том смысле, что они построены вокруг ясных «объективных» признаков, которыми действительно обладают или считаются обладающими все представители нации: напротив, они представляют собой, если воспользоваться термином Бенедикта Андерсона, «воображаемые сообщества». Поскольку возможности воображения сообществ

бесконечны, можно ожидать, что политическая карта мира будет несколько беспорядочной, так как границы между государствами соответствуют границам субъективной идентичности. Как будет показано в дальнейшем, в этом «субъективном» понимании нации содержится зерно истины. Тем не менее это упрощение. Психологическая идентичность сама по себе не является той движущей силой истории, которая привела к возникновению современных национальных государств. Национальные идентичности — это формы социальной жизни, а не внутренние психологические состояния; они также представляют собой идеологические творения, созданные в ходе становления нации.

Термин «нация» имеет два взаимосвязанных значения: «нация» как национальное государство и «нация» как народ, живущий в этом государстве. Соединение этих двух значений отражает общую идеологию национализма. Как утверждает Геллнер, национализм основывается на принципе, который «получил широкое признание и зачастую считается в современном мире чем-то само собой разумеющимся» (Gellner, 1993. P. 409). Этот принцип заключается в том, что каждый народ должен иметь свое национальное государство. Очевидно, что этот принцип предполагает существование такой реальности, как национальные народы. В этом отношении национализм связан с возникновением чувства национальной идентичности у тех, кто проживает или заслуживает того, чтобы проживать, в своем национальном государстве. Однако национализм связан не только с созданием особой идентичности (особого национального «мы»), ибо он включает в себя общий принцип: справедливо, что «мы» имеем «свое» государство, потому что народы (нации) должны иметь свои государства (нации). В этом смысле национализм сочетает общее и особенное.

Такое сочетание проявилось в том, каким образом победившие в Великой французской революции силы объявили о своей победе. Они заявили, что их победа была победой всеобщих принципов — таких как «свобода, равенство и братство», — которые теоретически относились ко всем, кроме женщин, см.: (Caritan, 1988). Они также провозгласили ее окончательной победой разума над предрассудками, просвещения над невежеством, народа над деспотизмом. Тем не менее в момент триумфа «народ» не был ни абстрактным понятием, ни всеобщей возможностью. Всеобщие великие принципы ограничивались отдельным народом, расположенным в определенном пространстве (Dumont, 1992; Freeman, 1992). В «Декларации прав человека и гражданина» утверждалось, что «источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации» (Французская Республика, 1989. С. 27). Этой нацией, конечно, была французская нация.

Между государством, народом и территорией устанавливалась некая незримая неразрывная связь. Утверждая, что суверенитет связан с нацией, революционеры говорили об этом так, словно идея «нации» не составляла никакой проблемы. Читая эти строки сегодня, легко предположить, что термин «нация» имел ясное и конкретное значение. Однако во время Великой французской революции символы нации, которые сегодня считаются чем-то самоочевидным, еще не установились. При *ancien régime* общенационального флага не существовало; были только региональные флаги (Johnson, 1993). Язык, на котором была написана Декларация, был основным языком лишь для меньшинства населения. Хотя к северу от Луары, за исключением Бретани и Фландрии, большинство жителей было в состоянии его понять, на юге его не понимал почти никто (Бродель, 1994). Во время опубликования Декларации лишь малая доля жителей территории, ныне называемой Францией, считала себя «французами».

В действительности «нация» не была конкретной сущностью, существование которой признавалось всеми гражданами самоочевидным. Она была замыслом, который следовало осуществить. Поскольку этот замысел осуществлялся от своего собственного имени (политика должна была оправдываться именем «нации»), то нация прежде всего должна была признать собственную реальность. В результате этих размышлений встает вопрос: «что возникает сначала — нация как народ или нация как государство?» Это стало предметом серьезных споров между теми, кто утверждал, что именно национальные государства создали национальные идентичности, и теми, кто возводил происхождение идентичностей к временам, предшествовавшим возникновению национального государства. Сторонники первой точки зрения утверждали, что изобретение национальных идентичностей происходило по мере формирования национальных государств. Иногда основатели государства прекрасно осознавали, что делали. После Рисорджименто итальянский националист XIX века Массимо д'Азельо заявил: «Италию мы уже создали, теперь нам предстоит создать итальянцев» (цит. по: Хобсбаум, 1998. С. 72). Для создания «итальянцев» необходимо было выдать это создание за возрождение, продолжение чего-то издавна существующего. Во время расцвета создания наций в XVIII–XIX веках, по-видимому, и были изобретены многие древние традиции. Новые артефакты, например, шотландские клетчатые юбки или церемонии коронации, были созданы заново, но выдавались за древние традиции. Порой подделывались и «древние» эпические поэмы, перевозившие нацию (Cannadine, 1983; Trevor-Roper, 1983).

Через изобретение традиций создавались национальные идентичности, которые были будто бы «естественными», даже извечными особенностями человеческого существования. Как утверждает Геллнер, нацио-

нализм преподносится в качестве «подтверждения существования “наций” и считается, что эти сомнительные сущности существуют, подобно горе Эверест, с давних времен, предшествующих эпохе национализма» (Gellner, 1983. P. 49). Викторианский журналист Уолтер Бейгхот в своей книге «Физика и политика» говорил о том, что нации «так же стары, как сама история». Он утверждал, что отдельные, «хорошо знакомые нам» нации существовали на всем протяжении истории (Bagehot, 1873. P. 83). Соотечественники Бейгхота могли охотно верить, что англичане существовали всегда – вереница бородатых Альфредов и Артуров, уходящая в глубь веков и несущая свои мечи и английскую любовь к игре, подобно доктору Грейсу с его крикетной битой. Действительно ли эти Альфреды и Артуры питали такое чувство «английскости» (не говоря уже о «британскости»), которое находит в себе Бейгхот, – вопрос весьма спорный: то же относится к героям и героиням «французской» истории, которые заново открывались по ту сторону Ла-Манша.

Еще сложнее вопрос с некоторыми бывшими колониями. Никаким чувством единства нации невозможно объяснить, почему Соединенные Штаты Америки возникли к северу, а не к югу от Мексики. Тринадцать колоний, свергнувших под руководством Джорджа Вашингтона колониальное правление, создали единую нацию, а пять колоний, освобожденных Симоном Боливаром от Испании, пошли своими собственными национальными путями. В обоих случаях чувство единства нации создавалось после провозглашения независимости, шла ли речь о чувстве «американскости» («одна нация под Богом») или о национальных чувствах боливийцев, перуанцев, венесуэльцев, эквадорцев и колумбийцев.

С другой стороны, как неоднократно утверждал Энтони Смит (Smith, 1981; 1986; 1994), не все нации-народы создавались *de novo*. Некоторые идентичности, должно быть, существовали и раньше, и широкое чувство общности не было полностью изобретено в XVIII веке. «Этнические общности» или народы, притязавшие на осознание своей собственной самобытной истории, культуры и лояльности, встречаются в большинстве эпох. Зачастую национальные государства создавались на основе более древней лояльности. «Древняя» шотландская клетчатая юбка, возможно, была современным изобретением, как и коронационная кружка, но и кружка, и клетчатая юбка отсылали к намного более древним традициям шотландской клановой системы и английской коронационной присяги. Они не были полностью изобретены, по крайней мере в эпоху создания государства. Народы, на представительство которых притязали национальные государства, часто питали чувство общности народа задолго до эпохи наций, даже если оно не совпадало с тем чувством общности народа, на которое притязало государство. Декларация прав человека

и гражданина не изобрела «французскую» идентичность, как не изобрела она и «франкскую» или «галльскую» идентичность. И новая французская нация, создавая свое чувство французскости, адаптировала и изобретала намного более древние традиции, стереотипы и мифы. Точно так же Масимо д'Азельо не изобрел термин «Италия». Если нация служила внешней политической формой для государств, то эта форма зачастую восходила в своих истоках к более старым народным чувствам.

Создание нации как народа дополняло существовавшие ранее идентичности. К тому же, создание национальных государств редко происходило мирным путем, когда традиционная «этническая общность» распускалась из маленького бутона в пышный цветок нации, словно созревая «естественным» образом. Обычно этот процесс сопровождался борьбой и насилием. Необходимо было внедрение особой формы идентичности. На смену одному осмыслению самости, общности и, по сути, мира должны были прийти другие представления, другие формы жизни. Предстояло создать итальянцев: люди должны были перестать считать себя просто жителями Ломбардии или Сицилии, или той или иной деревни. И если из тех, кто проживал во Франции во время Великой французской революции, только меньшинство считало себя французами, то возобладать должны были именно представления этого меньшинства. Париж должен был метонимически и буквально говорить за всю Францию. Парижский диалект должен был стать «французским языком» в юридическом и культурном отношении. Битва за нацию — это битва за гегемонию, которая позволяет части говорить за всю нацию и олицетворять национальную сущность. Иногда имя части метонимически начинает обозначать национальное целое. Например, в Таиланде и Бирме национальная идентичность связана с ценностями и культурой господствующей группы, тайцев и бирманцев соответственно (Brown, 1989). Некоторые нации настолько однородны, что в них нет подгрупп, подпадающих под смитовское определение «этнической общности», то есть группы, которая сохраняет чувство своей исторической самобытности и истоков. По оценке Коннора (Connor, 1993), только 15 из 180 сегодняшних наций не являются в этом смысле «многонациональными». Здесь не учитываются давно забытые народности, заполонившие кладбища истории.

Достижение национальной гегемонии прекрасно иллюстрируется триумфом официальных национальных языков и подавлением соперников, которым часто сопровождалось создание государственности. Права человека и гражданина не распространялись на право бретонцев и окситанцев использовать свой собственный язык во французских школах: по закону, вместо окситанского надлежало использовать северофранцузский. В XIX веке был наложен официальный запрет на использование валлий-

ского и шотландского языков в британских школах (Kiernan, 1993). Любопытный эпизод аргентинской национальной истории: правительство препятствовало использованию валлийского в Патагонии (Williams, 1991).

Иногда, при установлении гегемонии или — позднее — возникновении опасности ее утраты, такие ограничения языковых прав ослаблялись в интересах возрождения безвредного наследия или в целях удовлетворения требований сепаратистских или ирредентистских групп. Подавление языков меньшинств не ограничивается ранней историей национализма. В конце XX века такую политику продолжают проводить от имени народа правящие группы, стремящиеся упрочить свою связь с государственной властью. В турецкой Конституции 1982 года открыто говорится, что «никакой язык, запрещенный законом, не должен использоваться при выражении и распространении мыслей». После оккупации индонезийским правительством Восточного Тимора был наложен официальный запрет на преподавание тиморского языка в школах и объявлено о введении на острове «индонезийской цивилизации» (Pilger, 1994).

Ретроспективно возникновение системы национальных государств может показаться неизбежным, но вряд ли можно признать неизбежность возникновения отдельных наций. Политическая карта менялась после каждой крупной европейской войны: карта, созданная в соответствии с Берлинским договором 1878 года, отличается от карты, созданной по Версальскому договору 1919 года, и, конечно, обе они отличаются от сегодняшней политической карты. Одни национальные государства подобно Польше меняют свою форму, размер и местоположение. Другие, на Балканах, появляются и исчезают, иногда появляясь вновь, а иногда нет. Валлерстайн (Валлерстайн, 2004. С. 96) отмечает, что немногие сегодняшние государства могут похвастаться тем, что им удалось сохранить свою административную целостность и географическое положение с 1450 года.

Гипотетических возможностей море. Если бы силы на конкретных полях сражений развернулись иначе, существовали ли бы сегодня другие нации и другие национальные идентичности? Если бы силы конфедератов не потерпели поражение в Гражданской войне в Америке, смогла бы территория, которую в настоящее время занимают США, стать местом для двух независимых государств, каждое из которых воспитывало бы свою особую культуру и исторические мифы? Можно рассмотреть и более широкую историческую перспективу. Сетон-Уотсон говорит о том, что поражение альбигойцев в 1213 году имело решающее значение. Если бы события повернулись иначе, то, когда несколько веков спустя дело дошло до создания государств, могла бы возникнуть мощная объединенная средиземноморская держава. Можно предположить, что лояльность к этому государству — возможно, названному бы Средиземноморьем, — была бы

столь же страстной и «естественно старой», как и та, что проявляется по отношению к любому сложившемуся европейскому государству. Окситанский мог бы стать теперь одним из великих языков мира, а не пребывать в состоянии упадка (Touraine, 1985).

И если кажется, что от исхода сражений зависит слишком многое, то нужно вспомнить, что история национализма редко обходилась без насилия. Борьба за создание национального государства — это борьба за монополию на средства насилия. И само национальное государство создается при помощи насилия. Торжества отдельного национализма редко удается достигнуть, не одержав победы над альтернативными национализмами и другими способами воображения народа. Может сложиться впечатление, что Франция возникла на своей исторической территории с чувством французской идентичности, которое воспитывалось веками (Smith, 1994). Об этом говорит и Декларация прав человека и гражданина. Однако создание нации связано не только с историческим провалом возможных национализмов — потенциальных средиземноморцев, — но и с действительным поражением соперничающих народностей. Бретонцев и окситанцев нужно было заставить стать французами: все возможные национальные устремления необходимо было подавлять силой. И все это должно делаться от имени народа, нации (всей нации) или отечества/родины (всей страны). Это стало обычным явлением времени.

Однако и сегодня правители оправдывают свой суверенитет, выдавая его за выражение воли нации. Даже те, кто захватывает власть путем *coup d'état*, считают необходимым заявить миру, что их власть обладает национальной легитимностью. При этом используются привычные клише. Например, когда после поражения на выборах Эрнест Шонекан при помощи армии захватил власть в Нигерии, он заявил, что действовал в «более важных интересах отечества» (Guardian, 1 September 1993). Шонекан — это еще одна фигура, которая сама по себе не имеет большого исторического значения, но которая следует правилам современного протокола: политические лидеры должны говорить, что они действовали в интересах нации, называемой «народом», «родиной» или «отечеством». Средневековые монархи сочли бы такое упоминание о родительских землях чем-то удивительно мистическим. Ведь свой суверенитет они получали от Бога; владение монарха сверхъестественным, целительным прикосновением считалось подтверждением божественного призвания (Bloch, 1973). Современные же правители, напротив, для подтверждения своего призвания должны говорить о том, что прикосновение у них совершенно обычное. В современном государстве притязания на суверенитет опускались с небес на землю, из заоблачной выси на родную почву к коллективному телу ее обитателей.

Нация и развитие языка

По мере своего распространения по миру идеология национализма формировала современные обыденные представления. И представления, которые кажутся нам столь банальными, оказываются идеологическими конструкциями национализма. Они представляют собой «изобретенные непреложности», которые исторически были созданы в современную эпоху и которые, тем не менее, переживаются так, словно они существовали всегда. В этом состоит одна из причин того, почему так трудно предложить объяснение национализма. Понятия, которые аналитик мог бы использовать для описания причинных факторов, сами могут быть историческими конструктами национализма.

Прекрасным примером служит идея языка. Как говорилось ранее, многие аналитики называли язык определяющей чертой национальной идентичности: те, кто говорит на одном языке, могут притязать на чувство национальной общности. Как уже говорилось в предыдущем разделе, установление национальной гегемонии зачастую связано с гегемонией языка. Несложно построить модель национализма вокруг важности общения на одном языке. Для этого язык сам должен перестать быть проблематичным понятием. Кажется очевидным, что существуют различные языки и что все говорящие должны говорить на понятном языке. Как в этом можно сомневаться? Бейгхот мог считать, что нации существовали всегда. Возможно, его ввела в заблуждение кажущаяся прочность изобретенных национальных непреложностей. Но, конечно, языки различны: они существовали всегда.

И все же здесь нужно быть осторожными. Люди умели говорить уже на заре истории, и в различных местах могли развиваться непонятные друг для друга говоры, но это не означает, что люди считали себя говорящими на «языке». Понятие «языка», по крайней мере, в том смысле, который кажется «нам» столь банально очевидным, само может быть изобретенной непреложностью, созданной в эпоху национального государства. Если дело обстоит именно так, то не столько язык создает национализм, сколько национализм создает язык; или, скорее, национализм создает «наше» обыденное представление о том, что существуют «естественные» и бесспорные вещи, называемые различными «языками», на которых мы говорим.

В средневековой Европе, в отличие от сегодняшнего мира, не было места официальным народным языкам. В общем и целом письменное общение осуществлялось на латыни. Грамматикой, которая преподавалась в качестве основного предмета тривиума, была латинская грамматика (Murphy, 1974). Народные языки, даже когда они использовались в пись-

менном виде, не считались грамматически правильными, и их произношение не входило ни в один стандартизованный словарь. В этом контексте не существовало правильного или неправильного письма на народном языке; и большинстве случаев на нем просто не писали. Стремление к стандартизации письма, введению соответствующих грамматик и преподаванию принятых форм родного языка возникло значительно позже. Мишель Фуко (Фуко, 1996) сравнивал возникновение грамматики как академической дисциплины в XVIII веке с развитием медицины и экономики той же эпохи. Во всяком случае академическое изучение происходило в контексте возникновения современного государства, которое навязывало единообразие и порядок своему населению и представляло собой, по выражению Фуко, «дисциплинарное общество» (Фуко, 1999. С. 290).

В Средневековье, согласно Дугласу Джонсону, «простому человеку в одной части Франции трудно было понять человека в другой ее части» (Johnson, 1993. P. 41). Такое положение сохранялось во Франции и в XIX веке (Бродель, 1994). Можно попытаться представить отношение средневековых крестьян к своим формам речи. Они одинаково говорили бы со своими односельчанами. Они узнавали бы эти формы — и, возможно, особые слова — при встрече с земляками, особенно вдали от дома. В документах Монтайю говорится о сапожнике Арно Сикре, в его мастерскую в Сан-Матео однажды вошла женщина, говорившая на «языке Монтайю» (Ладюри, 2001. С. 302). Он отложил инструменты, чтобы спросить, действительно ли она прибыла из Монтайю. Этот «язык» мог иметь свои отличительные особенности, но его понимали жители соседних областей, которые также имели свои узнаваемые говоры. Одни слова были известны посторонним, другие — нет. По мере удаления от родной деревни количество незнакомых фраз возрастало, как возрастала и сложность в общении. Попав в особенно удаленную деревню, общих фраз можно было не встретить вовсе.

В случае Монтайю в XIV веке, пишет Ладюри, между Окситанией и Каталонией существовало единое пространство общения. Во время путешествия по деревням, располагавшимся в этом едином пространстве, у крестьян не складывалось ощущения перехода языковой границы, которая отделяла один особый язык от другого. Только в отдаленных областях появлялись трудности с пониманием. Однако путешествующий крестьянин не переставал задаваться вопросом: «Говорят ли эти люди на том же языке, что и я?», словно все дело было в соотношении между знакомыми и незнакомыми формами речи, которое менялось от одной грамматической области к другой. Подобный эссенциализм, напротив, составляет суть современных обыденных представлений о языке. Нам хочется знать, следует ли считать говор Монтайю диалектом окситанского и действи-

тельно ли жители Сан-Матео говорили на разновидности каталанского. Мы признаем существование глубоко различных грамматик.

Если современная политическая карта, в отличие от своего средневекового аналога, содержит точные границы, то же относится и к воображаемой карте говоров. Представление об этом просто проецируется на другие культуры и другие эпохи. Как рассказывает Клиффорд (Clifford, 1992), антропологи обычно считают, что каждая деревня, каждое племя, которое они изучают, имеет свой уникальный язык. Современное представление различных языков – это не фантазия, но в нем находит свое отражение мысль о том, что мир наций является также миром формально установленных языков. Дисциплинарное общество национального государства нуждается в дисциплине общей грамматики. У средневекового крестьянина не было формальных средств, которые позволяли бы ему узнать у собеседника, на каком языке тот говорил. Никакие парламентские законы не устанавливали, какой язык должен был использоваться в обязательном государственном образовании или государственном вещании; при этом в эпоху Средневековья никто и представить себе не мог, чтобы из-за этого велись войны. Вопросов языка, которые кажутся сегодня столь «естественными» и животрепещущими, тогда попросту не возникало. Грубо говоря, средневековый крестьянин говорил, а современный человек просто так говорить не может; чтобы говорить, нам нужен специальный инструмент – язык.

Языки и границы

Мир различных языков требует установления категориальных различий. С этой проблемой сталкивается всякий, кто пытается провести различие между одним языком и другим. Не все носители языка говорят одинаково. Так, одни речевые различия следует считать примерами разных языков, а другие – различиями в одном языке. Понятие «диалекта» становится решающим в поддержании идеи отдельных языков: по-видимому, оно позволяет объяснить, почему не все носители языка говорят одинаково. Слово «диалект» не имело своего лингвистического значения до начала современной эпохи (Haugen, 1966a). Раньше языковые проблемы, обозначаемые и, по-видимому, решаемые при помощи этого понятия, не возникали. Жителей Монтайю в XIV веке не заботил вопрос о том, было ли то, на чем они говорили, диалектом или отдельным языком: сапожника интересовало то, родился ли он в одной местности с той женщиной, а не то, говорил ли он с ней на «одном языке». Идея диалекта почти не использовалась до установления национальными государствами официальных образцов речи и письма. Различия между языками и диалек-

тами превратились тогда в очень острые политические вопросы и стали предметом науки лингвистики.

Существование различных языков кажется нам очевидным, но вовсе не очевидно, каким образом создаются такие различия. Предположим, что носители одного языка понимают друг друга, а носители разных языков — нет. Это означало бы, что все варианты (или диалекты) одного языка понятны друг другу, а различные языки друг другу непонятны. Лингвисты подчеркивают, что не существует простого критерия для определения понятности. Какой объем понимания следует считать понятностью? Где в пространстве понятности проходит граница между пониманием и непониманием? Даже если бы такой критерий существовал, он привел бы к совершенно иным разграничениям, нежели те, что признаются носителями и неносителями языка и кажутся им столь незыблемыми (Comrie, 1990; Ruhlen, 1987). Встречаются понятные друг другу «разные» языки, например, датский, норвежский и шведский. Как отмечает Эриксен (Eriksen, 1993), разговорный язык норвежских городов, к примеру, Бергена и Осло ближе к стандартному датскому, чем к некоторым сельским диалектам норвежского. Наряду с проблемой понятных друг другу разных языков существует проблема языков, которые содержат непонятные друг другу диалекты. Так, носители гегского и тоскского диалектов считают, что говорят на одном албанском языке, хотя эти диалекты непонятны друг другу (Ruhlen, 1987).

Чрезвычайно важна и проблема проведения языковых границ. Борьба за гегемонию, которой сопровождается создание государств, отражается в способности выделения языков или в том, что Томпсон назвал способностью к «закреплению значения» (Thompson, 1984. P. 132). Эта способность состоит не просто в навязывании определенных слов или фраз, но и в притязании языков на то, чтобы быть языками. Средний класс столичных областей обычно закрепляет значения официального языка, сводя остальные образцы в национальных границах к «диалектам» — термин, который почти всегда содержит уничижительный оттенок. Как говорит Хауген (Haugen, 1966a), «диалектом» часто бывает язык, которому не удалось добиться политического успеха: например, пьемонтский был сведен к статусу диалекта после того, как итальянским языком стал считаться тосканский.

В попытках создания отдельной нации националисты часто создают особый язык, хотя они могут утверждать, что создали нацию на основе языка, как если бы последний был чем-то древним и «естественным». Когда Гердер называл немецкий язык отражением духа немецкой нации, он отстаивал необходимость создания и языка, и нации и при этом считал их извечными. На территории, которой предстояло стать Германией,

существовало несколько непонятных друг другу наречий, ни одно из которых не смогло закрепить за собой статус «правильной» формы немецкого языка. Тогда жители Пруссии говорили на нижненемецком и «изучали верхненемецкий как второй язык» (Hawkins, 1990, p. 105). В следующем столетии, со взлетом Пруссии, «стандартным» немецким стал северогерманский выговор южного верхненемецкого.

Проведение границ между языками и классификация диалектов все чаще осуществлялись в соответствии с политикой создания государств. При сложившихся национальных границах речевые различия по обе стороны границы, вероятнее всего, будут считаться связанными с различными языками самими их носителями, национальными центрами и миром в целом. Когда голландцы избрали собственный путь политического развития, их разновидность нижнефранконского стала отдельным языком, в отличие от других форм, считающихся диалектами немецкого (Schmidt, 1993). Галисийский, на котором говорят в Испании, и португальский, на котором говорят по ту сторону границы, считаются различными языками. С лингвистической точки зрения, французский и итальянский сливаются друг с другом, но речевые различия во Франции, скорее, считаются диалектами французского, а в Италии — диалектами итальянского (Ruhlen, 1987). Точно так же фриульский в Северной Италии имеет сходство с романшским языком в Швейцарии, но национальные границы, опять-таки, усиливают ощущение различия между языками (White, 1991). В этом отношении показателен пример создания норвежского языка. Освобождение от датского владычества сопровождалось борьбой за язык. Сначала норвежское государство провозгласило собственный язык, письменно закрепив отличие норвежского говора от датского. Затем развернулась борьба между двумя соперничающими говорами, риксмолем и лансмолем, претендовавшими на звание настоящего норвежского языка (Haugen, 1966b).

Во всех этих случаях профессиональные лингвисты склонны соглашаться со сложившейся практикой, считая норвежский и датский различными языками, а верхне- и нижненемецкий разновидностями одного и того же языка (Comrie, 1990). По признанию Рулена (Ruhlen, 1987), отсутствие чисто лингвистических критериев для классификации языков заставляет лингвистов следовать общепринятым представлениям о сходстве и различии между языками. Общепринятые практики наименования языков, как правило, возникают в ходе борьбы за гегемонию. И то, что становится общепринятой практикой, при определенных обстоятельствах может перестать быть ею или превратиться в предмет борьбы. Например, итальянский закон проводит различие между диалектами итальянского и развитыми языками меньшинств. Фриульские и сардин-

ские активисты в течение многих лет вели борьбу за законодательное признание своих наречий в качестве официальных языков. Центральные правительства, напуганные сепаратизмом и опасностью уступок языкам меньшинств, сопротивлялись этим требованиям. В спорах о том, были ли фриульский и сардинский диалектами или языками, с обеих сторон участвовали опытные лингвисты, опровергавшие доводы оппонентов относительно того, что представляет собой полноценный язык, а что является простым диалектом (Petrosino, 1992). Наиболее показательно официальное отрицание турецким правительством существования курдов и курдского языка: на самом деле курды — это «горные турки», забывшие свой родной, турецкий язык (Entessar, 1989).

Можно предположить, что националистические движения, стремящиеся к созданию отдельных государств, попытаются превратить свой диалект в язык. Влияние записи говора не следует недооценивать: она служит материальным подтверждением притязаний на то, что отдельный язык существует. Чтобы подчеркнуть отличие от основного «официального» языка, может быть принята особая орфография, а в ней главное место может отводиться особому говору. И такая орфография, закрепленная в официальных сообщениях и мифической поэзии, становится подтверждением самобытности языка. Иногда у понятных друг другу говоров бывает различная орфография, как в случае сербского и хорватского, а также урду и хинди. Однако статус письма может оспариваться или официально объявляться диалектом. В 1994 году, впервые после запрета шотландским законом об образовании от 1872 года использования шотландского языка в школах в Университете Глазго прошла защита диссертации, написанной на шотландском языке; ее темой была «шотландская орфография». Примечательно, что ученый совет университета согласился допустить диссертацию к защите при условии, что она будет считаться написанной на диалекте английского, а не на отдельном языке (Guardian, 8 July 1994).

Из-за необходимости выбора одного говора описание «диалекта» представляет собой непростую проблему. Бродель рассказывает о проблемах, с которыми сталкивались те, кто желали перевести официальные французские документы послереволюционного государства на местные наречия, когда каждая деревня, по-видимому, имела свой говор. Директор департамента Коррез говорил о трудности нахождения приемлемых переводов: «Переводчик из кантона Жюйяк не понимает разговоров, ведущихся в других кантонах, ибо стоит проехать семь-восемь лье, и язык, на котором говорят местные жители, изменяется самым явственным образом» (цит. по: Бродель, 1994. С. 71). Другой чиновник в Бордо предложил перевести Декларацию прав человека и гражданина «на общий язык, который представлял бы собою нечто среднее между говорами всех местных жителей»

(С. 71). Можно только гадать, что произошло бы, если бы власти согласились с идеей такого компромиссного языка, который не отражал говора ни одного из жителей. Если бы этот язык преподавался в школах и использовался более поздними поэтами для прославления истории этих земель, сепаратистские группы могли бы сегодня претендовать на официальное признание. В университете Бордо можно было бы встретить докторские диссертации, написанные на этом якобы древнем языке.

Установление отдельного языка связано с внутренней борьбой за гегемонию, поскольку один говор стремится стать эталоном для всего языка. Если бы курдскому движению в Турции удалось отстоять официальный курдский язык, его пришлось бы выбирать из различных говоров участников этого движения. В 1930–1940-х годах перед сардинским националистическим движением проблема языка не стояла. Попытка выступить за обособление сардинского языка и превратить его в символ сардинской независимости вызвала бы противостояние. Сардинский язык имел множество различных форм: само словосочетание «сардинский язык» предполагает наличие некоего единообразия. Один из сардинских говоров должен был стать официальным языком, а остальные — превратиться в простые диалекты или бедных родственников «столичного сардинского». Чтобы не оттолкнуть носителей всего многообразия сардинского наречия, лидеры довоенного националистического движения не придавали особого значения языку (White, 1991).

Интересен случай сепаратистской Ломбардской лиги. В начале 1980-х годов Лига объявила ломбардский самостоятельным языком (Ruzza, 1993). Активисты закрашивали последние гласные буквы на уличных указателях Ломбардии. В ответ противники высмеивали мысль о том, что ломбардский был настоящим языком. Бессмысленно было искать ответ на этот вопрос в учебниках лингвистики, так как в одних ломбардский признавался отдельным языком (Grimes, 1988), а в других — нет (Vincent, 1987). Если бы в начале 1980-х годов программа Лиги была осуществлена и Ломбардия отделилась от Италии, установив собственные государственные границы, можно было бы не сомневаться, что ломбардский стал бы считаться особым, отличным от итальянского языком, как и в случае с норвежским, датским и шведским. Через какое-то время в учебники лингвистики пришли бы к согласию в этом вопросе. Однако в конце 1980-х годов Лига оставила вопрос о языке и была переименована из Ломбардской лиги в Лигу Норд (Ruzza, 1993). Вопрос о языке оттолкнул многих потенциальных сторонников, считавших себя ломбардцами, но не говоривших на этом языке. Кроме того, необходимо было бы создать «правильную» форму ломбардского, и немногие сторонники этой идеи согласились бы признать, что их область в Ломбардии говорила по-ломбардски неправильно.

Конфликты по поводу языка — привычное дело в современном мире. Они отвечают «нашим» обыденным представлениям: статьи о франко- и фламандскоязычном населении в Бельгии или урду- и хиндиязычном населении в Индии ни у кого не вызывают удивления. Такие конфликты не просто связаны с борьбой за язык, они и ведутся при помощи языка (и при помощи насилия). В этом отношении решающее значение имеют всеобщие или международные аспекты национализма. Если бы не существовало общих понятий, которые можно перевести на отдельные языки и диалекты, конфликты не принимали бы свои националистические формы. Особенно важными из этих понятий оказываются идеи «языка» и «диалекта». Эти термины должны воспроизводиться в каждом языке, используемом его носителями для того, чтобы заявить о своих притязаниях на особый язык и существование отдельной нации. При этом внутриязыковые различия связываются с особенностями «диалекта».

Понятия языка и диалекта не являются исключительной собственностью «экстремистов», преследующих узко национальные задачи. Они неразрывно связаны с «нашими» обыденными представлениями. И это влечет за собой методологические и политические последствия. Нации могут быть «воображаемыми сообществами», но воображаемые формы невозможно объяснить с точки зрения языковых различий, ибо и сами языки воображаются в качестве особых сущностей. Для изучения национализма как широкой идеологии и обнаружения националистических положений в обыденных представлениях о языке не следует проецировать на других национализм и считать, будто «мы» свободны от всех форм его воздействия.

Кроме того, положения, верования и общие представления, которые выдают мир наций за наш естественный мир, создаются в ходе исторического развития: они не являются «естественными» общечеловеческими представлениями. В другие эпохи люди даже не задумывались о языке и диалекте, территории и суверенитете, то есть о тех вещах, которые стали сегодня частью обыденной жизни и кажутся «нам» столь существенными. Такие представления так глубоко укоренились в повседневности, что легко забыть, что они представляют собой изобретенные непреложности. Средневековые сапожники в мастерских Монтайю или Сан-Матео теперь — с дистанции в 700 лет — могут показаться нам недалекими, суверенными фигурами. Однако они сочли бы наши представления о языке и нации удивительно мистическими и недоумевали бы оттого, что такая мистика могла стать вопросом жизни и смерти.

Перевод с английского Артема Смирнова

Использованная литература

- Bagehot W. *Physics and Politics*. London: Henry S. King, 1873.
- Billig M. *Arguing and Thinking*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- Billig M. *Ideology and Opinions: Studies in Rhetorical Psychology*. London: Sage, 1991.
- Birch A. H. *Nationalism and National Integration*. London: Unwin Hyman, 1989.
- Bloch M. *The Royal Touch*. London: Routledge and Kegan Paul, 1973.
- Boswell J. *The Life of Samuel Johnson*. London: J. M. Dent, 1906.
- Brown D. Ethnic revival: perspectives on state and society // *Third World Quarterly*. 11. 1989. P. 1–18.
- Cannadine D. The context, performance and meaning of ritual: the British monarchy and «the invention of tradition» // *The Invention of Tradition* / Ed. by E. J. Hobsbawm and T. Ranger. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Capitan C. Status of women in French revolutionary / liberal ideology // *The Nature of the Right* / Ed. by G. Seidel. Amsterdam: John Benjamins, 1988.
- Clifford J. *Travelling cultures*. // *Cultural Studies* / L. Grossberg, C. Nelson and P. Treichler. London: Routledge, 1992.
- Colley L. *Britons*. New Haven, CT: Yale University Press, 1992.
- Comrie B. *The Major Languages of Western Europe*. London: Routledge, 1990.
- Connor W. A nation is a nation, is a state, is an ethnic group, is a... // *Ethnic and Racial Studies*. 1. 1978. P. 377–400.
- Connor W. Beyond reason: the nature of the ethno-national bond // *Ethnic and Racial Studies*. 16. 1993. P. 373–389.
- Dumont L. Left versus right in French political ideology: a comparative approach // *Transition to Modernity* / Ed. by J. A. Hall and I. C. Jarvie. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Eagleton T. *Ideology: an Introduction*. London: Verso, 1991.
- Edwards J. *Language, Society and Identity*. Oxford: Basil Blackwell, 1985.
- Edwards J. Gaelic in Nova Scotia // *Linguistic Minorities, Society and Territory* / Ed. by C. H. Williams. Clevedon: Multilingual Matters, 1991.
- Edwards D. and Potter J. *Discursive Psychology*. London: Sage, 1992.
- Edwards D and Potter J. Language and causation: a discursive action model of description and attribution // *Psychological Review*. 100. 1993. P. 23–41.
- Elklit J. and Tonsgaard O. The absence of nationalist movements: the case of the Nordic area // *The Social Origins of Nationalist Movements* / Ed. by J. Coakley. London: Sage, 1992.
- Entessar N. The Kurdish mosaic of discord // *Third World Quarterly*. 11. 1989. P. 83–100.
- Eriksen T. H. *Ethnicity and Nationalism*. London: Pluto Press, 1993.
- Fishman J. A. *Language and Nationalism*. Rowley, MA: Newbury House, 1972.
- Freeman M. *Nationalism: For and Against*. Colchester: Department of Government, University of Essex, 1992.
- Gellner E. *Culture, Identity and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

- Gellner E. *Nationalism* // *Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Thought* / Ed. by W. Outhwaite and T. Bottomore. Oxford: Basil Blackwell, 1993.
- Gergen K.J. *Towards Transformation in Social Knowledge*. New York: Springer Verlag, 1982.
- Gergen K.J. The social constructionist movement in modern psychology // *American Psychologist*. 40. 1985. P.266–275.
- Gergen K.J. *Social psychology and the wrong revolution* // *European Journal of Social Psychology*. 19. 1989. P.463–484.
- Giddens A. *Social Theory and Modern Sociology*. Cambridge: Polity Press, 1987.
- Gillett G. and Harré R. *The Discursive Mind*. London: Sage, 1994.
- Grimes B. F. *Ethnologue: Languages of the World*. Dallas: Sumner Institute of Linguistics, 1988.
- Gudykunst W.B. and Ting-Toomey S. *Ethnic identity, language and communication breakdowns* // *Handbook of Language and Social Psychology* / Ed. by H. Gdes and W.P. Robinson. Chichester: John Wiley, 1990.
- Haugen E. *Dialect, language, nation* // *American Anthropologist*. 68. 1966a. P.922–935.
- Haugen E. *Language Conflict and Language Planning*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1966b.
- Hawkins J.A. *German* // *The Major Languages of Western Europe* / Ed. by B. Comrie. London: Routledge, 1990.
- Hinsley F.H. *Sovereignty*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Holquist M. *Dialogism. Bakhtin and his World*. London: Routledge, 1990.
- Hroch M. *Social Preconditions of National Revival in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Husbands C. T. *Belgium: Flemish legions on the march* // *The Extreme Right in Europe and the USA* / Ed. by P. Hamsworth. London: Pinter, 1992.
- Johnson D. *The making of the French nation* // *The National Question in Europe in Historical Context* / Ed. by M. Teich and R. Porter. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Kedourie E. *Nationalism*. London: Hutchinson, 1966.
- Kennedy P. *The Rise and Fall of the Great Powers*. London: Unwin Hyman, 1988.
- Kiernan V. *The British Isles: Celt and Saxon* // *The National Question in Europe in Historical Context* / Ed. by M. Teich and R. Porter. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Mann M. *European development: approaching a historical explanation* // *Europe and the Rise of Capitalism* / Ed. by J. Baechler et al. Oxford: Basil Blackwell, 1988.
- Mann M. *The emergence of modern European nationalism* // *Transition to Modernity* / Ed. by J.A. Hall and I.C. Jarvie. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Moscovici S. *The phenomenon of social representations* // *Social Representations* / Ed. by R. Farr and S. Moscovici. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Murphy J.J. *Rhetoric in the Middle Ages*. Berkeley, CA: University of California Press, 1974.
- Nairn T. *The Break-Up of Britain*. London: New Left Books, 1977.
- Petrosino D. *National and regional movements in Italy: the case of Sardinia* // *The Social Origins of Nationalist Movements* / Ed. by J. Coakley. London: Sage, 1992.

- Pilger J. *Distant Voices*. London: Vintage, 1994.
- Potter J. and Wetherell M. *Discourse and Social Psychology*. London: Sage, 1987.
- Potter J., Edwards D. and Wetherell M. A model of discourse in action // *American Behavioral Scientist*. 36. 1993. P. 383–401.
- Reader W.J. *At Duty's Call: a Study in Obsolete Patriotism*. Manchester: Manchester University Press, 1988.
- Roberts J.M. *The Triumph of the West*. London: British Broadcasting Corporation, 1985.
- Ruhlen A. *A Guide to the World's Languages*. Vol. I: Classification. Stanford, CA: Stanford University Press, 1987.
- Ruzza C.E. Collective identity formation and community integration in the Lega Lombarda. 1993. *Доклад, прочитанный на конференции «Изменение европейских идентичностей», Фарнхэм, Суррей, апрель 1993 года*.
- Sampson E.E. *Celebrating the Other*. Hemel Hempstead: Harvester/Wheatsheaf, 1993.
- Scheff T.J. *Bloody Revenge: Nationalism, War and Emotion*. Boulder, CO: Westview Press, 1995.
- Schmidt W. The nation in German history // *The National Question in Europe in Historical Context* / Ed. by M. Teich and R. Porter. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Seton-Watson H. *Nations and States*. Boulder, CO: Westview Press, 1977.
- Shotter J. *The Cultural Politics of Everyday Life*. Milton Keynes: Open University Press, 1993a.
- Shotter J. *Conversational Realities: Studies in Social Constructionism*. London: Sage, 1993b.
- Smith A.D. *The Ethnic Revival*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Smith A.D. *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford: Basil Blackwell, 1986.
- Smith A.D. The problem of national identity: ancient, mediaeval and modern // *Ethnic and Racial Studies*. 17. 1994. P. 374–399.
- Snyder L.L. *Varieties of Nationalism: a Comparative Study*. Hinsdale, IL: Dryden Press, 1976.
- Thompson J.B. *Studies in the Theory of Ideology*. Cambridge: Polity Press, 1984.
- Touraine A. Sociological intervention and the internal dynamics of the Occitanist Movement // *New Nationalisms of the Developed West* / Ed. by E.A. Tiryakian and R. Rogowski. Boston, MA: Allen & Unwin, 1985.
- Trevor-Roper H. The invention of tradition: the Highland tradition of Scotland // *The Invention of Tradition* / Ed. by E. Hobsbawm and T. Ranger. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Vincent N. *Italian* // *The World's Major Languages* / Ed. by B. Comrie. London: Routledge, 1987.
- Vos L. Shifting nationalism: Belgians, Flemings and Walloons // *The National Question in Europe in Historical Context* / Ed. by M. Teich and R. Porter. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Voutat B. Interpreting national conflict in Switzerland: the Jura question // *The Social Origins of Nationalist Movements* / Ed. by J. Coakley. London: Sage, 1992.

МАЙКЛ БИЛЛИГ

- Wetherell M. and Potter J. Mapping the Language of Racism. Hemel Hempstead: Harvester/Wheatsheaf, 1992.
- White P. Geographic aspects of minority language situations in Italy // Linguistic Minorities, Society and Territory / Ed. by C. H. Williams. Clevedon: Multilingual Matters, 1991.
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М: КАНОН-пресс Ц, Кучково поле, 2001.
- Бахтин М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. М.: Лабиринт, 2000.
- Бродель Ф. Что такое Франция? Кн. 1. Пространство и история. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1994.
- Валлерстайн И. Конструирование народа: раса, нация, этническая группа // Балибар Э. и Валлерстайн И. Раса, нация, класс. М.: Логос, 2004.
- Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.
- Французская Республика: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1989.
- Ладюри Э. Ле Руа Монтайю, окситанская деревня (1294–1324). Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2001.
- Фуко М. Археология знания. Киев: Ника-Центр, 1996.
- Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ад Маргинем, 1999.
- Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, (1998).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
БИОГРАФИИ

ДЖОЗЕФ БРЕНТ

ЧАРЛЬЗ САНДЕРС ПИРС: ЖИЗНЬ

«Час триумфа несет с собою пустоту»: 1871–1882¹

Дух логического метода человеку следовало бы любить и почитать как свою невесту, которую он избрал одну из всего мира. Ему не нужно осуждать других; напротив, он может испытывать к ним глубокое уважение, и поступая так, он тем более проявляет уважение к ней. Но она – единственная, которую он избрал, и он знает, что он был прав, делая этот выбор. И сделав его, он будет трудиться и сражаться ради нее и не будет жаловаться на удары судьбы, только желая, чтобы их было больше и чтобы они были тяжелее, и он будет прилагать усилия к тому, чтобы стать достойным рыцарем и победителем той, из блеска чьих достоинств черпает он свое вдохновение и свое мужество.

Чарльз Сандерс Пирс, «Закрепление верования», 1877

Когда в марте 1871 года Чарльз и Мелузина вернулись из своего путешествия по Европе, они перебрались в свой второй дом на Эрроу-стрит, 6 в Кембридже. Работа по совместительству на двух должностях приносила Пирсу примерно 2500 долларов в год, неплохой доход по тем временам. Ему шел тридцать первый год, он был уверен в себе и рассчитывал на блестящую интеллектуальную карьеру, особенно в философии и естественных науках в Оксфорде и Кембридже. Он хотел доказать себе и остальным, что он и Гарвард достойны друг друга. В этом намерении у него был свой предшественник – Уильям Джеймс, который за три года

¹ Joseph Brent. *Charles Sanders Pierce: a Life*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1998, Ch. 2, pp. 82-135.

до этого писал из Германии Оливеру Уэнделлу Холмсу-младшему, настаивая на необходимости создания «... философского общества для проведения регулярных собраний и обсуждения самых важных и самых широких вопросов, которое состояло бы из сливок бостонского общества»². О том, что такая группа была организована и что она проводила собрания, свидетельствует письмо, написанное 24 ноября 1872 года Генри Джеймсом своему другу, исследователю и переводчику Данте Чарльзу Элиоту Нортону:

Уэнделл Холмс собирается читать здесь лекцию по юриспруденции. Я думаю, когда-нибудь он будет *profeser*, как говорят французы, и станет признанным специалистом. Он, мой брат и другая яйцеголовая молодежь объединились, чтобы создать «Метафизический клуб», в котором они горячо спорят и обсуждают разные вопросы.³

В 1871–1874 годах (особенно зимой 1871–1872 годов) значительную часть времени, оставшегося после работы в Береговой службе и другой научной деятельности, Пирс проводил в небольшой компании «яйцеголовой молодежи», которая с тех пор стала называться среди учеников Пирса «Метафизическим клубом». Описание этого клуба у Пирса достаточно противоречиво, потому что сами его члены говорили о нем мало, за исключением Пирса, который объявил его местом рождения прагматизма. Эксгумация Пирсом этого клуба была связана со стремлением утвердить свое первенство в качестве основателя прагматизма. Джон Дьюи предельно ясно описал проблему Пирса:

Термин «прагматизм» вошел в литературу после вступительных слов речи профессора Джеймса перед Философским обществом Калифорнийского университета в Беркли в 1898 году. Слова эти были такими: «принцип прагматизма, как мы можем назвать его, может быть выражен различными способами, но все они очень просты. В *Popular Science Monthly* за январь 1878 года г-н Чарльз С. Пирс сформулировал его следующим образом»: и т. д. Однако читатели, обратившиеся к упомянутому тому, не нашли в нем ни слова из сказанного.⁴

Именно это сбивающее с толку отсутствие определения и пытался объяснить Пирс.

Членами клуба, по его воспоминаниям, были сам Пирс; Чонси Райт; Уильям Джеймс; Николас Сент-Джон Грин и Джозеф Бэнгс Уорнер, оба

² WJ to Oliver Wendell Holmes, 3 January 1868, цит. по: Perry, vol. 1, 508.

³ HJ to C. E. Norton, 24 November 1872, Norton Papers, HU.

⁴ John Dewey, «The Pragmatism of Peirce», in *Chance, Love, and Logic*, edited by Morris R. Cohen, 301.

юристы из Кембриджа; Оливер Уэнделл Холмс-младший, который впоследствии стал судьей Верховного суда; более или менее регулярно Джон Фиск, историк и философ; Фрэнсис Эллингвуд Эббот, автор «Научного теизма»; Генри Боуэн, профессор философского факультета Гарварда; и Ч. К. Эверетт из Школы богословия⁵.

Дважды о членах клуба упоминает Джеймс. В 1905 году в письме Т. С. Перри, интересовавшемуся участием в деятельности клуба Джона Фиска, он вспоминал, что «... когда Чонси Райт, Чарльз П [ирс], [Николас Сент] Джон Грин, [Джозеф Б.] Уорнер и я собрались, чтобы обсудить космическую фил [ософию], Д [жон] Ф [иск] заснул прямо под нашим носом»⁶. Среди бумаг Фрэнсиса Эллингвуда Эббота имеется написанное Джеймсом приглашение «... присоединиться к Клубу для чтения и обсуждения философских авторов. В настоящее время собрания Клуба проводятся раз в неделю и в его состав входят Ч. К. Эверетт, Ст. Д [жон] Грин, О. У. Холмс-младший, Джон Фиск, Том Дэвидсон, Дж. Уорнер, профессора Боуэн и еще пара человек...», читавшие тогда Юма⁷. И хотя это письмо было написано в январе 1876 года, в нем перечислены те же люди, которые — за исключением Чонси Райта, умершего годом ранее, самого Пирса, уехавшего в Европу по делам Береговой службы почти за год до этого, и Томаса Дэвидсона, друга и бывшего ученика Пирса — были перечислены и Пирсом. Сам Пирс утверждал, что он основал клуб в конце 1860-х и вскоре после своего возвращения из Европы весной 1871 года. Скорее всего, по своему возвращению, он вновь присоединился к группе, которая проводила неформальные собрания во главе с Чонси Райтом с середины 1860-х. Райт, Джеймс, Грин и Холмс продолжали встречаться в отсутствие Пирса; после его возвращения, с подачи Пирса они стали называть себя Метафизическим клубом по образцу Метафизического общества Лондона, основанного в 1869 году.

Объяснение столь непродолжительного существования клуба было предложено Пирсом в неопубликованном черновике в 1909 году. Он утверждал, что клуб был полностью неформальным и не требовал обязательного посещения, а его название было выбрано, чтобы оттолкнуть возможных случайных людей.

Его основной закон был вполне действенным, поскольку состоял только из одного пункта, запрещавшего какие бы то ни было действия от имени Клуба как коллективного органа и тем самым не позволявшего растра-

⁵ Fisch, «Metaphysical Club», in *Studies in the Philosophy*, edited by Edward C. Moore and Richard S. Robin, 24–29.

⁶ WJ to Thomas Sergeant Perry, 24 August 1905, James, HU.

⁷ WJ to Francis Ellingwood Abbot, 23 January [1876], Abbot, HU.

тить то единственное, что было по-настоящему ценным в жизни и что многие другие общества растратили без остатка, занимаясь тем, что они в праздном легкомыслии называли «деловой стороной», в то время как ни одно действие в них не могло быть предпринято без участия должностных лиц, секретаря и соответствующих записей...⁸

Описывая в 1904 году членов клуба и их участие в его работе, Пирс отмечал:

В 1860-х я основал небольшой клуб, который стал называться Метафизическим клубом. На его собраниях редко бывало больше шести членов. Райт был самым преданным его членом, а я, вероятно, был следующим. Удивительно острым умом обладал Николас Сент-Джон Грин. Затем шли Фрэнк Эббот, Уильям Джеймс и другие.⁹

В 1906 году Пирс привел довольно противоречивое объяснение во фрагменте, получившем название «Прагматизм в доступном изложении»:

Я выехал за границу [в июне 1870 года] и в Англии, Германии, Италии и Испании из собственных уст отдельных ученых узнал, что они полностью изменили свои взгляды на науку и философию. После моего возвращения [в марте 1871 года] наш кружок, в который входили Чонси Райт, Николас Сент-Джон Грин, Уильям Джеймс, а также появившиеся время от времени Фрэнсис Элингвуд Эббот и Джон Фиск, старался встречаться почаще для обсуждения фундаментальных вопросов. Грин был особенно увлечен взглядами [Александра] Бэна и заинтересовал ими всех нас; и, наконец, ваш покорный слуга изложил то, что мы называли принципом прагматизма. Несколько лет спустя, он был сформулирован [но не назван таковым] в двух статьях, опубликованных *Popular Science Monthly* (ноябрь 1877 и январь 1878) [«Закрепление верования» и «Как сделать наши идеи ясными»], а позднее в *Revue Philosophique*.

Основная мысль, которая была выдвинута Бэном и которая больше всего поразила Грина, а вслед за ним и всех остальных, заключалась в том, что человек готов совершать определенные поступки и идти на риск только при условии, что он действительно верит в то, что он делает.¹⁰

24 ноября 1872 года Уильям Джеймс писал своему брату Генри, что «он [Пирс] на днях прочитал нам замечательную вводную главу к своей книге

⁸ MS 317.

⁹ Christine Ladd-Franklin, «Charles S. Peirce at the Johns Hopkins», *The Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods* 13 (1916): 719 (O 1243).

¹⁰ MS 325.

о логике». Скорее всего, Пирс имел в виду эту рукопись¹¹. На следующий день Томас Сарджент Перри, редактор *North American Review* и приятель Джеймса и Пирса, попросил последнего сделать копию прочитанного в клубе доклада; свою просьбу он повторил и в декабре, после того, как Чарльз и Зина перебрались в Вашингтон. Пирс не выслал статью и из-за своей работы в Береговой службе мог заниматься логикой лишь урывками, чем, по-видимому, и объясняется то обстоятельство, что она не была опубликована ранее. Но ни здесь, ни в свидетельствах членов клуба, ни в упомянутых Пирсом и Джеймсом статьях, опубликованных в *Popular Science Monthly* в 1877–1878 годах, ни даже в ряде статей в *Monist* 1891–1893 годов слово «прагматизм» не встречается. Первое издание «Словаря столетия», вышедшее в 1889 году, не содержит статьи о прагматизме как о философском термине, хотя Пирс отвечал за его подготовку, включив в него другие философские термины, среди прочего предложив определения *реализма*, *номинализма*, *идеализма*, *идеального реализма* своего отца и многих других терминов. Но статьи о прагматизме («Прагматический характер или поведение; услужливость; деловитая грубость») и прагматике («деловито грубый и назойливый человек») все же есть — ирония, которую Пирс, безусловно, оценил по достоинству. Такое отсутствие термина «прагматизм» в опубликованных сочинениях и письмах более десяти лет спустя после его предполагаемого употребления кажется довольно загадочным, особенно если учесть, что Пирс настойчиво приписывал себе заслугу его изобретения.

В значительной степени решению этой загадки помогает переписка между Джеймсом и Пирсом в ноябре 1900 года. Джеймс Марк Болдуин, психолог и редактор «Словаря философии и психологии», во многом способствовал подготовке определений целого ряда понятий. Он обратился к Пирсу, будучи, несомненно, осведомленным о его работе над «Словарем столетия». Пирс писал Джеймсу:

Теперь у меня появился особый повод написать. Болдуин, дойдя до буквы “J” в своем словаре, неожиданно попросил меня срочно доделать оставшуюся часть логики, к тому же, возникли разные терминологические вопросы.

Кто стал родоначальником термина *прагматизм*, я или Вы? Где он впервые был опубликован? Что Вы об этом думаете?¹²

Джеймс ответил открыткой: «“Прагматизм” придумали Вы, о чем я говорил в лекции под названием “Философские концепции и практические последствия”, посланной Вам в двух экземплярах пару лет назад [Речь

¹¹ WJ to HJ, 24 November 1872, James, HU.

¹² CSP to WJ, 10 November 1900, James HU. См. также: CP 8253.

перед Философским обществом Калифорнийского университета в Беркли, 1898]»¹³. Это первый случай, когда в долгой и зачастую пространной переписке между ними Пирс использовал термин «прагматизм». Поэтому почти все описания клуба и происхождения прагматизма представляют собой ретроспективный вымысел этих двух человек. В 1900 году Джеймс развлекал своих студентов и коллег многочисленными рассказами о клубе и Пирсе, его самом загадочном члене, знакомя их с преданиями Гарварда. Фиш приводит описание одного из студентов Джеймса, прекрасно передающее тогдашнюю атмосферу:

Во время беседы Джеймс рассказывал о философском клубе, членами которого были Чонси Райт, Джон Фиск и другие, где Пирс должен был читать доклад; они собрались; Пирс опаздывал; они все ждали и ждали; наконец, прибыл экипаж, запряженный двумя лошадьми, и из него вышел Пирс в темном плаще; он вошел и начал читать доклад. О чем он был? По словам Джеймса, он объяснял, как различные моменты времени привыкают следовать один за другим [согласно Пирсу, всякая непрерывность представляет собой следствие привыкания].¹⁴

С другой стороны, у Пирса не было никаких оснований вспоминать о клубе, пока Болдуин не настоял на его значимости, попросив Пирса помочь в определении понятий для своего готовящегося словаря. Только тогда Пирс привел различные воспоминания о клубе и подготовил определения *прагматизма*, *прагматиста*, *прагматического* и *прагматицизма* для словаря Болдуина и, спустя пять лет, «Словаря столетия» (отредактированные, по всей видимости, Дьюи), которые вышли в 1909 году, за пять лет до его смерти, в исправленном «Дополнении» издания. Рабочий экземпляр пирсовского «Словаря столетия» в Гарварде является, возможно, самым содержательным источником этих и многих других поздних определений.

Такие обстоятельства привели Ральфа Бартона Перри в его исследовании 1935 года, посвященном Уильяму Джеймсу, к категорическому утверждению, что «хотя происхождение прагматизма неясно, очевидно, что мысль о том, что родоначальником прагматизма был Пирс, была выдвинута Джеймсом». Профессор Перри пришел к выводу, что «современное движение, известное как прагматизм, в значительной степени представляет собой результат неверного понимания Пирса Джеймсом»¹⁵.

¹³ WJ to CSP, 26 November 1900, CSPP, HU. См. также: CP 8253 и далее.

¹⁴ Fisch, «Metaphysical Club», in *Studies in the Philosophy*, edited by Edward C. Moore and Richard S. Robin, 11.

¹⁵ Perry, vol. 2, 407n6, 409.

В своей книге «Развитие и основатели прагматизма», опубликованной в 1949 году, Филипп П. Винер также высказывает серьезные сомнения, отмечая, что клуб мог быть «главным образом символом в метафизическом воображении Пирса» и что в воображении он мог «принять в члены своего Метафизического клуба» Чонси Райта и остальных. Он делает вывод:

Но, в конечном счете, какое значение имеет термин? Для историка мысли самое главное состоит в том, что в своем описании происхождения прагматизма Пирс объединил исторически значимую группу людей, которые действительно жили в одном пространстве и времени, находились в одной интеллектуальной атмосфере и оказывали друг на друга влияние, в результате чего возникли идеи, пропитавшие все наше сегодняшнее мышление.¹⁶

В своей статье «Существовал ли в Кембридже Метафизический клуб?», опубликованной в 1964 году, Фиш доказал, что таковой действительно существовал, рассеяв таким образом одно из сомнений Винера; но в то же самое время ему не удалось опровергнуть утверждение Пери о том, что первенство Пирса в вопросе о рождении прагматизма было исключительно идеей Джеймса. При этом ему не удалось привести весомых доводов в пользу того, что этот клуб не был «главным образом символом в метафизическом воображении Пирса», как утверждал Винер¹⁷.

Единственное опубликованное упоминание о клубе и его роли в возникновении прагматизма было сделано Пирсом мимоходом в его статье 1908 года «Отвергнутый довод в пользу реальности Бога». Оно состояло из одного единственного предложения, написанного рублеными фразами: «В 1871 году в Метафизическом клубе в Кембридже, штат Массачусетс, я проповедовал этот принцип как своего рода логическое евангелие, которое было не проработанным в достаточной мере методом, следовавшим Беркли, и в беседах о нем я называл его “прагматизмом”»¹⁸. Пирс имел множество возможностей опубликовать более полное описание клуба, но он предпочел этого не делать. Вероятно, ему претило то странное обстоятельство, что термин «прагматизм» не встречался ни в одной из тех статей, где излагалось его учение. К тому же, содержание этих статей было излишне номиналистическим, чтобы его можно было согласовать с логическим реализмом, который исповедовался им в 1900 году; и,

¹⁶ Wiener, 24–26.

¹⁷ Fisch, «Metaphysical Club», in *Studies in the Philosophy*, edited by Edward C. Moore and Richard S. Robin, 3–32.

¹⁸ CP 6. 482.

кроме того, оно не соответствовало его более поздним утверждениям, что логика в своей основе не имеет никакого отношения к психологии. Также он сознавал, что подчас его противоречивые описания клуба несли в себе острый привкус ностальгии и что его же собственные принципы научной этики заставляли усомниться в некоторых его воспоминаниях.

С первых своих шагов в философии Пирс всеми силами стремился отдать должное родоначальникам каждой осознанно используемой им идеи. Согласно Пирсу, стремление к знанию, особенно в науке, не является индивидуальным занятием. На самом деле все обстоит совершенно иначе: оно представляет собой социальную практику, результат труда сообщества исследователей. Мысль Пирса о том, что преемственность или живучесть идеи во многом обусловлены степенью близости к истине, предполагала, что каждый отдельный вклад просто прибавлялся к бесчисленному множеству таких же отдельных вкладов, накопленных за пять тысячелетий поисков истины. Поэтому он понимал, что необходимо прилагать все усилия для выяснения происхождения и преемственность любой значимой идеи, и именно в этом состоял его принцип философской и научной этики.

Поскольку прагматизм был для него одной из наиболее важных идей, то всякое искажение происхождения прагматизма было для него неприемлемым и противоречащим его глубочайшему убеждению. По всей вероятности, клуб во многом был именно таким, каким его описывал Пирс в своих воспоминаниях. Ошибка Пирса заключалась в том, что он придавал ему слишком большое историческое значение. Для других членов, за исключением Джеймса, клуб был важен как место, где обсуждались философские проблемы, вызывавшие у них общий интерес. Для Пирса же он был местом, где зародился прагматизм, его «любимое творение», «живая идея», которую он «холил и лелеял, словно цветы в саду», а потому клуб был для него священной землей. Пирс выразил искреннее неудовольствие в связи с тем, что в исправленном «Дополнении к “Словарю столетия”», где была опубликована статья Джеймса с определением термина прагматизм, он был назван его основателем:

(б) Теория точного метода определения значения понятий... Эта теория впервые была изложена г-ном Пирсом в статье «Как сделать наши идеи ясными» в *Popular Science Monthly* в 1878 году. Однако сам термин «прагматизм» в ней не использовался. В статье в *Monist* за 1905 год г-н Пирс утверждает, что «постоянно использовал его в ходе философских дискуссий, возможно, с середины семидесятых годов». Впервые в литературе термин был использован профессором Уильямом Джеймсом в 1898 году в выступлении «Философские концепции и практические последствия», в котором авторство термина и метода было приписано

гну Пирсу. Последний недавно использовал термин «прагматизм» для того, чтобы выразить это значение.

Тридцатитрехлетний Пирс, предчувствуя блестящую научную и философскую карьеру, и представить себе не мог, что судьба его больших ожиданий окажется столь извилистой, скучной и унижительной. Мысль о том, что, спустя двадцать лет после смерти Пирса, Ральф Бартон Перри, биограф его лучшего друга Уильяма Джеймса, недвусмысленно даст понять, что значение труда всей его жизни заключалось всего лишь в жалком открытии, совершенном его другом Джеймсом, показалась бы ему не только невероятной ошибкой, но также оскорблением доброго имени Джеймса и осквернением самой сути философского исследования.

Оставшиеся месяцы 1871 года Пирс провел в Вашингтоне и Кембридже, готовясь заняться тем, что он и его отец могли бы называть пиком его карьеры, одним из важнейших аспектов деятельности Береговой службы, разделом геодезии под названием гравиметрия, измерение гравитации. Он также занимался фотометрическими исследованиями в качестве ассистента Уинлока в Гарвардской обсерватории и другими видами астрономических исследований. Он и Зина часто подолгу не были вместе из-за того, что он много времени проводил в Вашингтоне, а она увлеклась феминизмом. Пирс писал ей накануне Рождества 1871 года:

Дражайшая Зи,

Любимая, мне так хочется, чтобы в этот вечер мы были вместе. Я так давно не слышал твоего голоса, не видел тебя, мой Нолик [Политический ноль — псевдоним, который Зина использовала в работе «Демократическая партия: политическое исследование», опубликованной четыре года спустя]. Если бы письма могли сократить расстояние между нами, я бы писал по два раза на день. Но, увы, этого они, видимо, сделать не могут. Ты понятия не имеешь (хотя, думаю, можешь себе представить), как было бы здорово оказаться сегодня вместе, моя сладкая.

Сегодня ко мне приходил Саймон Ньюкомб [они обсуждали политэкономии]. Он интересовался, как у тебя дела. Вчера вечером в Философском обществе [Вашингтона] я выступил с небольшим докладом о [комете] Энке, который был хорошо принят и вызвал небольшие прения. Там был воздухоплаватель, рассказы которого вызвали большие сомнения. Он рассказал, как однажды поднялся на высоту вместе с одним юношей, а воздушный шар сильно раскачался, когда они были на высоте две мили. А юноша сказал, что ничего такого не помнит.

Меня очень интересует политэкономия, на изучение которой я трачу все свои вечера. Я постараюсь объяснить тебе свои взгляды. 1. Политическая экономия, в моем понимании, рассматривает отношения трех качеств:

цены вещи, ее годового оборота, который я называю *спросом*, и стоимости... [письмо повреждено]¹⁹

8 апреля 1872 года Бенджамин Пирс назначил своего сына (вместо более опытных помощников) на должность временно исполняющего обязанности ответственного помощника управления Береговой службы в Вашингтоне, пока Джулиус Хилгард, ответственный помощник, находился в Европе по делам Береговой службы. Чарльз пребывал в этой должности до 1 декабря, когда отец назначил его помощником, ответственным за проведение гравиметрических исследований с жалованием в 2500 долларов²⁰. Чарльз настаивал на предоставлении ему полной свободы действий в выполнении своих обязанностей. Письмо с наставлениями от Бенджамина было необычно большим и выдержанным:

Таким образом, на тебя возлагается ответственность за маятниковые эксперименты Береговой службы, а также руководство и инспектирование всех сторон, участвующих в проведении этих экспериментов... Вместе с маятниковыми экспериментами ты проведешь исследование закона отклонений отвеса и азимутов от сфероидальной теории фигуры Земли... [Чарльз просил своего отца предоставить ему более широкие полномочия и свободу действий и получил согласие:] Когда ты не будешь занят полевыми исследованиями, направь свои усилия на проведение математических исследований силы тяжести, а также проследи за публикацией отчетов Береговой службы ответственным помощником и помоги ему в наблюдении за проводимыми им химическими процессами, а также в тех делах, о которых он может попросить; кроме того, ты вправе порекомендовать мне одного человека на должность служащего с жалованием, не превышающим 1200 долларов в год, для того, чтобы отчитываться перед ответственным помощником управления и помогать тебе в исполнении обязанностей, возложенных на тебя этими инструкциями...

Ты подготовишь годовой отчет начальнику, стоящему над твоим исследовательским отделом, и можешь выдвигать такие предложения и проводить такие исследования, которые только могут понадобиться.²¹

В структуре Береговой службы помощник подчинялся только директору; таким образом, эти инструкции означали, что до тех пор, пока

¹⁹ CSP to MFP, 17 December 1871, Mitarachi.

²⁰ BP to Secretary of Treasury, 8 April 1872, NA, CGS, Appointment Division Correspondence, 1860–1891.

²¹ BP to CSP, 30 November 1872; CSP to BP, 28 November 1872, NA, CGS, Assts., 1866–1875.

его отец сохранял свое влияние в Береговой службе, Чарльз был защищен от последствий любых необдуманных поступков, а также зависти и негодования своих коллег. Как писал Мюррей Мерфи об этой политике, «никто и никогда не сомневался в блеске Чарльза Пирса — он заслужил признание собственными способностями: но поскольку он был сыном своего отца, он не был высокого мнения о других. Потакание ему должно было принести горькие плоды»²². При назначении на должность Пирс был слабо знаком с геодезией и гравиметрическими исследованиями. Береговая служба должна была выделить значительные средства и время, чтобы подготовить его в этой области.

Пока Пирс-старший оставался директором, большую часть времени он проводил в Кембридже, занимая должность профессора математики. Ему нужен был человек в Вашингтоне, который мог бы действовать в роли его доверенного лица, а также здраво оценивать положение вещей. Обычно с этой задачей справлялся Джулиус Хилгард, его ответственный помощник в вашингтонском управлении, который рассчитывал стать преемником Пирса-старшего на должности директора, так что временное назначение своего сына на эту должность позволило Бенджамину получить, хоть и не надолго, полностью лояльного и проницательного шпиона в управлении. Очевидным преимуществом назначения Чарльза было то, что оно позволило ему получить доскональное знание об управленческой работе и внутренней политике Береговой службы, что, естественно, значительно облегчало перевод его на должность ответственного помощника по проведению гравиметрических исследований. Но у таких назначений была и дурная сторона. Они явно свидетельствовали о семейственности, и назначение Чарльза ответственным за маятниковые эксперименты потребовало отстранения ученого, который занимался ими в то время, Чарльза А. Шотта, что вызвало зависть и негодование, впоследствии повредившие положению Пирса в Береговой службе. То, что Пирс сознавал эту опасность, видно из его записки отцу: «Я смогу избежать злобы со стороны Шотта, если мне удастся обсуждать дела и консультироваться с ним [,] но в любом случае мне бы хотелось этого, поскольку, мне кажется, это важно для моей репутации и для моего увлечения астрономией»²³.

После нового назначения Пирс вынужден был оставить свою должность помощника в Гарвардской обсерватории (хотя он числился в ее списках до конца 1875 года), однако, поскольку для завершения фотометрических исследований нужен был, по крайней мере, еще один год, он

²² Murphey, 19.

²³ CSP to BP, 8 December 1871, NA, CGS, Assts., 1866–1875.

на словах договорился с директором, Джозефом Уинлоком, о том, что он продолжит работу до тех пор, пока она не будет завершена, а результаты ее опубликованы²⁴. После скоропостижной смерти Уинлока в июне 1875 года Пирс продолжил свои занятия, не сообщив об этом Элиоту, как будто прежняя договоренность была в силе, что и привело к возникновению серьезного конфликта между ним и Элиотом²⁵.

Одновременно с его назначением ответственным за проведение гравиметрических исследований Пирс вместе с Зиной перебрался в Вашингтон. Уильям Джеймс писал в письме своему брату, что Пирса «там высоко ценили, а здесь [в Кембридже] только терпели, и он был бы дураком, если бы не поехал туда»²⁶. Но Вашингтон — это не Кембридж. Здания в нем были по большей части старыми и деревянными, а правительственные учреждения располагались хаотично, причем не все из них были достроены до конца. В городе было полно салунов, притонов, меблированных комнат и других низменных дополнений политики. По описанию, сделанному несколькими годами ранее конгрессменом из Огайо, Вашингтон был

невероятно отвратительным, хаотичным, промозглым городом, раскинувшимся вдоль левого берега желтой реки Потомак. Пенсильвания-авеню... уныло тянулась целую милю от недостроенного Капитолия до недостроенного здания министерства финансов на Пятнадцатой улице, где она поворачивала на север к площади и продолжала свой грустный путь до Джорджтауна. Она была единственной мощеной улицей в городе... Как можно догадаться, Столица Республики была еще более зловонной, чем старинный Кельн в описании поэта Кольриджа. Еще был открытый канал, соединяющий Чесапикский залив и Огайо и тянущийся от Рок-крик до Анакосты, где плодилась малярия, головастики и москиты... В политическом отношении город — местное население — был очень южным, почти как Ричмонд или Балтимор.²⁷

Зина полностью осудила это место и написала статью, опубликованную в *Atlantic Monthly*, «Лики Вашингтона», где призывала правительство взяться за запущенное уродство города²⁸. Она старалась проводить впус- тую как можно меньше времени, оставив мужа наедине со своими прибо-

²⁴ CSP to CWE, 2 December 1872, Eliot, HU.

²⁵ JW to CSP and CWE, 18 July 1870–11 June 1875; CSP to JW, 2 February 1873, Winlock, HU.

²⁶ WJ to HJ, 24 November 1872, James, HU.

²⁷ Agar, 410.

²⁸ Melusina Fay Peirce, «The Externals of Washington», *Atlantic Monthly* (December 1873): 701–16.

рами, и заниматься собственными делами. Поначалу дела у них складывались хорошо, как писала Сара своему сыну Джему:

Это новая бумага Чарли, которой он очень гордится... [официальная почтовая бумага Береговой службы с тиснением]. Он показал мне свой рабочий кабинет и прочел написанное им по логике, причем моему «неподготовленному слуху» показалось, что начал он неплохо. Ты это читал? Он тебе это высылал?.. Думаю, я никогда не видела, чтобы Чарли выглядел лучше или казался более счастливым, и оба они весьма довольны своей жизнью здесь... Ни одно воскресенье за городом не может быть тише, чем здесь сегодня. Ни шороха, ни ветерка...²⁹

До августа 1873 года Пирс занимался главным образом предварительным изучением теоретических и практических проблем геодезии и гравиметрии. Даже когда он и Зина были вместе, свое свободное время он тратил на работу. При случае он вел наблюдение за двойными звездами, проводил фотометрические исследования и работал над книгой по логике. Измерения гравитации имеют большое практическое значение для точного измерения Земли, поскольку различия в силе тяжести связаны с расстоянием земной поверхности от центра земного сфероида и способствуют установлению расстояния от данной точки земной поверхности до ее центра с высокой точностью, а все множество таких измерений дает точную модель формы Земли и тем самым увеличивает точность полевой съемки. Методом, использовавшимся для проведения таких измерений (и используемым и по сей день), было качание маятников. Принцип действия связан с промежутком времени, за который данный маятник в данном месте и на данной высоте описывает полную дугу. При сравнении с теми же данными для того же маятника, размещенного в другом месте и на другой высоте, появляется математическое различие, которое может использоваться с гравитационной постоянной для определения расстояния маятника от центра земли. Поскольку математическое различие всегда очень мало, а такие переменные, как атмосферное давление, температура, допустимое отклонение в механических соединениях маятника и прогиб опоры маятника, могут привести к большему проценту ошибки, чем само гравитационное различие, методики, используемые при измерении силы тяжести, явно нуждаются в необычайно тонких технических приемах³⁰.

Приступая к изучению гравиметрии, второстепенной дисциплины геодезии, Пирс, по-видимому, не понимал того, что самым важным в ней

²⁹ SMP to JMP, 19 May 1872, CSPP, HU.

³⁰ Victor F. Lenzen and Robert P. Multhauf, 301–348.

было совершенствование технических приемов измерения, и потому вскоре зашел в тупик. Поскольку во всех науках его интересовали главным образом их логика и метод и лишь в минимальной степени их технические тонкости, его интерес к гравиметрии спустя несколько лет заметно сократился. Он быстро расширил область своих исследований, включив в них теорию ошибок при наблюдении, логику и математику измерения и другие, более интересные проблемы, связанные с гравиметрией, но Береговая служба зачастую выступала против проведения исследований в этих оригинальных направлениях и постоянно требовала от него «результатов». Еще более угрожающей была нудная работа, связанная со сведением тысяч результатов от колебаний маятника к одному единственному значению. Причем на протяжении всех тридцати лет работы Пирса в Береговой службе этими вычислениями занимался человек, а не машина. Хотя у Пирса были помощники, основную часть работы, а также всю проверку результатов вынужден был делать он сам. Для человека, чьи интересы на самом деле лежали в более свободной атмосфере логики всех наук, эта сторона гравиметрии была угнетающей.

В августе 1873 года Пирс начал свои эксперименты по измерению силы тяжести на горе Хусак и в шахтах хусакского железнодорожного туннеля близ Северного Адамса, штат Массачусетс. Многочисленные задержки были связаны с проведением взрывных работ в туннеле и неопытностью, причем не только его самого, но и американских изготовителей приборов, устройство которых не было достаточно совершенным, чтобы отвечать требованиям гравиметрии. Из-за этих задержек весной 1874 года вновь пришлось вернуться на Хусак для завершения первой части экспериментов. Помимо проблем, связанных с нехваткой научных знаний и опыта, Пирс страдал от собственной неискушенности и неумения тактично обращаться со своими подчиненными, многие из которых ушли от него; Генри Фаркуар, долгие годы проводивший для него необходимые вычисления, позднее свидетельствовал против него перед Конгрессом в 1885 году. Зина жаловалась на суровую лагерную жизнь, которую им приходилось вести из-за неудачного месторасположения туннеля, и на втором году они сняли жилье в близлежащей деревне. При качании маятников, продолжавшемся двадцать четыре часа в сутки, всегда должен был присутствовать кто-то, кто выполнял бы скучную, но сложную и ответственную работу по измерению времени качания. Поскольку в проведении экспериментов зачастую участвовало только три и никогда не бывало больше четырех человек, смены длились по восемь, а иногда и по двенадцать часов. Один из этих двух человек, помогавших Пирсу, постоянно уклонялся от исполнения своих обязанностей, вследствие чего Пирс вынужден был его уволить. Таким образом, Пирсу не хватало рабочих рук,

и ему самому приходилось работать по две смены, что вело к серьезному переутомлению и болезни³¹.

Весной 1874 года Пирс-старший порвал со своей двойной жизнью и ушел с должности директора Береговой службы, став ее «консультирующим геометром». Таким образом, он мог сохранить свое влияние в ней, избежав бремени управленческих обязанностей. Все важные решения в Береговой службе, в том числе те, что касались Чарльза, по-прежнему принимал он. Новым директором стал Карлайл П. Паттерсон, капитан военно-морского флота, много лет проработавший в Береговой службе, который не предпринимал никаких действий, не посоветовавшись с Бенджамином (он обращался к нему: «Дорогой мой начальник»)³². Бенджамин поддержал назначение Паттерсона вместо Джулиуса Хилгарда, рассчитывавшего занять эту должность. Обида Хилгарда впоследствии заставила Чарльза уйти из Береговой службы и из Университета Джона Хопкинса. По описанию, которая оставила Сара во время отставки своего мужа:

Служащие сожалеют о замене, за исключением ликующего капитана Паттерсона, который очень уверенно взялся за дело, хотя все без исключения испытывают к нему неприязнь. Что же до бедного Хилгарда, то он горько разочарован, поскольку он все время с нетерпением ожидал, что после ухода Бена директором станет он сам.³³

В конце 1874 года Пирс-старший и Паттерсон решили, что Чарльзу хотя бы год следует провести в Европе, чтобы привести геодезию в Соединенных Штатах к европейским стандартам³⁴. Но перед отъездом Пирсов в Европу в апреле 1875 года, где Чарльз должен был изучить европейские методы гравиметрических исследований, Зина сообщила ему и его родителям о своих подозрениях насчет того, что у него был роман во время ее отсутствия. Объектом ее ревности стала, в частности, привлекательная жена капитана Брэдфорда из Береговой службы. Мать Чарльза написала невестке о своей неохотной и неоднозначной встрече с миссис Брэдфорд:

Миссис Брэдфорд удивительно кстати оказалась у себя дома. Думаю, близость между ней и Чарли была невинной и просто дружеской. Я с тревогой следила за их общением, поскольку я знала, как переживает Зина, и я уверена, что все в порядке. У нее действительно довольно свободные манеры, но все совершенно невинно. Она целует Бена и берет его за руку, и, хотя

³¹ CSP and CGS, 23 August 1873–20 October 1874, NA, CGS, Assts., 1866–1875.

³² CPP to BP, 13 April 1875, CSPP, HU.

³³ SMP to CEP, [February] 1874, CSPP, HU.

³⁴ Victor F. Lenzen and Robert P. Multhauf, 301–348.

она обращается *так развязно* и с Чарли, она все же поступает с ним весьма бесцеремонно и, кажется, во многом благодаря тому, что он сам ей это позволяет. Конечно, они оказывают друг другу множество знаков внимания, но ими, по-видимому, все и ограничивается, поскольку ее муж сейчас далеко, а Чарли с ним очень близок. Чарли, конечно, не зайдет слишком далеко, и он сказал мне, что он спрашивал госпожу Трокмортон, безупречную леди, не считает ли она его отношения с миссис Б. слишком близкими, и она уверила его, что в них нет ничего предосудительного. Мне хочется, чтобы Зина взглянула на это иначе, потому что миссис Б. — одна из немногих его близких знакомых, и Чарли было бы жаль, если бы он больше не слышал ее щебетания. Она во многом похожа на такую женщину, как миссис [Джозеф] Ле Конт, но менее талантлива. Совершенная южанка.³⁵

Большую часть зимы 1873–1874 года Зина провела в Кембридже со своими родителями. Она поделилась впечатлениями о своем браке с сестрой Эми, в том числе и мнением о том, что Чарльз ее больше не любит и что она, возможно, оставит его. Аткинсон полагает, что в этом браке все обстояло совсем плохо, если Зина думала о расставании, так как она была абсолютной противницей развода. Аткинсон ссылается на ее крайние взгляды в вопросах прелюбодеяния и развода:

Великий Творец вверил моногамному браку *передачу человеческой души*, поэтому прелюбодеяние — это не только нарушение самого сокровенного и священного соглашения в мире, но также предательство и разложение *самого источника жизни* — и, следовательно, предательство грядущего, будущего, еще не рожденного потомства, общества и расы. Поэтому подходящим наказанием за него должен быть не развод, а смерть или пожизненное заключение.³⁶

Несмотря на свои глубокие подозрения, Зина сопровождала своего мужа и его помощника, Фаркуара, во время поездки в Европу в 1875 году. Тогда же Чарльз и встретил Уильяма Апштона, издателя *Popular Science Monthly*:

Неторопливое плавание позволяло пассажирам познакомиться и даже подружиться друг с другом. Мистер Апштон и я взяли за обыкновение прогуливаться по палубе, а я рассказывал ему о своих исследованиях природы научного рассуждения... Он предложил мне неплохую кругленькую сумму за несколько статей для *Popular Science Monthly*.³⁷

³⁵ SMP to CEP, 25 December 1874, CSPP, HU.

³⁶ Atkinson, 138–139.

³⁷ MS 771, цит. по: Fisch, PSP, 125.

Чарльз и Зина сошли на берег в Ливерпуле в середине апреля и потратили всю следующую неделю на осмотр достопримечательностей, причем жили они на широкую ногу, что вскоре привело к финансовым сложностям, а расточительность стала большой проблемой. Пирс обсуждал геодезию с многими британскими учеными, включая известного физика Джеймса Клерка Максвелла из Кембриджа, который согласился с его взглядами относительно свойств сопротивления, действующего на маятники. У него также были сомнения насчет изготовителей приборов, и после проволочек, связанных с английской неторопливостью, он провел в Обсерватории Кью качание маятника Береговой службы США, чтобы сравнить замеры, сделанные здесь, с замерами, сделанными в Соединенных Штатах. Из письма директора Паттерсона его отец узнал, что тот получил «самое интересное и “содержательное” письмо от Чарли — прекрасного представителя молодой Америки, ни в чем не уступающего Клерку Максвеллу и другим англичанам»³⁸. Он также беседовал с великим математиком Уильямом Кингдоном Клиффордом о логике относительных и своей будущей книге по этой теме, чем произвел на него большое впечатление.

В июне он узнал о смерти друга отца и своего покровителя, Джозефа Уинлока, директора Гарвардской обсерватории; позднее он писал своей матери: «Я ничего не писал с того дня, как услышал об этом; я заболел (отчасти и из-за этой новости), и по причине своей слабости (а эмоции вызывали слабость физическую) мне нужно было несколько дней отлежаться»³⁹. Через пять дней после смерти Уинлока Бенджамин телеграфировал Паттерсону, что он поддержал кандидатуру Хилгарда. В тот же день он написал ему частное письмо:

Я хочу, чтобы вы написали ректору Элиоту и рекомендовали Чарльза С. Пирса как человека, подходящего для руководства обсерваторией. Я хочу, чтобы вы особенно отметили деловитость, с которой он руководил управлением в отсутствие Хилгарда... Надеюсь, вы все сделаете правильно.⁴⁰

Ответ Паттерсона не заставил себя долго ждать:

Да, я с большим удовольствием сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь Чарли получить должность, которая позволит ему явить себя миру во всем ослепительном блеске металла, что содержится в нем.

³⁸ CPP to BP, 24 May 1875, CSPP, HU.

³⁹ CSP to SMP, 7 August 1875, цит. по: Atkinson, 131.

⁴⁰ BP to CPP, 11 June 1875, NA, CGS, Private Correspondence, 1874–1877.

В приложении высылаю письмо ректору Элиоту. Если оно не подходит по форме, «пригладь его», как говорил старый добрый медведь молодому, и я его перепишу. Если назначат Чарли, что мы будет делать с гравитацией?... Полагаю, кандидатом — и весьма серьезным — будет Ньюкомб...

Он продолжил десять дней спустя:

Полагаю, что точка зрения профессора [Джозефа] Генри [руководителя Смитсоновского института] относительно преемника в Военно-морской обсерватории может побудить Ньюкомба остаться там, и тем самым делает возможным назначение Ч. С. П. в Гарвард. Я полагаю, что из них двоих последний обладает большей незаурядностью и творческой энергией, имеет в своем распоряжении столь же значительные математические средства, как и первый, и является лучшим наблюдателем. Такое место не самое лучшее из возможных для применения выдающихся способностей Чарли, но от него один шаг до лучшего, а то место, которое он занимает сейчас, отстоит от него на два шага.⁴¹

После этого Элиот и Гарвардская ассоциация какое-то время рассматривали вопрос о том, кем заменить Уинлока — Хилгардом или Чарльзом. (В 1877 году они избрали вместо них Эдварда К. Пикеринга, который какое-то время работал ассистентом в Обсерватории. Ньюкомб предпочел остаться в «Морском альманахе»). В ноябре в своем письме из Парижа Пирс сообщал Джеймсу о весьма неоднозначном отношении к этим махинациям:

Вы очень добры, желая моего возвращения в Кембридж. Не знаю, буду ли я в нем когда-нибудь жить. Я люблю его, но в нем есть нечто такое, что мне претит. Когда-то я хотел стать тамошним профессором, но со временем это желание прошло. Зачем мне переходить на такую должность, почти унижительную для меня (зачем мне быть человеком Чарли Элиота, когда у меня уже есть должность, на которой я уже занимаюсь настоящей исследовательской работой и даже свои обязанности воспринимаю с удовольствием), если я легко могу обойтись и без нее, как было в случае с колледжем. Что касается обсерватории, работу в ней я считаю самой неблагоприятной, когда совершенно механическая рутинная сочетается с неприятными дразнами с отдельными членами комитета и ректором. Уинлок был очарователен. Мне удалось избежать всего этого, потому что моя книга о фотометрических исследованиях не вышла, а они сразу после смерти Уинлока попытались привязаться ко мне, но, к счастью, я слишком далеко.

⁴¹ CPP to BR, 19 and 29 June 1875, CSPP, HU.

Но не подумайте, что я не чувствую самой теплой благодарности к Вам и моим друзьям, которые хотят, чтобы я занял должность в обсерватории. Я не знаю, решился ли бы я от нее отказаться, хотя в целом она не кажется мне желанной. Но я всегда говорю излишне жестко, когда думаю об Элиоте⁴².

Из Англии Зина, Чарльз и Фаркуар сначала приехали в Гамбург, чтобы получить оборотный маятник Бесселя, заказанный двумя годами ранее у «А. К. Репсольда и сыновей», а затем в Берлин, где Зина навестила свою сестру Эми, учившуюся там музыке. Чарльз несколько раз встречался с генерал-лейтенантом Иоганном Якобом Байером, основателем и ректором Королевского прусского геодезического института, сомневающимся в устойчивости опоры Репсольда. В октябре Пирс прибыл в Женеву, где он договорился с профессором Эмилем Плантамуром, директором Женевского института, об испытании своего нового маятника и, помимо проведения обычных мероприятий, монтировании и измерении прогиба опоры, в которой сомневался Байер. В сентябре он создал довольно прочную основу для проведения работ в Париже. Сразу по прибытии он посетил заседание постоянной комиссии Международного геодезического общества и сообщил об открытиях, сделанных им в Женеве ее специальному комитету по маятникам, став тем самым одним из немногих американцев того времени, принявших непосредственное участие в дискуссиях международного научного общества⁴³.

Несмотря на то, что прошло уже полгода, Пирс все еще не отчитался перед Вашингтоном о своих расходах и начал беспокоиться о том, что может оказаться в серьезных долгах. Из-за постоянных разъездов счета стали настолько запутанными, что он уже не мог представить их в соответствии с инструкциями. Положение осложнялось еще и тем, что Пирс не знал, из чего ему исходить при составлении отчетов – валютного курса золота или бумажных денег; выбор в ту или иную сторону мог изменить сумму имевшихся в его распоряжении средств на четверть. Еще больше усугубив свое положение, он открыл счета у двух банкиров, которые были уполномочены на получение средств от Береговой службы. И, наконец, покидая Соединенные Штаты, Пирс забыл оставить управлению Береговой службы адрес, по которому следовало пересылать письма, а позднее дал адрес того места, где он задержался лишь на короткое время, вследствие чего он стал недостижимым для управления. Каждый месяц директору Паттерсону приходили все более безумные письма от Пирса, но связаться

⁴² CSP to WJ, 21 November 1875, James, HU.

⁴³ CSP to CPP, 23 September 1875, N A, COS, Private Correspondence, 1874–1877.

с ним самим никак не удавалось. А потом, поскольку двое банкиров не получили денег по выданным им распискам, они написали его отцу, который, в свою очередь, стал проявлять все более сильную обеспокоенность⁴⁴.

Зина не поехала с Чарльзом в Женеву, как они планировали. В тот же месяц, когда он прибыл в Париж, она, сославшись на болезнь и свои сомнения насчет продолжения их брака, вместе со своей сестрой уехала в Кембридж. Париж, в котором осенью 1875 года Пирс оказался брошенным в одиночестве, находился в самом расцвете одного из своих самых великих, самых необычных и творческих периодов, *fin de siècle*. В том году, не повернутый в уныние поражением от немцев в 1870 году в Седане и их захватом Парижа за один день, или наступившим вслед за ним насилием гражданской войны, когда революционеры Коммуны возвели на улицах баррикады, убили архиепископа и сожгли Тюильри, или скорой и жестокой расправой французской армии, которая либо перебила радикалов, либо отправила их в колониальную ссылку, город открыл ослепительную Парижскую оперу премьерой «Кармен» Жоржа Бизе, которую вполне мог видеть и Пирс, любивший оперу, роскошь и зрелища. На улицах и в салонах, а также в кабаке и кафе, которых насчитывалось более тридцати тысяч, блистало парижское общество. Литература переживала свой расцвет, хорошо приправленный скандалами и идеологическим и концептуальным брожением, возникшим после выхода в 1857 году книги стихов Бодлера «Цветы зла» и романа Гюстава Флобера «Госпожа Бовари». К 1875 году Эмиль Золя уже написал большую часть своих натуралистических романов, Ги де Мопассан занимался полировкой своих литературных сокровищ, а Поль Верлен вслед за Бодлером открыл символистскую поэзию. В 1863 году Эдуард Мане выставил в Салоне отверженных «Олимпию», портрет обнаженной проститутки, чем не только возмутил респектабельную буржуазию, но и положил начало новой эстетике. Выступая в роли критика, Бодлер оказал значительную помощь нонконформистам и таким художникам-импрессионистам, как Клод Моне, Камиль Писсарро и Гюстав Кайботт, которые провели свою первую выставку в 1874 году (за год до посещения Парижа Пирсом), представив на суд зрителей свои новые революционные эксперименты со светом, цветом, формой и содержанием. Париж оказал на него большое влияние. Именно этот удивительный богемный мир привил Пирсу любовь к французским романам и его зрелый стиль денди. Он научился ценить французские вина и по-своему следовал призыву отца совершенствовать свой вкус. Он нанял дорогого сомелье и занимался с ним два месяца, став прекрасным знатоком медокских вин. Возможно, именно парижские впе-

⁴⁴ JMP to CPP, 19 July 1875; BP to CPP, 19 October 1875; NA, CGS, Private Correspondence, 1874–1877.

чатления способствовали его сближению с Жюльеттой, женщиной, отражавшей очарование этого мира. Два года спустя в Нью-Йорке он завязал с ней скандальный роман, а в 1883 году они поженились. Также в Париже он начал придавать окончательную форму идеям, которые через два года были представлены на суд читающей публики в виде «Пояснения к логике науки». В декабре из Нью-Йорка Зина написала большое и примечательное письмо директору Паттерсону, в котором она объясняла причины, заставившие ее оставить своего мужа, и просила его о помощи:

Уважаемый капитан Паттерсон,

Я давно хотела написать Вам и узнать, висят ли наши картины по-прежнему в приемной Береговой службы, где я их оставила, потому что я думаю, что они могли бы сделать комнату, которую мы — я и моя сестра — снимаем, более уютной. На днях я получила грустное письмо от г-на Пирса. Он пишет, что так и не понял, в чем выделяются средства — в золоте или в валюте — и потому тонет в счетах. Я думаю, что здесь какое-то недоразумение, и пишу не для того, чтобы вмешиваться или что-то предлагать, так как это не мое дело, а лишь для того, чтобы сказать, что если Вы сможете написать несколько обнадеживающих слов бедному Чарли, он почувствует себя лучше. Вы благосклонно относитесь к моему дорогому мужу в делах службы, а также давно и искренне дружите с ним и с его отцом, поэтому Вы можете оказать ему хорошую услугу. Не знаю, заметили ли Вы, но я чувствую, что долгое время, которое он провел в пути, не может не завершиться разочарованием, если не унижением. Его родители и брат [Джем] совершенно не способны увидеть, что с одним из их детей что-то не так и поэтому он никогда ни от кого не получал советов или предостережений, кроме как от меня, а на них жены и мужа, как известно, обычно смотрят сквозь пальцы. Наконец, решила оставить его и вернуться домой без него, дав ему понять, что, если он не изменится, я не смогу с ним жить и дальше.... У Чарли есть одна черта, которой, к несчастью, никогда не пользовался ни один из его начальников, — это его повиновение тому, что он считает *законом*. При его характере большой бедой было то, что его отец пользовался таким влиянием в Береговой службе, что ему не нужно было относиться к нему так же строго, как к другим служащим (по крайней мере, так я могу судить со своей ограниченной точки зрения). Кажется, будто с самого детства все сговорились испортить его снисходительностью. Я не предлагаю и не советую начать вдруг затягивать гайки, которые, возможно, были слишком ослаблены, но я смею надеяться, что Ваше серьезное и благосклонное письмо заставит его больше сосредоточиться на выполнении своих обязательств перед Береговой службой, семьей, собственными талантами, Творцом и придаст ему большую уве-

ренность в том, что касается его способностей, и *только* если он во всем станет действовать разумно, осторожно и осмотрительно, вместо своего обычного безрассудства и расточительности, ему станет значительно лучше. Он должен сам взяться за дело, а не сходить на следующей станции, оставив растерянных подчиненных со всеми этими научными приборами (тогда они, конечно, придут разбитыми и потребуют новых расходов для их замены), и лично позаботиться об их отправке и т. д.

В жизни Чарли сейчас серьезный кризис, и он нуждается в поддержке. Я надеюсь и верю, что Вы поступите благородно и по-отечески мудро с этим блестящим, но странноватым гением, который теперь полностью в Ваших руках. Даже своей сестре я не говорила столько, сколько сказала Вам, и, надеюсь, это останется между нами. Будьте добры к моему Чарли, дорогой капитан Паттерсон, и, прежде всего, отнеситесь к нему с пониманием. Спасем его *вместе...* если сможем... Пожалуйста, *немедленно сожгите* это письмо, и будьте уверены в моем искреннем уважении к Вам. Я благодарна Вам за всю ту доброту, с которой Вы относились к нему в прошлом.

Зина Фэй Пирс⁴⁵

В письме Зины содержится удивительно точный анализ слабостей характера ее мужа. Паттерсон думал так же, положив это письмо в папку, несмотря на просьбу Зины сжечь его, и красноречиво-патриархальный протест Бенджамина Пирса: «Понятно же, что письмо Зины – это проявление ее раздражительности, простим же ей эту несдержанность, ибо таково одно из развлечений женщин. Оно столь же безобидно, как свечечок, и не зажжет самую горячую марлю»⁴⁶.

Хотя он продолжил занятия маятниковыми исследованиями и европейской геодезией, уход Зины поверг Пирса в глубокое уныние. Разобраться с расходами было невозможно, часть приборов была разбита, и в довершение всего Французская Академия продолжала считать его несерьезным американцем, отказываясь предоставить ему лабораторную базу, необходимую для продолжения его маятниковых исследований. В октябре 1875 года его личные средства и кредит подошли к концу, и ему пришлось готовиться к возвращению домой, не завершив исследования. Он писал директору Паттерсону:

Боюсь, что прежде чем это письмо придет к Вам, я должен буду поведать о своем положении нашему министру, находящемуся здесь, и попросить его выделить помощь из его частных средств.

⁴⁵ MFP to CPP, 15 December 1875, N A, COS, Private Correspondence, 1874–1877.

⁴⁶ BP to CPP, 6 January 1876, NA, CGS, Private Correspondence, 1874–1877.

Я честно работал. В течение двух последних месяцев я отдыхал только по воскресеньям. Я завершил целый ряд экспериментов в Женеве, и Международная геодезическая конференция единодушно одобрила мою работу в Европе и пожелала, чтобы она была завершена. У меня действительно руки не доходили до отчетов, но на 1 сентября пришлось самый разгар работы, которую нельзя было прерывать, и я не смог завершить довольно большой отчет о своей деятельности. Убежден, что я полностью выполнил свои обязанности здесь и что мне удалось удержаться от соблазнов путешественника.

Думаю, что было бы ошибкой позволить мне вернуться домой, оставив всю работу в нынешнем состоянии. Но сам я больше не в состоянии ее оплачивать. Я не могу покрыть свои расходы, не зная, как обстоят дела с моими кредитными поручительствами. И потому я вынужден обратиться к Вам, чтобы получить ответ на свой вопрос. Не знаю, почему Вы не ответили на него раньше, но я по-прежнему полностью уверен в Вашем дружеском расположении.⁴⁷

Паттерсон пытался ответить, но сделать ему этого не удалось из-за отсутствия адреса, по которому следовало переправлять письма. Одновременно с письмом от 1 октября Пирс послал телеграмму следующего содержания: «Будут ли расходы партии оплачены золотом? Пирс». Паттерсон ответил: «Расходы – золотом, жалование – валютой. Писал вам 26 июля в Берлин». Через несколько дней телеграфная компания сообщила Паттерсону, что Пирса в Париже найти не удалось. В течение одиннадцати месяцев – с апреля 1875 года, когда Пирс прибыл в Англию, по февраль 1876 года – связаться с ним не удавалось⁴⁸. Кажется невероятным, что Паттерсон так долго не мог с ним связаться, но все было именно так. Останься Зина со своим мужем, она без труда бы решила эту проблему, как уже бывало не раз в подобных обстоятельствах. По-видимому, Пирс не понимал, что Паттерсон должен был отвечать на его безумные послания, и ни разу не подумал о том, чтобы свериться с первоначальной договоренностью или послать Паттерсону новый адрес. Вопросы, связанные с расходами Пирса, окончательно были улажены только год спустя, в феврале 1877 года. Сделать это удалось, выделив Пирсу 2000 долларов на понесенные им дополнительные расходы и заставив его возместить из своего кармана стоимость испорченного оборудования и значительную часть средств, потраченных на тот образ жизни, который он вел. Если верить директору Паттерсону, для улаживания этого вопроса пришлось

⁴⁷ CSP to CPP, 1 October 1875, NA, CGS, Assts., 1866–1875.

⁴⁸ BP to CPP, 3 February 1876, NA, CGS, Private Correspondence, 1874–1877.

прибегнуть к определенным финансовым махинациям⁴⁹. Все это не более чем крайний пример неспособности Пирса решать обыкновенные практические вопросы.

К счастью для Пирса, его друг Уильям Джеймс упомянул о том, что его брат Генри находился в то время в Париже, и Пирс писал, что его «присутствие здесь очень важно для меня, поскольку я одинок и крайне подавлен»⁵⁰. Генри рассказывал брату, что видел

Чарльза Пирса, прекрасно одетого и т. д. Он занимается качанием маятника в обсерватории и думает, что парижские ученые его игнорируют. Мы встречаемся каждые два-три дня, чтобы пообедать вместе; и хотя нам обоим приятно, наша симпатия скорее материальная, чем интеллектуальная.⁵¹

Переписка между братьями не прекращалась, и Уильям давал кое-какие советы о том, как следовало обращаться с его неуживчивым другом:

Удивлен, что ты попал в лапы Ч. С. Пирса, которого, я думаю, ты считаешь довольно неподходящим компаньоном, тяжелым и колючим, но для нормального общения с ним его нужно хорошенько «выпороть»: стой на своем, перечь ему, упрямясь, подшучивай над ним, и тогда он станет таким же приятным, как и все остальные; но если ты испытываешь благоговейный страх перед его сентенциозной манерой речи и его парадоксальными и малопонятными заявлениями, если задумаешься об этом, то ты никогда не будешь чувствовать себя с ним непринужденно, как это было со мной до тех пор, пока я не стал относиться к нему более или менее иронично. Признаюсь, я люблю его, несмотря на все его странности, потому что он — гениальный человек и в нем есть нечто, способное вызывать симпатию у любого.⁵²

Знакомство Пирса и Генри Джеймса продолжилось с перерывами и в следующем году; Генри писал своему брату, что он встречал

немного людей, с которыми был бы так близок... Кстати о «близости» — Чарльз Пирс уехал на неделю в Берлин. Мать говорит, что моя близость с ним тебя «здорово» веселит. Но за последние два месяца никакой близости не было, я почти не виделся с ним. Он очень хороший товарищ,

⁴⁹ CPP to BP, 6 February 1877, CSPP, HU.

⁵⁰ CSP to WJ, 21 November 1875, James, HU.

⁵¹ HJ to WJ, 3 December 1875, James, HU.

⁵² WJ to HJ, 12 December 1875, James, HU.

и нужно ценить его умственные способности, но у него почти совсем отсутствует дар общения, ему трудно быть милым с другими. Но здесь он вел одинокое и тоскливое существование и, я думаю, ненавидел Париж. Я делал все, что было в моих силах, чтобы составить ему компанию.⁵³

В письме, где описывается их последняя встреча, в июле 1876 года, Генри говорит, видимо, следуя совету своего брата, что несколько раз встречался с Пирсом

и наслаждался его отличным глубоким умом, отражавшимся в его горящих глазах. Наверное, это тебя развеселит, но он страстный поклонник «Родерика Хадсона»: расположение, которое мне льстит. Он написал мне об этом несколько дней тому назад из Обсерватории Кью в Ричмонде, где он, кажется, живет, — очаровательное место.⁵⁴

Со своей стороны, Пирс писал Уильяму:

Часто встречаю твоего брата. Он прекрасный товарищ. Я очень восхищаюсь им и нашел в нем только два недостатка. Один заключается в том, что он со всем спорит, а другой — в том, что он, в отличие от меня, не любит долго рассматривать вопрос со всех сторон, а стремится покончить с ними. Черта, конечно, мужественная, но не философская. Он выглядит лучше, чем когда только приехал, и Париж — это место для него; он и Париж созданы друг для друга.⁵⁵

Уже в этой неразберихе Чарльз получил письмо от своего отца, где тот сообщал ему, что Уильям Джеймс в ноябре отрекомендовал его ректору созданного в этом году Университета Джона Хопкинса Дэниелу Койту Гилмэну в качестве лучшего ума страны после скончавшегося Чонси Райта⁵⁶. Пирса уже посоветовали на роль преемника Уинлока в Гарвардской обсерватории. Пирс сразу написал ответ своему другу Джеймсу, объяснив, насколько его порадовала эта возможность заняться философией, которая была единственным, что его по-настоящему интересовало:

Я узнал от своего отца, что ты написал превосходное письмо ректору Балтиморского университета, предложив меня на должность профессора логики, и интересовался, готов ли я согласиться.

На этот вопрос невозможно ответить, исходя из той информации, которой я обладаю. Мне неизвестны условия.

⁵³ HJ to WJ, 14 March 1876, James, HU.

⁵⁴ Ibid., 4 July 1876, James, HU.

⁵⁵ CSP to WJ, 16 December 1875, James, HU.

⁵⁶ WJ to DCG, 25 November 1876, Gilman, JHU.

Мое место в Береговой службе меня устраивает. У меня большие сложности с исследованием качания маятника, и Дядя Сэм потратил кучу денег на мое обучение. Это очень сложное занятие. Не знаю, смогу ли я достойно уйти сейчас из Береговой службы. Думаю, что именно сейчас я не смогу.

С другой стороны, полагаю, что в должности профессора логики я смог бы проявить свои лучшие способности, которые никогда не удастся применить где бы то ни было. В другом месте, в обсерватории или где-то еще, я всегда буду посредственностью, что не сильно меня тревожит. Хотя я не сомневаюсь, что на кафедре логики я получу определенную известность и оставлю после себя определенные идеи, которые, в конечном итоге, окажутся весьма полезными. Мне не очень понятно, чем я должен заниматься. Но если в ближайшее время я не сменю свою профессию, я не сменю ее никогда. Вообще, пусть этот вопрос решит моя жена, ведь она человек практический⁵⁷.

Несмотря на эту неуверенность, желание принять участие в университетской жизни тогда едва не возобладало в нем. Если бы он не был прекрасно осведомлен о том, что жена обвиняла его в безответственности во время работы в Береговой службе, и не надеялся укрепить свой ослабший брак, он мог бы присоединиться к Университету Джона Хопкинса уже в 1876 году, а не три года спустя.

В январе 1876 года директор Паттерсон написал письмо, которого от него добивалась Зина, и оно заставило Пирса вспомнить о своих обязательствах перед Береговой службой. Он написал Паттерсону, что, хотя его рекомендовали в Университет Джона Хопкинса, он не станет рассматривать предложение; но он всерьез предложил назначить его редактором монументального пятитомного «Исследования по определению силы тяжести», которое так и не было завершено⁵⁸. Предложенный Пирсом проект понравился и Паттерсону, и его отцу, и был утвержден еще до того, как Пирс покинул Париж, перебравшись в Берлин.

В мае 1876 года Пирс перенес серьезное нервное расстройство, основным симптомом которого был временный, но полный паралич. Расстройство это, в сочетании с его безответственностью, излишней чувствительностью и склонностью пасовать перед трудностями, указывает на то, что Пирс перенес приступ конверсионной истерии, основным симптомом которой и является полный паралич⁵⁹. Болезнь была не орга-

⁵⁷ CSP to WJ, 16 December 1875, James, HU.

⁵⁸ CSP to CPP, 13 January 1876, NA, CGS, Assts. N-Z, 1876.

⁵⁹ Arieti, 272.

нической, а психосоматической. Жертва, неспособная сопротивляться, впадает в полное физическое бессилие. В июле Бенджамин писал Паттерсону, что Чарльз «испытал очень странный и неожиданный приступ — у него не было сил пошевелиться. [Сейчас] его здоровье, кажется, пошло на поправку, хотя у него был еще один приступ *обездвиженности*»⁶⁰. Согласно описанию Чарльза, эти приступы сопровождались «высокой чувствительностью и мышечными сокращениями», что также симптоматично⁶¹. Такого рода приступы случались дважды в 1876 году, один раз в 1877 году и один раз в 1879 году. В 1880 году он добровольно прошел курс лечения от возможного безумия, а позднее он также страдал от фуг⁶², о трех случаях которых он рассказал Джеймсу в 1904 году⁶³. В то же самое время он не переставал страдать от резкой смены настроения и сильной боли от лицевой невралгии.

Вероятно, если принять во внимание его крайне эмоциональный и импульсивный характер, Пирс был подвержен конверсионной истерии. Напряжение было высоким. Он был один, в чужой стране, всеми силами стараясь соответствовать своей блестящей репутации и сохранить репутацию своего отца и Паттерсона, убеждая ведущих европейских геодезистов в своих способностях, что само по себе было крайне трудным, если не донкихотским предприятием. Помимо работы в Береговой службе, он проводил важное исследование, которое должно было составить основную часть его «Фотометрических исследований». Он никак не мог разобраться с расходами и много задолжал двум банкам, отчасти из-за своей расточительности и небрежного отношения к приборам. Его выдвигали на две должности, директора Гарвардской обсерватории и профессора логики в Университете Джона Хопкинса, весьма привлекательные для него, но, несмотря на его заявления об обратном, все портила его преданность Береговой службе. И последним ударом было то, что жена, от которой он очень сильно зависел в эмоциональном отношении, оставила его.

Реакцией Бенджамина Пирса на болезнь сына стали обвинения в адрес Зины в том, что она бросила его в Европе, и призывы вернуться к нему.

⁶⁰ BP to CPP, July 1876, NA, CGS, Private Correspondence, 1874–1877.

⁶¹ CSP to CPP, 6 July 1876, NA, CGS, Assts. N-Z, 1876.

⁶² Фуга — диссоциативное расстройство личности, при котором индивид оставляет прежние место проживания и работу и принимает новую идентичность, будучи не в состоянии вспомнить прежнюю. Подобное расстройство встречается крайне редко и возникает под воздействием стресса, а выздоровление происходит так же быстро и неожиданно, как и само возникновение фуги. —

Прим. перев.

⁶³ CSP to WJ, 1 April and 17 December 1904, James, HU.

В середине июля Пирс уже был достаточно здоров, чтобы продолжить работу и начать подготовку к возвращению в Соединенные Штаты. Хотя врач, который наблюдал его во время первого приступа, во всем винил переутомление, в больших письмах к Паттерсону и своему отцу Пирс утверждал, что то, что он называл своей «болезнью нервов», было результатом не столько переутомления, сколько разрыва с женой⁶⁴.

Считая эмоциональное напряжение причиной своего психического расстройства, Пирс придавал особое значение своей психической неустойчивости, преследовавшей его всю жизнь. Его семья, после некоторых размышлений, возложила вину за его психическое расстройство на чрезмерное употребление алкоголя, обвинение, которое сам Пирс отвергал категорически.

8 августа 1876 года по настоянию отца Чарльз и Зина отбыли в Бостон, чтобы отдохнуть и поправить здоровье. Некоторые исследования остались незавершенными, но в целом он был удовлетворен результатами и убежден в успехе своей экспедиции. Паттерсон и отец были довольны и полны энтузиазма. Он доказал себе и Береговой службе, что он овладел гравиметрической наукой. Он занимался качанием маятника на основных европейских станциях и получил данные, которые связали опыты Береговой службы с качанием маятника с международной геодезической практикой и создали основу для организации первых американских станций. Но самым главным было то, что он, показав, что прогиб опоры маятника был причиной серьезных ошибок при измерении, завоевал внимание и уважение ведущих европейских специалистов в данной области. Паттерсон решил не придавать значения расточительности Пирса; он пришел к выводу, что его поездка по Европе была особенно успешной для репутации Береговой службы, и все факты свидетельствовали о правильности этого вывода.

В новом году положение Пирса почти не улучшилось, к тому же, у него возникли серьезные трения с ректором Гарварда Элиотом относительно публикации его книги «Фотометрические исследования». В ней он впервые предложил использовать относительную яркость в качестве средства для определения приблизительной формы галактики и распределения звезд в ней, основываясь на наблюдениях, которые были сделаны им, когда он работал ассистентом в Обсерватории, и существующих каталогах звездного неба, наподобие тех, что были составлены Птолемеем и Тихо Браге. Пирс придавал особое значение этой публикации, своему первому крупному вкладу в передовые научные исследования, открытию, которое получило благосклонную оценку в Англии со стороны Уильяма Кингдона Клиффорда⁶⁵.

⁶⁴ CSP to BP, 29 July 1876, CSPP, HU.

⁶⁵ *Fortnightly Review* 23 (1875): 788–89.

Отношения Пирса с обсерваторией осложнились за год до смерти директора Уинлока из-за конфликта между Элиотом и Уинлоком. Став ректором Гарварда, Элиот, стремясь поставить под свой контроль весь университет, хотел установить прямое управление и над Обсерваторией, прибегнув за помощью к Береговой службе, во главе которой стоял тогда Бенджамин Пирс. Уинлок, стремясь оставаться как можно более независимым от гарвардской администрации, дал серьезный отпор. Затем Элиот попытался заставить Чарльза Пирса подать в отставку, прекратив выплату жалования, когда он целый год провел в Европе в качестве представителя Береговой службы (и обсерватории) в 1870–1871 годах⁶⁶. Такое поведение убедило Пирса во враждебном отношении к нему со стороны Элиота.

Когда в 1872 году Пирс заступил на должность помощника в Береговой службе, он уволился с поста помощника в обсерватории, но он договорился с Уинлоком о завершении своих фотометрических исследований за 1200 долларов⁶⁷. (Пирс числился в списках обсерватории в качестве ассистента до смерти Уинлока в 1875 году). Ко времени его отъезда в Европу в 1875 году, стало очевидно, что первоначальной суммы будет недостаточно, и тогда Пирс и Уинлок договорились, что обсерватория заплатит Пирсу 500 долларов и выделит ему помощника для сверки текста и просмотра европейской периодики. Также они обсуждали возможность увеличения суммы до 1200 долларов. Уинлок умер, не сказав Элиоту об этом соглашении, а Пирс не позаботился о том, чтобы прояснить с ним этот вопрос. Пирс объяснил свою бездеятельность в письме Паттерсону, сказав, что он не думал, что Элиот «согласится на какие-то предложения относительно их [“Фотометрических исследований”]»⁶⁸. Последующий шестилетний конфликт между ними подорвал профессиональную жизнь Пирса, потому что, как заметил Джеймс, «он сам себе напортил в Гарварде, вызывая неприязнь у Элиота»⁶⁹. Эта ссора также проливает свет на характеры этих двух мужчин и господствовавшую в то время идеологию образования.

С 1870 года до своей смерти Уинлок последовательно поддерживал Пирса в пику Элиоту не только из-за глубокого уважения к Пирсу-старшему и восхищения астрономическими исследованиями Чарльза, но и из-за стремления сохранить свое автономное положение в рамках управленческой структуры университета. Хотя поначалу положение Пирса было достаточно защищенным, он все же стал сомнительной фигурой для Элиота,

⁶⁶ SMP to BP, 22 June 1870, CSPP, HU.

⁶⁷ JW to CSP, 2 February 1873, Winlock, HU.

⁶⁸ CSP to CPP, 7 January 1876, N A, CGS, Private Correspondence, 1874–1877.

⁶⁹ WJ to G. H. Howison, 2 April 1894, цит. по: Perry, vol. 2, 117.

а после смерти Уинлока, пока Пирс был в Европе, наступил двухлетний период, в течение которого не было никого, ответственного за обсерваторию, а потому ни с кем, кроме Элиота, Пирс эти вопросы обсудить не мог. Вместо того чтобы сообщить Элиоту о договоренности, достигнутой между ним и Уинлоком, согласно которой обсерватория должна была оказать ему помощь в публикации его «Фотометрических исследований» в Европе, Пирс промешкал и совершил ошибку, посчитав, что договоренность, о которой Элиот ничего не знал, была все еще в силе. Таким образом, у Элиота появилась возможность, которая была нужна ему, чтобы отказать Пирсу в оказании дальнейшей помощи. Через месяц после смерти Уинлока Пирс писал Артуру Серлю, секретарю обсерватории:

Считаю важной немедленную публикацию фотометрических исследований. Цель их заключается не только в том, чтобы поведать астрономическому миру факты, но и в том, чтобы привить идеи. Если будет достаточно времени, чтобы переварить их прежде, чем в фотометрическом желудке окажется еще что-то важное, то я питаю надежду, что они смогут оказать определенное влияние на нынешние изыскания в этом направлении...

Согласно моей договоренности с профессором Уинлоком, в соответствии с которой ваше письмо призывает меня действовать и дальше, вчера я прибыл в Лейпциг и обратился к Энгельманну, крупнейшему издателю таких вещей в мире, чтобы составить смету расходов на печать фотометрических исследований. Его сын, который является не только профессиональным астрономом, но и на практике знаком с фотометрией, вычитал бы корректуру *con amore*. Смету прилагаю...

Пожалуйста, поставьте вопрос перед правлением обсерватории и телеграфируйте мне через Маккалоха в Лондоне просто «да», если с моим предложением согласны, или добавьте несколько слов, наподобие «стereo» и т. п., если мой план должен быть изменен. Вы говорите, что мистер Элиот хочет печатать все сразу. Так будет намного лучше, к тому же, здесь делают дешевле и быстрее.⁷⁰

Отношения Элиота и Пирса еще более осложнились из-за того, что его так настойчиво рекомендовали сделать преемником Уинлока на посту директора обсерватории. Конечно, Пирс находился в двойственном положении, но когда он узнал, что его кандидатуру без промедления отвергли, он укрепился в убеждении, что враждебно относился к нему только Элиот; он не сознавал глубину неприятия со стороны отдельных членов Гарвардской ассоциации, которое было вызвано отчасти его репутацией атеиста, а отчасти недвусмысленно выраженным неодобрением со стороны семьи

⁷⁰ CSP to Arthur Searle, 17 July 1875, Pickering, HU.

Зины. То, что, по мнению Пирса, было враждебностью со стороны Элиота, на самом деле, скорее всего, было следствием подозрительного отношения, которое сформировалось у него насчет «неуживчивого» характера Пирса за те годы, когда Пирс был его студентом в Лоуренсовской научной школе. Во время склок по поводу издания «Фотометрических исследований» эти подозрения переросли в открытую неприязнь и недоверие.

Со своей стороны, Пирс выказывал презрение к Элиоту, во многом отражавшее нелестные отзывы его отца об умственных способностях Элиота. Другие близкие к Пирсу люди, например Уильям Джеймс, отмечали, что Элиот был назначен ректором, несмотря на «его серьезные личные недостатки, бестактность, назойливость и склонность раздражаться по мелочам...»⁷¹. По мнению Джеймса, высказанному им еще в 1864 году, критерием избрания нового члена гарвардского факультета была, прежде всего, «благонадежность» претендента, ортодоксальность во взглядах. Хотя Чарльз Элиот был первым неκληрикальным ректором Гарварда, неортодоксальность его взглядов ограничивалась лишь принятием ортодоксального социал-дарвинизма. Сократический ум, как, например, у Пирса, наслаждавшийся проверкой любой идеи и последующим спором, к чему бы он ни привел, неизбежно должен был пробудить подозрения у Элиота. В своем панегирике Бенджамину Пирсу Элиот вспоминал тот момент, когда он отказался от самостоятельного мышления:

Однажды на старших курсах, когда, к великому неудовольствию моего соперника за первое место в группе (я был вторым), у профессора Пирса уже вошло в привычку ставить мне самые высокие отметки за все мои замечания по поводу его лекций и прочие занятия, предполагавшие выставление оценок, я рискнул сказать, что то, что он только что рассказал нам о функциях и бесконечно малых переменных, на мой взгляд, было, скорее, отвлеченной теорией или плодом воображения, нежели неоспоримым фактом. Профессор Пирс серьезно посмотрел на меня и мягко заметил: «Элиот, ваша беда в том, что ваш ум устроен скептически. Сдерживайте эту склонность, или она повредит вашей карьере». Мне это показалось неожиданным, потому что я никогда не думал об устройстве своего ума. Диагноз был точен.⁷²

То, что отцу Чарльза пришлось невольнo — и вопреки своему саркастическому намерению — убедить Элиота в том, что скептицизм был нравственным недостатком, нельзя не признать превосходной иронией. В то время, когда ректором Принстонского университета был такой

⁷¹ WJ to HJ, 22 May 1869, цит. по: Perry, vol. 1, 296.

⁷² Archibald, 2.

поборник протестантизма, как Джеймс Маккош, а точные его копии возглавляли почти все американские колледжи; когда изучение религии, логики, этики, истории, естественных наук и философии старательно ограничивалось «благонадежными» курсами и преподавателями, «колючий» Пирс действительно был невозможным коллегой для Элиота и ему подобных. В этом он был такой же жертвой своего времени, как Чонси Райт, Джон Фиск, Фрэнсис Эббот и другие. Профессорство Уильяма Джеймса в Гарварде можно объяснить только его выдающимися личными качествами, но при назначении даже такой удивительной личности значительную роль сыграли его занятия медициной в Германии. Итак, помимо личных недостатков, справедливо отмеченных ректором Элиотом, действительную обеспокоенность вызывало упорное стремление Пирса к истине, не принимающее в расчет традиционные святыни.

Склока по поводу издания «Фотометрических исследований», безусловно, способствовала превращению подозрительного отношения Элиота к Пирсу в открытую неприязнь. В январе 1877 года Эдвард К. Пикеринг, который работал ассистентом в обсерватории и был знаком с Пирсом уже по крайней мере десять лет, был назначен директором обсерватории. Пирс тотчас же обратился к нему с просьбой о встрече в надежде уладить сложности с жалованием и публикацией. Отчитываясь Элиоту о встрече, Пикеринг весьма высоко оценил работу Пирса. Он говорил, что, будь Уинлок жив, он наверняка бы согласился выделить Пирсу для завершения работы еще 1200 долларов, но сам Пикеринг не считал это возможным из-за нехватки денежных средств у обсерватории⁷³. Потом Пикеринг предложил Пирсу небольшую сумму из средств обсерватории и пообещал попробовать добыть еще денег в Румфордском комитете. В ответ Пирс грубо дал понять, что он чувствует себя обманутым. Возможно, необоснованные подозрения Пирса были вызваны не столько осознанием денежных потерь, сколько раздутыми Элиотом сомнениями в его профессиональной компетентности. Тогда Пикеринг предложил Пирсу прекратить работу над «Фотометрическими исследованиями». Пирс обратился к Элиоту: «Издание моих “Фотометрических исследований” задержано на долгое время из-за моей неспособности спокойно договориться с профессором Пикерингом об их продолжении», обвинение, не соответствующее действительности⁷⁴. Элиот ответил кратко, что при таких обстоятельствах «кажется вполне очевидным, что вам не следует больше утруждать себя подобными описаниями»⁷⁵.

⁷³ ECP to CWE, 20 January 1877, Eliot, HU.

⁷⁴ CSP to ECP, 6 April 1877, Pickering, HU; CSP to CWE, 25 April 1877, Eliot, HU.

⁷⁵ CWE to CSP, 27 April 1877, Eliot, HU.

Между тем, по просьбе Элиота Пикеринг провел исчерпывающее изучение бумаг обсерватории, чтобы установить, действительно ли у Пирса была договоренность с Гарвардом. По результатам поиска стало очевидно, что отношения между Пирсом и Уинлоком часто были неофициальными, но в то же самое время Пирс вправе был ожидать предоставления ему по меньшей мере 500 долларов и помощника для завершения книги⁷⁶.

Ответ Пирса на письмо Элиота был шедевром уязвленного самолюбия, в котором он писал, что Пикеринг нанес ему такое оскорбление, которое он не сможет простить никогда. И выразительно добавил:

Во всяком деле есть качество труда, которое нельзя купить за деньги, которое нельзя оплатить соразмерно, которое зачастую остается неоплаченным вовсе, потому что работник не станет торговаться о нем. И мой фотометрический труд — это труд такого рода. Конечно, человек, делающий подобную работу, в каком-то смысле глупец; но потом университеты поддерживают ее.⁷⁷

Элиот резонно ответил, что если такие качества нельзя купить за деньги, то он не видит никаких причин для того, чтобы Гарвард тратил свои силы для улучшения репутации Пирса. В самом разгаре этой перебранки Пикеринг написал Пирсу, испрашивая его разрешения, как представителю Береговой службы, разобрать и отправить на склад небольшую обсерваторию, оборудованную на территории колледжа Береговой службой несколькими годами ранее и никогда не использовавшуюся. Пирс тотчас же предположил, что в этом письме было выражено еще большее неуважение к нему, и сообщил Пикерингу, что он написал письмо Элиоту, «чтобы лучше уяснить намерения колледжа, о которых мне стало известно из вашей записки»⁷⁸. Элиот чрезвычайно учтиво ответил, что в просьбе Пикеринга не было никаких скрытых мотивов, и сделал вывод, что раздражение Пирса не имело под собой никаких оснований⁷⁹. Эта мелочная, но имевшая большое значение склока протянулась до лета 1878 года, когда «Фотометрические исследования» были, наконец, изданы Энгельманном в том виде, на котором настаивал Пирс (но без дополнительного вознаграждения ему), в качестве двенадцатого тома «Анналов» Гарвардской обсерватории. Последний скандал был связан с предисловием, написанным Пирсом для этого тома и встреченным в штыки Элиотом из-за того, что в нем не было ни слова благодарности в адрес Уинлока, который так

⁷⁶ ECP to CWE, 20 January 1877, Eliot, HU.

⁷⁷ CSP to CWE, 11 May 1877, Eliot, HU.

⁷⁸ Ibid., 25 May 1877, Eliot, HU.

⁷⁹ CWE to CSP, 29 May 1877, Eliot, HU.

долго поддерживал этот труд, или Гарварда, который его профинансировал, но зато возносились непомерные хвалы Береговой службе, которая не имела к этому предприятию никакого отношения. Он писал Элиоту:

Высылаю вам предисловие к моим «Фотометрическим исследованиям». В нем я не могу согласиться ни на какое изменение основного содержания.

Я никогда не был ассистентом в обсерватории. Мое имя по ошибке было указано в одном из списков, но я обратил ваше внимание на ошибку, и этого больше не повторилось. [На самом деле он был ассистентом с 1869 по 1873 год и ошибочно числился в списках лишь с того времени до декабря 1875 года].

Все исследование принадлежит мне, его идея, план, исполнение — все. Я не обязан профессору Уинлоку ни в чем, кроме того, что он был директором обсерватории, для которой оно было выполнено. Действительно, я испытываю к нему личную признательность, но я выражу это чувство по-своему и в свое время [чего Пирс никогда не сделал].⁸⁰

Ожидать от ректора Элиота, чтобы после такого он не испытывал к Пирсу неприязни и подозрений, было бы слишком. В 1878 году он также узнал об уходе от него Зины и о причинах этого ухода в изложении семьи Фэй, выставившей Пирса в дурном свете. Пирс явно не придавал большого значения тому обстоятельству, что Элиот был одной из наиболее влиятельных фигур в системе американского высшего образования. После этого любое обращение к Элиоту за сведениями, связанными с работой Пирса в университете, вызывало искреннее возмущение Элиота.

В октябре 1876 года Пирс перебрался в Нью-Йорк, чтобы провести необходимые приготовления для первой маятниковой станции в Соединенных Штатах, созданной в Институте Стивенса в Хобокене, штат Нью-Джерси. В институте была превосходная лабораторная база и лучшие преподаватели физики, в том числе Льюис М. Резерфорд, сконструировавший дифракционную решетку, которую Пирс собирался использовать в своих экспериментах. Зина не поехала со своим мужем, и они никогда больше не были вместе, хотя Чарльз какое-то время продолжал надеяться на примирение. Он писал ей из Нью-Йорка весной следующего года:

Моя девочка! [Ей было сорок лет, причем она оставалась истовой феминисткой]. Если бы ты решила приехать сюда, Бертс [младший брат Герберт], несомненно, прибрал бы мои вещи, и, смею предположить, тебе бы здесь понравилось. Мы взяли бы на время кровать в мебель-

⁸⁰ CSP to CWE, 26 April 1878, Eliot, HU.

ном магазине или привезли бы ее из Вашингтона. Так как ты не ответила на мою телеграмму, я хотел вернуться сегодня вечером, но меня убедили не делать этого. Я потрудился на славу: написал большую статью [«Закрепление верования»] для *Popular Science Monthly* и начал еще одну [«Как сделать наши идеи ясными»]. Поэтому я и решил остаться, хотя я тоскую по дому и очень хочу увидеть мою любимую, милую и дорогую женушку... Дай мне знать, приедешь ли ты сюда сама или же хочешь, чтобы я вернулся.⁸¹

Если рассматривать решение Зины навсегда расстаться со своим мужем в свете той эпохи, то оно было удивительно новым для тогдашнего феминизма и полностью шло вразрез с ее набожным новоанглийским окружением. Несомненно, она знала о цене, которую придется заплатить за свой решительный поступок, и, несомненно, ее строгие моральные принципы требовали, чтобы она ее заплатила. Ей было сорок лет, и она состояла в браке с Чарльзом пятнадцать лет. То, что она бросила мужа, с юридической точки зрения могло рассматриваться только как оставление мужа, поэтому, не имея собственных средств, она столкнулась с бедностью и изгнанием из своего мира, а поскольку ее принципы не предполагали развода, вступить в новый брак она не могла. Более важной причиной поступка Зины, чем даже все ее подозрения относительно неверности мужа и опыт дурного обращения с ней, его безответственность и расточительность, было ее нежелание и дальше наблюдать за тем, как он бездумно попусту себя растрачивает. Зная в душе, что она стала причиной его страданий от невралгии, его пугающей переменчивости настроения и опасной зависимости от наркотиков, которую все труднее становилось контролировать, такой судьбоносный шаг, должно быть, казался ей единственным выбором. В то же самое время, Зина прекрасно знала, насколько сильно он от нее зависел, и, как следует из ее объяснения Паттерсону, она, должно быть, надеялась на то, что ее отъезда из Европы годом ранее будет достаточно для того, чтобы заставить его задуматься о своем поведении. Но этого не произошло, и она оставила его навсегда.

Сара писала брату Чарльза Джему о своем недоумении и переживаниях по поводу этой стороны жизни своего сына:

Мне грустно думать об этих двух разрушенных жизнях... Чарли казался мне таким любящим, таким внимательным и чутким. Не думаю, что все дело в нем. Да... Жизнь полна печали, и если бы не могли найти утешения в любящих сердцах, мы не смогли бы вынести ее бремени.⁸²

⁸¹ CSP to MFP, [April] 1877, цит. по: Atkinson, 145–46.

⁸² SMP to JMP, 25 August 1877, CSPP, HU.

Что касается Зины, то она с еще большим пылом обратилась к эмансипации американских женщин. В предисловии к своей книге «Нью-Йорк: симфоническое исследование» она говорила, что написать эту книгу ее подвигло стремление

...спасти свой пол от осквернения и поругания...

Ибо неоскверненная женственность — основа республиканских учреждений. Оскверненная и поруганная женственность предполагает грубую и чувственную мужественность, а грубая и чувственная мужественность во все века и во всех странах мира означала деспотическое правление — многими, в определенной форме, определенными средствами, правилами немногие.⁸³

Несколько месяцев Зина прожила в доме на Эрроу-стрит в Кембридже, а затем переехала в Нью-Йорк, где открыла первые пансионаты, обеспечившие ей основной доход. Сестра Чарльза Элен и его брат Герберт время от времени навещали ее в Нью-Йорке. Какое-то время деньги приносило написание статей для журналов. Она подготовила к печати книгу под названием «Изучение музыки в Германии», составленную из писем ее сестры Эми, которая выдержала несколько изданий⁸⁴. Жизнь ее становилась все более одинокой и несчастной. Несмотря на то что она страдала от сердечных болезней и повторяющихся приступов глубокой депрессии, Зина продолжала заниматься проблемами женщин и одержимо работать над своим романом («Нью-Йорк»), переписывая его снова и снова, пока, наконец, спустя сорок лет, в 1918 году, он не был опубликован. Через пять лет после его выхода в свет она умерла.

В 1878 году в своей статье «Как сделать наши идеи ясными» Чарльз обнаружил то, что производило впечатление трогательной публичной и в то же самое время загадочной элегии о браке:

Многие годами лелеяли, как свою излюбленную забаву, смутную тень идеи, слишком бессмысленную для того, чтоб быть позитивно ложной; тем не менее они страстно любили ее, считали ее своим неразлучным спутником в любое время дня и ночи и отдавали ей все свои силы и всю свою жизнь, ни мало не обращая при этом внимания на все прочие дела; короче говоря, они жили для нее и ради нее, пока она не стала, как это обычно и случается, плотью от их плоти и костью от их кости. А потом, проснувшись одним прекрасным утром, они обнаружили, что она исчезла, подобно красавице Мелузине из легенды, а вместе с ней — и смысл всей их жизни. Я сам знавал такого человека; и кто знает, сколько био-

⁸³ Melusina Fay Peirce, 5.

⁸⁴ Fay, *Music Study in Germany*.

графий искателей квадратуры круга, метафизиков, астрологов и кого угодно еще отражается в этой немецкой легенде.⁸⁵

В позднесредневековой легенде, вызывающей символические и психоаналитические толкования, говорится о том, как Мелузина, фамильный призрак благородного дома Лузиньян близ Пуатье и старшая дочь феи Пэрсин, заточила своего отца в скалу в Нортумберленд за то зло, которое он причинил ее матери. В наказание она была приговорена каждую субботу превращаться в женщину-змею. Она могла избавиться от этого наказания и обрести душу, лишь встретив мужа, который поклялся бы никогда не смотреть на нее по субботам. Она влюбилась в Раймонда, племянника графа Пуатье, которого при помощи своих интриг она сделала известным и богатым, построив замок Лузиньян и другие родовые крепости. У этой пары было шесть сыновей, причем все они были уродами, страшно непохожими друг на друга. Конечно, Раймонд не смог устоять перед своим любопытством и, подсмотрев через замочную скважину, увидел сложный ритуал ее субботнего очищения, после чего она превратилась в ужасного дракона и с чудовищным шумом улетела из крепости⁸⁶. Независимо от того, что за тайну Зины узнал Чарльз, метафора, бесспорно, была очень злой и Зина прекрасно знала эту легенду.

С другой стороны, гравиметрические работы, проводимые Пирсом для Береговой службы, по-видимому, продвигались успешно, к вящему удовольствию Паттерсона и отца. В феврале 1877 года вопросы, связанные с расходами во время поездки в Европу, были улажены, а через месяц в Институте Стивенса он, не без раздраженных споров с частью профессуры, взялся за проведение маятниковых экспериментов⁸⁷. Там, помимо своих гравиметрических экспериментов, Пирс приступил к созданию того, что было названо им «измерителем спектра» (спектрометр), с использованием сконструированной физиком Льюисом М. Резерфордом из Института Стивенса дифракционной решетки, при помощи которого он намеревался более точно, чем при использовании существующих приборов, установить точный стандарт для метра, используя длину волны света натрия⁸⁸. Несмотря на его явную удовлетворенность своим положением в Береговой службе, в июне 1877 года Пирс грозился оставить ее. Эта угроза заставила Паттерсона написать отцу Пирса сердитое письмо:

⁸⁵ Пирс Ч. С. *Избранные философские произведения*. М., 2000. С. 271.

⁸⁶ Baring-Gould, 206–258.

⁸⁷ CSP to CPP, 2 April 1877, NA, CGS, Assts. H-Q, 1877.

⁸⁸ CPP to BP, 21 and 28 April 1877, Benjamin Peirce Papers, HU; BP to Patterson, 16 April 1877, NA, CGS, Private Correspondence, 1874–1877.

Твой мальчик Чарли здорово докучает мне, и я бы хотел, чтобы ты его хорошенько отругал [Пирсу было тогда 37 лет]. Прилагаю письмо, полученное от него двумя днями ранее с пометкой «конфиденциально». Что я буду делать, если он уйдет после трех-четырёх лет подготовительной работы с маятником, причем система так и не доведена до ума! Он проводит «экспериментальный этап» необычайно успешно, и все пропадет, если он уйдет. С его подачи, впечатленный его упрямством, я договорился с Резерфордом о проведении экспериментов, необходимых для создания «измерителя спектра» и установления длинны волны, в надежде, что Чарли станет руководить этим предприятием.

Не могу смириться с мыслью о его уходе, так как очень от него завишу, и все же я могу в полной мере выразить ему чувство почтения и попытаться улучшить его положение в денежном отношении. Как же он сможет отказаться от науки, если он открыл врата ее храма! Я хочу, чтобы Ч. С. был достаточно богат, чтобы превзойти «соперника». Что же он имеет в виду? Может, он не списывался с тобой, и тогда не стоит говорить об этом, пока он не скажет больше. Я искренне написал ему, что мой долг прежде всего заключается в том, чтобы способствовать дальнейшему развитию его интересов, в каком бы направлении они, по его мнению, ни лежали, и какой бы утратой или неудобством они ни стали для меня самого. Искренне верю, что он не гонится за чем-то временным и ложным.⁸⁹

Пирс рассматривал вероятность предложения из Университета Джона Хопкина относительно включения его в состав профессуры с занятием должности, на которую его друг Джеймс порекомендовал его полгода тому назад. Но его легко переубедило письмо от Паттерсона, которому он писал 25 июня: «Я вполне определился в своем решении, получив такое письмо от Вас, где Вы написали, чтобы я и не думал об уходе из Береговой службы, с которой меня одинаково связывают благородные обязательства и собственные интересы»⁹⁰.

Тем не менее, его не переставало мучить отношение Береговой службы к нему. Еще сильнее убежденности в том, что его недооценивали как ученого, ему досаждала легкомысленность, проявлявшаяся в отношении к нему и его жалованию. Через месяц после того, как он согласился остаться в Береговой службе, он писал Паттерсону:

Я плохо себя чувствую, а поскольку причина такого моего состояния по-прежнему остается и никуда не денется по крайней мере до понедель-

⁸⁹ CPP to BP, 14 June 1877, CSPP, HU.

⁹⁰ CSP to CPP, 15 June 1877, NA, CGS, Private Correspondence, 1874–1877.

ника, боюсь, я серьезно заболею. Причина в том, что у меня нет денег, чтобы купить себе еду, поэтому я вынужден был несколько дней просидеть на крекерах и сыре, которые я покупал в [клубе] «Сенчури»... Я бы хотел остаться в Береговой службе, но я не могу голодать.⁹¹

В письме, посланном Уильяму Джеймсу двумя месяцами ранее, нарисована совсем иная картина его образа жизни:

Я постоянно в разъездах и вынужден остановиться здесь [в «Бревурт-хаус»] на ночь. Представьте мою досаду, когда этим утром из «Геральд» я узнал о профессоре Ч. С. Пирсе из Гарвардского колледжа, остановившемся в «Бервурте». Особенно из-за того, что я несколько стыжусь своего пристрастия к Бревурту. Но я много лет заезжаю сюда, меня знает каждый официант, и, кроме того, я чувствую себя как дома. Здесь обычно бывают люди класса *comme il faut*, не чета мне. Здесь я принимаю несколько развязный вид, которого, надеюсь, у меня не бывает в других местах и который будто бы говорит: «Ты по-своему не плохой парень; я не знаю, кто ты, и мне это не интересно, но, знаете ли, я — г-н Пирс, известный своими различными научными заслугами, но, в основном, из-за своей чрезвычайной скромности, я бросаю вызов миру». Я заметил, что, когда приобщаются к чему-то изысканному, мало кому удается удержаться от развязности, а те немногие, кто остаются сдержанными, производят неприятное впечатление. Нужно написать очерк о хорошем вкусе в развязности.⁹²

Сопоставление этих двух писем показывает, каким был Пирс на самом деле: он был расточительным и самовлюбленным, но при своем жаловании не мог позволить себе расточительность, результат которой был описан в первом письме.

В сентябре Пирс писал Паттерсону, что он должен поехать на собрание Международного геодезического общества в Штутгарте, чтобы прочесть ряд научных докладов, особенно тот, в котором содержалось его спорное утверждение о том, что прогиб опоры маятника приводит к существенному уменьшению точности измерений. Примечательно, что в самом обществе в то время шло обсуждение того, стоит ли его вообще приглашать. Пирс настаивал, что он должен ехать в любом случае и тем самым решить вопрос самим фактом своего появления. Паттерсон решил отправить его, и он уехал в Европу в сентябре 1877 года⁹³.

⁹¹ CSP to CPP, 28 July 1877, NA, CGS, Private Correspondence, 1874–1877.

⁹² CSP to WJ, 1 May 1877, James, HU.

⁹³ CSP to CPP, 10 September 1877, NA, CGS, Assts. H-Q, 1877.

Именно во время этой поездки Пирс закончил вторую свою статью, опубликованную в следующем году в *Popular Science Monthly* («Как сделать наши идеи ясными») и завершил перевод на французский первой («Закрепление верования»). Пирс так описывал поездку:

В каютах первого класса, помимо меня самого, было только четыре пассажира — две дамы, путешествующие порознь, и два господина, также путешествующие сами по себе, одинаково открытые. Они оказались очень приятными людьми и разбились на пары. Поэтому курительная комната была полностью в моем распоряжении, и я занялся написанием статьи, где я изложил логическую максиму.⁹⁴

Он также развлекался написанием длинного шутивно-официального письма Паттерсону, в котором придумывал причудливые случаи неправильного использования французскими военно-морскими властями сирен, подающих сигналы морским судам⁹⁵.

Два очерка, завершенных во время этой поездки, и четыре других («Доктрина возможностей», «Возможность индукции», «Порядок природы» и «Дедукция, индукция и гипотезы»), которые были опубликованы в 1877–1878 годах под общим заглавием «Пояснения к логике науки» в *Popular Science Monthly*, отражали личный опыт Пирса, полученный в результате занятий экспериментальной наукой в течение последнего десятилетия. Он начал проект с изложения того, насколько далеко продвинулась наука с момента написания его «Логики 1873 года». «Пояснения» были первым формальным выражением научного метода в качестве логики науки. Они не только стали первой всесторонней убедительной критикой дедуктивного фундаментализма картезианского сомнения и традиционной метафизики в целом («Доводы метафизиков — совершенный вздор»), одновременно Пирс предложил в качестве альтернативы сознательно спорную отправную точку в виде принятия мира, каким мы его воспринимаем, и постепенной проверки наших представлений. Нельзя сказать, что другие философы и ученые не рассуждали и не писали о методе науки, поскольку они занимались этим, начиная с древних греков. Но Пирс придал этому методу его современную форму с такой изысканностью, что его «Пояснения», хотя они и стали революционными, теперь кажутся нам просто выражением здравого смысла. Чтение работ Поппера или Карла Гемпеля о логике науки после прочтения «Пояснений» показывает, сколь незначительно продвинулись они вперед по сравнению с моделью, предложенной Пирсом более ста лет тому назад. К тому же, подобное чтение

⁹⁴ MS 328.

⁹⁵ CSP to CPP, 21 September 1877, NA, CGS, Assts. H-Q, 1877.

может показать, что некоторые элементы, особенно сущность гипотетического вывода, могут быть устранены без ущерба для нашего понимания науки.

Физик Виктор Ф. Ленцен, ученик Джосайи Ройса, подытожил типичный ранний пример взаимодействия научного метода и логики у Пирса в его статье 1870 года «О теории ошибок наблюдения», которая сама по себе была первопреходческой⁹⁶:

все наши знания происходят из индукции и ее разновидностей, гипотезы. Пирс утверждает, что общая природа индукции всюду одинакова и полностью выражается в следующем примере. Я беру горсть из мешка с черной и белой фасолью и предполагаю, что количество черной и белой фасоли во всем мешке примерно одинаково. Если экспериментатор ошибается в этом выводе, то при повторении того же процесса эта ошибка должна быть исправлена. Следовательно, этот вывод — истинный. Но он ничего не говорит о цвете конкретного боба. Может быть выведено лишь приблизительное общее соотношение, и оно выражается в вероятности для черных или белых бобов. Тогда, принимая во внимание большое число мешков и знание об относительном количестве черных бобов в каждом из них, если черные бобы имеют значение, а белые — нет, человек, осведомленный об относительном числе черных бобов в каждом мешке, будет действовать так, как если бы боб, вынутый из мешка, содержащего большее количество черных, был черным, а боб, вынутый из другого мешка, естественно, белым. Ибо знания получают свое практическое значение вследствие своего влияния на наше поведение.⁹⁷

Последняя фраза представляет собой сжатое выражение прагматической максимы, изложенной Пирсом намного более пространно спустя восемь лет в статье «Как сделать наши идеи ясными». Приведенный пример ясно показывает, что в формулировках до 1900 года практическое значение влияния знания на поведение не предполагало этической стороны. Ученый, в соответствии с этой максимой, не заинтересован ни в каких последствиях, отличных от тех, что касаются ограниченной вселенной экспериментов с физическим миром. Как и в современной науке, этические последствия, несвязанные с этой ограниченной областью, считаются внеположными по отношению к использованию максимы. Пирс, на этом этапе своего философского развития, не видел никаких оснований для принесения этики в исследование, за исключением тех случаев,

⁹⁶ NA, CGS, *Report of the Superintendent of the United States Coast Survey*, 1870, Appendix 21.

⁹⁷ Lenzen, «Charles S. Peirce as Astronomer», in *Studies in the Philosophy*, edited by Edward C. Moore and Richard S. Robin, 41–42.

когда это было необходимо для придания обоснованности методологическим проблемам. Этика ограничивалась следствиями, проистекающими из идеала истины, воплощенной в сообществе исследователей, а индивид участвовал в познании только в качестве члена такого сообщества. За пределами круга посвященных отдельного человека не связывали никакие этические обязательства. Как он прояснил свою точку зрения уже в 1868 году в «Некоторых последствиях четырех неспособностей»:

Отдельный человек, поскольку его индивидуальное существование проявляется только посредством незнания и ошибки и коль скоро он отличается как от окружающих, так и от того, чем он и они должны быть, есть только отрицание. Этот человек —

*Но гордый человек, что облечен
Минутным, кратковременным величием
И так в себе уверен, что не помнит,
Что хрупок, как стекло...⁹⁸*

Подобная моральная слепота дорого обошлась Пирсу. Прошло двадцать лет прежде, чем он выдвинул теорию о том, что логика и, следовательно, прагматизм зависят от этики в более широком смысле. «Пояснения к логике науки, статья вторая — Как сделать наши идеи ясными» вышла в январе 1878 года. За год до этого, как раз перед выходом «Закрепления верования» в ноябре 1877 года, Эдвард Ливингстон Юманс, редактор *Popular Science Monthly* писал своей сестре из Лондона: «Чарльза Пирса читали немногие. Но [У. К.] Клиффорд говорит, что он — величайший из ныне здравствующих логиков и второй человек, которому после Аристотеля удалось внести в эту тему что-то новое, другим человеком был Джордж Буль, автор “Законов мышления”»⁹⁹.

Любопытно, но мало того, что ни в одной из статей не было слова «прагматизм», ни в одной из них не упоминался его «новый список категорий». Причина, возможно, заключалась в том, что Пирс тогда был воодушевлен неопровержимой силой науки и идеей о том, что сила эта воплощена в его концепции логики науки, выраженной в его прагматической проверке значения, в его анализе вероятности и логических категориях гипотезы, дедукции и индукции. Его позитивистская и откровенно антиметафизическая убежденность в непреодолимой силе научного исследования в сочетании с признанием, полученным у европейских ученых и логиков, толь-

⁹⁸ Пирс Ч. С. *Избранные философские произведения*. М., 2000. С. 93. См. также: Шекспир, *Мера за меру*, II, ii, 17 (перевод Т. Щепкиной-Куперник).

⁹⁹ Fiske, 340, цит. по: Fisch, PSP, 129.

ко усилили его высокомерие. В этих статьях, которые важны по причине оказанного ими влияния на более позднее развитие философии, вероятно, по той же самой причине, отсутствует изложение его уже сложившихся к тому времени реалистических взглядов на науку. Поскольку «Пояснения» были его самым известным сочинением, члены «венского кружка» и их наследники от логического позитивизма и неопозитивизма, не задумываясь, причисляли его к важным предшественникам, предвосхитившим их собственные антиметафизические и номиналистические доктрины и операционалистское представление о значении.

Собрание Международного геодезического общества в Берлине в 1877 году было личным триумфом в научной карьере Пирса. Он писал Паттерсону:

Я провел один день [в Остенде], чтобы передохнуть и осмотреться, сел на поезд в 11 вечера и прибыл из одного места [Брюссель] в другое [в Штутгарт] сегодня в полдень, опоздав к обеду. Спустившись, я встретил многих своих старых друзей за одним столом, который был полон. Я спокойно сел за другой, не желая прерывать обед объяснениями. Однако вскоре [Теодор фон] Оппольцер заметил меня и подошел, чтобы со мной побеседовать, а затем подтянулись и другие, причем они были очень удивлены моим неожиданным появлением.¹⁰⁰

Спустя два дня Пирс так описывал Паттерсону триумфальное событие в своей геодезической карьере:

после завершения предварительных мероприятий председатель зачитал ваше письмо. Все встали, а председатель пригласил меня войти в общество, за что я поблагодарил его от себя лично и от имени Береговой службы. Сразу же после прочтения обычных сообщений из различных стран... прошло внеочередное обсуждение вопроса о маятнике. Его начал профессор Плантамур, председатель специального комитета по маятникам, который описал эксперименты [о прогибе опоры маятника], проведенные им после моих исследований... Все называли мою работу очень важной и эпохальной в деле использования маятников.¹⁰¹

Паттерсон и его отец, конечно же, были весьма удовлетворены и искренне посоветовали увеличить ему жалование. Пирс вернулся домой в ноябре, а через месяц перенес еще один приступ, вызванный переутомлением, третий за два года, хотя он и выздоровел к январю 1878 года¹⁰².

¹⁰⁰ CSP to CPP, 27 September 1877, NA, CGS, Assts. H-Q, 1877.

¹⁰¹ Ibid., 29 September 1877, CSPP, HU.

¹⁰² CPP to BP, 12 December 1877, CSPP, HU.

В конце 1877 года Бенджамин Пирс написал ректору Гилмэну из недавно созданного Университета Джона Хопкинса, порекомендовав Чарльза на должность заведующего кафедрой физики, сразу же после приглашения на эту кафедру Генри Огастеса Роуланда. Чарльз и Джулиус Хилгард, среди прочих, были приглашены на встречу с Гилмэном и Роуландом в начале января 1878 года. 13 января Чарльз написал Гилмэну длинное письмо, в котором он сначала снисходительно отозвался о репутации Роуланда как физика, а затем начал довольно путано и напыщенно превозносить себя как потенциального специалиста в любых науках:

Что касается моего собственного *personlichen Wenigkeit*, я понимаю, что мой отец предложил меня на место простого профессора физики. Но если бы меня пригласили в университет (такое приглашение было бы для меня очень приятным), полагаю, что полезнее было бы использовать меня, во-первых, для удовлетворения нужд кафедры физики, а во-вторых, для применения моих логических исследований... [Затем Пирс описывал потребности кафедры и предлагаемые им методы обучения].

Но что касается меня, то я — логик. Основой для логических обобщений служат специальные методы различных наук. Для постижения этих методов логик должен довольно глубоко изучить различные науки. Таким образом, я изучил почти весь предмет физики, хотя имеется довольно обширный инструментарий, связанный в особенности с электричеством, с которым я практически не знаком. Но, будучи тонким специалистом в других отраслях физики и химии, мне не следует опасаться того, что я с чем-то не справлюсь, тем более, что мне известно, как работает большинство приборов, квадрантный электромметр и т. д., и знаю, на что нужно обратить внимание. Поэтому, хотя я и логик, мне необходима лаборатория.

В логике я представляю особое направление, направление физической науки.... Я соизмерил свои способности со способностями других людей; я знаю, каковы они. Мой долг рассказать со сдержанной убежденностью, на что я способен. Моя система изложена в общих чертах, но не так, чтобы ее значение можно было бы оценить. Если общество считает, что она заслуживает развития, то достаточно только дать мне средства для осуществления этого. В противном случае я, вполне удовлетворенный, пойду по другому пути.

Я бы с большим удовольствием присоединился к обществу ученых Балтимора, идею которого я искренне поддерживаю. У вас единственный настоящий университет в Америке.

Но есть две вещи, о которых я должен предупредить. Первая связана с тем, что я не смогу отказаться от руководства маятниковыми рабо-

тами в Береговой службе, которые нуждаются в моем присмотре, хотя они в будущем и не станут занимать много времени. Вторая — это очень болезненный личный вопрос, о котором я вообще не люблю говорить и о котором я стараюсь говорить как можно меньше. Дело в том, что многие годы я находился в разладе со своей женой, подолгу живя с ней порознь и не видя ее; и причины этого с той и с другой стороны, надеюсь, никогда не получат огласки. Но мы определенно никогда не станем снова жить вместе. Это обстоятельство, которому вы, естественно, придаете значение, должно заставить вас всерьез задуматься о моем приглашении в Балтимор.¹⁰³

12 марта, получив от Гилмэна предложение о лекторстве, Пирс явно был разочарован тем, что ему не была предложена должность профессора. «В целом, я должен согласиться с вашим предложением о том, чтобы остаться в Береговой службе, но в университете я бы хотел работать на неполную ставку профессором логики, и я прошу вас поставить этот вопрос перед руководством»¹⁰⁴.

Через два дня после отправки этого письма, Пирс получил еще одно послание, на этот раз от Джорджа Брюса Холстеда, аспиранта в Университете Джона Хопкинса, с которым он был знаком и который заботился о репутации Пирса в университете. Холстед предложил на какое-то время подменить Пирса при чтении его курса,

Но мне было сказано здесь, что было бы лучше не делать этого и что вы в своих письмах выказали склонность недооценивать все и вся из того, о чем вы говорили. Кроме того, меня особенно обескуражило замечание профессора [Джеймса Джозефа] Сильвестра о том, что ваши статьи в *Popular Science Monthly* были поверхностны и претенциозны и что написать их мог бы всякий. Что касается меня, то я получил огромное удовольствие от ваших статей и не смог найти в них ни одного недостатка, кроме уже упоминавшихся мной некоторых непонятных мест.¹⁰⁵

Пирс сразу же написал Сильвестру, давнему коллеге-математику его отца, постоянно гостившему в их доме во времена юности Чарльза:

Я был удивлен, узнав из приложенного письма, что вы выступаете против моего приглашения в Университет Джона Хопкинса. Мне казалось, что вы дали мне понять о вашем дружеском расположении ко мне в этом вопросе.

¹⁰³ CSP to DCG, 13 January 1878, Gilman, JHU.

¹⁰⁴ Ibid., 12 March 1878, Gilman, JHU.

¹⁰⁵ G. B. Halsted to CSP, 14 March 1878, Gilman, JHU.

Что касается вашего мнения самого по себе, то здесь мне нечего сказать. Я доволен тем откликом, который получили мои статьи в логическом мире, и меня не очень интересует мнение посторонних. Не могу сказать, что молодой г-н Холстед отличается житейской мудростью. Он ни в коем случае не имел права направлять мне личные замечания. Если вы не выказали ему готовности изложить для меня ваши соображения, то его поступок кажется несколько неосмотрительным.¹⁰⁶

Этими письмами ознаменовалось начало бурных отношений между Пирсом и Сильвестром во время их пребывания в Университете Джона Хопкинса. Пирс воспринял критику Сильвестра как глубокую личную обиду, а через три года его возмущение вышло наружу в неприятном споре.

Через неделю после написания письма Сильвестру по поводу его нападок и в ответ на письмо Гилмэна, в котором тот говорил об отказе от предложения о лекторстве на неполную ставку, Пирс писал Гилмэну: «У меня нет никакого желания давить на ваших попечителей, если они решили, что не имеет смысла привлекать еще людей»¹⁰⁷.

Зимой 1877 и весной 1878 годов Пирс продолжал в Хобокене свои эксперименты с маятником и спектрометром собственной конструкции, предложив использовать длину волны света для увеличения точности измерения длины метра. К июню он подготовил план размещения станции в Скалистых горах, но нехватка средств у Береговой службы вынудила его отказаться от этой идеи. Лето он провел в Кембридже, откуда он собирался направиться для проведения экспериментов в Уайт Маунтинс, штат Нью-Хэмпшир, и вблизи горы Вашингтон. Но его мать писала:

Чарли все еще здесь — расстроенный из-за планов по поводу Уайт Маунтин, он, кажется, утратил тягу к работе и забросил на время опыты с маятником. Тем временем г-жа Пуртале находится в Интервале [в Уайт Маунтинс] и время от времени шлет ему письма, о которых он рассказывает совершенно свободно.¹⁰⁸

Нерешительность Пирса отражала противоречие между острым желанием оставить Береговую службу ради должности в Университете Джона Хопкинса и его чувством долга перед Береговой службой, но его задержка в Кембридже была связана главным образом с Жюльетт, загадочной г-жой Пуртале, которая после всем известного пятилетнего романа стала его женой. К большому несчастью для них обоих, то обстоятельство, что

¹⁰⁶ CSP to James Joseph Sylvester, 19 March 1878, Gilman, JHU.

¹⁰⁷ CSP to DCG, 27 March 1878, Gilman, JHU.

¹⁰⁸ SMP to BP, 7 August 1878, CSPP, HU.

Чарльз все еще был женат на Зине за два дня до брака с Жюльетт, ни университетские круги, ни общество в целом так никогда и не забыли. В августе Пирс вернулся в Нью-Йорк, где его желание оставить Береговую службу стало еще более выраженным. Паттерсон возражал против многих книг, купавшихся Пирсом за счет Береговой службы, многие из которых не имели никакого отношения к тому, чем она занималась. Пирс саркастически комментировал: «Возможно, я переоценил степень вашего уважения ко мне, несомненно, преувеличив ничтожную значимость своей научной работы... Я должен поблагодарить вас за ту снисходительность, с которой вы указали на ошибки в моем понимании»¹⁰⁹.

Пирса все меньше устраивали его заработок и отказы Береговой службы предоставить ему и его команде средства, необходимые для обеспечения его работы на местах. К началу сентября 1877 года он составил перечень из восьми помощников из Береговой службы и их жалований. Он стоял у истоков, и никому другому не удалось добиться и близких результатов и научной репутации по сравнению с теми, которыми обладал он. Но Пирс на следующий год запланировал проведение работ с маятниками в Аллеганских горах, откуда легко можно было добраться до Вашингтона — и Университета Джона Хопкинса. Он также обратился с просьбой о совершении еще одной поездки в Европу, которую пришлось отложить на год. Паттерсон написал Бенджамину Пирсу письмо с просьбой поехать в Нью-Йорк и «поговорить» с сыном о его поведении и состоянии¹¹⁰. В декабре Пирс прибыл в Аллегани-Сити, чтобы изучить область на предмет участков, но, не выполнив до конца свою задачу, слег с воспалением легких, напугав Паттерсона и своего отца, и был отправлен домой, чтобы провести Рождество в Кембридже со своей семьей¹¹¹.

В январе 1879 года Бенджамин Пирс, обеспокоенный тем, что его замечательный сын Чарльз почти в сорокалетнем возрасте по-прежнему получает жалование в 2870 долларов, написал большое письмо директору Паттерсону, в котором настаивал на том, что научные достижения сына заслуживали большего вознаграждения. Паттерсон ответил, что он уже пытался увеличить жалование Чарльза, но безуспешно из-за политической ситуации в Министерстве финансов¹¹². Неудовлетворенный таким ответом, Чарльз Пирс при поддержке четырех самых выдающихся астрономов и физиков того времени сам обратился с просьбой об увеличении жалования¹¹³. В при-

¹⁰⁹ CSP to CPP, 15 August 1878, NA, CGS, Assts. H-Q, 1878.

¹¹⁰ CPP to BP, 8 November 1878, CSPP, HU.

¹¹¹ Ibid., 24 December 1878, CSPP, HU.

¹¹² Ibid., 10 January 1879, CSPP, HU.

¹¹³ CSP to CPP, 23 May 1879, NA, CGS, Assts. L-Q, 1879.

ложенных письмах от Альфреда М. Мейера, профессора физики в Институте технологии Стивенса; Уолкотта Гиббса, румфордского профессора в Гарвардском университете; Огдена Руда, профессора физики в Колумбийском колледже, и Бенджамина Пирса давалась высокая оценка работы Пирса. Гиббс писал:

В сущности, я без всяких колебаний утверждаю, что и спектроскоп, и спектрометр являются наиболее точными из существующих ныне приборов, и я восхищен результатами экспериментов, проведенных после их создания.¹¹⁴

Руд писал:

Очень трудно было бы найти другого ученого, который обладал бы необходимой специальной подготовкой или природным даром, сравнимым с тем, что обладает г-н Пирс – мне известно наверняка, что в нашей стране нет другого человека, который был бы столь же подготовлен, чтобы заступить на должность, занимаемую им в настоящее время в Береговой службе.¹¹⁵

И Бенджамин Пирс писал, еще больше превознося своего сына:

Наиболее выдающимся достижением, таким образом, должно быть названо определение длины метра по длине световой волны, которая короче всего того, что когда-либо подвергалось измерению, и только точное определение метра, при помощи которого оно могло быть восстановлено, в случае утраты его наукой. И, конечно же, оно вызовет рукоплескания ученых в адрес Береговой службы.

В сочетании с выдающимися маятниковыми измерениями г-на Пирса, которые по достоинству были оценены европейскими учеными как эпохальный вклад в наиболее сложную отрасль наблюдений, оно ставит его в один ряд с великими специалистами в области астрономических и геодезических исследований, и было бы очень прискорбно, если бы такие выдающиеся успехи в науке не были должным образом вознаграждены.¹¹⁶

В июне Пирс получил третье предложение из Университета Джона Хопкинса стать лектором по логике в 1879–1880 учебном году. Он писал Паттерсону:

Я получил предложение из Университета Джона Хопкинса о прочтении нескольких лекций и руководстве преподаванием логики в нем.

¹¹⁴ W. Gibbs to CPP, 21 April 1879, NA, CGS, Assts. L-Q, 1879.

¹¹⁵ O. N. Rood to CPP, 11 May 1879, NA, CGS, Assts. L-Q, 1879.

¹¹⁶ BP to CPP, 24 May 1879, NA, CGS, Assts. L-Q, 1879.

Поскольку было четко сказано, что университет не желает быть помехой в исполнении моих обязательств перед Береговой службой, полагаю, что я приму предложение, поскольку вы уже говорили мне, что у вас нет никаких возражений по поводу такой договоренности. Они не будут платить много [1500 долларов], но это уже кое-что.¹¹⁷

6 июня, соглашаясь на предложение Гилмэна, Пирс сказал:

Мои взгляды относительно преподавания логики в Университете Джона Хопкинса остаются во многом теми же, что и в прошлом году. Мне необходимо, во-первых, иметь преподавательскую нагрузку исключительно в этой области, а во-вторых, предоставление мне в конечном итоге должности профессорства...

Думаю, вам лучше не давить на меня по поводу достижения определенного согласия относительно объема времени, которое я должен посвятить этому делу. Вам известна моя привязанность к логике... Но если бы мне пришлось заключить договор, я бы пересмотрел вопрос о жаловании в сторону его увеличения, ибо та довольно незначительная сумма, которую я получаю сейчас, меня не устраивает.

Мое нынешнее положение отличается от прошлогоднего, и теперь у меня есть такие обязательства, которые потребуют, чтобы в начале осени этого учебного года я находился в Европе, поэтому я не смогу быть в Балтиморе в начале семестра. Мне бы хотелось воспользоваться своим пребыванием за границей и приобрести для библиотеки кое-какие книги по логике.

Если вы хотите со мной встретиться, я буду в Нью-Йорке на следующей неделе, а «Бревурт» и «Сенчури клуб» будут моими штаб-квартирами...¹¹⁸

Гостиница «Бревурт» была построенной в европейском стиле дорогой гостиницей, располагавшейся на Пятой авеню на площади Вашингтона и обслуживавшей богачей, знать и высокопоставленных лиц. Пирс был знаком сотрудникам гостиницы, и, вероятно, именно там в 1876 году он встретил Жюльетт Пуртале¹¹⁹. Их неосмотрительная связь, скорее всего, началась в «Бревурте». «Сенчури клуб» был местом, где собирались самые интересные и значимые люди того времени. Его членами были банкиры, ученые, писатели, издатели, исследователи, предприниматели, политики, поэты, изобретатели, эксцентрики и фигляры. Пирс встретил там многих

¹¹⁷ CSP to CPP, 10 June 1879, NA, CGS, Assts. L-Q, 1879.

¹¹⁸ CSP to DCG, 6 June 1879, Gilman, JHU.

¹¹⁹ HJ to Henry S. Leonard, 10 February 1936, цит. по: W4: xxii, Introduction by Houser.

людей, вместе с которыми он позднее участвовал в спекулятивных схемах быстрого обогащения. Наибольшее влияние на Пирса оказал нечистоплотный биржевой спекулянт и поэт Эдмунд Кларенс Стедмэн. Позднее, в 1890-х годах, когда эти рискованные предприятия и общенациональный экономический крах разорили Пирса и повергли его в состояние крайней нужды, «Сенчури клуб» стал основным источником пропитания, которое он выпрашивал в нем, чтобы выжить. Поскольку его яркую и забавную компанию ценили его товарищи-члены, он оставался желанным гостем в нем вплоть до его исключения примерно в 1895 году.

По зрелом размышлении, пожелав произвести благоприятное впечатление на ректора Гилмэна, Пирс решил изменить свои планы и сразу же направиться в Аллеганские горы, а вслед за этим — летом в Европу, чтобы прибыть в Уинверситет Джона Хопкинса в начале первого семестра. Он не сообщил эту причину изменения планов Паттерсону¹²⁰.

В июле директор Паттерсон вновь предпринял попытку поднять жалование Пирса. Он отправил рекомендательное письмо министру финансов Джону Шерману, приложив к нему письма ученых, присланные ему ранее Пирсом. В нем он писал, несомненно, хорошо посоветовавшись со своим наставником, Бенджамином:

Г-ну Пирсу сорок лет, он работает в Береговой службе уже восемнадцать лет и, принимая во внимание его исключительные способности в проведении специальных исследований, за одиннадцать лет службы достиг нынешнего уровня своего жалования в 1873 году. С тех пор Пирс достиг выдающихся успехов в весьма оригинального характера наблюдениях за маятником, вызвав сильнейший интерес к этому важному научному вопросу среди всех физиков как на родине, так и за рубежом, и подтолкнув к полному пересмотру результатов всех прошлых наблюдений на основных станциях наблюдения над качанием маятника в Европе. В сущности, г-н Пирс — первый человек в нашей стране, которому с успехом удалось взяться за решение этой проблемы, многие годы находившейся в подвешенном состоянии и дождавшейся настоящего глубокого исследователя. Г-н Пирс также преуспел в сопоставлении принятой стандартной единицей длины (метр) с постоянной (как теперь известно) длиной в природе, длиной световой волны, задаче, решить которую до настоящего времени никто не пытался из-за связанных с ней трудностей и которую после многих разочарований и неудач он, наконец, решил. Такие результаты работы г-на Пирса значительно укрепили геодезическую науку и повысили научную репутацию Береговой службы, а следовательно, и страны.

¹²⁰ CSP to CPP, 10 June 1879, NA, CGS, Assts. L-Q, 1879.

Приложенные выдержки из писем выдающихся американских ученых служат наилучшим свидетельством ценности труда г-на Пирса.¹²¹

Месяц спустя Паттерсон написал Пирсу, что министр финансов отказался повысить ему жалование и что он рассчитывает на то, что Пирс продолжит выполнять свои обязанности с прежним усердием. Но добавил:

Однако если вдруг вы посчитаете, что ваши интересы могут быть направлены на любые другие дела или занятия, я сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать их осуществлению, хотя утрата для Береговой службы в том, что касается вопросов, которыми вы занимаетесь сейчас или могли бы заняться в будущем, будет невосполнимой.¹²²

Пирс уклончиво ответил: «Хочу горячо поблагодарить вас за то, как вы представили мое дело министру финансов. Пока я остаюсь в Береговой службе, я постараюсь исполнять свои обязанности»¹²³.

Теперь Пирс мог покинуть Береговую службу, а если бы, в чем он был уверен, ректор Университета Джона Хопкинса Гилмэн назначил его профессором, его заветная мечта осуществилась бы. В сентябре Пирс приехал в Балтимор; для удобства он переместил маятниковую станцию из Эбенсбурга в Аллеганах в Йорк, штат Пенсильвания, на расстоянии менее часа езды поездом от Балтимора.

В 1880 году город Балтимор представлял собой многоязычную смесь европейских иммигрантов и негров, насчитывавшую около 400000 человек. Хотя первоначально его население составляли англичане, шотландцы, ирландцы, немцы и французы, преимущественно католики, после Гражданской войны его наводнили негры, итальянцы, поляки, литовцы, русские и другие этнические группы. Он был главным морским портом и конечной станцией железной дороги, соединявшей Балтимор со штатом Огайо, и обладал значительными производственными мощностями, обслуживавшимися преимущественно рабочими-иммигрантами. Во время Гражданской войны город заняли союзные войска, но его пожилые жители по-прежнему оставались неисправимыми южанами.

Университет Джона Хопкинса, созданный в 1876 году как элитный институт, должен был соответствовать европейским, в особенности немецким, стандартам учености у выпускников и в профессиональном образовании. Гилмэн, назначенный ректором годом ранее, укомплектовал свой факультет соответствующим образом. Только за четыре года объем исследований,

¹²¹ W4: xiii-xiv, Introduction by Houser.

¹²² CPP to CSP, 8 August 1879 (L 91).

¹²³ CSP to CPP, 9 August 1879, N A, CGS, Assts. L-Q, 1879.

опубликованных университетом, превысил объем исследований, выполненных предыдущим поколением ученых и опубликованных всеми американскими университетами вместе взятыми. На его первый курс было зачислено 89 студентов, а на четвертый — 159, многие из которых были выпускниками других университетов, стремившимися получить ученую степень. Университет привлекал блестящих студентов, а в число 50 студентов, обучавшихся у Пирса, входили Джон Дьюи, Фабиан Франклин, Бенджамин Айвис Гилмэн, Аллан Марканд, Оскар Говард Митчелл, Торстейн Веблен и двое наиболее близких к нему — физиолог Джозеф Джастроу и логик Кристин Лэдд. При столь небольшом числе студентов и примерно сорока преподавателях университет был замкнутым учреждением, со всеми присущими учреждению такого рода достоинствами и недостатками. В этом представительном собрании ученых нетрадиционность Пирса бросалась в глаза. Когда Сильвестр, усомнившийся в интеллекте Пирса, спросил студента о его преподавании, ему ответили, что его лекции «всегда были основательными, часто — весьма угонченными и никогда — банальными, иногда за ними нелегко было угнаться и им так недоставало ясности, что слушателям было очень сложно понять, о чем идет речь», и он добавил: «не может быть никаких сомнений в том, что г-н Пирс — гений». «Ладно», — ответил Сильвестр, — «если он гений, разве этого не достаточно? Разве не таких гениев мы хотим здесь иметь?»¹²⁴ Пирс провел пять лет в Университете Джона Хопкинса. В течение этого времени он читал вводный курс логики, курсы по логике относительных, философской терминологии, средневековой философии, вероятностей и одной из тем, интересовавших его всю жизнь, — психологии великих людей. Он основал новый «Метафизический клуб», который был настоящим достижением в деле проверки философских идей на прочность. Он участвовал в проведении многих университетских мероприятий, наподобие заседаний Научного общества и Математического семинара, где им было зачитано множество оригинальных и важных докладов. Пирс принимал деятельное участие в интеллектуальной жизни университета. Но он не участвовал в его политической жизни, которая — к его большому гневу и расстройству — была для него закрытой по причине неполной занятости. В этой связи двое коллег Пирса по университету сыграли важную роль в его карьере: психолог Стенли Холл, потому что, будучи «благонадежным», он раньше Пирса (и Джеймса) был избран на должность профессора философии, обещанную ему Гилмэном; и Саймон Ньюкомб, выдающийся астроном, преуспевший в разрушении его карьеры.

Величайшим достижением Пирса за его карьеру в университете была публикация в 1883 году «Исследований по логике, проведенных членами

¹²⁴ John Venn, «*Review of Studies in Logic*», *Mind* 8 (1883): 594–603 (O 248).

Университета Джона Хопкинса». Как гласило название, «Исследования» были результатом трудов Пирса и его студентов, содержащим свежий взгляд на множество областей символической логики. Хотя Пирс в течение двух лет носился с идеей этой книги и участвовал в ее подготовке и редактировании, его имя отсутствует на титульном листе. Он не поставил себе в заслугу работу своих студентов, которая действительно стояла на переднем краю исследований в данной области. Джон Венн, рецензировавший эту книгу для *Mind*, дал ей высокую оценку, особенно статье Пирса под названием «Теория вероятного вывода»¹²⁵. Для Пирса эта книга была воплощением его идеала и этики сообщества искателей истины. Для его студентов она стала блестящим началом их карьеры, хотя Кристин Лэдд-Франклин, удовлетворяя при этом всем предъявлявшимся требованиям, из-за того, что она была женщиной, в течение пятнадцати лет не могла получить в университете докторской степени.

В 1916 году Лэдд-Франклин вспоминала о своей работе в университете и Пирсе:

Наверное, в нашей стране никогда не было ни исследовательского центра, в условиях которого можно было бы получить большее удовлетворение от интеллектуальной жизни, ни студентов, способных лучше применить свои оригинальные способности.

Обращаясь к горстке студентов (которые, все же, оказались впоследствии не такой уж незначительной горсткой), Пирс... сидел, по замечанию профессора Джастроу, с видом типичного философа, занятого донесением новой истины, полученной им из некоего неисчерпаемого источника. Он не производил впечатления того, кого можно было бы назвать вдохновенной личностью, а скорее создавал ощущение, что перед нами находился глубокий, оригинальный, беспристрастный и пылкий искатель истины. Не прилагалось никаких усилий для того, чтобы создать связное и непротиворечивое целое из материала каждой лекции. В сущности, его курс был столь изощренным и непредсказуемым, что однажды, к удовольствию студентов, в конце своей лекции он сказал, что нам необходимо создать (для проведения более свободных дискуссий) «Метафизический клуб», хотя лекцию он начал с определения метафизики как «науки туманных размышлений».

Некоторые студенты профессора Сильвестра — поняв, что новая логика, излагавшаяся профессором Пирсом, была связана с тогдашней математикой и что, даже если она с ней и не была связана, то была чем-то,

¹²⁵ W4: xxxviii, Introduction by Houser.

что, в отличие от механических логических упражнений, должно было оказать живительное и проясняющее воздействие на процессы рассуждения — присоединялись к его группе по логике, состоявшей раньше, конечно же, из студентов-философов. Смешанный характер аудитории, как часто бывает на лекциях по современной логике, не позволял лектору сделать так, чтобы его предмет удовлетворял требованиям всех слушателей. В лекциях Пирса не слишком подробно рассматривались вопросы его математической логики... В его лекциях по философской логике мы, несомненно, внимали самому выдающемуся сочинению из тех, что он когда-либо рекомендовал нам, — ряду его мастерских статей по этой теме, уже опубликованных в *Popular Science Monthly* в 1878 году под заголовком «Некоторые пояснения к логике науки»¹²⁶.

После смерти Пирса Джозеф Джастроу, который провел вместе с Пирсом несколько оригинальных опытов, вспоминал, что курсы Пирса по логике дали ему «первое настоящее ощущение интеллектуальной мощи» и что его самым большим даром было его «неиссякаемое умение пробуждать мысль». Он описывал его преподавательские качества:

Личность г-на Пирса зачастую замалчивалась из-за его научного характера. Нетрудно было сложить впечатление о нем как о замкнутом, возможно холодном, точнее склонном к уединению человеке. Основной чертой его характера была благородная застенчивость, смущение при светских беседах и вводных словах, которые было необходимо произносить перед вступлением в прения. У него был щедрый и радушный характер; человеком он был интеллектуально открытым. В этом отношении он прекрасно подходил для того, чтобы встать во главе кружка избранных учеников. При более благоприятных обстоятельствах его академическая карьера могла продлиться значительно дольше, ибо он обладал огромным учительским даром, обладал этим даром от природы, как другие владеют пером или смычком от скрипки.

Молодые люди в моей группе, допущенные в его круг, считали его очень приятным собеседником. В его отношении к нам как к равным не было ни капли панибратства, для этого оно было слишком непосредственным и искренним. Мы были членами его «научного» братства; приветствия были краткими, и мы переходили к делу, которое нас объединяло, в котором он и мы находили больше удовольствия, чем где бы то ни было.¹²⁷

¹²⁶ Christine Ladd-Franklin, «Charles S. Peirce at the Johns Hopkins», *The Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods* 13 (1916): 716–17 (O 1243).

¹²⁷ Joseph Jastrow, «Charles Sanders Peirce as Teacher», *The Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods* 13 (1916): 725 (O 1244).

И Фиш в статье «Пирс в Университете Джона Хопкинса», и — недавно — Натан Хаузер в своем введении к четвертому тому «Сочинений Чарльза С. Пирса» прекрасно в деталях описали отношения Пирса с университетом¹²⁸.

У Пирса была очень тяжелая двойная нагрузка — чтение курсов по логике, требовавших напряженной подготовки, и наблюдения над экспериментами с маятником, продолжавшиеся до декабря, когда у него из-за переутомления произошел очередной нервный срыв. На Рождество Пирс написал Гилмэну письмо, в котором разъяснял природу своего недуга:

Должен сказать вам одну странную вещь, которая, если не произойдет ничего непредвиденного, должна остаться между нами. Из-за определенных симптомов я вчера посетил своего врача в Нью-Йорке, а он затем направил меня на консультацию к другому выдающемуся врачу, сообщив мне, что он считает состояние моего рассудка довольно тревожным. Его не особенно беспокоило обычное душевное расстройство, он опасался чего-то другого; и он был вынужден настоять на том, чтобы я ненадолго задержался в Нью-Йорке, и не обещал, что я вернусь 5 января. Со своей стороны, я не думаю, что дело обстоит так серьезно, как он думает. Напряженная работа в университете и мои лекции в сочетании с уединенной жизнью и состоянием моего телесного здоровья, несомненно, повергли меня в состояние внушающей опасения умственной деятельности и возбуждения. Но я убежден, что я удивлю врачей скоростью, с которой я вновь встану на ноги. Не думаю, что все настолько серьезно. Но полагаю, лучше сказать вам все, что мне известно; вы сможете понять, почему мне, наверно, не удастся приехать 5 января, а также и то, что дело может обернуться хуже, чем я предполагаю, и я могу наделать глупостей.

Кроме вас, я никому ничего не сказал; и прошу вас не напоминать мне об этом, когда я вернусь, потому что я не вернусь, пока все не закончится.¹²⁹

После этого срыва лицевая невралгия, бронхит и разные другие недуги приковали Пирса к кровати до середины января 1880 года, когда он достаточно восстановился, чтобы вернуться в Балтимор для чтения лекций¹³⁰. Бенджамин Пирс слышал его лекции и был восхищен ими; после разговора с ректором Гилмэном он был убежден, что отношения его сына с университетом вскоре перейдут на постоянную основу¹³¹.

Пирс продолжал вести свою напряженную и утомительную двойную жизнь, итогом которой стал очередной приступ болезни, поразивший его

¹²⁸ Fisch, PSP, 35–78; W4: Introduction by Houser.

¹²⁹ CSP to DCG, 25 December 1879, Gilman, JHU.

¹³⁰ См., напр.: Ibid., 28 February 1880, Gilman, JHU.

¹³¹ BP to SMP, 20 January – 5 February 1880, CSPP, HU.

в конце февраля. В апреле 1880 года, до окончания весеннего семестра, он выздоровел и уехал в Европу для участия в конференции по вопросам геодезии от Береговой службы, но в конце мая, находясь в Англии, слег с бронхитом. В июле его неожиданно вызвали домой из-за серьезной болезни отца. В начале августа он прибыл в Кембридж, где и оставался до смерти своего отца в сентябре. Смерть Бенджамина глубоко повлияла на Чарльза как в личном, так и в профессиональном отношении. Его отец помог Чарльзу раскрыть свой собственный гений. За год до своей смерти на заседании Бостонского радикального клуба он говорил, что «видит, что его сын Чарльз теперь продолжает развивать то же, чем некогда занимался он сам, и очень рад этому»¹³².

Со смертью своего отца Чарльз лишился всех целей и ориентиров. Эта утрата была особенно опасна для него, поскольку он не располагал больше ни весомым влиянием отца, способным его защитить и содействовать дальнейшему развитию его профессиональной карьеры, ни решительным присутствием Зины, которая помогла бы ему сохранить эмоциональное равновесие. Он начал поступать совершенно необдуманно и вопреки своим собственным интересам.

Хотя в августе Пирс был уверен в том, что вскоре ему будет предоставлена постоянная должность в Университете Джона Хопкинса, 18 декабря, одновременно с особенно сильным приступом невралгии, он решил оставить работу преподавателя. Объясняя причины своего решения, он писал:

Хотя в моей жизни нет большего удовольствия, чем работа в Университете Джона Хопкинса, все же я боюсь, что весной моя связь с Балтимором должна прекратиться. Я не смог бы договориться о своей работе здесь, не изменив своих отношений с Береговой службой, которую я, конечно же, не могу оставить ради второстепенной должности, занимаемой мною здесь...

Оставив университет, я распрощаюсь с изучением логики и философии.¹³³

Он предложил продать свою библиотеку по логике и философии университету за 550 долларов. Через неделю Гилмэн ответил согласием и во время церемонии ее передачи 22 февраля 1881 года поблагодарил Пирса за прекрасное собрание. Но Пирс колебался; в начале февраля он писал Гилмэну:

Недавно вы любезно высказали пожелание, чтобы в следующем году я продолжил чтение своих лекций. Как вы знаете, я не хочу оставаться

¹³² Sergeant, 379–80, цит. по: W4: xx, Introduction by Houser.

¹³³ CSP to DCG, 18 December 1880, Gilman, JHU.

на прежних условиях. Но я бы с удовольствием получил четкую письменную рекомендацию, которую я мог бы унести с собой в качестве свидетельства того, что университет считает, что мое жалование было заслужено мной по праву. Я не стесняюсь просить об этом, потому что считаю, что я был полезен своим ученикам и вправе получить возмещение.¹³⁴

Хотя попечители не предоставили ему письменной рекомендации, которой он у них просил, была произнесена официальная речь с выражением благодарности. В свете соображений, высказанных Пирсом Гилмэну, то, что в июне Пирс третий раз был назначен преподавателем логики, то есть занял ту же самую должность, от которой отказался в феврале, может показаться странным. Но все же решение у этой загадки очень простое. Через неделю после письма с сообщением о своей отставке Пирс заметил, что его «... уход из университета был исключительно вопросом цены моих услуг...», а в конце марта Сильвестр убедил Гилмэна взять его обратно (хотя попечители уже приняли его отставку) с увеличением жалования с 1500 до 2500 долларов¹³⁵. Общая сумма дохода, получаемого Пирсом в виде жалования в Береговой службе и в университете, приближалась к 5500 долларов, значительный заработок по тем временам (директор Береговой службы получал 6000 долларов), но недостаточный для того, чтобы продолжать вести расточительный образ жизни. Сильвестр писал Гилмэну, выражая благодарность ему за то, что тот оставил Пирса:

Позвольте мне выразить огромное удовлетворение, испытываемое мной от тех мер, которые предприняли во благо университета его попечители, чтобы оставить Крэйга и Пирса. Теперь мы сформировали корпус из ни больше, ни меньше как восьми по-настоящему выдающихся математиков, исследователей и рабочих лошадок: Стори, Крэйг, Сильвестр, Франклин, Митчелл, Лэдд, Роуланд, Пирс; которых, полагаю, все остальные должны признать довольно сильной командой.¹³⁶

Письмо показывает, что Сильвестр считал Пирса и его студентов — Франклина, Лэдд и Митчелла — прежде всего математиками. Сама Лэдд-Франклин говорила, что большинство студентов Пирса были математиками. В университете Пирс много работал в составе этой группы математиков, оказавшей определенное влияние на его образ мысли. Две основные работы, завершённые им в университете, которые он с большим трудом писал во время нервного расстройства в 1880 году, были посвящены алгеб-

¹³⁴ Ibid., 4 February 1881, Gilman, JHU.

¹³⁵ Ibid., 9 February 1881, Gilman, JHU.

¹³⁶ James Joseph Sylvester to DCG, 28 April 1880, Gilman, JHU.

ре логики и связям между математикой и логикой. Другая важная публикация, вошедшая в совместное со студентами издание «Исследований по логике», была посвящена логике вероятности, также математической по содержанию.

Уладив вопрос с чтением лекций, Пирс провел лето в Наханте и Кембридже и вернулся в Балтимор как раз к началу осеннего семестра. Летом умер директор Паттерсон; пост директора Береговой службы занял Джулиус Э. Хилгард, вся профессиональная жизнь которого была связана со службой и которого Бенджамин Пирс после своего ухода обошел вниманием, рекомендовав назначить директором Паттерсона. Смерть Паттерсона лишила Пирса единственного покровителя в Береговой службе. К несчастью для Пирса, Хилгард затаил обиду на экстравагантного гения, ставшего теперь его подчиненным. К тому же, Хилгард был слабым управленцем, неприкрытое пьянство которого стало предметом разбирательства на комиссии Аллисона в 1885 году, когда главной мишенью оказался сам Пирс.

Весной 1882 года Пирс продолжил чтение своего курса лекций и представил Береговой службе план работ, который предусматривал проведение летних исследований на горе Десерт Айленд, на островах Шелс, на горе Вашингтон и в Нантукете, а зимой – поблизости от Балтимора – он намеревался побывать в Фредерике и Хейгерстауне, штат Мэриленд, и в паре мест в Аллегансах¹³⁷. Эти славные планы пришлось отменить, так как сначала конгресс, а затем и министр финансов, который, будучи старым добрым кливлендским демократом, значительно урезал находившиеся в его ведении бюджеты и, в частности, бюджет Береговой службы, потребовали предоставить им результаты маятниковых исследований. Сам же Хилгард, видимо, не хотел или, скорее всего, не мог потребовать от Пирса предъявления результатов. В итоге ему и его помощнику, генералу Ричарду Каттсу, под давлением конгресса и министра финансов пришлось заявить Пирсу, что выделение средств на будущие исследования напрямую зависит от скорейшего предоставления им давно просроченных отчетов. Пирс старался удовлетворить обоих работодателей, но обстоятельства в конечном итоге вынудили его отказаться от чтения лекций во время осеннего семестра 1882 года, и вместо приятного лета в Новой Англии он в жаре Нью-Йорка усиленно писал «Ежегодные отчеты» для Береговой службы, включавшие некоторые материалы, датированные еще 1876 годом. С мая по сентябрь он находился на станциях в Вашингтоне, Хобокене, Олбани и Монреале. Пирс открыто ездил в Монреаль и Олбани вместе с Жюльетт, что привлекло внимание Хилгарда

¹³⁷ CSP to JEH, 1 June 1882, NA, CGS, Assts. N-R, 1882.

да. В декабре вместе с французской полевой партией он основал станцию в Сент-Огастине и Саванне. В конце года Пирс вернулся в Вашингтон, где дожидался своего назначения профессором логики в университете.

Новый год сулил Пирсу многое. Он был уверен, что его назначат профессором, как было обещано ректором Гилмэном. Неспособность Паттерсона обеспечить его повышение в Береговой службе означала, что он мог оставить ее со спокойной душой и без сожалений, тем более что ходить в подчиненных у Хилгарда казалось ему унижительным. Он очень хотел остальную часть своей жизни посвятить глубокому и плодотворному изучению логики науки, как он того давно хотел. Но судьба распорядилась иначе: впереди его ждало десятилетие нужды и падения.

Перевод с английского Артема Смирнова

В примечаниях ссылки на рукописи (MS) и письма (L) соответствующим шифром отсылают к «Личным документам Чарльза Сандерса Пирса» (Charles Sanders Peirce Papers), хранящимся в Ходжтонской библиотеке, Гарвардский университет. Ссылки на прижизненные публикации Пирса помечены буквами P или O, стоящими в конце примечания. (См.: Hardwick, Charles S., eds. *A Comprehensive Bibliography and Index of the Published Works of Charles Sanders Peirce with a Bibliography of Secondary Studies*. Greenwich, Connecticut: Johnson Associates, Inc., 1977).

Сокращения

Имена

BP – Бенджамин Пирс
 CEP – Шарлотт Элизабет Пирс
 CPP – Карлайл П. Паттерсон
 CSP – Чарльз Сандерс Пирс
 CWE – Чарльз У. Элиот
 DCG – Дэниел К. Гилмэн
 ECP – Эдвард К. Пикеринг
 HJ – Генри Джеймс
 JEH – Джулиус Эразмус Хилгард
 JMP – Джеймс Миллс Пирс
 JW – Джозеф Уинлок
 MFP – Мелузина Фэй Пирс
 SMP – Сара Миллс Пирс
 WJ – Уильям Джеймс

ДЖОЗЕФ БРЕНТ

Книги и архивы

Abbot – Francis Ellingwood Abbot Papers
CGS – Береговая и геодезическая служба
CP – *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*
CSPP – Charles Sanders Peirce Papers
Eliot – Charles W. Eliot Papers
Gilman – Daniel Coit Gilman Papers
HU – Гарвардский университет
James – William James Papers
JHU – John Hopkins University
Mitarachi – Sylvia Wright Mitarachi Personal Collection
NA – National Archives
Pickering – Edward C. Pickering Papers
PSP – *Peirce, Semiotic, and Pragmatism: Essays by Max H. Fisch*
Winlock – Joseph G. Winlock Papers

Библиография

Работы Ч. С. Пирса

Пирс Ч. С. *Избранные философские произведения*. М.: Логос, 2000.

Peirce, Charles S. *Chance, Love, and Logic: Philosophical Essays by the Late Charles S. Peirce, the Founder of Pragmatism*. Edited by Morris R. Cohen. New York: Barnes & Noble, Inc., 1923.

Peirce, Charles S. *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*. Edited by Charles Hartshorne and Paul Weiss. Vols. I – VI. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1931–35.

Peirce, Charles S. *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*. Edited by A. Burks. Vols. VII – VIII. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1958.

Рукописи и письма

Abbot, Francis Ellingwood. *Papers*. Harvard University Archives, Pusey Library, Cambridge, Massachusetts.

Eliot, Charles W. *Papers*. Harvard University Archives, Pusey Library, Cambridge, Massachusetts.

Gilman, Daniel Coit. *Papers*. Special Collections. Milton S. Eisenhower Library, The Johns Hopkins University.

Harvard University Corporation *Papers*. Harvard University Archives, Pusey Library, Cambridge, Massachusetts.

James, William. *Papers*. The Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.

Mitarachi, Sylvia Wright. *Papers*. Schlesinger Library, Radcliffe College, Cambridge, Massachusetts.

- Norton, Charles Eliot. *Papers*. The Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
- Peirce, Benjamin. *Papers*. The Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
- Peirce, Charles S. *Papers*. The Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
- Pickering, E. C. *Papers*. Harvard University Archives, Pusey Library, Cambridge, Massachusetts.
- Winlock, Joseph G. *Papers*. Harvard University Archives, Pusey Library, Cambridge, Massachusetts.

Правительственные документы

- U.S. National Archives. Records of the Coast and Geodetic Survey. Record Group 23. Superintendent's Files (1866–1905):
Appointment Division Correspondence, 1860–1891.
Letters Received from Assistants: 1867–1875; N – Z 1876; H – Q 1877; M – Q 1878; L – Q 1879; N – R 1882
Private Correspondence 1874–1877: 1881–1885.
Report of the Superintendent of the United States Coast Survey 1870.

Статьи

- Fisch, Max H. «Was There a Metaphysical Club?» In *Studies in the Philosophy of Charles Sanders Peirce*, edited by Edward C. Moore and Richard S. Robin. Amherst: The University of Massachusetts Press, 1964.
- Jastrow, J. «Charles S. Peirce as a Teacher». *The Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods* 13 (1916): 723–726.
- Ladd-Franklin, Christine. «Charles S. Peirce at the Johns Hopkins». *The Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods* 13 (1916): 715–722.
- Lenzen, Victor F. «Charles S. Peirce as Astronomer». In *Studies in the Philosophy of Charles Sanders Peirce*, edited by Edward C. Moore and Richard S. Robin. Amherst: The University of Massachusetts Press, 1964.
- Lenzen, Victor F., and Multhaupt, Robert P. «Developments of Gravity Pendulums in the 19th Century». *United States National Museum Bulletin* 240, paper 44 (1965): 301–348.
- Peirce, Melusina Fay. *Atlantic Monthly* (December 1873): 701–716.
- Venn, J. Review of *Studies of Logic*. *Mind* 8 (1883): 594–603. *Washington Post*, 25 July 1885.
- Wiener, Philip P. «The Peirce-Langley Correspondence and Peirce's Manuscript on Hume & the Laws of Nature». *Proceedings of the American Philosophical Society* 91, no. 2 (1947): 201–228.

Knuzu

- Agar, Herbert. *The Price of Union*. Boston: Houghton Mifflin Co., 1966.
- Archibald, Raymond Clare. *Benjamin Peirce, 1809–1880: Bibliographical Sketch and Bibliography*. Oberlin, Ohio: The Mathematical Association of America, 1925.
- Arieti, Silvan, ed. *The American Handbook of Psychiatry*. Vol. 1. New York: Basic Books, Inc., 1959.
- Atkinson, Norma Pereira. «An Examination of the Life and Thought of Zina Fay Peirce, an American Reformer and Feminist». Ph. D. diss., Ball State University, 1984.
- Baring-Gould, S. *Curious Myths of the Middle Ages*. Philadelphia: Second Series, 1868.
- Clifford, W.K. *Fortnightly Review* 23 (1875): 788–789.
- Esposito, Joseph L. *Evolutionary Metaphysics: The Development of Peirce's Theory of Categories*. Athens: Ohio University Press, 1980.
- Fay, Amy. *Music-Study in Germany: From the Home Correspondence of Amy Fay*. Edited by the author of «Cooperative Housekeeping». Chicago: Jansen, McClurg & Co., 1881.
- Fisch, Max H. *Peirce, Semeiotic, and Pragmatism: Essays by Max H. Fisch*. Edited by Kenneth Laine Ketner and Christian J.W. Kloesel. Bloomington: Indiana University Press, 1986.
- Hardwick, Charles S., eds. *A Comprehensive Bibliography and Index of the Published Works of Charles Sanders Peirce with a Bibliography of Secondary Studies*. Greenwich, Connecticut: Johnson Associates, Inc., 1977
- Houser, Nathan. Introduction to *Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition*, vol. 4, edited by the Peirce Edition Project. Bloomington: Indiana University Press, 1989.
- Murphey, Murray G. *The Development of Peirce's Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press, 1961.
- Peirce, Melusina Fay. *New York: A Symphonic Study in Three Parts*. New York: Neale Publishing Co., 1918.
- Perry, R.B. *The Thought and Character of William James*. 2 vols. Boston: Little, Brown & Co., 1935.
- Shakespeare, William. *The Works of Shakespeare*. Edited by William George Clark and William Aldis Wright. London: Macmillan & Co., 1911.

БОРИС ДОМБРОВСКИЙ

КАЗИМИР ТВАРДОВСКИЙ: ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ

«Я ОБРАЗЦОМ ДЛЯ СЕБЯ ПОСЧИТАЛ
СОКРАТА...»

Посвящается В. А. Смирнову

Вынесенные в заглавие слова принадлежат К. Твардовскому и произнесены им во вступительной лекции во Львовском университете 15 ноября 1895 года. Этот день считается датой основания философской школы, названной позже Львовско-варшавской, и служат точкой отсчета событий, канва которых прослеживается в пока еще немногих обобщающих трудах, посвященных этому философскому содружеству¹. В одном из таких исследований² даже говорится, что Школа возникла «из ничего», т. е. «на пустом месте». С позиции внешнего наблюдателя это действительно так. Стремление же объяснить побудительные мотивы, послужившие стимулом к возникновению Школы, как правило, ограничиваются ссылкой на харизматичность личности ее основателя. Однако харизма Твардовского мнимая, ибо он не скрывал ни убеждений, ни взглядов, а если и не высказывал их, например, в вопросах морали, то его поступки иногда были красноречивее слов. Можно даже сказать, что требовательный характер Твардовского являл собою воплощение нераздельности слова

¹ Первыми в мировой литературе монографиями о львовско-варшавской школе, в которых сделаны попытки обобщения, были книги З. Йордана «Развитие математической логики и логического позитивизма в Польше между двумя войнами» (Oxford, 1945) и Г. Сколимовского «Польская аналитическая философия» (London, 1967).

² Wolenski [1985], S. 6.

и поступка, когда слова становились поступками, а поступки оправдывались словами. Эта прямая зависимость слова и дела удивляла окружение Твардовского даже тогда, когда она не была редкостью и еще высоко ценилась в обществе. Как кажется, именно в таком обществе ему удалось реализовать сократовский идеал нераздельности гносеологических и этических ценностей, состоящий в том, что провозглашаемая философия подкреплялась делами, а жизнь посвящалась поискам истины.

Чаще всего факты биографии в научных публикациях ограничиваются упоминанием важнейших дат жизни и деятельности на выбранном поприще и выносятся в примечания. Поскольку жизнь и деятельность в сократовском идеале — это одно и то же, то автор посчитал невозможным их разделять и в основной части этой работы.

Твардовский Казимир Ежи Адольф герба Огоньчик из Скрипны родился 20 октября 1866 г. в Вене. Хотя его отец и был государственным служащим достаточно высокого ранга, незначительные доходы семьи не позволяли всем детям дать отличное образование. После долгих хлопот отцу удалось добиться для одиннадцатилетнего Казимира места в Терезианской Академии, где будущий философ все восемь лет гимназии пробыл в закрытом учебном заведении³. О жизни в Терезиануме (так обычно называлась Академия, основанная Марией Терезией) Твардовский вспоминал: «В интернате поддерживалась строгая дисциплина, подчиняться которой было чрезвычайно трудно, даже мучительно. И все же я очень многим обязан Терезиануму. [...] Академия дала мне не только основательную подготовку по курсу классической гимназии и глубокие знания языков, но также способствовала совершенствованию моего тела уроками гимнастики, плавания, фехтования, конной езды и строевыми занятиями. Одним словом, она подготовила меня к терпеливому и систематическому труду, блестящим примером в котором для меня был отец, чьи советы и поучения имели большое влияние на мое дальнейшее развитие» (Твардовский [1997с], С.19).⁴ Особенно Твардовский отмечает приобретенные

³ В Академии Марии-Терезии для детей дворян К. Твардовский учился и воспитывался за счет Фонда Галицийского Краевого Отдела.

⁴ Во время учебы в интернате Твардовский вел дневник, предназначенный вначале для близкой ему особы, в котором он поверял ей свои переживания, интересы и планы. Вот как описан обычный день в Терезиануме: «Вторник. 17.10.1882. Подъем в половине 5 — учиться до половины 7, потом завтрак, продолжающийся 8 минут, потом учеба до 8. С 8 до 12—школа, с 12 до 1 — гимнастика, с половины 2 до половины 3 свободное время, но проведенное в саду. С половины 3 до половины 4 — учеба, с половины 4 до половины 5 — школа. С половины 5 до 5 — сад, с 5 до 6 — фортепиано, с 6 до 7 — английский, с 7 до 8 — учеба, с 8 — ужин, с 9 — время,

в гимназии знания древних языков, оказавшихся чрезвычайно полезными в будущих занятиях философией. Конечно, не все полученные в Академии знания пригодились будущему философу, но манера их изложения, преподанная в курсе философской пропедевтики, стала отличительной чертой творчества Твардовского. Более чем через сорок лет после окончания гимназии он с гордостью и удовлетворением вспоминал, что «[...] старания воспитать в учениках способность связно, просто и по существу излагать свои мысли в моем случае не остались безуспешными» (Твардовский [1997с], С.20).

Первая встреча с философией произошла в библиотеке отца, где внимание подростка привлекла книга «Сила и материя» Бюхнера. «Так, будучи учеником третьего класса гимназии – вспоминает Твардовский, – я впервые познакомился с мировоззрением, которое не только отличалось от католического, но было ему противоположным и даже враждебным» (Твардовский [1997с], С.20). В этом свидетельстве сквозит удивление, перешедшее много позже в критицизм и отказ принимать на веру даже общепринятые истины (за исключением, пожалуй, истин морали), ибо таковые могли не оказаться истинами в «последней инстанции», каковой со временем стал для Твардовского рассудок. Другим ярким воспоминанием, относящимся к периоду учебы в гимназии, стало впечатление, вызванное чтением «Размышлений» Марка Аврелия. О нем Твардовский пишет так: «[...] без преувеличения «Размышления» римского императора стали тогда моим Евангелием. Я старался жить, строго следуя его принципам, и нашел в советах философа на троне действенное средство, помогавшее с достоинством переносить все более меня угнетающую интернатовскую дисциплину. Я охотно признаю, что многим обязан стоическому восприятию и пониманию жизни, причем отношение этой философии к христианству сыграло для меня также немаловажную роль» (Твардовский [1997с], С. 20).⁵

В 1885 г. сдав экзамены на аттестат зрелости Твардовский вначале 1886 г. поступает в Венский университет. Учеба проходит под знаком Франца Brentano, чьи лекции производили на молодого философа глу-

предоставленное нам, с 9 до 10 – учеба, потом дневник, несколько слов молитвы; когда бьет без 15 десять я уже в кровати». (Цит. по Jadczaк [1991], S. 5)

⁵ Несмотря на выдающиеся результаты в учебе, награды и прочие отличия, которыми Твардовский был отмечен в Терезиануме, он тосковал по Родине, с которой знакомился во время приездов на каникулы к родственникам во Львов и Краков. В своем Дневнике под датой 29. IX.1882 он записывает: «Я в состоянии вытерпеть многое; но лишь одно более, чем что-либо другое тяготит мое сердце и я всегда спрашиваю: Почему я не могу получить образование на Родине, среди земляков? Почему среди чужих?». (Цит. по (Jadczaк [1991], S. 5)

бочайшее впечатление, а личность вызывала чувства искреннего восхищения и уважения. Твардовский мог посещать дом Brentano и возникшее на этой почве общение между мастером и учеником приобрело бесценный личностный характер. «Brentano — вспоминает его благодарный ученик, — стал для меня образцом не только философа-исследователя, неотступно стремящегося к познанию истины, но и учителем философии, собирающим вокруг себя по примеру античных философов учеников, относясь к ним как к своим младшим друзьям [...]. Пример его личной жизни мне ясно показал, что способность отчетливо формулировать и излагать труднейшие проблемы и попытки их решения невозможны без ясного и честного познания себя. Характерная для Brentano строгая понятийная различимость, исключаяющая бесплодные замысловато-хитроумные игры, стала впоследствии одним из важнейших программных пунктов моих собственных работ» (Твардовский [1997с], С. 22–23).

В годы учебы Твардовский принимает активное участие в работе философского кружка, положившего начало философскому обществу при Венском университете, заместителем председателя которого он стал, будучи еще студентом.⁶ После четырехлетней студенческой жизни и года добровольной службы в армии (1889–1890) Твардовский приступает к работе над диссертацией, посвященной вопросу различения терминов «идея» и «перцепция» у Декарта. Диссертация была представлена философскому факультету в начале 1892 г., а весной после сдачи двухчасового ригорозума по философии и одночасового осенью по математике и физике Твардовскому была присвоена степень доктора философии.⁷ Предоставленная Министерством культуры и просвещения стипендия позволила продолжить научное образование в Лейпциге у Вундта и в Мюнхене у Штумпфа.

В период подготовки к габилитации с 1892 по 1895 годы Твардовский работает в математическом бюро общества по страхованию жизни. Жалование было скромным и вынуждало молодого доктора подрабатывать частными уроками и публикациями в периодической прессе, в частности, писать философские эссе и статьи, пропагандирующие взгляды Brentano, разделяемые, впрочем, и автором. Пафос этой философской

⁶ Учась на чужбине Твардовский не теряет связи с Польшей, часто посещая и подолгу пребывая в имении гр. Дзедушицкого, расположенного в местечке Езуполь на берегу Днестра, где он выполняет обязанности домашнего учителя.

⁷ Руководителем диссертации Твардовского был не Brentano, а Р. Циммерман. Во время учебы Твардовского Brentano, в связи с осложнениями личного характера (женитьба после оставления духовного сана), преподавал в Венском университете только в качестве приват-доцента.

публицистики, значительная часть которой написана польским языком, как нельзя лучше демонстрирует намерения будущего основателя Львовско-варшавской школы, о которых подробнее будет сказано в последующих разделах.

Габилитационное сочинение Твардовского в известной мере продолжает тему докторской диссертации. Несмотря на то, что Brentano постоянно предлагал своему ученику исследовать проблему классификации наук у Аристотеля, однако тот более не хотел заниматься историко-философской проблематикой. Стремление как можно более «ясно и отчетливо представить декартовские понятия ясной и отчетливой перцепции и ясной и отчетливой идеи» привели молодого доктора к проблеме сущности понятия вообще, а поскольку понятие — это особая разновидность представления, то он был вынужден заняться также и проблемой представления как такового. В результате в 1895 г. появилась работа «К учению о содержании и предмете представлений. Психологическое исследование», написанное, как свидетельствует автор, «в духе Brentano-Б. Больцано». Габилитационное сочинение было с успехом принято в кругу специалистов и благодаря ему Твардовский получает право преподавания в Венском университете.

Преподавательскую деятельность молодой приват-доцент начинает с чтения курса логики. Свои первые впечатления на педагогическом поприще Твардовский спустя много лет все еще вспоминает с ноткой жертвенности: «Мне доставляло большую радость видеть, что моя педагогическая деятельность находит живой отклик у слушателей; это радовало меня еще и потому, что я рассчитывал на довольно длительную карьеру приват-доцента и даже был готов пробыть в этом звании всю свою жизнь» (Твардовский [1997с], С. 27).⁸ Однако пробыть всю жизнь приват-доцентом Твардовскому не пришлось. Вследствие сложившихся обстоятельств во Львове открылась вакансия и после годичной приват-доцентуры в Вене он смог занять кафедру в университете с польским языком преподавания. Вступительная лекция во Львовском университете была прочитана 15 ноября 1895 г. и открывала, подобно венской, курс логики. Молодому профессору едва миновало 29 лет. Через три года Твардовский стал полным профессором. Один из первых учеников следующим образом описывал начало преподавательской деятельности основателя Львовско-варшавской философской школы: «Лекционный зал я застал почти пустым.

⁸ Оценить решимость молодого философа можно сполна, если учесть, что должность приват-доцента, находящаяся за штатом университета, не оплачивалась. Кроме того, будучи поляком Твардовский не мог надеяться получить кафедру в немецком университете Австрии.

Несколько знакомых [...], чуть более осмелевших посторонних слушателей заглядывало немного из вежливости, немного из интереса посмотреть как выглядит и как преподает молодой профессор. Медленно зала стала заполняться и скоро в ней не хватало мест, а со временем лекции нужно было перенести за стены университета, ибо ни одна из аудиторий университета не могла вместить слушателей, которые уже ранним утром спешили занять места» (Witwicki [1920], S. XI). Основной упор в преподавании Твардовский делал не на специальных лекционных курсах, а на таких, которые могли бы познакомить слушателей с основными философскими дисциплинами, с их важнейшими проблемами, с методами их трактовки и с наиболее характерными попытками их решения. Достаточно много времени отводилось истории философии, причем знакомство с работами древних авторов проходило на языках оригиналов. Таким образом, знание как истории философии, так и иностранных языков, с непременно включением древних, явилось фундаментом философского образования учеников Твардовского, что с большим успехом отразится в их творчестве. Несмотря на то, что для чтения специальных курсов оставалось мало времени, Твардовский выбрал такую педагогическую установку, которая позволяла наиболее полно раскрыться талантливым студентам. Ее он определял следующим образом: «[...] в этих «основных лекционных курсах» я всегда старался обращать внимание слушателей на необходимость тщательной отработки методической точки зрения, так как прежде всего стремился к тому, чтобы показать посвятившим себя философии студентам правильный путь к цели, поиск и выбор которой я им всецело представлял». В этом месте, как кажется, стоит прервать цитирование и переформулировать установку Твардовского в терминах отечественной философии: каждый студент выбирал предмет за сродностью, при условии его тщательного изучения и исследования.⁹ Продолжим цитату: «Самостоятельность мышления наряду с правильным методом и незамутненной любовью к истине всегда казались мне наиболее надежной гарантией успеха в научной работе. Но поскольку лекции — это не очень подходящее средство, с помощью которого можно было бы оказывать влияние на студенческую молодежь в вышеупомянутых направлениях, я искал по примеру Brentano, возможности непосредственного общения со своими учениками» (Твардовский [1997с], С. 29). С этой целью в 1897/98 учебном году был открыт первый в Польше философский семинар, вскоре присое-

⁹ В польской литературе о Львовско-варшавской школе подход Твардовского получил название «минималистской философии» (Woleński [1985]), но там эта характеристика, пожалуй, более применима к методу изучения, а не к предмету и не объясняет широту поля исследований, культивировавшегося в Школе.

диненный к курсу экспериментальной психологии, на основе которого в 1920 г. был открыт самостоятельный институт психологии.¹⁰

Семинар был разделен на два уровня: вступительный (*proseminarium*) и собственно семинар. Студенты, выбравшие философию своей специальностью могли участвовать в *proseminarium* после сдачи коллоквиумов, в семинаре — после года работы в *proseminarium*. О принятии в семинар Твардовского решающими были образцовая посещаемость и пунктуальность, еженедельная сдача письменных заданий, а также оценка вступительной работы. В семинарах число участников не превышало 30, тогда как *proseminarium* мог насчитывать их до 100. В философском семинаре участие принимали студенты всех лет обучения, начиная со второго. Здесь под руководством профессора проходило чтение классиков философии и интерпретация их трудов. Каждый из участников семинара был обязан написать работу, содержащий анализ фрагментов философского произведения и в конце года представить ее к оценке. Часто второе из очередных заданий носило характер самостоятельной научной работы, которая могла быть представлена как докторская диссертация или предложена в качестве кандидатской работы при сдаче экзаменов на звание учителя гимназии.

Чтобы сохранить возникшие во время учебы дружеские отношения Твардовский основывает в 1904 г., в день смерти Канта, Польское философское общество, самую старую из ныне существующих в Польше организаций такого рода. Благодаря членству в Польском философском обществе учениками Твардовского продолжали считать себя не только философы, но и ученые самых различных специальностей. К таковым себя относили математики Х. Штейнгауз и С. Банах, языковед Е. Курилович, филолог-классик Р. Ганшинец, ориенталист С. Шайер и многие другие.

В философии Твардовский усматривал не только науку, но также и школу духа, формирующую моральные идеалы и защищающую их. Следствием этой позиции было формирование философской среды, которое он считал своим долгом и долгом своих учеников. В Автобиографии он писал: «Я никогда не уставал превозносить философию не только как королеву наук, но и как путеводную звезду человеческой жизни» ([1997с], С. 32). А в благодарственной речи Твардовского к Совету Гуманитарного отделения Варшавского университета по случаю присуждения ему в 1929 г. звания доктора *honoris causa* можно прочесть: «Уча философии я стремился к нескольким связанным между собою целям. Прежде

¹⁰ К моменту занятия Твардовским кафедры философии в университете психология еще не выделилась в самостоятельную дисциплину и ее относили к философским наукам. Поэтому в начальном периоде преподавания должность Твардовского называлась «профессор философии и психологии».

всего я стремился возбудить в умах молодежи заинтересованность философией и осознание важности философских проблем. Затем я старался направить молодежь к методологическому исследованию этих вопросов, причем неизмеримо важными формальными чертами этой методичности я считаю ясность, четкость и самостоятельность. Не жалел я труда и в том, чтобы по мере своих сил придать эти черты также своим исследованиям и словам — сказанным или писанным, — в которых воплощал исследования и их результаты. Однако помимо этого я считал, что кто действительно хочет быть философом, тот не может ограничиться теоретическим поиском и словами, но должен любить мудрость в значении древних, у которых она охватывает наряду с определенными интеллектуальными ценностями также ценности моральные, делая из философа не только человека, стремящегося к истине, но и к справедливости. Проникнутый этим значением философии для жизни я не отстранялся от практической деятельности, когда в ней возникала необходимость, стремясь — насколько это было в моих силах — выявить проявления любви к правде и справедливости также и в действиях».¹¹

Состояние философских исследований в Польше Твардовский оценивал негативно: салонная, романтическая философия, окрашенная в национальные цвета резко контрастировала с научной философией, культивируемой в столице Австро-венгерской монархии. «Поэтому — ставит своей целью молодой профессор, — я чувствовал себя обязанным донести своим землякам, и в особенности студенческой молодежи, не только дух и метод этой философии, но и отношение к философии, тот особый стиль философствования, которому обучался у Brentano» (С.29).

Обратимся к свидетельствам тех, на кого было направлено внимание Твардовского. Котарбинский [1936] вспоминает: «Найдя в Польше целину, поросшую буйными сорняками, он закатал рукава и начал вырывать бурьян, насаживая ростки полезные. Этот великий, мудрый и без меры работающий учитель попросту взялся за то, чтобы научить легковых поляков работать так, как умеют работать немцы. Конечно, в той сфере, которая была для него доступна. Речь шла главным образом о характере. За живое брало частое мнение о поляках: Die Polen sind ja so unzuverlässig!¹² Несерьезные! Трудно на нас положиться! И хуже всего, что критика била в цель... Тогда взялся этот преданный Польше Человек, воспитанный в немецкой солидности за, скажем так, определенный у нас Kulturkampf... И начал искоренять соломенный огонь, не пунктуальность, не систематичность,

¹¹ Цит. по R.Jadczak. «Warszawski doktorat h. c. filozofii dla Kazimierza Twardowskiego» // Zagadnienia Naukoznawstwa, nr.2, 1991. S.13.

¹² Поляки все-таки — неблагонадежные! (нем.)

погоню за тем, что кого более всего именно сейчас занимает, а принуждал к просиживанию фалдов, к признанию органической связи, к различного вида гамам, подробным рефератам, объективным резюме» (S. 899). С целью организации работы семинара Твардовский принес в университет свою личную богатую библиотеку. Для научной работы были созданы идеальные условия. Каждый студент имел право с 7 до 22 часов пользоваться лекториумом, от которого имел личный ключ. В лектории он располагался «своим» столом со всеми необходимыми книжками, полученными из семинарской библиотеки. (В 1930 г. библиотека насчитывала около 8000 томов).¹³ Каждый студент имел возможность беседовать с профессором, который между 12 и 13 по полудни принимал в своем кабинете. Сам же профессор в университете проводил по 8–9 часов, часто заглядывая в лекториум и подолгу общаясь с членами семинара. Внешние рамки присутствия Твардовского были наполнены богатым и неповторимым, в своем роде единственным влиянием учителя на учеников. Чтобы лучше узнать своих подопечных профессор вел подробную картотеку, в которой каждый имел свою учетную карточку, содержащую оценки сданных коллоквиумов, прореферированных статей и книг, характеристику интересов и достижений. В архиве семинара сохранялись также и все работы учеников. Помимо этапов, связанных с формальным прохождением учебы, студенты участвовали в заседаниях философского кружка при семинарской библиотеке, а для продвинувшихся вперед участников Твардовский проводил *privatissimum*. О атмосфере, царившей на этих дискуссионных студенческих форумах, один из первых учеников Твардовского вспоминал так: «В этом кружке без оглядки на направление своих научных интересов свободно высказываются молодые люди, там учатся формулировать собственные мысли и критиковать чужие в границах свободной и живой дискуссии под руководством профессора. Тот философский кружок был ареной первых публичных выступлений и первых творческих усилий всех

¹³ В Woleński [1985] рассказывается о переданном устной традицией случае, прекрасно характеризующим отношение Твардовского к «мелочам» академической жизни, в конечном счете и сформировавшим Школу. Случилось так, что один из читателей взял книжку на ночь, что категорически запрещалось правилами лектория. Этот факт стал известен Твардовскому и нарушитель тотчас был изгнан из семинара профессора. Когда группа приятелей нарушителя попросила Твардовского изменить решение, тот мотивировал его следующим образом: «Или он читал правила лектория и ничего в них не понял, или же понял и сознательно их нарушил. В первом случае он глуп, а во втором — неэтичен, а я не хочу иметь дел ни со студентами глупыми, ни с неэтичными и поэтому не могу изменить принятое решение.»

учеников Твардовского, которые позже заняли самостоятельные позиции в науке и педагогике. Душой этого кружка всегда был Твардовский. Он никогда его не оставлял, несмотря на различные навалившиеся дела. Здесь профессор забрасывал невод на души и юные головы. Здесь он наблюдал, как какой-нибудь слушатель естественных наук или филологии загорался вопросами психологии, или же юрист первого курса проявлял особые таланты в дедукции. Не много проходило времени, как уже оба пробовали силы на поле философских исследований. Твардовский умел их поощрять, занять, зажечь, ободрить и помочь в преодолении трудностей. Времена философского кружка у всех учеников Твардовского оставили неизгладимую память как бы духовного пробуждения» (Witwicki [1920], S. XVI).

Преподавательская деятельность Твардовского проходила не только в стенах университета. Он весьма активно занимается популяризаторством философии, психологии и педагогики, читая лекции как во Львове – столице тогдашней Галиции, так и в небольших городах и местечках провинции. Его выступления проходят с успехом и собирают по тем временам большое число слушателей.¹⁴

В начале 1906 г. Твардовский прочитал цикл лекций по средневековой философии. В 1910 г. Этот цикл был назван «Шесть лекций по средневековой философии» и выпущен отдельным изданием. Книжка вызвала противоречивую реакцию. Часть рецензентов посчитала ее появление своевременным и заполнившим лакуну в отечественной популяризаторской литературе, отметив попутно значительные дидактические достоинства издания. Часть же критиков католической ориентации приняла книжку с возмущением, вменяя автору незнание предмета изложения, подтасовку фактов, ведущую к дискредитации обсуждаемых вопросов, а то и просто обвиняя автора в нападках на церковь.¹⁵

Философское отделение университета наделило сравнительно молодого ученого ответственными административными функциями. Так

¹⁴ Так цикл из семи лекций, названный «Греческая философия», который Твардовский прочитал в 1900/1901 акад. году во Львове посетили общим числом 1958 человек, или в среднем на лекции присутствовало по 280 слушателей; 13. I.1901 в Тернополе на лекции «О оптических иллюзиях» находилось 316 слушателей 3. II. в Золочеве – 223 слушателя, 24. III в Станиславе (Ивано-Франковске) – 428 человек, а 10. III.1901 на лекции «О понятии прекрасного» – 303 слушателя [1].

¹⁵ Эти публикации, независимо от действительной их ценности, создали в некоторых кругах католического клира весьма нелестное мнение об авторе, что позже оказало влияние на отношение церковных иерархов к некоторым начинаниям Твардовского. См. рецензии в Библиографии Д. Громской, помещенной в (Twardowski [1965], S. XXV), № 103–112.

в 1900/1901 и 1904/1905 acad. годы Твардовский исполнял обязанности декана, а в 1901/1902 и 1905/1906 гг. — заместителя декана. Зимой 1908/1909 acad. года Академический Сенат поручил Твардовскому реорганизовать канцелярию Львовского университета и упорядочить записи в матрикулах студентов. Некоторое время Твардовский как обычный чиновник руководил канцелярией, приводя в идеальный порядок документацию. В 1913 г. Сенат университета за выполнение этой работы наградил Твардовского памятным перстнем.

В эти годы участие Твардовского в научной жизни общества проявилось в создании организационного комитета Педологического общества, которое возникло во Львове в 1901 г. Он входит также в состав Президиума, проходившего в октябре 1909 г. в Варшаве I съезда польских психиатров, неврологов и психологов, на котором выступил с докладом «О методе в философии». В 1909 г. Твардовский участвовал в качестве сопредседателя Организационного комитета в работе II Польского педагогического конгресса, проходившего во Львове. На съездах польских врачей и натуралистов Твардовский возглавлял философскую секцию. На одном из этих съездов возникла идея проведения Первого Польского Философского Съезда, который и прошел во Львове в 1923 г. Во главе организационного комитета съезда (и всех последующих междувоенных съездов) стоял Твардовский, который своим выступлением открыл его работу.

Стремясь поддерживать контакт с европейской наукой Твардовский принимает участие в апреле 1904 г. в съезде экспериментальной психологии, происходившем в Гессене, а во время научного отпуска при помощи финансовой поддержки правительства в том же году прибывает в Грац, где лично знакомится с А. Мейнонгом, посещает Прагу, Галле, Вюрцбург, Вроцлав, Лейпциг, Гёттинген и Париж. Везде он знакомится с психологическими лабораториями. В апреле 1910 г. Твардовский участвует в работе IV Международного Съезда экспериментальной психологии в Инсбруке, а в 1907 г. он входит в состав Польского организационного комитета Международного Конгресса психиатров, неврологов и психологов, проходившего в Амстердаме. В 1913 г. Твардовский возглавляет Польский организационный комитет IV Чрезвычайного съезда школьной гигиены, проходившего в Буффало, и становится членом его почетного президиума.¹⁶

¹⁶ Эти международные контакты преследовали не только научные цели, но и патриотические. Участие поляков в международных собраниях ученых, подготавливаемых национальными комитетами, было для них одной из форм создания собственного государства в условиях раздела Польши существующими в то время империями: Российской, Австро-венгерской и Прусской. Патриотическая и научная позиции Твардовского полностью оправдались после возро-

Особенно ярко организаторский талант Твардовского проявился в годы I мировой войны. В июне 1914 г. Сенат университета избрал Твардовского на 1914/1915 акад. год ректором. Начало войны застало Твардовского в Поронине, где он обычно проводил отпуск. Поскольку во Львов вернуться уже было нельзя Твардовский вместе с семьей приезжает в Вену, где 19 сентября формально приступает к исполнению обязанностей ректора. Эту административную функцию он будет выполнять подряд три военных года, собирая в эмиграции вокруг себя профессоров и студентов. По согласованию с властями Твардовский обеспечил студентам доступ к венским учебным заведениям, возглавил «Фонд помощи студенческой молодежи», который продолжал оказывать поддержку и после возвращения эмиграции во Львов, а точнее — до 1920 г. За время своего ректорского правления из этого и иных фондов Твардовский роздал 134000 крон. Жизнь студентов в Вене протекала в «Академическом доме для слушателей высших школ из Галиции и Буковины», в котором, например, в 1915 г. пребывало 332 студента, в том числе 177 человек из Львова.

После ухода российских войск из Львова, 5. VII.1915 г. Твардовский возвращается домой и приступает к возобновлению работы университета. Являясь ректором Твардовский представляет университет среди властей гражданских и военных, австрийских и польских, светских и церковных.¹⁷

В конце 1917 г. Твардовский последний раз как ректор председательствовал на заседании Сената, который наградил его стальным перстнем с университетским гербом и надписью внутри: «Ректору 1914–1917 годов. Сенат». В следующем академическом году Твардовский исполнял функции проректора.

После получения Польшей независимости начался новый период деятельности Твардовского, связанный уже не только со Львовом и Галицией,

ждения в 1918 г. государства: университеты Польши не испытывали нехватки кадров философов и психологов, а в каждом из них хотя бы одну философскую кафедру занимал ученик Твардовского (кроме Люблинского католического университета).

¹⁷ Во время ректорства Твардовского дошло до признания философским отделением тогдашнему австрийскому фельдмаршалу эрцгерцогу Фредерику звания доктора honoris causa Львовского университета. Диплом вручал Твардовский в Главной комендатуре армии. 26. VI.1917 газеты принесли известие, что Твардовский награжден Командорским Крестом ордена Франца-Йозефа с военными отличиями. Эти факты послужили основанием некоторым политическим кругам причислить Твардовского к австрофилам.

Твардовский был также отмечен почетной наградой Красного Креста II класса с военными отличиями за помощь нуждающимся.

но и прочими научными центрами возрожденной Польши. Влияние Твардовского возрастает, в частности благодаря занимаемым в обществе позициям его учеников. Его приглашают занять в столице высокие административные должности¹⁸, но в одном случае он отказывается, в другом — причиной является нерешительность, в третьем — занятию таких должностей препятствуют протесты некоторых политических группировок и духовенства.

Дважды предлагал свои кафедры Твардовскому и Варшавский университет: в 1918 г. — кафедру психологии, а в 1920 — кафедру философии. После некоторых колебаний Твардовский все же остается во Львове.

Верность Львову и своей кафедре вовсе не означает отказ Твардовского от участия в работе центральных органов управления научной жизнью Польши. Он не только принимает активное участие в работе многочисленных комиссий и комитетов Министерства вероисповедания и публичного просвещения, но является также инициатором многих начинаний.

В 20-е годы Твардовский испытывает разочарование в жизни высшей школы и все силы отдает преподаванию. В 1926/27 академическом году лекции Твардовского «Главные принципы философских наук» пользовались такой популярностью, что зал на 300 человек не мог вместить всех желающих числом до 2 тысяч. В этой ситуации, уже имевшей место перед войной, Министерство выделяет специальную квоту для аренды зала Музыкального общества. В своем дневнике под датой 18 ноября 1926 г. Твардовский записывает: «Сегодня первый раз преподавал в зале Музыкального общества — как перед войной. Весь партер и вся галерея заняты. Сверх того около 100 человек стоящих» (Twardowski [1997a], S. 275).

Двадцатипятилетие педагогической деятельности Твардовского на кафедре философии Львовского университета в 1920 г. было отмечено выходом в качестве т. н. «Памятной книги» журнала «Пшеглэнд филозофичны» (R. 23/1920), содержащий работы его учеников. В 1927 г. ученики издали сборник «Трудов и статей» Твардовского, написанных в 1895–1921 гг. Особенно торжественно проходил в 1929 г. юбилей Польского философского общества. На его открытии Твардовский был назван почетным членом и вновь, с момента возникновения Общества, избран его председателем. Его юбилейная речь была отпечатана отдельным оттиском и разослана всем членам Философского общества. Во второй день юбилея Т. Котарбинский прочитал лекцию «Анализ материализма» и от имени ректора Варшавского университета вручил Твардовскому диплом доктора *honoris causa* философии.

¹⁸ В 1919 г. премьер И. Падеревски рассматривал возможность занятия Твардовским должности министра вероисповедания и публичного просвещения после предполагаемого ухода с этого поста Я. Лукаевича.

В конце 20-х годов состояние здоровья Твардовского ухудшилось и в 1928 г. он фактически не преподавал. В следующем году он просит Сенат университета об отставке. Несмотря на неоднократные попытки академических властей удержать его от принятого решения Совет гуманитарного отделения был вынужден уступить и принял заявление, направленное Президенту республики с просьбой именовать Твардовского почетным профессором, а в Министерство было отослано решение о переходе Твардовского на покой. Свою последнюю лекцию в качестве действительного профессора Твардовский прочитал 27. III.1930 г. Сенат университета принял решение оставить в пользовании Твардовского профессорский кабинет при философском семинаре.

Почётным профессором Твардовский читал еще в 1931 г. цикл лекций «История философии в очерках». Последнее выступление состоялось 30. IV.1931 г.

В связи с переходом Твардовского на пенсию встал вопрос о занятии освободившейся кафедры. К. Айдукевич сначала предлагал А. Тарского, а затем — Р. Ингардена. Эти предложения встретились с отказом Твардовского, сопротивлявшегося, прежде всего, дальнейшему распространению логики. Сам Твардовский какое-то время вынашивал планы привлечения на кафедру Т. Котарбинского (как кажется, без согласия последнего)¹⁹. В конечном счете Твардовский согласился с кандидатурой Р. Ингардена, который в 1933 г. возглавил кафедру.²⁰

В 1930 г. Университет Познани присвоил Твардовскому звание доктора *honoris causa* этого учебного заведения. Из-за болезни ученого торжество вручения диплома происходило в Актовом зале Львовского университета. На нём юбиляр произнес речь «О достоинстве Университета», которая позже была опубликована Познаньским университетом и с согласия автора была разослана большому числу людей и организаций.

11 января 1931 г. Твардовскому была вручена памятная медаль, выбитая по проекту В. Витвицкого стараниями его прошлых учеников. На аверсе

¹⁹ Twardowski [1997b], S. 145. Запись от 19/VII 1930.

²⁰ О позиции Ингардена в академическом среде Польши уже в 1928 г. беспокоился Э. Гуссерль. В письме от 13. VII.1928 он просил Твардовского «как известно в мире главного представителя польской философии» поддержать старания Ингардена в получении университетской кафедры (Jadcak [1991]). В своем ответе Твардовский, отстраняясь от влияний подобного типа утверждал, явно имея себя в виду, что «даже те, кому нельзя отказать в снисходительности, ввиду малого числа кафедр философии в Польше, обуславливают поручение одной из них представителю — как говорится — специального философского течения» (Цит. по Jadcak [1991], S. 34).

медали в обрамлении имени и фамилии виден барельеф головы ученого, а реверс заполнен надписью по латыни «Discipulorum amor et pietas» и годом чеканки А. МСМXXX.

Для поддержания контактов со своими учениками Твардовский возвращается к проходившим уже во второй половине 20-х годов собраниям «privatissimum», на которых обсуждались рефераты и отдельные проблемы философии. С миром науки вне Львова связь осуществлялась главным образом посредством корреспонденции.²¹

В 70-ю годовщину рождения Твардовского делегация из его учеников преподнесла своему Учителю художественно исполненный адрес, содержащий выражения уважения и благодарности, а также альбом со 121 фотографией его учеников и снимки тех университетов, в которых ученики Твардовского занимали должности профессоров.

После тяжелой болезни К. Твардовский умер во Львове 11 февраля 1938 г. Перед смертью он попросил, чтобы его похороны носили светский характер, а в гроб ему положили отпечатанный экземпляр текста «О достоинстве Университета». Эту работу можно считать духовным завещанием К. Твардовского. В ней говорится: «Университет, имея полное право требовать, чтобы его духовная независимость не была никем нарушена, имеет также полное право защищаться ото всех явных или коварных попыток подчинения его научной работы чьему-либо контролю или распоряжению. Одновременно Университет обязан также и со своей стороны отстраняться от всего, что могло бы эту независимость подорвать или хотя бы лишь создать видимость уступок каким-то влияниям или устремлениям, не имеющим ничего общего с научным исследованием и его целью. Университет должен оградиться от всего, что не служит добыванию научной истины, должен придерживаться установленной дистанции между собой и потоком, который несет около его стен ежедневная жизнь, шум сталкивающихся общественных, экономических, политических и всех прочих течений; среди борьбы и конкуренции этих разнообразнейших течений Университет должен оставаться непоколебимым, как морской маяк, что среди разбушевавшихся волн своим светом указывает кораб-

²¹ Архив Твардовского в Институте философии и социологии ПАН в Варшаве содержит большое число писем бывших учеников, возглавивших университетские кафедры философии. Среди корреспондентов Твардовского В. Витвицкий, З. Завирский, Т. Котарбинский, Т. Чежовский, С. Бляховский, а также В. Татаркевич, который был редактором «Пшеглэнда филозофичного». Эти письма свидетельствуют об авторитете Твардовского и о личном к нему отношении ученых, которые в этих письмах обращались к нему «Любимый Пан Профессор» или «Мастер».

лям путь, но никогда этот свет не погружает в сами волны. Если бы так случилось, свет погас бы, а корабли остались без путеводной звезды [...]. На профессии и положении профессора и доцента Университета покоится достоинство учреждения, в стенах которого они посвятили себя сделанному выбору. Университетский преподаватель прежде всего является слугой объективной правды, ее представителем и глашатаем среди молодежи и общества. Это высокое служение неизмеримо почетно, но оно требует одновременно не только соответствующей интеллектуальной квалификации и подходящих профессиональных знаний, но также большой стойкости духа и сильного характера» (Twardowski [1933], S. 11/12).

В первой половине 1938 г. во всех философских кругах Польши прошли заседания, посвященные памяти К. Твардовского, многие газеты и журналы опубликовали воспоминания учеников львовского профессора. Общее собрание Польского философского общества приняло решение изменить название Общества, именуя его теперь «Польское Философское Общество имени Казимира Твардовского», а также созвать в 1939 г. съезд учеников Твардовского. Такой съезд состоялся 11–12 февраля 1939 г. в первую годовщину смерти. Война помешала проведению второго съезда и к идее их проведения возвратились после войны; в 1948 г., ученики Твардовского собрались в Кракове. Более официально такие съезды не проводились.

Концепция философии К. Твардовского

Намерения, с которыми Твардовский прибыл во Львов, можно реконструировать на основании его инаугурационной речи при вступлении в должность профессора. По традиции в такой речи излагается позиция ученого и предполагаемое направление его деятельности на кафедре, которую отныне он будет возглавлять. Конечно, от доклада, рассчитанного на широкие круги университетских преподавателей, не следует ожидать subtilных дистинкций в решении фундаментальных вопросов философии, но важна аргументация Твардовского при отстаивании научного характера философии и ее ядра — метафизики.

Прежде всего автор подвергает сомнению правомерность отнесения творчества какого-либо философа к одной из рубрик широко распространенных классификаций, полагая, что идеализм, реализм, материализм, монизм и т. д. не более чем лозунги, «под которыми философы приучились восхвалять собственные и преследовать чужие плоды разума» ([1994a], S. 227). И уж конечно, Твардовский отвергает в границах философских направлений, например идеализма, авторитарное начало в виде приверженности к платонизму, берклеизму и т. д. Когда же Твардовского спрашивали, куда он себя относит, его ответ был следующим:

«Образцом для себя я выбрал Сократа и на вопрос отвечал вопросом; я спрашивал, как выглядел бы аналогичный вопрос, обращенный к представителю какой-либо естественной науки? Можно ли вообще подобным образом спрашивать зоолога или физика и что по отношению к исследователю природы подобный вопрос мог бы значить?» (S. 227/228). Вызванное таким «ответом» недоумение у приверженцев разного вида «измов» Твардовский объясняет молчаливо разделяемым большинством философов допущением о существовании бездны между естественными и философскими науками.

Таким образом, центральным пунктом первого публичного доклада при вступлении в должность было выяснение отношения между естественными науками и философскими. Рассматривая предмет и метод как первых, так и вторых Твардовский связующее звено между ними видит в метафизике, к которой относит прежде всего теорию отношений; не разделяют эти две группы наук и используемые в них методы, среди которых Твардовский выделяет индукцию и дедукцию, причем он неявно предполагает, что по мере развития научной дисциплины в ней начинает превалировать дедуктивный метод, как например в механике. На этом основании автор доклада считает, что со временем «этика и эстетика также должны быть дедуктивными науками, только здесь еще нет согласия в отношении основных законов, из которых удалось бы путем дедукции вывести отдельные нормы этического и эстетического оценивания» (S. 231).

Будучи сторонником метафизики Твардовский вместе с тем являлся противником т. н. метафизицизма, усматривая недостаток этого последнего как в априорности принимаемых постулатов и их максимальной общности, так и в источнике понятий, которые «дремлют где-то на дне человеческой души. А поскольку нет двух одинаковых душ, то каждый из иного исходя допущения и к иным приходил выводам. Отсюда — заключает Твардовский — возникло большое число конкурирующих между собой систем» (S. 232). Выход он видит в наследовании примеров, которые подают естественные науки «тихой, систематической, опирающейся на факты, а не витающей в облаках работой, медленно продвигаясь уверенным шагом все дальше и выше» (S. 232).

Трезво глядя на состояние дел в выбранной области Твардовский ратует «не братья за построение философской системы», не боясь осуждения за то, что он отнимает у метафизики ее существеннейшую черту, предполагающую целостное трактование результатов отдельных исследований. Не без сожаления он констатирует: «Итак все, что бы мы в метафизике не делали, является частичным синтезом; то, что мы не обладаем полным синтезом, охватывающим все без исключения — это несомненная истина, факт, который неустраним никакими спекуляциями. Но лучше не иметь

такого синтеза, чем обладать ошибочным» (S. 234–235). Если естественные науки аккумулируют знания, то почему в философских науках должно быть иначе, почему каждый в философии должен начинать *ab ovo*? — спрашивает Твардовский. Конечно, так не должно быть и, если философия — наука, то кроме поисков истины у нее нет «никаких амбиций», заключает автор вступительной речи во Львовском университете.

Таковы исходные установки в изучении философии. Для более детального знакомства с концепцией философии в представлении Твардовского обратимся к его научным работам.

Область философских исследований и предмет философии Твардовский [1897] очерчивает следующим образом: «[...] прежде всего следовало бы отказаться от привычки определять философию так, как будто она является единственным искусством. Выражение «философия», подобно выражениям «теология» или «естествознание», означает группу наук. Так же, как мы говорим о теологических науках или естественных, так же говорим и о науках философских. Поэтому следует указать общий признак, на основе которого причисляют отдельные философские дисциплины к единой группе искусств. Таким общим признаком является определенное свойство предметов, которым занимаются философские науки, поскольку все философские науки изучают предметы, которые нам даны или исключительно во внутреннем опыте, или равно как во внутреннем, так и во внешнем опыте. Из такого определения предмета философских наук легко вывести отдельные ветви философии. Предметами, данными исключительно во внутреннем опыте, являются проявления умственной деятельности. Но среди прочих некоторые из этих проявлений отличаются непомерно важным для умственной деятельности свойством, поскольку служат основой всякого вида оценивания, происходящего в трех главных направлениях: в направлении истины и лжи, прекрасного и отвратительного, добра и зла. Законы и правила оценивания, являющиеся, очевидно, процессом мышления, суть предметы отдельных философских наук: логики и теории познания, эстетики, этики и философии права [...]. Поскольку [...] мыслительная деятельность не только индивида, но и всего человечества подвержена постоянному преобразованию и проходит через различные фазы развития, то история философии старается обнаружить законы, управляющие этим развитием. [...] Однако существуют предметы познания, которые более или менее непосредственно нам приоткрывает как внутренний, так и внешний опыт. Здесь следует прежде всего назвать большинство отношений, например, тождество и различие, подобие и противоположность, согласие и несогласие, количественные отношения, а также сосуществования и следования. Далее, существует целый ряд понятий, которые мы в равной мере вырабаты-

ваем на основе данных, предоставляемых обоими видами опыта; среди прочих к этим понятиям принадлежат понятия изменения, субстанции, случайности, причинности. Появляются также проблемы [...], которые живейшим образом занимают человеческий разум: вопрос о начале мира, направлено ли его развитие вообще и к какой цели, проблема сущности отношения мира материального к духовному и т. д. Наконец надо собрать в систематическую целостность результаты исследовательской деятельности, проделанной в обеих сферах опыта. Все это составляет задание метафизики как такой науки, которая занимается вопросами, возникающими перед человеческим разумом равно благодаря как опыту внутреннему, так и внешнему» ([1927], S. 27–28).

Сочинение, из которого взята приведенная выше цитата, посвящено защите философского характера психологии, которую в XIX ст. относили к философским дисциплинам. Во многих философских исследованиях психология стала играть роль основания в изучении внутреннего и внешнего опыта, а метафизика должна обеспечить единство философских знаний, собрать их в «систематическую целостность». Несмотря на то, что ожидания Твардовского не оправдались (в «психологическом» периоде его творчества) и психология, не выполнив предназначавшейся ей основополагающей роли, сама отделилась от философских дисциплин, его воззрения на предмет и сферу философии по сути не изменились. Метафизическое восприятие предмета, в котором воплощалось единство представлений об объекте философского исследования, диктовало одно видение философии, а область этих представлений, составленная из отдельных дисциплин, открывала иные горизонты этой науки. Соответственно этим точкам зрения, которые можно было бы назвать внутренней и внешней по отношению к философии, Твардовский оперирует двумя понятиями философии — коллективным и дистрибутивным. В первом значении философия есть некоторая целостность, составленная из различных дисциплин: истории философии, психологии, логики, этики, эстетики, теории познания, метафизики и прочих, более детальных, например, философии права или философии религии, данных во внутреннем или внутреннем и внешнем опыте одновременно, во втором значении философия может быть охарактеризована концептуально при помощи указания направления своего развития. В первом случае мы имеем дело с исторически сложившимися результатами философских исследований, во втором — с господствующей парадигмой. Если единство философских знаний в коллективном понимании обеспечивалось трактовкой философии как совокупности философских дисциплин, число которых релятивизовано к данному этапу развития науки, то в дистрибутивной трактовке философия определялась метафизической сущностью предмета исследований, включающей

его онтические характеристики. При помощи примеров Твардовский старается показать, что оба понимания философии корреспондируют между собой, т. е. что каждая проблема в коллективной трактовке является также проблемой в дистрибутивной трактовке, а сосуществование обоих понятий философии служит аргументом действительной принадлежности психологии к группе философских наук. Центральными звеньями, соединяющими оба понимания философии, все же остаются психология и метафизика. Их соотношение в момент написания работы Твардовский видит следующим образом: «Независимость психологических исследований относительно метафизики иногда служит основанием для мнения, что психология вообще не имеет никакой связи с метафизикой, а поэтому нельзя обе эти науки относить к одной группе наук. Но уход психологии из под влияния метафизики вовсе не сказался на связях между ними, разве что сегодня метафизика оказалась зависимой от результатов психологических исследований, тогда как до этого было наоборот. Ранее началом философских исследований оказывалась метафизика; [...]. Сегодня же, стремясь прийти к философской системе, мы начинаем «снизу» [...], т. е. от опыта. [...] Хотя метафизика должна собрать в систематическое целое результаты исследований, основанных как на внутреннем опыте, так и внешнем, все же нельзя отрицать, что оба вида опыта в неравной мере способствуют построению философской системы» (S. 30). Из приведенной цитаты видно, что Твардовский хочет быть верным тому состоянию философии, которое он застал и в его рассуждениях не удается заметить каких-либо устремлений к уменьшению объема философии. В согласии с брентанистской установкой Твардовский старается показать, что основой философских исследований является эмпирия, внутренняя или внешняя.

Позже Твардовский [1910] несколько четче выделяет два критерия, согласно которым отдельные дисциплины могут быть причислены к философским. Один критерий выделяет в дисциплинах, причисляемых к философским, общность, другой — ставит во главу угла «интроспекционные основания всякой философской науки». Один из этих критериев — пишет Твардовский — учитывает исторически сложившееся состояние философских дисциплин, второй — указывает направление, в котором пойдет развитие философии. Твардовский затрудняется отдать предпочтение какому-либо одному определению философии и констатирует переходный период, характеризующийся нечеткостью в определении понятия философии.

Отразив взгляд Твардовского на философию как предмет исследования необходимо также очертить его отношение и к методу. Казалось бы общеизвестно, что вслед за Brentano Твардовский считал, будто метод философских исследований должен быть таким же, как метод в естественных науках. За уточнениями обратимся к «Конспекту лекций» [1910], к разде-

лу, названному «Общий взгляд на метод научных исследований», в котором Твардовский прямо ставит вопрос: «Используют ли все науки один и тот же метод, как об этом некогда твердили крайние априористы, а сегодня утверждают крайние эмпиристы, или же следует различать несколько принципиально отличных методов исследования? Поскольку крайний априоризм сегодня принадлежит к прошлому, то остается вопрос: все ли науки основаны на опыте?» (S. 424). В этом вопросе Твардовский видит двойное значение. Во-первых, речь идет о том, откуда наука черпает свои суждения, т. е. каков путь, каковым она к ним приходит. Во-вторых, каким образом наука обосновывает свои суждения. Поскольку обоснование утверждений иногда основывается не на опыте и даже игнорирует его и происходит независимо от опыта, то поэтому — считает Твардовский — существуют и возможны неэмпирические науки. Если же речь идет об источниках познания, то как эмпирические, так и неэмпирические науки черпают данные как из опыта, так и из рассуждений и с этой точки зрения между ними различий не существует.

В этом взгляде Твардовского можно усмотреть осторожную модификацию метафилософских воззрений Brentano на метод, состоящую в том, что философия подводится под более общее понятие науки, а в ней выделяются результаты — суждения, которые и рассматриваются с точки зрения процессов, приведших к ним — обоснования и рассуждения, или же объяснения и понимания. Этот взгляд Твардовского сформировался в переходном периоде, приведшем его к апсихологизму, прежде всего в логике, нашедшем выражение в работе «О действиях и результатах» [1912]. Но уже в выше упомянутом «Конспекте лекций» [1910] Твардовский различает парадигму психологизма на примере суждения как ключевого понятия логики. Точку зрения, согласно которой логика является наукой о правильном мышлении Твардовский характеризует как психологизм и решительно отбрасывает, ибо в противном пришлось бы считать логику частью психологии. Он приводит следующие аргументы: «Во-первых, предметом логики не является мышление, хотя бы и правильное; ее предметом являются результаты мышления, а именно — суждения. Во-вторых, логика обладает всеми чертами априорных наук, тогда как психология является эмпирической наукой» (S. 424). Психологизм в логике Твардовский объясняет генезисом последней и практическим ее характером. Свои выводы Твардовский заканчивает следующей фразой: «Должным образом рассмотренное отношение логики к психологии бросает интересный свет на отношение этики и эстетики к психологии» (S. 424).²²

²² Как кажется, здесь автор имеет в виду, по аналогии с логическими оценками, анализ этических и эстетических оценок в т. н. оценочных суждениях.

Понятие истины

Аксиологический и эпистемологический абсолютизм был одним из тех взглядов, которые Твардовский унаследовал от Brentano и который оказал влияние на творчество, пожалуй, всей Львовско-варшавской школы. Без преувеличения позицию принятия абсолютной истины можно считать программной для Школы. Ее выражению Твардовский посвятил исследование о проблеме абсолютизма и релятивизма в теории истины [1900]. Анализ Твардовский начинает с терминологических объяснений. Он пишет, что выражение «истина» означает истинное суждение. Из этого следует, что относительная истина — это относительно истинное суждение, а абсолютная истина — это безотносительно истинное суждение. Характеристика относительных и безотносительных истин такова: «Истинами безотносительными называются такие суждения, которые истины безусловно, без каких-либо оговорок, несмотря ни на какие обстоятельства, которые, следовательно, истины всегда и везде. Относительными же истинами называются суждения, которые истины только при определенных условиях, с определенными оговорками, благодаря определенным обстоятельствам; следовательно, такие суждения не истинны всегда и везде» (S. 315).

Твардовский намеревается показать, что относительные истины, т.е. условно истинные суждения не существуют. Аргументация Твардовского заключается в опровержении примеров, которые приводят релятивисты с тем, чтобы обосновать существование относительных истин. Такие примеры, считает Твардовский, должны выполнять два условия: 1) это должны быть суждения, которые в определенных обстоятельствах изменяются таким образом, что из истинных они становятся ложными, оставаясь во всем прочем неизменными, а также 2) это должны быть такие суждения, которые в определенных обстоятельствах были истинными или же стали таковыми, но изменили свою оценку вместе со сменой обстоятельств. Ключевым аргументом Твардовского служит указание на различие между суждениями и высказываниями, которое игнорируют релятивисты. Хотя суждения и высказывания тесно связаны в том смысле, что вторые являются проявлениями первых, однако это не одно и то же. В частности, тождество высказываний не гарантирует тождества выраженных в них суждений. Может случиться так, пишет Твардовский, что одни и те же высказывания выражают различные суждения. Это происходит потому, что высказывания формулируются при помощи многозначных и окказиональных выражений. Достаточно рассмотреть пример: «идет дождь». То, что дождь падает может быть истинно в месте m и во время t , но может быть ложным в другом месте и в другое время. Если представить рассматриваемое высказывание в дополненном виде как схему «Идет дождь в месте m и во время t »,

то после подстановки соответствующих переменных параметров высказываемое суждение становится истинным или ложным безотносительно. Рассматриваемый пример, включает Твардовский, не выполняет условие 1).

Условие 2) не выполняет другой пример, часто приводимый релятивистами, а именно, предложение «Холодный душ полезен». Это высказывание можно интерпретировать как обобщающее предложение «Холодный душ всегда полезен», или частичное — «Холодный душ иногда полезен». Таким образом оказывается, что обобщающее предложение выражает безотносительно ложное суждение, а частичное — безотносительно истинное. Очевидно, что ложное суждение «Холодный душ всегда полезен» не могло превратиться из истинного суждения в ложное, если никогда оно истинным не было. Но и частное суждение не изменилось: уж если оно было истинным, то таковым и останется. И в этом случае Твардовскому удастся показать, что уточнение высказываний лишает суждения их релятивного характера.

Позицию абсолютизма в теории истинности Твардовский отстаивает также в области знаний, полученных индуктивным путем. Он рассматривает якобы относительный характер гипотез и научных теорий, полученных индукцией из опыта. Эти гипотезы, по мнению релятивистов, должны быть относительными потому, что они вероятны, а не достоверны. Твардовский считает, что ошибкой релятивистов является смешение вероятности и достоверности. Если мы предубеждены в том, что при помощи индукции можно получить только вероятные суждения, то их нельзя трактовать как достоверные на том основании, на котором они считаются вероятными. Гипотезы и теории вероятны с точки зрения уровня наших знаний, а степень этой вероятности может измениться, тогда как логическая оценка данного суждения вообще не зависит от наших знаний, при помощи которых мы обосновываем это суждение.

Полемизировал Твардовский также и с релятивизмом, основанном на субъективизме. Так релятивисты говорят, что высказывание «Запах этого цветка приятен» выражает относительную истину, поскольку она соотносится с субъектом, являющимся носителем данного убеждения. Как и в случае с ранее рассмотренным примером здесь достаточно указать конкретную личность с тем, чтобы избавиться от неоднозначности и ликвидировать окказиональный фактор в высказывании. Однако субъективизм апеллирует также к общим философским концепциям. Так его сторонники полагают, что могут существовать особы, считающие истинными те суждения, которые мы считаем ложными, и наоборот. Однако это положение не согласуется с принципом противоречия, поскольку если мы признаем некоторое суждение действительно истинным, то оно не может быть действительно ложным для другой особы, и наоборот.

Релятивисты используют также положение, что все утверждения о мире выражают всего лишь индивидуальные переживания, говорящие нам не о том, каков реальный мир, а как он представляется человеку. Поэтому говоря о зеленых листьях клена, мы говорим о собственных представлениях, а не о листьях клена. Твардовский указывает, что принятие этой точки зрения не позволяет ее сторонникам высказываться о суждениях в их предметном значении, а потому и не может служить основанием для высказывания о их относительном характере.

Позицию абсолютизма аксиологических оценок Твардовский защищал и в области этики. Здесь релятивисты указывали на существование исключений из общих правил. Твардовский не согласен с этим аргументом, ибо считает, что правило с исключением не является общим правилом и поэтому не может считать такое правило относительным. Второй аргумент релятивистов основывается на том, что законы, обязывающие где-то или когда-то, утрачивают силу в другом месте и в другое время. Твардовский отвергал этот аргумент указывая, что если действительно сказанное имеет место, то тем самым мы предполагаем, что эти законы считаются обязательными. Остается спросить, являются ли эти законы правильными или нет. Если они не правильны (не верны), то они вообще не содержат истины. Если они справедливо считаются обязывающими в некотором месте и в некоторое время, то они не обязательны для любых сообществ.²³

Заканчивая разбор приводимых релятивистами аргументов Твардовский [1900] заключает, что *«различение относительной и безотносительной истинности имеет право на существование только в области высказываний, свойство истинности которым присуще единственно в переносном, опосредованном значении; если же речь идет только о суждениях, то нельзя говорить об относительной и безотносительной истинности, поскольку каждое суждение или истинно, и тогда оно истинно всегда и везде, или же оно не истинно, и тогда оно не истинно нигде и никогда»* (S. 336).

В обсуждаемой работе Твардовский не приводит дефиницию истины, ограничиваясь единственно указанием, что истина — это то же, что истинное суждение. Дефиницию истины можно найти в другой работе Твардовского ([1974], S. 268), представляющей собой заметки к лекциям 1925 г. по теории познания. Вот эта дефиниция: «Истинным является утвердительное суждение, если его предмет существует; отрицательное суж-

²³ В своей аргументации Твардовский [1900] указывает только модус времени, но не места, заменяя его, как кажется, термином сообщество. Воленский [1997], обсуждая работу Твардовского, уточняет условия выполнения законов, указывая оба модуса, а понятие сообщества использует в заключении вывода, подтверждающего позицию автора. Эту модификацию мы и заимствуем в настоящем изложении.

дение, если его предмет не существует. Ложным является утвердительное суждение, если его предмет не существует; отрицательное суждение, если его предмет существует».

В рассматриваемой работе Твардовский отчетливо различает критерий истинности и понятие истины, его аргументация носит металогический характер, а подход к языку предполагает его предметную трактовку. Несмотря на то, что Твардовский не использовал в своей работе понятие референции, его определение истинности находится в рамках классической теории.²⁴ Воленский ([1997], S. 27) особо отмечает тот факт, что Твардовский связывает абсолютное трактование истинности и значимость принципа противоречия.²⁵

Статья Твардовского «О так называемых относительных истинах» была чрезвычайно важна для дальнейшего развития Львовско-варшавской школы и открыла путь к дальнейшим дискуссиям о понятии истины, завершившихся (в рамках Школы) знаменитой работой А. Тарского [1933].

Этика Твардовского

Прежде чем рассмотреть отношение Твардовского к этике как научной дисциплине остановимся на двух работах раннего венского периода его творчества, в котором он еще во многом повторяет своего учителя Ф. Brentano. В первой из них — «Этика наряду с теорией эволюции»

²⁴ Классическую и абсолютистскую теорию истинности в своей работе отождествила М. Кокошинская [1936].

²⁵ Воленский ([1997], S. 27) полагает, что почти все представители Львовско-варшавской разделяли позицию абсолютизма в теории истинности и аргументы Твардовского против релятивизма. Он пишет: «Абсолютизм декларировал и Лукасевич, когда вводил третью логическую оценку, а также фалибилисты из Львовско-варшавской школы (ср. пр. Лукасевич и Айдукевич в период радикального конвенционализма)». Воленский справедливо считает, что позиция абсолютизма оправдывалась принятием «относительности в обосновании» (в отечественной литературе используется понятие закона достаточного основания), а не относительности логических оценок. При этом Воленский тут же замечает, что он «не рассматривает важного вопроса, находится ли многозначная логика в согласии с абсолютизмом в философии истинности». К сказанному можно добавить, что этот важный вопрос остается открытым, поскольку ни Лукасевич, ни Айдукевич никогда не использовали понятие метаязыка и не пробовали дать определение истины, а третье истинное значение, введенное Лукасевичем и интерпретируемое как возможность, выражает ту же окказиональность о которой писал выше Твардовский.

[1895b] Твардовский отбрасывает якобы относительный характер, возможно еще не познанных окончательно, норм морали и правил поведения, придерживаясь как и в теории истинности позиции абсолютизма. Он пишет: «Ответ существует и только один ответ является истинным, но этого ответа мы еще не знаем. А следовательно, отсутствие общего согласия относительно истин морали не может служить доказательством, по крайней мере того, что таких истин нет» (С. 221). Более того, Твардовский считает, что заранее установленного противоречия между теорией эволюции и безотносительной этикой не существует: «Наоборот, теория эволюции прекрасно объясняет, почему безотносительная этика, уж коль она существует, не всегда бывает признана. Ошибка эволюционной этики состоит в том, что она считает возможным применение принципа эволюции к *истинам* морали, что неуместно, поскольку каждая истина является всегда одной и той же, не изменяется и не развивается. [...] Не истины последовательно проходят этапы развития так, что то, что сегодня было истиной, завтра могло бы преобразиться в иную истину, но преобразуется человечество [...]. Человечество подвержено законам эволюции, результаты его деяний подвержены ей также, но понятие эволюции никогда нельзя применять к вещам, которые независимы от человечества» (С. 222).

Вторая из упомянутых работ посвящена Ф. Ницше и может служить иллюстрацией положений предыдущей статьи, конкретизируя понятие эволюции по отношению к выводам Ницше как регресс. Вначале Твардовский раскрывает секрет успеха немецкого моралиста. По мнению Твардовского, он состоит в том, что средством для его достижения служит создание лозунгов или льстящих обществу, или повергающих его в гнев. «А кому удастся одновременно льстить и возмущать — заключает Твардовский — тот станет самым уважаемым автором» (S. 293). Обсуждая якобы польское происхождение Ницше и проистекающие из него якобы славянские черты характера Твардовский отбрасывает их как несущественные для понимания творчества немецкого писателя, единственно замечая тот факт, что немцев Ницше презирал несмотря на то, что писал свои произведения на немецком, т. е. прежде всего для немцев. Отмечая блестящий, полный силы и красоты стиль Ницше Твардовский констатирует отсутствие какой-либо аргументации в его изложении, со спокойным скептицизмом цитируя известную формулу писателя: Что требует доказательства, то не многого стоит. Казалось бы этой сентенции Ницше достаточно для того, чтобы сделанные им выводы перестали интересовать философа, считающего свое искусство наукой. Однако Твардовского не столько интересует конечный результат, к которому пришел Ницше, сколько способ продвижения к нему.

Анализ творчества Ницше Твардовский начинает с изложения своей позиции. Ее он излагает следующим образом: «История нас учит, что пути

человечества ведут ко все более жесткому овладению проистекающими из телесной природы человека физиологическими инстинктами и устремлениями в пользу духа и его всестороннего развития. Прогресс и степень цивилизации мы измеряем той мерой, в какой человечество, в духовном смысле, сумело овладеть природой, не только той, что окружает человека, но и той, которая является частью каждого отдельного человека. Одухотворение человечества – вот цель цивилизации; а природа – это только средство для [достижения] цели, а не сама цель. [...] Те же, кого мы считаем гениями человечества без устали говорят, чтобы мы стремились к господству духа. Ницше трубит отбой; он обращает вспять шкалу и меру прогресса [...]. То, что мы называем прогрессом – это упадок; целью человечества не должно быть Царство Божье, т. е. справедливый мир, но возврат к состоянию, в котором находилось человечество, согласно теории эволюции, в начале своего существования» (S. 296).

Критику взглядов Ницше Твардовский намерен провести в одном пункте, но без сомнения ключевом, выбор которого он определяет так: «Поскольку демократические идеи, как и сочувствие, в конечном счете, погружены в христианскую этику, то достаточно ограничиться уточнением позиции, которую занимает Ницше в отношении христианства» (S. 298). Твардовский сравнивает исходные позиции Ницше и Иисуса, которые, на первый взгляд, кажутся схожими. Первую он представляет следующими афоризмами: «Иисус сказал своим иудеям: Закон был хорош для хамов; любите Бога, как люблю его я, его сын! Разве относятся к нам, сынам Божиим, моральные предписания?», а также: «То, что делается с любовью, делается по ту сторону добра и зла (*jenseits von Gut und Böse*). Христос также учил любить Бога и ближнего, добавляя при этом: «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Божьи заповеди Твардовский трактует следующим образом: «Любите Бога и ближнего, делайте так, как вам подсказывает любовь к Богу и ближнему и тогда всякий раз не нужно будет спрашивать, делаете ли вы хорошо, или плохо, согласуется ли ваше поведение с моральными предписаниями, которые дали вам Моисей и пророки. Если ваши поступки будут проистекать от любви, то они будут такими, какими должны быть» (S. 303).

В учении Иисуса и Ницше Твардовский находит общий пункт, выраженный в словах: «*jenseits von Gut und Böse*», подчеркивая лишь общность слов, но не их значений, ибо если говорить о значениях, то «тогда перед нашим взглядом открывается пропасть, разделяющая крайности, отдаленные друг от друга как небо и земля» (S. 303). В выражении «по ту сторону добра и зла», по мнению Твардовского, представлена конечная цель этических поисков. Он анализирует способ продвижения Ницше к этой цели, выделяя два этапа. Первый состоит в формировании сверхчеловека,

который своим моральным инстинктом превышает всех прочих и поэтому не обязан принимать во внимание моральные предписания. Моральный инстинкт, о котором говорит Твардовский — это духовный инстинкт, или вдохновение, присущее «гениям в сфере этики, которых мы называем святыми». Но Ницше не задержался на первом этапе продвижения к цели, лежащей по ту сторону добра и зла, и переходит ко второму этапу — замене духовного инстинкта инстинктом физиологическим. Ранее речь шла о интуиции, сейчас уже только о зверином инстинкте. Подмену интуиции настоящим инстинктом, считает Твардовский, объясняет то обстоятельство, что сверхчеловек Ницше все еще оставался «jenseits von Gut und Böse», но уже стал по другую сторону добра и зла. Твардовский заключает: «Этический гений заключается в том, что *уже* не нужно спрашивать о различии между добром и злом; существо, поступающее единственно согласно физиологическому инстинкту, например, ребенок или зверь стоит там, где *еще* не нужно спрашивать об этом отличии. Хищный человек еще не обладает чувством, которое бы ему позволило отличить зло от блага; в жизни ему достаточно инстинкта; святой человек, этический гений уже не нуждается в чувстве различения зла от блага; место этого чувства у него заняла любовь, в согласии с которой он поступая, не ошибается в своих действиях» (S. 304). Ошибка Ницше состояла в подмене значений выражения «инстинкт», употребляемого как в смысле физиологическом, так и в смысле «гениальной интуиции», вследствие чего высказывания Ницше могут быть отнесены как по одну, так и по другую сторону этого «jenseits von Gut und Böse».

Таким образом, ницшеанскую этику господ (сверхчеловека) и этику рабов Твардовский видит в различии этики эгоизма и этики любви к ближнему. Стремлению к власти Твардовский противопоставляет гармоничное развитие как физических сил, так и духовных.

К этим двум небольшим работам венского периода примыкают два других текста, написанные уже во Львове в 1899 г., с ярко выраженным популяризаторским характером. В первом, названном «Всегда ли человек поступает эгоистично» [1899a], Твардовский выступает против гедонизма, который является всего лишь «умело сотканной софистикой» и который тем опасен, что отрицая незаинтересованное поведение, может отвратить слабые натуры от приложения каких-либо усилий в выбранном направлении. Во второй работе — «Пессимизм и оптимизм» [1899b] Твардовский различает теоретические пессимизм и оптимизм от практических пессимизма и оптимизма, а затем обсуждает их. Вывод, к которому он приходит, категоричен: спор с позиций оптимизма и пессимизма не имеет решения, поскольку он основан на различии в степени жизненного опыта, которым обладают люди, воспринимающие по-разному удовольствие и отвращение.

Подход к проблемам этики и их соотнесение с нормами морали был сформулирован Твардовским в процессе чтения в университете лекций и выступлений в научных и популяризаторских обществах Львова и тогдашней Галиции. Университетский цикл лекций читался каждые четыре года; в зимнем семестре он носил название «Главные направления научной этики», включая отдельную часть — «Задачи научной этики», а в летнем — «Этический скептицизм». За время работы в университете Твардовский прочитал шесть таких циклов лекций в 1905/06, 1909/10, 1913/14, 1919/1920, 1923/24, 1927/28 академические годы.²⁶ С каждым таким циклом в соответствии с установками дескриптивной философии, во многом послужившей основой этики, Твардовский уточняет используемые понятия, значения терминов и все же остается, по его же словам, «человеком, ищущим этику».²⁷

Текст лекций по этике создавался в тот период, когда Твардовский был психологом. Эта позиция выражалась в убеждении, что невозможно решать эпистемологические, логические, эстетические и этические проблемы независимо от психологии. Поэтому психология служит ключом для понимания ранних взглядов Твардовского на роль и место этики в системе философских дисциплин.²⁸ Определить отношение психологии к философии помогает уже упоминавшаяся работа «Психология наряду с физиологией и философией» (1897). Как и Brentano Твардовский считает, что психология занимается изучением актов сознания. Источником знания о фактах психики является внутренний опыт. «Если бы мы не обладали внутренним опытом — писал Твардовский, — и как следствие этого, не знали бы проявлений интеллектуальной жизни, то не только не могла бы существовать психология, но не было бы также ни логики, ни этики, ни эстетики, ни теории познания, и даже метафизики ([1897], S. 109). В терминологии Твардовского «проявления интеллектуальной жизни» — это в сущности результаты познавательной деятельности, психические проявления предмета, психические переживания, обнаруживаемые и выявляемые при помощи интроспекции. Интроспекция для Твардовского была одним из основных методов описания и анализа фактов психики.

В это же время Твардовский критиковал т. н. метафизицизм как метод исследования. В соответствии с этим методом отдельные утверждения оценивались с точки зрения их согласованности с метафизическими сис-

²⁶ Рукопись курса этики издана Р. Ядчаком в 1994 г. См. в этой связи K. Twardowski. *Etyka*. Torun. 1994.

²⁷ K. Twardowski. *O zadaniach etyki naukowej* // *Etyka*, nr. 12, 1973. s. 125.

²⁸ См. E. Paczkowska-Lagowska. *Psychika i poznanie. Epistemologia K. Twardowskiego*. Warszawa. 1980.

темами, которые в определенное время или в определенной среде полагали истинными.²⁹ Твардовский считал, что метафизические спекуляции следует отбросить, а их место должен занять психологический анализ проблем морали, на основе которого можно прийти к метафизическим обобщениям. Аналитический подход должен оградить философию от спекуляций и придать исследуемым вопросам однозначное значение. Короче говоря, Твардовский продолжал развивать Brentano'sкую программу научной философии, основанную на положениях дескриптивной философии и использующую метод анализа.

Этот подход последовательно был воплощен в курсе «Этики». Исходным пунктом в исследовании явлений психики является анализ психической реальности данной Brentano, главным образом в работе «Психология с эмпирической точки зрения». Но в отличие от Brentano совокупность явлений психики Твардовский делит не на три группы, а на четыре: 1) представления и понятия, 2) суждения, 3) чувства, 4) волевые акты. Он разделял убеждения Brentano, заключающиеся в том, что если в области суждений обязательны правила логики, то и в области моральных ценностей они также возможны, т. е. что как в отношении истины и лжи в логике, так и в области эмоций и проявлений воли существует добро и зло, причем в определенном порядке, представляющем логику чувств, подобно логике мысли.

Близок был Твардовский австрийскому философу и тогда, когда при выяснении сущности блага использовал внутренний опыт как источник знаний, а описания и анализ — как метод. Этот подход соответствовал взгляду Brentano, усматривавшему в оценке не естественные свойства предмета, но присущие качества, получаемые предметом благодаря интенциональному акту, в котором субъект утверждает желаемый им предмет. Сам же предмет этой оценкой как качеством может обладать всего лишь потенциально.³⁰

Значительное место в рукописи лекций по этике занимает теория чувства ценности. Кроме работы Brentano «О происхождении нравственного сознания» («Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis») в лекциях заметно влияние А. Мейнонга, главным образом «Психологическо-этического исследования теории ценностей» («Psychologisch-ethische Untersuchungen zur Werttheorie») (1894). Согласно Brentano выражением акта оценки является чувство, а ценность — это название интенционального направления этого отношения. Поэтому анализ ценности должен быть обращен к опыту,

²⁹ K. Twardowski. Psychologia wobec fizjologii i filozofii, op. cit., S. 106–107.

³⁰ См. прим. 25 к работе Ф. Brentano [1889] Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis, Hamburg: Meiner.

а не к предмету. Подобно Мейнонгу в теории ценностей Твардовский был антинатуралистом и соглашался с ним в том, что переживания ценностей являются чувствами направленными на существование либо несуществование чего-либо, а экзистенциальное суждение служит посылкой чувства оценки. Однако ценность — это не то же самое, что переживание ценности. «Чувство оценки является психическим фактом, тогда как ценность является ценностью чего-то действительного» (Meinong [1894], S. 67).

В этике как науке Твардовский различал три части: науку о благе, науку об обязанностях и науку о добродетели. Предмет, область, задачи и цель этики Твардовский определяет по-разному, в зависимости от того, относятся ли рассматриваемые вопросы к дескриптивной этике, теоретической, нормативной или практической. Заданием дескриптивной этики должен был бы быть преимущественно анализ явлений, связанных с моралью, теоретическая этика предназначена сформулировать этический критерий, нормативная — определить список добродетелей, правил и обязанностей, практическая этика — определить способы формирования добродетелей и обеспечить послушание моральным повинностям.

Более четко о задачах научной этики Твардовский высказался в докладе «О задачах научной этики», резюме которого появилось в «Пшеглэнде филозовичнем» [1907b].³¹ Твардовский считает, что научная этика, т. е. этика сформированная научным путем не должна содержать положений, которые не были бы получены путем логических рассуждений из аксиом или фактов. Но таким образом этика не может прийти к нормам и правилам поведения. Вообще ни одна наука, вопреки распространенному мнению, не может преподнести правила. «Наука — пишет Твардовский, — говорит только что и как *есть*, но не говорит, что *должно быть*» (S. 416). Норма или правило поведения проистекают не из теоретического исследования, но из использования результатов этого исследования с практическими целями. Твардовский иллюстрирует это положение примером. Так гигиена утверждает, что движение является одним из необходимых условий поддержания здоровья и лишь забота о реализации столь важной цели, каковой является поддержание здоровья, создает норму: необходимо двигаться.

³¹ По вопросам морали Твардовский предпочитал публично не высказываться; проблемы этики обсуждались им преимущественно в курсах лекций. И лишь в последнее время стараниями исследователей творчества Твардовского были опубликованы находящиеся в архивах его курсы лекций по этике. В этой связи см. K. Twardowski. Głowne kierunki etyki naukowej. Wykładow z etyki czesc I // Etyka, nr. 13, 1974. s. 199–225; K. Twardowski. O zadaniach etyki naukowej // Etyka, nr. 12, 1973. s. 125–152; K. Twardowski. Etyka, nr. 9, 1971.; K. Twardowski. Etyka. Torun. 1994

Таким образом, научная этика может только исследовать, оставляя формирование норм на основе полученных результатов, действию тех факторов, которые стремятся достигнуть определенные практические цели. Твардовский задается вопросом: что в таком случае является предметом исследования научной этики? Он не согласен с бытующим мнением, будто бы этика изучает возникновение и развитие этических понятий, ибо появившаяся таким образом т.н. описательная этика оказывается совершенно отличной от этики научной. Исходным пунктом в подходе к определению предмета научной этики Твардовский предлагает считать различия в устремлениях и действиях одних индивидов в отношении устремлений и действий других; этот же подход можно использовать и по отношению к общественным группам, а также группе и индивиду. Тот факт, что эти различия, доходящие часто до противоречия, оказываются более или менее острыми, этот факт и является предметом научной этики, в задачу которой входит исследование условий, при выполнении которых указанные различия минимальны. Следовательно, научная этика путем анализа и обобщения фактов, данных в опыте, придет к ряду утверждений, а к некоторым, считает Твардовский, уже пришла, которые являются сугубо теоретическими. Извлечение из этих утверждений норм поведения и введение их в жизнь остается на долю инстанций, которым ближе практические цели и которые наделены правом предписания. Например, ученый гигиенист оставляет прерогативу формулирования, введения и контроля норм здравоохранения санитарным властям. Но поскольку общество не может ждать научно обоснованных норм, оно пользуется предписаниями, сформулированными, как полагает Твардовский, благодаря общественному инстинкту, в частности такому этическому инстинкту, который может быть назван инстинктом самосохранения общества. Именно так и возникли нормы поведения, содержащиеся в традициях и обычаях, в этике сообществ и в указаниях публичного мнения, в религиозных предписаниях. Соотношение утверждений научной этики и выработанных практически норм Твардовский считает комплиментарным, а в отдельных случаях отдает первенство научным положениям, которые должны привести к соглашению бытующих норм, если таковые не противоречат друг другу.

Определенная таким образом этика была предназначена для достижения социальной гармонии, поскольку в согласии с установкой на эмпирию, построение этики как научной дисциплины должно опираться на реалии. Только такая этика, полагал Твардовский, может удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к рациональному знанию.³²

³² Эту позицию своего учителя восприняли и позже развили Тадеуш Котарбинский, Тадеуш Чезовский и Владислав Витвицкий.

С позиций рационализма Твардовский проводит анализ этического субъективизма и релятивизма, уделяя особенно пристальное внимание гедонизму в этической и психологической версиях. Негативное отношение к гедонизму он перенимает от Brentano, считавшего, что связь оценивания с эмоциональными переживаниями не должна отождествляться с гедонизмом. В теориях гедонизма Твардовский считал лишь одно утверждение истинным, а именно, что достижение какой-то цели вызывает приятное чувство. Однако это положение не может служить основанием того тезиса, что само лишь удовольствие и является единственной целью наших устремлений. В результате анализа человеческих желаний и устремлений Твардовский приходит к выводу, что удовольствие как выражение приятного чувства является следствием этических поступков. Оно тем больше, чем более в этическом поведении проявляется знаменующая человека его природа. Поэтому источником поступков является не удовольствие. Оно всего лишь положительное свойство, сопровождающее этические действия.

Опубликованные лекции по этике содержат две части, названные «Этика теоретическая» и «Этика практическая». В теоретической части много места Твардовский отводит вопросу об источниках, основании, содержании и обосновании этического критерия. Под этическим критерием он понимает суждение (предложение), на основе которого можно сказать, какой поступок является хорошим, а какой — плохим. В содержании этического критерия входят априорные и апостериорные факторы. Априорное содержание может быть получено дедуктивным путем из дефиниций хорошего и плохого поведения. Апостериорное содержание этического критерия можно обнаружить в тех дисциплинах, которые занимаются изучением свойств, отличающих человека от прочих существ известных нам из опыта, т.е. от животных. На основании изложенного человека и определяют как существо разумное и социальное.

В тесной связи с этическим критерием находится этическая оценка. Твардовский различает положительное поведение, которое затем разделяет на правильное (обязательное) и похвальное (рекомендуемое), и отрицательное поведение, включающее разрешенные и караемые поступки. Предметом этической оценки, по мнению Твардовского, должно быть ни намерение (интенция), ни следствие и даже не само действие (поступок), но «постоянный эмоциональный настрой» и «постоянная направленность воли» как составляющие характера деятельностного субъекта. Анализ этической оценки и условиям ее вынесения в лекциях посвящено много места.³³

³³ В этой связи см. Streszczenie odczytów Prof. K. Twardowskiego w Twardowski [1927], ту часть, которая названа «От чего зависит сила чувств.» (S. 425).

Особое внимание автор уделяет исследованию поступка, его характеру, видам и последствиям.³⁴ Здесь мы встречаемся с проблемой признания за кем-то права на поступок, ответственности за него, проблемой вины и заслуги.³⁵ Во всех текстах лекций по этике Твардовский трактует признание как утверждение того, что поступок является следствием решения (воли), а решение — следствием (согласованным) характера. Только такое решение, которое является действительным проявлением характера, Твардовский называл свободным в смысле морали.

Признание является условием ответственности и возникающих на этом фоне моральных чувств, которые могут принимать, среди прочих, вид угрызений совести. Их Твардовский определяет как чувства неприятные, возникающие тогда, когда мы замечаем противоречие между принятым решением и моральными убеждениями.

Принятие Твардовским утверждения, что действительным предметом оценки должен быть характер, вызвали в нем заинтересованность условиями и методами такого влияния на характер, которые позволили бы сформировать его в соответствии с этическими требованиями. А это задача моралистики, которая предназначена пробуждать симпатию к этическому поведению и вызывать отвращение к поведению неэтическому. Вопросы морали Твардовский рассматривает во второй части своей «Этики», названной «Практическая этика или наука о добродетелях и обязанностях».

Создание эмоциональных и рациональных побудительных мотивов, предназначенных стимулировать этическое поведение, относится к таким сферам как педагогика, юриспруденция и религия. Фундаментом такого воспитания должно быть послушание и последовательность в поступках (действиях). Находящиеся в центре внимания воспитательных действий принципы носят, по мнению Твардовского, эмпирический характер и должны проистекать из наблюдений над жизнью общества и его потребностями, направленными на сохранение порядка и сотрудничества между людьми. Эти положения в тексте лекций подкрепляются примерами, почерпнутыми из жизни тогдашней Польши, причем Твардовский не скрывает свое негативное отношение к ее отрицательным сторонам,

³⁴ Изучением этих вопросов занимался Т. Котарбинский. Сегодня эти исследования продолжает первый послевоенный ассистент Котарбинского — А. Гжегорчик [1995].

³⁵ Проблема признания за кем-то права на поступок возникла перед Твардовским в обстоятельствах полемики о детерминизме и индетерминизме в вопросе о свободе воли. По мнению автора лекций по этике детерминизм является более правдоподобным, чем индетерминизм. Твардовский отрицал также взгляд, согласно которому детерминизм делает невозможной всякую этику.

в частности неприязненного отношения к политическим программам социал-демократии в социальных вопросах.

Особую роль при формировании характера играет, по мнению Твардовского, притягательная сила личного примера. С точки зрения организации работы над собой Твардовский в лекциях подробно излагает жизненную программу Бенджамина Франклина (1706–1790).

Много внимания в рукописи лекций Твардовский посвящает обязанностям, которые человек возлагает на себя в связи с выработкой в себе добродетелей. Обязанности им разделяются на три группы: 1) по отношению к себе, 2) по отношению к окружающим, 3) по отношению к Богу. Подробно обсуждается лишь первая из них. К добродетелям этой группы относится владение собой, сдержанность, отвага, выносливость, покладистость. Среди обязанностей, связанных с умственной деятельностью человека Твардовский выделяет обязанность интеллектуального воспитания и заботу о воспитании эстетическом. Говоря об идеальном благе, предназначенном для себя и предполагающем заботу о нем, Твардовский называет достоинство, доброе имя, честь, благородство. Все анализируемые им обязанности (добродетели) должны обеспечить нормальное развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер жизни индивида, а также его сознательное и ответственное участие в жизни общества.

Семиотика в трудах К. Твардовского

Рассмотрение семиотической концепции Твардовского начнем с вопроса о соотношении языка и мысли, которому основатель философской школы придавал важное значение. Так он считал, что изучение отношения мысли к языку может помочь в прояснении генезиса последнего, а наблюдение за развитием речи у ребенка подскажет метод изучения этого отношения. Твардовский считал, что между мыслями и их словесным воплощением возникает столь тесная связь, что мышление позже уже никогда не происходит без более или менее ясного осознания соответствующих знаков. Более того, он полагает, что развитое мышление происходит только при помощи языковой артикуляции, хотя бы тихой, внутренней. Язык способствует упрощению мыслительной деятельности, делая возможным т. н. символическое мышление. Однако символическое мышление часто приводит к тому, что это мышление теряет всякую связь с действительностью, т. е. символы оказываются лишенными интерпретации. К другим недостаткам языка, отягчающего мышление, Твардовский относит его несовершенство и эмоциональную окрашенность. Следует заметить, что в приведенных выше рассуждениях нигде не уточняется характер языка и, как кажется, Твардовский имеет виду естественный

язык. Другой особенностью анализа языка является не дифференцированность его выражений; далее мы увидим, что единственным различимым признаком знаков является их отношение к обозначаемому предмету, в результате чего знак может быть отнесен или к категорематическим, или к синкатегорематическим выражениям. По поводу указанных недостатков — символического характера одних выражений и эмоциональной окрашенности других, а также их влиянии на стиль изложения — Твардовский высказывается в ряде работ. Рассмотрим некоторые из них.

В своей педагогической и научной работе Твардовский дал решительный бой философскому сумбуру. Он указывал [1919], что неверным является взгляд, будто бы природа определенных философских проблем предполагает туманный стиль их изложения. Убеждение в возможности неясного философского обсуждения служит, по мнению Твардовского, оправданием запутанности дискуссий и философских работ, а также утверждению мнения, что чем больше философская глубина, тем большей должна быть неясность философского стиля. Твардовский не находит никакого подтверждения такому мнению указывая, что по крайней мере не все философы, пишущие о трудных проблемах, делали это запутанно. Отсюда Твардовский заключает: «Возникает допущение, что неясность стиля некоторых философов не является неизбежным следствием причин, содержащихся в предмете их умозаключений, но имеет свой источник в сумбуре и неясности их способа мышления. Тогда дело выглядело бы так, что ясность мысли и ясность стиля шли бы рука об руку настолько, что тот, кто ясно мыслит, тот и писал бы ясно, а об авторе, пишущем неясно, следовало бы сказать, что он не умеет ясно мыслить» (S. 347). Выяснив причины запутанности стиля изложения Твардовский дает практические рекомендации: «Итак, если приведенные замечания верны, то они в значительной мере освобождают нас от обязанности ломать голову над тем, о чем собственно думает философствующий автор, пишущий неясным стилем. Отгадывание его мыслей только тогда будет заслуживать усилий, если откуда-нибудь мы почерпнули уверенность, что он мыслит ясно, а неясность стиля, следовательно, в данном случае, возникает из-за искажения текста или из-за спешки в изложении своих мыслей (S. 347–348).³⁶

³⁶ Постулат ясности изложения был повсеместно принят во Львовско-варшавской школе, хотя не всегда в такой радикальной форме, как у Твардовского. Польские философы особенно не уклонялись, как это рекомендовал Твардовский, от «отгадывания» смысла воззрений, которые часто воспринимаются как неясные. Примером может служить анализ неокантианства Айдукевичем [1937]. Пожалуй только логики — Лукасевич и Лесьневский были склонны разделять радикальную позицию своего учителя. Но у них ясность

Несмотря на то, что Твардовский был свидетелем зарождения и развития логики в Польше, а его ученики стали признанными в мире мастерами в этой дисциплине, сам же он никогда не был подвержен влиянию логики и его лекции по логике, проводимые еще в двадцатые годы, были вполне традиционны. Ему было известно стремление Лукасевича и Лесьневского к отождествлению ясности стиля изложения с употреблением символического языка. Основатель философской школы не противился «новой логике» как науке, но предостерегал от занятия определенных позиций, которые по его убеждению могут быть генетически связаны с символической логикой. Эти позиции Твардовский [1921] определял как символоманию и прагматофобию. Раскроем механизм этих определений подробнее, изложив аргументацию автора.

Символику Твардовский рассматривает как средство для достижения поставленной цели. Это средство состоит в замене конвенциональных знаков символами. Опасность употребления символики заключается в том, что забыв об интерпретации полученных символических результатов, символы и производимые на них операции, будучи вначале средством достижения цели, становятся «сами в себе целью». Это преобразование чего-то, что вначале является средством в цель, тем легче и незаметнее совершается, чем более тесная возникает связь между средством и целью. Но именно так, считает Твардовский, и обстоит дело с символом и понятием или предметом, которые он символизирует. А поскольку цель-в-себе и приводящие к ней манипуляции часто становятся «любимым занятием и источником большого интеллектуального наслаждения», т.е. обладают теми же чертами, что и графомания, эротомания и т.п., то Твардовский, по аналогии с названными маниями, спрашивает: почему нельзя говорить также и о символомании? В виде негативного дополнения к символомании Твардовский выделяет прагматофобию, обозначая этим выражением столь «знаменательное для символومانов неприятие вещей, т.е. того, что символы, будучи знаками вещей в общем значении этого слова, символизируют. Символы и способы их комбинирования являются чем-то, что выдуманно человеком; поэтому, считает Твардовский, здесь простор для далеко идущего произвола и для свободных конвенций, тогда как вещи, обозначенные символами, совместно с существующими между именами отношениями вообще-то являются чем-то независимым от человеческой мысли, вследствие чего они не допускают никакого произвола и не подвержены никаким конвенциям» (S. 396).

Благодатной почвой для развития символомании и прагматофобии является математика. Ее использование в логике далеко от совершенст-

связывалась с употреблением символического языка, область которого, очевидно, ограничена.

ва, что по мнению Твардовского, подтверждает тот факт, что не существует единой повсеместно принятой логистической символики, но этих символов несколько — как и систем логистики — с весьма различными степенями удобства. Идущая от математикоидального характера логической символики опасность главным образом состоит в переоценивании сделанных открытий и точности всего аппарата, а ее «создатели склонны считать, что открыли в ней способ решения всех проблем, которых в данной области до сего времени не удавалось решить ранее существующими средствами» (S. 404). Тенденция к возвышению символов над вещами, предостерегает Твардовский, может привести к тому, что «вещи нагнуться к символам, а это значит, что о вещах утверждается то, что следует из символических предположений и действий, невзирая на то, что говорят сами о себе вещи, или даже вопреки тому, что говорят сами о себе вещи» (S. 404). К сказанному Твардовский добавляет: «Очевидно, не следует приписывать символomanию и прагматофобию самой символике; эти чрезмерные излишества появляются только там, где существуют соответствующие психические условия. Не относится к самой символике, являющейся прекрасным и необходимым средством научных исследований, и все то, что еще отрицательного можно сказать о символomanии и прагматофобии. А поэтому вышеприведенные выводы обращены не против символики» (S. 405). Таким образом, Твардовский выступает не против символики, а против злоупотребления символикой.³⁷

В целом Львовско-варшавская школа была против символomanии и высказывала весьма глубокое почтение для вещи; ей нельзя также приписывать и прагматофобию. Тезис, что символ представляет вещь, а не замещает ее стал одним из канонов школы. В конечном счете иначе и не могло быть, если философы Львовско-варшавской школы принимали вслед за Твардовским тезис о интенциональной значимости знаков и их семантической прозрачности.

Теперь мы обратимся к эмоциональной окрашенности выражений естественного языка. Эта тема была затронута Твардовским, возможно, потому, что основой формирования многих критериев, например, этического

³⁷ В польской литературе можно встретить мнение, что замечания Твардовского о символomanии были направлены против Лукасевича. Против подобного взгляда протестует Воленский [1985], считая его совершенно безосновательным в силу того обстоятельства, что в работе Твардовского не упоминается имя Лукасевича. Воленского не смущает намерение Лукасевича перестроить всю философию при помощи аксиоматического метода, хотя он и признается, что «убеждение, будто философию не удастся улучшить, поскольку не удастся ее формализовать, конечно, ошибочно, но с символomanией оно не имеет ничего общего» (S. 44).

или эстетического в традициях брентанизма служит суждение; с другой стороны, суждение является категорематическим выражением, в котором дан предмет, к которому и направлены чувства. Рассмотрим на примере небольшой заметки «К вопросу о классификации чувств» [1906b] параллелизм чувств убеждения и выражающих их суждений. Твардовский пишет, что эти чувства Мейнонг подразделяет на два класса: логические чувства и чувства оценки. Признаком первых является независимость, признаком вторых — зависимость качества чувства от качества суждения, создающего основу чувства. Например, историк, стремясь прийти к убеждению, является ли некоторый документ аутентичным или поддельным, ощущает чувство удовлетворения, если решит эту задачу. Таким образом, в нем возникнет приятное чувство вследствие появления суждения, причем это чувство будет приятным безотносительно к тому, является ли результатом исследования историка признание или же отрицание подлинности документа. Историк попросту радуется выяснению этого вопроса. Дело обстоит иначе, если некто будет удовлетворен признанием, которым его наделяет окружение. Здесь удовлетворение обусловлено утвердительным суждением, констатирующим существование этого признания; отрицательное суждение с этим же содержанием, говорящее что этого признания нет, подменяет чувство удовлетворения чувством горечи.

По мнению Твардовского представленное выше деление чувств убеждения на логические чувства и чувства оценки требует коррекции. Если утверждается, что для качества логических чувств качество суждения безразлично, если как утвердительное, так и отрицательное суждения могут служить основанием приятного (удовлетворительного) логического чувства, то возникает вопрос: когда и при каких условиях появляется неприятное логическое чувство. Обычно отвечают, что тогда, когда невозможно высказать какое-либо суждение, когда для того, используя приведенный выше пример, историк не может решить поставленную проблему, не может прийти ни к утвердительному, ни к отрицательному суждению о подлинности документа. Однако такое объяснение появления неприятных логических чувств находится в противоречии с их основной характеристикой, согласно которой логические чувства являются чувствами убеждения, а потому и требуют суждения, как своего необходимого основания. Поэтому, считает Твардовский, логические чувства также следует считать чувствами оценки, отличающимися от прочих оценочных чувств только тем, что предметом оценочного чувства в случае логических чувств является суждение, знание. Тогда дело обстоит таким образом, что суждение А, утверждающее существование суждения В (знание) о некотором предмете, становится основанием приятного (чувства), а суждение А', отрицающее существование суждения В' (знания) о каком-то предме-

те, становится основанием неприятного оценочного чувства. Тем самым опять качество чувства оценки зависит от того, является ли основанием утвердительное суждение, или же отрицательное суждение о существовании — в этом случае — иного суждения.

Твардовский считает предлагаемое Мейнонгом разделение оценочных чувств правильным, выражающим тот факт, что «само высказывание суждений, или сам акт суждения, т. е. утверждение или отрицание связано с чувством приятного. С этой точки зрения — продолжает Твардовский — психический акт суждения стоит на равных со всеми прочими психическими и физическими актами, поскольку совершение какого-либо действия, к которому мы способны, доставляет приятное чувство. Отсюда следует — заключает Твардовский — что разделение чувств согласно их основанию на чувства представления и убеждения требует дополнения посредством сопоставления ему иного разделения, основанного на приведенном выше факте» (S. 413).

Излагаемый выше подход к суждению как к психическому акту был унаследован Твардовским от Brentano и характерен для того периода, когда автор еще сам себя относил к психологистам. Кратко суть этого подхода состоит в том, что суждение, выражая некоторое чувство, выражает интенцию к предмету суждения, ибо к этому же предмету направлено и чувство субъекта, выносящего суждение. Мы не будем анализировать психологический аспект теории суждений, а перейдем к изложению теории суждений, которую Твардовский унаследовал от Brentano, внося в нее уточнения.

Твардовский различал аллогенические и идиогенические теории суждения. Аллогеническая теория происходит от Аристотеля и господствовала почти до конца XIX в. Согласно аллогенической теории суждение является просто комбинацией представлений (понятий). Идиогеническая теория, провозглашаемая в древности стоиками, была возобновлена Brentano и его учениками.³⁸ Согласно этой теории суждение — это психическое явление *sui generis*. Brentano приходит к выводу, что различие, возникающее между понятиями либо их соединением и суждением является принципиальным и его никоим образом не удастся ни ликвидировать, ни затушевать. Воображения и понятия с одной, а суждения с другой стороны — это два совершенно различных типа психических явлений.³⁹

³⁸ Учения стоиков и Brentanistów — это крайние вехи на долгом пути номиналистического подхода к созданию теории суждений, усматривавшего в суждении прежде всего предмет, который судится. В Новое время предшественниками Brentano были Гоббс и Лейбниц.

³⁹ Воображения и понятия являются необходимым условием суждений на том основании, что прочие психические явления — суждения, чувства (к этому деле-

Такой взгляд на сущность суждений, с использованием греческого языка, был назван идиогенической теорией суждений, поскольку именно в суждениях Brentano и его последователи усматривали различный тип (*idion genos*) психических явлений.

В каждом суждении Твардовский различает акт, содержание и предмет суждения. Актом суждения является утверждение или отбрасывание определенного содержания, содержание суждения есть существование или несуществование чего-либо, а предмет — это то, существование чего утверждается или отбрасывается. Поскольку беспредметных представлений не бывает, а эти последние являются необходимым условием вынесения суждения, то в центре выносимого суждения в идиогенической теории оказывается предмет, а точнее вопрос его существования или несуществования. Существование, будучи процессом, достаточно удобно формулируется в терминах действия, в частности психического акта, каковым и является суждение. Этот подход к суждению в рамках идиогенической теории был присущ Твардовскому в его психологическом периоде творчества. Уточнение этой точки зрения на суждение произошло в связи с уточнением понятийного аппарата, используемого в анализе природы суждения. А именно, Твардовский вводит понятия результата и процесса, предлагая двойственную трактовку суждения как результата, и как процесса. Естественно, суждение как процесс, т. е. как психический акт он относит к психологии, а как результат — к логике. Различие процессов и результатов Твардовский [1912] делает в одной из своих важнейших работ «О процессах и результатах. Несколько замечаний о пограничных проблемах психологии, грамматики и логики». Подзаголовок весьма примечателен, поскольку указывает на отношение психологического аспекта существования предмета суждения к логике посредством грамматики. Далее это отношение будет раскрыто более подробно, а сейчас мы остановимся на понятии значения в упомянутой работе, которое также не лишено налета психологизма.

Различение процессов и результатов Твардовский начинает указанием на то, что определенные выражения сопряжены в характерные пары., Пара -это, как правило, глагол-подлежащее; первое выражение такой пары является глаголом, например, петь, бегать, приказывать, или отглагольное существительное (пение, беганье, приказывание), а второе — соответ-

нию Brentano Твардовский добавляет волеизлияние) проявляют полярность, а названные выше — нет. Воображения и понятия, считает Твардовский [1898], «поставляют мышлению материал, снабжают его содержанием, тогда как суждение, чувства и волеизлияния представляют собой различный способ, каковым мышление манипулирует этим содержанием, принимая его или отбрасывая» (S. 41).

ствующее существительное, например, песня, бег, приказ. Первое выражение пары относится к какому-нибудь процессу, а второе — к результату этого процесса. Результаты могут быть непродолжительными, т. е. оканчивать свое существование с моментом прекращения процесса, например, бег, а также продолжительными, т. е. такими, которые завершают свое действие после окончания соответствующего процесса, например, изваяние. Непродолжительные результаты можно разделить на физические (например, бег), психические (мысль) и психофизические, т. е. возникающие вследствие физических процессов, обусловленных процессами психическими (например, пение). Продолжительные же результаты могут быть как физическими, так и психофизическими, но психические результаты не могут быть продолжительными. Особое внимание Твардовский уделяет психофизическим результатам. Эти результаты определяют выражение психических результатов в том смысле, что, во-первых, психические результаты совместно с соответствующим процессом являются частичной причиной возникновения психофизического результата и, во-вторых, психофизические результаты мысленно наблюдаемы, а психические — нет, и в-третьих, психофизические результаты сами в свою очередь становятся причиной возникновения психических результатов, аналогичных результатам психическим, которые являются частичной причиной данного психофизического результата.

После различения результатов указанных типов Твардовский строит концепцию значения. Если психофизический результат выражает какой-либо психический результат, то он становится знаком тех психических результатов, которые выражает, а выражаемые психические результаты следует считать значениями данных знаков. Очевидно, что одному знаку может соответствовать много различных значений.

Представленная до настоящего момента формулировка значения знака не выходит за рамки теории, которую Твардовский сформулировал в своем габилитационном исследовании, положив значением имени представление, а следовательно — индивидуальное психическое содержание. В «Процессах и результатах» [1912] он идет дальше. Здесь знак может выражать определенные результаты тогда и только тогда, когда они сильно не отличаются друг от друга, а следовательно, когда в каждом случае совокупность характерных черт повторяется. Эта характерная и повторяемая совокупность черт является содержанием знака и именно таким образом определенное содержание образует значение знака.⁴⁰

⁴⁰ В трактовке значения знака как содержания Твардовский приближается к понятию идеального значения у Гуссерля, который, по свидетельству автора «Процессов и результатов», способствовал формированию апсихологической пози-

Вопрос о том, преодолел ли Твардовский в своей теории значения психологизм, является спорным.⁴¹ Прежде всего следует отметить, что значение в понимании Твардовского не полностью автономно с точки зрения индивидуальных психических переживаний. В связи с этим не ясен онтологический статус значения. По этому поводу Домбская [1969] замечает: «... если этот предмет (т. е. совокупность черт — *Б.Д.*) сам в свою очередь является результатом определенных процессов, в частности, процесса абстрагирования, то его принятие не освобождает нас от неприятностей психологизма, если же — как считает Твардовский — он является чем-то отличным от психического и физического результата, то *eo ipso* он не помещается в исходную классификацию явлений и есть предмет иного рода, возникновение и существование которого требует более подробной характеристики» (S. 257).

Как бы не был решен Твардовским вопрос о природе значения: с психологической позиции на начальном этапе или позже с апсихологической позиции в результате разделения процесса суждения и результата суждения — в каждом из этих периодов творчества противовесом психологизму была онтология. В связи со сделанным замечанием рассмотрим небольшую работу [1894], посвященную анализу слова «ничто».⁴² Этот анализ Твардовский предпринял в связи с обоснованием тезиса, утверждающего несуществование беспредметных представлений. Согласно традиционному взгляду слова «ничто» и «небытие» образованы в результате процедуры т. н. инфинитации, т. е. предварении имени частицей «не», например, нефилософ. По мнению Твардовского инфинитация тогда имеет смысл, когда выражение, полученное в результате операции инфинитации сохраняет характер имени. Так будет только тогда, когда пара, составленная из имени и результата инфинитации, принадлежит вышестоящему роду. Но относительно таких выражений как «бытие» или «что-то» не существует имен более высокого рода, иначе мы пришли бы к противоречию. То, что должно было бы быть вышестоящим для «что-то», также было бы «чем-то», а поэтому имена «что-то» и «над-что-то», с одной стороны, были бы рядоположенными, а с другой — «над-что-то» по опреде-

ции при написании работы, в частности, в вопросе о значении знака. В подходе Твардовского к объективации значения отчетливо заметно также влияние болъцановского «суждения-в-себе».

⁴¹ Более подробно об этом пишут Dambaska [1975] и Wolenski [1985], [1997].

⁴² Эта аналитическая процедура представляет собой перефразирование и часто использовалась Твардовским и его учениками для прояснения исходной формулировки проблемы. Особенно часто методом парафразы пользовался К. Айдукевич. См. раздел, посвященный его творчеству.

лению является вышестоящим относительно «что-то». Это невозможно, поскольку два имени не могут одновременно быть рядоположенными и находится в отношении, когда одно из них вышестоящее. Чем в таком случае является слово «ничто»? Твардовский утверждает, что оно является компонентой противоречивых предложений и представляет собой не категорематическое выражение, а синкатегорематическое. Поэтому слово «ничто» не есть имя и в связи с этим нет смысла обсуждать, к чему оно относится.⁴³

Библиография

CR = Comptes rendus des seances de la Societe des Sciences et de Lettres de Varsovie. Classe III; PF = Przegląd Filozoficzny; RF = Ruch Filozoficzny; SF = Studia Filozoficzne.

Ajdukiewicz K. (Айдукевич К.)

[1937] Problemat transcendentnego idealizmu w sformulowaniu semantycznym // PF, r. 40 / z. 3, s. 271–287.

Dąbbska I. (Домбская И.)

[1965] Koncepcja języka w filozofii Kazimierza Ajdukiewicza // RF, XXIV / 1–2.

[1975] Znaki i myśli. Toruń.

Grzegorzczak A. (Гжегорчик А.)

[1995] Życie jako wyzwanie. Warszawa.

Jadczak R. (Ядчак Р.)

[1991] Kazimierz Twardowski. Nota biobibliograficzna. Toruń.

Kokoszynska M. (Кокосинская М.)

[1936a] Logiczna skladnia języka, semantyka i logika wiedzy // PF 39 (1936), s. 38–49.

[1936b] W sprawie względności i bezwzględności prawdy // PF 39 (1936), s. 424–425.

Kotarbinski T. (Котарбинский Т.)

⁴³ Воленский [1985] считает, что функция слова «ничто» схожа с ролью кванторов в логике. Он аргументирует свою позицию следующим образом: «Возьмем предложение «Ничто не вечно». Оно значит то же самое, что и предложение «Нет чего-то, что было бы вечным». «Ничто», используя современную терминологию, выражает отрицание экзистенциального квантификатора, а признание того, что «ничто» есть имя является смешением синтаксических категорий». (S. 47) Отличное от приведенного мнение выражает Домбская [1969], считавшая «ничто» функтором отрицания, образующим предложение.

[1936] *Kultura filozoficzna*//*Wiedza i zycie*. 6/1935.

Meinong A. (Мейнонг А.)

[1894] *Psychologisch-ethische Untersuchungen zur Werttheorie*. Graz.

Tarski A. (Тарский А.)

[1933] *Pojecie prawdy w jezykach nauk dedukcyjnych*. Warszawa.

Twardowski K. (Твардовский К.)

[1894] *Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen: Eine psychologische Untersuchung*. — Wien.

[1895b] *Etyka wobec teorii ewolucji*//*«Przelom»*. Wien — № 18, 21.9. s.551–563; (Твардовский [1997], c.210–223).

[1897] *Psychologia wobec fizjologii i filozofii*//*«Przewodnik Naukowy i Literacki»*. — XXX. Lwów.-S.17–41.

[1898] *W sprawie klasyfikacji zjawisk psychicznych*//*Szkola. Tygodnik pedagogiczny*. Lwów. XXXI, Nr. 45–46. — S.405–406, 413–415. (Тwardowski [1927]).

[1899a] *Czy czlowiek postepuje zawsze egoistycznie*//*«Iris»*. I, nr. 5. Lwów. — S.211–216. (Тwardowski [1927], S.362–367).

[1899b] *Pesymizm i optymizm*//*Przyjaciel Mlodziezy*. Lwów. I (1899), 8, 9 z. 1. 9. — S.122–124; (Тwardowski [1927], S.357–361).

[1900] *O tak zwanych prawdach wzglednych*/*«Ksiega Pamiatkowa Uniwersytetu Lwowskiego ku uczczeniu piecsetnej rocznicy fundacji Jagiellonskiej Uniwersytetu Krakowskiego*. — Lwów»; (Тwardowski [1927], S.64–93).

[1906b] *W sprawie klasyfikacji uczuc*//*PF*. — IX/1. S.82–83.

[1907b] *O zadaniach etyki naukowej*//*PF*. — X. S.143–144.

[1910] *Streszczenie odczytow Prof. K. Twardowskiego*. Warszawa. (Тwardowski [1927], S.442–443).

[1912] *O czynnosciach i wytworach*/*«Ksiega Pamiatkowa ku uczczeniu 250 rocznicy zalozenia Uniwersytetu Lwowskiego»*. — T. II. — Lwów. S.1–33.

[1919] *O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym*//*RF*. — V. — S.25–27.

[1921] *Symbolomania i pragmatofobia*//*RF*. — VI. — S.1–10.

[1927] *Rozprawy i artykuly filozoficzne*. Lwów.

[1965] *Wybrane pisma filozoficzne*. — Warszawa.

[1994a] *Wyklad wstepny w Uniwersytecie Lwowskim (z 15 listopada 1895 r.)*//*Principia*. T. VIII–IX. Kraków. — S.225–236.

[1997b] *Dzienniki*. T. 2. Warszawa-Toruń.

[1997c] *Логико-философские и психологические исследования*. М.

Woleński J. (Воленский Я.)

[1985] *Filozoficzna szkola lwowsko-warszawska*. Warszawa

[1997] *Szkola Lwowsko-warszawska w polemikach*. Warszawa.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛЬСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ КНИГОИЗДАТЕЛЬСКУЮ ПРОГРАММУ
ЗА 2005 ГОД

Международный ежегодник по философии культуры «Логос»
1910–1914, 1925. Тт. 1–9 (+ 1 том дополнительных материалов:
библиография, история проекта, рецензии 1910–1914 гг. и т. д.). Полное
репринтное воспроизведение журнала, выходившего под редакцией
Ф. Степуна, И. Гессена, Б. Яковенко и др.

СЕРИЯ «ФИЛОСОФИЯ»

Эдмунд Гуссерль

Избранные сочинения («Идеи к чистой феноменологии»;
«Парижские доклады»; «Амстердамские доклады»; «Интенциональные
предметы» и др. С предисловием Виталия Куренного)

Эрнст Мах

Анализ ощущений (С предисловием А. Ф. Зотова)

Людвиг Витгенштейн

Избранные работы («Логико-философский трактат» в переводе
и с комментариями Вадима Руднева; «Коричневая книга»; «Голубая книга».
Биографический очерк Людвиг Витгенштейна)

Журнал «Логос», 1991–2005. Избранное в 2 томах

СЕРИЯ «СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ»

Питирим Сорокин

Социология революции (С Приложениями и комментариями)

СЕРИЯ «ЭКОНОМИКА»

Вернер Зомбарт

Избранные сочинения (Строй хозяйственной жизни; Идеалы социальной политики; Почему в Соединенных Штатах нет социализма?; Евреи и их участие в образовании современного хозяйства; Народное хозяйство и мода;

Предисловие А. М. Руткевича)

Карл Менгер

Основания политической экономии. Исследования о методах социальных наук и политической экономии в особенности

Мишель Оглеата, Андре Орлеан

Деньги между насилием и доверием

СЕРИЯ «ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

М. Ф. Владимирский-Буданов

Обзор истории русского права

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛЬСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ КНИГОИЗДАТЕЛЬСКУЮ ПРОГРАММУ
НА 2006 ГОД

СЕРИЯ «ФИЛОСОФИЯ»

Философия в систематическом изложении

В. Дильтея, А. Рилья, В. Оствальда, В. Вундта, Г. Эббингауза,
Р. Эйкена, Ф. Паульсена, В. Мюнха, Т. Липса. Пер. с нем.

Франц Brentano

Избранные сочинения

Пауль Наторп

Сборник статей по философии, логике, теории культуры

Идея университета

Сборник статей (Фихте, Шеллинг, Кант, Шлейермахер,
Гумбольдт, Паульсен, Шелер, Хайдеггер, Ясперс, Гельмгольц,
Ньюман и др.)

СЕРИЯ «СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ»

Карл Шмитт

Избранные сочинения

СЕРИЯ «ЭКОНОМИКА»

П. Б. Струве

Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России

СЕРИЯ «ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

Сборник «Историческая школа»

(Савиньи «Всеобщая природа правовых источников»; Ранке «Лекции по истории, читанные баварскому королю Максимилиану; Дройзен «Очерк историки», Тренделенбург «Определение права» и др. Составление, подготовка и предисловие – В. Куренной)

Валерий Лейбин

Постклассический психоанализ. Энциклопедия в 2 томах

**ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ
В КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ГНОЗИС»
ТЕЛ. (495) 247-17-57**

Логос 1991–2005

Избранное. Том 1

Оформление серии *В. Коршунов*

Верстка *С. Зиновьев*

Формат 70 × 100 ¹/₁₆. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 54,2.

Заказ №

Издательский дом «Территория будущего»

125009, Москва, ул. Б. Дмитровка, 7/5

Отпечатано в ГУП ППП «Типография «Наука»

121099 Москва, Шубинский пер., 6